

Jacques Lacan

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 5

ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

(1957/1958) LE SEMINAIRE

ЖАК ЛАКАН.СЕМИНАРЫ.КНИГА5



Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie.



LE SEMINAIRE

LES FORMATIONS DE L'INCONSCIENT

LIVRE 5

(1957/1958)

Texte établi par Jacques-Alain Miller

EDITIONS DU SEUIL
PARIS
1998

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 5

ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

(1957/1958)

В редакции Жака-Алэна Миллера

ГНОЗИС/
/ЛОГОС

МОСКВА
2002

ББК 87.3
Л 86

Перевод с французского А. Черноглазова

Корректор – Д. Лунгина, А. Кефал
Художественное оформление серии – Андрей Бондаренко

Координация проекта – О. Никифоров,
философский журнал "ΛΟΓΟΣ" (Москва)

Лакан Ж.
Л 86 *Образования бессознательного* (Семинары: Книга V (1957/1958)). Пер. с фр./ Перевод А. Черноглазова. М.: ИТДГК "Гнозис", Издательство "Логос". 2002. – 608 с.

ISBN 5-8163-0037-7



ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

СТРУКТУРЫ ОСТРОУМИЯ В УЧЕНИИ ФРЕЙДА

I
Фамиллионер

Основные моменты
предшествовавших семинаров
Witz *и его схема*
Остроумие в национальных
традициях
Санкция Другого
То, что бывает видно лишь
когда на него не смотришь

В этом году мы сделали темой нашего Семинара *образования бессознательного.*

Те из вас – а я думаю, что это большинство, – кто присутствовал вчера на нашем научном заседании, уже находятся в курсе дела и знают, что вопросы, которые сегодня мы сформулируем, касаются – на этот раз самым непосредственным образом – функции, выполняемой в бессознательном тем, что в течение ряда предшествовавших лет работы нашего Семинара было выявлено нами как означающее.

Некоторое число здесь присутствовавших – я выражаюсь таким образом, потому что притязания у меня самые скромные, – прочли, я надеюсь, заметку, помещенную мною в журнале "Психоанализ" под заголовком *Инстанция буквы в бессознательном.* Тем, кто на это отважился, будет легко – во всяком случае, легче, чем другим, – за ходом моей мысли следовать. Вообще говоря, мне не кажется, что с моей стороны чрезмерным будет потребовать, чтобы вы, дающие себе труд выслушивать то, что я говорю, читали бы заодно и то, что я пишу, так как пишу-то я, в конечном счете, именно для вас. Поэтому те, кто статьи еще не прочел, хорошо сделают, если все-таки обратятся к ней, тем более, что ссылаться на нее я буду постоянно. То, что однажды уже было высказано, мне придется предполагать известным.

Специально для тех, кто пришел сегодня неподготовленным, я охарактеризую ту тему, которой намерен в данный момент ограничиться. Она-то и станет предметом вводной лекции моего курса.

Для начала я напомню, пусть бегло и поверхностно, чтобы не начинать все с начала, несколько выработанных нами в предшествующие годы основных положений, которые предвосхищают и

содержат в зачатке то, что предстоит мне сказать о функции, принадлежащей в бессознательном означающему.

Затем, щадя тех, кому это краткое напоминание покажется маловразумительным, я разъясню значение схемы, которой мы весь год будем в ходе наших теоретических изысканий пользоваться.

И, в заключение, я разберу один пример. Это первый из тех примеров, которые приводятся Фрейдом в его книге об остроумии. Я сделаю это не в качестве иллюстрации, а лишь потому, что всякая острота носит характер индивидуальный – не существует остроты в пространстве абстракции. Заодно я покажу вам, почему наилучшим введением в занимающий нас предмет — образования бессознательного – оказывается именно острота. Больше того, это не просто введение, а ярчайшая из тех форм, которые выбрал сам Фрейд для демонстрации отношений бессознательного с означающим и сопутствующими ему техниками.

Таковы три раздела моей лекции. Теперь вы знаете, что я собираюсь вам объяснить, – это поможет вам сэкономить ваши умственные усилия.

1

Первый год моего семинара, посвященный техническим работам Фрейда, состоял, по сути дела, в том, чтобы ввести понятие символической функции – единственное понятие, способное объяснить то, что можно назвать *утверждением в смысле* и что является основополагающей реальностью исходного для Фрейда опыта.

Ну, а поскольку *утверждение в смысле* является здесь не чем иным, как определением разума, напомню вам, что разум этот как раз и является тем началом, которым возможность психоанализа обусловлена. Именно то, что нечто изначально было связано с неким подобием речи, позволяет дискурсу эту связь распутать.

Я уже указал вам по этому поводу на ту дистанцию, которая отделяет речь как нечто исполненное человеческого бытия, от пустого дискурса, гул которого сопровождает человеческие поступки. Поступки эти разуму непонятны, ибо воображение объясняет их мотивами иррациональными. Рационализации они поддаются лишь в характерной для собственного Я перспективе отказа от признания. Тот факт, что собственное Я само является функцией символической связи и, что насыщенность его, как и сами выполняемые им функции синтеза, эти пленительные миражи, могут от по-

добной связи зависеть, – факт этот, как уже говорил я вам в прошлом году, объясняется лишь зиянием, которое в силу того, что названо мною *преждевременностью рождения*, открыто в человеческом бытии изначальным, биологически обусловленным присутствием смерти.

Это и есть то звено, что связывает мой первый семинар со вторым.

Второй семинар выявил значение фактора настойчивого повторения, показав, что фактор этот коренится именно в бессознательном. Принцип этого повторения оказался идентичным структуре цепи означающих – именно это постарался я вам продемонстрировать на модели синтаксиса, связывающего буквы $\alpha\,\beta\,\gamma\,\delta$.

На данный момент вы уже располагаете письменным ее изложением в опубликованной мною статье *Похищенное письмо* – статье, которая этот синтаксис окончательно резюмирует. Несмотря на полученные в ее адрес критические замечания, в ряде случаев обоснованные, – есть две небольших недоговоренности, которые в последующих изданиях предстоит исправить – она еще долго сможет быть вам полезной. Больше того, я убежден, что время пойдет ей на пользу и что уже через несколько месяцев, а тем более к концу этого года, обращение к ней вызовет у вас куда меньше трудностей. Я говорю это в ответ на похвальные усилия, которые иными были предприняты, чтобы ее значение умалить. Так или иначе, это стало для них случаем себя на этом деле проверить, а это-то как раз мне и нужно. Какие бы тупики они в ней ни обнаружили, она им предоставила повод для этой интеллектуальной гимнастики. А в том, что предстоит мне показать им в этом году, они получат возможность найти еще один.

Разумеется, как те, кто дал себе этот труд, мне указали, и даже написали, каждый из четырех моих терминов отмечен принципиальной двусмысленностью. Именно в ней-то, однако, ценность примера и заключается. Группируя эти термины, мы вступили на путь, проложенный современными исследованиями в теории групп и множеств. Принцип этих исследований состоит в том, что исходят они из сложных структур, в то время как простые предстают в них лишь как частные случаи этих последних. Я не буду напоминать вам, откуда те маленькие буквы взялись, но ясно, тем не менее, что, проделав манипуляции, позволяющие дать им определение, мы приходим к чему-то крайне простому. Каждая из них определяет-

ся, по сути дела, взаимными отношениями двух пар из двух терминов – пары симметричного и асимметричного, асимметричного и симметричного, во-первых, и пары подобного неподобному и неподобного подобному, во-вторых. Мы имеем, таким образом, группу из четырех означающих, обладающих тем свойством, что каждое из них может быть проанализировано как функция тех отношений, в которые вступает она с тремя другими. Чтобы подтвердить, по ходу дела, этот анализ, мне остается добавить, что, согласно Роману Якобсону, который недавно, во время нашей личной встречи свое мнение высказал, подобная группа как раз и является той минимальной группой означающих, которая необходима для обеспечения первичных, элементарных условий лингвистического анализа. А этот последний имеет, как вы увидите, прямое отношение к анализу как таковому. Более того, они совпадают. Если приглядеться к ним повнимательнее, то окажется, что один от другого по сути не отличается.

В ходе третьего года моего семинара речь шла о психозе. Мы рассматривали его как явление, в основе которого лежит изначальная нехватка означающего. Мы показали также, что происходит, когда Реальное, влекомое призывом витальности, поднимается на поверхность и занимает место, которое этой нехваткой означающего оказалось создано. Нехватка эта, которую мы, говоря о ней вчера вечером, определили немецким словом *Verwerfung*, до сих пор, должен сказать, ставит перед нами ряд трудностей, к которым нам в этом году еще предстоит вернуться. Я думаю, тем не менее, что семинар о психозе позволил вам понять если не коренную причину, то, по крайней мере, суть того механизма, который сводит Другого, большого Другого, Другого как местопребывание речи к другому воображаемому. Это и есть восполнение Символического Воображаемым.

Одновременно понятен вам стал и эффект тотального отчуждения Реального. Эффект этот, возникающий в тот момент, когда прерывается диалог бреда, являет собой то единственное, чем способен психотик поддерживать в себе нечто такое, что мы назовем своего рода ***непереходностью субъекта.*** Нам-то непереходность эта представляется вещью вполне естественной. ***Я мыслю, следовательно я существую***, говорим мы себе, к переходности не прибегая. Но для психотика в этом как раз вся трудность и заключается, и причина ее лежит не в чем ином, как в упразднении раздвоения между

большим Другим, Другим с большой буквы (Autre, A) и другим с маленькой буквы (autre, *a*). Иными словами, между Другим как местопребыванием речи и гарантией истины и другим-двойником – тем, перед лицом которого субъект оказывается в положении собственного зеркального образа. Именно исчезновение этой двойственности и обусловливает те многочисленные трудности, которые психотик испытывает, когда пытается удержать себя в Реальном человеческом – другими словами, в Реальном символическом.

В ходе этого третьего семинара, рассуждая о том, что я назвал диалогическим измерением – измерением, которое дает субъекту возможность себя в качестве субъекта поддерживать, – я проиллюстрировал его на примере первой сцены из *Гофолии* Расина. Это семинар, который, будь у меня на то время, мне очень хотелось бы переработать в письменной форме.

Я полагаю, однако, что вы не забыли тот изумительный, открывающий эту пьесу диалог, где Абнер, этот прототип фальшивого брата и двойника, уже с первого шага нащупывает себе почву. Уже в первых словах его: *Я вхожу в этот храм поклониться Творцу* звучит некая тайная попытка совращения. Та завершенность, которую мы этой пьесе придали, могла заглушить в вашей памяти некоторые смысловые ее резонансы – но полюбуйтесь, как это замечательно! Я уже обращал ваше внимание на те существенные означающие, что проскальзывают, со своей стороны, в речи Первосвященника, например: *Господь был нам верен, как ни был Он грозен* или еще: *К обетам небес почему вы глухи?* Термин *небеса*, как и несколько других слов, являются здесь, и это чувствуется, не чем иным, как чистыми означающими. Я уже указывал вам на их абсолютную пустоту. Иодай насаживает, если можно так выразиться, своего противника на крючок, как наживку, оставляя ему напоследок лишь роль жалкого червя, который обречен, как я говорил вам, занять свое место в процессии и послужить приманкой для Гофолии, которая, в конечном счете, падет жертвой этого трюка.

Отношение означающего к означаемому, в этом драматическом диалоге столь ощутимое, позволило мне сослаться на знаменитую схему Фердинанда де Соссюра, где означающее и означаемое предстают как два параллельных потока, друг от друга отличных и обреченных на непрерывное скольжение друг относительно друга. Именно в связи с этим и предложил я заимствованный у обойщиков мебели образ пристежки. Ведь если мы хотим знать, чего, хотя

бы приблизительно, нам держаться и в каких пределах скольжение возможно, необходимо, чтобы ткань означающего и ткань означаемого в какой-то точке соединялись. Имеются, таким образом, точки пристежки, но связь в эти точках сохраняет некоторую эластичность.

Именно с этого мы в нынешнем году и продолжим. Для начала скажу, что диалог Иодая и Абнера позволяет сделать еще один вывод, параллельный и симметричный тому, что был нами получен ранее – достоинство субъекта удерживает лишь тот, кто держит речь во имя самой же речи. Вспомните, в какой плоскости держит речь Иодай: *Моими устами глаголет вам Бог.* Без отсылки к этому Другому субъекта нет и не может быть. Перед нами символ того, без чего никакой подлинной речи не может быть.

Что касается четвертого года семинара, то в ходе его я стремился продемонстрировать вам, что не существует иного объекта, кроме объекта метонимического: ведь объект желания – это всегда объект желания Другого, а само желание – это всегда желание Другой вещи, точнее, того, чего не хватает, *а*, объекта, который изначально утрачен и который, как показывает нам Фрейд, мы вечно обречены открывать заново. Как не существует и иного смысла, кроме метафорического, – ведь и возникает-то смысл не иначе, как в результате замены в означающей цепочке одного означающего на другие.

Именно такие выводы можно сделать из работы, о которой я вам только что напоминал и к которой рекомендовал вам обратиться, – *Инстанция буквы в бессознательном.* Следующие символические записи представляют собой формулы, соответственно, метонимии и метафоры:

$$f(S...S')S'' \cong S(-)s$$

$$f(S': S)\ S'' \cong S(+)s$$

В первой из этих формул S связана в комбинациях цепочки с S', а целое соотносится с S'', что позволяет в результате поставить S в определенное метонимическое отношение к s на уровне значения. И точно таким же образом замена S на S' по отношению к S'' дает в итоге соотношение S(+)*s*, которое указывает здесь – это легче сформулировать, чем в случае метонимии, – на возникновение, на создание смысла.

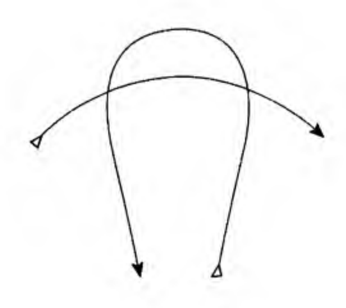
Итак, вот к чему мы пришли. Приступим теперь к тому, что станет для нас предметом исследования в этом году.

2

Чтобы к этому предмету приступить, я нарисовал для вас схему и расскажу сейчас, что именно – во всяком случае на сегодняшний день – она поможет вам уяснить.

В поисках наиболее точного способа описать связь между цепочками означающих и означаемых, остановимся на примитивной схеме точки пристежки.

Чтобы операция эта была законной, следовало бы спросить себя, где находится сам обойщик. Где-то он, разумеется, присутствует, но место, которое должен был бы занять он на этой схеме, соответствовало бы слишком уж раннему детству.



Поскольку между означающей цепочкой и потоком означаемых имеет место взаимное скольжение, в котором самая суть соотношений между ними и состоит, и поскольку, несмотря на это скольжение, между этими двумя потоками существует связь и согласованность, место происхождения которых нам как раз и предстоит обнаружить, нетрудно предположить, что скольжение это является, по необходимости, относительным. Смещение одного влечет за собой смещение другого. А это значит, что нечто вроде взаимопересечения двух противоположно направленных линий в своего рода идеальном настоящем как раз и явится для нашего случая показательной схемой.

Итак, вот то, вокруг чего можем мы строить свои рассуждения.

Беда лишь в том, что, каким бы важным это понятие настоящего нам ни казалось, дискурс не является, если можно так выразиться, точечным событием в смысле Рассела. Дискурс не только обладает собственной материей и фактурой – он занимает определенное время, у него есть временное измерение, он обладает плотнос-

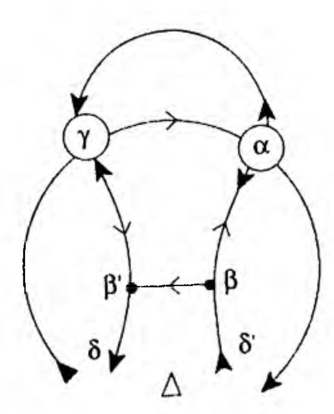
тью. Удовлетвориться мгновенным настоящим мы категорически не можем – весь наш опыт, как и все соображения, высказанные нами прежде, восстают против этого. Это можно немедленно показать на примере речи. Когда я, скажем, начинаю произносить фразу, смысл ее остается вам неясен до тех пор, пока я ее не закончу. Чтобы вы поняли первое слово фразы, совершенно необходимо – это, собственно, определение фразы и есть, – чтобы я произнес последнее. Вот самый наглядный образчик того, как означающее действует задним числом (*nachträglich*). Это как раз то, что я неустанно демонстрирую вам, в масштабах несравненно больших, на примере текстов аналитического опыта как такового, где речь идет об истории прошлого.

С другой стороны, одно, по крайней мере, остается несомненным – и это мною в *Инстанции буквы* с нарочитой тщательностью сформулировано. Я прошу вас время от времени к этой работе возвращаться. Положение, о котором я говорю, выражено в ней в форме метафоры – метафоры, если можно так выразиться, топологической: означающее, означаемое и субъект не могут быть представлены лежащими в одной плоскости. В положении этом ничего таинственного и темного нет – у меня в тексте, в рассуждении по поводу картезианского *cogito*, оно вполне ясно доказывается. Возвращаться к этому доказательству я сейчас, однако, не стану, так как положение, о котором я говорю, встретится нам здесь в несколько иной форме.

Напоминаю же я вам об этом лишь для того, чтобы оправдать введение тех двух линий, которыми далее собираюсь манипулировать.

Треугольный стопор обозначает начало пути следования, а стрелка – его конец. Слева направо идет знакомая вам первая линия, за которую, два раза пересекая ее, цепляется, подобно крюку, вторая.

Хочу предупредить вас, чтобы вы не путали то, что эти две линии изображали прежде, то есть означающее и означаемое, – с тем, что они представляют на этой схеме. Здесь есть небольшая разница: теперь мы целиком располагаемся в плоскости означающего. Эффекты, производимые им в плоскости означаемого, относятся к другой области и в непосредственном виде здесь не представлены. На этой схеме речь идет о двух состояниях или функциях, которые последовательность означающих позволяет нам выявить.



Первая линия схемы представляет означающую цепочку, которая остается здесь для собственно означающих эффектов метафоры и метонимии полностью проницаемой. Это предполагает возможность актуализации означающих эффектов на всех уровнях, вплоть до фонематического. Именно на фонематическом элементе основана, собственно говоря, игра слов, каламбуры и т. д. Короче говоря, именно этот элемент и является в означающем тем, с чем нам, аналитикам, без конца приходится вступать в игру. Все те из вас, кто пришли сюда не впервые, уже имеют об этом некоторое представление – именно поэтому и начнем мы сегодня подбираться к субъекту бессознательного со стороны остроты, *Witz*.

Что касается другой линии, то это линия дискурса рационального – дискурса, в который уже включается определенное количество ориентиров, вещей фиксированных. Вещи эти порою не могут быть с точностью уловлены иначе как на уровне возможных способов использования означающего, то есть на уровне того, что конкретно, в прагматике дискурса, образует некие фиксированные точки. Вы сами прекрасно знаете, что точки эти никакой вещи однозначно не соответствуют. Нет такой семантемы, которая отвечала бы одной-единственной вещи. По большей части семантема соответствует целому ряду вещей очень различных. Мы останавливаемся здесь на уровне семантики, то есть того, что фиксировано и определено конкретным образом своего использования.

Таким образом, это не что иное, как линия дискурса обыденного, обыкновенного – в том виде, в котором допущен он кодом дискурса, который я назвал бы дискурсом общей для нас реальности. Это, надо добавить, тот уровень, на котором [illegible]-

исходит ранее всего, потому что смысл на нем в каком-то отношении уже дан. По большей части дискурс этот состоит лишь в добросовестном перемалывании ходячих идеалов. Именно на этом уровне и возникает пресловутый *пустой дискурс* – дискурс, послуживший отправной точкой целого ряда моих наблюдений относительно функции речи и области языка.

Как видите, линия эта представляет собой линию конкретного дискурса индивидуального субъекта, который говорит и заставляет себя выслушивать, – дискурса, который можно записать на пластинку. В отличие от нее, первая линия воплощает собой все то, что включено сюда в качестве возможности искажения, перетолкования, резонанса, метафорических и метонимических эффектов. Направлены линии в противоположные стороны – по той простой причине, что друг относительно друга они скользят. Одна из них, однако, пересекает другую. И пересекаются они в двух точках, которые с легкостью распознаваемы.

Если мы станем исходить из дискурса, то первая точка, где он встречает означающую цепочку как таковую, соответствует тому, о чем я только что толковал вам с точки зрения означающего – точке α.

Чтобы дискурс был расслышан, где-то в наличии должен пребывать код. Очевидно, что налицо он в большом Другом (A), то есть в Другом как спутнике языка. Этот Другой – абсолютно необходимо, чтобы он существовал, причем, прошу заметить, вовсе не обязательно нарекать его столь идиотским и бредовым термином, как *коллективное сознание*. Другой – он и есть Другой. Одного такого Другого вполне достаточно, чтобы язык оставался живым. Больше того, нашу первую фазу этот Другой вполне может осуществить сам, в одиночестве. В самом деле, допустим, что налицо из Других лишь один, способный притом говорить на своем языке с собой самим – этого окажется вполне достаточно, чтобы налицо оказался он сам, и не просто Другой, а даже два, во всяком случае еще кто-то, кто его понимает. Отпускать на языке остроты можно даже тогда, когда вы являетесь единственным его носителем.

Итак, вот первая встреча – встреча, которая происходит на уровне того, что мы называем кодом. Вторая же, замыкающая петлю встреча – та, что, исходя из кода, с которым встретилась прежде, приводит к образованию смысла, – происходит в точке завершения, которую мы обозначили γ. Как видите, на схеме в нее упираются две стрелки, и о том, что означает вторая, я вам покуда гово-

рить воздержусь. Результат совпадения дискурса с означающим как творческим носителем смысла – это и есть сообщение.

В сообщении смысл является на свет. Истина, которую надлежит возвестить, если таковая есть, находится именно тут. По большей части никаких истин не возвещается – по той простой причине, что чаще всего дискурс вообще означающую цепочку не пересекает, что он представляет собой просто-напросто бормотание повторения, мельницу слов, поток которых образует короткое замыкание между пунктами β и β'. Такой дискурс не говорит абсолютно ничего – разве что сигнализирует вам, что перед вами говорящее животное. Это дискурс обыденный, и состоит он из слов, задачей которых является не сказать ничего – дискурс, благодаря которому мы убеждаемся, что имеем дело не с диким зверем, которым является человек в природном своем состоянии, а с чем-то иным.

Опознать оба узловых пункта цепочки короткого замыкания дискурса не составляет труда. С одной стороны, в точке β' – это объект, в смысле того метонимического объекта, о котором говорил я вам в прошлом году. С другой стороны, в точке β – это Я, поскольку оно указывает нам в самом дискурсе место говорящего.

Схема позволит вам наглядно разобраться в том, что связывает между собой и отличает друг от друга высказываемое, с одной стороны, и высказывание, с другой. Истина эта вполне и непосредственно доступна и опыту чисто лингвистическому, но опыт фрейдовского психоанализа со своей стороны подтверждает ее, усматривая принципиальное различие между Я, которое является не чем иным, как местом того, кто в означающей цепочке держит речь (местом, которое, кстати сказать, в том, чтобы его обозначали как Я, вовсе и не нуждается), с одной стороны, и сообщением, для существования которого минимальный аппарат настоящей схемы абсолютно необходим, с другой. Вывести из существования какого-либо субъекта какое-либо сообщение или речь, вывести так, как если бы они излучались из него как из единого центра, абсолютно невозможно, пока всего этого сложного образования нет налицо – невозможно по той простой причине, что речь-то как раз и предполагает существование означающей цепочки.

Происхождение ее исследовать далеко не просто – мы затратили целый год, прежде чем прийти к своим выводам. Она предполагает существование целой сети функциональных ролей, другими словами – способов использования языка. Она предполагает, к тому

же, наличие всего того механизма, под действием которого, что бы вы ни говорили, думая о том или не думая, как бы вы вашу мысль ни формулировали, стоит вам на колесе словесной мельницы оказаться, как дискурс ваш немедленно начинает говорить больше, чем то, что намереваетесь сказать вы.

Более того, будучи речью, дискурс уже поэтому только базируется на существовании где-то той отсылочной инстанции, которой служит план истины – истины, от реальности отличной, что делает возможным возникновение новых смыслов, в мир или в реальность введенных. Речь идет не о смыслах, которые там уже есть, а о смыслах, которые под действием истины там возникают, которые она буквальным образом туда вводит.

Вы видите на схеме, что от сообщения, с одной стороны, и от Я, с другой, отходят, излучаются в разных направлениях по две маленьких стрелочки, обозначенных черточками. От Я одна стрелка указывает в сторону метонимического объекта, вторая – в направлении Другого. Симметрично им, следуя путем возвращения дискурса, направлено к Другому и к метонимическому объекту сообщение. Прошу заметить, что все это говорится лишь предварительно, но вы сами впоследствии убедитесь, что обе эти очевидные для вас линии – та, что идет от Я к другому, и та, что идет от Я к метонимическому объекту, – окажутся нам очень полезны.

Вы увидите также, чему соответствуют и две другие линии, поразительно интересные, что идут от сообщения к коду и обратно, от кода к сообщению. Этот последний, обратный вектор действительно существует, и, как показывает схема, не существуй он, ни малейшей надежды на создание смысла у нас не было бы. Именно во взаимодействии между сообщением и кодом, а следовательно, в частности, и по линии возврата кода к сообщению, активизируется то существенное измерение, в котором оказываемся мы, имея дело с остротой.

Именно в этом измерении и задержимся мы на несколько лекций, наблюдая за теми необычайно показательными и многозначительными явлениями, что могут там иметь место.

И это даст нам еще один случай установить те зависимости, которые связывают пресловутый метонимический объект, которым начали мы заниматься в прошлом году, – объект, который никогда не бывает налицо, который всегда находится где-то в другом месте, который каждый раз представляет собой нечто другое.

Рассмотрим теперь, что же такое *Witz*.

3

Witz – это то, что передают по-французски выражением *trait d'esprit*, *острота*. Мы говорим иногда и *mot d'esprit*, *острословие* – я не буду сейчас распространятся о причинах, по которым первый перевод мне кажется предпочтительнее. Но *Witz* означает также и *esprit* (остроумие, ум, дух). Таким образом, термин этот с самого начала предстает как крайне двусмысленный.

Острота, шутка является предметом некоторого осуждения – она может предполагать легкомыслие, несерьезность, склонность к капризу и выдумке. А как насчет *esprit*, *остроумия*? Здесь, напротив, каждый хорошенько задумается, прежде чем подобные выводы сделать.

Стоит, пожалуй, сохранить за словом *esprit* весь спектр его значений, вплоть до "духа", что столь часто служит прикрытием разных сомнительных сделок, – духа, от имени которого выступает спиритуализм. Но и в этом случае у понятия *esprit* останется, тем не менее, центр тяжести – центр, который мы безотчетно ощущаем, когда называем человека *spirituel*, остроумным, совсем не обязательно подразумевая при этом высокую его духовность. Концентрацией *esprit* является для нас *trait d'esprit*, острота – то есть, как ни странно, то самое, что кажется в нем наиболее случайным, неустойчивым, уязвимым для критики. Такие вещи вполне в духе психоанализа, и не стоит потому удивляться, что единственным местом в творчестве Фрейда, где *esprit*, столь часто награждаемый у других авторов заглавной буквой, упоминается, это его работа о *Witz*, остроумии. Родство между обоими полюсами термина, тем не менее, сохраняется, что издавна служило нотами, по которым разыгрывались различные словесные прения.

Было бы интересно напомнить вам и об английской традиции. Английское *wit* превосходит своей двусмысленностью не только немецкое *Witz*, но и французское *esprit*. Споры об отличии подлинного, настоящего остроумия, остроумия доброкачественного, одним словом, от остроумия злокозненного, которым забавляют общество словесные жонглеры – споры эти не знали конца. Пережив век восемнадцатый, век Аддисона и Поупа, они наследуются в начале девятнадцатого века английской романтической школой, где вопрос о *wit* неизменно оказывался на повестке дня. Писания Хаз-

литта в этом отношении очень показательны. Но дальше всего в этом направлении пошел Кольридж, о котором впоследствии у нас будет еще повод поговорить.

Заодно я мог бы рассказать вам и о традиции немецкой. Так, в частности, выдвижение остроумия на первый план в литературе христианского толка происходило строго параллельным образом и в Германии. Вопрос о *Witz* являлся центральным для всей немецкой романтической мысли, которая не раз еще привлечет к себе наше внимание как с точки зрения исторической, так и с точки зрения ситуации, сложившейся в психоанализе.

Поразительно то, что у нас не имеется ничего, что этому интересу критики к проблематике *Witz* и *wit* соответствовало бы. Единственными, кто воспринимали эти вопросы всерьез, были поэты. Интерес к этим вопросам живет у них в течение всего девятнадцатого века, более того – в творчестве Бодлера и Малларме он является центральным. Что касается других, помимо поэзии, областей, то в них – даже в эссе – вопросы эти ставились не иначе, как с точки зрения критической, то есть, я хочу сказать, с точки зрения интеллектуальной формулировки проблемы.

Я оставляю в стороне главную традицию, испанскую – она настолько важна, что нам поневоле придется впоследствии постоянно к ней обращаться.

Главное состоит в следующем: что бы вы о проблеме *Witz* или *wit* ни читали, в конечном счете вы всегда окажетесь в том тупике, о котором лишь время не позволяет мне сегодня вам рассказать – я к этому еще вернусь. Но, опуская эту часть своих рассуждений, я продемонстрирую вам впоследствии, какой скачок, какой откровенный разрыв с традицией, какие иные по качеству результаты ознаменовали собой работы Фрейда.

Исследования, о которых я вам говорю, исследования европейской традиции *Witz* Фрейд не проводил. Относительно источников его сомнений нет, он их называет – это три весьма основательных, вполне читаемых книги, авторы которых принадлежат к той замечательной категории профессоров из провинциальных немецких университетов, у которых было время спокойно подумать и от которых можно услышать вещи, где педантизма нет и следа. Это Куно Фишер, Теодор Вишер, а также Теодор Липпс, чья книга из трех наиболее замечательна и в выводах своих идет весьма далеко, протягивая руку навстречу фрейдовскому открытию. Не будь г-н Липпс

столь озабочен тем, чтобы сохранить своему *Witz* его респектабельность, не пожелай он делить его на *Witz* истинный и *Witz* ложный, он продвинулся бы куда дальше. Фрейда, напротив, это деление нисколько не занимало. Компрометировать себя было для него делом привычным – именно поэтому и оказался он куда более дальновидным. Как, впрочем, и потому, что ему ясны были структурные отношения, связывающие *Witz* с бессознательным.

В каком плане были они ему ясны? Исключительно в том, который можно назвать формальным. *Формальным* не в смысле прекрасных форм, округлостей, всего того, что грозит затянуть вас в пучину самого мрачного обскурантизма, а в том смысле, в котором говорят о форме, к примеру, в истории литературы. Есть, между прочим, еще одна традиция, о которой я вам не говорил, потому что мне придется обращаться к ней часто, традиция совсем недавняя – это традиция чешская. Вы, в силу вашего невежества, воображаете, будто ссылки на формализм носят у меня характер неопределенный. Отнюдь нет. Слово формализм означает нечто совершенно конкретное – это школа литературной критики, которую государственная организация, ассоциирующая себя со *спутником*, уже в течение некоторого времени преследует. Как бы там ни было, но именно на уровне формализма, то есть структурной теории означающего как такового, Фрейд свое место и занимает, и результат оказывается отнюдь не сомнителен, а, напротив, вполне убедителен. Фрейд получает ключ, который позволяет ему продвинуться существенно дальше.

Теперь, когда я настоял на том, чтобы вы время от времени читали мои статьи, мне уже нет, наверное, нужды убеждать вас прочесть книгу Фрейда *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*. Поскольку темой нашей в этом году является *Witz*, мне это требование представляется минимальным. Как вы увидите, строится эта книга на том, что Фрейд исходит из техники остроты и к ней же, к технике, всегда возвращается. Что это у него за техника? Обычно говорят, что речь идет о *технике словесной*, вербальной. Я формулирую это точнее: речь идет о *технике означающего*.

Именно потому, что Фрейд исходит из техники означающего и к этой технике без конца возвращается, – именно поэтому удается ему действительно эту проблему распутать. Теперь, когда он обнаружил в ней несколько независимых планов, стало вдруг со всей отчетливостью очевидным, что именно должны мы суметь разли-

чить, чтобы не заплутать в бесконечных лабиринтах означаемого, в тех мыслях, которые мешают нам из этого положения выйти. Стало ясно, к примеру, что существует проблема остроумия, с одной стороны, и проблема комического, с другой, и проблемы это совершенно разные. То же самое касается проблемы комического и проблемы смеха: хотя время от времени они рассматривались как одна, более того, путались порою все три, на самом деле это тоже проблемы различные.

Короче говоря, желая пролить свет на проблемы остроумия, Фрейд исходит их техники означающего, и именно ее сделаем и мы, вслед за ним, нашим отправным пунктом.

Как ни странно, но происходит это на уровне, который, разумеется, не фигурирует как уровень собственно бессознательного, но зато, в силу ряда глубоких причин, имеет прямое отношение к самой природе того, что именуется *Witz*, – и вот как раз тогда, когда внимание наше приковано к нему, и получается у нас лучше всего разглядеть то, что лежит от этого уровня в стороне и что, собственно, бессознательным и является. Бессознательное вообще становится видно и дается нам лишь тогда, когда смотрим мы немного в сторону. Это то самое, с чем вы постоянно имеете дело в *Witz*, ибо в этом-то его природа и состоит – вы смотрите туда, куда вам указывают, и именно это позволяет вам разглядеть что-то другое, чего там нет.

Итак, воспользуемся, вслед за Фрейдом, этим ключом к технике означающего.

За примером Фрейд далеко не ходил – почти все, что он нам предлагает и что может показаться вам несколько приземленным и по ценности своей очень неравнозначным, почерпнуто им у вышеупомянутых трех профессоров, почему я свое уважение к ним перед вами и засвидетельствовал. Но есть, однако, еще один источник – источник, Фрейда поистине напитавший. Источник этот – Генрих Гейне, из которого и заимствует Фрейд свой первый пример.

Речь идет о замечательном словце, слетевшем с уст Гирша Гиацинта, еврея из Гамбурга, сборщика лотерейных билетов – нуждающегося, впроголодь живущего человека, с которым встретился Гейне в *Банях Лукки*. Если вы хотите получить исчерпывающее представление о том, что такое *Witz*, вам совершенно необходимо прочесть *Reisebilder*, *Путевые зарисовки* Гейне. Поразительно, что книга эта до сих пор не стала классической! Именно в ней, в итальянском ее разделе, и находится тот отрывок, где фигурирует этот умо-

рительный персонаж, о некоторых чертах которого у меня будет еще, надеюсь, сегодня время вам кое-что рассказать.

В разговоре с Гиршем Гиацинтом Гейне услыхал от него, что тот имел некогда честь выводить мозоли на ногах у самого великого Ротшильда, Натана Премудрого. Причем, срезая мозоли, он, Гирш, внушал себе, что является теперь лицом очень важным. Ведь во время операции – думал он – Натан Премудрый размышляет о посланиях, которые предстоит направить ему сильным мира сего, и если он, Гирш Гиацинт, ненароком заденет его слишком больно, не заденет ли в результате раздраженный клиент за живое своих адресатов?

Постепенно, слово за слово, Гирш Гиацинт вспомнил и о другом знакомом ему Ротшильде по имени Соломон. В день, когда он отрекомендовался этому последнему как Гирш Гиацинт, тот добродушно ответил: "Я ведь тоже лотерейный коллекционер в своем роде, лотереи Ротшильда, и мне не пристало принимать коллегу на кухне". "После чего, – пишет Гирш Гиацинт, – он обходился со мной совершенно фамиллионьярно".

Именно это останавливает на себе внимание Фрейда. Что значит "фамиллионьярно"? Что это – оговорка, неологизм или, может быть, острота? Острота, конечно, – но сам факт, что я смог предложить еще два варианта ответа, говорит о двусмысленности, присущей означающему в бессознательном.

Так что же говорит Фрейд? Он говорит, что здесь налицо механизм конденсации, что материализована эта конденсация в материале означающего, что речь идет о явлении, когда две линии означающей цепочки оказываются, с помощью какого-то механизма, склепаны вместе. Фрейд подытоживает шутку в очень забавной означающей схеме, где сверху записано слово *"фамильярный"*, а под ним, снизу, располагается слово *"миллионер"*. Фонетически, благодаря наличию чередования *рно/онер* и совпадению слога *мил/милл* в обоих словах, происходит сгущение, давая в результате их скрещивания слово *"фамиллионьярный"*:

фамиль ярно
милли онер

фа**милл**ионь**ярно**

Посмотрим, чему это соответствует в схеме, которая нарисова-

на у нас на доске. Мне поневоле приходится спешить, но кое на что я все-таки хочу обратить внимание.

Дискурс можно, конечно, схематизировать, сказав, что он исходит от Я и направлен к Другому. Правильнее будет, однако, обратить внимание на то, что всякий дискурс отправляется, что бы мы на сей счет ни думали, от Другого, α, после чего, в β, отразившись от Я, которое должно все-таки в процессе как-то участвовать, возвращается к Другому вторично – слова "*я был с Соломоном Ротшильдом в отношениях фамиллионьярных*" на свидетельство Другого как раз и ссылаются, – откуда и устремляется, в конечном счете, в направлении сообщения, γ.

Не забывайте, однако, что интересна наша схема тем, что линий в ней две и что какая-то циркуляция происходит одновременно и на уровне означающей цепочки. Благодаря таинственному свойству присутствующих в обоих словах фонем в означающем происходит соответствующий сдвиг, элементарная означающая цепочка сотрясается. Со стороны цепочки в процессе можно выделить три временных такта.

Первому такту соответствует первоначальный, черновой проект сообщения. На втором этапе в цепочке происходит отражение в β' от метонимического объекта, *мой миллионер*. И в самом деле – ведь для Гирша Гиацинта речь идет не о чем ином, как о метонимическом, схематизированном объекте, ему принадлежащем. Это именно *его* миллионер. С другой стороны, дело обстоит как раз наоборот – скорее миллионеру принадлежит он сам. В результате сообщение не проходит. Именно поэтому *миллионер* и отражается от β' во втором такте, то есть в то же самое время, когда другое слово, *фамильярный,* оказывается в α.

В третьем такте *миллионер* и *фамильярный* и соединяются в сообщении в точке γ, образуя слово *фамиллионьярный*.

Схема эта, несмотря на свои достоинства – ведь это я ее придумал, – может вам показаться ребяческой. В дальнейшем, однако, убедившись в течение года не раз, что она работает, вы сами признаете, что кое-какая польза в ней есть. В частности, благодаря топологическим требованиям, ею к нам предъявляемым, она позволяет нам рассчитывать свои шаги в том, что касается означающего. Построена она так, что, каким бы образом вы ее ни пробегали, она неизменно наши шаги ограничивает – я хочу сказать, что каждый раз, когда нам придется делать очередной шаг, схема потребует, чтобы

мы сделали не больше трех простейших шагов. Именно этим обусловлено направление маленьких треугольных стопоров (из которых линии берут начало), затушеванных стрелок, а также стрелок штриховых, относящихся к сегментам, которые всегда занимают положение вторичное, промежуточное. Все остальные, в отличие от них, являются либо начальными, либо конечными.

Итак, на протяжении этих трех тактов, обе цепочки – цепочка дискурса и цепочка означающего – сошлись в одной точке, точке сообщения. В результате чего и вышло, что с господином Гиршем Гиацинтом обращались вполне *фамиллионьярно*.

Сообщение это совершенно нелепо – в том смысле, что оно так и не получено, оно не предусмотрено кодом. В том-то все и дело. Разумеется, сообщение в принципе для того и существует, чтобы находиться с кодом в отношениях, предполагающих некоторое между ними отличие, но в данном случае явное нарушение кода имеет место на уровне самого означающего.

Предлагаемое мною определение остроты опирается в первую очередь на то, что сообщение вырабатывается на определенном уровне продуктивной деятельности означающего, что оно дифференцируется с кодом, становится от него отличимым и что посредством этого отличия и этой дифференциации оно как раз и получает достоинство сообщения. Весь секрет сообщения именно в отличие его от кода и состоит.

Каким же образом отличие это санкционируется? Вот здесь-то и возникает тот второй план, о котором у нас идет речь. Различие это санкционируется в качестве остроты Другим. Это совершенно необходимо, и мысль Фрейд говорит об этом.

В книге Фрейда об остроте важны два момента – значение, которое придает он технике означающего, и эксплицитная отсылка к Другому как третьей инстанции. Отсылка эта, о которой твержу я вам уже годы, звучит у Фрейда абсолютно недвусмысленно – особенно во второй части работы, хотя налицо она, само собой разумеется, с самого начала.

Так, Фрейд настойчиво говорит о разнице между остроумным и комическим, которую усматривает в том, что комическое двоично. В основе комического лежат отношения внутри двоицы, в то время как для остроты нужна третья инстанция, Другой. Санкция этого Другого, независимо от того, представлен он в действительности неким индивидом или же нет, абсолютно необходима. Имен-

но Другой отбивает мяч, именно Другой указывает сообщению его место в коде в качестве остроты, именно он говорит в коде: *это острота.* Если никто этого не сделает, никакой остроты не будет. Если никто ничего не заметил, если *фамиллионьярно* воспринято как оговорка, острота не состоялась. Необходимо, таким образом, чтобы Другой кодифицировал это слово как шутку – чтобы в результате вмешательства этого Другого она оказалась вписана в код.

Третий элемент определения: острота связана с чем-то таким, что глубоко укоренено на уровне смысла. Я не имею в виду какую-то частную истину – содержащиеся в остроте тонкие намеки на что-то вроде психологии богача и паразитирующего на нем бедняка какое-то дополнительное удовольствие нам, разумеется, доставляет – к этому мы еще вернемся, – но объяснить нам возникновение слова *фамиллионьярно* они не способны. Я имею в виду истину как таковую, Истину с большой буквы.

Итак, с сегодняшнего дня я утверждаю, что суть остроты – если мы собираемся ее искать и искать ее вместе с Фрейдом, который дальше других уведет нас в том направлении, куда указывает нам ее острие (и острие – нами искомое – у нее, безусловно, есть), – суть остроты повторяю, состоит в связи ее с тем совершенно особым измерением, которое имеет непосредственное отношение к истине, а именно тем, что в моей статье *Инстанция буквы* было названо ее, истины, *измерением алиби.*

Когда мы пытаемся подойти к сути остроты возможно ближе, становится ясно одно: то, о чем всегда при этом заходила речь, что неизбежно вызывает у нас нечто вроде умственной диплопии и что остроту, собственно, и составляет, заключается в следующем – острота указывает, причем всегда где-то в стороне, на нечто такое, что видно лишь при условии, что вы на него не смотрите.

Именно с этого мы в следующий раз и начнем. Я понимаю, конечно, что оставляю вас перед нерешенной проблемой, перед загадкой. Мне кажется, тем не менее, что мне удалось, по крайней мере, предложить термины, по поводу которых, как я попробую в дальнейшем вам доказать, нам обязательно удастся найти с вами общий язык.

6 ноября 1957 года

II
Миллиардурень

Подстановка, сгущение,
метафора
Сраженный
От остроты к оговорке и
провалу в памяти
Развалины и метонимические
искры
Паразит и его господин

Начнем наше изложение с того места, на котором мы прервали его в прошлый раз – с момента, когда Гирш Гиацинт, беседуя с автором "*Reisebilder*" в *Банях Лукки*, говорит ему: "Как Бог свят, я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и тот обращался со мною совсем как с равным, совершенно фамиллионьярно".

1

Итак, мы начинаем со слова *фамиллионьярно*. Ему, можно сказать, повезло. Известностью оно обязано тому, что послужило для Фрейда отправной точкой. Именно на нем и попытаюсь я продемонстрировать вам подход Фрейда к анализу остроумия.

Если анализ его будет нам полезен или пример этот окажется показательным, то произойдет это потому, что он с несомненной очевидностью демонстрирует нам – а необходимость в такой демонстрации, увы, есть – насколько важная роль в том, что можем мы, следуя Фрейду, назвать механизмом бессознательного, принадлежит означающему.

Поразительно наблюдать за тем, как сталкиваясь со столь деликатным явлением, как афазия, неврологи, в рамках собственной дисциплины никакой специальной подготовки для этого не получившие, с каждым днем добиваются в том, что можно назвать их лингвистическим образованием, все более заметных успехов, в то время как психоаналитики, чье искусство и технические приемы основаны на использовании речи, не придают до сих пор лингвистической подготовке ни малейшего значения – и это притом, что сам Фрейд обращается к филологии вовсе не для того, чтобы продемонстрировать свое гуманитарное образование и начитанность, что учение его связано с филологией внутренне, органично.

За время, истекшее с нашей последней встречи, все вы – во всяком случае большинство из вас, я надеюсь, – успели книгу Фрейда, посвященную понятию *Witz*, полистать, и заметили, может быть, что вся аргументация его строится вокруг техники остроумия, трактуемой как техника языка. Если те явления смысла и значения, которые в остроумии возникают, кажутся ему достойными сопоставления с бессознательным, то происходит это лишь потому, что в основе их он видит функцию наслаждения. Я настаиваю на этом совсем не случайно: все, что мне об остроумии предстоит вам сказать, с этим прекрасно согласуется – самое существенное всегда вращается исключительно вокруг аналогий структурного порядка, которые поддаются выражению лишь на языке лингвистики и которые неизменно обнаруживаются между технической или вербальной стороной остроты и собственно бессознательными механизмами, описанными Фрейдом под различными названиями, лишь двумя из которых – *сгущением* и *смещением* – я сегодня и ограничусь.

Итак, вот с чего мы начинаем. Гирш Гиацинт, персонаж Генриха Гейне, рассказывает поэту о том, что с ним приключилось. Возьмем отрывок, который я в начале лекции выделил. Начинается он с выражения, недвусмысленно направленного на то, чтобы окружить ореолом значимости и возвести на своего рода пьедестал то, что за ним последует. Оно представляет собой призыв в свидетели того всеобщего Свидетеля, с которыми субъект личными узами связан, Бога. *Как Бог свят* – слова эти по смыслу своему безусловно значительны и в то же время ироничны в силу той фальши, которую реальность сможет в них обнаружить. Продолжение фразы, *я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом и тот обращался со мною совсем как с равным*, знаменует возникновение объекта. Слово *совсем* тоже довольно показательно. Всякий раз, когда мы апеллируем ко всеобщности, это служит верным признаком нашей неуверенности в том, что такая всеобщность в действительности образована. Причем справедливо это для многих уровней – я бы даже сказал, для всех уровней – на которых мы понятием всеобщности пользуемся.

И в завершение, наконец, возникает явление неожиданное: звучит то скандальное высказывание, то ни в какие ворота не идущее сообщение, о котором мы даже не знаем еще, что это такое, по поводу которого мы можем пока только развести руками – *совершенно фамиллионьярно*.

Что это – поражение или успех? Беспомощная пробуксовка или удачная поэтическая находка? Этого мы не знаем. Возможно, и то и другое. Стоит, однако, на этом явлении остановиться и изучить возникновение его, строго придерживаясь плоскости означающего. Как я уже вам в прошлый раз объяснял, здесь налицо функция означающего, остроте как раз свойственная, ибо острота как раз и есть означающее, которое ускользает от кода, то есть от всех тех означающих образований, которые успели до сих пор в результате деятельности означающего по производству означаемого накопиться. Является на свет нечто новое, нечто такое, что может быть увязано с самими истоками того, что называем мы развитием языка, его изменением. Однако прежде чем к нему подойти, нам придется остановиться на самом образовании его, ибо теперь это позволит нам объяснить его, исходя из механизма образования означающего.

Явлением центральным, существенным, является тот узел, тот пункт, где это новое и парадоксальное означающее, *фамиллионьярно*, появляется. Из него Фрейд исходит, к нему без конца возвращается, на нем просит задержать внимание. Вы сами увидите, что, рассуждая об остроумии, он до самого конца непременно обращается к нему как чему-то принципиально важному. Специфика остроты есть дело техники. Здесь же нам является сама суть дела. Преподавая нам урок в нашей собственной области, в плане отношений с бессознательным, явление это позволяет одновременно разглядеть в иной, новой перспективе как те тенденции (именно такое слово употреблено в книге Фрейда), которые остроту вызывают к жизни, так и все то, что ее окружает и ею самой излучается – комическое, смех и т. д. Не остановившись на этом явлении, мы не сможем серьезно разобраться ни в сопровождающих его последствиях, ни в истоках и поводах его возникновения.

Итак, остановимся на слове *фамиллионьярно*. Подойти к нему можно по-разному. Наша схема как раз и призвана нам в этом деле помочь. Другое достоинство схемы связано с тем, что в нее вписывается сразу несколько различных планов, в которых выработка означающего происходит – я предпочел слово *выработка*, потому что на нем остановил свой выбор сам Фрейд. Чтобы не напугать вас неожиданностью, начнем наш анализ на уровне смысла.

Что происходит с появлением слова *фамиллионьярно*? В первую очередь, мы чувствуем некую нацеленность на смысл, смысл иронического, даже сатирического характера. Менее очевидным обра-

зом, развиваясь как реакция на это появление и выходя в широкий мир вслед за ним, возникает вдобавок некий объект, стремящийся, скорее, по характеру своему, к комическому, к абсурду, к бессмыслице. Таков *фамиллионер* – персонаж, воплощающий собой насмешку над миллионером и тяготеющий к становлению в качестве типа.

Нетрудно показать, в каком именно направлении ведет его стремление воплотиться. Сам Фрейд мимоходом замечает нам, что Генрих Гейне, вновь эту остроту обыгрывая, называет миллионера *Millionarr*, что означает что-то вроде "глупого миллионера". Для нашего персонажа это звучало бы примерно как *фамиллиардурень*.

Подход этот показывает, что мы приобретаем человеческий облик. И это хорошо – при условии, что мы не зайдем в этом направлении слишком далеко. Это тот случай, когда лучше с очередным шагом не торопиться. Главное здесь – не понять все слишком быстро, потому что поняв быстро, мы не поймем ничего. Подобные соображения не объясняют еще ни самого явления, ни того, какое место занимает оно в устроении означающего вообще.

2

Говоря об этом, мне приходится настоять на том, чтобы все присутствующие ознакомились с приведенными мною в *Инстанции буквы* примерами тех функций означающего, которые я называю существенными, поскольку именно в них служит означающее тем плугом, что прокладывает в реальности борозды означаемого, буквально вызывает его, словно заклятием, к жизни, порождает его, распоряжается им. Речь идет о функциях метафоры и метонимии.

Похоже, что для иных из вас статья эта кажется недоступной в силу того, что можно назвать, скажем, моим стилем.

Сожалею, но ничего не могу поделать – мой стиль, он мой стиль и есть. Попросим их совершить над собой некоторое усилие. Замечу лишь, что каковы бы ни были его недостатки, обусловленные личными моими особенностями, есть в трудности моего стиля, как они могут, возможно, догадываться, и нечто такое, что соответствует самому предмету, о котором у меня идет речь. Поскольку задача, по сути дела, состоит в том, чтобы всерьез вести речь о творческих функциях означающего в отношении к означающему, то есть не просто вести речь о речи, а, в попытке выявить ее функции, вести речь, следуя ее, самой этой речи, руслу, то стилю волей-неволей ока-

зываются продиктованы некоторые внутренние закономерности – сжатость, намеки, игра слов, – которые служат решающими элементарными условиями для проникновения в область, само построение которой, не говоря уже о магистральных ее путях, определяется именно ими. В ходе дальнейших моих рассуждений я надеюсь вам это продемонстрировать. Я попытаюсь показать вам, что за ним не просто большая традиция, но и роль, в которой его заменить нечем.

Но это было лишь отступление. Давайте вернемся к моему тексту.

Прочтя его, вы убедитесь: то, что я, следуя Роману Якобсону, это придумавшему, называю *метафорической* и *метонимической* функциями языка, без труда находит себе объяснение в регистре означающего.

Как я в течение прошлых лет неоднократно уже заявлял, характеристики означающего являются характеристиками существования цепочки, построенной из сочлененных звеньев и – добавляю я в этой статье – стремящейся образовать ряд контуров замкнутого типа, то есть состоящих из ряда колец, которые, сцепляясь друг с другом, образуют цепочки, включенные, в свою очередь, в другие цепочки, наподобие кольцевых звеньев. В общих чертах схема наша на это и указывает, хотя непосредственным образом структура цепочки в ней не представлена. Существование таких цепочек предполагает, что сочленения или связи означающего осуществляются в двух измерениях – измерении того, что можно назвать сочетанием, преемственностью, логической связью звеньев цепочки, с одной стороны, и измерении замещения, подстановки, с другой. Любой из этих операций каждый из элементов цепочки может подвергнуться. Обычное определение связи означающего и означаемого, в котором эта последняя носит линейный характер, второго из упомянутых измерений не учитывает.

Другими словами, сколь бы существенную роль диахроническое измерение для всякого акта языка ни играло, в нем обязательно подразумевается и синхрония – синхрония, заявляющая о себе присущей каждому из терминов означающего возможностью замещения.

Я напомнил вам в прошлый раз две формулы, одна из которых описывала сочетание, а другая – внутренне присущий всякой означающей артикуляции образ связи по принципу замещения. Не требуется какой-то сверхъестественной интуиции, чтобы заподозрить наличие некоторой связи между формулой метафоры, с одной стороны, и схемой, которой пользуется Фрейд, чтобы объяснить, как

возникает слово *фамиллионьярно*, с другой.

Что призвана продемонстрировать эта схема? Она призвана показать, что, если, с одной стороны, налицо нечто такое, что в промежутке выпало, что в артикуляции смысла оказалось опущенным, то, с другой стороны, тут же возникло иное образование, внутри которого *фамильярный* и *миллионер*, врезавшись, вплющившись друг в друга, явили на свет слово *фамиллионьярный*, и вот оно-то, это слово, и было в итоге произнесено. Перед нами своего рода частный случай функции замещения – случай, где операция эта оставляет определенного рода следы. Сгущение – это, если хотите, не что иное, как особая форма того, что может произойти на уровне функции замещения.

Было бы неплохо, если бы вы не забывали в дальнейшем о мыслях, которые развивал я в свое время по поводу одной метафоры, метафоры снопа Вооза у Гюго – *И сноп его не знал ни жадности, ни злобы* – развивал, показывая, в каком отношении именно факт замены имени *Вооз* словом *сноп* эту метафору в данном случае создает. Благодаря этой метафоре вспыхивает вокруг фигуры Вооза ореол смысла, состоящего в предвестии грядущего его отцовства, – ореол, расцвеченный всеми смысловыми оттенками его, этого отцовства, запоздалости, невероятности, непредвиденности, его провиденциального и божественного характера. Метафора как раз и использована здесь для того, чтобы явить возникновение нового смысла вокруг персонажа, который смыслом этим, казалось бы, исключается, отторгается.

Именно в замещении заключен творческий потенциал метафоры, ее зиждительная сила, ее плодовитость.

Метафора представляет собой функцию самого общего характера. Я бы даже сказал, что только возможность подобного замещения и объясняет нам порождение, если можно так выразиться, мира смысла. Вся история языка, то есть тех функциональных изменений, благодаря которым тот или иной конкретный язык складывается, – вот тот материал, на котором – и никак иначе – следует нам метафору рассматривать.

Если бы мы попытались однажды вообразить себе модель или пример порождения и появления некоего языка в той неоформленной реальности, которую мог представлять собой мир прежде, чем в нем начали говорить, нам пришлось бы предположить наличие в нем некоей изначальной, ни к чему не сводимой данности,

которая безусловно оказалась бы означающей цепочкой минимальной длины. Я не стал бы сегодня на этом минимуме настаивать, но я уже рассказал вам на этот счет вполне достаточно для того, чтобы вы усвоили главное: именно посредством метафор, путем игры замещений на определенном месте одного означающего другим, создается возможность не только развивать в различных направлениях означающее как таковое, но и раз за разом порождать новый смысл, который всегда будет уточнять, усложнять, углублять, сообщать глубину смысла тому, что является в Реальном абсолютно непрозрачной средой.

Чтобы вам эту мысль проиллюстрировать, мне понадобился пример того, что можно назвать эволюцией смысла – именно в ней всегда проявляется, в большей или меньшей степени, механизм замещения. Как в подобных ситуациях дело обычно и обстоит, я жду, когда нужный пример мне предоставит случай. На сей раз он помог мне в лице одного из ближайших моих знакомых, который, трудясь над переводом, вынужден был полезть в словарь, чтобы уточнить значение слова *atterré*, и к изумлению своему убедился, что никогда раньше смысла его хорошенько не понимал. Оказалось, что изначально и в большинстве случаев употребления глагол этот означает не "пораженный ужасом" (frappé de terreur), а "похоронил" (mise-a-terre).

У Боссюэ *atterrer* буквально и означает "хоронить" ("предавать земле"). В других, несколько более поздних текстах, мы можем наблюдать, как все заметнее растет в этом слове удельный вес "ужаса" (terreur), о котором пуристы сказали бы, что он заражает смысл слова *terre*, искажает его. И все же пуристы здесь бесспорно не правы. Никакого заражения тут нет. Даже если теперь, после того, как я напомнил вам этимологию этого слова, некоторые из вас питают иллюзию, будто *atterrer* и вправду означает не что иное, как *повернуть к земле, заставить коснуться земли, опустить до уровня земли, повергнуть,* одним словом – по-прежнему остается фактом, что в повседневном употреблении слово это несет где-то на заднем плане смысловой оттенок *ужаса* (terreur).

Попробуем исходить из какого-нибудь другого слова, которое с первоначальным значением слова *atterré* было бы определенным образом связано. Это, конечно, прием чисто условный, потому что происхождения слова *atterré* мы не найдем нигде, но допустим, что это слово *abattu* (поверженный, поваленный), ибо оно действитель-

но вызывает в представлении то самое, что могло бы вызывать в представлении слово *atterré* в том, якобы чистом, своем значении.

Слово *atterré* заменяет, таким образом, слово *abattu*. Перед нами метафора.

Метафора эта, однако, на метафору не похожа, ибо мы исходили из предположения, что первоначально оба слова имели в виду одно и то же: "брошенный на землю" или "оземь". Именно на это я прошу вас сейчас обратить внимание – если слово *atterré* окажется плодотворным, если оно породит новый смысл, то вовсе не оттого что смысл его хоть в чем-то изменит смысл слова *abattu*.

Тем не менее, сказать, что нечто было *atterré*, не то же самое, что сказать, что оно было *abattu*. С другой стороны, какой бы оттенок "ужасного" им ни подразумевался, значения "вселять ужас", "терроризировать" оно тоже не примет. Просто в нем есть какой-то дополнительный нюанс, нечто новое, некий новый смысл. Таким образом, в психологический и уже метафорический смысл оказывается введен новый смысловой нюанс – нюанс ужаса.

Ясно, что психологически никто не может быть *повержен* (atterré) или *повален* (abattu) в буквальном смысле. Психологически речь идет о чем-то таком, для чего слов у нас нет, и слова, которые находятся, ведут происхождение из метафоры, описывая то, что происходит, когда валится дерево или повержен (atterré – вторая метафора) оказывается борец.

Самое интересное, однако, в том, что *ужас* (terreur) проникает в значение через входящий в *atterré* слог *-terre*. Другими словами, метафора вовсе не является инъекцией смысла – словно это вообще возможно, словно смысл хранится где-то, неизвестно где, как в резервуаре. И когда слово *atterré* привносит новый смысл, оно привносит его не постольку, поскольку обладает значением, а просто в качестве означающего. Дело в том, что оно содержит фонему, общую со словом *terreur*, *ужас*. Именно путем означающего, путем двусмысленности и омонимии, то есть самого бессмысленного, что только есть на свете, порождает это слово тот смысловой нюанс ужаса, который и вводит, словно иглой из шприца, в смысл, уже метафорический, слова *abattu*.

Другими словами, именно связь одного означающего с другим и порождает ту связь между означающим и означаемым, которую мы определили как *означающее над означаемым*. Различать эти два типа связи принципиально необходимо.

$$\frac{S}{S'} \Rightarrow \frac{S}{s}$$

Именно исходя из связи между одним означаемым и другим, означаемым здешним с означаемым тамошним, связи чисто означающего характера, то есть омонимической, между *atterré* и *terreur*, сможет осуществиться действие, представляющее собой порождение значения – нюансирование смысловым оттенком ужаса чего-то такого, что существовало уже в качестве смысла на основе метафорической.

Перед нами, таким образом, наглядный пример того, что происходит на уровне метафоры. Путь метафоры первичен не просто в создании и эволюции языка, он первичен в создании и эволюции смысла как такового – я хочу сказать "смысла" не постольку лишь, поскольку он кем-то воспринимается, а поскольку в него включается сам субъект, то есть постольку, поскольку смысл обогащает нашу жизнь.

Мне хотелось бы указать вам хотя бы начало той топики, что приведет вас в дальнейшем к наблюдаемым в бессознательном процессам.

Я уже указал вам на важнейшую функцию, которую выполняет в данном случае ключевой элемент *terre*, рассматривать который нам следует как элемент чисто означающий. Указал я и на роль того омонимического резерва, с которым работает метафора, – независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или же нет. Но происходит здесь и кое-что еще. Я не знаю, сможете ли вы сразу это понять. Но в дальнейшем, когда вы увидите, какие выводы можно из этого сделать, вы это поймете лучше. Это лишь начало некоего важнейшего по существу пути.

Обратите внимание: нюанс значения, привносимый элементом *terre*, во всем диапазоне, где он складывается и о себе заявляет, имплицитно предполагает не только то, что ужас до известной степени царит на сцене, но и то, что с ним до известной степени уже успели освоиться. Ужас (terreur) не только назван, но и смягчен, что и позволяет вам, между прочим, памятовать о его двусмысленности. Вы внушаете себе, что в конченом-то счете *atterré* связано именно с *terre*, *земля*, что значение *terreur*, *ужас*, звучит в нем приглушенно, что значение "поверженности", *abattement* в самом прямом смысле слова, остается преобладающим, а *ужас* является не больше, чем смысловым нюансом.

Короче говоря, ужас остается в данном случае как бы в тени, на периферии внимания, воспринимаясь в опосредованной форме депрессии. Происхождение слова было полностью забыто, покуда я сам его не напомнил. Модель как таковая находится вне цепочки. Другими словами, во всем диапазоне, где оттенок *terre* прочно вошел в употребление, где он обратился в смысл и в манипуляцию смыслом, означающее как таковое оказалось, собственно говоря – произнесем, наконец, это слово – *вытеснено.* С тех пор как слово *terre* усвоило тот оттенок смысла, с которым мы его сегодня употребляем, сама модель, став достоянием словарей и предметом ученых изысканий, не находится больше в нашем распоряжении – в форме *terre, terra* она оказалась вытеснена.

Я забегаю здесь немного вперед, так как к подобному способу мысли вы, возможно, не слишком привычны, но зато нам не придется больше к этому возвращаться. Вы сами убедитесь, насколько хорошо подтвердятся в дальнейшем наши предварительные соображения анализом конкретных явлений.

3

Вернемся теперь к слову *фамиллионьярно*, к той точке метафорического соединения или сгущения, где наблюдали мы ее образование.

Для начала следует отделить слово от его контекста, то есть от того факта, что порождено оно Гиршем Гиацинтом, а точнее, остроумием Гейне. В дальнейшем мы отправимся в поисках его происхождения гораздо дальше, к предшественникам Гейне, и посмотрим, что связывает его с семейством Ротшильда. Чтобы застраховать себя от ошибки, не худо было бы освежить в памяти историю этой семьи вообще, но сейчас делать это не время, сейчас нас занимает слово *фамиллионьярно.*

Давайте для начала изолируем его. Наведем на него нашу камеру крупным планом, исключив все лишнее из поля зрения. Не исключено, в конце концов, что родилось оно вовсе не в воображении Генриха Гейне. А может быть, поэт сфабриковал его за письменным столом, сидя над листом чистой бумаги с пером в руке, или оно само пришло ему в голову однажды вечером, после очередной парижской его прогулки. Вероятнее всего, в час сумерек, в момент усталости это как раз и произошло. Не исключено, однако, что *фамиллионьярно* – это всего-навсего оговорка. Такое тоже вполне

можно себе представить.

Я уже упоминал однажды об оговорке, подхваченной мною прямо с уст одного из моих пациентов. У меня нашлись бы и другие примеры, но я обращаюсь именно к этому, так как одно и то же следует повторять снова и снова, пока оно не станет казаться избитым, и только после этого переходить к другому. Я имею в виду пациента, который, рассказывая мне на кушетке свою историю и говоря о своих ассоциациях, вспоминал о временах, когда он со своей подругой, с которой впоследствии вступил-таки в присутствии господина мэра в законный брак, жил *безобрачно* (maritablement).

Вы, наверное, уже поняли, как все это на схеме Фрейда можно записать. Сверху будет стоять слово *безбрачно* (maritalement), означающее, что они не женаты, а снизу – наречие, отлично описывающее ситуацию как женатых, так и неженатых: *безобразно* (miserablement). Вместе они и дают слово *безобрачно* (maritablement). Это не то чтобы сказано, это лучше, чем сказано. Вы наглядно убеждаетесь здесь, насколько само сообщение больше не только автора его, ибо воистину посланник бога говорит здесь устами этого простеца, но и самой речи, которая служит его носителем.

Контекст, как выразился бы Фрейд, этого высказывания, не дает оснований полагать, что со стороны пациента оно было шуткой, и вы так бы и не узнали о нем, не выступи я в данном случае в качестве Другого с большой буквы, в качестве слушателя, причем слушателя не просто внимательного, а слушателя разумеющего, в полном смысле этого слова. Тем не менее слово это, оказавшись в нужном месте, то есть в Другом, стало великолепной, прямо-таки блестящей остротой. Эту близость остроты и оговорки Фрейд иллюстрирует в *Психопатологии обыденной жизни* множеством примеров. Порою оговорка так близка оказывается к остроте, что Фрейду специально приходится уверять нас – и нам, в свою очередь, ему верить на слово, – что предположение, будто пациент или пациентка просто сострили, контекстом исключено.

В другом месте работы Фрейд приводит еще один пример: женщина, сравнивая положение женщин и мужчин, говорит: *Чтобы женщина интересовала мужчин, нужно, чтобы она была хорошенькая* – подразумевая, естественно, что это дано не каждой, – *а для мужчины достаточно, чтобы у него все пять членов были прямые.*

Буквально такие выражения не всегда можно полноценно пере-

вести, и мне часто приходится целиком переделывать их, чтобы соответствующее слово воссоздать по-французски. В данном случае едва ли не лучше было бы сказать *жесткие*. Слово *прямые* в этом значении не очень в ходу – в том числе, кстати, и по-немецки. Чтобы объяснить происхождение этого высказывания Фрейду следовало бы написать комментарий по поводу четырех и пяти членов. То, что оно тяготеет так или иначе к непристойности, не подлежит сомнению. Что Фрейд в любом случае ясно показывает, так это то, что слова эти, как по-французски, так и по-немецки, *не так уж прямы*. С другой стороны, контекст, по его мнению, исключает возможность сознательной грубости со стороны женщины. Это типичная оговорка, но вы сами видите, насколько она напоминает остроту.

Итак, одно и то же может быть остротой, может быть оговоркой и даже, скажу больше, может оказаться просто-напросто глупостью, плодом лингвистической наивности. В конце концов, у пациента моего, человека чрезвычайно симпатичного, слово *безобрачие* оговоркой, собственно, и не было, оно представляло часть его личного лексикона, ему и в голову не приходило, будто он сказал что-то из ряда вон выходящее. Есть немало людей, порой занимающих довольно высокое положение, которые прогуливаются таким манером по существованию и выдают время от времени словечки в этом роде. Я знаю одного знаменитого кинорежиссера, у которого они каждый день слетали с языка сотнями. Так, в заключение одной из своих не допускающих возражения фраз он сказал: *И потом, это так и есть, это запрещено и подписано*. Это уже не оговорка, это проявление глупости и невежества.

Коли уж мы завели речь об оговорке, которая к тому, что нас интересует, ближе всего, посмотрим, что происходит на ее уровне. Вернемся к оговорке, к которой мы, желая подчеркнуть решающую роль означающего, уже не раз обращались, к самой изначальной, если так можно сказать, оговорке, к той, что легла в основу фрейдовской теории и открывает собой *Психопатологию обыденной жизни*, хотя и была опубликована раньше – к забвению имени собственного, в данном случае: *Синьорелли*.

На первый взгляд, забвение и то, о чем я только что вам говорил, – отнюдь не одно и то же. Но если объяснения мои имеют какую-то цену, если в основе и у истоков образований бессознательного действительно лежит метаболизм или механизм означающего, то в любом из этих образований мы можем обнаружить их все.

То, что снаружи выступает как различное, изнутри должно обрести единство.

В случае забвения вместо того, чтобы наблюдать возникновение слова *фамиллионьярно*, к примеру, – мы видим нечто обратное: чего-то нам не хватает. Что же демонстрирует нам предлагаемый Фрейдом анализ случая, когда имя собственное – иностранное, к тому же – оказалось забыто?

Психопатология обыденной жизни читается легко, как журнал, и мы знаем ее так хорошо, что нам кажется, будто и задумываться тут особенно не над чем. Тем не менее здесь перед нами ход мысли Фрейда, и каждый шаг его заслуживает внимания, поучителен и богат выводами. Замечу по ходу дела, что, имея дело с именем, именем собственным, мы находимся на уровне сообщения. Что это значит, мы узнаем впоследствии, так как все сразу я вам сказать не могу – в отличие от *психоаналитиков сегодняшнего дня,* таких ученых, что говорят они все зараз, об *эго* и *я* рассуждают запросто и все на свете сваливают в одну кучу. Я же лишь намечаю здесь мысли, к которым в дальнейшем вернусь и развить которые мне предстоит впоследствии.

Имя собственное, о котором здесь идет речь, это иностранное имя, состоящее из элементов, для родного языка Фрейда чуждых. *Signor* не является словом немецкого языка, и Фрейд подчеркивает, что для дела это немаловажно. Он, правда, не объясняет нам, почему, но сам факт, что он в первой же главе это обстоятельство выделил, доказывает нам, что в реальности, к изучению которой он приступает, этот момент обращает на себя внимание. И если Фрейд это отмечает, то это значит, что в измерении имен собственных как таковых, измерении, более или менее связанном с каббалистическими значками, мы здесь не находимся. Будь имя действительно вполне собственным и особенным, родины у него не было бы.

Есть и еще один факт, на важность которого Фрейд сразу указывает, хотя наше внимание на нем, как правило, не задерживается. В забвении имен собственных, о котором Фрейд, приступая к изучению *Психопатологии обыденной жизни*, упоминает, замечательном ему, собственно говоря, показалось то, что забвение это не является забвением начисто, дырой, зиянием, что на месте забытого появляются другие слова. Здесь-то как раз и лежит для него источник того, что является началом каждой науки, – источник удивления. Ведь удивиться способны мы на самом деле только тому, о чем хоть ка-

кое-то представление начали получать – в противном случае, ничего не увидев, мы просто проходим мимо. И вот Фрейд, которого опыт работы с неврозами многому научил, видит, что факт всплытия в памяти слов-заменителей заслуживает в данном случае пристального внимания.

Теперь мне придется несколько поспешить, чтобы посвятить вас в детали экономии того анализа, которому подверг Фрейд забвение имени – забвение, представляющее собой ляпсус, "падение", в том смысле, что слово это действительно из памяти "выпало".

Все вращается вокруг того, что можно назвать *метонимическим приближением*. Почему? Да потому, что первое, что на поверхности возникает, это имена-заменители: *Ботичелли* и *Бальтраффио*. Нет никакого сомнения, что Фрейд рассматривает это явление как лежащее в плане метонимическом. Ясно это становится оттого – и для того, собственно, я этот анализ забвения в качестве отступления и проделываю – что внезапное появление этих имен вместо забытого *Синьдрелли* происходит на уровне образования комбинации, а не замещения. В проделанном Фрейдом анализе этого случая единственными сколь-нибудь заметными связями между именами *Синьорелли*, *Больтраффио* и *Ботичелли* оказываются связи косвенные, обусловленные исключительно феноменами означающего.

Я держусь в первую очередь того, что утверждает сам Фрейд. Строгость его выводов говорит сама за себя. Перед нами одно из его самых ясных описаний тех механизмов, которые задействованы в связанном с бессознательным явлении новообразования и искажения. Ясность доказательств не оставляет желать лучшего. Что касается меня, то здесь, ради вящей ясности моего собственного изложения, я представляю это доказательство косвенным образом – сославшись на то, что *так, де, говорит Фрейд*.

Фрейд объясняет нам, откуда взялся здесь *Ботичелли*. Вторая половина этого слова, *-елли*, – это остаток от *Синьорелли*, искалеченного тем фактом, что слово *Синьор* оказалось забыто. *Бо*, в свою очередь, является остатком, обрубком *Боснии*-Герцеговины, в которой вытесненной оказалась часть *Герр*. Именно вытеснение слова *Герр* объясняет и то, что *Бо* из Боснии-Герцеговины оказалось в имени *Бельтраффио* связанным с *Трафой* – названием места, где Фрейд узнал о самоубийстве одного из своих пациентов, страдавшего от полового бессилия.

Эта последняя тема и была затронута во время беседы в поезде между Рагузой и Герцеговиной, как раз перед тем, как имя оказалось забыто. Собеседник Фрейда рассказывал ему о турках из Боснии-Герцеговины, этих славных мусульманах, которые врачу, не сумевшему их вылечить, говорят: "*Герр* (господин), *мы знаем, что все, что было в ваших силах, вы сделали*". Слово *Герр* имеет, однако, свой собственный привкус, характерный, лежащий на самой грани того, что можно высказать, смысловой оттенок – это не что иное, как абсолютный господин, смерть, та смерть, на которую, по слову Ларошфуко, нельзя, как на солнце, глядеть не зажмурясь. И Фрейд не является здесь исключением.

Смерть напоминает здесь о себе Фрейду двумя путями. Во-первых, случайностью, имеющей отношение к его роли врача, и, во-вторых, явной и имеющей очень личный оттенок связью между смертью, с одной стороны, и половым бессилием, с другой. Вполне возможно, что связь эта, в тексте несомненная, кроется не только в предмете, то есть в том, о чем говорит ему самоубийство пациента.

Что мы перед собой имеем? Комбинацию означающих и ничего больше. Метонимические руины того объекта, о котором идет речь. Объект этот скрывается за отдельными разрозненными элементами, которые незадолго до того были в речи задействованы. Так что же стоит за ними? *Герр*, абсолютный властелин, смерть. Слово это отходит на другой план, стирается, отступает, выталкивается – то, что, собственно, называется *unterdrückt*.

У Фрейда имеется два словечка, с которыми он обходится с особой двусмысленностью. Первое из них – это *unterdrückt*, перевод которого как *tombé dans les dessous* я вам уже предлагал ранее. Второе – это *verdrängt*.

Определяя место слова *Герр* на нашей схеме, можно сказать, что оно ушло на уровень метонимического объекта, что и естественно, ибо вследствие подобных разговоров оно рисковало выступить слишком явно. В качестве *эрзаца* мы обнаруживаем здесь остаток, руину этого метонимического объекта, *Бо-*, которая, дабы не явиться в сочетании с другим именем-заместителем, соединяется здесь с *-елли*, руиной еще одного имени, оказавшегося на данный момент вытесненным.

Вот он, тот след, признак, который оставляет для нас метонимический уровень. Именно он и позволяет нам восстановить в дискурсе цепочку интересующего нас явления. Именно здесь распола-

гается в анализе то, что мы называем свободной ассоциацией – той самой, что позволяет нам бессознательное как явление выследить.

Будучи метонимическим, объект этот тем самым уже расколот. Все то, что происходит в разряде языка, является уже свершившимся. Если метонимический объект так легко раскалывается, то происходит это оттого, что в качестве метонимического объекта он с самого начала является лишь фрагментом той реальности, которую представляет. То есть это еще не все. Так, *Синьор*'а среди следов обломков разбитого метонимического объекта найти не удастся. Именно это нам и предстоит сейчас объяснить.

Если *Синьор* не упоминается, если именно из-за него не удается Фрейду имя *Синьорелли* вспомнить, значит он тут как-то заменен. Заменен, конечно, опосредованно, через *Герр*. *Герр*-то собственно произнесен был, и произнесен как раз в тот особенно характерный момент, когда он недвусмысленно выступает в возможной для него функции абсолютного владыки, представителя смерти, которая оказалась в данном случае *unterdrückt*. *Синьор* замещен здесь лишь постольку, поскольку он является калькой с *Герр*. Здесь мы как раз и оказываемся на уровне замещения. Замещение – это та артикуляция, тот означающий прием, в котором реализуется акт метафоры. Это не значит, что замещение и есть метафора. Обучая вас всегда мыслить шаг за шагом, членораздельно, я хочу уберечь вас от вечного соблазна злоупотребления языком. Говоря, что метафора возникает на уровне замещения, я имею в виду, что замещение – это возможность артикуляции означающего, что метафора выполняет свою роль, то есть создает означаемое, именно там, где может произойти замещение. Тем не менее, это две разные вещи. Точно так же, как комбинация и метонимия - это две разные вещи.

Я не случайно по ходу дела вам на это указываю: когда такие вот различия не проводятся, это как раз к так называемым языковым злоупотреблениям и приводит. В том, что в логико-математических терминах определяется как множество или подмножество, множество это, если оно содержит один-единственный элемент, с самим этим элементом путать никак нельзя. Это типичный пример злоупотребления языком. Тем, кто критиковал в свое время мои истории с буковками α β γ δ, соображение это может пойти на пользу.

Вернемся, однако, к тому, что происходит на уровне *Синьор*'а и *Герр*'а. Заместительная связь между ними, о которой идет здесь речь,

представляет собой замену, именуемую *гетеронимической*. Это то самое, что происходит при любом переводе: перевод термина на иностранный язык по оси замещения, путем сравнения, необходимость которого обусловливается существованием различных лингвистических систем, называется *гетеронимическим замещением*. Вы мне возразите, что это, мол, не метафора. И я соглашусь, так как мне важно одно – что это замещение.

Обратите внимание: я лишь следую послушно тому, что вы, читая текст, сами вынуждены признать. Другими словами, я добиваюсь того, что ваше же знание подсказало вам, что вы это уже знаете. Больше того, я ничего нового не говорю – если вы с текстом Фрейда согласны, волей-неволей согласитесь вы и со мной.

Итак, если *Синьор* с этой историей связан, в нее как-то замешан, то обязательно имеется нечто, связывающее его с тем, на что явление метонимического разложения, в том месте, где оно происходит, вам указывает. *Синьор* включен в эту игру в качестве заместителя по отношению к *Герр*.

Из сказанного уже ясно, что если *Герр* проскользнул со стороны β, то *Синьор*, как показывает нам направление стрелок, проскочил со стороны α–γ. Но он не просто проскочил там: предварительно (я к этому еще вернусь) мы можем утверждать, что он летает между кодом и сообщением подобно мячу. Он вертится по кругу в том, что можно назвать памятью. Вспомните еще раз то, на что я однажды вам уже намекнул: механизм памяти, в том числе и механизм аналитического припоминания, следует представлять себе наподобие памяти машинной. Ведь то, что в памяти машины находится, как раз и вертится там по кругу, пока не оказывается востребованным, – просто вынуждено вертеться, так как иначе реализовать машинную память вообще нельзя. Как ни странно, но именно этим соображением и можем мы объяснить тот факт, что *Синьор* представляется нам циркулирующим между кодом и сообщением, циркулирующим неопределенно долго – пока не окажется найден.

Очевиден здесь становится и смысловой оттенок различия между *unterdruckt*, с одной стороны, и *verdrangt*, с другой. Если первому достаточно произойти раз и навсегда, при условиях, к которым индивидуальное бытие на уровне своей смертной участи снизойти не может, то совсем о другом идет речь, когда *Синьор* сохраняется в цепочке, не будучи в состоянии в течение какого-то времени туда вернуться. Так что нам поневоле приходится, вслед за Фрейдом,

признать, что существует особая сила, которая слово это там сохраняет и которую мы, собственно, и называем *Verdrangung*.

Теперь, когда я дал вам понять, к чему я тут, в конечном счете, клоню, мне хотелось бы вернуться к соотношению метафоры и замещения. Хотя между *Герр* и *Синьор* имеет место именно замещение, налицо, однако, здесь и метафора. Каждый раз, когда имеет место замещение, возникает, индуцируется и эффект метафоры.

Для человека, говорящего по-немецки, сказать *Синьор* или *Герр* – далеко не одно и то же. Скажу больше: нам далеко не все равно, когда наши двуязычные пациенты или те из них, кто просто знает иностранный язык, имея на данный момент что-то сказать, говорят это на другом языке. Будьте уверены: эта смена регистра в каждом случае для них почему-либо удобна и никогда не бывает беспричинна. Если пациент полиглот – это имеет один смысл; если языком, к которому он обращается, он владеет плохо, – другой; если он двуязычен от рождения – разумеется, третий. Но в любом случае какой-то смысл в этом есть.

Я уже говорил вам предварительно, что замена *Герр*'а *Синьор*'ом была не метафорой, а просто-напросто гетеронимическим замещением. Я снова возвращаюсь к этому, чтобы сказать вам, что в данном случае, напротив, *Синьор*, в силу всего контекста, в котором он выступает – художника Синьорелли, фрески из Орвьето, напоминания о Страшном Суде, – являет собой прекраснейшую из преобразованных форм реальности, которой мы не способны взглянуть в лицо: смерти. Ведь рассказывая друг другу бесчисленные вымыслы – слово "вымысел" я беру здесь в смысле максимума мыслимой достоверности – мы как раз и занимаемся тем, что метафоризируем, приручаем, вводим в язык стояние перед лицом смерти. Ясно поэтому, что здесь, в контексте *Синьорелли*, *Синьор* представляет собой метафору.

Итак, мы приходим, наконец, к чему-то такому, что позволяет нам совместить, точку за точкой, явление забвения с феноменом остроты, обнаружив общую для них топику.

Фамиллионьярно представляет собой некий положительный продукт, но происходит он из того же провала, который мы обнаруживаем, рассматривая явление оговорки. Я мог бы взять другой пример и проделать доказательство снова. Я мог бы, скажем, дать вам в качестве домашнего задания разобрать пример латинского стиха, упоминаемого одним из собеседников Фрейда: *Exoriare ex*

nostris ossibus ultor, – стиха, в котором он нарушает несколько порядок слов (*ex* должен стоять между *nostris* и *ossibus*), опуская одновременно второе, важное для соблюдения размера слово *aliquis*: то самое, которое он не может воспроизвести. Вы не поймете по-настоящему это явление, пока не соотнесете его с координатной сеткой, с каркасом все той же предложенной мною схемы.

А она предусматривает два уровня: уровень комбинации с той особой точкой, где возникает метонимический объект как таковой, и уровень замещения с той особой точкой на пересечении двух цепочек – цепочки дискурса и цепочки означающего в чистом виде – где возникает сообщение. *Синьор* оказывается вытеснен, *verdrangt*, в цепочку сообщение-код, в то время как *Герр* оказывается *unterdruckt* на уровень дискурса.

И в самом деле, легко убедиться, что слово *Герр* залучил себе дискурс предшествовавший и лишь метонимические руины объекта наводят на след утерянного означающего.

Вот что дает нам анализ приведенного Фрейдом примера забвения слова. В итоге для нас во многом проясняется и слово *фамиллионьярно* – образование, заключающее в себе определенную двусмысленность.

4

Итак, создание остроты представляет собой, как мы убедились, явление того же порядка, что и возникновение такого языкового симптома, как, скажем, забвение имени.

Если схемы этих явлений при наложении совпадают, если их означающая экономия та же самая, то мы можем рассчитывать найти на уровне остроты нечто такое, что дополняет – то, что функция ее двойственна, я только что в какой-то степени дал вам понять – что дополняет ее функцию нацеленности на смысл другой, возмущающей, нарушающей всю картину функцией неологической. Искать же это дополнение следует со стороны того, что можно назвать ***распадом объекта***.

Дело ведь не только в том, что он, мол, *общался со мной как с равным, вполне фамиллионьярно*, а в возникновении некоего фантастического и гротескного персонажа по имени *фамиллионер*. Персонаж этот можно представить себе, наподобие некоторых созданий поэтической фантазии, эдаким фамильярным миллионером – человеческим типом, экземпляры которого рисуются вооб-

ражению гнездящимися, кишащими и размножающимися в щелях между вещами, вроде плесневого грибка или иного подобного паразита. Так или иначе, слово это вполне могло бы войти в язык, как, скажем, вошло в него слово *путана* в значении *проститутка.*

Такого рода создания обладают особой, лишь им свойственной ценностью: они вводят нас в область, до сих пор не исследованную. Они порождают то, что можно было бы назвать словесными существами. Но словесное существо – это тоже существо, и притом существо, более и более тяготеющее к воплощению. *Фамиллионер* тоже, на мой взгляд, сыграл не одну роль – как в мире поэтического воображения, так и в реальной истории.

Есть ряд созданий, которые подошли к воплощению еще ближе *фамиллионера.* Так, у Андре Жида в центре истории о *плохо прикованном Прометее* стоит фигура, которая является на самом деле не богом, а машиной – фигура банкира Зевса, которого он называет *Miglionnaire* (*мелионер*) Как следует это слово читать – по-итальянски или по-французски? Это неизвестно. Однако, по-моему, его надо читать по-итальянски. Вернувшись к Фрейду, покажу вам, насколько существенна функция *Мелионера* в создании остроты.

Присмотревшись теперь внимательно к форме *фамиллионьярно,* мы увидим, что на уровне текста Гейне путь, на который я вам только что указал, до конца не пройден. Поэт не предоставляет этому слову полной свободы – той независимости, что свойственна имени существительному. Переводя его в форме *совершенно фамиллионьярно,* я как раз и хотел подчеркнуть, что мы остаемся здесь на уровне наречия. Тут можно, конечно, заняться словесной игрой, призвав на помощь язык, – ведь вся разница между *способом* бытия и направлением, в котором я вам только что указал, то есть способом *бытия,* в нем уже налицо. Вы сами видите, что между тем и другим есть непрерывная преемственность. Прибегая к выражению *ganz famillionär*, Гейне остается на уровне *способа* бытия.

Что же над гейневским *совершенно фамиллионьярно* надстраивается? До поэтического творения оно, конечно, не дотягивает, но все же термин это чрезвычайно богатый и изобильный, если говорить о том, что происходит на уровне метонимического разложения.

Создание Генриха Гейне заслуживает того, чтобы рассмотреть его в первоначальном его контексте. Таковым являются *бани Лукки,* где вместе с Гиршем Гиацинтом мы встречаем маркиза Кристофоро ди Гумпелино, лицо очень популярное и известное своим

вниманием и усердием к прекрасному полу – качество, которое отлично дополняет сказочная непринужденность лебезящего перед ним Гирша Гиацинта.

Усвоенная этим персонажем роль паразита, прислужника, лакея, мальчика на побегушках подсказывает нам еще один способ метонимического разложения, *affamillionaire* – способ, оттеняющий свойственную Гумпелино жажду успеха, то есть не пресловутую *aura sacra fames*, а стремление войти в те высшие сферы, доступ куда ему ранее был заказан. Я не собираюсь говорить здесь о том, что кроется еще глубже – о тех волнениях и страданиях, которые доставляли этому карикатурному маркизу женщины.

Другое возможное значение слова можно проследить, разложив его как *fat-millionaire* [*фат-миллионер*]. *Fat-millionaire* – это и Гумпелино, и Гирш Гиацинт сразу. Но одновременно это и кое-что еще, ибо за ними обоими встает и фигура самого Генриха Гейне, чьи отношения с Ротшильдами были в высшей степени фамиллионьярны.

Таким образом, в остроте этой налицо обе стороны метафорического творения. Прежде всего это лицевая сторона, сторона смысла – недаром слово это, богатое психологическими значениями, попадает в самую цель, задевает нас и поражает талантливостью, граничащею с поэтическим творчеством. Но есть у нее и своего рода изнанка, которая не обязательно сразу бывает заметна: благодаря комбинациям, число которых позволено множить до бесконечности, слово изобилует всем тем, что множится вокруг объекта в качестве потребностей.

Я уже упоминал здесь о *fames* [*голод, жажда*]. Но есть здесь, возможно, и *fama* [*слава*], та потребность в слове и популярности, которая господину Гиршу Гиацинту не дает покоя. Присутствует здесь, возможно, и внутренне этой услужливой фамильярности присущая *infamie, подлость* – недаром заканчивается сцена в *банях Лукки* тем, что Гирш Гиацинт снабжает своего господина одним из тех слабительных, секрет которых ему одному известен, в результате чего беднягу схватывают ужасные колики, причем происходит это в тот самый момент, когда герой получает, наконец, от своей возлюбленной записку, которая при других обстоятельствах позволила бы ему исполнить, наконец, заветные свои желания. Буффонада эта открывает нам глаза на ту низость, *infamie*, которой оборачивается здесь фамильярность. Именно она придает такому образованию, как ос-

трота, значимость, смысл, ассоциативность, формирует его лицо и его изнанку, его метафорическую и его метонимическую сторону. Сущность остроты лежит, однако, не в ней.

Итак, мы рассмотрели остроту с обеих сторон и знаем теперь всю ее подноготную. С одной стороны, налицо создание смысла *фамиллионьярно*, предлагающее некую утерю, нечто оказавшееся вытесненным. Относится это нечто, само собой разумеется, к Генриху Гейне. Подобно слову *Синьор*, которым мы только что занимались, оно будет крутиться между кодом и сообщением. С другой стороны, налицо метонимическая вещь со всеми смысловыми провалами, искрами и вспышками, которые, сопровождая собой создание слова *фамиллионьярно*, сообщают ему блеск и весомость – то, что составляет для нас его литературную ценность. Но это ничуть не умаляет того обстоятельства, что единственно важной, центральной для данного явления вещью является то, что происходит на уровне производства означающего, – оно-то, собственно, и делает слово остротой. А все то, что происходит на наших глазах вокруг, хотя и наводит нас на мысль о ее функции, но к существу дела само по себе не относится.

То, что определяет собой характер явления и его значимость, следует искать в самой сердцевине его, то есть, с одной стороны, на уровне соединения означающих, с другой же – на уровне, о котором я уже упоминал вам: на уровне санкции, которую получает это создание от Другого. Именно Другой сообщает означающему продукту ценность означающего – ценность по отношению к явлению означающего продукта как такового. Именно санкция Другого отличает остроту от, скажем, такого явления, как симптом в чистом его виде. Именно в переходе к этой новой, производной функции острота и заключается.

Однако если бы все то, о чем я вам сегодня рассказывал, – то есть как то, что происходит на уровне соединения означающих, которое и представляет собой самое главное, с одной стороны, так и то, что развивается из этого соединения в силу причастности его к таким фундаментальным измерениям означающего, как метафора и метонимия, с другой, – если бы все это не имело места, никакое санкционирование остроты не было бы возможно. Никакого способа отличить ее от комического, от шутки или от явления смеха в первозданном его виде просто не существовало бы.

Чтобы понять, что острота, как явление в области означающе-

го, собой представляет, необходимо выделить ее стороны, особенности, связи – всю ее подноготную, одним словом, – причем сделать это следует на уровне означающего. Уровень проработки остроты как означающей продукции настолько высок, что Фрейд специально остановился на ней в качестве одного из примеров бессознательного образования. Именно это привлекает к ней и наше внимание.

Насколько это внимание важно, вы, наверное, уже поняли, убедившись, что оно позволяет нам в дальнейшем строго проанализировать уже такое чисто психопатологическое по своей природе явление, как оговорка.

13 ноября 1957 года

III
Мелионер

От Канта к Якобсону
То, что в остроте вытеснено
Забвение имени, неудавшаяся метафора
Зов означающего
Девушка и граф

Итак, через ворота остроты мы подошли, наконец, к предмету нашего курса вплотную.

В прошлый раз мы начали анализ первого включенного Фрейдом в свою книгу примера – слова *фамиллионьярно*. Слово это вложено Генрихом Гейне в уста Гирша Гиацинта, созданного его поэтическим воображением персонажа – персонажа необычайно многозначительного. То, что пример свой Фрейд черпает из художественного вымысла, тоже произошло отнюдь не случайно. Неудивительно, что и мы именно этот пример сочли наиболее подходящим, чтобы доказать то, что мы собирались здесь доказать.

Анализ лежащего в основе остроты психического явления привел нас, как вы, без сомнения, уже поняли, на уровень артикуляции означающих, которая, сколь бы интересна она – по крайней мере, я на это надеюсь, – многим из вас ни казалась, способна, тем не менее, – мне нетрудно это себе представить – произвести впечатление какой-то бестолковщины. Но то самое, что здесь поражает и сбивает с толку, как раз и подталкивает к пересмотру аналитического опыта, который мы с вами собираемся теперь предпринять, – пересмотра, касающегося не только места субъекта, но даже, до известной степени, самого существования его.

1

Один из людей, заведомо неплохо осведомленный как о самой проблеме, так и о том вкладе, который я пытаюсь в решение ее внести, обратился ко мне со следующим вопросом: "*Хорошо, но во что же тогда субъект обращается? Где нам его искать?*"

Ответить было нетрудно. Поскольку задан был этот вопрос во Французском философском обществе, на заседании которого я выступал, и исходил от философа, в ответ мне очень хотелось ска-

зать: *"Позвольте переадресовать этот вопрос вам самим. Здесь я даю слово философам – нельзя же, в конце концов, перекладывать всю работу на мои плечи"*.

Конечно же, фрейдовский опыт заставляет понятие субъекта пересмотреть. Ничего удивительного в этом нет. Но неужели, с другой стороны, после всего того существенного, что было Фрейдом в этом отношении высказано, должны мы все еще терпеть зрелище того, как лучшие умы, и аналитики в том числе, держатся понятия субъекта, воплощенного теперь, при этом способе мыслить, простонапросто во фрейдовском эго, собственном я, еще крепче? Разве не знаменует это положение дел возврат к тому, что в вопросе о субъекте можно рассматривать как набор грамматических недоразумений?

Конечно же, никакие данные аналитического опыта не позволяют, не дают оснований идентифицировать *собственное я* со способностью синтеза. Да стоит ли вообще в данном случае к аналитическому опыту обращаться? Простое и непредвзятое рассмотрение того, что представляет собою жизнь каждого из нас, обнаруживает, что пресловутая способность синтеза сплошь и рядом оказывается посрамленной. Положа руку на сердце и оставив в стороне выдумки, нельзя не признать, что нет ничего более знакомого нам, нежели ясное ощущение, что поступки наши не только в мотивах своих ни с чем не сообразны, но в глубине своей не мотивированы вовсе и от нас самих принципиально отчуждены. Фрейд выработал представление о субъекте, который функционирует где-то по ту сторону. Говоря об этом субъекте внутри нас, обнаружить который оказывается так трудно, он демонстрирует нам его скрытые пружины и его деятельность. И в том, что он говорит, нам следовало бы особое внимание обратить на следующее: субъект этот, который во все то, что на уровне повседневного нашего опыта предстает нам как глубокая раздвоенность, околдованность, полная отчужденность от мотивов собственных поступков, вносит некое тайное и сокровенное единство, – субъект этот является другим.

Что же этот субъект-другой собой представляет? Может быть, это, как уже предполагали некоторые, своего рода двойник, некое дурное Я, скрывающее в себе, и вправду, множество устремлений самого поразительного свойства? Или просто другое Я? Или, как мои собственные слова дали некоторым основание полагать, Я истинное? О чем именно идет речь? Быть может, это просто-напросто подклад-

ка? Просто-напросто другое Я, о строении которого мы можем составить себе представление по аналогии с тем Я, с которым имеем мы дело в опыте? Вот вопрос – и вот почему мы пытаемся в этом году решить его, начав с уровня *образований бессознательного* и дав нашему курсу соответствующее заглавие.

Конечно же, на вопрос этот уже напрашивается ответ – нет, субъект устроен иначе, нежели Я, с которым мы имеем дело в опыте. То, что нам предстает в этом субъекте, повинуется собственным законам. Образования его имеют не только свой собственный стиль, но и свою собственную структуру. Изучая и демонстрируя эту структуру на уровне неврозов, на уровне симптомов, на уровне сновидений, на уровне непроизвольных промахов, на уровне остроты, Фрейд убеждается, что она повсюду в своем своеобразии одна и та же. Это и есть главный его аргумент в пользу того, что острота представляет собой проявление бессознательного. В этом и есть вся суть того, что он говорит нам по поводу остроты, – и именно поэтому выбрал я ее в качестве отправной точки.

Острота построена и организована по тем же самым законам, которые мы обнаруживаем в сновидении. Вновь узнавая в остроте эти законы, Фрейд перечисляет их и устанавливает между ними связь. Это закон сгущения, *Verdichtung*, закон смещения, *Verschiebung*, и еще один, третий элемент, который к этому списку примыкает и который я в конце своей статьи называл, пытаясь передать немецкое *Rucksicht auf Darstellung, оглядкой на условия сценической постановки*. Назвать их, однако, дело десятое. Ключевым моментом фрейдовского анализа является само признание того, что структурные законы эти являются общими. Благодаря этому становится возможным утверждать, что тот или иной процесс *втянут*, как выражается Фрейд, *в бессознательное*. Он построен по законам этого типа. Когда мы говорим о бессознательном, мы имеем в виду именно это.

Однако на уровне того, чему учу вас я, к этому приходится добавить нечто еще: оказывается, что теперь, после Фрейда, у нас появилась возможность установить, что эта характерная для бессознательного структура, то самое, что позволяет нам опознать то или иное явление как принадлежащее к образованиям бессознательного, без остатка укладывается в то, в чем лингвистический анализ позволяет усмотреть главные способы образования смысла как продукта, порождаемого путем комбинирования означающих.

обстоятельство тем более показательное, чем более оно представляется удивительным.

В ходе развития лингвистической науки понятие означающего элемента наполнилось смыслом в тот конкретный момент, когда окончательно выкристаллизовалось в ней представление о фонеме. Понятие это позволяет вычленить в языке элементарный уровень, определяемый двояко – как диахроническая цепочка, во первых, и, внутри этой цепочки, как постоянная возможность замещения синхронного плана, во вторых. Одновременно оно позволяет нам разглядеть на уровне функционирования означающих независимую властную инстанцию, которую мы и сможем рассматривать как место, где порождается, некоторым образом, то, что именуется смыслом. Концепция эта, сама по себе чрезвычайно насыщенная психологическими импликациями, в дальнейшей разработке вряд ли нуждается, так как ее отлично дополняет тот материал, который в точке состыковки поля лингвистики с областью анализа как такового успел нам оставить Фрейд. Ведь эти психологические эффекты, эти эффекты порождения смысла как раз и представляют собой то самое, что рассматривается Фрейдом как образования бессознательного.

И вот теперь мы можем понять и оценить в отношении места человека нечто такое, что до сих пор всегда упускалось из виду. Совершенно очевиден тот факт, что для человека существует множество объектов, по сравнению с биологическими объектами куда более разнородных, разнообразных и многочисленных. Существование каждого живого организма предполагает наличие в мире своего коррелята – совокупности объектов, носящих совершенно определенный характер, отличающихся определенным стилем. Но у человека совокупность эта отличается сверхприбыльным, поистине роскошным многообразием. Более того, человеческий объект, мир человеческих объектов, нельзя понять, рассматривая его как объект чисто биологический. И при таких обстоятельствах факт этот неизбежно встает в тесную, нерасторжимую связь с порабощением, подвластностью человеческого существа явлению языка.

Обстоятельство это, давая о себе, разумеется, знать и раньше, оставалось, тем не менее, до известной степени замаскированным. Дело в том, что все, что на уровне конкретного дискурса оказывается нам доступно, по отношению к порождению смысла всегда оборачивается двусмысленностью – ведь ориентирован язык на объек-

ты, которые включают в себя нечто такое, что творческой деятельностью самого же языка заранее в них было привнесено. Именно это составило предмет целой традиции, целого направления философской риторики, предмет критики в самом общем смысле этого слова – критики, поставившей вопрос: а чего, собственно, этот язык стоит? Что представляют собой фигурирующие в нем связи по отношению к тем, другим, на которые они, казалось бы, нацелены и на отражение которых они претендуют, – к связям, фигурирующим в Реальном?

Это, собственно говоря, и есть тот вопрос, к которому приводит нас философская традиция. Традиция, чье острие и вершина ознаменованы, пожалуй, Кантовой критикой – учением, которое справедливо может быть истолковано как наиболее радикальная попытка поставить всякого рода Реальное под сомнение, показав зависимость его от априорных категорий не только эстетики, но и логики. Оно-то, учение это, и направило впервые человеческую мысль на поиски чего-то такого, что постановка вопроса на уровне логического дискурса и изучение соответствия между Реальным и тем или иным синтаксисом, замыкающимся в каждой фразе интенционального круга, оставляли до тех пор без внимания. Именно за эту задачу и предстоит нам, как бы тайком от этой критики и вопреки ей, приняться снова. Исходным пунктом для этого послужит для нас действие речи в той чреватой эффектами творчества цепочке, где каждый раз рождаются от нее, того и гляди, новые смыслы. Происходит это как путем метафоры – способом наиболее очевидным, так и путем метонимии – способом, который вплоть до совсем недавнего времени оставался тщательно замаскированным (когда у меня будет время, я вам объясню, почему).

Что ж, вступление оказалось достаточно сложным – пора вернуться к взятому в качестве примера слову *фамиллионьярно* и по мере сил довести анализ его до конца.

2

Мы остановились на мысли, что в процессе характеризующегося определенным интенциональным намерением дискурса, где субъект выступает как желающий что-то определенное высказать, возникает нечто такое, что его волей не предусмотрено, что принимает облик случайности, парадокса или даже скандала.

Хотя такое новообразование, как острота и могло бы, по идее,

восприниматься как своего рода неудача, непроизвольная ошибка при совершении действия – я ведь уже приводил вам примеры речевых оговорок, которые остроты поразительно напоминают, – на практике оно едва ли предстает как нечто отрицательное. Более того, в условиях, когда это случайное образование возникает, оно оказывается замечено и оценено в качестве одного из явлений, замечательных именно своей способностью к порождению смысла.

Означающее новообразование это представляет собой своего рода столкновение означающих. Означающие эти оказываются в нем, по выражению Фрейда, сгущены, вмещены друг в друга, в результате чего и создается значение, нюансы и загадки которого я вам уже описывал – значение, вызывающее в воображении как *способ* бытия собственно метафорический (*он обращался со мною чисто фамиллионьярно*), так и собственно способ *бытия* – *бытия* в качестве существа, готового ожить в призраке, который я попытался вызвать перед вами в лице персонажа, именуемого *фамиллионером*.

Фамиллионер этот является в мир в качестве представителя существа, вполне готового облечься для нас реальностью и значением куда более существенными, нежели у миллионера реального. Я показал вам также, что в персонаже этом содержится сила, сообщающая его существованию достаточно жизни, чтобы сделать из него представительную, характерную для определенной исторической эпохи фигуру. Я показал, наконец, что Гейне в создании этой фигуры не одинок, указав на *Плохо прикованного Прометея* Андре Жида с его *Мелионером*.

Для нас было бы интересно на этом детище Жида несколько задержаться. *Мелионер* – это Зевс в роли банкира. Персонаж этот – создание более чем удивительное. Когда мы об этом произведении Жида вспоминаем, оно чаще всего оказывается в тени прославленных его *Палюд*, чьим своего рода двойником оно, по сути дела, является. В обоих действует один и тот же персонаж. Множество черт в обоих произведениях оказываются для него общими. Как бы то ни было, *Мелионер* ведет себя с ближними в высшей степени необычным образом – недаром здесь-то и возникает на наших глазах идея произвольного, ничем не обусловленного поступка.

Зевс-банкир совершенно не способен вступить с кем бы то ни было в отношения обмена подлинного и аутентичного. Дело в том, что он отождествляется здесь с абсолютным всемогуществом, с той

стороной *чистого означающего*, которая деньгам свойственна и которая решительно ставит под вопрос существование любого возможного значимого обмена. Чтобы выйти из одиночества, он не находит ничего лучше следующего способа. Он выходит на улицу, в одной руке держа конверт с банкнотой в пять тысяч франков – для того времени сумма немалая, – а в другой, если можно так выразиться, пощечину. Затем он конверт роняет. Некий встречный любезно поднимает конверт и подает ему. *Мелионер* предлагает ему написать на конверте чье-либо имя и адрес. После чего он отвешивает ему пощечину, и притом – недаром же он Зевс – пощечину нешуточную: оглушительную и весьма болезненную. Далее банкир удаляется и посылает содержимое конверта лицу, чье имя было написано на конверте тем, с кем он только что так невежливо обошелся.

В итоге он оказывается в положении, где сам никакого выбора не делал, а лишь вознаградил произвольно совершенный дурной поступок даром, которым лично ему никто не обязан. Усилие его направлено на то, чтобы поступком этим восстановить цикл обмена, который сам по себе никоим образом, как ни крути, установиться не может. Участником обмена Зевс пытается стать, вломившись в него насильно, создав своего рода долг, в котором сам он оказывается не при чем. Продолжение романа построено на том факте, что оба персонажа так и не сумеют никогда соизмерить то, что они друг другу должны. Один из них от этого чуть не окривеет, а другой и вовсе умрет.

Вот и вся история, поведанная в этом романе, история чрезвычайно поучительная, нравоучительная и к тому, что мы пытаемся здесь объяснить, имеющая непосредственное отношение.

Итак, наш Генрих Гейне оказывается в положении автора, создавшего персонаж, которому он придал, с помощью означающего *фамиллионьярно,* два измерения: измерение метафорического творения и измерение своего рода нового метонимического объекта, *фамиллионера* – объекта, которому мы можем указать место на нашей схеме. В прошлый раз я уже показывал вам – специально, правда, на это ваше внимание не обращая, – что все осколки и остатки, обычно встречающиеся при проекции метафорического творения на объект, в означающем этом нетрудно найти. Я имею в виду всю означающую подоплеку, все мелкие означающие частицы, на которые слово *фамиллионьярно* дробится: здесь и *fames*, и

fama, и *famulus*, и *infamie*, бесславие, – все, что хотите, все то, чем Гирш Гиацинт своему карикатурному покровителю, Кристоферо Гумпелио, в действительности представляется. Имея дело с образованием бессознательного, мы всякий раз обязаны проводить систематический поиск того, что я назвал *осколками метонимического объекта*.

По причинам, которые опыт делает очевидными, осколки эти становятся особенно важны в ситуациях, когда метафорическое творение не удается – я хочу сказать, когда оно ни к чему не приводит, как в том случае с забвением имени, о котором я вам рассказывал.

Если имя *Signorelli* забыто, если на уровне метафоры остается вместо него лишь полость, дыра, метонимические обломки становятся для определения его места совершенно необходимы. Когда слово *Herr* исчезает, именно метонимический контекст, в котором оно изолировалось, *контекст Боснии-Герцеговины*, позволяет нам это слово восстановить.

Вернемся к нашему *фамиллионьярно*, новообразованию, возникающему на уровне сообщения. Я уже говорил вам, что на уровне остроты нам предстоит встретиться с метонимическими соответствиями парадоксального строения – точно так же, как на уровне забвения имени встретились мы с теми, что отвечают пропаже или исчезновению слова *Signor*. На этом мы тогда и остановились. Теперь нам предстоит дать себе отчет в том, что происходит на уровне слова *фамиллионьярно* – учитывая при этом, что метафора, в данном случае остроумная, оказалась успешной. Прежде всего, в ней непременно должно найтись нечто такое, что отход, остаток метафорического творения каким-то образом помечает.

Ребенок дал бы ответ не задумываясь. Не будь мы заворожены той "овеществляющей" стороной языка, из-за которой мы вечно обращаемся с чисто языковыми явлениями как с предметами, мы бы легко научились говорить вещи простые и очевидные с той же легкостью, с какой манипулируют своими буковками *x* и *y*, *a* и *в* математики, – говорить, ни о чем не думая, не думая о том, что эти вещи значат. Что в данном случае отброшено? Что отмечает на уровне метафоры осадок, остаток метафорического творения? Ясно, что это слово *фамильный*, т. е. хорошо знакомый, семейный.

Если слово *фамильный* не явилось, если явилось на его место слово *фамиллионьярно*, то нам приходится заключить, что слово *фа-*

мильный куда-то переместилось, что оно разделило судьбу *Signor*'а из *Signorelli*, который, как я в прошлый раз вам уже объяснял, обречен гулять по своему маленькому замкнутому контуру где-то в бессознательной памяти.

Мы не удивимся, если это действительно так. Слово *фамильный* претерпевает судьбу вполне соответствующую механизму вытеснения в обычном смысле, то есть в смысле, известном нам на собственном опыте, вполне совпадающем в данном случае с предшествующим историческим опытом – опытом личным и восходящим к прошлому весьма отдаленному. Надо ли говорить, что дело коснется в таком случае не только бытия Гирша Гиацинта, но и бытия его создателя, Генриха Гейне.

Если в поэтическом творении Генриха Гейне слово *фамиллионьярно* расцвело цветом столь пышным, так ли уж нам важно знать, при каких обстоятельствах пришло оно ему в голову? Не исключено ведь, что оно не осенило Гейне за письменным столом, а придумано было поэтом во время прогулки по ночному Парижу, когда он возвращался в одиночестве после одной из тех встреч, что состоялись у него в 1830-х годах с бароном Джеймсом де Ротшильдом, который обращался с поэтом как с равным и *совершенно фамиллионьярно*. Какая разница, если результат удался на славу?

Не подумайте, будто я здесь иду дальше Фрейда. Перелистав треть его книги, вы увидите, что он к примеру слова *фамиллионьярно* вновь возвращается – возвращается, чтобы рассмотреть его на сей раз на уровне того, что он называет "устремлениями остроумия", чтобы определить истоки образования этой столь искусно изобретенной остроты. Мы узнаем здесь, что за созданием Гейне стоят определенные факты его прошлого, его личные, семейные отношения. За Соломоном Ротшильдом, фигурирующим в его рассказе, просматривается другой *фамиллионер*, его родственник, человек действительно его *фамилии* – Соломон Гейне, дядя поэта. Этот последний в течение всей жизни поэта был для него самым настоящим тираном. Дядя не только плохо обращался с племянником, отказывая в конкретной помощи, на которую тот мог рассчитывать, но и воспрепятствовал осуществлению самой большой любви в жизни поэта – любви к кузине, на которой Гейне не смог жениться по той вполне *фамиллионьярной* причине, что дядя его миллионером был, а он – нет. Гейне всю жизнь будет считать предательством то, что было на самом деле лишь итогом того тупика,

в котором оказалась его семья, отмеченная *миллиардурью* как фамильной чертой.

Слово *фамильный*, которому принадлежит здесь, в качестве означающего, ведущая роль, будучи в остроумном создании Гейне, этого поистине художника языка, вытеснено, ясно доказывает тем самым наличие здесь "подкладки" некоего личного значения. Подкладка эта связана именно со словом, а вовсе не со всем тем смутным и неопределенным, что могло вобрать в себя в жизни поэта постоянное значение слова вследствие его неудовлетворенности и удивительной неустойчивости его позиции по отношению к женщинам вообще. Если этот фактор и действует здесь, то лишь посредством означающего *фамильный* как такового. И нет в указанном примере никакого иного средства адекватно понять действие или вмешательство бессознательного, кроме как показав, что значение тесно связано с присутствием означающего термина *фамильный*.

Замечания эти довольно убедительны для доказательства того, что путь, на который мы вступили, – путь, который заключается в том, чтобы связать всю экономию того, что в бессознательном зарегистрировано, с комбинацией означающих, – приведет нас весьма далеко. Однако регрессия, на которую он обрекает нас, не устремляется *ad infinitum*, а возвращается к истокам языка. По сути дела, и все человеческие значения следует рассматривать не иначе, как метафорически порожденные в какой-то момент сочетанием означающих.

Соображения вроде только что приведенных безусловно не лишены интереса – у истории означающего всегда найдется чему поучиться. Установив, что именно термин *фамилия* был тем самым, что оказалось на уровне метафорического образования вытеснено, мы это по ходу дела убедительно проиллюстрировали.

На самом деле, если вы не читали Фрейда – а между тем, как вы мыслите на кушетке, и вашим способом читать текст не существует ничего общего, – вы вспоминаете о *фамилии*, произнося слово *фамиллионьярно*, не больше, чем вспоминаете вы о *земле* (terra), произнося слово *поражен* (atterré). Чем активнее реализуете вы в речи термин *atterré*, тем дальше уплываете вы в сторону *terreur* (ужас) и тем дальше уходит на задний план *terre*, хотя первоначально в создании означающего метафорического термина *atterré* активным элементом была именно *terre*, *земля*. То же самое здесь: чем больше удаляетесь вы в направлении *фамиллионьярном*, тем больше дума-

ете вы о *фамиллионере*, то есть о миллионере, ставшем, так сказать, трансцендентным, обратившимся в нечто такое, что существует в сфере самого бытия, а не остается лишь в своем роде знаком, и тем больше *фамилия*, термин, активно в создании слова *фамиллионер* задействованный, оказывается в тени. Последуйте же моему примеру и поинтересуйтесь словом *фамилия* (famille) на уровне означающего и его истории, воспользовавшись для этого словарем Литтре.

Именно в Литтре – утверждает г-н Шарль Шассе – Малларме черпал лучшие свои мысли. Самое интересное, что он совершенно прав. Он прав в определенном контексте, в котором увяз не менее прочно, чем те, к кому он обращается, – именно это создает у него впечатление, будто он ломится в дверь. И ломится он в эту дверь, конечно же, потому, что она закрыта. Если бы на тему о том, что такое поэзия, размышлял каждый, никого бы не мог поразить тот факт, что означающим Малларме живо интересовался. Но над тем, что такое поэзия, так, на самом деле, никто толком и не задумался. Маятник так и качается до сих пор между какой-то смутной и размытой теорией сравнения и бог знает какими музыкальными категориями, которыми и намереваются пресловутое отсутствие смысла у Малларме объяснить. Короче говоря, никто не замечает того, что должен существовать способ определить поэзию, который исходил бы из ее зависимости от означающего. И когда поэзии дают определение сколь-нибудь более строгое, как это Малларме и сделал, не так уж удивительно становится, что именно в означающем ищут ключ к наиболее темным его сонетам.

При всем том, я не думаю все-таки, что найдется однажды человек, который отважится заявить, будто и я тоже все собственные идеи черпаю именно из Литтре, доказывая свое открытие тем, что мне этим словарем случалось воспользоваться.

Итак, воспользовавшись словарем, я должен сообщить вам один факт, который, я думаю, кое для кого из вас будет не новым, но определенный интерес, тем не менее, вызовет, а именно: в 1881 году слово *familial* – *семейный*, *фамильный* – было неологизмом. Внимательная консультация у нескольких солидных авторов, которые серьезно этой проблемой занимались, позволило мне датировать появление этого слова 1865 годом. Ранее этой даты такого прилагательного не существовало. Почему его не существовало?

Согласно определению, которое дает Литтре, *familial* применя-

ется к тому, что относится к *famille, семье*, на уровне, как он выражается, ***политической науки***. Термин *familial* связывается им, таким образом, с контекстом, в котором мы говорим, например, о ***семейных пособиях*** (allocutions familiales). Прилагательное это явилось, следовательно, на свет в тот момент, когда стал возможен подход к семье как объекту на уровне вызывающей интерес политической реальности, то есть постольку, поскольку она не играла уже для субъекта той роли структурного начала, что принадлежала ей ранее, когда она была неотделимой частью самих основ его дискурса, так что о выделении ее в качестве объекта не могло быть и речи. И лишь тогда, когда она была с этого уровня поднята, когда она стала предметом определенного технического манипулирования, смогла возникнуть вещь на первый взгляд столь простая, как соответствующее ей прилагательное. На употреблении существительного *famille* (*семья*) это тоже, как вы сами прекрасно видите, не могло не сказаться.

Как бы то ни было, мы видим, что слово, которое, как я сказал уже, перемещено было в данном случае в контур вытесненного, вовсе не имело во времена Генриха Гейне значения, тождественного тому, которое оно имеет у нас. На самом деле, уже сам факт, что термин *фамильный, familial,* не только не использовался тогда в том контексте, в котором мы пользуемся им сейчас, но и не существовал вовсе, вполне достаточно, чтобы ось означающей функции, связанной с термином *famille, семья,* несколько сместить. Нюансом этим в данных обстоятельствах пренебрегать не следует.

Именно в силу такого пренебрежения и рождается у нас иллюзия, будто мы понимаем древние тексты именно так, как понимали их современники. Более чем вероятно, однако, что наивное чтение Гомера подлинному его смыслу нимало не соответствует. Не случайно, разумеется, есть люди, целиком посвящающие себя исчерпывающему изучению словаря Гомера в надежде хотя бы приблизительно восстановить измерение значения, о котором в поэмах этих идет речь. И все же эти последние свой смысл сохраняют, хотя изрядная часть того, что неподобающе называют "духовным миром", и что на самом деле является миром значений гомеровских героев, скорее всего от нас полностью ускользает, да, вероятно, и должно более или менее безнадежно от нас ускользать. Само расстояние между означающим и означаемым наводит на мысль, что сочетаниям достаточно искусным, которые как раз поэзию и харак-

теризуют, правдоподобный смысл можно будет придать всегда, вплоть до скончания века.

По-моему, я вкратце упомянул обо всем, что можно было о явлении создания остроты в ее собственном регистре сказать. И это, пожалуй, позволяет нам поближе присмотреться к предложенной нами формуле для забвения имени – формуле, о которой говорил я вам на прошлой неделе.

3

Что такое забвение имени? В данном случае субъект ставит перед Другим, и самому Другому в качестве Другого, вопрос: *"Кто написал фреску в Орвьето?"* И ответа не получает.

В связи с этим я хочу пояснить вам, почему мне так важно подыскать для вас правильную формулировку. Исходя из того, что субъект, как показывает анализ, не может вспомнить имя мастера из Орвьето лишь потому, что ему не хватает элемента *Синьор*, вы можете подумать, что именно *Синьор* и оказался забытым. Это не так. Он ищет в памяти не *Signor*, а *Синьорелли*, и забытым оказалось именно это последнее. *Синьор* – это лишь вытесненный означающий остаток чего-то такого, что происходит на месте, где *Синьорелли* больше не оказывается.

Обратите внимание на строгость предложенной мною формулировки. Вспомнить *Синьор* и вспомнить *Синьорелли* – это две абсолютно разные вещи. С момента, когда *Синьорелли* стало для вас личным именем художника, о слове *Синьор* вы больше не думаете. Если *Синьор* внутри *Синьорелли* оказался выделен, то произошло это в силу присущего метафоре разлагающего воздействия и лишь постольку, поскольку имя оказалось вовлеченным в метафорическую игру, которая к его забвению и привела.

Анализ позволяет нам восстановить связь элемента *Синьор* со словом *Герр, господин*, – связь, возникшую в метафорическом творении, ориентированном на смысл, лежащий по ту сторону слова *Герр*, смысл, который приняло это слово во время разговора Фрейда с человеком, сопровождавшим его в поездке к бухте Каттаро. *Герр* стал символом того, перед чем искусство врача оказывается бессильно, символом верховного господина, то есть недуга, от которого врач исцелить не может (пациент, несмотря на лечение, кончает жизнь самоубийством), в конечном же счете, смерти и бессилия, которое угрожает лично ему, Фрейду. Именно в акте создания

метафоры и произошел распад слова *Синьорелли*, позволивший элементу *Синьор* переместиться в какое-то другое место. Не следует поэтому утверждать, будто забыт *Синьор* – забыт на самом деле *Синьорелли*. *Синьор*, – это то, что мы обнаруживаем на уровне метафорического отброса в качестве вытесненного. *Синьор* вытеснен, а не забыт. Он не был забыт, потому что до этого просто не существовал.

Слово *Signorelli* смогло разбиться на фрагменты, выделив из себя элемент *Signor*, столь легко исключительно потому, что принадлежит языку, который для Фрейда был иностранным. Как это ни поразительно, но – если вы хоть немного знакомы с иностранными языками, вам нетрудно будет в этом убедиться самим, – составляющие элементы означающего в чужом языке различить бывает гораздо проще, чем в своем собственном. Приступив к изучению языка, вы сразу начинаете замечать, как одни слова слагаются из других – то, на что в своем обычно не обращаете внимания. Вы не осмысляете слова собственного языка, разлагая их на корень и суффикс, в то время как при изучении иностранного языка вы совершенно спонтанно так именно и поступаете. Именно поэтому иностранное слово гораздо проще поддается разбиению на отдельные, допускающие независимое использование означающие элементы, нежели какое бы то ни было слово в родном языке. Обстоятельство это, разумеется, привходящее, и в процесс с таким же успехом могут быть вовлечены и слова собственного языка, но Фрейд начал все-таки со случая, когда забыто оказалось имя на чужом языке, так как именно подобный пример был особенно доступен и показателен.

Итак, что же находится на уровне того места, где обнаружилась пропажа имени *Синьорелли*? Там имела место попытка метафорического творения. В качестве забвения имени предстает то самое, что дает возможность оценить себя на уровне образования *фамиллионьярно*. Скажи Гейне: "Он обращался со мной совсем как с равным, совершенно... мм... мм...", – и место осталось бы пусто. Именно это и происходит на уровне, где Фрейд ищет имя *Синьорелли*. Что-то не выходит, что-то так и не создано. Он ищет имя *Синьорелли*, и совершенно напрасно. Почему? Да потому, что на уровне, где он ищет *Синьорелли*, на месте этом ожидается, требуется в силу прежде состоявшегося разговора, метафора, которая опосредовала бы то, о чем в разговоре шла речь, с тем, о чем он не желает знать, – со смертью.

5 Зак 2370

Именно это занимает Фрейда, когда он обращает свою мысль к фрескам из Орвьето – то, что он называет концом света. На сцену вызывается некая, если можно так выразиться, эсхатологическая конструкция. Это единственный возможный для него способ приблизиться к тому устрашающему, немыслимому, если можно так выразиться, рубежу мысли, остановиться на котором ему, так или иначе, все же необходимо, ибо смерть существует – именно она обусловливает конечность его человеческого бытия и его профессиональной деятельности; именно она кладет неумолимый предел его мышлению. И вот в создании метафорической конструкции конца никакая метафора не приходит ему на помощь. Фрейд знать не желает никакой эсхатологии – разве что в форме восхищения фресками из Орьвето. И потому в голову ему ничего не приходит.

На том месте, где он ищет автора – в конечном счете, речь ведь идет об авторе, о том, чтобы назвать автора, – ничего не возникает, никакая метафора не удается, ничего эквивалентного *Синьорелли* не обнаруживается. *Синьорелли* было затребовано в этот момент в совершенно другой означающей форме, нежели форма чистого имени. Оно было призвано вступить в игру точно таким же образом, каким играет свою роль в слове *atterré* (пораженный) корень *terre* земля), – оно разбивается на части и выпадает. Существование в каком-то месте термина *Signor* является следствием неудавшейся метафоры, которую Фрейд призывает в этот момент к себе на помощь, – метафоры, продукты которой должны вписаться в схему на уровне метонимического объекта.

Объект, о котором идет речь, объект представленный на фреске, изображающей конец света, – Фрейд извлекает его из памяти без труда. “Я не мог вспомнить имени Синьорелли, – пишет он, – но сами фрески Орвьето никогда не представали моему мысленному взору так живо, хотя силой воображения я особо не отличаюсь”. Это последнее известно нам и по ряду других признаков – в частности, по форме его сновидений. Очень возможно даже, что и открытия-то свои Фрейд смог совершить именно потому, что был человеком гораздо более открытым и податливым для игры символической, нежели для игры воображения. Он и сам отмечает интенсификацию образа на уровне воспоминания, обостренное представление объекта, о котором идет речь, то есть фрески, и даже лица самого художника, чью фигуру мы видим на ней в позе, в которой принято было в произведениях той эпохи изображать их заказчи-

ка, а порою и автора. Синьорелли на картине присутствует, и Фрейд мысленно его видит.

О забвении в чистом виде, полном забвении объекта как такового, следовательно, речи нет. Налицо зато определенная связь между интенсивным оживлением в памяти некоторых воображаемых его элементов и утратой элементов иного рода – означающих элементов, принадлежащих уровню Символического. Перед нами здесь признак того, что происходит на уровне метонимического объекта.

А это значит, что сформулировать то, что происходит при забвении имени, мы можем приблизительно следующим образом:

$$\frac{\text{X}}{\text{Синьор}} \cdot \frac{\text{Синьор}}{\text{Герр}}$$

Перед нами вновь формула метафоры – фигуры, осуществляемой механизмом замены означающего S на другое означающее S′. Каковы последствия этой замены? На уровне S′ происходит изменение смысла — смысл означающего S′ (обозначим его *s*′), становится новым смыслом, который мы назовем *s*, поскольку соответствует он означающему S. Чтобы не создавать двусмысленности, так как вы можете решить, что в топологии этой s маленькое представляет собой смысл S большого, я уточняю: S должно вступить в связь с S′, и только в этом случае маленькое *s* сможет произвести то, что я назову *s*′′. В создании этого смысла цель функционирования метафоры как раз и заключается. Метафора успешна постольку, поскольку это проделано – точно так же, как в перемножении дробей выражение упрощается путем сокращения. Смысл в этом случае реализуется, будучи в субъекте задействован.

Именно постольку, поскольку слово *atterré* приобретает в конечном счете то значение, которое оно сейчас, практически, для нас и имеет, т. е. "испытывающий в той или иной степени ужас (*terreur*)", элемент *terre*, который, с одной стороны, послужил опосредующим элементом между *atterré* и *abattu* (а различие между ними абсолютно, ибо никакой причины на то, чтобы слово *atterré* заняло место слова *abattu*, просто нет), с другой же, привнес с собой, по линии омонимии, *terreur* (ужас), – элемент этот в обоих случаях подвергается "сокращению". Перед нами, как видим, явление того же порядка, что и в случае забвения имени.

Речь идет не о потере имени *Синьорелли*, речь идет об *X*, которое я ввожу здесь по той причине, что нам предстоит научиться рас-

познавать его и им пользоваться. *X* – это то, что взывает к творческому акту, акту наделения значением. Место, им занимаемое, мы найдем в дальнейшем и в экономии других бессознательных образований. Сразу скажу, что то же самое происходит на уровне того, что называют *желанием сновидения*. И здесь мы тоже без труда обнаружим *X* на том месте, где Фрейд должен был бы найти искомое *Синьорелли*.

Фрейд, однако, ничего не находит – не только потому, что *Синьорелли* исчез, но и потому, что на этом уровне ему следовало бы создать нечто такое, что удовлетворило бы тому, что занимало его, то есть концу света. В силу присутствия этого *X* стремится, однако, возникнуть некое метафорическое образование, о чем свидетельствует тот факт, что элемент *Синьор* возникает на уровне двух противоположных означающих терминов. Величина S′ фигурирует дважды, и элемент, как следствие, сокращается. На уровне *X* ничего не происходит – вот почему Фрейд так и не вспоминает искомого имени, а *Герр* играет роль и занимает место метонимического объекта – объекта, который не может быть именован, который именуется лишь по тем связям, в которые он вступает. Смерть – это абсолютный господин, *Герр*. Но говоря *Герр*, мы вовсе не говорим о смерти, потому что о смерти говорить нельзя, потому что смерть – это одновременно и предел всякой речи и, вполне вероятно, первоначальный исток ее.

Итак, вот к чему приводит нас поэлементное сопоставление образования, именуемого *остротой*, с тем бессознательным образованием, чью форму начинаете вы сейчас различать. На первый взгляд, образование это негативно. На самом деле это не так. Забвение имени – это не отрицание, это нехватка, но нехватка (мы, по обыкновению, намного забегаем вперед) в смысле несостоятельности самого имени. Дело не в том, что имя это в памяти не улавливается. Дело в его, этого имени, несостоятельности.

В поисках имени мы обнаруживаем эту нехватку на том месте, где имя это призвано было выполнять свою функцию и где оно не в состоянии более ее выполнять, так как нужен оказывается новый смысл, требуется новый акт метафорического творения. Именно поэтому имя *Синьорелли* так и остается не найдено, но зато обнаруживаются фрагменты его, обнаруживаются именно там, где они в анализе и должны быть найдены; там, где они играют роль среднего термина метафоры, то есть того самого, который в ней оказы-

вается опущен.

Не беда, если это покажется вам китайской грамотой, – главное, чтобы вы просто-напросто доверяли своим глазам. Какой бы китайской грамотой это ни могло вам показаться, выводов отсюда напрашивается немало. И если вы вспомните об этом вовремя, это поможет вам уяснить для себя, что именно в анализе того или иного бессознательного образования происходит, поможет дать происходящему удовлетворительное объяснение. И напротив, упустив это из виду, не отдавая себе в этом отчета, вы придете к овеществленным представлениям общего и грубого характера, которые, даже не будучи обязательно источником заблуждений, всегда служат почвой для тех ошибочных вербальных идентификаций, что играют такую важную роль в выработке определенных психологических черт – прежде всего, вялости и апатии.

4

Вернемся к нашей остроте и тому, что следует думать на ее счет. Я хотел бы в заключение ввести для вас еще одно, новое различие, касающееся вопроса, с которого я начал, – вопроса о субъекте.

Мышление всегда норовит сделать субъектом того, кто в дискурсе на себя в качестве такового указывает. Напомню вам, что этому термину противостоит другой. Это противостояние того, что я назвал бы сказыванием настоящего (le dire du présent), с одной стороны, и настоящего сказывания (le présent du dire), с другой.

Это смахивает на игру слов, но таковой отнюдь не является.

Сказывание настоящего отсылает нас к тому, что в дискурсе выступает как *я*. С помощью ряда служебных частей речи, вроде *здесь, теперь* и других слов, табуированных нашим психоаналитическим словарем, оно дает возможность засечь в дискурсе присутствие говорящего, засечь говорящего в момент выступления его в качестве говорящего, на уровне сообщения.

Малейшего опыта общения с языком достаточно, чтобы увидеть, что настоящее сказывания, то есть то, что в настоящий момент в дискурсе налицо, представляет собой нечто совершенно иное. Настоящее сказывания может прочитываться в самых различных модусах и регистрах, оно не связано, в принципе, с настоящим, обозначенным в дискурсе в качестве настоящего того, кто является его носителем, – с настоящим, которое является величиной переменной и для которого слова имеют значение лишь служебное. Место-

имение *я* значит ничуть не больше, чем местоимения *здесь* и *теперь*. Доказательством тому служит тот факт, что когда вы, мой собеседник, толкуете мне о *здесь* и *теперь*, вы имеете в виду не те *здесь* и *теперь*, о которых говорю я. В любом случае ваше *я* безусловно не то же самое, что *я* мое.

Я сейчас проиллюстрирую вам, что такое настоящее сказывания, на примере одной остроты – самой краткой из всех, мне известных. Одновременно она познакомит нас с другим измерением остроты, которое не является измерением метафорическим.

Метафорическое измерение соответствует сгущению. Что касается смещения, о котором я говорил только что, то ему соответствует измерение метонимическое. Если я не завел речь об этом измерении раньше, то лишь потому, что заметить его гораздо труднее. Острота, которую я хотел привести, особенно хороша тем, что дает вам его почувствовать.

Метонимическое измерение, поскольку оно может войти в остроту, задействует игру употреблением слова в различных контекстах. Оно заявляет о себе, ассоциируя между собой элементы, уже хранящиеся в сокровищнице метонимий. В двух различных контекстах слово может вступить в совершенно различные связи, приобретая в итоге два совершенно различных смысла. Придавая ему в одном контексте смысл, который оно имеет в другом, мы оказываемся в метонимическом измерении.

Я приведу вам классический пример в форме остроты, которую дам вам время обдумать самостоятельно.

Генрих Гейне беседует в светском салоне с поэтом Фредериком Сулье, который при виде толпы, окружившей одно значительное в ту эпоху лицо, чья одежда блистала золотым шитьем, замечает: "*Как видите, мой друг, культ золотого тельца еще жив!*" На что Гейне, взглянув на это лицо, отвечает: "*Знаешь, для тельца он, похоже, будет несколько староват!*"

Вот пример остроты метонимической. Подробно я разберу ее в следующий раз, но вы уже сейчас можете отметить для себя, что остротой эта реплика является потому и только потому, что слово *телец* фигурирует в разговоре в двух различных метонимических контекстах. Восприняв реплику в ее буквальном смысле, который состоит в том, что упомянутое лицо – самая настоящая скотина, мы к значению остроты вовсе ничего не добавим. Как ни странно, но острота имеет здесь место лишь потому, что в двух следующих

друг за другом репликах слово *телец* использовано в двух различных контекстах.

То, что острота реализуется на уровне игры означающих, я могу продемонстрировать на примере наикратчайшем.

Одну молодую девушку, получившую, надо признать, качественное и настоящее воспитание, состоящее в том, чтобы не употреблять грубых слов, но их знать, некий дамский угодник приглашает на первую в ее жизни surprise party. Танцуя с ней – кстати сказать, скверно – он прерывает долгое и утомительное молчание словами: "Vous avez vu, mademoiselle, que je suis comte. (*Вы видите, мадемуазель, что я граф*)!" – "*At*!" – без обиняков отвечает девушка.*

Это история не из тех, что можно прочесть в маленьких специальных сборниках. Не исключено, что кое-кто из вас слышал ее из уст самой девушки, которая, надо сказать, была ею весьма довольна. Тем не менее история эта носит характер чрезвычайно показательный., являя собой идеальное воплощение того, что названо мною *настоящим сказывания*. Никакого *я* здесь нет, *я* не называет себя. Ничто не обнаруживает настоящее сказывания как нечто, противоположное сказыванию настоящего, лучше, нежели восклицание в чистом виде. Восклицание – это чистейший образец того, как дискурс присутствует в настоящем притом, что носитель его собственное свое настоящее полностью из него устраняет. Его настоящее целиком претворяется, если можно так выразиться, в настоящее дискурса.

Тем не менее, на этом уровне творчества субъект обнаруживает наличие у него остроумия, ибо такие вещи заранее не придумываются, это приходит само, что и служит, собственно, признаком того, насколько человек остроумен. Девушка просто вносит в код небольшое изменение, состоящее в прибавлении этого маленького "t", которое черпает все свое значение исключительно из контекста, давая понять, что граф ее не устраивает – с той лишь оговоркой, что сам граф, если он действительно, как я сказал, столь мало способен кого-либо устроить, так, возможно, его и не заметил. Шутка эта, таким образом, совершенно непреднамеренна, однако несмотря на это в ней отчетливо просматривается элементарный механизм остроты: легкое нарушение кода как таковое идет в ход в качестве ценного нововведения, позволяющего мгновенно породить нужный субъекту смысл.

Каков же он, этот смысл? Вам, разумеется, кажется, что сомне-

ний на этот счет быть не может, но ведь в конце концов воспитанная молодая девушка не сказала прямо своему графу, что он есть то, что он есть, только без "t". Ничего подобного она ему не говорила. Смысл, который предстоит создать, зависает в неопределенности где-то между мной и Другим. И это признак того, что имеется нечто такое, что, по крайней мере на данный момент, остается лишь пожелать. С другой стороны, текст в другой материал не переводим – скажи этот человек, что он маркиз, и акт творчества оказался бы невозможен. Есть старая добрая шутка, доставлявшая нашим отцам еще в прошлом веке немалое удовольствие. На вопрос: *Как дела?* Они отвечали: *Как сажа бела*. Ответ *Бела как снег* был бы неуместен. Вы скажете, наверное, что то было время, когда радоваться умели простым вещам.

"At!" – в ответе этом шутка предстает в самой крайней, безусловно фонематической форме. Это простейшее строение, которое можно фонеме придать. В ней должно быть две различительные черты, ибо простейшая формула ее такова: это либо согласная, примыкающая к гласной, либо гласная, примыкающая к согласной. Согласная, примыкающая к гласной, – это классическая формула: ее-то как раз мы здесь и находим. Этого вполне достаточно, чтобы образовать высказывание, обладающее цельностью сообщения, – необходимо лишь, чтобы высказывание это парадоксальным образом отталкивалось от принятого словоупотребления и направляло мысль Другого к мгновенному постижению смысла.

Именно это и называется быть остроумным. Здесь-то и пускается в ход тот собственно комбинаторный элемент, на который опирается любая метафора. Говоря сегодня так много о метафоре, я как раз и позволил вам лишний раз обнаружить действие заместительного механизма. Механизм этот включает четыре члена – те самые, что входят в формулу, предложенную мной в статье *Инстанция буквы*. В первую очередь, по крайней мере по форме своей, это присущая разуму операция, которая состоит в формулировании коррелятива к составлению пропорции с участием величины *X*.

Это, в сущности, и есть тест на разумность. Однако мало, пожалуй, будет сказать, что человек отличается от животного разумностью, и этой грубой констатацией ограничиться. Да, разумность и вправду, наверное, отличает его от животного, но не исключено, что именно использование означающих формулировок является здесь первичным фактором.

Чтобы правильно поставить проблему пресловутой разумности человека как источника его реальности плюс *X*, следует поначалу задаться вопросом, о разумении чего, собственно, идет речь. Что, собственно, предстоит понять? Если речь идет просто-напросто о связи с Реальным, то это значит, что дискурс наш призван безусловно, в конечном итоге, восстановить это Реальное в существовании, ему свойственном; другими словами, что завершиться он должен, собственно говоря, ничем. Именно это, кстати, с дискурсом обычно и происходит. Если мы приходим к чему-то другому, если возможно оказывается говорить об истории, имеющей целью некое знание, то происходит это лишь постольку, поскольку дискурс привнес с собой какие-то существенные изменения.

Вот об этом-то и идет речь. И не исключено, что идет она просто-напросто о четырех членах, связанных определенными отношениями, которые именуются обычно *пропорцией*. Отношения эти мы, как всегда, готовы овеществить. Мы убеждены, что черпаем их в самих предметах. Но где будут в предметах эти пропорциональные отношения, если мы сами не введем их туда с помощью наших маленьких означающих?

Остается признать, что сама возможность метафорической игры основана на существовании чего-то такого, что подлежит замещению. В основе лежит означающая цепочка как принцип комбинации и место возникновения метонимии.

Именно этим и попытаемся мы заняться в следующий раз.

20 ноября 1950 года

IV
Золотой телец

Потребность и отказ
Формализация метонимии
Нет метафоры без метонимии
Диплопия Мопассана
Расцентровка у Фенеона

Прошлый раз мы остановились в тот момент, когда, обнаружив истоки одной из форм остроумия в том, что я назвал метафорической функцией, собирались рассмотреть остроумие под другим углом зрения – в регистре функции метонимической.

У вас может вызвать удивление мой подход, состоящий в том, чтобы исходя из конкретного примера последовательно раскрывать функциональные зависимости, которые уже в силу своей функциональности не кажутся связанными с интересующим нас предметом какой-либо общей закономерностью. Обусловлено это особенностью, присущей самому нашему материалу, деликатность которого у меня будет случай вам продемонстрировать. Скажем так: все, что относится к разряду бессознательного, поскольку это последнее структурировано языком, ставит нас лицом к лицу с тем фактом, что не род, не класс, а лишь частный пример позволяет нам уловить наиболее значительные его свойства.

Мы находимся здесь в перспективе по отношению к привычной для нас аналитической перспективе обратной, направленной на анализ ментальных функций. Можно сказать, что понятие, в абстрактном смысле слова, в данном случае не работает. Точнее говоря, речь тут идет о необходимости воспользоваться иной формой постижения, нежели понятийное. Именно на это намекал я однажды, говоря о маньеризме, и черта эта для нашей области более чем характерна. Учитывая почву, на которой мы перемещаемся, продвигаться нам приходится не столько употребляя понятия, сколько злоупотребляя ими. И обусловлено это особенностями той области, где происходят движения структурных образований, о которых у нас идет речь.

Поскольку термин *до-логическое* по самой природе своей рождает путаницу, я посоветую вам, учитывая то, во что его превратили (а превратили его в какое-то психологическое свойство), зара-

нее его из списка необходимых вам категорий вычеркнуть. У нас речь идет о структурных свойствах языка, предшествующих всякому вопросу, с которым мы можем обратиться к нему относительно законности того, на что он, язык, нас нацеливает. Вы прекрасно знаете, что именно это было предметом озабоченных размышлений философов, благодаря которым мы пришли к своего род компромиссу – приблизительно следующему: хотя язык и показывает нам, что ничего путного, кроме того, что сам он имеет языковую природу, мы о нем сказать не можем, в том, на что он нас нацеливает, реализуется некое *для нас*, которое получает название *объективности*. Это, конечно, слишком уж беглый способ резюмировать тот полный приключений путь, что ведет от формальной логики к логике трансцендентальной, и я прибегаю к нему лишь для того, чтобы с самого начала вам стало ясно, что мы с вами занимаем позицию в совсем другой области.

Размышляя о бессознательном, Фрейд не говорит прямо, что оно определенным образом организовано, и все же это у него сказано, поскольку законы, которые он формулирует, законы построения этого бессознательного, в точности совпадают с основополагающими законами построения дискурса. С другой стороны, присущий бессознательному способ артикуляции лишен многих элементов, содержащихся в нашей повседневной речи – Фрейд указывает здесь на причинные связи, говоря о сновидении, или на отрицание, тут же, правда, поправляясь, и демонстрируя нам, что оно-таки проявляется в сновидении уже иным образом. Вот поле, которое Фрейдом уже очерчено, определено, размежевано, исследовано и, собственно говоря, разработано. Именно сюда мы и возвращаемся в попытке сформулировать – скажем больше: формализовать то, что мы только что называли *первичными законами строения языка*.

Если фрейдовский опыт чему-то действительно научил нас, так это тому, что законами этими мы предопределены, как образности ради, справедливо ли, нет ли, обычно говорят, на всю глубину нас самих, – а выражаясь скромнее, предопределены на уровне того, что расположено в нас по ту сторону наших собственных о себе понятий, по ту сторону тех представлений, которые мы сами способны о себе составить, на которые мы опираемся, за которые худо-бедно цепляемся, которые спешим порою, немного преждевременно, выставить в выгодном свете, говоря о синтезе, о личности в ее целокупности, то есть используя термины, которые – не забудьте – как

раз фрейдовским опытом и оспариваются.

На самом деле Фрейд учит нас видеть – и я должен поместить это на фронтиспис своих лекций – ту дистанцию, ту бездну, которая пролегает между строением желания и строением наших потребностей. И если в конечном счете фрейдовский опыт вновь нашел себе опору в метапсихологии потребностей, это, ясное дело, еще ничего не доказывает. Более того, это даже можно счесть неожиданным, если вспомнить о том, что с самого начала выступало как несомненное. Ведь как ни крути, а весь аналитический опыт, основы которого были определены и заложены Фрейдом, неизменно демонстрирует нам, в сколь огромной мере структура желаний определена чем-то иным, нежели потребности. Потребности доходят до нас преломленными, разбитыми, расчлененными, и выстроены они не чем иным, как механизмами сгущения, смещения и т. д., выстроены согласно проявлениям психической жизни, в которых они отражаются и которые предполагают, в свою очередь, наличие других посредников и механизмов – тех самых, в которых мы узнаем некоторые из тех законов, к которым в конце этого года нам предстоит подойти и которые мы назовем *законами означающего.*

Законы эти господствуют здесь, и в остроте предстает нам один из случаев их использования – использование их в игре остроумия, остроумия с тем вопросительным знаком, которого введение этого термина требует. Что такое остроумие? Что такое, по-латыни, *ingenius*? Что такое, по-испански, *ingenio*, коли уже случилось мне на понятие это сослаться? Что представляет собой то бог весть что, которое здесь вмешивается и которое к функции суждения никак не сводится? Мы не сможем определить его место, пока не артикулируем и не проясним способы, которыми оно действует. Каковы эти способы? И на что они, в конечном итоге, нацелены?

Мы уже обращали ваше внимание на двусмысленность различия между остротой и оговоркой, двусмысленность принципиальную и в каком-то смысле конститутивную. Происходящее может быть, в зависимости от ситуации, либо обращено в ту своего рода психологическую случайность, которую представляет собой оговорка и которая без фрейдовского анализа так и осталась бы для нас загадкой, либо, напротив, подхвачено и признано выслушиванием со стороны Другого на уровне собственной своей означающей ценности — той, которую получил, к примеру, парадоксаль-

ный, скандальный неологизм *фамиллионьярно*. Означающая функция, этому слову свойственная, состоит в указании не просто на то или это, а на нечто им в своем роде потустороннее. То фундаментальное, что здесь означается, не связано исключительно с тупиками, в которые упираются отношения субъекта с его родственником-миллионером. Речь идет о неких отношениях, которые не удались, о том, что вводит в постоянные человеческие отношения нечто принципиально тупиковое. Беда в том, что ни единое желание не может быть Другим принято и признано, не став жертвой различных фокусов, которые особым образом его преломляют и превращают его в нечто иное, нежели он сам, в предмет обмена – короче говоря, с самого начала обрекают процесс требования на неизбежность отказа.

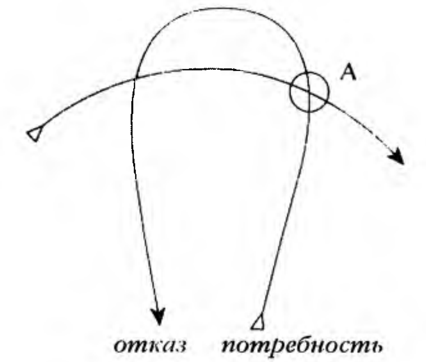
Я позволю себе дать вам представление об уровне, на котором проблема перевода требования в чреватое последствиями высказывание ставится, прибегнув к помощи анекдота, который, как бы забавен и остроумен он ни был, говорит о вещах, от которых простым смешком не отделаться. Анекдот этот, который вы все, безусловно, знаете, рассказывает о встрече мазохиста с садистом: “Сделай мне больно!” – говорит первый из них второму. “Ни за что!” – отвечает тот.

Я вижу, вам не смешно. Это неважно. Некоторые все-таки смеются. Я, впрочем, рассказал этот анекдот не для того, чтобы вас рассмешить. Прошу лишь заметить, что история эта наводит нас на мысль о чем-то таком, что разворачивается на уровне, на котором об остроумии уже речи нет. И в самом деле – кому, казалось бы, проще найти друг с другом общий язык, нежели садисту и мазохисту? Оно так и есть – но, как показывает эта история, при одном условии: они друг с другом не разговаривают.

Ведь садист отвечает *ни за что!* отнюдь не из вредности. Ответ его продиктован самой его садистской природой. И поскольку разговор начат, отвечать ему приходится на уровне речи. Таким образом, при переходе на уровень речи то самое, что должно было бы, при условии, что никто ничего не говорит, привести к глубочайшему взаимопониманию, порождает то, что я только что называл диалектикой отказа – диалектикой, необходимой для сохранения в его сущности требования того, что заявляет о себе посредством речи.

Другими словами, на схеме наблюдается симметрия между двумя элементами цепи: петлей закрытой, которая является замкнутым

контуром дискурса, и петлей открытой. От субъекта исходит нечто такое, что, встречаясь в пункте А со стрелочным разветвлением, замыкается на себя в качестве артикулированной фразы, в качестве кольца дискурса. Зато в случае, если то, что заявляет о себе в качестве требования, нарушает принципиальную симметрию, о которой я говорил, замыкая свою потребность на объект своего желания непосредственно, то она приходит, в конечном итоге, к *нет!*. Можно сказать, что потребность, если мы поместим ее в пункт "дельта прим", с необходимостью встречается со стороны Другого с тем ответом, который мы называем на данный момент отказом.



Это, кстати, говорит о том, что нам стоит внимательнее разобраться в том, что предстает здесь как парадокс, который наша схема помогает разве что очертить. Мы продолжим теперь цепь наших рассуждений относительно остроты в различных ее фазах.

1

Итак, сегодня я начинаю разбор фазы метонимической.

Чтобы сразу создать у вас о ней определенное представление, я привел вам пример в форме истории, чье отличие от истории с *фамиллионером* для вас очевидно. Я имею в виду разговор Генриха Гейне с поэтом Фредериком Сулье, человеком приблизительно его поколения, – разговор, приведенный в книге Куно Фишера и в свое время, я полагаю, получивший широкую известность. В салоне вокруг пожилого господина в ореоле финансового могущества толпится многочисленная публика. "Глядите, – говорит Фредерик Сулье поэту, лишь немного его старшему, чьим почитателем он являлся, – глядите, как XIX столетие поклоняется золотому тельцу". На что Генрих Гейне, окинув предмет, на который обратили его внимание, презрительным взглядом, ответил: "Да, но этот, по-мое-

му, уже вышел из телячьего возраста".

Что эта острота означает? В чем ее соль? Чем она рождена?

В отношении остроты Фрейд, как вы знаете, сразу же подсказал нам следующий план: остроту следует искать там, где она есть, то есть в самом тексте ее. Нет ничего более поразительного – человек, которому приписывали гениальную способность прозрения всего того, если можно так выразиться, потустороннего, что в пресловутых психологических глубинах, якобы, кроется, берет за свой отправной пункт нечто прямо противоположное – само означающее с материальной его стороны, причем рассматривает он его как некую данность, существующую для себя самой. Яркий пример такого подхода представляет собой фрейдовский анализ остроты. Он не просто отправляется каждый раз именно от техники – именно этим техническим элементам доверяется он в поисках истоков остроты.

С чего же он начинает? А начинает он первым делом с того, что сам называет попыткой редукции. Если мы переведем словечко "фамиллионьярный", раздвинув его смысл, если мы разложим то, о чем в нем идет речь, и прочтем последовательно полученные элементы, то есть если мы просто скажем: "*фамильярный, запросто имеющий дело с миллионером*", то от остроты не останется и следа, и это ясно доказывает, что вся суть дела кроется в данном случае в свойственной метафоре принципиально двусмысленной связи, в той функции, которую берет на себя означающее, когда оно замещает другое означающее, остающееся в цепочке скрытым, – замещает в силу своего сходства с ним или их позиционной одновременности.

Фрейд, который поначалу приступил к исследованию остроты на метафорическом уровне, оказывается в истории с золотым тельцом перед новой ее разновидностью, отличие которой от предыдущей интуитивно предчувствует и, не будучи из тех, кто скрывает от читателя блуждания своей мысли в поисках подхода к явлению, признается, что решил было назвать эту разновидность *остротой, связанной с ходом мыслей* в противоположность *остроте, связанной со словесным выражением.* Очень скоро, однако, Фрейд замечает, что различие, им проведенное, совершенно недостаточно и что доверяться в данном случае следует тому, что называется формой, а точнее – артикуляции означающего. В результате Фрейд заново подвергает свой пример технической редукции, пытаясь извлечь из него объяснение того, что за этой формой скрывается, то

есть субъективного согласия с тем фактом, что перед нами не что иное, как острота. Тут-то он и встречается с чем-то таким, что по схеме, примененной им к слову *фамиллионьярно,* анализу не поддается.

Делясь с нами всеми своими соображениями, он останавливается на какое-то мгновение – вслед за Куно Фишером, который на этом уровне и остается, – на протазисе, то есть на том, что дает высказывание собеседника Гейне, Фредерика Сулье. Фрейд усматривает в *золотом тельце* нечто метафорическое, и выражение это явно выступает в двойном качестве – как символ интриги, с одной стороны, и как символ власти денег, с другой. Выходит, весь смысл заключается в том, что господин из нашей истории удостаивается всех этих почестей лишь благодаря своему богатству? Не упускаем ли мы из виду главную пружину того, о чем у нас идет речь? Ошибочность такого подхода очень скоро становится Фрейду ясна. Содержательное богатство примера заслуживает внимательного изучения.

Уже в первых сведениях о том, в каком качестве выступал золотой телец, заключено понятие материи, вещества. Далее, не углубляясь во все то, чем речевое использование этого безусловно метафорического термина обусловлено, достаточно сказать, что, будучи тесно связан с тем отношением означаемого к образу, которое в основе идолопоклонства как раз и лежит, свое подлинное место получает он, в конечном счете, в той перспективе, где признание того, кто заявляет о себе: "*Я есмь тот, который есмь*", то есть признание иудейского Бога, требует отказа не только от идолопоклонства в чистом его виде, то есть от поклонения кумирам, но, более того, от именования всякой предстающей в виде образа ипостаси вообще – того, что предстает как основа, на которой означающее возникло. Необходим же этот отказ для поисков того сущностно потустороннего, отречение от которого как раз и является тем, что придает золотому тельцу его ценность.

Таким образом, золотой телец получает свое метафорическое значение лишь в силу того, что уже с самого начала представляет собою скольжение, сдвиг. Топическая регрессия, которую, несет с собой в религиозной перспективе то замещение Символического Воображаемым, на которое идолопоклонство и опирается, получает здесь, уже вторичным образом, достоинство метафоры, призванной выразить то, что задолго до меня было названо фетиши-

зацией золота — фетишизацией, о которой не случайно я здесь упоминаю, ибо ее-то – и нам придется к этому еще вернуться – как раз и нельзя представить себе иначе, нежели в означающем измерении метонимии.

Итак, перед нами золотой телец, опутанный хитроумной сетью, где символическая функция сплетена воедино с Воображаемым. А как же *Witz*? Может быть, он обитает здесь? Нет, искать его следует совсем в другом месте. Острота, как догадывается Фрейд, кроется в ответе Генриха Гейне, а ответ этот как раз и состоит в том, чтобы если не упразднить вовсе, то, по крайней мере, обесценить все отсылки, на которые метафора золотого тельца опирается, обнаруживая в нем того, кто неожиданно сведен к простому свойству быть всего-навсего тельцом – ценой по столько-то за фунт. Совершенно неожиданно телец этот берется как то, что он в действительности и есть – живое существо, которое законы рынка, установленные и в самом деле властью золота, само обращают в нечто такое, что продается и покупается, подобно скоту, – в "голову скота", в животное, говоря о котором не грех обратить внимание, что оно наверняка вышло за пределы возраста, указанные в определении теленка, которое находим мы в словаре Литтре, теленка-одногодка, которого пуристы-ревнители языка скотобоен называли бы *молочным теленком,* то есть теленком, который еще питается молоком от материнского вымени. Позволю себе заметить, что такого рода пуризм только французам и был свойственен.

Что телец на самом деле здесь совсем не телец, что он немного староват, чтобы зваться тельцом, – от этого в данном случае не уйти. Независимо от того, маячит ли на заднем плане золотой телец или нет – перед нами острота. Фрейд, таким образом, видит, что между историей *фамиллионера* и этой другой имеется разница – первая из них поддается анализу, а вторая нет. Обе при этом являются-таки остротами. Что по этому поводу остается думать? А то, что перед нами два различных измерения, в которых мы с остротой встречаемся. То, с чем мы во втором случае имеем дело, предстает, о чем говорит сам Фрейд, как трюк, фокус-покус, мысленный промах. Это действительно черта, общая для целой категории острот, иной, нежели та, к которой относится *фамиллионер*, – острот, где слову придается, как можно было бы несколько вульгарно выразиться, другой смысл – не тот, в котором оно было сказано поначалу.

В ту же категорию, что и анекдот о золотом тельце, вписывается

острота по поводу конфискации имущества Орлеанского Дома, осуществленной Наполеоном III вскоре после прихода его к власти. Фраза *C'est le premier vol de l'Aigle* переходила из уст в уста, восхищая всех, ясное дело, своей двусмысленностью. О ходе мысли здесь нет и речи – совершенно очевидно, что перед нами острота чисто словесная, основанная на двусмысленности, позволяющей придать слову другое значение.

Интересно в связи с этим исследовать, что за этими словами кроется, и Фрейд, приводя слово *vol* по-французски, действительно позаботился указать на то, что оно может означать как действие, способ передвижения, свойственный птицам, так и изъятие, ограбление, покушение на чужую собственность. Нелишне было бы напомнить по этому поводу то, о чем Фрейд умалчивает, я не говорю: не знает – а именно, что одно из этих значений исторически позаимствовано у другого и что еще в XIII или XIV столетии термин *volerie*, означавший прежде полет, скажем, сокола или куропатки, начал означать то нарушение одного из главнейших законов собственности, который мы именуем кражей.

Это отнюдь не случайность. Я не утверждаю, что это произошло во всех языках, но это произошло, скажем, в латыни, где слово *volare* приняло тот же смысл, имея то же происхождение. Это лишний повод обратить ваше внимание на нечто такое, что не лишено связи с тем, в чем мы переходим с места на место – в том, что я назвал бы способами эвфемистического выражения того, что репрезентирует в речи нарушение (viol) слова или договора. Неслучайно само слово *viol* заимствовано из смыслового регистра *rapt* (*похищение живого лица*), не имеющего ничего общего с тем, что мы с чисто юридической точки зрения именуем *кражей* (*vol*).

На этом мы остановимся и приступим теперь к рассмотрению того, для чего я ввожу здесь термин *метонимия*.

2

По ту сторону неуловимых двусмысленностей значения следует, на мой взгляд, поискать какую-то другую опору. Только она помогла бы нам определить этот второй регистр остроты, позволив объединить ее механизм с механизмом острот первого типа и обнаружить общую их причину.

Что толку мне здесь говорить вам о Фрейде, если мы не постараемся извлечь максимальную пользу из того нового, что он дает

нам. Наша задача продвинуться немного дальше, предложив формализацию, о которой лишь опыт позволит нам в дальнейшем судить, действительно ли она работает, действительно ли именно в этом направлении складываются явления в общую картину.

Решение этой задачи имеет огромные последствия не только для того, что касается нашей терапевтической практики, но и для наших понятий о модусах бессознательного. Тот факт, что имеется некая структура, что структура эта оказывается структурой означающей, что эта последняя укладывает все, что относится к человеческим потребностям, в свою матрицу, является безусловно решающим.

Что касается метонимии, то я уже не однажды начинал говорить о ней – в частности, в статье, озаглавленной *Инстанция буквы в бессознательном.* Я даю там пример, специально подобранный на уровне тех начальных понятий о грамматике, которые остаются в памяти со школьной скамьи. Нельзя сказать, чтобы вас там особенно донимали риторическими фигурами – честно говоря, до последнего времени им никогда особого значения не придавали. Метонимия всегда откладывалась на самый конец, оставаясь под эгидой сильно недооцененного Квинтилиана. Но как бы то ни было, исходя из того уровня понятий о формах дискурса, на котором мы находимся, я взял в качестве примера метонимии *тридцать парусов* употребленные вместо *тридцати судов*. Выбор этот обусловлен еще и литературными соображениями – вы знаете, что эти тридцать парусов встречаются в одном из монологов *Сида*, и не исключено, что контекст этот может в дальнейшем нам пригодиться.

Говоря о *тридцати парусах*, мы не просто, как объясняли вам, увязывая это высказывание с реальным миром, берем часть вместо целого, так как редкие суда несут всего один парус. Эти тридцать парусов, мы не знаем, что с ними делать – либо их тридцать и тогда нет никаких тридцати судов, либо есть тридцать судов и тогда парусов больше тридцати. Вот почему я говорю, что речь следует вести о соответствии *между словами*. Говоря это, я разумеется, всего лишь посвящаю вас в проблематику предмета, и нам предстоит еще хорошенько разобраться в различии между метонимией и метафорой, так как в конце концов вы могли бы возразить мне, что перед нами в данном случае как раз метафора и есть. Почему это не так? Вот в чем вопрос.

В последнее время я периодически узнаю, что некоторые из вас встречаются неожиданно в перипетиях повседневной жизни с чем-

то таким, что они понятия не имеют к чему отнести – к метонимии или к метафоре. А это вызывает в организме многих из них нешуточное расстройство, ибо килевая качка с левого борта метафоры на правый борт метонимии чревата своего рода головокружением. По поводу посвященного Воозу стиха Гюго "*и сноп его не знал ни жадности, ни злобы*" – стиха, приводимого мною в качестве примера метафоры, – мне тоже говорили, что на самом деле это, вполне возможно, метонимия. Полагаю, однако, что мне удалось-таки в статье своей объяснить, что этот сноп на самом деле собой представляет и насколько трудно свести его к части принадлежащего Воозу имущества. Благодаря ему, заменяющему собою отца, возникает в поэме то измерение биологического плодородия, которое и определяет собою весь дух поэмы. Не случайно на горизонте, на самом своде небесном, возникает в ней серебряная нить ночного серпа, напоминающая о заднем плане происходящего, о кастрации.

Вернемся к нашим тридцати парусам и попытаемся присмотреться к тому, что я называю метонимической функцией, повнимательнее.

В метафоре еще остается немало загадочного. Тем не менее, говоря о ней, я, кажется, достаточно ясно подчеркнул то, что ее структурным источником является замещение. Метафора обусловлена функцией, которая придается означающему S постольку, поскольку означающее это замещает в цепочке означающих какое-то другое означающее.

Что же касается метонимии, то она обусловлена функцией, которую берет на себя означающее S постольку, поскольку оно оказывается с другим, соседним означающим в непрерывной цепочке связано. Функция, приданная парусу вследствие его отношения к судну, заложена не в отсылке к Реальному а в самой означающей цепочке как таковой и обусловлена она непрерывностью цепочки, а не происходящим в ней замещением. Речь, следовательно, идет просто-напросто о переносе значения вдоль цепочки.

Именно поэтому формальные способы представления, формулы, всегда могут, естественно, дать вам повод к дополнительной требовательности. Однажды, как мне недавно напомнили, я сказал, что выковываю для вас логику из каучука. На самом деле как раз о чем-то вроде этого сейчас речь и идет. В топическом построении этом обязательно остаются пробелы, потому что зиждется оно на дву-

смысленностях. Позвольте мне по ходу дела заметить, что не избежали этих двусмысленностей и мы. Даже если нам удается зайти в этом топическом построении достаточно далеко, то, учитывая, что идеалом для вас является однозначная формализация, от ваших требований нам все равно никуда не деться – на уровне структуры языка в том виде, в котором мы ее здесь стараемся определить, некоторые двусмысленности безусловно неустранимы.

Позвольте также по ходу дела сказать вам, что понятие метаязыка зачастую используется совершенно неадекватным способом, поскольку игнорируется тот факт, что метаязык либо предъявляет формальные требования такого свойства, что они смещают все построение, в котором он призван располагаться, либо и сам он сохраняет все двусмысленности языка. Другими словами, метаязыка нет, а есть лишь различные способы формализации – либо на уровне логики, либо на уровне той означающей структуры, автономный уровень которой я стараюсь выявить для вас в чистом виде. Не существует метаязыка в том смысле, в котором слово это означало бы, например, полную математизицию такого явления, как язык, – не существует потому, что невозможна формализация за пределами того, что дано нам в качестве изначальной, примитивной языковой структуры. И тем не менее формализация эта не только требуется – она просто необходима.

Необходима она, к примеру, и в данном случае. В самом деле, понятие замещения одного означающего другим требует, чтобы место его было определено заранее. Это замещение позиционное, сама позиция требует наличия означающей цепочки, то есть комбинаторной последовательности. Я не утверждаю, что для нее важны все присущие цепочке черты, я утверждаю лишь, что комбинаторная последовательность эта характеризуется элементами, которые я назвал бы, скажем, интранзитивностью, чередованием, повторением.

Если мы сойдем на этот минимальный первоначальный уровень образования цепочки означающих, то от предмета нашего сегодняшнего разговора это нас уведет далеко. Минимальные требования существуют. Я не стану утверждать, будто дал вам сколь-нибудь полное о них представление. Тем не менее я уже сообщил вам достаточно, чтобы предложить формулы, которые позволят подтвердить некоторые наши соображения, исходя из примеров частного характера, каковые в данной области и по причинам принципиального свойства как раз и являются тем, из чего все положения наше-

го учения должны быть почерпнуты.

Именно так мы вновь и поступим, отмечая, хотя это и похоже на игру слов, что паруса эти, застилая нам своей парусиной взгляд, говорят нам в то же время о том, что в способе, которым мы их используем, они так таковые, как полноценные паруса, участия не принимают. Паруса эти никогда не повисают бессильно. То, что в значении их и в них самих как знаке оказывается сведено к нулю, немедленно обнаружится, если мы вспомним, скажем, о *деревеньке из тридцати душ* – деревеньке, где души селятся лишь как тени того, что ими представлено, тени, куда более невесомые, нежели слишком навязчивое присутствие их обитателей, которое другое слово могло бы в воображении читателей вызвать. Души эти, как название знаменитого романа о том свидетельствует, могут оказаться душами мертвыми – куда более мертвыми, нежели человеческие существа, которых нет налицо. Выражение *тридцать огней* также обнаруживает определенную деградацию и минимизацию смысла, ибо огни эти являются в такой же мере огнями угасшими, как и теми огнями, о которых вы скажете, что без огня нет и дыма, – не случайно фигурируют эти огни в словоупотреблении, метонимически выражающем то, на замену чего они выступили.

Вы наверняка возразите мне, указав, что желая провести различие, я прибегаю к отсылке смыслового характера. Я так не думаю и хочу вам заметить, что исходным пунктом послужило для меня то, что именно метонимия представляет собой базовую структуру, в которой может возникнуть то новое и творческое, что являет собой метафора. Даже если нечто метонимическое по происхождению своему оказывается, подобно нашим тридцати парусам, в ситуации замещения, перед нами уже не метафора, а нечто иное. Одним словом, без метонимии не было бы метафоры.

В цепочке, где позиция, в которой возникает феномен метафоры, определена, происходит при наличии метонимии своего рода скольжение, возникает двусмысленность. Фраза *без метонимии не было бы метафоры* пришла мне в голову – и совсем не случайно – как отголосок комической здравицы, которую вкладывает Жарри в уста папаши Юбю: "*Да здравствует Польша, ибо без Польши не было бы поляков!*" Сказано будто нарочно на нашу тему! Это острота и, что забавно, имеющая самое непосредственное отношение к метонимической функции! Мы вступили бы на ложный путь, если бы решили, будто шутка эта высмеивает, к примеру, ту роль, что

сыграли в несчастьях Польши сами поляки – роль слишком широко известную. Ведь было бы не менее смешно, если бы я сказал: *Да здравствует Франция, господа, ибо без Франции не было бы французов* или: *Да здравствует христианство, ибо без христианства не было бы христиан!* или даже: *Да здравствует Христос, ...* и т. д.

В примерах этих метонимическая функция видна безошибочно. Любые отношения производности, любое использование суффиксов и окончаний в языках флексивного типа опираются в сигнификативных целях на существующие в цепочке отношения смежности. Очень показателен в данном случае опыт больных афазией. Существует, собственно, два типа афазии, и когда мы находимся на уровне расстройства в использовании отношений смежности, то есть метонимической функции, субъект испытывает самые серьезные трудности, соотнося имя существительное с однокоренным прилагательным – скажем, слово *благодеяние* с прилагательным *благодетельный* или глаголом *благодетельствовать*. Именно здесь, в метонимическом Другом, и происходит та вспышка, что придает фразе комическое освещение – более того, создает впечатление клоунады.

Постараться уловить свойства означающей цепочки очень важно – именно потому я попытался здесь найти несколько опорных терминов, ориентируясь на которые мы смогли бы ухватить то, показателем чего выступает для меня тот эффект означающей цепочки, тот заложенный в саму ее природу эффект, который и представляет собой то, что можно назвать смыслом.

3

В прошлом году в совершенно аналогичную связь – которая могла вам показаться метафизической, не укажи я с настойчивостью на то, что таковой она не является, а требует, напротив, чтобы воспринимали ее на буквальном уровне цепочки метонимической, – поставил я сущность всякого смещения желания у фетишиста, другими словами – всякой его функции, будь то до, после, рядом, но в любом случае в непосредственной близости естественного ее объекта. Речь шла об основаниях того фундаментального явления, которое можно назвать *радикальной извращенностью человеческих желаний*.

Теперь же мне хотелось бы указать на существование внутри метонимической цепочки еще одного измерения, которое я назову

скольжением смысла. Я уже говорил вам о связи этого измерения с литературным методом, который обозначают по обыкновению термином *реализм.*

В области этой не исключена возможность предпринимать разного рода опыты, и я взял на себя задачу выбрать один роман эпохи реализма и перечитать его в поисках тех черт, которые позволили бы вам ощутить то оригинальное, что метонимическое использование означающей цепочки вводит в измерение смысла. Выбор мой, чисто произвольный, среди романов этой эпохи, пал на мопассановского *Милого друга.*

Чтение его доставляет удовольствие. Попробуйте однажды сами. Едва начав, я, к изумлению своему, сразу же обнаружил то самое, на что пытаюсь здесь указать вам, говоря о скольжении. Мы наблюдаем, как герой романа, Жорж Дюруа, выйдя из ресторана, идет вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

> "Получив от кассирши сдачу со своих ста су, Жорж Дюруа вышел из ресторана. Привыкнув по характеру своему и благодаря выправке бывшего унтер-офицера, выглядеть молодцевато, он расправил плечи, подкрутил машинальным армейским жестом усы и бросил на запоздалых посетителей быстрый и озирающий взгляд – один из тех свойственных милым юношам взглядов, которыми накрывают они окружающих, словно рыбацкой сетью".

Таково начало романа. На первый взгляд ничего особенного, но постепенно, от эпизода до эпизода, от встречи к встрече, вы явно становитесь свидетелями своего рода скольжения, в процессе которого существо, если судить по положению, в котором мы застаем его в начале романа, когда вышеупомянутая монета в сто су является единственным его достоянием, довольно примитивное, сосредоточенное лишь на самых непосредственных своих потребностях, на тех заботах, что доставляют ему удовлетворение любви и голода, вовлекается постепенно рядом случайностей, удачных и неудачных, но в большинстве своем все-таки удачных, ибо герой – юноша не только милый, но и везучий, в некий замкнутый круг, в систему проявлений обмена, где в элементарных, примитивных нуждах его происходит метонимический переворот. В результате, едва будучи удовлетворены, они тут же отчуждаются от него в последовательности ситуаций, где ему уже не суждено найти себе ни покоя, ни места, – ситуаций, которые от успеха к успеху увлекают

его к состоянию все более полного отчуждения от того, что представляет собой как личность он сам.

Событийная канва романа, если рассматривать его в таких общих чертах, как это делаем мы, не имеет значения, так как все дело в деталях – я хочу сказать, в том, как автор романа, не выходя ни разу за пределы последовательности текущих событий и регистрируя их в выражениях насколько возможно конкретных, ставит в то же время не только героя, но и все, что его окружает, в ситуацию всегда двоящуюся, так что даже при восприятии предметов самых что ни на есть непосредственных вы все время ощущаете эффект диплопии.

Приведу в пример сцену в ресторане, ставшую одним из первых моментов, когда герою улыбнулась удача.

> "Были поданы устрицы из Остенде, малюсенькие и жирные, похожие на маленькие ушки, заключенные в раковины и тающие между нёбом и языком словно подсоленные конфетки. Затем, вслед за супом, принесли форель, розовую, словно девичья плоть, и за столом началась беседа [...]. То был час искусных намеков, покрывал, приподнятых словами над чьим-то секретом, как приподнимают юбки, час языковых ухищрений, искусных и замаскированных дерзостей, час распутной лжи, фраз, рисующих обнаженные картины в прикровенных выражениях, вызывающих на какое-то мгновение перед мысленным взором то, о чем нельзя говорить и позволяющих возникновение между людьми света таинственной и утонченной любви, своего рода нечистого мысленного соприкосновения, путем одновременного, тревожащего и чувственного, подобно объятию, напоминания о постыдных и желанных тайнах алькова. Принесли жаркое, куропаток..."

Обратите внимание на то, что жаркое это, этих куропаток, этот паштет из дичи и прочее *собеседники ели, не обращая на них внимания, не смакуя их, будучи целиком поглощены тем, что они говорили, купаясь в ванне любви.*

Всегдашнее алиби, из-за которого вы никогда так толком и не знаете, лежит ли на столе устрица или плоть молоденькой девушки, позволяет так называемому реалистическому описанию прекрасно обойтись без всякой ссылки на некий глубинный или потусторонний смысл – будь то моральный, поэтический или какой иной. И это служит прекрасным разъяснением моему утверждению, что всякий дискурс, который ставит своей целью подойти к реальнос-

ти как можно ближе, волей-неволей оказывается в перспективе непрерывного смыслового скольжения. Это составляет его достоинство, но это и доказывает, в то же время, что никакого литературного реализма просто не существует. Все, что нам удается, когда мы стараемся, описывая реальность в дискурсе, держаться к ней возможно ближе, это продемонстрировать то дезорганизующее, более того – перверсивное начало, которое проникновение дискурса в эту реальность вносит.

Если вам кажется, все таки, что мы руководствуемся лишь зыбкими впечатлениями, я предложу вам опробовать мою правоту на другом материале. Постараемся держаться на том уровне, где дискурс не выступает за Реальное поручителем, а стремится его просто-напросто коннотировать, ему следовать, быть его *анналитиком* (с двумя *н*), и посмотрим, к чему это нас приведет. Я позаимствовал у автора, безусловно, заслуживающего внимания, Феликса Фенеона, представлять которого вам у меня нет сейчас времени, серию "*Новостей в три строки*", публиковавшуюся им в журнале "Ле матэн". Для публикации они были приняты не случайно, так как в них заявляет о себе талант совершенно особого рода. Попробуем, взяв несколько отрывков наугад, посмотреть, какого именно.

– Три благочестивые дамы из Дэриссара оштрафованы судьями из Дуланза за то, что слегка забросали камнями местных жандармов.

– Когда г-н Пулбо, учитель школы в Иль-Сен-Дени, звонил, созывая детей на урок, колокол сорвался и упал, едва не сняв с него скальп.

– В Клиши элегантный юноша бросился под фиакр с каучуковыми шинами, а затем, оставшись невредимым, под грузовик, который раздробил ему кости.

– В Шуази-ле-Руа на земле сидела молодая женщина. Единственное слово из ее прошлого, которое амнезия оставила в ее памяти, было: "модель".

– Труп шестидесятилетнего Дорле болтался на дереве в Аркейле с плакатом, подпись на котором гласила: "Слишком стар, чтобы работать".

– Следователь Дюпюи допросил задержанную Аверлин на предмет тайны Люзарка – однако она сумасшедшая.

– За гробом шествовал Монжен из семьи Деверденов. До клад-

бища он в этот день не дошел. Смерть постигла его в дороге.

– Слуга Сило поселил в Нейи, у своего отсутствующего хозяина, интересную женщину, после чего скрылся, забрав с собой все, кроме нее.

– Пытаясь найти в копилке дамы из Малакова редкие монеты, два жулика утащили из нее 1800 франков монетами самыми обычными.

– На пляже Сент-Анн (Финистер) начали тонуть две купальщицы. Некий купальщик бросился на помощь. Так что г-ну Этьенну пришлось спасать сразу троих.

Что тут смешного? Перед вами факты, зарегистрированные с безличной строгостью и без единого лишнего слова. Собственно говоря, в этом сведении к минимуму все искусство и состоит. То, что смешит нас, когда мы читаем: "За гробом шествовал Монжен из семьи Деверденов. До кладбища он в этот день не дошел. Смерть постигла его в дороге", – абсолютно ни в чем не соприкасается с тем шествием к кладбищу, в котором принимаем участие мы все, сколь бы различными способами мы туда ни добирались. Эффект этот не имел бы места, если бы то же самое было сказано пространнее, то есть было бы утоплено в море слов.

То, что я назвал смысловым скольжением, – это то, в силу чего, при всей строгости этой фразы, воспринимая ее, мы не знаем, на каком моменте следует нам задержаться, чтобы сообщить ей подобающий центр тяжести, удержать ее в равновесии. Это то самое ее свойство, которое я назову *расцентровкой*. Никакой морали здесь нет. Все, что могло бы носить характер образцово-нравоучительный, из нее тщательнейшим образом устранено. В этом все искусство "Новостей в три строки" и состоит – перед нами искусство отрешенного стиля. При этом предмет рассказа представляет собой последовательность событий, обстоятельства которых описываются весьма скрупулезно. И это еще одно достоинство авторского стиля.

Именно это я имею в виду, когда стараюсь вам показать, что взятый в своем горизонтальном измерении, в качестве цепочки, дискурс представляет собой, собственно говоря, каток, ледяную дорожку, изучать которую не менее полезно, чем фигуры самого катания, – каток, на котором скольжение смысла как раз и разыгрывается; невесомую и бесконечную полосу, сокращенную настолько, что может показаться пренебрежимо малой, но в остроте с присущим ей измерением насмешки, унижения, беспорядка, хорошо различимую.

Именно в этом измерении – в месте пересечения дискурса с цепочкой означающих – лежит стиль остроты о *полете Орла*. Сюда же относится и шутка с *фамиллионером*, с той лишь разницей, что встречу эта последняя назначает нам в точке гамма, тогда как та, первая, поджидает чуть далее.

То, что говорит Фредерик Сулье, располагает его, очевидно, на стороне Я, в то время как Генриха Гейне поэт призывает в свидетели в качестве Другого. В начале остроты обязательно налицо обращение к Другому как месту верификации. "Так же верно, – начинал Гирш Гиацинт, – как то, что Бог передо мной в долгу". Ссылка на Бога здесь, может быть, и иронична, но она существенна. Сулье в нашем случае призывает в свидетели Генриха Гейне, который, вы уж поверьте мне, был фигурой куда более авторитетной, нежели он сам, – я не стану рассказывать здесь о Фредерике Сулье, хотя посвященная ему в *Ларуссе* статья на самом деле очень занятна. "Взгляните, дорогой мэтр," – обращается Сулье к Гейне. Обращение, призыв направлены в сторону Я Генриха Гейне. Именно его роль является здесь решающей.

Итак, мы прошли через Я, чтобы вернуться с нашим *золотым тельцом* в точку А, место языковых ролей и метонимии, ибо даже если *золотой телец* и является в самом деле метафорой, метафора это уже затасканная, повидавшая в языке виды – истоки ее, происхождение и способ порождения мы, кстати сказать, только что рассмотрели. В конце концов, то, что Сулье направляет к месту сообщения классическим, ведущим от альфы к гамме путем, представляет собой не более, чем общее место. Персонажей здесь перед нами два, но вы сами понимаете, что с таким же успехом можно было бы обойтись и одним, так как в силу самого факта, что имеется измерение речи, Другой соприсутствует каждому. Так, называя финансиста *золотым тельцом*, Сулье делает это потому, что помнит про себя значение этого слова, которое нам приемлемым уже не кажется, но которое я нашел-таки в словаре Литтре, – *золотым тельцом* называют господина, который ходит в платье, расшитом золотом, и служит поэтому предметом всеобщего восхищения. Никакой двусмысленности здесь нет, как нет ее и в немецком.

В этот момент, то есть между гаммой и альфой, происходит отсылка сообщения обратно к коду. Другими словами, на линии означающей цепочки, и в каком-то смысле метонимически, термин берется уже в иной плоскости, нежели та, в которой он был адресо-

ван первоначально. Именно поэтому и бросается нам в глаза происходящий внутри метонимии смысловой провал, снижение смысла, его обесценивание.

А это позволяет мне высказать под конец сегодняшней лекции покажущееся вам, возможно, парадоксальным утверждение, что метонимия является, собственно говоря, не чем иным, как местом, где нам приходится поместить то изначальное и принадлежащее к сущности человеческого языка измерение, которое противостоит в нем измерению смысла, – я имею в виду измерение ценности.

Измерение ценности заявляет о себе по контрасту с измерением смысла. Оно представляет собой другую сторону языка, другой регистр его. И соотносится оно с разнообразием объектов, языком уже выстроенных и помещенных в магнитное поле потребности со всеми ей свойственными противоречиями.

С книгой *Das Kapital* некоторые из вас, я полагаю, неплохо знакомы. Я не говорю не о труде в целом – я не знаю, прочел ли кто-нибудь *Капитал* целиком, – а лишь о первом томе, который, в общем, читали все. Удивительная, изобилующая мыслями книга, в которой предстает нам – явление редкое – человек, философский дискурс которого абсолютно членоразделен. Советую вам обратиться к той странице ее, где Маркс, формулируя так называемую "*теорию частной формы ценности товара*" предвосхищает в своем примечании нашу стадию зеркала.

На этой странице Маркс утверждает, что никакие количественные соотношения ценности невозможны без предварительно установленного всеобщего эквивалента. Речь не идет просто-напросто о приравнивании друг к другу определенных количеств аршинов полотна. Соотношение между полотном и одеждой – вот что должно быть построено, одежда должна быть способна представлять ценность полотна. Речь идет, следовательно, не об одежде, которую вы надеваете, а об одежде, способной стать означающим ценности полотна. Другими словами, эквивалентность, без которой уже с самого начала анализа не обойтись и на которой зиждется то, что именуется ценностью, предполагает, что оба участвующих в сравнении выражения утрачивают значительную часть своего смысла.

Вот в этом-то измерении и наблюдаем мы смысловой эффект метонимического ряда.

Чему именно служит использование смыслового эффекта в регис-

тре метонимии и в регистре метафоры, мы в дальнейшем увидим. Оба они, однако, связаны с тем принципиально важным для нас измерением, которое и позволяет нам перейти в плоскость бессознательного, – с измерением Другого. Другого, без апелляции к которому нам не обойтись никак, ибо именно Другой является местом остроты, ее восприемником, ее стержнем.

Именно этим мы на следующей лекции и займемся.

27 ноября 1957 года

V
Уход смысла и смысловой ход

Узлы значения и удовольствия
Потребность, требование, желание
Благодеяния неблагодарности
Недоразумение и непризнание
Субъективность

Подойдя ко второй части своей работы об остроумии, части "патетической", Фрейд задается вопросом о происхождении доставляемого остроумием удовольствия.

Все более и более необходимо становится, чтобы вы хотя бы однажды этот текст прочитали. Я обращаюсь к тем из вас, кто полагает, что может без этого обойтись. Это единственный способ познакомиться с этой работой – разве что я вам ее буду здесь зачитывать вслух, что, на мой взгляд, придется вам не по нраву. Но даже рискуя заметно снизить уровень внимания, я все же приведу из нее некоторые отрывки, так как это единственный способ заставить вас дать себе отчет в том, насколько часть формулы, которые я предлагаю или пытаюсь вам предложить, вторят тем вопросам, которые задает себе Фрейд.

Не забывайте, однако, осторожности ради, о том, что мысль Фрейда часто следует отнюдь не прямыми путями. И когда он обращается к темам, заимствованным им из психологии или из других областей, само то, как он эти типы использует, вводит нас в неявно подразумеваемую тематику, не менее, если не более важную, нежели те темы, к которым Фрейд обращается эксплицитно и которые для него самого и его читателей являются общими. То, как он их использует, обнаруживает, между тем – и надо опять-таки удосужиться не открыть его книги, чтобы этого не почувствовать, – некое измерение, о существовании которого ни у кого до Фрейда и мысли не было. Измерение это и есть как раз измерение означающего. Его-то роль мы и попытаемся сейчас выяснить.

1

Я сразу же приступлю к занимающей нас сегодня теме: где источник того удовольствия, спрашивает себя Фрейд, которое остро-

та нам доставляет?

На языке, в наши дни все еще слишком распространенном и которым многие готовы воспользоваться, ответ звучал бы примерно так: источник удовольствия от остроты следует искать в ее формальной стороне. К счастью, Фрейд предпочитает выражать свою мысль не в этих терминах. Напротив, он говорит даже самым недвусмысленным образом, что подлинный источник удовольствия, доставляемого остротой, лежит просто-напросто в насмешке.

Остается бесспорным, однако, что в центре того удовольствия, которое мы получаем во время произнесения остроты, лежит нечто иное. И разве не бросается в глаза то направление, в котором Фрейд в продолжение всего хода анализа данной проблемы этот источник ищет? Сама двусмысленность, внутренне акту остроумия присущая, мешает нам увидеть, откуда это чувство удовольствия берется, и огромные усилия прилагает Фрейд для того, чтобы путем анализа нам на этот вопрос ответить.

Здесь очень важно проследить самый ход его мыслей. В соответствии с системой положений, на которую он опирается явным образом и которая к концу работы приобретает черты все более отчетливые, первоначальный источник наслаждения связывается им с игровым периодом детской активности, с той первой игрой словами, которая обращает нас непосредственно к освоению языка как чистого означающего, к вербальной игре, к деятельности, которая сводится, мы бы сказали, почти без остатка, к посылу чисто словесной формы. Не идет ли, таким образом, речь просто-напросто о возврате к означающему как таковому, к тому способу обращения с ним, который свойственен был субъекту в период, когда контроль еще отсутствовал – в то время как разум постепенно приучает его как посредством образования, так и другими способами приноровиться к реальности, подвергать использование означающего контролю и критике? Не в этой ли разнице состоит главная пружина удовольствия, получаемого от остроты? Если бы мысль Фрейда действительно сводилась к этому, ответ показался бы очень простым, что на самом деле далеко не так.

Говоря, что источник наслаждения следует искать здесь, Фрейд одновременно демонстрирует нам те пути, которыми удовольствие это проходит, – пути эти принадлежат прошлому, но потенциально, виртуально они еще здесь, они еще существуют, они чему-то еще служат. Именно они действием остроты оказываются расчи-

щены, что и ставит их в привилегированное положение по сравнению с теми, что в первую очередь стали жертвами того контроля, которому подвергается мысль субъекта по мере перехода его во взрослое состояние. Проходя же этими путями, острота сразу же – здесь-то и говорит свое слово весь предварительно проделанный Фрейдом анализ ее внутренних пружин и механизмов – оказывается на тех задающих ее структуру путях, которые и есть не что иное, как пути бессознательного.

Другими словами – и мы следуем здесь тем выражениям, в которых говорит об этом сам Фрейд, – у остроты имеется две стороны.

С одной стороны, имеет место оперирование означающим, причем оперируют им с той свободой, что доводит возможности присущей ему двусмысленности до максимума. Налицо, одним словом, первичность означающего по отношению к смыслу, принципиальная поливалентность его, творческая роль, которая ему по отношению к смыслу принадлежит, оттенок произвольности, который им в смысл привносится.

Другая сторона – это сторона бессознательного. Тот факт, что любое оперирование означающим уже само по себе наводит на мысль обо всем том, что относится к бессознательному, достаточно, с точки зрения Фрейда, засвидетельствована тем, что структуры, которые мы в остроте обнаруживаем, ее кристаллизация, ее построение, ее функционирование полностью совпадают с теми, что были обнаружены им при первом же соприкосновении с бессознательным на уровне сновидений, непроизвольных промахов (или удач – это уж как посмотреть), даже на уровне симптомов, и для которых мы попытались найти более строгую формулу, поместив их под рубриками *метонимии* и *метафоры*. Формы эти являются эквивалентными для всех языковых операций, в том числе и тех, которые обнаруживаются в бессознательном, формируя его структуру. Они носят общий характер, в то время как сгущение, смещение и другие механизмы, которые Фрейд в структурах бессознательного вычленяет, являются в каком-то смысле лишь частным их применением. Придавать бессознательному структуру речи, возможно, и идет вразрез с нашими умственными привычками, но зато прекрасно согласуется с действительной динамикой взаимоотношений бессознательного с желанием.

Эта общая мера бессознательного, с одной стороны, и структуры речи, поскольку эта последняя управляется законами означаю-

7 Зак 2370

щего, с другой, и есть то самое, к чему мы пытаемся все больше приблизиться и сделать все более наглядным, обратившись к работе Фрейда об остроумии. Именно к этому мы и постараемся сегодня как можно внимательнее присмотреться.

Если мы особо настаиваем на том, что можно назвать *автономией законов означающего*, если мы утверждаем, что они являются по отношению к механизму порождения смысла первичными, это не избавляет нас от необходимости задаться вопросом о том, как следует нам мыслить не просто возникновение смысла, но, если так, пародируя довольно неуклюжую, в школе логического позитивизма возникшую формулу, можно выразиться, *смысл смысла* – вовсе не имея в виду при этом, будто это последнее выражение само имеет смысл. Что хотим мы сказать, когда речь заходит о смысле?

Разве Фрейд, в главе, посвященной механизму удовольствия, не ссылается без конца на столь распространенную в отношении остроты формулу, как *смысл в бессмыслице*? Формула эта, давно уже предложенная, принимает во внимание две явно присущих удовольствию стороны: поражая вначале своей бессмыслицей, она привлекает нас, вознаграждая затем появлением в самой бессмыслице этой бог весть какого тайного смысла, столь трудно к тому же поддающегося определению.

Взглянув на дело с другой точки зрения, можно сказать, что путь для смысла прокладывается бессмыслицей, которая на какое-то мгновение нас ошеломляет и завораживает. Это, возможно, гораздо точнее описывает механизм остроты, и Фрейд, безусловно, склонен признать за бессмыслицей еще большее количество свойств. Согласно ему, роль бессмыслицы состоит в том, чтобы на какое-то мгновение ввести нас в заблуждение, с тем чтобы за время это еще незамеченный нами смысл поразил нас, пройдя через остроту, в момент, когда она доходит до нас. Смысл этот, впрочем, оказывается скоропреходящим и неуловимым, подобным молниеносной вспышке, а природа его та же, что у чар, которые на мгновение задержали наше внимание на бессмыслице.

На самом деле, присмотревшись внимательнее, мы заметим, что Фрейд доходит до отказа от самого термина “бессмыслица”. Именно на этом я хотел бы сегодня ваше внимание остановить, потому что подобным приближениям как раз и свойственно недоговаривать последнего слова, умалчивать о главной пружине задействованного механизма. Сколь бы выигрышными на вид и психологи-

чески соблазнительными подобные формулы ни казались, для нас они, собственно говоря, непригодны.

Я предложил бы не начинать сразу обращаться к опыту ребенка. Да, мы знаем, что ребенок действительно может получать от игры со словами определенное удовольствие, а потому в попытке придать психогенезу механизма остроумия весомость и смысл можно действительно на нечто в этом роде сослаться и, воздав этой примитивной и отдаленной во времени игровой активности подобающие ей почести, тем удовлетвориться. Но если мы посмотрим на это свежим, не зашореным устоявшейся рутиной взглядом, то подобные объяснения, возможно, и не покажутся нам такими уж удовлетворительными, так как вовсе не очевидно, что удовольствие от остроумия, к которому ребенок имеет лишь самое отдаленное отношение, непременно исчерпывающим образом объясняется ссылкою на фантазию.

Чтобы увязать друг с другом использование означающего и то, что можно назвать удовлетворением, или удовольствием, я обращусь к факту, который вам покажется элементарным. Ведь прибегая за объяснением к поведению ребенка, нельзя забывать о том, что означающее явилось на свет не просто так – оно чему-то служит, а служит оно тому, чтобы выразить требование. Давайте же остановимся, чтобы посмотреть, что же за орудие представляет собою требование.

2

Что такое требование? А это та составляющая потребности, которая проходит через адресованное Другому означающее. Я уже говорил вам в последний раз, что, ссылаясь на этот процесс, стоит поглубже изучить его временные фазы.

Фазы эти изучены столь плохо, что даже некое лицо, занимающее чрезвычайно представительное место в психоаналитической иерархии, опубликовало по теме лишь одну, объемом страниц в двенадцать, статью (где-то в одном из моих текстов я на нее ссылаюсь), превозносящую достоинства того, что автор именует английским словом *Wording* – словом, соответствующим тому, что мы по-французски еще более неудачно зовем ***вербальным отреагированием*** или ***вербализацией***. По-английски это явно звучит более элегантно. Однажды, когда пациентка этого лица решительно восстала против интерпретации, им приведенной; он высказал что-то та-

кое, смысл чего сводился примерно к тому, что она, мол, предъявляет исключительные и настоятельные *demands* – слово, которое по-английски звучит куда “требовательнее”, чем по-французски. Услышав это, пациентка была возмущена так, будто ее в чем-то обвинили или уличили. Однако когда несколько мгновений спустя он предложил ей ту же интерпретацию, использовав на этот раз слово *needs*, то есть *потребности*, перед ним вдруг оказалось другое существо, готовое его интерпретацию смиренно принять. И автор статьи искренне этому изумляется.

Размеры, до которых автор статьи это открытие раздувает, ясно демонстрирует, в каком примитивном состоянии пребывает до сих пор в анализе или, по крайней мере, в некоторых кругах его, пресловутый *Wording*. Ибо тут-то, поистине, все и дело – требование по самой сути своей настолько тесно связано с Другим, что Другой немедленно оказывается в положении, где ему позволено предъявлять субъекту обвинения, отталкивать его, в то время как заговорив о потребности, Другой, напротив, дает субъекту свою санкцию и одобрение, принимает его каким он есть, его к себе привлекает и полагает уже начало его признанию, в котором удовлетворение, по своей сути, и заключается. Механизм требования устроен так, что Другой, по самой природе своей, противится ему, – можно даже сказать, что само требование, по природе своей, нуждается, чтобы в качестве требования состояться, в том, чтобы ему противились. Введение языка в процесс общения иллюстрируется ежеминутно тем способом, которым Другой идет требованию навстречу.

Давайте над этим хорошенько поразмыслим. Вступая в измерение языка, система потребностей не только моделируется ею заново, но уходит в бесконечность комплекса означающих – именно поэтому требование по самой сути своей и представляет собой нечто такое, что уже в силу своей природы полагает себя порою как заведомо непомерное. Не случайно же дети требуют луну с неба. И мы, кстати сказать, без колебаний им ее обещаем. И вот-вот, между прочим, готовы ее заполучить. Увы – в конечном счете она, луна эта, так до сих пор нам и не дается.

Здесь важно подчеркнуть следующее: что в требовании об удовлетворении желания, собственно, происходит? Мы отвечаем на требование, мы даем ближнему то, что он от нас требует, но через какое решето он при этом проходит? До какой степени должен он, умеряя свои притязания, умалить себя, чтобы требование его ока-

залось санкционировано?

Уже это заставляет нас обратить внимание на случаи, когда феномен потребности предстает в чистом виде. Я бы сказал даже, что для того, чтобы удовлетворить потребности как таковой, приходится апеллировать к какому-то стоящему по ту сторону субъекта Другому, которого зовут Христос и который себя с неимущим отождествляет. Относится это не только к тем, кто творит христианские дела милосердия, но и ко всем другим тоже. Недаром мольеровский Дон Жуан, этот человек желания, подавая нищему то, что тот у него требует, говорит, что делает это "ради любви к человечеству". Отвечая на требование, соглашаясь с требованием, мы идем, в конечном счете, навстречу кому-то Другому, по ту сторону того, кто стоит непосредственно перед нами. Одна из историй, вокруг которых Фрейд выстраивает свой анализ остроты, история семги под майонезом, очень красиво эту мысль иллюстрирует.

Речь идет о человеке, который, дав другому по его просьбе какие-то деньги, в которых тот для уплаты просроченных долгов крайне нуждался, возмущается, обнаружив, что используются плоды его щедрости отнюдь не по назначению. Это действительно забавная история. Облагодетельствовав своего просителя, он неожиданно застает его в ресторане заказывающим семгу под майонезом, которая стоит, как известно, уйму денег. Чтобы передать тон этой истории, рассказывать ее надо с легким венским акцентом. "Я тебе разве для этого дал деньги! – обращается к должнику наш благодетель. – Чтобы ты кушал семгу под майонезом!" На что другой остроумно возражает: "Послушай, я тебя не понимаю. Когда у меня нет денег, я не могу кушать семги под майонезом, когда у меня есть деньги, я тоже не могу ее кушать. Когда же, скажи на милость, буду я кушать семгу под майонезом?"

Любая взятая в качестве примера острота тем более показательна, чем более она своеобразна, чем более в ней особых черт, обобщений не допускающих. Именно своеобразие это и открывает для нас механизмы, действующие в той области, которую мы сейчас изучаем.

История эта уместна в данном случае не хуже любой другой, ибо каждая из них обязательно поставит нас лицом к лицу с центральной проблемой – проблемой соотношения между означающим и желанием. Пройдя путем означающих, желание меняет свои акценты, переворачивается с ног на голову, приобретает глубочайшую

двусмысленность. Поймите хорошенько, что это значит. Любое удовлетворение дается во имя некоего регистра, где происходит вмешательство Другого – Другого, стоящего по ту сторону того, кто требует. Это обстоятельство глубочайшим образом извращает всю систему требования и ответа на него.

Одеть нагого, накормить голодного, посетить больного – мне нет нужды перечислять вам все семь, восемь или девять так называемых дел милосердия. Сами термины здесь довольно неожиданны. Одеть нагого – если бы требование это было чем-то, что следовало исполнять буквально, почему бы тогда не одеть и тех лиц женска и мужеска пола, которых обнажил Кристиан Диор? Иногда это действительно делают, но при этом, как правило, сами их предварительно раздевают. Возьмем другое требование: накорми голодного – почему не дать им нажраться до отвала? Нет, так не делается, это не пойдет им на пользу, они привыкли к умеренности, у них, чего доброго, животы раздуются. Что до посещения больных, то, как сказал однажды Саша Гитри, "навещая кого-то, вы обязательно доставите ему удовольствие – если не вашим приходом, то, по крайней мере, вашим уходом".

Тематика требования находится у нас сегодня, таким образом, в центре внимания. Попробуем же нарисовать себе схему того, что происходит в том такте задержки, когда сообщение требования особым образом, как штык смещен по отношению к дулу, смещается по отношению к доступному для него удовлетворению.

Чтобы мы могли нашей маленькой схемой воспользоваться, я попросил бы вас обратиться к чему-то такому, что, будучи чистой воды мифом, по сути дела глубоко верно.

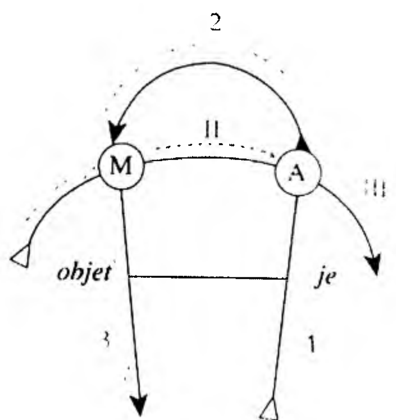
Итак, представим себе нечто такое, что где-нибудь, по меньшей мере по нашей схеме, обязательно существует, – представим себе требование, которое уходит в прошлое. В конечном итоге, в этом все дело – если Фрейд действительно ввел в наше понимание человека новое измерение, то состоит оно в том, что нечто такое, о чем я не сказал бы все-таки, что оно уходит в прошлое, нет, а что ему в прошлое уйти предназначено, – что желание, которое должно было бы уйти в прошлое, – оставляет где-то не просто даже следы, а настоятельно заявляющий о себе контур.

Будем, следовательно, исходить из чего-то такого, что представляло бы собой требование, которое уходит в прошлое. Поскольку у нас имеется детство, требование, которое уходит в прошлое, мо-

жет с успехом найти себе там прибежище. Ребенок артикулирует нечто такое, в чем сам покуда уверенности не чувствует, но от чего уже получает определенное удовольствие, – на это как раз Фрейд, кстати сказать, обращает внимание. Юный субъект руководит своим требованием. Откуда это требование, даже не будучи еще пущено в ход, отправляется? Скажем так: вырисовывается нечто такое, что отправляется на нашей схеме от того пункта, который мы, назвав его *дельта,* обозначим большой буквой D – первой буквой слова *Demande, требование.*

Что эта линия описывает? Она описывает функцию потребности. Заявляет о себе таким образом нечто такое, что исходит от субъекта и что предстает у нас как линия его потребности. Оканчивается она здесь, в точке A, в месте пересечения с кривой, соответствующей на схеме тому, что мы выделили для рассмотрения, наименовав дискурсом. Возникает этот дискурс путем мобилизации заранее именующегося готового материала. Линия дискурса, где запас означающего, на этот момент очень ограниченный, пускается в ход, когда субъект, соответственно, нечто артикулирует, – линия эта не является моей выдумкой.

2



Посмотрите, как все происходит. А происходит все одновременно в двух планах: в плане намерений, сколь угодно смутных, юного субъекта, когда он к кому-то свой призыв обращает, и в плане используемого, пусть самым беспорядочным образом, означающего, поскольку означающее это в призыве субъекта, в его усилии, задействовано. Означающее продвигается одновременно с намерением, вплоть до достижения ими точек пересечения – тех точек A и M, о значении которых для понимания ретроспективного эффекта за-

мыкающейся фразы мы уже говорили.

Обратите внимание на то, что до окончания второго такта линии еще между собой не скрещиваются. Другими словами, говорящий говорит здесь одновременно больше и меньше того, что он сказать должен. Наблюдения, свидетельствующие о том, что поначалу ребенок пользуется языком как бы на ощупь, этой картине более чем соответствуют.

Продвижение осуществляется одновременно по обеим линиям, завершаясь и здесь и там по окончании второго такта. То, что возникло в качестве потребности, назовется *требованием*. Что касается означающего, то оно замкнет свою петлю на том, что смысл требования, пусть сколь угодно приблизительно, довершает, образуя таким образом сообщение, у истоков которого стоит Другой – назовем его *матерью*, признавая время от времени, что хорошие матери существуют. Учреждение функции Другого сосуществует таким образом с завершением сообщения. И то, и другое определяется одновременно – одно в качестве *сообщения*, другое в качестве *Другого*.

В ходе третьего такта мы наблюдаем завершение нашей двойной кривой за пределами как точки А, так и точки М. Я укажу далее, по крайней мере чисто гипотетически, как мы можем эти конечные точки назвать и какое место занимают они в строении требования, лежащем, как мы пытаемся показать, в основе способа, которым используется на первых порах означающее для выражения желания.

Я попрошу вас допустить, по крайней мере на время, как полезный отправной пункт для тех соображений, которые мы попытаемся развить в дальнейшем, тот идеальный случай, когда требование встречает, и как раз в третьем такте, то, что его продолжает – Другого, который подхватывает его в соответствии с содержащимся в нем сообщением.

То, что мы должны здесь, со стороны требования, рассмотреть, не может, однако, в точности совпасть с удовлетворением потребности, ибо само применение означающего обязательно проявление потребности преобразует. Привнося означающее, мы совершаем в потребности то минимальное – именуемое, кстати, *метафоризацией* – преобразование, в результате которого то, что означается, оказывается чем-то иным, потребности, в первоначальной ее форме, потусторонним, ибо само означающее моделирует его

по-иному. Начиная отсюда, с этого исходного момента, то, что в сознании означаемого участвует, не сводится уже к чистому переводу потребности, а подхватывает, усваивает и моделирует ее заново, создает нечто, от потребности отличное, – создает желание, то есть потребность плюс означающее. Так же как социализм, как говорил Ленин, сам по себе хорош, но для полного счастья нужно приплюсовать еще электрификацию, так и здесь, для выражения потребности приплюсовывается означающее.

С другой стороны, со стороны означающего, в третьем такте явно обнаруживается что-то такое, что соответствует чудесному удовлетворению Другого тем новым сообщением, которое только что было создано, – воистину чудесному, ибо мы допускаем, что удовлетворение это полное. Это и есть то, что приводит обычно к тому, что предстает у Фрейда как удовольствие от применения означающего как такового. В этом, идеально успешном, случае Другой оказывается на продолжении применения означающего. А продолжает эффект означающего не что иное, как разрешение в настоящее, неподдельное удовольствие, удовольствие от использования означающего. Вы можете вписать его в схему в виде некоей знаменующей предел линии.

Попробуем на минуту, в качестве гипотезы, допустить, что обычное использование требования с самого начала молчаливо подразумевает то, что можно было бы назвать *полным успехом*, или *изначальным успехом*, или *мифическим успехом*, или *первичной архаической формой применения означающего*. Гипотеза эта ляжет в основу всего того, что попытаемся мы себе представить относительно того, что происходит в реальных ситуациях, где означающее применяется.

Создавая одновременно как сообщение, так и Другого, успешный переход требования в Реальное приводит к реорганизации означаемого, введенного посредством использования означающего, с одной стороны, и непосредственно продолжает применение означающего в виде неподдельного удовольствия, с другой. То и другое взаимно уравновешивается. С одной стороны, налицо то применение означающего, которое мы действительно вместе с Фрейдом у истоков словесной игры обнаруживаем и которое представляет собой своеобразное, всегда готовое дать о себе знать удовольствие. С другой стороны, налицо то, что происходит, чтобы этому применению означающего себя противопоставить. Посмотрим же

теперь, о чем именно идет речь.

Посмотрим, насколько хорошо замаскировано то новое, что обнаруживается не просто в ответе на требование, но уже в самом получившем словесное выражение требовании – то своеобразное, что усложняет потребность и, преобразуя ее, помещает в плоскость того, что мы станем впредь называть *желанием*.

Что такое желание? Желание определяется принципиальным смещением по отношению ко всему тому, что характеризует просто-напросто воображаемое направление, которое принимает потребность – потребность, которую требование вводит в иной разряд, в порядок символического, со всеми возмущениями, которые при подобном преобразовании неминуемы.

Я прошу вас взять в качестве отправной точки этот начальный миф потому, что опираться на него придется нам и в дальнейшем – в противном случае, все, что сформулировал Фрейд, говоря о самом механизме получаемого от остроты удовольствия, останется непонятным. То новое, что появляется в означаемом в результате введения означающего, мы обнаружим повсюду, ибо оно представляет собой измерение принципиально важное – измерение, наличие которого во всем, что относится к проявлениям бессознательного, Фрейд, какое бы направление эти последние ни принимали, неизменно выделяет.

Фрейд не однажды отмечает, что на уровне образований бессознательного возникает нечто такое, что он называет *удивлением*. Удивление это следует рассматривать не как случайное свойство фрейдовского открытия, а как фундаментальное измерение его сущности. В феномене удивления есть нечто бессознательному прирожденное – независимо от того, проявляется ли оно внутри самой формации бессознательного, чьи проявления потрясают субъект в силу присущей им неожиданности, или в момент, когда, открывая субъекту на его бессознательное глаза, вы у него чувство удивления провоцируете. Фрейд указывает на это по самым различным поводам – и в *Науке о сновидениях*, и в *Психопатологии обыденной жизни*, и, едва не на каждой странице, в книге *Остроумие и его отношение к бессознательному*. Всему тому, что имеет отношение к желанию, в той мере, в которой это последнее перешло на уровень бессознательного, измерение удивления единосущно.

Измерение это представляет собою то, что желание увлекает с

собой как имеющее отношение к условию возникновения, которое ему, как желанию, свойственно. Это и есть, собственно говоря, то самое измерение, посредством которого желание способно оказывается в бессознательное войти. На самом деле далеко не всякое желание способно войти в бессознательное. Входят в бессознательное лишь те желания, которые, будучи символизированы, могут, войдя в бессознательное, закрепиться в нем в своей символической форме, то есть в форме того неразрушимого следа, пример которого Фрейд вновь приводит в работе об остроумии. Эти желания не слабеют со временем, не отмечены свойственным неудовлетворенности непостоянством, а опираются, напротив, на символическую структуру, которая и сохраняет их на определенном уровне циркуляции означающего, который, как я вам уже показывал, должен найти свое место на нашей схеме в контуре между сообщением и Другим – контуре, где он выполняет переменную функцию, зависящую от тех обстоятельств, вполне случайных, при которых он возникает. Это и есть те векторы схемы, которые призваны дать нам понять, как движется круговой ток бессознательного – ток, всегда готовый вновь в этом контуре появиться.

Именно под действием метафоры происходит возникновение нового смысла – метафоры, которая, заимствуя некоторые первоначальные контуры, прокладывает себе дорогу в заурядный, банальный, заимствованный контур метонимии. В остроте мяч разыгрывается между сообщением и Другим совершенно открыто – производя тот оригинальный эффект, который для остроумия характерен.

Попробуем же войти в детали, чтобы попытаться уловить его и составить о нем понятие.

3

Посмотрим теперь, что будет, если мы этот первоначальный, мифический уровень первичной постановки требования в свойственной ему форме, наконец, оставим.

Обратимся к теме, без которой ни один анекдот не обходится. В любом из них мы обязательно встречаем человека, который чего-то выпрашивает и которому чего-то дают. Причем либо дают ему то, чего он не просит, либо, получив то, что просил, он пользуется им не по назначению, либо он начинает вести себя по отношению к лицу, его просьбу удовлетворившему, с особенной наглостью, че-

рез которую возникает в отношениях между просителем и его адресатом то благословенное измерение неблагодарности, без которого пойти навстречу какому-либо требованию было бы поистине невыносимо. Вы можете на собственных наблюдениях убедиться, что, как очень уместно отметил в своей великолепной работе наш друг Маннони, обычный механизм требования, которому идут навстречу, состоит в том, чтобы провоцировать все новые и новые требования.

Что же оно, в конце концов, такое, это требование, когда оно встречает своего слушателя, то ухо, для которого оно предназначено? Прибегнем за помощью к этимологии. Хотя то важное измерение, к которому мы должны обратиться, совершенно не обязательно коренится в применении означающего, небольшой этимологический экскурс вполне может пролить свет на то, что нас интересует. *Требование*, *demande* – слово, которое в английском более, нежели в других языках, но и в других языках тоже, окрашено в конкретном употреблении своем тематикой требовательности, – происходит первоначально от латинского *demandare*, *доверяться*.

Требование помещается тем самым в плане, характеризуемом общностью регистра и языка, и осуществляет переложение всякого собственного Я со всеми его потребностями на Другого, у которого сам означающий материал требования и заимствуется, меняя при этом свои акценты. На смещение это требование безоговорочно обречено – самим тем, как оно в действительности функционирует. Именно здесь, как прогресс языка об этом свидетельствует, и обнаруживаем мы источник происхождения используемых метафорических материалов.

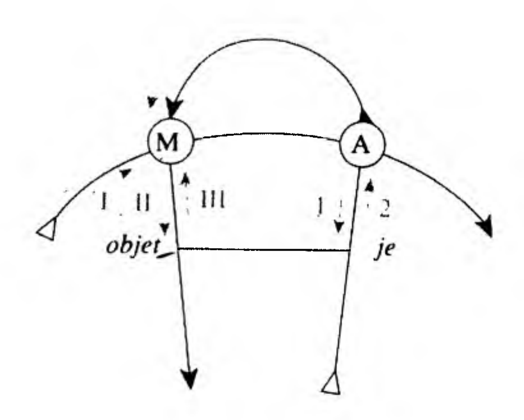
Факт этот очень поучителен в отношении того, что имеется в виду под пресловутым комплексом зависимости, о котором я только что упоминал. На самом деле, выражая эту мысль в терминах Маннони, когда тот, кто требует, имеет основание думать, что Другой действительно пошел хотя бы одному из его требований навстречу, ни о каких пределах не может уже быть и речи – отныне будет вполне естественно, если он доверит Другому все свои нужды. Откуда и только что упомянутые мною благодеяния неблагодарности, полагающей конец тому, что в противном случае продолжалось бы бесконечно.

С другой стороны, как наш опыт показывает, выпрашивающий что-либо не имеет обыкновения предъявлять свое требование в не-

прикрытом виде. В требовании нет ничего доверительного. Субъект слишком хорошо знает, с чем, стакиваясь с разумом Другого, имеет он дело, и потому свое требование он маскирует. А именно, он требует то, в чем нуждается, во имя чего-то другого, в чем он, собственно, тоже иногда нуждается, но что в качестве повода к требованию оказывается более приемлемым. При необходимости это другое, если оно отсутствует, он просто-напросто придумает, а самое главное: формулируя требования, он всегда будет принимать в расчет то, что представляет собой усвоенную Другим систему. Особый подход найдется у него к занимающейся благотворительностью даме, особый – к банкиру, особый – к свату, особый – к каждому из тех забавных персонажей, что населяют страницы книги Фрейда об остроумии. Другими словами, желание его будет вобрано в себя и переработано не просто системой означающего, а системой означающего, учрежденной и утвержденной в Другом.

Таким образом, требование его станет теперь формулироваться исходя из Другого. В первую очередь оно отражается от того, что уже давно перешло в его дискурсе в активное состояние, то есть от Я. Это последнее изъявляет требование, которое, отразившись от Другого, отправляется по цепи А-М, чтобы окончить *путь уже в качестве* сообщения (Message). Перед нами здесь призыв, намерение, перед нами – вторичный контур потребности. Нет нужды слишком настаивать на его разумности, так как вся разумность сводится здесь к контролю – контролю со стороны Другого. Контур это предполагает, само собой, наличие всевозможных факторов, которые мы, исключительно в данном случае, вправе квалифицировать как разумные. Точнее, разумно отдавать себе в них отчет, что отнюдь не предполагает, будто разумность эта заложена в их структуре.

Что же происходит в цепочке означающего в каждом из трех тактов, которые перед нами здесь предстают? Что-то всегда мобилизует весь аппарат и весь материал и приходит поначалу сюда, в точку М. После этого, однако, вместо того, чтобы направиться непосредственно к Другому (А), оно идет сюда, вниз, отражаясь от чего-то такого, что, во втором такте, соответствует обращенному к Другому призыву, то есть объекту. Речь идет об объекте, приемлемом для Другого, объекте, представляющем то, что Другой согласен желать, короче говоря, об объекте метонимическом. Отражаясь от этого объекта, оно возвращается в третьем такте в точку М, чтобы соединиться в нем с сообщением.



Мы уже не пребываем здесь в том блаженном состоянии удовлетворения, которого достигли в конце третьего такта нашей первой, мифической, картины – картины успешного требования с его вызывавшей наше удивление новизной и тем удовольствием, которое несло удовлетворение в себе самом. Оказалось, напротив, что мы задержаны на сообщении – сообщении, которое носит характер двусмысленный. Сообщение это представляет собой, по сути дела, формулировку, которая, с самого начала будучи частью Другого, отчуждена, и приводит с этой стороны схемы к тому, что представляет собой, в каком-то смысле, желание Другого. Сообщение – это место встречи того и другого. С одной стороны, в нем прозвучал призыв самого Другого. С другой стороны, в сам означающий аппарат его оказалось введено множество всякого рода условных элементов, придающих объектам черту, которую мы назовем их *общностью*, или *смещаемостью*, поскольку объекты эти миром Другого глубочайшим образом перестраиваются. Поразительно, что в третьем такте дискурс циркулирует, как мы видели, между двумя остриями стрелки. Это как раз и может привести к тому, что мы назовем *оговоркой, речевым сбоем.*

Нет никакой уверенности, что образованное таким образом значение окажется однозначным. Больше того, однозначность эта настолько маловероятна, что недоразумение и ошибочное обозначение представляют собой одну из фундаментальных черт языка, составляют существенное его измерение. Именно эту двусмысленность в образовании требования острота как раз и эксплуатирует. Именно это и служит исходным пунктом для образования остроты в различных ее видах.

Я не буду прослеживать сегодня многообразие способов, которыми сообщением этим в той двусмысленной в отношении своей структуры форме, в которой оно сложилось, можно воспользоваться, проделав над ним операции, цель которых, согласно Фрейду, заключается в том, чтобы восстановить в конечном итоге идеальную траекторию, которая должна привести к удивлению новизной, с одной стороны, и к удовольствию от игры означающим, с другой. Это и есть цель остроты. Цель остроты в том, на самом деле, и состоит, чтобы воссоздать в нас то измерение, посредством которого желание если не наверстывает, то, по крайней мере, демонстрирует нам все то, что оно по пути своего следования утратило – как отходы, оставленные им на уровне цепочки метонимической, так и то, что не реализовано им полностью на уровне метафорическом.

Если *естественной метафорой* мы назовем то, что происходит, как мы сейчас видели, в том идеальном случае перехода желания, когда оно, образуясь в субъекте и направляясь к Другому, его подхватывающему, получает к Другому доступ, то здесь мы находимся на стадии более развитой. Здесь уже успели вмешаться в психологию субъекта две вещи, одна из которых именуется Я, а другая представляет собой тот глубочайшим образом преобразованный объект, который и есть не что иное, как объект метонимический. Отныне перед нами уже не естественная метафора, а расхожее ее применение – независимо от того, окажется ли она удачной, или, наоборот, провалится, обернувшись двусмысленным сообщением, воздать должное которому предстоит теперь в условиях, которые остаются естественными.

Какая-то составляющая желания продолжает циркулировать в бессознательном в виде отвергнутых остатков означающего. Острота, применив своего рода насилие, осеняет ее благодатной тенью, отражением прошлого удовлетворения. Поразительный успех, которым мы целиком обязаны означающему. Происходит, скажем так, нечто такое, в результате чего с большой точностью воспроизводится первоначальное удовольствие от удовлетворенного требования, причем само требование получает при этом своеобразную новизну. Вот что острота, по сути дела, позволяет осуществить. Но как же именно?

На схеме, которая перед вами, вы можете увидеть, что завершающая часть первоначальной кривой означающей цепочки подхватывает одновременно и то, что из окрашенной намерениями по-

требности переходит в дискурс. Как это происходит? С помощью остроты. Но каким образом острота увидит свет? Здесь-то и сталкиваемся мы вновь с измерениями смысла и бессмыслицы – измерениями, к которым предстоит нам присмотреться поближе.

Указания, которые я дал вам в прошлый раз относительно метонимической функции, имели в виду в первую очередь то обстоятельство, что при простом развертывании означающей цепочки происходит нивелирование, выравнивание, устанавливается эквивалентность. Это устранение, редукция смысла, но не думайте, что это просто бессмыслица. В свое время я позаимствовал на сей счет пример у марксистов: если вы используете два удовлетворяющих потребности объекта таким образом, что один из них станет мерой стоимости другого, то операция эта как раз и устранит в объекте то, что имеет отношение к потребности, переводя его тем самым в иной разряд – разряд стоимости. Возвращаясь к смыслу, можно назвать происходящее, использовав несколько двусмысленно, в свою очередь, звучащий неологизм, *а-смыслением* (dé-sens)). Но сегодня назовем его просто *уходом смысла* (peu-de-sens). Как только в руках у вас окажется этот ключ, значение метонимической цепочки не замедлит для вас проясниться.

Уход смысла – это как раз то самое, на чем большинство острот и построено. Речь не идет о бессмыслице – мы не уподобляемся в остроте тем благородным натурам, которые, приоткрыв нам пустынные ландшафты своей души, посвящают нас в великую тайну абсурдности всего сущего. Впрочем, не сумев облагородить наши чувства, дискурс прекрасной души стяжал недавно одному писателю весьма благородное звание. При всем том рассуждения его о бессмыслице представляют собой самое пустое, что мы на этот счет слышали. Нельзя сказать, что каждый раз, когда вводится двусмысленность, к делу причастна именно бессмыслица. Если вы помните историю с тельцом, с тем тельцом, который фигурировал у меня в прошлый раз в приведенном мною, забавы ради, ответе Генриха Гейне, то можно сказать, что телец этот (veau) на тот день, когда о нем идет речь, обесценен (ne *vaut* guère). Точно таким же образом вся игра слов, в особенности то, что называют *интеллектуальной* игрой слов, сводится к обыгрыванию того обстоятельства, что слова слишком тщедушны, чтобы вместить в себя полноту смысла. Вот это умаление, этот уход смысла как таковой как раз и подхватывается, именно через него и проникает нечто такое, что сводит к сво-

им масштабам это сообщение, которое, знаменуя собой одновременно крушение и удачу, всегда остается обязательной для любой формулировки требования формой. Сообщение обращается к Другому с вопросом, вызванным уходом смысла. Без измерения Другого здесь просто не обойтись.

Фундаментальным, принадлежащим к самой природе остроты, является для Фрейда тот факт, что в одиночестве острота немыслима. Даже если мы сами ее, остроту эту, создали и выдумали – насколько вообще мы остроту придумываем, а не она придумывает нас, – мы все равно испытываем потребность предложить ее вниманию Другого. Острота неотделима от Другого – Другого, который призван засвидетельствовать ее подлинность.

Кто же он, этот Другой? Причем он здесь? Что в нем за нужда? Не знаю, хватит ли у нас сегодня времени, чтобы определить его и наделить какими-то границами и структурой, но на данный момент мы можем просто-напросто сказать следующее. То, что сообщается в остроте Другому, обыгрывает, по сути дела, причем чрезвычайно хитрым образом, измерение ухода смысла. Здесь нужно наглядно уточнить характер того, о чем идет речь. *Witz* никогда не сводится к провоцированию патетического провозглашения некоей бог знает откуда взявшейся фундаментальной абсурдности – той, о которой я только что, ссылаясь на труды Великих Прекраснодушных этой эпохи, упоминал. Все дело каждый раз в том, чтобы исподволь это измерение ухода смысла вызвать к жизни – вызвать, вопрошая саму ценность как таковую, вынуждая ее, если можно так выразиться, свое измерение ценности реализовать, раскрыть себя в качестве истинной ценности. Обратите внимание на то, что перед нами здесь языковая уловка: чем больше раскроется она в качестве истинной ценности, тем явственнее обнаружится, что в основе ее лежит то, что названо мною *уходом смысла*. Иначе, нежели в смысле ухода смысла, она ответить просто не может – именно в этом состоит природа в остроте заключенного сообщения, то, иными словами, повинуясь чему здесь, на уровне сообщения, я возвращаюсь вместе с Другим на прерванный было путь метонимии и, возвращаясь, допытываюсь у него, *что же все это значит?*

Но завершается острота уже за пределами этого момента, то есть лишь постольку, поскольку Другой реагирует, отвечает на остроту, ее в качестве таковой признает. Чтобы острота состоялась, необходимо, чтобы там, в том, что приносит с собой вопрос об уходе смыс-

8 Зак 2370

ла, Другой разглядел нечто такое, что представляет собой требование смысла, то есть взыскание некоего смысла, лежащего по ту сторону – по ту сторону того, что осталось незавершенным. Во всем этом нечто действительно застревает на полпути – застревает, отмеченное знаком Другого. Знак этот, связывая желание с законами означающего и двусмысленностями, ему присущими – с омонимией, а точнее, с омофонией, – налагает печать этой глубокой двусмысленности и на него. Другой отвечает на это верхним контуром, идущим от А (Другого) к сообщению, удостоверяя тем самым подлинность — но чего?

Быть может, он удостоверяет то, что представляет там собою бессмыслицу? Лично я настаиваю здесь вот на чем – я не считаю, что придерживаться термина "бессмыслица" (non-sens), имеющего смысл лишь в рамках разума, критики, то есть как раз того, что в контуре этом избегается, было бы здесь уместно. Поэтому я предлагаю вместо него формулу "смысловой ход" (pas-de-sens), где словечко *ход* (*pas*) употреблено в значении *шага* – шага резьбы, скажем, или шага в танце (па-де-катр), или шага в географическом названии (Па-де-Кале, Па-де-Сюз).

Смысловой ход и есть, собственно говоря, то, что получает осуществление в метафоре. Именно намерение субъекта, именно потребность его делают – по ту сторону метонимического употребления, по ту сторону того, что находит себе удовлетворение в по общей мерке скроенных ценностях, – этот заключающийся в метафоре смысловой ход. Взять элемент, занимающий определенное место, и заменить его на этом месте другим элементом, почти все равно каким – вот операция, которая вводит ту потустороннюю по отношению ко всякому сформированному желанию составляющую потребности, которая и лежит всегда в основе метафоры.

Какая же роль принадлежит здесь остроте? Она указывает, собственно говоря, не на что иное, как на измерение самого *хода* как такового. Она и есть, если можно так выразиться, сам этот ход как форма. Это ход, свободный от всякого рода потребности. Вот оно – то, что сохраняет-таки, в остроте, способность явить во мне ту составляющую моего желания, которая скрытно в нем пребывает, составляющую, представляющую собой нечто такое, что может, хотя и необязательно, найти в Другом отклик. Для остроты самое главное заключается в том, чтобы измерение смыслового хода оказалось подхвачено и удостоверено в своей подлинности.

Именно этому и отвечает смещение. Новизна, вместе со смысловым ходом, возникает лишь по ту сторону объекта и для обоих субъектов одновременно. Есть субъект – и есть Другой; субъект – это тот, кто обращает к Другому речь и сообщает ему нечто новое в виде остроты. Пройдя сегмент метонимического измерения, он обеспечивает восприятие смыслового ухода, в котором другой удостоверяет смысловой ход. Что как раз получаемое субъектом удовольствие и венчает.

Именно постольку, поскольку удается субъекту удивить, застать врасплох Другого своей остротой, пожинает он плоды удовольствия – того самого простейшего удовольствия, которого тот инфантильный, мифический, архаический, изначальный субъект, о котором мы только что упоминали, вкусил сразу же, как только начал означающим пользоваться.

На этом я пока и остановлюсь. Я надеюсь, что рассуждения мои не показались вам чрезмерно искусственными или излишне педантичными. Я извиняюсь перед теми, у кого от этой гимнастики кружится голова, – хотя не подумайте, будто я считаю вас неспособными эти вещи понять. Я не думаю, что медицинские, психологические, аналитические и другие штудии, которым вы предаетесь, настолько помрачили ваш здравый смысл, *Mutterwitz*, как называл его Кант, чтобы вы не смогли проследить ход моей мысли с полуслова. Тем не менее, в свете правил, которых я в преподавании своем придерживаюсь, не лишним будет эти этапы, эти существенные фазы на пути, который субъективность в остроте проделывает, рассмотреть и по отдельности.

Субъективность – вот слово, к которому я сейчас подхожу, ибо до сих пор, в том числе и сегодня, в нарисованной нами картине движения означающего чего-то посреди этого не хватало – на что были, как вы убедитесь, свои причины. Не случайно мы видим сегодня, что появляются посреди всего этого лишь субъекты как бы вовсе отсутствующие, своего рода приспособления для перебрасывания друг другу мяча означающего. С другой стороны, что может быть для измерения остроты существеннее, чем субъективность?

Когда я говорю "субъективность", я утверждаю тем самым, что объект остроты абсолютно неуловим. Даже то, на что указывает она за пределами того, что сама формулирует, даже присущий ей характер скрытого, внутреннего намека ни на что в данном случае не намекает, кроме, разве что, необходимости смыслового хода. И тем

не менее при полном отсутствии какого бы то ни было объекта, что-то, в конечном счете, служит остроте опорой – и оно-то, глубже всего пережитого и усвоенного пережитое и усвоенное, и делает ее вещью столь субъективной. Здесь налицо, как говорит где-то Фрейд, глубочайшая субъективная обусловленность, и слово *суверенность* явно прочитывается у него между строк. "Остротой является лишь то, – говорит он в одной из тех отточенных формул, подобных которым в литературе найдется мало, а я лично не встречал вовсе ни у кого, – что признаю остротой я сам".

И тем не менее я нуждаюсь в другом. Глава, следующая за главой "Механизм удовольствия" (о ней я только что сегодня рассказывал вам) и названная Фрейдом "Мотивы остроумия и социальные тенденции, которые остроумием обнаруживаются" (во французском переводе вместо *мотивов* фигурируют *скрытые пружины* – я никогда не мог понять, почему), к этому другому нас, главным образом, и адресует. Без этого другого, который тоже присутствует здесь в качестве субъекта, никакое удовольствие от остроты немыслимо. Все основано на отношениях между двумя субъектами: того, кого Фрейд называет первым лицом остроты, то есть того, кто ее выдумал, и того, кому абсолютно необходимо, по словам Фрейда, ее сообщить.

Но к какому разряду он, тот другой, о котором все это наводит на мысль, должен принадлежать? Уже сейчас, на этом уровне, можно утверждать, что другой этот, чьи характерные черты нигде больше с подобной рельефностью не выступают, как раз и представляет собой, собственно говоря, то, что называю я Другим [Autre], обозначая его большой буквой А.

Именно это я и постараюсь вам в следующий раз доказать.

4 декабря 1957 года

VI
Тпру, родимая!

Избавить мысль от одержимости темой
Кено рассказал мне одну историю
Машина, наделенная остроумием
Другой между Реальным и Символическим
Дух "своего прихода"

Сегодня я скажу вещи очень важные.

Мы остановились в прошлый раз на функции субъекта в остроте, особо подчеркнув импликации слова *субъект*. Осмелюсь надеяться, что слово это не стало в ваших ушах под тем предлогом, что мы им здесь пользуемся, чем-то таким, обо что можно вытирать ноги. Обычно, когда пользуются словом *субъект*, у тех, кто ценит в первую очередь объективность, это вызывает оживленную, очень личную, порой эмоционально окрашенную реакцию.

С другой стороны, мы пришли к своего рода точке схождения, которая расположена на схеме вот здесь, справа и которую мы, имея в виду слово Другой (Autre), обозначаем как A. Будучи местом кода, оно является местом, которого достигает образуемое остротой сообщение, воспользовавшись путем, который ведет на нашей схеме от сообщения к Другому, – путем, куда вписана простая последовательность означающей цепочки как основы того, что происходит на уровне дискурса. Именно на этом уровне возникает из текста фразы то существенное, что мы назвали *уходом смысла*.

На это подтверждение Другим происходящего во фразе ухода смысла, в остроте всегда более или менее очевидного, мы однажды, не останавливаясь на этом, уже указывали. Тогда мы сочли достаточным сказать, что то, что передается здесь от Другого вдоль ветви контура, возвращающейся на уровень сообщения, подтверждает это сообщение и представляет собой остроту при условии, что Другой, приняв то, что предстает здесь как уход смысла, преобразует его в то, что мы двусмысленно и неоднозначно окрестили *смысловым ходом*.

То, что мы таким образом выделили, является не отсутствием смысла, не бессмыслицей, а именно смысловым ходом как реакци-

ей на обнаружение тех особенностей присущего ему действия, которые смысл демонстрирует в том метафорическом и аллюзивном, что всегда ему свойственно. Таким образом, с момента, когда потребность прошла через введенную существованием означающего диалектику требования, встреча с ней становится невозможной. Все, что имеет отношение к языку, проделывает ряд ходов или шагов, подобных тем, которыми никогда, никогда не настигнет Ахилл черепаху, ибо стремится оно к восстановлению той полноты смысла, которая, тем не менее, никогда не бывает достигнута, всегда пребывает где-то поодаль.

Вот та схема, к которой пришли мы в последние четверть часа нашего предыдущего занятия. А было оно, похоже, несколько утомительным. Если верить тому, что мне некоторые потом рассказывали, я говорил незаконченными фразами. Мне, однако, когда я собственный текст прочитал, они вовсе не показались такими уж бесхвостыми. Дело в том, что я шаг за шагом стараюсь прокладывать путь к чему-то такому, что поддается передаче лишь с огромным трудом – поэтому такие оплошности и возникают. И я заранее извиняюсь, если сегодня они вновь повторятся.

1

Мы находимся в месте, где нам следует задаться вопросом о функции Другого и, в конечном счете, о сущности его, как проявляются они в том шаге преодоления, с которым, под именем *смыслового хода*, вы уже достаточно ознакомились.

Смысловой ход этот является в некотором роде частичным восстановлением той идеальной, реализованной в чистом и беспримесном виде полноты требования, которая послужила для нашей диалектики отправной точкой. Но какова же та трансмутация, та трансубстантивация, та, если можно так выразиться, утонченная процедура причастия, посредством которой он, этот смысловой ход, может быть Другим усвоен? Каков он, этот Другой?

Вот оно, то центральное звено, на которое наш вопрос направлен, – звено, достаточно ясно обозначенное в проблематике Фрейда, говорящего об остроте с той свойственной ему замечательной способностью оставлять вопрос открытым, благодаря которой сколько ни встречается мне в литературе – а в чтении я себе не отказываю – веками делавшихся попыток к разгадке тайны остроты приблизиться, среди всех авторов, вплоть до самого плодотворно-

го периода, периода романтизма, к которым я обращался, не нашел я ни одного, которому удалось хотя бы собрать воедино необходимые для решения проблемы первичные элементы и материалы.

Посмотрим, к примеру, на следующий момент, который Фрейда останавливает. С одной стороны, говорит он тем не терпящим возражений тоном, что ему так свойственен и так резко расходится с обычной для научного дискурса девичьей стыдливостью, *остроумным является лишь то, что я признаю таковым.* Перед нами то, что я называю неотмыслимой от остроумия его *субъективной обусловленностью.* Говорит здесь, как утверждает Фрейд, именно субъект. С другой стороны, Фрейд обращает внимание на то, что стоит мне оказаться обладателем чего-то, к разряду остроумия относящегося, как я немедленно спешу опробовать его на Другом, – больше того, сообщить другому его контекст. Только при этом условии могу я действительно получить от остроумия удовольствие. Нетрудно различить в этой перспективе своего рода систему зеркал, благодаря которой, при условии, что подлинной целью моей, когда я рассказываю историю, становится одобрение Другого, мое собственное удовольствие завершающее и удостоверяющее, вырисовывается на горизонте картина того, как Другой, в свою очередь, рассказывает эту историю кому-то еще, и так далее до бесконечности.

Рассмотрим теперь оба конца рассуждения. С одной стороны, остроумным является лишь то, что я ощущаю таковым сам. С другой стороны, моего собственного согласия на этот счет совершенно недостаточно – удовольствие от остроты завершается лишь в Другом и посредством Другого. Можно сказать – при условии, что мы полностью отдаем себе отчет в том, что говорим, наш термин нисколько не упрощая, – что острота должна быть сообщена. Говоря так, мы оставляем за глаголом *сообщить* открытую позицию, не зная покуда, что призвано ее заполнить.

Наблюдение Фрейда ставит нас, таким образом, перед принципиально важным вопросом, который уже знаком нам, – кто он, этот Другой, который является для субъекта своего рода коррелятивом? Корреляция эта утверждается, как мы теперь обнаружили, на вписанной в это явление действительной потребности. Что же касается самой формы связи субъекта с Другим, то она нам уже знакома – знакома с тех пор, как мы настаиваем на необходимости того способа, которым преподносит нам наша рефлексия понятие субъективности.

Я уже упоминал о возражениях, которые могут прийти в голову тем, кто, повинуясь привитой им дисциплине мышления, потребует, под предлогом того, что психоанализ, мол, называет себя наукой, чтобы в рамках его мы обсуждали лишь те предметы, которые поддаются объективации, то есть те, о которых можно прийти к согласию на основе опыта. Уже одно то, что мы говорим о субъекте, делает для них наш опыт субъективным и ненаучным. Но тем самым с термином *субъект* сопрягается некое, не всегда бесполезное представление о посюсторонности (en-deça) объекта – что позволяет ему давать себе опору, находящуюся, впрочем, как по ту сторону (au dela) объекта, так и за ним – как о некой непознаваемой субстанции, нечто таком, что сопротивляется всякой объективации; против какового представления восстанут во всеоружии и ваше образование, и ваша психоаналитическая выучка. Приведет вас этот протест, естественно, к формам объективации куда более вульгарным, я имею в виду – к отождествлению понятия *субъективного* с искажениями, которые вносит в опыт общения с другим чувство, вызывая, в довершение, к жизни тот призрачный мираж укорененности субъекта в имманентности самого сознания, которому вы и спешите столь скоро довериться, чтобы вернуться в окончательном итоге к теме картезианского *cogito*. Короче, заведет он вас в непроходимые дебри. Те дебри, которые и служат как раз для того, чтобы стать преградою между нами и тем, что ставим мы себе целью, когда задействуем в своем опыте субъективность.

Исключить субъективность из нашего аналитического опыта невозможно. Понятие о ней проясняется на пути, пролегающем очень далеко от того, на котором можно было бы чинить ей препятствия. Для аналитика – того, кто идет к своей цели путем некоторого диалога, – субъективность является чем-то таким, что ему приходится, специально не провоцируя, принимать в расчет, когда он имеет дело с другим, способным, в свою очередь, учесть заблуждение его собственное. Эта предлагаемая мною формула обладает, несомненно, долей очевидности, в чем вы, обратившись к любой шахматной партии или просто к игре в чет и нечет, не замедлите убедиться.

При таком понимании субъективности создается впечатление, будто возникает она – не беда, если я повторю здесь то, на что уже обращал внимание в другом месте, – в парном противостоянии. Игра отражений ее и вправду чудится нам в вызывающем или при-

творном поведении животных во время столкновения между соперниками или брачных церемоний. Я уже иллюстрировал в свое время эту мысль этологическими примерами и нет нужды приводить их вновь. Соперничество между животными, как и их брачные церемонии, проявляются во взаимном сближении и завораживающем возбуждении – феноменах, в которых обнаруживает себя своего рода естественное взаимоприспособление. Наблюдаемые у них линии поведения носят, таким образом, взаимонаправленный характер и сходятся в точке совокупления (étreinte), то есть на том уровне моторики, который мы именуем бихевиористским. Вид животного, которое ведет себя так, словно исполняет танец, воистину поразителен.

С другой стороны, подобный ряд примеров придает несколько двусмысленный привкус понятию интерсубъективности, которая, едва успев из пресловутого противостояния двух субъектов возникнуть, тут же может вновь усилием объективации оказаться упразднена. Взаимные чары без труда могут быть истолкованы как повинующиеся регуляции внутри легко поддающегося выделению цикла инстинктивного поведения, который по прошествии подготовительной, возбуждающей стадии, позволяет закончить дело осуществлением искомой цели. Все это можно свести к своего рода внутреннему релейному механизму, затем оказываясь в потемках телеологических представлений о жизни.

Совсем иначе обстоит дело, если включать в условия проблемы наличие определенного сопротивления. Сопротивление это имеет форму цепочки означающих. Означающая цепочка как таковая вводит в картину происходящего нечто принципиально чужеродное, некую гетерогенность. В слове *гетерогенность* особенно важен для меня корень *hétéros*, означающий по-гречески *вдохновенный* и заимствованный затем латынью со значением, собственно, *остатка* или *осадка*. Стоит нам задействовать означающее, стоит двум субъектам обратиться друг к другу и установить связь друг с другом с помощью означающей цепочки, как обнаруживается некий остаток и выстраивается субъективность совсем иного порядка, поскольку соотносится она с местом истины как таковым.

С этого момента поведение мое не вводит более в заблуждение – оно провоцирует. Поскольку А уже включено в него, даже лжи приходится теперь апеллировать к истине, а истина, в свою очередь, может показаться к регистру истины не имеющей отношения.

Вспомните пример: *Почему ты говоришь, что едешь в Краков, если ты действительно едешь в Краков?* Может оказаться так, что истина станет нуждаться в лжи. И далее, в тот самый момент, когда я готов открыть карты, моя добросовестность вновь ставит меня в зависимость от оценки Другого, поскольку этот последний может подумать, будто сумел мою игру раскусить как раз в тот момент, когда я собирался ему открыться. Является ли наш поступок бравадой или обманом, тоже решает Другой – Другой, злонамеренности которого отданы мы на милость.

Присутствие этих существенных измерений с очевидностью демонстрируется простыми данными нашего повседневного опыта. Но как плотно они не вплетены в ткань повседневности, мы все равно склонны были бы закрывать на них глаза, если бы аналитический опыт и фрейдовский подход не показали нам, как это гетероизмерение, измерение означающего, ведет свою собственную, независимую игру. И пока мы к нему не притронемся, пока не отдадим себе в нем отчет, нам обязательно будет казаться, что означающее существует лишь для того, чтобы служить расширению нашего сознания.

Через всю мысль Фрейда красной нитью проходит идея гетерогенности означающей функции, радикального характера связи субъекта с Другим, обусловленного тем, что он, этот субъект, говорит. До Фрейда факт этот оставался замаскирован тем обстоятельством, что считалось само собой разумеющимся, что субъект – независимо от того, кривит он душой или нет, – всегда говорит как бы согласно собственному сознанию; что он никогда не говорит без намерения что-то обозначить; что именно это намерение за всякой его ложью – или за его искренностью, что не имеет значения, – кроется. Считает ли субъект, что он врет или что он говорит правду, – намерению этому все равно грош цена: пытаясь сделать кому-то признание, субъект обманывается не меньше, чем пытаясь обвести кого-нибудь вокруг пальца.

До сих пор намерение путали с измерением сознания: казалось, будто в том, что субъекту приходилось высказывать как значение, сознание обязательно должно присутствовать.

Установленным, по крайней мере, считался тот факт, что, говоря, субъект всегда имеет в виду значение, и измерение сознания, следовательно, внутренне ему присуще. Все возражения на тему фрейдовского бессознательного основаны были как раз на этом.

Разве можно было до Фрейда предвидеть существование тех *Traumgedanken*, мыслей сновидения, с которыми он впервые знакомит нас и которые интуиции нашей представляются обычно мыслями, которые мыслями не являются? Вот почему нам так необходимо теперь подвергнуть тему мысли своего рода экзорцизму.

Если тема картезинского *cogito* сохраняет – а это бесспорно – свое влияние и свой, я бы сказал, патогенный характер до сих пор, то обусловлено это в данном случае тем искривлением, которое оно с самого начала вносило. *Я мыслю, следовательно я существую* – ухватить эту мысль в момент ее возникновения необычайно трудно; не исключено, к тому же, что это просто-напросто острота. Оставим ее, однако, так как за выявление связей между философией и остроумием мы здесь не беремся. На самом деле картезинское *cogito* дано каждому из нас в опыте нашего сознания не как *я мыслю, следовательно я существую*, а в виде *я существую как мыслю*, молчаливо предполагающем, разумеется, *я мыслю как дышу*.

Чтобы убедиться в этом, достаточно хоть в самой малой степени продуманно исследовать то, на чем зиждется умственная активность окружающих. Коли уж мы с вами ученые, обратимся к тем, кто посвятил свою жизнь серьезным научным трудам. Нам понадобится совсем немного времени, чтобы прийти к выводу, что в мыслящем теле ученого, взятом как целое, разворачивается мысленная активность ничуть не большая, чем в теле любой усердной, без остатка поглощенной нуждами повседневного существования домохозяйки.

Измерение мысли как таковое нимало не связано с важностью того, о чем в дискурсе идет речь. Больше того, чем более этот дискурс связен и последователен, тем более благоприятствует он любым формам отсутствующего отношения к тому, что можно с полным правом определить как обращенный субъектом к своему существованию в качестве субъекта вопрос.

В конечном итоге мы вновь встаем лицом к лицу с тем фактом, что в нас некий субъект мыслит, и мыслит согласно законам, которые оказываются теми же самыми, что и законы, по которым строится означающая цепочка. Это означающее в действии именуется в нас бессознательным. Именно так назвал его Фрейд. Оно настолько своеобычно, настолько от всего, к чему игра наших склонностей и устремлений сводится, изолировано, что Фрейд тысячу раз на разные лады внушает нам: речь идет о *другой психической сцене*. Тер-

мин этот в *Traumdeutung* повторяется без конца.

На самом деле Фрейд позаимствовал его у Фехнера, и я уже имел случай подчеркнуть своеобразие контекста, в котором он у Фехнера выступает. Контекст этот далеко не сводится у Фехнера к усмотрению психофизического параллелизма или к тем странным экстраполяциям, которые проделывал он исходя из того бесспорного для него факта, что область сознания существует. Термин *другая психическая сцена*, заимствованный Фрейдом в процессе углубленного изучения Фехнера, всегда ставится у него в соответствие со строгой гетерогенностью законов, управляющих бессознательным, по отношению ко всему тому, что может иметь отношение к области предсознательного, то есть к области доступного пониманию, области значения.

Другой, о котором здесь идет речь и которого Фрейд называет в связи с остротой *тем, к чему отсылает психическая сцена*, и есть тот самый Другой, о котором мы должны сегодня поставить вопрос и которого без конца привлекает Фрейд, говоря о путях остроты и способе ее действия.

Для нас – замечает он – совершенно невозможно представить себе возникновение остроты, в котором начисто отсутствовал бы момент удивления. Еще более категорично звучит это на немецком: *seine volle Wirkung auf den Horer nur zu außern, wenn er ihm neu ist, ihm als Uberraschung entgegentritt.* Что можно перевести так: *свое полное действие на слушателя она оказывает лишь тогда, когда обладает для него новизной, когда предстает ему как нечто вызывающее у него удивление.*

Имеется нечто такое, что призвано остранить субъекта от непосредственного содержания фразы и предстает порою в виде бросающейся в глаза бессмыслицы. Речь идет о бессмыслице по отношению к значению, которая в какой-то момент заставляет субъекта сказать: *я не понимаю, я чувствую себя сбитым с толку, эта фраза на самом деле ничего не говорит мне*, – сказать, отказывая тем самым в своем одобрении, сопровождающем обыкновенно то, что он готов воспринять как должное. Это, утверждает Фрейд, и есть первый естественный подготовительный этап остроты – этап, который станет впоследствии для субъекта своего рода генератором удовольствия.

Что на этом уровне происходит? Каков он, тот порядок Другого, к которому что-то в субъекте взывает? А поскольку есть в субъек-

те кроме того и нечто непосредственное, нечто такое, что посредством остроты приводится во вращение, то сама техника этого вращательного движения должна дать нам представление о том, что должно быть в конечном счете понято нами как способ присутствия в субъекте Другого.

Именно на этом мы сегодня и остановимся.

2

До сих пор я опирался лишь на истории, приводимые самим Фрейдом, с незначительными исключениями. Сегодня я приведу историю, происходящую из другого источника. К тому же я ее специально не выбирал. Решив обсудить с вами в этом году вопрос о *Witz*, или *Wit*, я начал одно маленькое расследование. Неудивительно, что в первую очередь я адресовал свои вопросы поэту. К поэту, включающему в свою прозу, равно как и в литературные формы более поэтические, измерение, в котором живет одушевляющий все его творчество дух танца – дух, чье присутствие чувствуется у него даже тогда, когда он пишет о математике, ибо он, кроме всего прочего, является и математиком тоже. Я имею в виду Раймона Кено.

Уже при первом нашем обмене мнениями он рассказал мне одну историю. Не только внутри аналитической практики встречаются вещи, словно нарочно для нас, аналитиков, предназначенные. Целый год провели мы с вами в разговорах об означающей функции лошади – и надо же такому случиться, что лошадь вновь оказывается у нас, и притом самым неожиданным образом, в центре внимания. Историю эту, которую мне рассказал Кено, вы не знаете. Он привел ее в качестве того, что можно назвать длинным анекдотом, в противоположность анекдоту короткому. На самом деле это, конечно, классификация приблизительная, на первый случай. *Краткость*, как говорит где-то Жан-Поль Рихтер, которого Фрейд цитирует, *это тело и душа остроумия*, что можно дополнить фразой *Гамлета*, где говорится, что хотя краткость это *душа остроумия, телом и убором* его остается *многословие*. И то и другое верно – в обоих случаях авторы знали, что говорили. Вы сами увидите, стоит ли называть этот анекдот длинным, ибо острота здесь проскальзывает мгновенно.

Итак, вот она, эта история. Дело происходит на экзамене – ну, скажем, на бакалавра. Студент приходит к экзаменатору.

Расскажите-ка мне, – говорит тот, – *о сражении при Маренго*.*

Студент молчит, потом произносит с задумчивым видом:

Битва при Маренго?.. Повсюду мертвые тела! Это ужасно... Кругом столько раненых! Жуткое зрелище...

Однако, – говорит экзаменатор, – *не могли бы Вы сообщить об этом сражении какие-нибудь частные подробности?*

Студент задумывается на мгновение, потом отвечает:

Да, лошадь встала на дыбы и ржет.

Удивленный экзаменатор, желая проверить его знания поглубже, говорит ему:

Что же, сударь, не хотите ли Вы в таком случае рассказать мне о битве при Фонтенуа?

Битва при Фонтенуа!.. Вокруг мертвые тела... А сколько раненых! Настоящий кошмар...

Сударь, а не могли бы вы привести о битве при Фонтенуа какие-нибудь более конкретные подробности? – говорит, заинтересовавшись, экзаменатор.

О, да! – отвечает студент. – *Лошадь встала на дыбы и ржет.*

Экзаменатор, решив схитрить, просит студента рассказать ему о сражении при Трафальгаре.

Мертвецы! Настоящая бойня... Кругом раненые – их сотни! – отвечает тот.

Но, сударь, не могли бы вы поведать об этом сражении какие-нибудь подробности?

Лошадь...

Извините, сударь, но позвольте заметить, что Трафальгарское сражение происходило на море.

Ой-ой-ой, – говорит студент. – *Тпру, родимая!*

Ценность этой истории, на мой взгляд, состоит в том, что она позволяет разложить все, что касается остроты, по полочкам.

Я думаю, что вся соль истории заключается в ее конце. Будучи построена как своего рода игра или турнир, где противостоят друг другу два собеседника, она не имеет сама по себе никакой причины заканчиваться – более того, совершенно неважно, сколько она продолжается, потому что эффект все равно достигается сразу.

До завершающей остроты история эта вызывает у нас смех просто потому, что она комична. В вопрос о комическом я углубляться не собираюсь, так как с тех пор, как Бергсон посвятил смеху книгу, о которой можно, по крайней мере, сказать, что она читаема, на тему эту высказано множество глобальных, но исключительно тем-

ных соображений.

В чем оно, это комическое состоит? Ограничимся пока указанием на то, что связано оно с ситуацией противостояния. Студент стоит перед экзаменатором – вот ситуация, необходимая, чтобы длился этот турнир, где сражаются противники совершенно разным оружием и где возникает между ними нечто такое, что способствует возникновению у нас так называемого веселого оживления. Что же вызывает у субъекта смех – невежество студента? Не уверен. Разумеется, сам факт, что говоря о том, что можно назвать битвой, студент произносит вслух те простые истины, которые ни от кого – во всяком случае, на экзамене по истории, – не услышишь, заслуживает того, чтобы на нем задержаться, но мы в это углубляться не станем, так как это увело бы нас к вопросам, относящимся к природе комического, а я не знаю, будет ли у нас случай в них разобраться – разве что мы пожелаем разобрать книгу Фрейда до конца.

Книгу эту действительно завершает глава о комическом – глава, в которой мы с изумлением наблюдаем, как обычно Фрейду свойственная проницательность полностью изменяет ему – вплоть до того, что при чтении ее невольно задаешь себе другой вопрос: почему не хочет он сказать нам о комическом больше, чем любой, самый последний из авторов, твердящих азы этого понятия, почему словно отказывается он идти дальше?

Если история эта и производит на нас комическое впечатление, то заключается этот комизм преимущественно во вступительной, посвященной сражениям, части. Именно на этом фоне и делается тот последний ход, благодаря которому история эта становится действительно остроумной.

Я попрошу вас обратить внимание на следующее. Даже если вы – некоторые из вас – не очень хорошо чувствуете, в чем остроумие этой истории состоит, остроумие это там несомненно присутствует и кроется оно в одной-единственной точке, в моменте того внезапного выхода из пределов схемы, когда студент совершает нечто такое, что покажется нам просто невероятным, если мы попытаемся на мгновение представить себе эту историю происходящей в рамках реальной жизни. Субъект словно напрягается и натягивает повода. В мгновение ока образ этот обретает масштабы подлинной фобии. Происходящее в этот момент подобно, на наш взгляд, тому, что нам известно о тех принимающих разные формы – от фобии вплоть до всякого рода эксцессов воображения – детских пережи-

ваниях, проникновение в которые дается нам, надо признаться, с немалым трудом. Не так уж редко фигурируют в анализе жизни субъекта такие эпизоды, как влечение к большой лошади, изображение лошади, сходящее с ковра на стене, вход лошади в дортуар, где субъект находится среди пяти десятков своих сверстников. Завершающая сцена истории делает нас, таким образом, свидетелями внезапного появления значимого фантазма лошади.

Если Фрейд прав и окончательное суждение в этом деле принадлежит вам, история эта, смешная или поэтичная – как хотите, безусловно заслуживает названия остроумной. В то же время ее можно назвать и забавной. В любом случае тот факт, что содержание ее концентрируется в образе, заведомо встречающемся на уровне явлений бессознательного, нас теперь удивлять не должен.

Больше того, именно это и придает цену этой истории, это и сообщает ей столь отчетливые очертания. Но довольно ли одного этого, чтобы сделать ее действительно остроумной?

Итак, мы выделили в этой истории два такта, которые я назвал бы, соответственно, подготовительным и финальным. Будем ли мы и дальше этого деления держаться? Вполне возможно, если мы останемся на уровне того, что можно назвать фрейдовским анализ *Witz*'а. Какую бы историю мы ни взяли, вычленить в ней эти два такта, два аспекта явления, будет, по-моему, совсем нетрудно – просто в данной истории граница между ними особенно четкая.

То, что придает чему-либо характер не просто забавный или поэтичный, а именно остроумный, следует на нашей схеме ретроспективным путем, вспять по отношению к тому, что называем мы смысловым ходом. Дело в том, что, какой бы скользкой, какой бы неуловимой заключительная острота этой истории ни была, острие ее все же куда-то направлено. Формулировать что-то было бы сейчас, разумеется, преждевременно, но чтобы это направление указать, мне без этого так или иначе не обойтись – так вот: подробность, к которой возвращается субъект с настойчивостью, которая в другом контексте могла бы сойти за проявление скорее юмора, чем остроумия, пресловутая лошадь, которая встала со ржанием на дыбы, – в ней-то, может быть, подлинная соль этого анекдота и состоит.

Образ этот выражает, пожалуй, самую суть той целостной картины истории, которая всем нашим опытом, образованием, культурой в нас была сформирована. Мы и шага не сделаем ни в одном

музее, не увидев на одном из батальных полотен эту со ржанием вставшую на дыбы лошадь. В историю войны лошадь вошла, можно сказать, триумфально. Момент, когда нашлись люди, впервые это животное оседлавшие, был датой поистине знаменательный. В свое время, начиная с появления ахейской конницы, использование лошадей для верховой езды стало подлинным и огромным шагом вперед. Всадники немедленно приобрели колоссальное тактическое преимущество перед запряженными лошадьми колесницами – вплоть до войны 1914 года, когда лошадь исчезает, уступая место другим орудиям войны, сделавшим ее практически бесполезной. Таким образом, начиная с ахейской эпохи вплоть до войны 1914 года, лошадь являлась абсолютно необходимым элементом того вида человеческого общения, который мы называем *войной*.

Тот факт, что она стала благодаря этому центральным образом тех концепций истории, которые позволительно объединить под рубрикой "истории как битвы", представляет собой явление, за которым мы – тем более, что соответствующий период уже пройден, – готовы признать характер знаковый, как оно, по мере развития исторической науки, постепенно и выясняется. В конечном итоге к образу этому, в свете нашей маленькой истории столь ничтожному, вся большая история и сводится. Смысл, на который потаенно указывает наш анекдот, состоит в том, что по поводу сражений, будь то при Маренго или при Фонтенуа, волноваться особенно нечего – разве что битва при Трафальгаре стоит несколько особняком.

Разумеется, всего этого в самой нашей истории нет. Речь не идет о том, чтобы извлечь из нее какую-нибудь премудрость относительно Истории с большой буквы. Но даже ничему не уча нас, она указывает на то, что смысловой ход делается в направлении снижения ценности, в направлении изгнания завораживающего нас элемента.

В каком направлении оказывает эта история свое действие? И в каком отношении она удовлетворяет нас, доставляет нам удовольствие?

Введение в наши значения означающего оставляет поля, в силу которых мы неизменно пребываем у него в рабстве. По ту сторону связей, которые цепочка означающих для нас обеспечивает, остается нечто еще – и оно от нас ускользает. Сам факт, что слова *мертвые! раненые!* с самого начала служат этой истории лейтмотивом, вызывают у нас только смех, достаточно ясно свидетельствует о том, до какой степени заказан нам доступ к реальности, когда мы пыта-

емся подобраться к ней окольным путем означающего. .

История эта послужит нам в данном случае просто-напросто отправным пунктом. Фрейд подчеркивает, что когда дело идет о передаче остроты и об удовлетворении, которое она несет, участвуют в этом всегда трое. Комичное может разыгрываться между двумя, для остроты необходимы трое. Другой, выполняющий роль второго, занимает различные позиции. Иногда это второе лицо в нашей истории, причем неизвестно, да и неважно, студент это или экзаменатор. И в то же время это вы сами – в то время, пока я вам историю эту рассказываю.

На самом деле в первой части важно, чтобы вы позволили немножко поводить себя за нос. История сразу же возбуждает ваши симпатии, будь то к студенту или к экзаменатору, она либо увлекает вас, либо вызывает протест – хотя в данном случае цель ее, по правде говоря, не в том, чтобы вызвать у нас чувство протеста, а в том, чтобы захватить нас увлекательным поединком студента и экзаменатора – поединка, в котором этот последний должен поймать студента в ловушку. Что-то похожее всегда намечается и в историях игривого или неприличного свойства. На самом деле задача их не столько в том, чтобы предотвратить с вашей стороны сопротивление или неприятие, сколько наоборот, в том, чтобы их активно задействовать. Когда история, которую начали вам рассказывать, обещает быть игривого свойства, рассказчик не пытается затушевать то, что может вызвать у вас протест, – напротив, уже с самого начала что-то в этой истории предупреждает вас, на какую почву вы тут вступаете. Поняв это, вы настраиваете себя либо на согласие, либо на сопротивление, но в любом случае что-то внутри вас ту или иную позицию в плоскости противостояния уже заняло. В данном же случае вы позволяете себе увлечься той показной и увлекательной стороной дела, о которой сама принадлежность нашего предмета порядку и регистру истории заранее наводит на мысль.

Конечно, то неожиданное, что случается в последний момент, обязательно лежит в плоскости языка. В данном случае словесная игра проработана гораздо тщательнее. Более того, она разложена на составляющие таким образом, что перед нами, с одной стороны, чистое означающее, в данном случае лошадь, а с другой – элемент игры означающих. Элемент этот предстает здесь в форме клише, обнаружить которое гораздо труднее, но из которого ясно, тем не менее, что более в истории искать нечего. Удивительна здесь сама

принципиальная двусмысленность, сам переход от одного смысла к другому посредством означающего носителя – то самое, о чем примеры, которые я раньше вам приводил, как раз и свидетельствуют. Здесь налицо дыра, зияние – оно-то и приводит вас к тому этапу, где то сообщаемое, что поражает вас, принимает облик остроты.

Как правило, удар приходится не с той стороны, куда ваше внимание – или сочувствие, или негодование, – было отвлечено, причем как именно нас отвлекали – нарочитой бессмыслицей, комическими эффектами или эффектами игривого соучастия в провоцирующей возбуждение непристойности повествования, не имеет ровно никакого значения. Надо сказать, что игра противостояния эта является всего-навсего подготовкой, позволяющей тому воображаемому, продуманному, сочувственному, что всегда бывает в общении задействовано, распределиться на два противоположных полюса, – подготовкой к реализации определенной тенденции, где субъект выступает как второе лицо. Все это покуда лишь фундамент самой истории. Все, что привлекает внимание субъекта, все, что пробуждается в нем на сознательном уровне, представляет собой лишь базу, необходимую для перехода в другой план – план, который всегда предстает как более или менее загадочный. Именно в этом плане происходит неожиданность – и вот тут-то и оказываемся мы на уровне бессознательного.

Поскольку все, о чем идет речь, всегда связано с механизмом языка как таковым, связано на том уровне, где Другой взыскует нас и нами взыскуется, где с Другим сходятся вплотную, где Другой становится целью, которая в остроте оказывается достигнута, – как нам этого Другого все-таки определить?

3

Остановимся ненадолго на нашей схеме, чтобы высказать для начала несколько простых вещей и азбучных истин.

Схему эту можно использовать как некую решетку или координационную сетку, позволяющую отследить в общих чертах означающие элементы как таковые.

Взяв ряд исходных модусов или форм в качестве основы для классификации различных острот, мы придем к какому-то перечислению, например: игра слов; каламбур в собственном смысле слова; игра слов, основанная на смысловом преобразовании или сдвиге; острота, основанная на смысловом преобразовании или сдвиге;

острота, основанная на незначительном изменении слова, достаточном, чтобы представить что-то в неожиданном свете или обнаружить в нем новое, неожиданное измерение. Какие бы классификационные показатели мы при этом ни выбрали, мы обязательно, вслед за Фрейдом, стремимся свести их к терминам, которые вписывались бы в регистр означающих. А теперь представим себе некую машину.

Машина эта расположена где-то между точками А и М. Она принимает данные, приходящие к ней с обеих сторон. Она вполне способна разобраться в способах, которыми происходит формирование слова *фамиллионьярно* или превращение золотого тельца в тельца на скотобойне. Предположим, что она достаточно совершенна, чтобы провести исчерпывающий анализ всех означающих элементов. Сможет ли она уловить остроту и ее как таковую удостоверить? Провести необходимые вычисления и ответить, что да, мол, это острота? То есть подтвердить соответствие сообщения коду, как и подобает это сделать, если мы в пределах – по крайней мере, возможных – того, что именуется *остротой*, хотим остаться.

Мы придумали эту штуку исключительно шутки ради, так как об этом не может, само собой разумеется, быть и речи. Но что отсюда следует? Довольно ли будет сказать, что нам не обойтись здесь без человека? Оно, может быть, и так, и мы могли бы таким ответом удовлетвориться. В целом, он нашему опыту более или менее соответствует. Но учитывая, что существование бессознательного с его тайнами мы принимаем всерьез, *человек* является ответом, который нам предстоит прежде разложить на его составляющие.

Прежде всего следует сказать, что нам необходимо иметь перед собой реального субъекта. На самом деле острота играет свою роль внутри смысла, в направлении смысла. А помыслить себе этот смысл можно, как мы уже показали, лишь в связи со взаимодействием означающего и потребности. Именно отсутствие измерения потребности мешает, препятствует машине каким бы то ни было образом наличие остроты удостоверить.

Можем ли мы сделать отсюда вывод, что реальный субъект этот должен иметь потребности, подобные нашим? Формулировать с самого начала подобное требование для нас вовсе не обязательно. На самом деле никакого указания на потребность в остроте не содержится. Наоборот – острота скорее размечает для нас ту дистанцию, что существует между потребностью, с одной стороны, и тем,

о чем идет речь в дискурсе, с другой. Уже поэтому то, что артикулировано в дискурсе, подсказывает нам целую серию реакций, бесконечно далеких от того, что может рассматриваться как потребность в подлинном смысле этого слова.

Итак, вот наше первое положение – необходимо, чтобы субъект был субъектом реальным. Богом, животным или человеком? Мы об этом ничего не знаем.

Подтверждением моих слов служит то, что рассказы о сверхъестественном, которые не зря же бытуют в фольклоре человечества повсеместно, далеко не исключают возможности с феей или чертом – то есть субъектом, отношения которого внутри Реального, ему свойственного, заведомо отличны от тех, что формируются человеческими потребностями – шутить шутки. Вы возразите, конечно, что существа эти чисто мысленные, словесные, и потому образ их отмечен более или менее человеческими чертами. Но в том-то и дело, что моей мысли это нисколько не противоречит. На самом деле отношения, в которые мы вступаем, определяются следующими двумя условиями. Прежде всего мы имеем дело с реальным субъектом, то есть с живым существом. С другой стороны, это живое существо понимает язык и, более того, обладает запасами материала, пригодного для словесного обмена, – всеми теми манерами, приемами, оборотами и терминами, без которых об общении с ним посредством языка нечего было бы и думать.

На какую же мысль острота наводит нас, к чему позволяет она нам прикоснуться?

Вспомним о том, что в строе человеческой жизни образы предстают как друг с другом не связанные и обладающие видимостью свободы – свободы, которая и допускает все те слияния, обмены, сгущения и смещения, все те жонглерские фокусы, что наблюдаем мы в основе всех проявлений того богатства и разнообразия человеческого мира, которые столь разительно отличают его от Реального чисто биологического. В аналитической перспективе мы чаще всего вписываем эту свободу образов в рамки системы представлений, склоняющих нас к тому, чтобы рассматривать эту свободу как обусловленную неким изначальным злокачественным перерождением в отношениях между человеком и окружающей его средой – тем самым, который мы ранее уже пытались увязать с преждевременностью его появления на свет, которая и приводит к тому, что даже самые элементарные свои движения человек вынужден осва-

ивать через образ другого. В том ли все дело или нет, но ясно одно – образы эти, со всей присущей им столь характерной для человеческого рода, человеческого устроения анархией, вовлекаются в манипуляции означающих, используются ими, приводятся ими в действие. Именно в этом качестве и переходят они в то, с чем имеем мы дело в остроте.

А дело в остроте мы имеем с образами, поскольку эти последние успели стать означающими элементами более или менее обиходными, более или менее включенными в то, что я назвал ранее метонимической сокровищницей. Сокровищница эта находится у Другого в распоряжении. Заведомо предполагается, что все многообразие означающих комбинаций – содержащих притом в отношении значения своего значительные сокращения, пропуски, можно даже сказать, опустошенных – ему знакомо. Речь идет обо всем том, что язык несет в себе и что, получая в момент знакового творчества свое обнаружение, в виде пассивном, латентном, содержится в нем заранее. Именно это я в остроте и вызываю к жизни – это и есть то самое, что я пытаюсь в Другом пробудить и в чем я ищу доверительно его поддержки. Короче говоря, я обращаюсь к нему лишь постольку, поскольку предполагаю, что все, что я в остроте своей задействую, в нем с самого начала уже заложено.

Позаимствуем у Фрейда один из его примеров. Речь идет о словечке одного знаменитого в венском обществе остроумца по поводу некоего дрянного писателя, наводнявшего журналы бесконечными и праздными рассуждениями о Наполеоне и наполеоновских выкормышах. Воспользовавшись физической особенностью этого писателя – а он был очень краснолиц – остроумец дал ему прозвище *rote Fadian*, намекающее одновременно и на то что у него красное лицо, и на то, что он говорил пошлости (*rouquin filandreux*, *рыжий зануда* – передали это выражение по-французски).

Но вся соль этой шутки в том, что она одновременно отсылает нас к *roter Faden*, *красной нити* – выражению, которое само представляет собой поэтическую метафору, позаимствованную Гете из практики английского флота, где ранее, в те времена, когда на судах была парусная оснастка, красная нить эта позволяла немедленно опознать любой, самый маленький кусок веревочной снасти, принадлежащей флоту Ее Величества, – даже в случае (собственно, в первую очередь именно в том как раз случае), когда кусок этот оказывался похищен. Красная нить позволяет безошибочно опре-

делить принадлежность материала. Метафора эта известна, разумеется, субъектам немецкоязычным куда лучше, чем нам, но я надеюсь, что достаточно многим из вас этот отрывок из *Избирательного сродства* хотя бы по данной цитате, даже если вы не знали, откуда оно позаимствовано, оказался знаком. Именно в объединяющей красную нить с красноречивым занудой словесной игре и состоит соль этой столь отвечающей стилю своей эпохи реплики, которая в определенный момент и в определенном контексте – который, плохо ли, хорошо ли, именуют культурным, – могла показаться очень забавной. Перед нами то самое, благодаря чему некая фраза воспринимается как острота, как удачная шутка. К этому я теперь и перехожу.

Фрейд замечает по случаю, что под покровом остроты нечто получает удовлетворение – а именно, получают удовлетворение свойственные субъекту агрессивные тенденции. В противном случае они просто не смогли бы проявиться вовне. О своем собрате по перу подобные грубости говорить не принято. Их можно высказать лишь под покровом шутки. Это лишь одна сторона вопроса, но совершенно ясно, что одно дело высказать в чей-то адрес неприкрытое оскорбление и совсем другое – выразить то, что думаешь, в этом регистре, ибо поступая таким образом, мы апеллируем в глазах Другого к чему-то такому, что считается для него в порядке вещей, принадлежит к самому обычному для него коду.

Именно для того, чтобы дать вам взглянуть на вещи под этим углом зрения, и привел я здесь этот характерный для специфического момента в истории венского общества эпизод. В контексте того времени намек на гетевскую красную нить доступен всем – в какой-то степени он даже льстит в каждом его желанию признания, выступая в качестве общеизвестного символа, о котором всякий знает, что за ним кроется.

Но острота эта содержит в себе и еще одно указание, в другом направлении – предметом ее является не только лицо, которое она высмеивает, но и совершенно определенная культурная ценность. Как подчеркивает сам Фрейд, очеркист, который рассматривает историю под анекдотическим углом зрения, затрагивает в ней по обыкновению глубокие темы, где более чем очевидны становятся его несостоятельность, бедность его понятий, вялость его письма. Короче говоря, объектом насмешки является здесь весь занудный околоисторический стиль той продукции, которая заполняла собой

журналы той эпохи. Эта направленность остроты намечена в ней достаточно явственно, и хотя дело не доведено до конца, хотя цель так и остается не пораженной, сама направленность сообщает этой остроте ее предметность и ценность.

Мы вправе, таким образом, утверждать, что хотя предстоящему нам субъекту быть реальным живым лицом вовсе не обязательно, Другой является по сути своей местом символическим.

Другой является не чем иным, как сокровищницей, где хранятся те фразы, собственно даже те общие места, без которых острота лишается своей предметности и ценности. Заметим, однако, что то нарочито фигурирующее в качестве значения, на что острота нацелена, находится вовсе не в нем. Напротив, эта общая для всех сокровищница категорий носит характер, который мы можем назвать абстрактным. Говоря это, я имею в виду не что иное, как тот передаточный элемент, благодаря которому существует нечто такое, что является в каком-то смысле сверхиндивидуальным и связано общностью совершенно бесспорной со всем тем, что приуготовлялось культурой с самого ее начала. То, к чему мы обращаемся, когда мы нацелены на субъект на уровне двусмысленности означающего, имеет, если можно так выразиться, исключительно бессмертный характер. Это и есть на самом деле другое условие постановки вопроса.

Итак, решение вопроса о том, кто такой Другой, лежит между двумя полюсами. С одной стороны, нам нужно, чтобы Другой этот был действительно реальным, чтобы это было живое существо из плоти и крови, хотя это и не совсем та плоть, которую я остротой своей провоцирую. С другой стороны, есть тут и что-то едва ли не анонимное, что-то такое, что присутствует в том, к чему я прибегаю, чтобы его достичь и возбудить как его удовольствие, так и мое собственное.

Каков же тот источник активности, который там, между Реальным и Символическим, располагается? Это – функция Другого. Именно она, собственно говоря, здесь и задействована. Я, само собой разумеется, уже постарался, чтобы стало ясно, что под Другими я разумею Другого как место означающего, но выявляю я в этом месте означающего здесь лишь одно – направление смысла, смысловой ход, то, в чем, в конечном счете, подлинный источник активности и заключен.

Встреча, можно сказать, предстает здесь чем-то вроде испанс-

кого постоялого двора. Точнее, наоборот – потому что на испанском постоялом дворе потчуют только вином, а еду надо приносить свою, в то время как здесь вино речи должен принести именно я, ибо иначе, даже слопай я — образ несколько комический, даже шутовской – своего противника, вина этого мне не видать.

Вино речи находится всегда, оно во всем, что я говорю. Стоит нам о чем-то завести речь, как остроумие оказывается разлито во всем, что мы собираемся рассказать, ибо говорим мы всегда, волей-неволей, в двойном регистре метонимии и метафоры. Уходы смысла и смысловые ходы сплошь и рядом готовы сплестись друг с другом, как сплетаются и расплетаются тысячи нитей на тех сегментах, о которых говорит в *Толковании сновидений* Фрейд. Как правило, однако, все вино нашей речи уходит в песок. Все, что между мной и Другим во время произнесения остроты происходит, являет собой нечто вроде тесного общения между уходом смысла и его ходом. Общение это действительно носит характер более очеловечивающий, нежели какое-либо иное, но очеловечивающим оказывается оно лишь потому, что отправляемся мы от уровня, который с обеих сторон лишен всего человеческого.

Если к общению этому я приглашаю Другого, то причина в том, что в содействии его я нуждаюсь тем больше, что оказывает он это содействие в качестве сосуда, Грааля. Грааль этот пуст. Я хочу сказать, что вовсе не обращаюсь в Другом к чему-то определенному, чему-то такому, что объединяло бы нас какой бы то ни было общностью, что обещало бы хоть какое-то согласие в желаниях и суждениях. То, к чему я обращаюсь, – это всего-навсего форма.

Чем эта форма образована? Тем, о чем в связи с остротами речь заходит всегда, – тем, что Фрейд называет запретами. Не случайно, говоря о подготовительной фазе остроты, упомянул я у Другого о чем-то таком, что стремится сделать его в определенном отношении твердым, застывшим. Но это лишь скорлупа, под которой находится нечто более глубокое, связанное с тем метонимическим запасом, без которого я не могу сообщить Другому абсолютно ничего, что было бы такого же порядка.

Иными словами: чтобы острота моя вызвала у Другого смех, необходимо, как говорит где-то Бергсон (и это единственное путное, что в его книге о смехе есть), чтобы Другой этот был "вашего прихода" (paroisse).

Что это значит? Уже само слово *paroisse* немало поможет нам ра-

зобраться в том, о чем идет речь. Я не знаю, знакомо ли вам происхождение этого слова. Занятно, что сколько ни занимались им этимологи, им так и не удалось понять, каким чудом то, что было вначале *пародией* (parodia) и означало *людей не этого дома* – я хочу сказать, не этого земного дома, не от этого мира: людей, принадлежащих миру иному, христиан, другими словами, ибо лишь с возникновением христианства появляется этот термин на свет, – оказалось, если можно так выразиться, метафорически преображено другим словом, вписавшим в него свой означающий элемент *khi*, который и до сего дня сохранился в итальянском слове *parocchia* – греческим словом πάροχος, означающим поставщика или интенданта, к которому положено было обращаться чиновникам империи за обеспечением себя всем тем, что мог чиновник империи пожелать, – а в благословенные времена римского мира пожелания их могли простираться весьма далеко.

Итак, мы находимся на уровне двусмысленного термина *приход* (paroisse), отлично выражающего ограниченность того поля, в котором острота оказывается действенной. Вы сами видите, что остроты далеко не всегда и не везде оказывают один и тот же эффект – так, история с красной нитью произвела на вас впечатление куда меньшее, чем последний мой анекдот о студенте. Для такой публики, какой являетесь вы, ситуация столь знакомая, столь "вашего прихода", как экзамен на бакалавра, да и вообще экзамен, окажется, естественно, самой подходящей оболочкой для того, что должно было быть передано по назначению, для смысловой направленности. Разумеется, направленность эта, никакого смысла не достигающая, является на деле лишь той дистанцией, что всегда остается между любым реализованным смыслом и тем, что можно назвать идеальной смысловой полнотой.

Позволю себе еще одну игру слов. То, чем оборачивается Другой на уровне остроты, нам по работам Фрейда хорошо знакомо, – он фигурирует там как цензура (censure), и напрямую имеет дело со смыслом (sens). Другой, иными словами, оборачивается фильтром, который служит тому, что может быть принято или простонапросто расслышано; препятствием, вносящим во все это определенный порядок. Есть вещи, которые услышаны быть не могут или которые обычно больше никогда не услышишь, – их-то острота как раз и пытается каким-то образом, в качестве отголоска, до слуха нашего донести. И вот чтобы донести этот отголосок до на-

шего слуха, она как раз и прибегает к препятствию, используя его в качестве своего рода вогнутого резонатора. Это та самая метафора, к которой я только что уже прибегал, – там, внутри, что-то сопротивляется, что-то такое, что целиком состоит из ряда кристаллизовавшихся у субъекта воображаемых образований.

Происходящее на этом уровне нас нисколько не удивляет. Возможности рождения остроты маленький другой – будем называть вещи своими именами – действительно способствует, но лишь внутри сопротивления субъекта – того сопротивления, которое на этот раз, что весьма поучительно, мне важно, скорее, вызвать, – услышано окажется нечто такое, что будет иметь резонанс куда больший: то самое, благодаря чему острота получит непосредственный резонанс в бессознательном.

11 декабря 1957 года

VII
Отказница

Удвоение графа
Смех, воображаемый феномен
Другой в собственном распоряжении
Возвращение к наслаждению у Аристофана
Комическая любовь

В последний раз я начал было с вами говорить о Граале. Вы и есть тот Грааль, который я, всячески предостерегая от всевозможных противоречий, сплачиваю в монолитное целое – сплачиваю для того, чтобы мысль ваша смогла засвидетельствовать, если можно так выразиться, тот факт, что я посылаю вам сообщение. Суть Грааля состоит в самих изъянах его.

Поскольку даже к тому, что понято лучше всего, имеет смысл хоть немного да возвращаться, я попытаюсь материализовать на этой доске то, о чем вам в прошлый раз говорил.

1

То, что я говорил вам в последний раз, касалось Другого, того пресловутого Другого, который при пересказе остроты восполняет – в каком-то смысле, заполняет – зияние, неразрешимостью желания образуемое. Можно сказать, что *Witz* возвращает требованию, по сути своей неудовлетворенному, причитающееся ему наслаждение; возвращает в двух, собственно говоря, идентичных аспектах: неожиданности и удовольствия – нечаянного удовольствия и приятной неожиданности.

В последний раз я настаивал также на процедуре неподвижной фиксации Другого и образования того, что я назвал *Граалем пустым*. Это и есть то самое, что у Фрейда предстает в облике, который именует он *фасадом* остроты. Этот фасад отвлекает внимание Другого от того пути, которым острота должна проследовать, он устанавливает запрет в одном месте, чтобы дать остроумию дорогу в другом.

Вот как примерно будет положение дел выглядеть схематически. Прослеживается, наконец, путь речи, сконденсированной здесь

в сообщение Другому – Другому, которому она адресуется. Именно ущербность, пустота, несостоятельность сообщения и удостоверяются Другим в качестве остроты, по праву возвращаясь, однако, тем самым субъекту как таковому – возвращаясь в качестве того, что представляет собой необходимое дополнение связанного с остротой подлинного желания.

Итак, перед вами наша привычная уже схема. Вот Другой, вот сообщение, Я, метонимический объект. Все это пункты уже пройденные, которые вы, я надеюсь, знаете. Другой необходим для замыкания той петли, которую образует дискурс, приходя к сообщению, способному удовлетворить, по крайней мере символически, требованию как таковому – в принципе неразрешимому. Этот замкнутый контур знаменует собой удостоверение Другим чего-то такого, что отсылает нас, в конечном итоге, к тому факту, что с момента, когда человек входит в мир Символического, ничто, относящееся к требованию, достигнуто быть не может – разве что путем бесконечной последовательности смысловых ходов. С тех пор, как желание человека оказалось включенным в механизм языка, он, этот новый Ахилл, опять преследующий черепаху, обречен на то вечное, но так и не достижимое, самим механизмом желания предопределенное сближение с ним, которое мы зовем дискурсивностью.

Поскольку чтобы сделать последний символически удовлетворительный шаг – тот самый, в момент которого острота доходит – без Другого в принципе не обойтись, не мешает вспомнить о том, что он, этот Другой, тоже существует. Существует на манер того, что мы называем *субъектом* – субъектом, подобным колечку, скользящему в игре по веревочке от одного игрока к другому. Не думайте, будто в первую очередь субъект является субъектом потребности – потребность, это еще не субъект. Так где же он? Не исключено, что сегодня мы кое-что об этом узнаем.

Субъект – это вся система и, может быть, что-то такое, что находит в этой системе свое завершение. Другой же подобен ему, сделан точно таким же образом – именно поэтому и может он мой дискурс подхватить.

Нам придется оговорить несколько особых условий, и если моя схема на что-то годится, она должна оказаться способной эти условия отразить. Это те самые условия, о которых упоминали мы в прошлый раз. Обратите внимание на стрелки, задающие направление

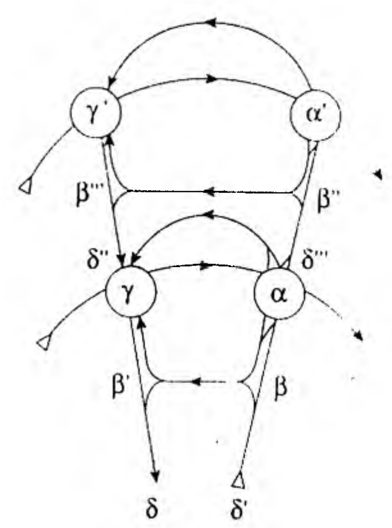
на каждом отрезке. Вот вектора, идущие от Я к объекту и к Другому; а вот другие, идущие к Другому и к объекту от сообщения, ибо существуют отношения симметрии между сообщением и Я, откуда стрелки разбегаются, и такие же отношения между центрами, куда они сходятся, – между Другим как таковым, как сокровищницей метонимий, с одной стороны, и самим метонимическим объектом в том виде, в каком он в этой системе метонимий складывается, с другой.

Какие пояснения давал я вам в прошлый раз относительно того, что назвал я в остроте ее *подготовительной фазой*? Бывает, что лучше без этой подготовки и обойтись, но ясно, что она в любом случае не помешает. Вспомним, что произошло, когда я ее не сделал, – вы не знали, что и сказать. Даже такая простая шутка, как *Ah!*, которую я как-то здесь вспомнил, многих из вас привела, похоже, в недоумение. Но поведай я вам предварительно об отношениях между юным графом и хорошо воспитанной девушкой поподробнее, вы бы развеселились немножко, и это помогло бы моему анекдоту какой-то барьер преодолеть. Поскольку слушали вы очень внимательно, часть из вас затратила все-таки на его понимание какое-то время. Зато рассказанная мною в последний раз история с лошадью вызвала у вас смех без труда. Дело в том, что она включала в себя фазу продолжительной подготовки: веселясь над ответами студента, которые были в ваших глазах отмечены кроющейся за невежеством наглостью, вы поневоле готовы оказались к тому появлению скачущей лошади, которое эту историю завершает и в котором вся соль анекдота и состоит.

То, что я с помощью такой подготовки произвожу на свет – это и есть Другой. Перед нами явно то самое, что называется у Фрейда *Hemmung*, *запрет* (inhibition). Речь идет, собственно, о том противодействии, что лежит в основе любых отношений противостояния и включает здесь все, чем можете вы возразить на то, что в качестве предмета, объекта у меня фигурирует. Вы уже готовы были к сближению с ним, готовы были принять на себя его удар, выдержать его давление. То, что таким образом организуется, и есть то, что называется обыкновенно *защитой*, и представляет оно собой силу самую элементарную. Это и есть то, о чем идет речь в этих преамбулах, какими бы разнообразными они ни были. Бессмыслица играет здесь порой роль прелюдии – выступая как провокация, она отвлекает ваш умственный взор в определенную сторону. В этой

своеобразной корриде она служит красным плащом. Порой она носит комический характер, порой непристойный.

На самом деле то, к чему надлежит Другого приноровить, это объект. Скажем так: речь идет о том, чтобы внимание Другого, поскольку он сам участник дискурса, сосредоточить на определенном метонимическом объекте, лежащем в направлении, противоположном метонимии дискурса моего собственного. В каком-то смысле объект этот может быть любым. Вовсе не обязательно, чтобы это имело хоть какое-то отношение к запретам, присущим мне самому. Это не имеет значения – годится все, лишь бы какой-то объект внимание Другого в этот миг занимал. Именно об этом я вам в прошлый раз толковал, говоря о том воображаемом оплотнении (solidification) Другого, которое и является исходной позицией, позволяющей остроте "дойти".



Таким образом, на схеме нашей должна быть отражена связь с объектом на уровне Другого, который выступает здесь как субъект, – вот почему я выстраиваю здесь другую систему, рисуя ее голубым цветом. Первым делом я провожу линию, соответствующую той, что мы обозначаем $\beta\beta'$, – линии связи, существующей для первого субъекта между Я, с одной стороны, и метонимическим объектом, с другой. Тем самым я демонстрирую, как система Другого субъекта надстраивается над системой первого.

Чтобы переход от Другого к сообщению, удостоверяющему остроту как таковую, был осуществлен, он обязательно должен быть

опосредован его, Другого, собственной системой означающих, то есть проблема, если можно так выразиться, должна быть возвращена на его рассмотрение таким образом, чтобы он сам, в собственной своей системе, мог удостоверить сообщение как остроту.

Другими словами, линия $\gamma\alpha$ предполагает вписанную параллельно ей линию $\gamma'\alpha'$, что в точности на схеме и отражено. Заложенная в остроту внутренняя необходимость теоретически задает перспективу бесконечного ее воспроизведения – вам известно, что существует хорошая история для того, чтобы ее рассказывали, что завершается она не раньше, чем кто-то рассказал ее слушателям, а те, в свою очередь, над ней посмеялись. Само удовольствие от рассказа состоит отчасти в соображении, что слушатели могут, в свой черед, испробовать ее на других.

Если между тем завороженным метонимией состоянием, которое должен я, чтобы освободить остроте дорогу, у Другого вызвать, с одной стороны, и самой этой остротой, с другой, никакой необходимой связи не существует, то между системами обоих субъектов такая связь, наоборот, есть. Что достаточно хорошо демонстрируется на нашей схеме соответствием между означающей цепочкой в том виде, в котором она организуется у Другого, т. е. той, что идет у нас из δ''' в δ'', с одной стороны, и той, что идет из δ' в δ, с другой. Соответствие это обязательно должно иметь место – именно это я имел в виду, говоря, что Другой должен быть *того же прихода.* И вовсе не достаточно, чтобы он просто понимал по-французски, хотя и это само по себе уже своего рода принадлежность к приходу. Если я хочу сострить по-французски, то для того, чтобы моя острота дошла и оказалась удачной, Другой должен быть не чужд массе других вещей, знание которых ею предполагается.

Итак, на схеме представлены два условия, записать которые мы можем следующим образом. Линия $\beta''\beta'''$ обозначает некоторый спровоцированный у Другого запрет. Я ставлю тут две маленькие стрелки, идущие в противоположных направлениях, обе одинаковые и по направлению моей собственной метонимии, то есть $\gamma\alpha$, обратные. Зато между $\gamma\alpha$ и $\gamma'\alpha'$ налицо своего рода параллелизм. Иначе говоря, $\gamma\alpha$ может получить признание. Именно это мы и отметили, заключив грубую шутку между α' и γ'. Другой признает ее в качестве сообщения и удостоверяет в качестве остроты.

Схема имеет, как видите, по меньшей мере то преимущество, что

позволяет закреплять наши мысли, придать им зримую форму – недаром является она одним из излюбленных умственных органов у наших интеллектуалов. Теперь я наглядно представил вам то, что имел в виду, говоря в прошлый раз о субъективных условиях успеха остроты – о том, иными словами, что требуется остроте от воображаемого другого, чтобы внутри той полости, которую этот воображаемый другой собой представляет, символический Другой ее расслышал.

Я предоставляю наиболее хитроумным из вас самим позаботиться о том, чтобы сопоставить все это с тем, что мне, как ни странно, однажды, в форме метафоры, уже приходилось высказать, хотя занимался я тогда в первую очередь воображаемыми образами и условиями явления воображаемого единства внутри определенных процессов отражения на органическом уровне. У меня наверняка был повод почти той же формальной схемой воспользоваться, когда, говоря о нарциссизме, я прибег для иллюстрации к помощи образа, возникающего в вогнутом зеркале. Однако проводить сближение, которое, сколь бы плодотворно оно ни было, окажется натянутым, мы не станем.

Попробуем теперь извлечь из этой схемы еще один небольшой урок. Как ни интересно было напомнить вам о смысле того, что сказано было мною вчера, работа пропала бы втуне, не сделай мы хоть еще один шаг вперед.

Итак, в результате развития, которое наша формула Другого как субъекта здесь получила, первоначальная схема, которая служит нам верой и правдой с начала этого года, оказалась преобразована. Линия $\gamma\alpha$ соответствует на схеме субъекту, линия $\beta\beta'$ – связи его с метонимическим объектом. По ту сторону этих линий, на следующем этапе, положение дел воспроизводится: Другой вступает, в свою очередь, с метонимическим объектом в связь по линии $\beta''\beta'''$, линии $\gamma\alpha$ соответствует линия $\gamma'\alpha'$, и так далее до бесконечности. Заключительная петля – та, по которой происходит возврат потребности к неопределенное число раз отложенному удовлетворению, возвращается сюда, в место своего назначения, к субъекту, не раньше, чем пройдет всю череду Других.

2

Сейчас мы вновь постараемся эту схему использовать. Остановимся пока на конкретном случае, который приводится Фрейдом

вслед за анализом механизма остроты – анализом, к которому все то, что тут у нас говорится, служит лишь комментарием. Начав с рассуждений о том, что он называет социальными пружинами остроты, Фрейд переходит затем к проблеме комического.

Это и есть тема, которой мы попытаемся сегодня коснуться – не рассчитывая, разумеется, здесь ее исчерпать. Фрейд прямо говорит, что рассматривает ее лишь постольку, поскольку она интересна для анализа остроты, так сама по себе она представляет область настолько обширную, что об углубленном изучении ее, по крайней мере, исходя из собственного его опыта, нечего и мечтать. Чтобы подойти к анализу комического, Фрейд помещает в нем на первый план то, что стоит к остроте ближе всего. Удивительно, что при своем цепком взгляде и чуткой ориентации, то, что представляет он как наиболее к остроте близкое, оказывается как раз тем, что на первый взгляд лежит от остроумия дальше всего, – *наивность*.

Наивность – утверждает он – основана на невежестве – доказывая это, естественно, на примерах детского поведения. Я уже упоминал здесь историю о том, как дети разыгрывают поставленную ими для взрослых забавную пьеску. Муж покидает жену дома, отправляясь на заработки. Через несколько лет он, разбогатев, возвращается домой, где жена встречает его словами: *Я тоже вела себя примерно, я тоже не теряла зря времени, пока тебя не было,* и отдергивает занавеску, где рядком лежит десяток запеленутых кукол. Это очень напоминает сцену из театра марионеток. Дети поражены (а может, просто удивлены – не исключено, что они знают куда больше, чем это предполагаем мы) тем смехом, которым разражается взрослая публика.

Вот образец наивной остроты в том виде, в каком Фрейд нам ее представляет. В другой раз и в форме, которая приближается по своей технике к тем процессам, что происходят в обыденном языке, он иллюстрирует ее историей девочки, которая предлагает своему братцу, у которого заболел живот, принять *Bubizin*. Слыша раньше, что ей самой прописывали *Medizin* и зная, что *Madi* – обозначает девочек, а *Bubi* – мальчиков, она решила, что если есть *Medizin* для девочек, то обязательно должен быть *Bubizin* для мальчиков. История эта для тех, кто обладает для нее ключом, то есть для тех, кто понимает немецкий язык, легко может быть представлена как остроумная шутка.

Хотя использование детского поведения в качестве примеров

вполне уместно, соль тут не в этом, а в той черте, которую *невежеством* не назовешь и которую Фрейд, подчеркивая вспомогательный ее характер в механизме остроты, ставит особняком. То, что в этих примерах нас привлекает, – говорит Фрейд, – и что играет в них ту самую роль, которая принадлежит в остроте тому, что я назвал недавно *завороженностью* или *метонимическим пленом*, – это ощущение, что цензурный запрет у говорящего напрочь отсутствует. Именно отсутствие запрета и позволяет нам передать Другому, которому мы подобную историю пересказываем и который сам под впечатлением этого отсутствия находится, то, что является для остроты самым существенным, то по ту сторону лежащее, на что она намекает. Здесь, в случае с ребенком, о котором мы только что упоминали, суть состоит не в забавности самой истории, а в напоминании о том времени детства, когда связь с языком настолько тесна, что непосредственно вызывает представление о связи языка с желанием – тем, в чем удовлетворение, доставляемое остротой, на самом деле и состоит.

Возьмем другой, на сей раз у взрослых заимствованный пример, который я однажды, мне кажется, уже приводил. Один из моих пациентов, в выражениях, как правило, особенно не стеснявшийся, рассказал мне как-то очередную печальную историю из тех, что приключались с ним довольно часто. Речь шла о женщине, которой он, во время вечных скитаний своих, назначил свидание. Как это часто бывало с ним, та ему "подложила кролика", то есть на свидание не явилась. "*Я очередной раз понял, что она отказница* (une femme de non-recevoir)", – заключил он.

Он вовсе не острил, он искренне полагал, что так действительно говорят, для него это звучало вполне невольно. Нам это, между тем, представляется пикантным, удовлетворяя в нас чему-то такому, что выходит далеко за пределы производимого обманутым бедолагой комического эффекта.

Даже если история эта вызывает у нас – что весьма сомнительно – чувство превосходства, это как раз и делает ее несколько неполноценной. Говоря это, я имею в виду один из механизмов, которые зачастую несправедливо полагались в основу феномена комического, – я имею в виду чувство собственного превосходства. Подобная точка зрения не выдерживает критики. И хотя попытка развить такое понимание механизма комического принадлежала Липпсу, уму поистине незаурядному, точка зрения, согласно которой суть

удовольствия от комического нужно искать в этом направлении, опровергается очень легко. Если кто и сохраняет в данном случае свое превосходство, так это герой истории, сумевший мотивировать постигшее его разочарование таким образом, что нерушимая самоуверенность его нисколько не пострадала. Если история эта и подает кому-то повод свое превосходство почувствовать, то повод этот скорее обманчивый. На какое-то мгновение все действительно заманивает вас в сети иллюзии, обусловленной тем, в какое положение ставите вы, реально или мысленно, того, кто историю рассказывает, но то, что в действительности происходит, к этой иллюзии далеко не сводится.

На самом деле за словом *отказница* вырисовывается не что иное, как принципиально обманчивый, разочаровывающий характер любой попытки приближения к желанию, независимо от удовлетворения, которое та или иная из них способна дать. Что забавно, так это удовлетворение, которое доставляет субъекту это невинное словечко обронившему, само разочарование его. Сам он находит, что разочарование это прекрасно объясняется выражением, которое он искренне считает общеизвестной, именно в таких случаях употребляемой метонимией. Другими словами, обнаружив свое разочарование в виде извлеченного из шляпы фокусника плюшевого кролика, он принимает за живого кролика настоящего объяснения то, что является на самом деле продуктом воображения. И с вечным, неизменным кроликом этим, с этим воплощением своего разочарования, он вновь и вновь готов будет без тени смущения встретиться всякий раз, когда приблизится к объекту собственного желания.

Как видите, словцо человека простого или наивного, у которого я это словцо для собственной остроты заимствую, целиком располагается на сей раз, если можно так выразиться, на уровне Другого. Мне нет больше нужды провоцировать со стороны Другого нечто такое, что стало бы достойным сосудом, ибо сосуд этот уже предоставлен мне в виде уст, роняющих для меня то драгоценное слово, дальнейшая передача которого и станет остротой, – слово, которое я возвожу таким образом с помощью моей истории в достоинство ключевого, главного. Таким образом, вся диалектика наивной остроты располагается в той части схемы, что нарисована голубым цветом. То, что надлежит спровоцировать у Другого в регистре Воображаемого для того, чтобы острота в обычной своей

форме дошла и была воспринята, целиком построено здесь на его наивности, на его невежестве, на самом деле ему свойственном самодовольстве. И достаточно мне сегодня эту чепуху вам просто-напросто пересказать, чтобы удостоверенная третьим лицом, тем Большим Другим, которому я ее сообщаю, она возведена была в ранг остроты.

Поощрение воображаемого другого, заключенное в этом анализе метонимий и в удовлетворении, получаемом им от языковой деятельности в чистом виде, – том удовлетворении, в силу которого он даже не замечает, в каком прельщении его желание оказалось, – вводит нас (почему Фрейд и находит желанию место на стыке остроты и комического) в измерение комического.

Успокоиться на этом мы, однако, не можем, так как на самом деле на предмет комического несколько теорий, конечно же, было уже предложено, и поскольку все они без исключения оказались более или менее неудовлетворительными, нелишне будет спросить себя, почему, собственно, это так, и почему вообще теории эти были выдвинуты. Возникали они в самых различных формах, перебирать которые здесь не место, но само нагромождение их, их последовательность, их, как говорится, историческая преемственность, отнюдь не наводят нас на след чего-то принципиально важного. Не задерживаясь на этом, скажем лишь, что в любом случае всякий раз, когда вопрос о комическом пытаются не то что разрешить, но хотя бы просто поставить в плане чисто психологическом, в итоге он оказывается неуместно обойденным.

В психологическом плане остроумное и комическое легко объединяются в категорию смешного – того, что вызывает смех. И вас наверняка уже поразило то обстоятельство, что до сих пор, не раз подчеркивая, что принимается, зачитывается острота тем фактом, что вы ее сдержанным смехом или, по крайней мере, улыбкой санкционируете, я так и не затронул ни разу вопрос о смехе.

Вопрос о смехе далеко не решен. Признать в смехе существенную характеристику любого проявления остроумного или комического готов каждый, но когда речь заходит о том, чтобы хоть как-то ими его выразительные черты обусловить или, по крайней мере, пояснить, какой эмоции может это явление – о котором позволительно, хотя и не с полной уверенностью, утверждать, что оно является исключительно человеческим свойством, – соответствовать, ответы обыкновенно даются до постыдного беспомощные. Иные,

чувствуется, стараются нащупать связь смеха с какими-то другими явлениями, в которых они усматривают ему аналогию. Но даже те, чьи суждения представляются наиболее правдоподобными и осторожными, всего-то и делают, что отмечают колебательный характер проявлений смеха. Так, для Канта, смех – это спазматическое движение, сопровождающее определенные колебательные процессы на ментальном уровне, обусловленные переходом от напряжения к его сведению на нет, – колебание, которое возникает между возникшим в результате возбуждения напряжением и внезапным спадом его в отсутствии чего-то такого, что должно по идее оказывать возбужденному напряжению сопротивление. Точно также, внезапным переходом от представления к его противоположности объясняет это явление психолог девятнадцатого века Леон Дюмон, на которого ссылается Дюма в своей посвященной психологии смеха статье – статье вполне в духе Дюма, очень тонкой и проницательной, и хотя этот баловень судьбы явно не перетрудился, сочиняя ее, прочитать статью, тем не менее, стоит, ибо даже не перетруждаясь, он делает в ней несколько замечательных наблюдений.

Короче говоря, вопрос о смехе выходит далеко за пределы проблематики как остроумного, так и комического.

Нередко встречаешь напоминания о том, сколь феномен этот бывает разнообразен. Бывает, что смех просто передается, смех рождается смехом. Бывает смех, связанный с тем, что в данных обстоятельствах смеяться не следует. Неудержимые приступы смеха, возникающие порой у детей, тоже заслуживают специального внимания. Бывает еще смех от страха, и даже смех перед лицом неотвратимой угрозы, невольный смех жертвы, почувствовавшей внезапную угрозу чего-то такого, что воображение ее отказывается нарисовать, смех отчаяния. Есть смех, вызванный скорбной вестью о внезапном горе. Продолжать я не стану, ибо все эти формы смеха не являются нашей темой, как не является создание теории смеха для нас целью.

Отмечу лишь мимоходом, что вряд ли что-то способно удовлетворить нас менее, нежели теория Бергсона о механическом, проявляющемся в среде живого. Все рассуждения его о смехе лишь пересказывают сжатым и схематичным образом миф о жизненной гармонии, о жизненном порыве, отличительной чертой которого является, будто бы, пресловутое вечное обновление, вечное твор-

ческое усилие. Экстравагантность его суждений невольно бросается в глаза, когда читаешь, что чертой, отличающей механическое от живого, является, будто бы, свойственное ему повторение – как будто жизнь нам примеров повторения не давала, как будто мы каждый день точно так же не писаем, точно так же не засыпаем, как будто каждый раз, оказавшись в постели, мы изобретаем любовь заново. Просто невероятно! Объяснение посредством механического предстает в течение всей книги как прием чисто механический – я хочу сказать, что оно оборачивается жалким стереотипом, которым суть явления из виду целиком выпускается.

Лежи механическое действительно в основе смеха – куда бы это нас привело? Как понимать тогда тонкие наблюдения Клейста касательно марионеток – наблюдения, идущие целиком вразрез с представлением о смехотворности и упадочности всего механического? А ведь Клейст действительно зорко подмечает, что в машинках этих находит свое воплощение подлинный идеал грации: приводимые в движение простыми нитками, они проделывают движения, элегантный рисунок которых обусловлен постоянством центра тяжести во всех точках траектории, что достигается их конструкцией, строго следующей характеристикам тех сочленений, которые наблюдаем мы в человеческом теле. Ни один танцор не способен, по словам Клейста, достичь в своем танце грациозности приводимой в движение пальцами марионетки.

Оставим, однако, в покое бергсоновскую теорию, заметив лишь напоследок, до какой степени игнорирует она те элементарные проявления механизма смеха, что наблюдаются нами вне всякой связи с чем-либо столь сложно организованным, как остроумное и комическое. Ведь смех, на самом-то деле, присутствует везде, где налицо подражание, двойничество, маскарад, причем речь идет не только о ношении личины, но и о снятии ее – в зависимости от момента, когда это происходит. На моментах этих стоит остановиться подробнее. Вот вы приближаетесь к ребенку, надев маску, – он смеется при этом, смеется натянуто и принужденно. Вы подходите ближе, и налицо уже некоторые проявления страха. Вы, наконец, маску сбрасываете – ребенок смеется. Но если под маской у вас оказывается другая маска – смеха вы не дождетесь.

Я просто хочу сказать, что тут требуется специальное исследование – исследование, которое должно, по идее, быть экспериментальным, но не может им стать, покуда мы не составим себе пред-

ставление о направлении, в котором исследование это должно проводиться. В любом случае явление это, как и многие другие, на которые я мог бы в подтверждение своего мнения указать, пожелай я на нем здесь остановиться, показывает, что существует непосредственная, очень тесная связь между явлениями смеха, с одной стороны, и функцией Воображаемого у человека, с другой.

Образ завораживает уже сам по себе, независимо от тех определяемых инстинктами механизмов, которые за его образование отвечают, – именно об этом свидетельствуют существующие у животных боевые и брачные ритуалы. У человека сюда привносится еще одна дополнительная особенность, обусловленная тем фактом, что образ другого тесно связан для него с напряжением, о котором я только что говорил и которое неизменно вызывается у него привлекшим его внимание объектом, побуждая держать этот объект на определенной, окрашенной желанием или враждебностью, дистанции. Для нас особенность эта объясняется в какой-то степени той двусмысленностью, что лежит в основе Я как особого рода образования – двусмысленностью, в силу которой единство этого Я лежит вне его самого, ибо для Я, которое лишь перед лицом себе подобного возникает как таковое, единство служит средством защиты – защиты собственного бытия как бытия нарциссического.

Вот то пространство, в котором имеет смысл явление смеха рассматривать. Именно в нем и возникают те падения напряжения, которым некоторые авторы внезапные взрывы смеха приписывают. Если при чьем-то падении мы смеемся, то причиной тому – та присущая его образу напыщенность, на которую мы до того едва ли обращали большое внимание. Такие феномены, как положение в обществе или престиж, до такой степени служат в нашей жизни расхожей монетой, что мы перестали замечать, насколько они важны для нас. Смех разбирает нас, когда воображаемый персонаж продолжает двигаться в нашем воображении по уготованной ему траектории, в то время как реальный носитель его распластался беспомощно на земле. Вся соль здесь – в освобождении. Освобождении в двух смыслах – с одной стороны, что-то освобождается от диктата образа; с другой, и сам образ может теперь существовать независимо. Есть же что-то комическое в утке, которая бегает по двору какое-то время уже после того, как ей отрубили голову!

Именно поэтому комичное и входит где-то в соприкосновение со смешным. На нашей схеме место его находится на уровне на-

правления Я—объект: направления, заданного линиями $\beta\beta'$ или $\beta''\beta'''$. По мере того, как в отношениях с Символическим оказывается каким-то образом затронуто Воображаемое, смех – явление, которое комизм окрашивает и сопровождает, – обнаруживается на втором, более высоком уровне – уровне, интересующем нас бесконечно больше, чем все явления удовольствия вместе взятые.

Итак, переходим к комическому.

3

Чтобы ввести сегодня понятие комического, я вновь обращусь к истории золотого тельца.

Итак, на слова Сулье, назвавшего банкира *золотым тельцом* – а это само по себе если даже не шутка, то, по меньшей мере, метафора – Гейне отвечает, что для теленка тот ему кажется староватым. Обратите внимание, что если бы слова Гейне имели буквальный смысл, то это означало бы, что он ничего не понял, что он не менее наивен, чем тот бедняга, что назвал женщину *отказницей*. В этом случае реплика его действительно была бы комична.

Именно в этом подоплека остроты и состоит. Реплика Гейне и есть своего рода отказ – увидев, что сулят ему, если можно так выразиться, слова Сулье, он с улыбкой ставит его в тупик. В конце концов, то, что сказал Сулье, не так уж смешно, и Гейне побивает его в остроумии, показывая, что расклад может выйти куда лучше. Он создает новый, по отношению к первому тельцу, метонимический объект. Тем самым он играет на комическом противопоставлении.

Здесь нельзя не увидеть принципиальной разницы. Что касается комического, то в случае *Witz*'а мы имеем с ним дело лишь походя – в какой-то черте, фразе, мимолетной словесной стычке. На самом деле сфера комического гораздо шире. Чтобы острота дошла, долго ее мусолить не требуется, в то время как для комического эффекта молниеносного контакта явно недостаточно. Я обращаюсь сейчас ко всем вам, независимо от положения, которое вы теперь занимаете, не зная, ни как вы сюда попали, ни даже кто вы вообще такие, – так вот, чтобы отношения наши приобрели характер комический, то, что нас связывает, должно задевать нас личностно куда глубже. Именно такая связь и намечается в отношениях между Сулье и Гейне – отношениях, где задействован оказывается механизм соблазна, ибо ответ Гейне встречает так или иначе со стороны Сулье некоторое неприятие.

Короче говоря, чтобы комическое было возможным, необходимо, чтобы отношения между требованием и его удовлетворением не укладывались в один лишь краткий момент, а разворачивались бы в пространстве, сообщающем им стабильность и постоянство, задающем тот путь, которым они могли бы, имея в виду некоего определенного другого, следовать. И вот теперь, когда мы обнаружили за фасадом остроты ту самую существенную для требования структуру, в соответствии с которой оно, будучи подхвачено Другим, обречено остаться неудовлетворенным, у проблемы находится тем не менее решение, решение на фундаментальном уровне – то самое, которое все человеческие существа с самого начала жизни и до конца своего земного существования ищут. Поскольку от Другого зависит все, решение состоит в том, чтобы получить некоего Другого всецело в собственное распоряжение. Это и есть то, что называют любовью. В диалектике желания речь всегда идет лишь о том, чтобы иметь Другого в собственном распоряжении.

Область наполненной речи в том смысле, в котором я о ней однажды уже говорил, задается на этой схеме самими условиями, в которых, как мы видели, может и должно осуществляться нечто такое, что было бы удовлетворению желания равнозначно. Мы имеем основание полагать, что удовлетворено оно может быть лишь по ту сторону речи. Линии, связывающие Другого с Я, с метонимическим объектом и с сообщением, ограничивают участок, где должна состояться речь наполненная. В качестве характерного примера представляющего собой подобную речь сообщения я приводил такие фразы, как: "*Ты мой господин*" или "*Ты моя жена. Ты, другой, являешься моей женой.*" Именно в этой форме, – говорил я некогда вам, – дает мужчина образец речи наполненной: речи, в которой он задействован как субъект сам, в которой он утверждает себя в качестве мужа той, к которой он обращается, в инвертированной, обращенной форме это ей заявляя. Я уже демонстрировал вам странный, парадоксальный характер, этой речи свойственный. Все дело в том, что именно должно здесь цепочку замкнуть. Метонимия, которая тем самым предполагается, переход от Другого к тому единственному в своем роде объекту, который этой фразой выстраивается, требует, так или иначе, чтобы ее приняли, чтобы от γ к α вслед за этим что-то прошло, то есть чтобы *ты,* о котором идет речь, не ограничило свой ответ простым: "Нет уж, увольте".

Но даже если оно этого не отвечает, происходит зачастую не-

что другое. Дело в том, что если искусная подготовка, наподобие остроты, не приходит на помощь, заставляя линию β'' и β''' и ее параллель на нижнем этаже схемы совпасть, обе линии остаются друг от друга абсолютно независимы. В результате субъект, о котором идет речь, свою собственную систему метонимических объектов благополучно сохраняет. На наших глазах возникает, таким образом, в кругу из четырех β противоречие: поскольку каждый из них остается, как говорят, себе на уме, учреждающая что бы то ни было речь наталкивается на проблему, которую я, коли уж перед нами квадрат, назову проблемой не квадратуры круга, а, наоборот, круговости метонимий – метонимий, которые даже в случае идеального их *conjungo* сохраняют между собою отчетливое различие. "Хорошие браки случаются, а вот сладостных не было никогда", – пишет Ларошфуко.

Проблема Другого и любви лежит в самом центре комического. Чтобы убедиться в этом, стоит для начала вспомнить, что тому, кто желает узнать о комическом побольше, неплохо почитать комедии.

У комедии есть своя история. Есть у нее и свое происхождение, над которым люди немало ломали голову. И происхождение это тесно связано с отношением *оно* к языку.

Оно, о котором мы в данном случае говорим, – что это такое? Это ведь не просто та первоначальная основная потребность, в которой индивидуализация в качестве организма берет свои корни. Уловить его можно лишь по ту сторону какой бы то ни было проработки желания в сети языка. И лишь в пределе может оно быть осуществлено. Человеческое желание еще не включено здесь в систему языка, которая бесконечно откладывает его, не оставляя места, где *оно* могло бы сложиться и быть именовано. *Оно* остается, однако, по ту сторону всякой языковой проработки, тем, что являет собой осуществление той изначальной потребности, которая у человека, по крайней мере, не имеет никакого шанса хотя бы просто о собственном существовании узнать. Мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, что представляет собою *оно* у животного, но зато мы прекрасно знаем, что у человека *оно* полностью вовлечено в диалектику языка и является тем самым, что несет и хранит в себе первоначальную жизнь влечения.

Где берет свое начало комедия? Нам говорят, что начало свое она берет на тех пирах, где человек, собственно, говорит *да*, обращая это в своего рода оргию – оставим этому слову всю темноту

его смысла. Трапеза на этих пирах состоит из приношений богам, языковому Сонму Бессмертных. В конечном счете, весь процесс проработки желания в языке приходит и сводится к одному – к потреблению пиршественных яств. Весь обходный маневр совершается лишь для того, чтобы вернуться вновь к наслаждению, и притом самому элементарному. Именно этой стороной соприкасается комедия с тем, что можно рассматривать, вслед за Гегелем, как эстетическую фазу религии.

О чем говорит нам античная комедия? Было бы неплохо, если бы вы полистали на досуге Аристофана. Это как раз тот момент, когда *Оно* берет свое и заставляет язык служить себе службу – службу самого примитивного свойства. Общеизвестно, что в *Облаках* Аристофан высмеивает Еврипида с Сократом, Сократа в первую очередь. Но в какой форме он это преподносит? Очень просто: он показывает, что вся Сократова хваленая диалектика служит либо старику, удовлетворяющему с помощью ее фокусов свои нехитрые нужды (выпросить денег, скрыться от кредиторов), либо юноше, помогая ему уйти от своих обязательств, манкировать своими обязанностями или поиздеваться над старшими. Речь идет о возвращении потребностей в самой элементарной их форме. То, что оказалось включено в диалектику языка с самого начала, то есть все сексуальные потребности в первую очередь и все скрытые потребности вообще – вот, что выступает в тексте Аристофана на первый план. И заходит при этом весьма далеко.

Особенно я рекомендую вам пьесы, где речь идет о женщинах. В том возвращении к элементарным потребностям, которое за всем этим действом скрывается, женщинам отведена особая роль. Ведь это с их помощью Аристофан, в момент воображаемой сопричастности, который в комедии воплощается, обращает наше внимание на то лишь задним числом заметное обстоятельство, что государство и полис существуют лишь для того, чтобы от них была какая-то польза, чтобы превратить Агору – на что, впрочем, никто не надеется, – в молочную реку с кисельными берегами. Утратив было под воздействием покорно следующей всем превратностям диалектического процесса противоестественный эволюции здравый смысл, общество вновь возвращается к нему благодаря женщинам, единственным, кто действительно знает, в чем мужчина на самом деле нуждается, – и возвращение это принимает, естественно, формы самые изобильные.

Если это и пикантно, то лишь постольку, поскольку открывает глаза на необузданность иных образов. И мы хорошо бы сделали, попытавшись вообразить себе мир, где женщины вовсе не отвечают, возможно, тому представлению, которое складывается о них при чтении авторов, рисующих жизнь античного полиса в несколько причесанном виде. Лично мне кажется, что в античном мире женщины (я говорю о настоящих женщинах, а не о Венере Милосской) были волосатые и не очень хорошо пахли – судя по настойчивости, с которой упоминают об использовании бритвы и кое-каких ароматических веществ современники.

Как бы то ни было, в полумраке аристофановых пьес, в особенности той, где повествуется о женском бунте, можно найти немало образов замечательных, не перестающих нас поражать. Так, один из них возникает неожиданно во фразе женщины, которая, обращаясь к своим товаркам, намеревающимся переодеться мужчинами и вдобавок кое-куда подвязать себе бороды (нетрудно понять, о каких бородах идет речь), со смехом говорит: ***Вот потеха, можно подумать, жареные каракатицы с бородами***! Сумрачное видение это способно, по-моему, внушить нам куда более трезвые представления о царивших в античном обществе отношениях.

В каком направлении эта комедия эволюционировала? В направлении Новой Комедии – той, что, беря начало свое у Менандра, существует благополучно и до сих пор. Что же она, эта Новая Комедия, собой представляет? Она выводит на сцену героев, каждый из которых зациклен, обычно с завороженным упрямством, на каком-то одном метонимическом объекте. Здесь встречаются любые человеческие типы. Персонажи тут те же, что хорошо знакомы нам по комедии-дель-арте. Характеризует каждого из них определенные отношение к объекту. Вторжение сексуальных отношений оказалось заменено чем-то другим. Это другое – любовь. Любовь, собственно, и носящая это имя – любовь, которую мы назовем наивной, простодушной; любовь, объединяющая двух молодых людей, как правило, довольно безликих. Она-то и становится стержнем интриги. Любовь служит осью, вокруг которой комические ситуации разыгрываются. И продолжается это вплоть до появления романтизма, который мы оставим пока в стороне.

Любовь – чувство комичное. Вершину искусства комедии определить нетрудно. Комедия в собственном смысле слова – в том смысле, в котором я здесь о нем говорю, – достигает своей верши-

ны в одном, совершенно определенном шедевре

Шедевр этот возникает в тот поворотный момент истории, когда демонстрация связей между *Оно* и языком в форме подчинения языка власти *Оно* уступает место возникновению диалектических отношений между человеком и языком в форме слепой, замкнутой, что и находит свое окончательное выражение в романтизме И это в определенном смысле необычайно важно, ибо романтизм, сам того не зная, оказывается введением, пока еще смутным, в ту диалектику означающего как такового, чьей развитой формой и явился впоследствии психоанализ. Но в той комедии, что мы называем классической, вершина была достигнута в тот момент, когда в комедии, о которой я говорю, комедии, которая написана была Мольером и называется *Школа женщин*, проблема была поставлена чисто схематическим образом, ибо хотя речь в ней идет о любви, присутствует эта любовь лишь в качестве орудия удовлетворения.

Мольеру удалось найти для проблемы форму, которая задает ее матрицу. Прозрачность, с которой она сформулирована, сравнима разве что с теоремой Евклида.

Речь идет о господине по имени Арнольф. На самом деле соображения строгости вовсе не требуют, чтобы господин этот был во власти одной-единственной мысли. Так оно, пожалуй, действительно лучше – но лишь в том смысле, в каком метонимия, завладевая нашим вниманием, идет на пользу остроте. Мы с самого начала видим, что озабочен он лишь одним – как бы ему не стать рогоносцем. Это опасение – главная его страсть. Страсть не хуже любой другой. Все страсти равны, все в равной мере метонимичны. Принцип комедии и состоит как раз в том, чтобы их таковыми представить, то есть чтобы сосредоточить наше внимание на некоем *оно*, которое верит в свой метонимический объект безоглядно. Но то, что оно в него верит, не означает, что оно с ним связано, ибо одна из характерных для комедии черт состоит в том, что *оно* комического субъекта всегда, каково бы оно ни было, так и уходит нетронутым. Все, что в комедии происходит, ему как с гуся вода. *Школа женщин* заканчивается громким "Уф!" Арнольфа, хотя Бог свидетель – мучения ему довелось пережить нешуточные.

Попытаюсь вкратце напомнить вам, о чем идет речь. Арнольфа привлек в маленькой девочке ее "кроткий и степенный вид", который "внушил мне любовь к ней, когда ей было четыре года". Так выбрал он себе женушку, положив с тех пор раз и навсегда: *Ты моя*

жена. Именно поэтому так волнуется он, когда видит, что ангелочка этого того и гляди у него похитят. Дело в том, что на данный момент она, утверждает Арнольф, уже жена ему, он уже закрепил за ней в обществе этот статус, дав тем самым вопросу поистине элегантное разрешение.

Арнольф, если верить его компаньону, некоему Хризальду, – человек просвещенный. Это так и есть. И вовсе не обязательно ему быть тем моногамным персонажем, о котором мы говорили вначале. Уберите моногамию – и перед вами останется воспитатель. Старики всегда занимались воспитанием молоденьких девушек и даже выработали в этом деле определенные принципы. Наш старец нашел очень удачный принцип, и состоит он в том, чтобы сохранять подопечную в состоянии полного идиотизма. Продумывает он и меры, которые призваны тому споспешествовать. “И вы не поверите, – говорит он другу, – до чего дошло дело: давеча, представьте себе, она спросила меня, не делают ли детей через ухо!” Именно это и должно было бы на самом деле насторожить его, так как, имей его девочка о физиологии более здравые представления – как знать, может и не была бы она так опасна.

Ты моя жена – это наполненная речь, метонимией для которой служат те брачные обязанности, которые он заставляет Агнессу в подобающем изложении прочесть. “Она полная идиотка,” – говорит Арнольф, надеясь, как и все воспитатели, что именно это послужит залогом прочности возводимой постройки.

Что же показывает продолжение истории? “Как набираются ума девушки” было бы для нее не менее подходящим заглавием. Своеобразие персонажа Агнессы стало, похоже, для психологов и критиков настоящей загадкой. Кто она – женщина, нимфоманка, кокетка или еще что-нибудь в этом роде? Ничего подобного – это просто существо, которое научили говорить и которое произносит теперь речи почем зря.

Итак, она попадается в сети речей одного молодого человека – между прочим, вполне бесцветного. Роль этого молодого человека – его зовут Гораций – становится ясна, когда в сцене, где Арнольф говорит девушке, что выдерет у себя половину волос, та отвечает ему: “Гораций в двух словах сделал бы куда больше!” Тем самым она четко акцентирует то, что по ходу пьесы становится все яснее: встреча с Горацием оказалась важна для нее именно потому, что он умеет говорить вещи лестные и остроумные, умеет увлекать. То, что он

говорит, она ни нам, ни себе самой пересказать не способна, но доходит это до нее посредством речи – то есть посредством того, что рушит систему речи заученной, воспитательной. Именно это и пленяет ее.

Своеобразное невежество, являющееся одним из измерений ее существа, связано с тем, что для нее кроме речи ничего нет. Когда Арнольф объясняет ей, что другой мужчина целовал ей руки и плечи, *а что еще у меня есть?* – заинтересованно спрашивает она. Эта Агнесса – она просто богиня, воплощение разума. Недаром Арнольф теряет на какой-то момент дар речи, когда в ответ на его упреки в неблагодарности, предательстве, отсутствии чувства долга, эта разумница с восхитительно железной логикой отвечает ему: *А чем я, собственно, вам обязана? Только тем, что вы сделали меня идиоткой? Но тогда расходы ваши себя оправдали*!

Таким образом, в начале пьесы перед нами резонер, противостоящий наивной, простодушной девице, источник же комизма состоит в том, что по мере того, как девица набирается ума, в резонера превращается на наших глазах она, тогда как герой, напротив, преображается в простодушного, который не только вполне недвусмысленно ей, повторяя на все лады, признается в любви, но доходит до того, что заявляет примерно следующее: *Ты будешь делать все, что захочешь, – если тебе часом понадобится Гораций, пусть и это будет по-твоему*. В конечном счете герой изменяет главному своему принципу – он готов скорее стать рогоносцем, чего поначалу так опасался, нежели предмета своей любви лишиться.

Итак, я утверждаю, что именно в любви достигает классическая комедия своей вершины. Любовь – она здесь. Забавно, что все мы смотрим теперь на любовь исключительно сквозь всякого рода приглушающие ее цвета романтические очки, в то время как на самом деле любовь – это, по сути своей, источник комического. Именно поэтому и является Арнольф подлинным влюбленным – куда более подлинным, чем пресловутый Гораций с вечными его колебаниями. Именно оттого, что слово *любовь* воспринимается теперь в иной, романтической перспективе, так трудно нам стало создать о ней ясное представление. И это факт: чем больше эту пьесу играют, чем больше исполнители роли Арнольфа стараются из нее выжать, тем больше трогает это сердца зрителей, говорящих себе: *Сколь глубок и благороден этот Мольер! Мы смеемся над его пьесами, а они должны были бы вызывать у нас слезы!* Комическое в глазах людей едва

ли совместимо теперь с аутентичным, всепоглощающим проявлением любви как таковой. И тем не менее настоящая любовь, та, которая в себе признается и о себе заявляет, – эта любовь комична.

Таков вкратце сюжет пьесы. Надо, однако, сказать и о том, чем она завершается.

А завершается она благодаря глупости третьего героя, Горация, который все время ведет себя как ребенок, вплоть до того, что сам же возвращает ту, которую только что умыкнул, в руки законного ее владельца, не сумев понять, что он-то и есть тот ревнивец, что тиранил его Агнессу, – возвращает, именно его выбрав в качестве своего доверенного лица. Но зачем он, этот второстепенный персонаж, здесь вообще нужен? А для того, чтобы проблема предстала перед зрителем в чистом виде: ежечасно, ежеминутно держат Арнольфа в курсе происходящего и тот самый, кто является его соперником, и зеница ока Арнольфа, его воспитанница Агнесса, у которой нет от него секретов.

Эта последняя, как он того и желал, полная идиотка – идиотка в том смысле, что ей абсолютно нечего скрывать, что она говорит абсолютно все, и притом говорит наиболее подходящим образом. Но с первого же момента пребывания ее в мире речи желание ее, несмотря на все могущество воспитательного воздействия, оказывается этому миру потусторонним. Нельзя сказать даже, что оно склоняется к Горацию, которому, без сомнения, уготована в будущем та же участь, которой так страшится теперь бедняга Арнольф. Дело просто-напросто в том, что поскольку сама она находится в области речи, желание ее находится по ту сторону этой области – она очарована словами, она очарована красноречием, и поскольку по ту сторону метонимической актуальности, которую ей пытаются навязать, что-то лежит, она немедленно туда ускользает. Говоря Арнольфу всю правду, она тем не менее его обманывает: ибо поступать так, как поступает она, – это и значит его обманывать.

Гораций сам это замечает, рассказывая о том, как однажды она с криком: *Убирайтесь, мне надоели ваши разговоры, и вот вам мой ответ*, – бросила ему в окно камушек – камушек, который, означая по видимости что-то вроде: *Вот тебе, получай*! – послужил в то же время транспортным средством для передачи привязанной к нему записочки. Гораций прав – для девушки, которую старались до тех пор держать о подобных вещах в совершенном неведении, находка эта очень удачная, предвестница тех будущих игр в дву-

смысленности и недомолвки, победителя в которых уже теперь предсказать нетрудно.

На этом я и собирался сегодня остановиться. *Оно* по природе своей располагается по ту сторону мертвой хватки, в которой держит язык желание. Связь с Другим принципиально важна постольку, поскольку путь желания обязательно проходит через него, – и дело не в том, что Другой является, будто бы, объектом единственным в своем роде, а в том, что именно Другой является ответственным за язык и подчиняет его своей диалектике.

18 декабря 1957 года



ЛОГИКА КАСТРАЦИИ

VIII
Предизъятие Имени Отца

Г-жа Панков рассказывает о
double bind
Типография бессознательного
Другой в Другом
Психоз между кодом и сообщением
Треугольник символический и
треугольник воображаемый

У меня создалось впечатление, что за прошлый семестр вы у меня несколько выдохлись – до меня дошли, во всяком случае, такие слухи. Я этого не знал – а то бы я несколько сбавил темп. Мне даже казалось, что я повторяюсь, что я плетусь слишком медленно. Тем не менее кое-что из того, что я хотел бы до вас донести, так и осталось недосказанным, и потому стоит вернуться немного назад и взглянуть еще раз на то, как я подошел к нашей теме в этом году.

1

Что я пытался вам в отношении остроты – из которой я извлек определенную схему, значение которой осталось, возможно, на первых порах вам непонятно, – объяснить, так это то, каким образом сочетается, стыкуется это все со схемой предыдущей. Вы должны были, вероятно, различить во всем том, что я преподношу вам, некую неизменную мысль – и хорошо бы, конечно, если бы мысль эта не оставалась для вас только далеким ориентиром вроде далекого знамени где-то на горизонте и вы понимали бы, куда именно и какими окольными путями она ведет вас. Согласно этой мысли, чтобы понять, чему можно научиться у Фрейда, следует – самое главное – обратить внимание на огромное значение языка и речи. И чем ближе мы к нашему предмету подходим, тем больше мы убеждаемся в том, о чем заявили с самого начала – в важнейшей роли, которая в экономии желания, в образовании означаемого и расследовании его происхождения принадлежит означающему.

Вы могли лишний раз убедиться в этом на нашем вчерашнем научном заседании, выслушав интересное сообщение г-жи Панков. Оказывается, в Америке людей занимает то же самое, о чем здесь толкую вам я. Исследуя то, чем экономия психических расстройств

обусловлена, они пытаются задействовать как фактор коммуникации, так и фактор того, что называют они при случае сообщением. Вы сами были свидетелями того, что рассказала г-жа Панков о г-не Бейтсоне – американском антропологе и этнографе, уже сделавшем в своей области себе имя; ученом, чей вклад в осмысление терапевтического вмешательства наводит на далеко идущие размышления.

Пытаясь сформулировать принцип порождения психотического расстройства, г-н Бейтсон видит его место в чем-то таком, что, располагаясь на уровне отношений между матерью и ребенком, не является при этом элементарным последствием фрустраций, разрядки стремления к удовлетворению или его сдерживанию – тем, одним словом, что уподобило бы их отношения натянутой между ними упругой резинке. Он с самого начала вводит понятие коммуникации – коммуникации, которая строится не просто на контакте, связи или окружении, а в первую очередь на значении. Вот в чем видит он начало разлада, разрыва, изначально внесенного в отношения ребенка с матерью. Элемент принципиального раздора, который царит в этих отношениях, он усматривает в том факте, что общение между ними предстает в форме *double bind*, двойной связи.

Как хорошо показала это вчера вечером г-жа Панков, в сообщении, где ребенок расшифровал поведение матери, имеется два элемента. Они вовсе не определяются один по отношению к другому в том, к примеру, смысле, что один из них предстает как защита субъекта по отношению к тому, что имеет в виду другой, – что и соответствовало бы общепринятому представлению о механизме защиты в процессе анализа. Так, обычно вы полагаете, будто целью того, что субъект говорит вам, является его запирательство, нежелание признать наличие где-то внутри него чего-то такого, что причастно значению, в то время как то, что он действительно должен заявить, заявляется им – предназначенное и себе, и вам – где-то на стороне. Но я имею в виду вовсе не это. Речь у меня идет о чем-то таком, что касается Другого и воспринимается субъектом таким образом, что, отвечая на один пункт, он прекрасно знает – в каком-то другом он обязательно как раз поэтому окажется в затруднении. Вот пример, который приводит г-жа Панков: отвечая на признание в любви, сделанное матерью, я провоцирую ее отдаление, но если я это признание не расслышу, то есть на него не отвечу, то я ее потеряю.

Тут-то и открывается нам настоящая диалектика двойного смысла: мы видим, что смысл этот задействует еще один элемент, третий. Здесь не просто два смысла, расположенных один позади другого таким образом, что один из них, лежащий по ту сторону первого, обладает преимуществом в подлинности. Здесь в одном, так сказать, выбросе значения налицо два одновременных сообщения, что создает внутри субъекта ситуацию, где он чувствует себя оказавшимся в тупике. Это доказывает, что даже в Америке сделан в нашей области значительный шаг вперед.

Но действительно ли этого вполне достаточно? Г-жа Панков очень справедливо обратила ваше внимание на то, что сделало эту попытку столь приземленной, можно сказать, эмпирической, хотя об эмпиризме как таковом здесь, разумеется, нет и речи. Не будь в Америке опубликованы, в других областях, несколько важных работ по стратегии игр, г-ну Бейтсону не пришло бы в голову ввести в анализ то, что является как-никак реконструкцией того, что произошло, предположительно, искони, и установить то положение, в котором субъект, растерзанный и дезориентированный, оказывается перед лицом того организующего начала, которое несет для него сообщение. Я говорю *организующего*, так как если бы теория эта не предполагала, что сообщение является для субъекта началом организующим, осталось бы непонятным, каким образом этот *double bind*, столь примитивный, имел бы настолько далеко идущие последствия.

Вопрос, который встает в отношении психозов, заключается в том, чтобы узнать, что, собственно, происходит с процессом сообщения в случае, когда ему не удается стать для субъекта организующим. Это еще один ориентир, который предстоит отыскать. До сих пор, читая г-на Бейтсона, вы убеждаетесь в том, что хотя все и сосредоточено по сути дела вокруг двойного сообщения, но само двойное сообщение выступает при этом как двойное значение. Вот здесь-то система и погрешает – погрешает именно потому, что концепция эта игнорирует то организующее начало, что принадлежит в значении означающему.

Вчера вечером я записал – записи у меня нет сегодня с собой – то, что сказала г-жа Панков о психозе. Сводится это, приблизительно, к следующему: в психозе нет речи, которая обосновывала бы речь в качестве действия. Необходимо, чтобы среди речей всегда находилась одна, которая обосновывала бы речь в качестве соверша-

ющегося в субъекте действия. Это вполне в духе того, о чем я собираюсь говорить сейчас.

Подчеркивая тот факт, что где-то в речи непременно должно быть нечто обосновывающее речь в качестве истинной, г-жа Панков выявила тот факт, что система нуждается в стабилизации. В поисках этой последней она и обратилась к личностной перспективе, что свидетельствует, по крайней мере, о понимании ею того, насколько неудовлетворительна оказывается система, которая оставляет нас в неопределенности, не позволяя сделать достаточно обоснованных выводов и построений.

Лично я в возможность сформулировать ее в этой перспективе решительно не верю. Персоналистскую точку зрения я считаю психологически обоснованной разве что в одном смысле: мы действительно не можем не чувствовать и не предчувствовать, что именно значения создают ту безвыходность, которая у шизофренического по складу субъекта провоцирует глубочайший кризис. Но мы не можем не чувствовать и не предчувствовать также и то, что в основе этой ущербности должно что-то лежать – не просто следы переживания субъектом безвыходности значений, а нехватка того, чем само значение обосновано, – означающего. Означающего плюс кое-чего еще, о чем я и собираюсь как раз сегодня с вами начать разговор. И предстает оно нам не просто как личность, как то, что обосновывает, согласно г-же Панков, речь в качестве акта, но как начало, сообщающее авторитетность закону.

Законом мы называем здесь то, что артикулируется, собственно говоря, на уровне означающего – то есть текст закона.

Одно дело сказать, что налицо должно быть лицо, подтверждающее подлинность речи, и совсем другое – утверждать, будто имеется нечто удостоверяющее текст закона. И в самом деле: то, что удостоверяет текст закона довлеет себе – довлеет, ибо находится на уровне означающего. Это я и называю *Именем Отца*, или *отцом символическим*. Это некое словообразование, пребывающее на уровне означающего, – словообразование, которым в Другом как местопребывании закона это Другое представлено. Это означающее, которое дает закону опору, которое закон ратифицирует. Это Другой в Другом.

Именно это и выражено в необходимом для фрейдовской мысли мифе – мифе об Эдипе. Вглядитесь в него повнимательнее. Если представить происхождение закона в этой мифической форме

было для Фрейда необходимо, если действительно существует что-то такое, в силу чего закон имеет свое основание в отце, то убийство отца обязательно должно иметь место. Обе эти вещи тесно между собой связаны – отец, в качестве того, кто закон ратифицирует, является отцом мертвым, то есть символом отца. А мертвый отец – это и есть Имя Отца, которое на этом содержании и построено.

Все это более чем существенно. И я сейчас напомню вам, почему.

Вокруг чего строилось у меня все то, что говорил я вам два года назад о психозе? Вокруг того, что я назвал *Verwerfung*. Мне важно было тогда дать почувствовать отличие этого явления от *Verdrangung*, то есть от того факта, что независимо от того, знаете вы это или же нет, означающая цепочка продолжает в Другом разворачиваться и упорядочиваться, – факта, к которому и сводится суть фрейдовского открытия.

Verwerfung, втолковывал я вам тогда, это не просто то, к чему вы не имеете доступа, то есть то, что пребывает в Другом в качестве вытесненного, в качестве означающего. Все это относится к *Verdrangung* и представляет собой означающую цепочку. Доказательством ее принадлежности к означающему служит тот факт, что она продолжает действовать, хотя вы не придаете ей ни малейшего значения; что она-то и определяет значение, вплоть до мелочей, хотя вы ее в качестве означающей цепочки просто не воспринимаете.

Но наряду с этим, говорил я вам, имеется и нечто другое, что в данном случае оказывается *verworfen*. В цепочке означающих всегда может оказаться отдельное означающее или буква, которой просто не хватает, для которой в типографии не нашлось литеры. Пространство означающего, пространство бессознательного – это, по сути дела, пространство типографическое, и описывать его надо как складывающееся из линий и маленьких квадратиков, как повинующееся законам топологическим. Чего-то в этой цепочке означающих может и не хватать. И вы должны отдавать себе отчет в том, насколько серьезные последствия может повлечь за собой нехватка того особого означающего, о котором я только что говорил, – означающего Имени Отца, того означающего, что обусловливает сам факт наличия закона, то есть артикуляции означающих, определенным образом упорядоченных, независимо от того, назовем ли мы этот закон *эдиповым комплексом*, или *законом Эдипа*, или законом наложенного на мать запрета. Это то означающее, которое оз-

начает, что внутри этого означающего означающее имеет место.

Вот что представляет собой Имя Отца. Как видите, это имеющееся внутри Другого особо существенное означающее, вокруг которого я и попытался сосредоточить описание того, что происходит в психозе. А происходит в нем то, что нехватку того означающего, которое мы называем Именем Отца, субъект волей-неволей должен восполнить. Именно вокруг этого и разворачивается процесс, который я назвал происходящей в психозе *панической*, или *цепной, реакцией*.

2

Что следует мне делать дальше? Стоит ли теперь повторять все то, что я рассказывал вам о председателе суда Шребере раньше? Или лучше показать вначале – как можно точнее, в деталях – каким образом то, о чем я вам только что рассказал, укладывается в схему, которую мы с вами в этом году рассматриваем?

К моему великому изумлению, схема эта заинтересовала далеко не всех, но по крайней мере несколько заинтересованных все же найдется. Не забывайте, что она была построена, чтобы дать вам представление о том, что происходит на уровне, который заслуживает название техники и является, собственно, техникой остроумия. Речь идет о чем-то вполне исключительном, поскольку совершенно очевидно, что *Witz* может быть сфабрикован субъектом абсолютно непреднамеренно. Как я уже показал, острота является порой лишь оборотной стороной оговорки, и опыт свидетельствует о том, что многие остроты именно таким образом и рождаются – человек неожиданно замечает, что он только что сострил, но произошло это как-то само собой. Порой такое происшествие может даже быть принято за свою противоположность – за признание наивности, и на прошлой лекции я как раз о такой наивной остроте упоминал.

Острота и то совершенно особого рода удовлетворение, которое она приносит, – вот вокруг чего выстраивал я в течение последнего триместра свою схему. Речь шла о том, чтобы с ее помощью наглядно усмотреть, в чем именно кроется природа этого особого удовлетворения. Что и привело нас ни к чему иному, как к исходящей из *эго* диалектике требования. Вспомните схему того, что я мог бы назвать *символическим идеальным моментом* – моментом несуществующим.

Момент удовлетворенного требования представлен на схеме одновременностью заявляющего о себе в сообщении намерения и прибытия этого сообщения как такового к Другому. Означающее – а речь идет именно о нем, поскольку цепочка эта является цепочкой означающих, – достигает Другого, проникает в него. Полная идентичность, одновременность, точное совмещение между проявлением намерения, поскольку это последнее принадлежит *эго*, и тем фактом, что означающее, как таковое, утверждено в Другом, лежит в основе самой возможности того удовлетворения, что приносит нам речь. Если момент этот, который я назвал *идеальным исходным моментом*, действительно существует, то зиждется он обязательно на одновременности, на строгой коэкстенсивности желания, поскольку оно заявляет о себе, с одной стороны, и означающего, которое это желание поддерживает и содержит, с другой. И если момент этот существует, то все последующее, то есть то, что за сообщением, за переходом его в Другого, следует, реализуется одновременно как в субъекте, так и в Другом, соответствуя тому, что является обязательным условием наличия удовольствия. Это и есть тот исходный пункт, из которого ясно, что ничего подобного не может произойти никогда.

Дело в том, что природа означающего и действие его таковы, что все, что здесь, в точке М, оказывается, предстает уже в качестве означаемого, то есть в качестве чего-то такого, что явилось следствием того преобразования, преломления, которым желание, проходя через означаемое, подверглось. Именно поэтому две линии эти пересекаются. Тем самым я наглядно хочу до вас довести тот факт, что желание выражает себя через означающее, проходит через него.

Итак, желание пересекает линию означающего, и на уровне пересечения своего с этой линией – оно встречает что? Оно встречает Другого. Мы увидим сейчас, поскольку нам предстоит к этому вопросу вернуться, что, собственно, представляет собой на схеме этот Другой. Да, желание встречает Другого, но я вовсе не утверждаю, что оно встречает его как некое лицо, – нет, оно встречает его как сокровищницу означающих, как местопребывание кода. Здесь-то и происходит преломление желания означающим. Желание в качестве означаемого оказывается, следовательно, чем-то другим по сравнению с тем, чем оно было первоначально, и вот почему – нет, не вот почему ваша дочь нема, а вот почему желание ваше всегда рогоносец. Вернее сказать, рогоносец – вы, но вы сами предали себя,

позволив желанию вашему возлечь с означающим. Я не знаю, как лучше эти вещи выразить, чтобы их до вас донести. Все назначение схемы в том и состоит, чтобы наглядно отобразить ту мысль, что прохождение желания как эманации индивидуального *эго*, пика его, через цепочку означающих уже само по себе производит в диалектике желания существенные изменения.

Совершенно очевидно, что в отношении диалектики желания все зависит от того, что же именно происходит в той точке А, которую определили мы поначалу как место кода и которая уже сама по себе, *ab origine*, в силу того факта, что структура ее – это структура означающего, привносит в желание на том уровне, где оно переступает порог означающего, существенные изменения. Именно в этом имплицитно заключено и все остальное, потому что налицо тут, разумеется, не один код, налицо тут и что-то еще. Я беру в данном случае самый глубокий уровень, но есть при этом, разумеется, еще и закон, есть запреты, есть Сверх-Я и т. д. Для того же, чтобы понять, каким образом эти прочие уровни надстраиваются, необходимо усвоить ту истину, что уже на самом глубоком уровне, стоит вам заговорить с кем-то, как тут как тут оказывается Другой, в нем другой Другой, субъект кода, а мы – мы попадаем под власть диалектики, которая наставляет рога желанию. Выходит, все и вправду зависит от того, что происходит в точке пересечения наших линий, в точке А, на том уровне, где переступается порог означающего.

Оказывается, таким образом, что любое возможное удовлетворение человеческого желания зависит от согласованности означающей системы в том виде, в каком артикулируется она в речи субъекта, и – г-н Лапалис не даст соврать – системы означающего в том виде, в котором она располагается в коде, то есть на уровне Другого как места и местопребывания кода. С этим бы согласился, выслушав меня, даже малый ребенок, и я не считаю, будто то, что я только что объяснил, продвигает нас вперед хоть на шаг. Все это еще недостаточно членораздельно.

Вот здесь-то я и предлагаю вам состыковать нашу схему с самым существенным из того, что я вам сегодня сказал в отношении Имени Отца. Вы будете свидетелями того, как это соединение готовится и вырисовывается, хотя о порождении или самопорождении его говорить нельзя, ибо чтобы прийти к какому-то результату, нужен прыжок. Ничто не происходит непрерывно, ибо означа-

ющему как раз и свойственно быть прерывным.

Что дает для нашего опыта техника остроумия? Именно это я и попытался дать вам почувствовать. Не принося никакого особого немедленного удовлетворения, острота состоит в том, что в Другом происходит нечто такое, что символизирует то, что можно назвать необходимым условием всякого удовлетворения. Другими словами – вас слышат и понимают поверх того, что вы говорите. На самом деле то, что вы говорите, в любом случае не способно дать вас расслышать.

Острота разыгрывается, как таковая, в измерении метафоры, то есть по ту сторону означающего как чего-то такого, с чьей помощью вы вечно пытаетесь что-то означить и, несмотря ни на что, всякий раз означаете нечто другое. На самом деле вы получаете удовлетворение как раз в том, что предстает в означающем как оплошность, ибо именно оплошность эта служит Другому знаком, в котором он опознает то потустороннее измерение, где нечто, о чем идет речь и что вы не способны обозначить, как таковое, должно обязательно обозначиться. Это-то измерение и обнаруживает для нас острота.

Схема наша, таким образом, базируется на опыте. Построить ее нам пришлось для того, чтобы отдать себе отчет в том, что, собственно, в остроте происходит. То в остроте, что возмещает, вознаграждая нас счастьем, неудачную попытку передать наше желание с помощью означающего, реализуется следующим образом: подтвердив срыв нашего сообщения, его неудачу, Другой в самой этой неудаче умеет различить некое потустороннее измерение, в котором располагается истинное желание, то есть то, чему, по причине означающего, не удается быть обозначенным.

Как видите, измерение Другого становится у нас несколько шире. По сути дела Другой уже не является просто местопребыванием кода, а выступает как субъект, который утверждает сообщение в коде, его усложняя. Иными словами, Другой располагается теперь на уровне того, кто устанавливает закон как таковой, ибо только в этом случае способен он внести в закон эту черту, это сообщение в качестве дополнительного – в качестве сообщения, которое само обозначает то, что сообщению потусторонне.

Вот почему курс этого года, посвященный образованиям бессознательного, я начал с разговора об остроумии. Попробуем теперь присмотреться поближе, и в ситуации не столь исключительной,

как острота, к Другому – ведь это в его измерении пытаемся мы обнаружить необходимость означающего, на котором было бы утверждено означающее как таковое, – означающего, которое установило бы для закона или кода их легитимность. Вернемся поэтому к нашей диалектике желания.

Обращаясь к другому, мы не стремимся всякий раз прибегать к остроумию. Но если бы мы могли это делать, мы были бы, в каком-то смысле, счастливее. И это то самое, что в те краткие часы, когда мне доводится обращаться к вам с речью, пытаюсь делать я. И притом не всегда удачно. Моя в этом вина или наша – с той точки зрения, на которой мы сейчас находимся, это абсолютно неразличимо. Но в конечном счете, рассматривая то, что происходит, когда я обращаюсь к другому, в практическом плане, мы видим слово, которое позволяет положить основание этому обращению самым простейшим образом и которое представляет собой во французском языке настоящее чудо, если вспомнить обо всех двусмысленностях и каламбурах, которые оно провоцирует, и которыми я постеснялся бы, разве что в самой сдержанной форме, здесь воспользоваться. Как только я это слово произнесу, вы сразу вспомните, в каком именно контексте оно у меня фигурирует. Это слово *Ты*.

Без слова *Ты* абсолютно невозможно обойтись в том, что я уже не однажды называл *наполненной речью*, речью-созидательницей, на которой история субъекта построена, – это *Ты* в таких, к примеру, фразах, как *Ты мой господин* или *Ты моя жена*. *Ты* в данном случае – это означающее призыва к Другому, и для тех, кто регулярно посещал мой семинар, посвященный психозам, мне остается напомнить о том, как я этим *Ты* воспользовался, о том, что я попытался показать вам на живом примере дистанции между *Ты, который за мной последуешь*, с одной стороны, и *Ты, который за мной последует*, с другой. То, к чему я тогда клонил, та мысль, к которой я пытался тогда вас приучить, – это как раз то, к чему я обращаюсь сейчас и чему я уже тогда нашел имя.

В обеих фразах, при всем их различии, есть зов. В одной он содержится в большей степени, нежели в другой. Во фразе *Ты, который за мной последуешь* есть нечто такое, чего во фразе *Ты, который за мной последует* нет – то, что мы характеризуем словом "призыв". Говоря: *Ты, который за мной последуешь*, я призываю вас, я избираю вас как того, кто за мной последует, я побуждаю тебя к тому *да*, которое отвечает мне: "Да, я твой, я доверяюсь тебе, я тот,

кто за тобой последует". Говоря же *Ты, который за мной последует*, я ничего подобного не делаю, я просто что-то заявляю, констатирую, объективирую, порою даже от себя отталкиваю. Это может, например, означать что-то вроде: *Ты тот, который вечно за мной следует и мне опостылел*. Когда фраза эта произносится, она обычно – и вполне логично – служит отказом. В то время как призывая кого-то, я испытываю необходимость в совсем ином измерении – я ставлю свое желание в зависимость от твоего бытия, поскольку призываю тебя последовать этому желанию, каково бы оно ни было, безусловно.

Это и означает призывать. Само слово это говорит о том, что я обращаюсь к голосу, то есть тому, что является носителем речи. Не к речи, а к субъекту как ее держателю, и вот почему я оказываюсь здесь на уровне, который я только что назвал уровнем персоналистским. Вот почему персоналисты вечно пичкают нас день-деньской этим "ты" да "ты сам". Характерным примером такого подхода служит, например, Мартин Бубер, чье имя г-жа Панков мимоходом упомянула.

Конечно, какой-то существенный феноменологический уровень здесь налицо, и миновать его просто так мы не можем. Но обманываться этим призраком, поклоняться ему тоже не стоит. Персоналистская позиция – опасность, с которой мы встречаемся на этом уровне, как раз в этом и состоит – она охотно стремится перейти в мистическое поклонение. Почему бы и нет? Мы не отказываем никому в праве на собственную позицию, но за собой, в свою очередь, мы оставляем право каждую из этих позиций понять – право, которое, кстати, персоналистами не оспаривается, но зато оспаривается наукой: попробуйте заговорить о подлинности позиции мистика, и вас тут же заподозрят в смехотворном к нему сочувствии.

Всякая субъективная структура, какова бы она ни была, оказывается, по мере того, как мы способны бываем проследить то, что ею артикулируется, строго эквивалентна, с точки зрения субъективного анализа, любой другой. Только слабоумные кретины вроде г-на Блонделя, психиатра, могут оспаривать ценность того, что предстает выраженным и членораздельным, и отвергать его во имя приписываемого другому пресловутого болезненного и невыразимого переживания, ошибочно полагая, будто все нечленораздельное находится по ту сторону, – ничего подобного: потустороннее членораздельно. Другими словами, о невыразимости в отношении

субъекта, будь он в бреду или мистик, не может быть и речи. На уровне субъективной структуры мы находимся в присутствии чего-то такого, что не может предстать нам иначе, чем оно уже предстает нам, и что предстает нам, следовательно, какая бы цена ему ни была, на собственном уровне достоверности.

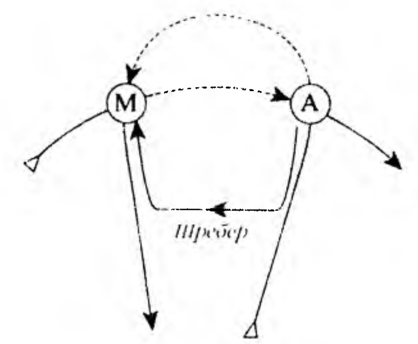
Если неизреченное, будь то у находящегося в бреду, будь то у мистика, действительно существует, то оно, по определению, не говорит – ведь оно неизреченно. Но тогда мы не вправе уже судить о том, что субъект членораздельно выговаривает, то есть его речь, на основании того, что он выговорить не может. Даже если предположить, что неизреченное существует, мы, охотно допуская это, никогда не закрываем, тем не менее, глаза на то, что в речи, какова бы она ни была, заявляет о себе как структура – не закрываем, кивая на то, что есть, мол, в ней нечто неизреченное. Порой, опасаясь в этой речи затеряться, мы отказываемся ее выслушать. Но если мы в ней сориентируемся, то порядок, который речь эта нам явит и продемонстрирует, следует принимать таким, каков он есть. Мы замечаем, как правило, что принимать речь такой, какова она есть, и постараться вычленить содержащуюся в ней упорядоченность, оказывается, при условии наличия у нас правильных ориентиров, чрезвычайно плодотворно. Именно на это наши старания и направлены. Попытайся мы исходить из мысли, будто главное назначение речи в том, чтобы репрезентировать означаемое, мы немедленно пошли бы ко дну, налетев на противоречие, с которым встречались раньше и которое заключается в том, что об означаемом-то мы как раз ничего и не знаем.

Ты, о котором идет речь, – это то самое, которое мы призываем. Призывая его, мы, естественно, покушаемся на его личностную субъективную непроницаемость, но вовсе не на этом уровне пытаемся мы до него добраться. О чем в любом призывании идет речь? У самого слова *призывание* (invocatio) есть своя история. Это то, что происходило в ходе определенного церемониала, который древние, которые кое в чем были мудрее нас, проводили перед сражением. Церемония эта включала действия – они, древние, уж наверное, знали, какие именно, – необходимые для того, чтобы расположить богов противной стороны в свою пользу. Именно в этом первоначальный смысл слова *призывание* и состоит, и именно в этом заключается суть связи с этим вторым этапом, этапом зова, без которого не обойтись, если желание и требование должны быть

удовлетворены.

Недостаточно лишь твердить Другому: *ты, ты, ты* и добиваться с его стороны какого-то резонанса. Все дело в том, чтобы дать ему тот голос, который мы желаем ему, чтобы вызвать этот голос, который как раз и присутствует в остроте как его собственном измерении. Острота, однако, это лишь провокация провокации, которой серьезная задача не по плечу, которая великое чудо призыва совершить не в силах. Призыв же имеет место на уровне речи, и лишь при том условии, что голос этот артикулируется согласно нашему желанию.

На этом уровне обнаруживается, таким образом, что всякое удовлетворение желания будет, в той мере, в которой оно зависит от Другого, обусловлено тем, что происходит здесь, в том круговращении между сообщением и кодом, кодом и сообщением, которое позволяет моему сообщению быть удостоверенным Другим в коде. Мы возвращаемся к предыдущему пункту – к тому, в чем состоит суть интереса, который проявляем мы в этом году к явлению остроты.



Замечу, кстати, что будь эта схема в вашем распоряжении раньше, то есть сумей я не просто дать ее вам, а вместе с вами на семинаре, посвященном психозам, в один прекрасный момент ее вывести, приди мы вместе одновременно к одной и той же остроте, я смог бы продемонстрировать вам на ней, что именно происходит, по сути дела, с председателем Шребером, когда он падает жертвой этих голосов, становится субъектом, всецело от них зависимым.

Посмотрите внимательно на эту схему и представьте себе просто-напросто, что все то, что способно в Другом дать ответ на том уровне, который я называю здесь *Именем Отца*, то есть тем, что воплощает, уточняет, конкретизирует то, что я только что объяснил вам, способно, другими словами, представлять в Другом Другого как

того, кто дает закону его силу, – что все это оказывается *verworfen*. Так вот, стоит вам этот *Verwerfung* Имени Отца заподозрить, стоит вам заподозрить, что означающее отсутствует, как вы немедленно заметите, что обе связи, которые у меня намечены здесь пунктиром, то есть любое движение от сообщения к коду и от кода к сообщению, оказываются тем самым нарушены и становятся невозможны. Что и позволит вам проецировать на эту схему два важнейших типа слуховых галлюцинаций, переживаемых Шребером в качестве возмещения этого изъяна, этого недостатка.

Уточняю: эта полость, эта пустота появляется лишь постольку, поскольку хотя бы раз упомянуто было Имя Отца, поскольку то, что в один прекрасный момент на уровне *Ты* было призвано, как раз и являлось Именем Отца – того, кто способен утвердить сообщение и является в силу этого факта гарантом того, что закон, как таковой, предстает в качестве автономного. Это и есть та поворотная точка, где субъект, теряя равновесие, опрокидывается в психоз – я не буду пока говорить о том, в какой момент и почему это происходит и в чем этот процесс состоит.

Я начал в том году разговор о психозе, отправляясь от фразы, заимствованной мною у одной из пациенток, чей случай был представлен мною для рассмотрения. Там было совершенно очевидно, в какой момент пробормотанная пациенткой фраза *Я иду от мясника* опрокидывается по другую сторону. Происходит это в тот момент, когда произносится, примыкая к ней, слово *свинья*. Не будучи более тем потусторонним, которое субъект способен усвоить, ассимилировать, слово это само по себе, в силу собственной присущей ему в качестве означающего инерции опрокидывается по другую сторону тире реплики, то есть в Другого. Перед нами элементарная феноменология чистой воды.

Каков же результат того нарушения связей между сообщением и кодом, которое мы наблюдаем у Шребера? Результат предстает в форме двух главных категорий: голоса и галлюцинаций.

Налицо, в первую очередь, эмиссия Другим означающих того, что предстает как *Grundsprache*, как некий *базовый язык*. Означающие эти представляют собой первичные элементы кода – элементы, способные сочленяться друг с другом, ибо базовый язык настолько совершенно организован, что покрывает сетью своих означающих буквально весь мир таким образом, что единственным надежным и достоверным оказывается в нем тот факт, что речь идет

о некоем существенном, тотальном значении. У каждого из этих слов свой собственный груз, свой акцент, своя вескость в качестве означающего. Субъект сочленяет эти слова друг с другом. Каждый раз, когда они выступают изолированно, измерение загадочности означающего, бесконечно менее очевидное, нежели предполагаемая достоверность его, буквально бросается в глаза. Иными словами, Другой высказывает здесь лишь то, что лежит по ту сторону кода и абсолютно несовместимо с тем, что может придти оттуда, где артикулирует свое сообщение субъект.

С другой стороны, по этим маленьким стрелкам вы видите, что сообщения доходят-таки. Они не удостоверяются, правда, обратным действием на них Другого как носителя кода, не интегрируются в этот код с каким бы то ни было умыслом, но, как и всякое прочее сообщение, исходят все-таки именно из Другого, ибо ни из чего другого сообщение, будучи составлено из языка, который этому Другому принадлежит, исходить не может, даже если исходит оно, отражая другого, от нас самих. Сообщения эти исходят, таким образом, от Другого и покидают это убежище в виде таких, к примеру, высказываний, как: *А теперь я хочу дать вам...*, *Для себя хочу, собственно...*, *Теперь это должно, однако...*

Чего здесь не хватает? Не хватает здесь главной мысли – той, что заявляет о себе на уровне базового языка. Сами голоса, которые теорию прекрасно знают, говорят то же самое: *Нам не хватает рассуждения.* А это означает, что от Другого исходят сообщения, принадлежащие к иной категории сообщений. Сообщения этого типа невозможно удостоверить как таковые. Сообщение заявляет о себе здесь в расколотом измерении чистого означающего, заявляет в качестве чего-то такого, что содержит свое значение где-то вне себя самого, что уже в силу одной своей неспособности участвовать в удостоверении через *Ты* заявляет о себе как не имеющее другой цели, кроме как представить позицию *Ты*, позицию, где значение удостоверяет себя в качестве отсутствующего. Субъект, естественно, старается это значение довершить, дает своим фразам дополнения. *Я не хочу теперь*, говорят голоса, но он, Шребер, в другом месте говорит себе, что *не может признаться, что он...* Сообщение остается здесь прерванным, поскольку не может пройти через *Ты*, не может достичь пункта гамма иначе, нежели в прерванном виде.

Мне кажется, я показал достаточно ясно, что измерение Другого, будучи сокровищницей означающего, местом его хранения,

предполагает, если Другой этот действительно должен всецело своей функции отвечать, наличие в частности и означающего Другого в качестве Другого. За Другими стоит, в свою очередь, тот Другой, что способен дать закону его основание. Перед нами здесь измерение, которое, принадлежа, разумеется, в той же мере порядку означающего, воплощается в лицах, на которых этот авторитет опирается. Если в каких-то случаях таких лиц не находится, если налицо, например, отцовская несостоятельность в том смысле, что отец полный дурак, – это не так уж важно. Важно одно – чтобы субъект приобрел, неважно каким образом, измерение Имени Отца.

На самом деле отец, как можете вы, читая биографии, убедиться, чаще всего, облачившись в фартук жены, моет на кухне посуду. Но для того, чтобы вызвать шизофрению, этого никак не достаточно.

3

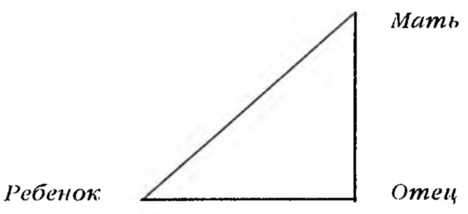
Сейчас я нарисую для вас на доске небольшую схему, которая познакомит вас с тем, о чем я собираюсь в следующий раз сказать, и позволит увязать между собою термины в различении, которое может показаться вам несколько схоластическим, между Именем Отца и отцом реальным – между Именем Отца как тем, чего может при случае и не хватать, и отцом, которому, похоже, не нужно непременно присутствовать, чтобы нехватка его не ощущалась. Я познакомлю вас, таким образом, с тем, чему будет посвящена следующая моя лекция – с тем, что я буду впредь называть *отцовской метафорой*.

Отдельно взятое имя – это лишь означающее наподобие любого другого. Иметь его, конечно же, важно, но это вовсе не означает, что его так просто добиться – это ничуть не проще, чем добиться удовлетворения желания, о связи которого с ношением рогов я только что вам рассказывал. Вот почему в акте, в пресловутом акте речи, о котором г-жа Панков вчера говорила нам, именно в измерении, которое мы назвали метафорическим, реализуется конкретно, психологически тот призыв, о котором я вам только что говорил.

Другими словами, мало Имя Отца иметь, надо еще и уметь им пользоваться. Именно от этого в большой степени и может зависеть исход дела.

Существуют реальные речи, звучащие вокруг субъекта в его детстве, но сущность отцовской метафоры, которую я сегодня впервые вам демонстрирую и о которой мы подробнее поговорим на

очередной лекции, состоит в следующем треугольнике:



С другой стороны, у нас имеется такая схема:

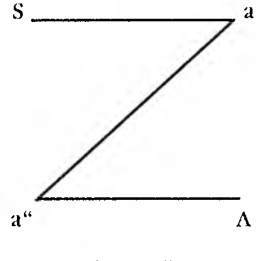


Схема L

Все то, что реализуется в S, в субъекте, зависит от того, что помещается, в качестве означающего, в A. Если A действительно является местом означающих, на нем самом должен лежать некий отблеск того существенного означающего, которое представлено у меня здесь в виде зигзагообразной линии и который в другом месте, в моей статье об украденном письме, я назвал схемой *L*.

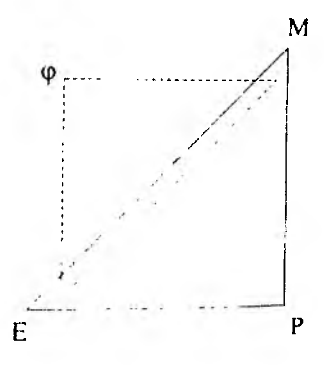
Три из четырех вершин схемы заданы выступающими здесь в качестве означающего субъектами – участниками эдипова комплекса – теми самыми, что обнаруживаются при вершинах вышеприведенного треугольника. Я вернусь к этому в следующий раз, пока же прошу принять то, что я говорю, как данность – надеюсь, это раздразнит у вас аппетит.

Четвертый участник – это S. Что касается его, то он – я не просто допускаю это, я из этого исхожу – глуп до бессловесности, ибо собственное означающее у него отсутствует. Ему нет места на трех вершинах эдипова треугольника, и зависит он от того, чему суждено в игре этой произойти. Это своего рода “смерть” в карточной партии. Более того, именно потому, что партия эта организована именно так – я хочу сказать, что партия эта разыгрывается не как отдельная игра, а как игра, возводимая в правило, – субъект и оказывается в зависимости от трех полюсов, именуемых, соответственно, Идеалом Я, сверх-Я и реальностью

Но чтобы понять, каким образом первая триада преобразуется во вторую, необходимо уяснить себе, что, сколь бы мертв он ни был, субъект, коль уж он в партии участвует, делает это на свой страх и риск. Из так и не определившейся позиции, где он покуда находится, он волей-неволей вынужден ставить на кон если не деньги, которых у него, возможно, пока еще нет, то, по крайней мере, свою шкуру, то есть свои образы, свою воображаемую структуру, со всеми последствиями, из этого вытекающими. Именно таким образом четвертый участник, S, оказывается представлен чем-то воображаемым – воображаемым, которое противостоит означающему Эдипа и должно само, соответствия ради, состоять из трех элементов.

Запас этих образов, багаж их, разумеется, огромны. Откройте, любопытства ради, книги г-на Юнга и его школы, и вы увидите, что им нет конца, что они прорезываются и дают всходы повсюду – здесь и змея, и дракон, и язык, и горящее око, и зеленое растение, и цветочный горшок, и консьержка. Все это, безусловно, образы фундаментальные, буквально напичканные значениями, но только делать нам с ними абсолютно нечего, и если вы решите на этом уровне прогуляться, то неизбежно заблудитесь с вашим слабым фонариком в дремучем лесу первозданных архетипов.

Что же касается того, что нас действительно интересует, диалектики межсубъектных отношений, то существует три образа, которые я – выражаясь, может быть, слишком свободно – выбираю в качестве путеводных. Это понять нетрудно, поскольку существует нечто, в каком-то смысле вполне готовое не только к тому, чтобы послужить базовому треугольнику мать-отец-ребенок неким подобием, но к прямому совпадению с ним, – и это не что иное, как соотношение тела расчлененного, и в то же время облеченного теми



многочисленными образами, о которых мы только что говорили, с единящей функцией цельного образа тела. Другими словами, соотношение Я и зеркального образа уже само по себе задает нам основу того воображаемого треугольника, который я рисую на этом чертеже пунктирными линиями.Другая вершина – вот, где предстоит обнаружить эффект отцовской метафоры.

В своем прошлогоднем, посвященном объектному отношению семинаре, я вам эту вершину уже продемонстрировал, но только теперь вы увидите ее место в образованиях бессознательного. Я думаю, уже одно то, что она выступает здесь в качестве третьего элемента, наряду с матерью и ребенком, делает ее для вас без труда узнаваемой. Она выступает здесь, правда, в другой связи, но и в прошлом году связь эту я от вас замаскировать не пытался – недаром закончили мы семинар на связи между Именем Отца и тем, что породило у маленького Ганса фантазм лошадки. Третья вершина эта – я ее сейчас назову вам, но уверен, что слово давно уже вертится у вас на языке – третья вершина эта есть не что иное, как фаллос. Потому-то и принадлежит фаллосу во фрейдовской экономии центральное место среди объектов.

Одного этого вполне достаточно нам, чтобы показать, в чем заключается заблуждение так называемого *современного психоанализа*. Все дело в том, что он удаляется от фаллоса все дальше и дальше. Обходя молчанием фундаментальную функцию фаллоса, с которым субъект в своем воображении отождествляет себя, он сводит его к понятию частичного объекта. Что возвращает нас назад к комедии.

Я оставляю вас сегодня, успев показать те пути, на которых сложный дискурс, в котором я пытаюсь собрать воедино все то, что я вам представил, обретает связность и согласованность.

8 января 1958 года

IX
Отцовская метафора

Сверх-Я, Реальность, Идеал Я
Разновидности отцовской несостоятельности
Деликатный вопрос об Эдипе наизнанку
Фаллос как означаемое
Измерения Другой вещи

В качестве исключения я заранее объявил вам, чему будет посвящена очередная лекция, – она будет посвящена отцовской метафоре.

Еще совсем недавно один из вас, обеспокоенный, по-видимому, оборотом, который я придал своей мысли, спросил меня: "О чем думаете вы говорить нам в этом году дальше?" На что я ответил: "Я думаю заняться вопросами структуры". Таким образом я себя никоим образом не скомпрометировал. Тем не менее, говоря в этом году об образованиях бессознательного, я рассчитываю затронуть именно вопросы структуры. Речь просто-напросто идет о том, чтобы расставить на свои места все то, о чем вы говорите каждый день и в чем вы каждый день запутываетесь настолько, что путаницы этой уже просто не замечаете.

Отцовская метафора имеет дело, говоря в терминах человеческих отношений, с функцией отца. В вашей привычной манере обращаться с ней как с понятием, которое с тех пор, как вы о нем говорите, успело с вами худо-бедно пообжиться, то и дело возникают определенные осложнения. И весь вопрос в том, действительно ли мы до конца последовательны, когда ведем о ней речь.

Функция отца занимает в истории психоанализа свое определенное место, и место довольно значительное. Она лежит в центре проблемы Эдипа, где мы впервые с ней и встречаемся. Фрейд вводит ее с самого начала, так как с эдиповым комплексом мы сталкиваемся уже в *Толковании сновидений*. Первое, о чем бессознательное дает знать, это, конечно же, эдипов комплекс. Самое главное, что открывается в бессознательном, это детская амнезия, забвение – забвение чего? Забвение факта детских желаний, направленных на мать, а также того факта, что желания эти вытеснены. При этом

они не просто были подавлены – но забыто оказалось, что именно эти желания исконными и являются. И они не просто исконны – они всегда налицо. Вот из чего исходит анализ, вот отправная точка для формулирования целого ряда клинических проблем.

Я попытался, таким образом, упорядочить в определенных направлениях те вопросы, что возникают в истории психоанализа в отношении эдипова комплекса.

1

Я различаю три исторических полюса, которые и постараюсь сейчас вам вкратце охарактеризовать.

Вехой на первом из них является вопрос, возникший уже давно. Речь шла о том, действительно ли эдипов комплекс, выступавший поначалу как основа для объяснения невроза, но выросший впоследствии в работах Фрейда до масштабов универсальных, встречается не только у невротиков, но и у людей нормальных. Последнее предположение тем более основательно, что именно комплексу Эдипа принадлежит важная роль в процессе нормализации. Поэтому даже полагая, что именно эдипов эпизод провоцирует возникновение невроза, вполне можно было, с другой стороны, спросить себя – а не бывает ли неврозов и помимо Эдипа?

Похоже, некоторые наблюдения действительно свидетельствуют в пользу того, что эдипов комплекс не всегда играет ведущую роль, что роль эта может принадлежать, например, отношениям ребенка с матерью, когда эти последние целиком оказываются на нее замкнутыми. Опыт обязывал нас, таким образом, признать, что могут существовать субъекты с такими неврозами, в которых Эдипа нет и следа. Напомню здесь, что одна из статей Шарля Одье как раз и называется: *Возможны ли неврозы без эдипова комплекса?*

Понятие невроза без Эдипа соотносится с совокупностью вопросов, связанных с тем, что называют *материнским сверх-Я*. К тому времени, когда был поставлен вопрос о неврозе без Эдипа, Фрейд уже успел сформулировать положение, согласно которому сверх-Я имеет отцовское происхождение. Тогда-то и возник вопрос: а действительно ли сверх-Я всегда имеет исключительно отцовское происхождение? Не кроется ли в неврозе за отцовским сверх-Я еще и сверх-Я материнское – куда более требовательное, настойчивое, подавляющее и пагубное, нежели первое?

Но распространяться об этом долго я не хочу, так как путь нам

предстоит еще немалый. Итак, вот первый полюс – полюс, где сосредоточены исключительные случаи, наводящие на размышления о связи между сверх-Я отцовским и сверх-Я материнским.

Переходим теперь ко второму.

Независимо от вопроса о том, имеется ли у того или иного субъекта эдипов комплекс или же он у него отсутствует, возникло другое подозрение: не соотносится ли вся подлежащая нашей юрисдикции область патологии, которая нашим заботам предоставлена, с той областью, которую назовем мы здесь *до-эдиповой*?

Итак, имеется Эдип, Эдип этот рассматривается как характерный для определенной фазы, и если в какой-то момент своего развития субъект достигает зрелости, Эдип при этом всегда налицо. Однако из того, что сам Фрейд высказал уже на раннем этапе своего творчества, пять лет спустя после выхода *Толкования сновидений*, в *Трех очерках по теории сексуальности*, следует, по сути дела, что происходящее с субъектом до Эдипа тоже по-своему небезразлично.

Правда, будучи небезразличным, оно получает у Фрейда свое значение лишь посредством Эдипа. Вот только понятие *Nachträglichkeit*, понятие обратного действия Эдипа, на которое, вы знаете, я с такой настойчивостью то и дело ваше внимание обращаю, никогда, ни разу в этот период Фрейдом не привлекается. Создается впечатление, что это понятие его мысли не поддается. Предметом забот тогда были требования прошлого в чисто временнум смысле.

Иные области в поле нашего опыта соотносились с полем до-эдиповых этапов развития субъекта совершенно особенным образом – это, с одной стороны, извращение, с другой – психоз.

Извращение было для некоторых своего рода первичным состоянием, целинной почвой. Слава Богу, мы теперь уже так не думаем. Если поначалу концепция эта была, по меньшей мере, в качестве приблизительного решения, допустима, то теперь законность ее сомнительна. Извращение считалось, по сути дела, патологией, этиология которой особо тесно соотносилась с до-эдиповой областью, – патологией, обусловленной ненормальной фиксацией. Именно по этой причине извращение и рассматривалось, кстати, как невроз, вывернутый наизнанку, или, точнее, как невроз, который налицо вывернут так и не был, невроз, чья изнанка так и осталась явной. То, что было в неврозе вывернуто наизнанку, явило себя среди бела дня в качестве извращения. Не пройдя Эдипа, извращение не было вытеснено, оставив бессознательное под открытым небом. Теперь на

этой концепции уже никто не настаивает, но это отнюдь не значит, что мы от этого далеко продвинулись.

Я подчеркиваю, таким образом, что к вопросу о до-эдиповом поле тесно примыкают проблемы извращения и психоза.

Проблематика эта может теперь быть представлена в разном свете. Как в извращении, так и в психозе речь всегда идет о воображаемой функции. Даже не будучи специально посвящен в те мыслительные манипуляции, что мы здесь проделываем, любой может убедиться, насколько важное место в обоих этих регистрах, хотя в каждом и по-своему, принадлежит образу. Эндофазное вторжение воспринимаемой слухом речи не носит, разумеется, того паразитарного, загромождающего сознание характера, который свойственен образу в извращении, но как в одном, так и в другом случае, мы имеем дело с проявлениями патологии, где образы вызывают в поле реальности серьезные возмущения.

История психоанализа свидетельствует, что именно к до-эдиповой области и опыт, и требования связности и последовательности, все то, одним словом, из чего выстраивается и на чем стоит любая теория, относят некоторые глубокие и серьезные нарушения поля реальности в результате вторжения Воображаемого. Термин "Воображаемое" оказался при этом удобнее, нежели термин "фантазм", в применении к психозам и извращениям, похоже, не слишком уместный. Целое направление в психоанализе занято разработкой и исследованием до-эдиповой области – можно даже утверждать, что именно здесь достигнуты были со времени Фрейда наиболее значительные успехи.

В этой связи я хочу обратить ваше внимание на одно парадоксальное свидетельство, для нашей сегодняшней темы чрезвычайно важное. Свидетельством этим является не что иное, как труды г-жи Мелани Кляйн.

В этих трудах, как и во всякой речевой продукции, есть два плана. Имеется, во-первых, то, что автор говорит, то, что она в своем дискурсе формулирует, и, во-вторых, то, что она хочет сказать, поскольку между тем и другим, между *хочет* и *сказать*, лежит, в ее же собственном смысле, разделяя их, ее *намерение*. Что ж, мы не были бы аналитиками, в том смысле, в котором я приучаю вас смотреть на эти вещи, не отдавай мы себе отчета в том, что она порою действительно выговаривает немножечко больше, чем собирается. Собственно говоря, в этом обычно и состоит наш подход – уловить

то, что говорится по ту сторону того, что хотят сказать. В своих работах г-жа Мелани Кляйн говорит вещи очень значительные, но значительность эта обусловлена порою не чем иным, как внутренними противоречиями ее текстов, не раз подвергавшихся справедливой критике. Есть в них и то, что она говорит, этого сказать не желая, один из самых ярких примеров чего я сейчас вам приведу.

Эта женщина, которой мы обязаны столь глубокими, столь ясными прозрениями не только в отношении до-эдипова периода, но и в отношении детей, которых она изучает и анализирует на том этапе их жизни, который в первом приближении рассматривается ее теорией как до-эдипов, этот психоаналитик, поневоле имеющий у этих детей дело с терминами порой до-вербальными, ибо речь у них только-только появляется, – так вот, чем далее углубляется она в историю, которую считает до-эдиповой, чем более удается ей там разглядеть, тем более она убеждается, что уже там всегда, каждый раз, она встречается с вопрошанием, характерным именно для Эдипа.

Почитайте ее статью, которая Эдипу посвящена специально. Она описывает в ней исключительно ранний этап развития, тот так называемый этап формирования *плохих объектов*, что предшествует фазе параноидально-депрессивной, связанной с появлением тела матери как единого целого. Согласно Мелани Кляйн, ведущая роль в развитии первых детских объектных отношений принадлежит нутру тела матери, к которому в это время приковано все внимание ребенка. Так вот, читая статью, вы с удивлением обнаруживаете, что на основе изучения рисунков ребенка, его высказываний, на основе проведенной ею реконструкции психологии ребенка на этом этапе, Мелани Кляйн приходит к выводу, что среди присутствующих в теле матери плохих объектов, к которым принадлежат все соперники ребенка, тела его будущих, прошлых и нынешних сестер и братьев, обнаруживается в придачу не кто иной, как отец – отец, представленный в форме собственного пениса.

Это, конечно, находка, которая заслуживает того, чтобы на ней наше внимание остановить, ибо касается она тех первых этапов воображаемых отношений, с которыми могут оказаться связаны функции как собственно шизофренические, так и психические вообще. Противоречие, здесь имеющееся, очень ценно, ибо сама-то Мелани Кляйн намеревалась исследовать состояния до-эдиповы. Однако чем более углубляется она в план воображаемого, тем увереннее констатирует она уже на самом раннем этапе появление – если при-

держиваться чисто исторического представления об Эдипе, то весьма трудно объяснимое – третьего, отцовского полюса, который в первых же фазах развития детского воображения уже налицо. Именно в этом смысле я и утверждаю, что работы Мелани Кляйн говорят больше, нежели хочет сказать она сама.

Итак, два полюса, вокруг которых группируются возникающие вокруг Эдипа вопросы, мы уже определили – это, во-первых, сверх-Я и неврозы, не связанные с Эдипом, и, во-вторых, все то, что касается нарушений, возникающих в поле реальности.

Третий полюс, ничуть не менее заслуживающий внимания, – это связь эдипова комплекса с так называемой *генитализацией*. Ибо они отнюдь не одно и то же.

С одной стороны – момент, который, будучи с течением времени отодвинут многочисленными исследованиями и дискуссиями на задний план, в клинической практике по-прежнему молчаливо подразумевается – эдипов комплекс выполняет функцию нормализации, причем не только нормализации моральной структуры субъекта или отношений его с реальностью, но и нормализации усвоения им собственного пола – положение, всегда, как вы знаете, сохраняющее в психоанализе определенную двусмысленность. Дело ведь в том, что, с другой стороны, собственная генитальная функция вступает в процессе созревания после первых же сексуальных позывов органического порядка – позывов, анатомическую подоплеку которых усматривали в развитии яичек и образовании сперматозоидов. Связь между этими органическими позывами и наличием у рода человеческого эдипова комплекса осталась филогенетической проблемой, по-прежнему покрытой мраком – вплоть до того, что теперь вряд ли найдется желающий на эту тему что-нибудь опубликовать. В истории психоанализа вопрос этот, тем не менее, ставился.

Итак, проблема генитализации имеет две стороны. С одной стороны, имеется некий позыв, предполагающий эволюцию, созревание. С другой стороны, в эдиповом комплексе налицо усвоение субъектом собственного пола, то есть, называя вещи своими именами, то самое, в силу чего мужчина усваивает себе тип мужеский, а женщина – некий тип женский, признает себя женщиной, отождествляет себя с определенными женскими функциями. *Маскулинность* и *фемининность* – вот термины, выражающие то, что представляет собой суть эдиповой функции. Мы оказываемся здесь на

уровне, где Эдип непосредственно связан с функцией Идеала Я – другого смысла у него нет.

Итак, вот три рубрики, под которыми можно классифицировать все дискуссии, которые, возникнув вокруг Эдипа, касаются в то же время и функции отца, ибо это абсолютно одно и то же. Без отца нет и проблемы Эдипа; и наоборот, говорить об Эдипе – значит подойти к функции отца как к чему-то принципиально существенному.

Повторяю еще раз для тех, кто записывает. Исторически, дискуссии в отношении Эдипова комплекса разворачиваются вокруг трех полюсов: Эдип и Сверх-Я, Эдип и реальность, Эдип и Идеал Я. Я говорю об Идеале Я, поскольку генитализация, будучи усвоена субъектом, становится элементом Идеала Я. И я говорю о реальности, поскольку речь идет о связи Эдипа с такими несущими в себе нарушение связи с реальностью заболеваниями, как невроз и психоз.

Я обобщаю сказанное в записи на доске, дополняя ее символами, значение которых выяснится в дальнейшем.

Сверх-Я	R.i
Реальность	$S \Leftarrow S'.r$
Идеал Я	I.s

Попробуем теперь сделать следующий шаг.

2

Теперь, когда эти три исторически сложившиеся группы проблем в общих, глобальных чертах вам представлены, мы, ограничившись третьей рубрикой – функция Эдипа как фактор, непосредственно сказывающийся на выборе субъектом пола, – займемся вопросами, касающимися комплекса кастрации в наименее проясненных его аспектах.

Обыкновенно мы любим подходить к делу с точки зрения клиники, простодушно спрашивая себя в каждом случае: “Ну, а где же отец? Что он, отец, все это время делал? Какова здесь его роль, его участие?”

Вопрос о присутствии отца или его отсутствии, о благотворном или пагубном характере его влияния, мы, разумеется, не затушевываем. Недавно, буквально на наших глазах, появился даже термин “отцовская несостоятельность” – замахнулись на тему нешуточную – другое дело, удалось ли правильно ее сформулировать и нашлось ли, что сказать на эту тему. Так или иначе, в развитии анализа, при

его растущем интересе к тому, что элегантно называют *окружающею средою*, отцовская несостоятельность эта, независимо от того, назовут ли ее так или как-то иначе, стоит как предмет на повестке дня.

Благодарение Богу, не все аналитики в эту западню попадаются. Многие аналитики, услышав от субъектов интересные биографические откровения, вроде: "У моих родителей не было взаимопонимания, в браке у них не было согласия, отсюда все и пошло", – отвечают: "Ну и что? Это абсолютно еще ничего не доказывает. Мы не должны ждать от этого каких-то особенных последствий". И они будут правы.

Когда аналитик пускается на поиски отцовской несостоятельности, – что, касающееся отца, его в первую очередь интересует? Вопросы, которыми он задается, лежат, главным образом, в плоскости биографии. Был там отец или его там не было? Путешествовал ли он, долго ли отсутствовал, часто ли возвращался? И вообще – может ли Эдип иметь нормальный исход, когда отца нет? Вопросы эти сами по себе очень интересные, скажу больше: именно они и обнаружили первые парадоксы – те самые, которые привели к постановке вопросов уже новых. Именно тогда и стало впервые ясно, что Эдип может отлично сложиться и в тех случаях, когда отца нет.

Поначалу было распространено убеждение, будто все драмы порождаются избытком отца, его чрезмерным присутствием. То было время, когда образ устрашающего отца рассматривался как элемент патологический. Вскоре, однако, стало ясно, что в случае невроза гораздо хуже бывает, если отец оказывается слишком мягким. Ума-разума мы набирались медленно, и теперь, когда мы дошли до противоположной крайности, нас интересует отцовская несостоятельность. Бывают отцы слабые, отцы зависимые, отцы дрессированные, отцы, кастрированные женой, отцы-калеки, отцы-слепцы, отцы-банкроты – одним словом, каких только отцов не бывает! И все же следовало бы извлечь из этой ситуации какие-то выводы и найти минимум формул, которые позволили бы нам продвигаться дальше.

Начну с вопроса о присутствии отца или его отсутствии – конкретном, в качестве элемента окружающей среды. Если мы встанем на уровень, где эти поиски разворачиваются, то есть на уровень реальности, то можно будет утверждать, что вполне возможна, мыслима и осуществима – в чем можно убедиться на опыте – ситуация,

что отец налицо даже тогда, когда он отсутствует. Уже одно это должно было бы внушить нам известную осторожность в попытках связать функцию отца с "окружающей средой". Даже в случаях, когда отец отсутствует, когда ребенок остается жить один с матерью, эдипов комплекс протекает точно так же, как и в других случаях, вполне нормально – нормально в обоих смыслах: нормально как фактор нормализующий, с одной стороны, и нормально как фактор денормализующий, то есть, скажем, обуславливающий возникновение невроза, с другой. Вот первое, на что нам следует обратить внимание.

В отношении несостоятельности отца я хотел бы просто-напросто заметить, что никогда не известно, в чем именно он несостоятелен. Иногда нам говорят, что он чересчур мягкий, словно намекая тем самым, что на самом деле лучше, если он злой. С другой стороны, сам факт, что в злости можно переборщить, явно наводит на мысль, что неплохо порою быть и помягче. Собственно говоря, круг этот уже давно пройден. Стало ясно, что проблема отцовской несостоятельности не касается ребенка, о котором идет речь, непосредственно, что можно было, напротив, как это с самого начала и представлялось очевидным, анализировать эту несостоятельность куда более эффективно, рассматривая ее с учетом того, что отец должен занимать свое определенное место внутри фундаментальной для семьи триадической структуры. Но даже осознав это, найти более удачную формулировку для того, о чем идет речь, так и не удалось.

Я не хочу распространяться об этом долго, но в прошлом году мы, говоря о маленьком Гансе, эту тему уже затрагивали. Мы уже поняли тогда, насколько трудно, исходя исключительно из "окружающей среды", точно определить, в чем отцовская несостоятельность, собственно, заключалась – ведь отец в семье вовсе не был несостоятелен, он был там, рядом с женой, он выполнял свою роль, он спорил, и, позволяя жене потихоньку гнуть свою линию, занимался ребенком, в сущности, много, так что говорить об отсутствии его нельзя, тем более что он даже позволил анализировать ребенка, что является лучшим, по крайней мере в этом направлении, шагом, который от отца можно вообще ожидать.

Вопрос об отцовской несостоятельности заслуживает того, чтобы к нему вернуться, но мы вступаем здесь в среду столь зыбкую, что необходимо прежде провести одно различие, которое откроет наши глаза на то, в чем исследование этого предмета, в сущности,

погрешает. А погрешает оно не в том смысле, что не то находит, а в том, что не то ищет. Ошибка, по-моему, заключается в том, что смешиваются две вещи, друг с другом связанные, но не совпадающие, – отец нормативный и отец нормальный. Конечно, отец может стать причиной отклонения от нормы в ребенке просто потому, что ненормален сам, но в этом случае мы отбрасываем проблему на уровень структуры – психотической или невротической, – присущей отцу. Нормальность отца – это один вопрос, нормальность его места в семье – совсем другое.

И, наконец, третье мое положение: вопрос о месте отца в семье не совпадает с точным определением его нормативной роли. Говорить о несостоятельности его в семье – не то же самое, что говорить о несостоятельности его в комплексе. Чтобы говорить о несостоятельности его в комплексе, необходимо ввести другое измерение, не совпадающее с измерением реалистическим, которое задается характерологическим, биографическим или другим какимлибо способом его присутствия в семье.

Именно в этом направлении мы наш следующий шаг и сделаем.

3

Теперь, когда состояние вопроса на сегодняшний день я вам объяснил, попробуем расставить наши парадоксы по местам. Начнем с того, что определим роль отца более корректно. Поскольку указать нужное направление и найти корректную формулировку поможет нам место отца в комплексе, обратимся теперь к комплексу и вспомним для начала его азы.

Первым делом, отец грозный. Образ этот оказывается, тем не менее, как само имя его о том свидетельствует, непростым. Отец действует сразу в нескольких планах. Во-первых, он накладывает запрет на мать. Это и есть основа, начало эдипова комплекса, именно здесь дает о себе знать связь отца с изначальным законом запрета на кровосмешение. Именно на отца, напоминают нам, ложится задача этот закон персонифицировать. Порой, когда ребенок дает своим склонностям волю, когда проявления их становятся слишком откровенны, ему приходится являть этот запрет и в непосредственной форме, но роль его, этим не исчерпываясь, простирается гораздо дальше. Запрет на мать осуществляется самим присутствием его и тем, как сказывается это присутствие в бессознательном. Вы ждете, пока я заговорю об *угрозе кастрации*. Верно,

сказать об этом действительно надо, но все при этом далеко не так просто. Да, кастрации действительно принадлежит здесь роль очевидная и получающая все новые и новые подтверждения, связь кастрации с законом действительно носит характер принципиальный, но давайте посмотрим, какую картину даст нам клиника. Я чувствую себя обязанным вам об этом напомнить, так как то, что я говорю, наверняка приводит вам на память те или иные тексты.

Возьмем сначала мальчика. Мы все согласны, что связь между мальчиком и отцом руководствуется страхом кастрации. Что он такое, этот страх кастрации? С какой стороны мы к нему приступаем? Со стороны эдипова комплекса, где он предстает нам уже в первых переживаниях, с этим комплексом связанных. Предстает в какой форме? В форме обращения вовнутрь направленной наружу агрессии. Агрессия эта исходит от мальчика, чья мать, привилегированный объект его, находится для него под запретом, и направляется на отца. Назад же, на него самого, она обращается в силу возникающего между ним и отцом противостояния, то есть постольку, поскольку в воображении своем он проецирует на отца агрессивные намерения, которые равны по силе его собственным, а то и превосходят их, хотя истоки их лежат в ему же присущих агрессивных тенденциях. Другими словами, страх его перед отцом носит явно центробежный характер – я имею в виду, что гнездится этот страх внутри самого субъекта. Картина эта полностью подтверждается как нашим собственным опытом, так и историей психоанализа. Сам опыт этот очень быстро дал нам понять, что именно под этим углом зрения и должны оцениваться последствия страха, который испытывает субъект по отношению к отцу в эдиповом комплексе.

У всех субъектов, с которыми имеем мы дело в опыте, и в первую очередь у тех, которые представляют собой привилегированный объект его, у невротиков, кастрация, несмотря на свою тесную связь с символической артикуляцией запрета на кровосмешение, проявляется в плане воображаемом. Именно там берет она свое начало. Истоки ее не следует искать в заповеди наподобие той, что сформулирована, скажем, в законе Ману, гласящем: "*Тот, кто возляжет со своей матерью, да отрежет себе детородные части и держа их в правой руке,* (или в левой, я точно не помню) *да идет прямо на запад, пока его не настигнет смерть*". Перед нами не что иное, как закон, но ведь для наших невротиков закон этот никто вслух нарочито не формулирует. В большинстве случаев он вообще оказыва-

ется в тени. Существуют, впрочем, другие способы выйти из положения, но распространяться об этом у меня сегодня нет времени.

Способ, которым невротик воплощает угрозу кастрации, связан, таким образом, с воображаемой агрессией. Оружие может обернуться против того, кто применяет его. Поскольку Юпитеру кастрировать Хроноса ничего не стоит, наши маленькие юпитеры боятся, как бы хроносы не взялись за дело первыми.

Изучение эдипова комплекса в том виде, в каком он предстает в нашем опыте, само то, как Фрейд впервые заговорил о нем и как он был им осмыслен теоретически, ставит перед нами еще и другой вопрос – деликатный вопрос об Эдипе обращенном. Я не знаю, насколько само собой разумеющимся это кажется вам, но стоит открыть любую статью Фрейда или другого, неважно какого, автора, посвященную данному предмету, и каждый раз, когда вопрос об Эдипе окажется в ней поставлен, вы будете поражены тем, насколько зыбкой, нюансированной, поистине озадачивающей предстает в ней роль, приходящаяся на функцию обращенного эдипова комплекса.

В функционировании эдипова комплекса без этого обращения никогда не обходится – составляющая любви к отцу исключена из него быть не может. Именно им и обусловлен конец Эдипа, угасание его в диалектике, по-прежнему понимаемой неоднозначно, любви и отождествления – отождествления, берущего свое начало в любви. Отождествление и любовь – не одно и то же; отождествить себя с кем-то можно и не любя его, и наоборот, но оба понятия остаются, тем не менее, тесно связанными и друг от друга неотделимыми.

Прочтите статью Фрейда 1924 года, специально посвященную угасанию эдипова комплекса, *Der Untergang des Oedipskomplex*, и посмотрите, как объясняет он то окончательное отождествление, которым комплекс этот разрешается. Только любовь к отцу позволяет субъекту отождествиться с ним и разрешить Эдип окончательно, придя к соглашению в форме амнезического вытеснения – соглашению, в котором и обретает он идеальный для себя выход, позволяющий ему самому стать отцом. Я не утверждаю, что он немедленно становится в этот момент маленьким мужчиной, но он уже способен им стать, его документы уже в исправности, его дела на мази, и со временем, если все пойдет своим чередом, если маленькие поросята его не сожрут, он, достигнув половой зрелости,

готов будет предъявить свой пенис вместе со свидетельством – вот, мол, пожалуйста, все это я в свое время получил от папы.

В случае невроза все это, однако, происходит иначе – и как раз потому, что в пресловутых документах что-то оказывается не в порядке. Но и обращенный Эдип на поверку ничуть не проще. К обращенной позиции субъект приходит тем же путем, путем любви, только вместо благополучного отождествления уделом его оказывается недурная по-своему, хотя и скромная позиция пассивизации в бессознательном плане, которая, выйдя однажды вновь на поверхность, загонит его в тесный угол *squeeze-panic* в качестве биссектрисы. Речь идет о позиции, где субъект засел прочно, – позиции, которую он обнаружил самостоятельно и которая дает ему немалые преимущества. А состоит она в том, чтобы занять место, где отец, грозный отец, столь щедрый на запреты, но порою столь снисходительный, отнесся бы к нему благосклонно – другими словами, чтобы снискать его, этого отца, любовь. Но поскольку снискать его любовь означает занять место среди женщин, а мелкое мужское самолюбие продолжает-таки давать о себе знать, позиция эта, как объясняет нам Фрейд, несет в себе опасность кастрации, что и приводит к возникновению той формы бессознательной гомосексуальности, которая ставит субъект в конфликтную ситуацию, влекущую за собой многочисленные последствия – с одной стороны, постоянный возврат на гомосексуальную позицию в отношении к отцу, с другой же, постоянное сдерживание этой тенденции, то есть ее вытеснение – вытеснение, обусловленное той угрозой кастрации, которую позиция эта за собой влечет.

Все это не так-то просто. Именно поэтому мы и пытаемся придумать нечто такое, что позволило бы осмыслить эту ситуацию возможно более строго и правильнее ставить вопросы в каждом конкретном случае.

Итак, подведем итоги. Начнем мы, как сегодня уже это делали, с того, что, проведя предварительно ряд различий, сфокусируем внимание на пункте, с которым что-то неладно.

Мы уже выяснили недавно, что именно в отношении Идеала Я вопрос не был должным образом поставлен. Попробуем и здесь применить операцию упрощения, к которой мы только что подошли. Я предлагаю следующее: не будет так уж смело с нашей стороны утверждать, что отец выступает в этой позиции как преграда. Выступает не только ввиду собственных габаритов, но и ввиду наклады-

ваемых им запретов. Но что же он, собственно, запрещает?

Начнем с начала и сделаем необходимые уточнения. Не следует ли нам принять в расчет генитальное влечение и утверждать, что запрещает он, в первую очередь, его реальное удовлетворение? С одной стороны, похоже, что удовлетворение это появляется на более раннем этапе. Но ясно также и другое: сам факт, что отец запрещает ребенку пользоваться пенисом именно тогда, когда пенис этот начинает демонстрировать признаки жизни, становится моментом организующим. Можно сказать, таким образом, что речь идет о запрете со стороны отца в отношении реального влечения.

Но почему именно отца? Опыт показывает, что с не меньшим успехом это делает мать. Вспомните случай маленького Ганса, где слова: *"Убери это, так не делается"* принадлежат именно матери. И вообще как раз мать-то и грозит ребенку чаще всего – если ты, мол, будешь так делать, я позову доктора и он тебе его отрежет. Следует, поэтому, констатировать: в качестве того, кто запрещает на уровне реального влечения, отец является фигурой необязательной. Вернемся в связи с этим к тому, что я вам предложил в прошлом году, – все, как видите, в конечном счете оказывается полезным – вернемся к моей трехэтажной таблице.

Реальный отец	Кастрация	воображаемая
Символический отец	Фрустрация	реальная
Воображаемый отец	Лишение	символическое

О чем идет речь на уровне угрозы кастрации? Речь идет о реальном вмешательстве отца в виде воображаемой угрозы (запишем это в виде R.i), так как на деле, реально, отрезают его ребенку довольно редко. Обратите внимание, что в таблице этой кастрация является символическим актом, совершителем выступает лицо реальное (отец или мать, говорящие ему: "тебе его отрежут"), а предмет является предметом воображаемым (ребенок ощущает себя порезанным именно потому, что это воображает). Не кажется ли вам, что это парадоксально? "Но ведь это и есть, собственно, уровень кастрации, а вы утверждаете, что отец не так уж и нужен", – можете возразить вы. Да, я утверждаю именно это.

С другой стороны, на что он, отец, накладывает запрет? Это именно то, с чего мы и начали, – он накладывает запрет на мать. Как объект она принадлежит именно ему – ребенку она не принад-

лежит. Именно в этом плане возникает – во всяком случае на одном каком-то этапе – у мальчика или у девочки то соперничество с отцом, одного которого вполне достаточно, чтобы дать начало агрессии. Отец обманывает ожидания ребенка в отношении матери.

Это и есть другой этаж – этаж фрустрации, обманутых ожиданий. Здесь отец вмешивается не как реальное лицо, а как лицо уполномоченное. Даже если он отсутствует, если он звонит, скажем, матери по телефону, результат будет тот же. Вмешательство отца, выступающего здесь в качестве символического, приводит к тому, что ребенок оказывается фрустрирован, обманут в своих ожиданиях – совершается воображаемый акт, предмет которого, мать, поскольку ребенок испытывает потребность в ней, вполне реален. Запишем это как S'.r.

Следует, наконец, третий уровень, уровень лишения, который как раз и принимает участие в артикуляции эдипова комплекса. Речь здесь идет об отце как фигуре, которая вызывает к себе предпочтение перед матерью – измерение, которое вы просто вынуждены задействовать, чтобы довести дело до конца, то есть обеспечить образование Идеала Я, $S \Leftarrow S'.r$ Окончательное отождествление может осуществиться не раньше, чем отец станет – не важно, в силу чего, своей ли силы, или, наоборот, своей слабости – объектом, который получает перед матерью предпочтение. Вопрос об обращенном эдиповом комплексе и его функции формулируется именно на этом уровне. Скажу больше – именно здесь следует искать ответа на вопрос о том, почему комплекс этот имеет для девочек и мальчиков разные последствия.

В случае с девочками все идет как по маслу – именно поэтому и говорят, что функция кастрации в отношении мальчиков и девочек асимметрична. С трудностями девочка встречается в самом начале, зато в конце разрешение комплекса облегчается тем, что отцу, как носителю фаллоса, вызвать к себе предпочтение перед матерью ничего не стоит. Другое дело мальчик – здесь перед нами зияет провал. Каким образом вызывает к себе предпочтение отец в этом случае? А ведь этим определяется исход эдипова комплекса! Мы оказываемся здесь перед той же трудностью, с которой мы встретились, говоря о возникновении Эдипа обращенного. Нам кажется поэтому, что для мальчика эдипов комплекс всегда остается фактором, нормативное значение которого минимально, хотя всем тем, что о нем говорится, молчаливо предполагается, что оно как раз макси-

мально, поскольку именно путем отождествления с отцом усваивается мальчиком мужественность.

В конечном счете важно понять, почему происходит так, что функция отца, суть которой состоит в запрете, не приводит у мальчика к тому, что из третьей строки нашей таблицы с очевидностью вытекает, – к тому коррелятивному по отношению к идеальному отождествлению лишению, которое как у мальчика, так и у девочки стремится себя воспроизвести. Именно в силу того, что отец становится Идеалом ее Я, возникает у девочки признание того, что фаллоса у нее нет. Но это идет ей только на пользу, в то время как для мальчика это было бы исходом абсолютно катастрофическим, что и случается порою на самом деле. Совершитель здесь является воображаемым, I, в то время как предмет символичен, s. Получаем: I.s.

Другими словами, в момент, когда на исходе Эдипа происходит установление нормы, ребенок признает, что не имеет – не имеет либо того, что имеет, в случае мальчика, либо того, что не имеет, в случае девочки.

То, что происходит на уровне идеального отождествления – на том знаменующем собою исход Эдипа уровне, где отец получает предпочтение перед матерью, – должно привести, в буквальном смысле слова, к лишению. Для девочки результат этот вполне допустим и сообразен, хотя окончательно и недостижим, поскольку от некоего послевкусия, именуемого *Penisneid*, ей так никогда избавиться и не удается – свидетельство того, что и здесь все протекает не так уж гладко. Но если бы все протекало гладко, то мальчик, согласно нашей схеме, всегда должен был бы оказываться кастрирован. Выходит, в нашем объяснении что-то хромает, чего-то не хватает ему.

Попробуем теперь предложить решение.

Что такое отец? Я не спрашиваю, что такое отец в семье, потому что в семье он может быть чем угодно – тенью, банкиром, всем тем, чем он быть обязан, – а может и не быть всем этим, и все это порою может оказаться важным, но может с тем же успехом и не иметь значения вовсе. Нам же интересно другое – что представляет собой отец в эдиповом комплексе?

Прежде всего, реальным объектом он там не является – и это невзирая на то, что для персонификации угрозы кастрации вмешиваться в качестве реального объекта ему порою все же приходится. Но если он не реальный объект – что же он такое?

Не является он и объектом идеальным, потому что с этой стороны можно ожидать разве что всяческих происшествий. Но ведь эдипов комплекс – это не просто катастрофа; недаром в нем видят основу связи человека с культурой.

“Ага, отец – это отец символический, вы нам это уже говорили”, – скажете вы тогда, естественно, мне в ответ. Я действительно вам это уже говорил – говорил достаточно часто, чтобы сегодня не повторяться. То новое, что я скажу сегодня, понятие символического отца несколько уточняет. А скажу я вам вот что: отец – это метафора.

Но что она такое, эта метафора? Определимся в этом с самого начала, а результат запишем на доске, чтобы как-нибудь загладить последствия получившейся у нас неприглядной картины. Метафора, как я вам уже объяснял, это означающее, которое заступает место другого означающего. И я утверждаю, что роль отца в эдиповом комплексе действительно такова, хотя некоторым из присутствующих это, возможно, и режет слух.

Именно так дело и обстоит: отец является означающим, заступившим место другого означающего. В этом и заключается главный, единственный способ вмешательства отца в эдиповом комплексе. И если истоки отцовской несостоятельности вы ищете не здесь, больше вы их нигде не найдете.

Функция отца в эдиповом комплексе состоит в том, чтобы послужить означающим, заступающим место первого включенного в символизацию означающего, означающего материнского. Согласно формуле, которая, как я вам однажды уже объяснил, является формулой метафоры, отец заступает место матери, S заступает место S', где S' является матерью в качестве уже связанной с чем-то, обозначенным мною буквой *x*, то есть с тем, что в отношениях с матерью выступает как означаемое.

$$\frac{\text{Отец}}{\text{Мать}} \cdot \frac{\text{Мать}}{x}$$

Матери свойственно приходить и уходить снова. Говорить, что она приходит ко мне и от меня уходит, можно постольку, поскольку я являюсь маленьким существом, которое уже включено в Символическое и символизацию уже освоило. Иными словами, я либо чувствую ее присутствие, либо нет, с ее приходом мир видоизменяется и может, того и гляди, рассыпаться в прах.

Но что это за означаемое – вот в чем вопрос. Чего она, вот эта,

собственно, хочет? Я-то хотел бы, чтобы она хотела меня, но ясно, что хочет она не только меня. Есть еще что-то, что занимает ее. То, что занимает ее, и есть *x*, искомое означаемое. А означаемое уходов и приходов матери – это фаллос.

Суть моего прошлогоднего семинара сводится к тому, что ставить в центр объектного отношения частичный объект просто глупо. Ведь ребенок сам является частичным объектом, поэтому-то он и вынужден задаваться вопросом о том, что стоит за фактом ее приходов и ее уходов – а стоит за ним не что иное, как фаллос.

Ребенок при известной доле находчивости или везения довольно быстро может догадаться о том, что представляет собой воображаемый *x*, а раз поняв это, обернуться фаллосом сам. Но воображаемый путь не является путем нормальным. Именно поэтому, кстати, и влечет он за собой то, что называют обыкновенно *фиксацией*. Ненормален он еще и потому, что никогда не встречается в чистом виде, никогда не бывает до конца доступен, всегда несет на себе печать некоей приблизительности, непрозрачности, конфликтной двойственности, которыми все многообразие извращений и порождается.

А что же представляет собою символический путь? Это путь метафоры. Поскольку время сегодняшней нашей встречи подходит к концу, я предложу вам, отложив объяснения на потом, готовую схему, которая послужит нам впоследствии путеводной нитью: именно в силу того, что отец заступает место матери в качестве означающего, происходит то, что обычно результатом метафоры и является и что выражено у меня следующей записанной на доске формулой:

$$\frac{S}{S'} \cdot \frac{S'}{x} \Rightarrow S\left(\frac{1}{s'}\right)$$

Промежуточный означающий элемент сокращается, и S' вступает путем метафоры во владение объектом желания матери, предстающим при этом в обличье фаллоса.

Я не претендую на то, чтобы предложить вам решение в форме, заведомо для вас прозрачной. Я приношу вам лишь результат, чтобы вы поняли, в каком направлении мы идем. Ну, а как туда идти и что нам это, собственно, даст – об этом, то есть обо всем том, к чему мое решение дает ключ, мы поговорим позже.

Теперь же я ограничусь следующей, пока сырой, формулировкой: на мой взгляд, со всеми неразрешимыми трудностями, связан-

ными с эдиповым комплексом, можно справиться, рассматривая вмешательство отца в этом комплексе как замену одного означающего на другое.

4

Чтобы приступить помаленьку к объяснениям, я сделаю замечание, которое, надеюсь, даст вашим сновидениям пищу на ближайшую неделю.

Метафора располагается в бессознательном. И поистине удивительно, что бессознательное не обнаружили раньше, хотя оно было на своем месте всегда и есть до сих пор. Чтобы догадаться, что место это вообще существует, нужно было, видимо, знать, что оно там, внутри, заранее.

Я хотел бы предложить вам одно соображение, с которого вы, путешествуя по всему миру в качестве, я надеюсь, апостолов моего слова, всегда сможете начать разговор о бессознательном с людьми, которые прежде о нем никогда не слышали. Удивительно – скажете вы им – что с тех пор, как стоит мир, ни одному из людей, именующих себя философами, и в голову не приходило, по крайней мере, в классический период (теперь-то дело пошло повеселее, но сделать еще предстоит многое), заговорить о том важнейшем измерении, которое фигурирует у меня как *что-то Другое*.

О желании чего-то Другого мне уже приходилось вам говорить – не в том смысле, в каком сейчас например, вы, возможно, испытываете желание вместо того, чтобы меня слушать, поесть сосисок, а в смысле желания чего-то *Другого как такового* – что бы там ни было и о чем бы конкретно речь ни зашла.

Измерение это присутствует не только в желании. Оно налицо и в других состояниях, притом постоянно. Возьмем, скажем, ночные бдения – то, что называется ночными бдениями, – разве не уделяем мы им слишком мало внимания? Бдения, – скажете мне вы, – ну и что? Но ведь именно о ночном бдении упоминает Фрейд в описании случая председателя суда Шребера, говоря о главе ницшевского "Заратустры", озаглавленной "Перед рассветом". Замечания, подобные этому, как раз и показывают нам, что в этом Другом Фрейд поистине жил. Когда я рассуждал с вами однажды о дне, о вечернем покое и других вещах в этом роде, которые тогда более или менее до вас дошли, именно это замечание Фрейда и служило мне главным ориентиром. "Перед рассветом" – да разве речь идет о восходе

солнца? нет, чего-то Другого, сокрытого – вот чего ждут в момент бдения.

Возьмем, далее, стремление затвориться. Разве это измерение не существенно? Судите сами: стоит человеку где-то – будь то пустыня или девственный лес – оказаться, как он немедленно начинает себя огораживать. На худой конец он, как Ками, захватит с собой пару дверей – лишь бы устроить между ними сквозняк. Все дело в том, чтобы устроиться где-то внутри, но не понятия внутреннего и внешнего задают здесь тон, а понятие чего-то Другого, Другого как такового, не тождественного с тем местом, где мы наглухо законопачены.

Скажу больше: изучив феноменологию пресловутого стремления затвориться, вы сразу же заметите, до какой степени абсурдно связывать функцию страха исключительно с реальной опасностью. Так, феноменология фобии наглядно обнаруживает тесную связь страха именно с безопасностью. Легко убедиться, что у субъекта, страдающего фобией, приступы тревоги возникают именно тогда, когда он страх свой утратил, когда вы начали его потихоньку от фобии избавлять. "Э, нет, – говорит он вам, – так дело не пойдет. Раньше я всегда знал, где мне следует остановиться. Теперь же, утратив страх, я не чувствую себя в безопасности". Короче говоря, возникает та же картина, что я обрисовал вам в прошлом году, рассказывая о маленьком Гансе.

Есть и еще одно измерение, которому, я убежден, вы, чувствуя себя в нем как рыба в воде, достаточно внимания не уделяете, – измерение это называется скукой. Вам и в голову, может быть, не приходило, насколько она в качестве измерения чего-то Другого типична. Она и заявляет-то о себе в характерных выражениях, уверяя, что ей, мол, "хочется чего-то Другого". Мы согласны хоть говно есть – лишь бы всякий раз новое. Перед нами во всех этих случаях своего рода алиби, уже сформулированные, уже прошедшие символизацию алиби, защищающие субъекта от обвинений в связи с чем-то Другим.

Вам покажется, быть может, что я впадаю в романтическую меланхолию. Не удивительно: желание, затворничество, бдения – еще немного, и я бы, чем черт не шутит, сотворил здесь перед вами молитву. "Что с ним? К чему он клонит?" – встревожитесь вы. И напрасно.

В заключение я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну

разновидность проявлений присутствия чего-то Другого – на многообразные институализированные его проявления. Любые образования, где бы то ни было создаваемые людьми, то есть все так называемые коллективные образования вообще, можно классифицировать по признаку того, каким именно способам связи с чем-то Другим эти образования удовлетворяют.

Где бы человек ни появился, он немедленно строит тюрьму и бордель, то есть места, где действительно обитает желание, затем обязательно ждет чего-то, ждет, например, когда придет лучшее будущее, – всегда тут, наготове, он бодрствует, он ждет революции. Но самое главное: где бы он ни появился, особенно важно то, что все занятия его буквально источают из себя скуку. Занятие начинает становиться серьезным не раньше, чем то, что составляет главный его элемент, то есть, вообще говоря, его регулярность, смертельным образом ему не наскучивает.

Подумайте, в частности, насколько многое в вашей аналитической практике словно нарочно так устроено, чтобы уморить вас скукой. Именно в скуке-то все и дело. На первый взгляд, довольно большая, по крайней мере, часть так называемых *технических правил*, которые аналитик обязан в работе своей соблюдать, направлена на то, чтобы установить в этой области какой-то гарантированный профессиональный стандарт, – но присмотритесь к ним поближе, и вы немедленно убедитесь, что происходит это лишь постольку, поскольку правила эти поддерживают, одобряют и культивируют в сердцевине аналитической практики не что иное, как скуку.

Вот краткое вступление, которое, однако, не покрывает еще темы следующего занятия, где я покажу вам, что именно на уровне Другого как такового диалектика означающего развертывается и что именно этот уровень послужит нам отправным пунктом к исследованию функции, влияния, принудительной силы и индуцирующего эффекта Имени Отца – Имени Отца как такового.

15 января 1958 года

X
Три такта Эдипа

От Имени Отца к фаллосу
Ключ к угасанию Эдипа
Быть и иметь
Произвол и закон
Ребенок как субъект-подданный

Мы продолжим сегодня изучение того, что назвали в прошлый раз *отцовской метафорой*.

Мы закончили на моем утверждении, что именно та структура, которая была опознана нами в прошлый раз как структура метафоры, дает прекрасную возможность ясно и членораздельно описать эдипов комплекс и его внутреннюю пружину – комплекс кастрации.

Тем, у кого вызовет удивление, что к формулировке центрального для теории и аналитической практики вопроса мы приходим столь поздно, остается возразить, что нельзя было это сделать, не продемонстрировав на почве как теоретической, так и практической, несостоятельность ныне циркулирующих в анализе соответствующих формулировок, а тем более не показав, в каком отношении формулировки эти нуждаются, если можно так выразиться, в исправлении. Чтобы начать формулировать, необходимо прежде приучить вас, к примеру, мыслить в терминах субъекта.

Что такое субъект? Совпадает ли он целиком и полностью с индивидуальной реальностью, которая находится перед вами, когда вы слово *субъект* произносите? Или же, начиная с момента, когда вы заставляете его говорить, под *субъектом* непременно начинает подразумеваться что-то еще? Другими словами – является ли речь чем-то вроде эманации, парящего над ним облака, либо, напротив, она развивает и сама по себе навязывает (да или нет?) некую структуру, наподобие той, которую я так детально вам комментировал, к которой успел уже вас приучить? Структуру, которая свидетельствует, что в отношении говорящего субъекта и речи не может идти о том, чтобы свести отношения, в которые он посредством речи вступает, к отношениям с кем-то другим, что всегда будет налицо в этих отношениях некто третий, большой Другой, которым и задается позиция субъекта в качестве субъекта речи – а значит, и в ка-

честве субъекта анализа тоже.

То, о чем я говорю, – это не просто необязательная теоретическая выкладка. Это вывод, который окажется очень полезен, когда вам нужно будет понять, какое место занимают те явления, с которыми вы в анализе имеете дело – чтобы понять, другими словами, что происходит, когда вы имеете дело с запросами субъекта, его желаниями, его фантазиями (что далеко не одно и то же), а также с тем, что, похоже, наиболее неясно, уловить и определить что бывает труднее всего, – с реальностью.

Теперь, когда мы приступаем к объяснению термина *отцовская метафора*, нам представится прекрасная возможность лишний раз в этом убедиться.

1

В чем заключается отцовская метафора? Она представляет собой, собственно говоря, заступление отца в качестве символа, или означающего, на место матери внутри той первоначальной символизации, которая в отношениях между матерью и ребенком успела выстроиться. В дальнейшем мы увидим, в чем это *на место* заключается – здесь перед нами поворотный пункт, нерв, суть того продвижения вперед, которое знаменует собой у субъекта эдипов комплекс.

Термины, предложенные мною в прошлом году для описания отношений между матерью и ребенком, сводятся воедино в воображаемом треугольнике, которым я вас научил пользоваться. Признать теперь в качестве базового треугольник ребенок-отец-мать означает, разумеется, привнести нечто реальное. В то же время реальное это полагает в Реальном – я имею в виду, полагает в качестве чего-то учрежденного – некую символическую связь. Причем полагает оно эту связь, если можно так выразиться, объективно, поскольку мы можем сделать ее предметом, ее рассматривать.

Первая из обладающих реальностью связей вырисовывается между матерью и ребенком – именно здесь получает ребенок первый реальный опыт контакта с окружающей его живой средой. И если мы включаем в треугольник отца, то лишь для того, чтобы обрисовать ситуацию объективно – для ребенка отец еще не вошел в него.

Для нас отец – есть, он реален. Не будем забывать, однако, что реален он для нас лишь постольку, поскольку определенные учреж-

дения сообщают ему не то чтобы отцовскую роль или функцию – это уже вопрос не социологический, – а самое имя отца. Тот факт, что акт зачатия, скажем, действительно совершен отцом, ни в коем случае не является опытно удостоверяемой истиной. В те времена, когда серьезные вещи среди аналитиков еще обсуждались, было замечено, что в иных находившихся на первобытной стадии развития племенах зачатие приписывалось вообще бог знает чему – источнику, камню, а то и вовсе встрече с духом в каком-то пустынном месте. Г-н Джонс весьма уместно заметил по этому поводу, что для разумных существ – а хотя бы малую долю разума мы во всяком человеческом существе допускаем – не обратить внимание на эту по опыту известную истину просто немыслимо. Ясно, конечно, что за одним исключением – самим по себе исключительным – женщина не рожает, если у нее не было до этого полового акта, причем не было за вполне определенный срок. Беда лишь в том, что, делая это исключительно уместное замечание, г-н Эрнест Джонс оставил за бортом все, что в этом деле действительно важно.

А важно не то, что люди прекрасно знают, что женщина не может родить, не совершив прежде полового акта, а то, что с помощью означающего они санкционируют того, с кем у нее этот половой акт был, в качестве отца. Ибо в противном случае, учитывая то, как символический порядок по своей природе сложился, ничто не препятствует тому, чтобы нечто за акт зачатия ответственное не продолжало благополучно отождествляться внутри символической системы с чем угодно – будь то камень, источник или встреча с духом в отдаленном месте.

Позиция отца в качестве отца символического вовсе не зависит от того, насколько тесно научились люди связывать между собою в необходимую последовательность два столь непохожих друг на друга события, как половой акт и рождение. Позиция Имени Отца как такового, характеристика отца в качестве родителя – все это принадлежит уровню символическому. Реализуясь в различных культурных формах, ни то, ни другое само по себе от культурной формы никак не зависит, будучи с необходимостью обусловлено означающей цепочкой как таковой. В силу самого факта, что вы некий символический порядок учреждаете, что-то в цепочке этой соответствует или не соответствует заданной Именем Отца функции, и вот внутри этой функции вы и помещаете значения, которые, сколь бы различными они ни оказывались, никогда не

подчиняются при этом иной необходимости, кроме той, что в самой функции отца заложена – ей-то как раз Имя Отца в означающей цепочке и соответствует.

По-моему, я говорил об этом и раньше, и говорил достаточно настойчиво. Именно это можем мы назвать *символической триадой* – триадой, учрежденной в Реальном с того момента, когда налицо оказалась означающая цепочка, артикуляция речи.

Я утверждаю, далее, что между этим символическим треугольником, с одной стороны, и той фигурой, что мы в прошлом году, описывая отношения между матерью и ребенком, воспроизвели здесь под названием *треугольника воображаемого*, с другой, имеется определенная связь. Обусловлена же эта связь тем, что ребенок оказывается в зависимости от желания матери, от первичной символизации матери как таковой. Пользуясь этой символизацией, ребенок отделяет свою действительную зависимость от желания матери от чистого и непосредственного переживания этой зависимости. В результате возникает, учреждается нечто такое, что на первом, примитивном уровне субъективировано. Субъективация эта состоит покуда просто-напросто в том, что мать полагается как то изначальное существо, которое может как здесь быть, так и здесь не быть. В желании ребенка, его собственном, существо это занимает принципиально важное место. Ведь что такое желанный субъект? Предметом вожделения служат не просто заботы матери, контакт с ней, самое присутствие ее – нет, предметом вожделения служит ее желание.

Уже самая первая символизация, на которой желание ребенка зиждется, содержит в себе начатки всех последующих осложнений, связанных с тем, что желание его – это желание матери. Тем самым открывается измерение, в которое скрытым образом оказывается занесенным все то, что сама мать, будучи существом, обитающим в мире символов, в мире, где символ присутствует, в мире говорящем, объективно желает. Даже если она в этом мире живет лишь частично, даже если она, как это нередко случается, оказывается существом, весьма мало к этому миру символов приспособленным или какие-то элементы этого мира просто-напросто отторгающим, изначальная символизация эта все равно открывает ребенку измерение того другого, что может его мать пожелать в плане воображаемом.

Именно так желание Другого, о котором говорил я вам восемь дней назад, о себе заявляет. Заявляет оно о себе, как видите, в форме

запутанной, темной – не субстанционально, что позволило бы разглядеть общие ее черты, как мы это на прошлой лекции и сделали, а предельно конкретно. Кроме желания удовлетворить желание мое собственное, желание существа, только-только ощутившего в себе биение жизни, есть у нее, матери, желание и чего-то Другого.

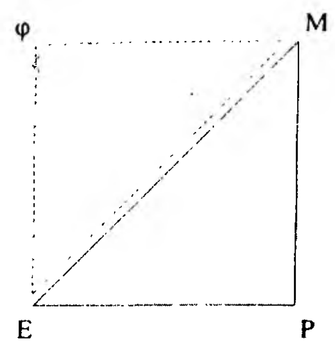
К желанию этому доступ есть, и в то же время его нет. Как получается, что в тех призрачных отношениях, где одно существо читает или предвосхищает удовлетворение своих желаний в поползновениях другого, в той подгонке собственного образа к образу своего соперника, которое имеет место во всех отношениях на чисто животном уровне, прочитывается, словно зерцалом в гадании, то, что субъект желает Другого?

Представить себе, как это происходит, действительно трудно, но еще труднее осуществить – именно в этом и состоит вся драма, связанная с происходящей на этом уровне ориентацией извращений,. Осуществимо это с трудом в том смысле, что осуществляется неправильно, хотя неизменно. И происходит это, разумеется, не без вмешательства чего-то большего, нежели изначальная символизация матери, которая приходит и вновь уходит, которую зовут, когда она отсутствует, а стоит ей придти, отталкивают, чтобы иметь возможность позвать ее снова. Это большее, без наличия которого здесь просто не обойтись, и есть не что иное, как существование за спиной матери того символического порядка, от которого она зависит и который, всегда будучи более или менее под рукой, дает определенный доступ к предмету ее желания – предмету, представляющему собой объект настолько обособленный, настолько отмеченный обусловленной символической системой необходимостью, что, ввиду преимущества, которым объект этот наделен, ни в какой другой форме предмет желания абсолютно немыслим. Объект этот именуется фаллосом – именно он и служит той осью, вокруг которой вся наша прошлогодняя диалектика объектного отношения была выстроена.

Но почему? Почему объект этот на данном месте столь уж необходим? Объяснение одно: поскольку он занимает привилегированное место в порядке Символического. Именно в этом вопросе мы и предполагаем сегодня разобраться детально.

В рисунке, который вы видите перед собой, налицо отношения симметрии между *фаллосом*, расположенным в вершине воображаемого треугольника, с одной стороны, и отцом в вершине треу-

гольника символического, с другой. Сейчас мы убедимся, что пред нами не просто симметрия, а тесная связь. Что дает мне основание сделать следующий шаг, утверждая, что связь эта носит характер метафорический?



А то же самое, собственно, что заставляет нас углубиться в диалектику эдипова комплекса. Попробуем, подобно Фрейду и тем, кто за ним последовал, сформулировать то, о чем идет речь, шаг за шагом.

Здесь все по-прежнему не до конца ясно и символически не проработано. Попробуем двинуться еще немного вперед, не ставя при этом удовлетворение собственного интеллектуального любопытства своей единственной целью. И только тогда, когда мы шаг за шагом выстроим тот, если можно так выразиться, процесс порождения, в итоге которого место отцовского означающего в символе задает собой место фаллоса в плане воображаемом; когда удастся нам четко выделить, так сказать, логические такты или фазы приобретения фаллосом статуса объекта в воображаемом плане привилегированного и преобладающего; когда выяснится, что различение этих тактов помогает нам правильно сориентироваться как в подходе к находящемуся на нашем попечении конкретному больному, так и в определении направления клинической заботы и хода лечения в целом – только тогда сочтем мы усилия наши оправданными.

Учитывая трудности, с которыми мы встречаемся в клинической работе, в постановке вопросов, в изучении больного и в терапевтическом маневрировании, оправданы эти усилия непременно будут.

Давайте теперь присмотримся к этому желанию Другого – желанию, представляющему собой желание матери и предполагающему за собой нечто себе потустороннее. Уже для того, чтобы это по-

тустороннее оказалось достигнуто, необходимо опосредование. Оно-то и задано той позицией, которую занимает в символическом порядке отец.

Чтобы не делать безапелляционных заявлений, давайте взглянем, как стоит вопрос в плане конкретном. Мы обнаружим, что имеется множество различных состояний, случаев, этапов, когда ребенок отождествляет себя с фаллосом. Это и было предметом нашего исследования на том пути, который мы вместе проделали в прошлом году. Мы обнаружили тогда, что наиболее показательным извращением является фетишизм. Именно в случае фетишизма вступает ребенок в определенные отношения с предметом по ту сторону желания матери – предметом, в чьем, так сказать, преимуществе и высшем достоинстве он убедился и с которым путем воображаемого отождествления с матерью себя связывает. Мы отметили также, что в других формах извращения, а именно в трансвестизме, ребенок решает трудности воображаемых отношений с матерью путем занятия противоположной позиции. Считается, что он отождествляет себя с фаллической матерью. Я думаю, правильнее будет сказать, что он отождествляет себя с самим фаллосом как таковым – с фаллосом, спрятанным под одеждой у матери.

Говоря обо всем этом, я напоминаю вам, что отношение ребенка к фаллосу определяется тем обстоятельством, что фаллос является объектом желания матери. О том, что элемент этот играет в отношениях между ребенком и родителями роль активную и существенную, свидетельствует, в свою очередь, и аналитический опыт. В теоретическом плане мы напомнили об этом на прошлой лекции, говоря о том, как происходит угасание эдипова комплекса в ситуации, когда комплекс этот приобретает так называемую *обращенную форму*. Уже Фрейд обращает наше внимание на случаи, когда ребенок, в какой-то мере отождествив себя с матерью и заняв тем самым позицию одновременно многозначительную и многообещающую, страшится в то же время последствий этой позиции, опасаясь, если он мальчик, лишиться в итоге признака своего мужества.

Это лишь частное наблюдение, но значение его куда шире. Аналитический опыт доказывает нам, что отец, лишая мать объекта ее желания, то есть объекта фаллического, играет тем самым если не в извращениях, то, во всяком случае, в любом неврозе, равно как и в течении, пусть даже самом естественном и благополучном, эди-

пова комплекса, принципиально важную роль. Ваш собственный аналитический опыт покажет вам, что в детстве наступает момент, когда отсутствие фаллоса у матери субъект связывает с отцом, и к факту этому вырабатывает определенное отношение. Причем момент этот неминуем.

Вернувшись на предыдущей лекции к нашему прошлогоднему курсу, мы остановились на том, что вопрос о благоприятном или неблагоприятном исходе Эдипа решается в трех плоскостях: кастрации, фрустрации и лишения, причем деятельная роль принадлежит в каждом случае отцу. В данном случае речь идет об уровне лишения. На этом уровне отец лишает субъекта того, чего, в конечном счете, у него нет, то есть чего-то такого, что обладает существованием лишь постольку, поскольку вызывается к существованию в качестве символа.

Совершенно ясно, что отец не может отобрать у матери то, чего у нее нет, путем кастрации. Чтобы положительно утверждать, что у матери его нет, необходимо, однако, чтобы то, о чем идет речь, было заранее спроецировано на плоскость символического в качестве символа. Но тогда мы имеем дело с лишением, ибо всякое подлинное лишение требует символизации. Именно в плане лишения матери этого предмета и встает, таким образом, в один прекрасный момент эволюции эдипова комплекса перед субъектом задача, состоящая в том, чтобы самостоятельно принять, зарегистрировать, обратить в символ и сделать значащим то лишение, объектом которого оказывается мать. С лишением этим ребенок-субъект либо смиряется, либо не смиряется, либо принимает его, либо отвергает. И момент этот является решающим. Возвращаться к нему приходится на каждом перепутье – всякий раз, когда в процессе работы приходим мы к пункту, который пытаемся представить в эдиповом комплексе как узловой.

Давайте, коль уж мне пришло это в голову, действительно назовем его *узловым*. Я на этом названии не настаиваю; предлагая его, я просто хочу подчеркнуть, что он далеко не совпадает с тем моментом, ключ к которому мы сейчас ищем, – с моментом угасания эдипова комплекса, с результатом его, с плодом, который он в субъекте приносит, с отождествлением, одним словом, ребенка с отцом. Есть, однако, и еще один, предшествующий этому момент, когда отец выступает в качестве того, кто причиняет лишение матери, то есть вырисовывается за отношениями между матерью и объектом ее жела-

ния в качестве "того, кто кастрирует" – я ставлю это в кавычки, ибо кастрируемый в данном случае – это не субъект, это мать.

Сказанное мной об этом узловом пункте не слишком ново. Ново здесь лишь то, что я пытаюсь сосредоточить на нем ваше внимание, ибо именно этот пункт позволит нам понять как то, что ему предшествует и на что нам некоторый свет уже удалось пролить, так и то, что за ним последует.

Оставьте сомнения, и каждый раз, встречаясь с этим, вы сами получите возможность это проверить и в этом убедиться: аналитический опыт показывает, что в случаях, когда ребенок этот узловой пункт не преодолевает, то есть тот факт, что мать лишена фаллоса, и лишена его именно отцом, признать отказывается, он прибегает, как правило, – корреляция задана здесь самой структурой – к той или иной форме отождествления объекта, того объекта, которого я с самого начала охарактеризовал в качестве объекта-соперника (слово, которое невольно само по себе здесь напрашивается), с матерью; причем происходит это в любом случае – независимо от того, идет ли речь о фобии, неврозе или же извращении. Это своего рода ориентир – лучшего слова я не могу найти – вокруг которого и сможете вы в дальнейшем перегруппировывать полученные вами в наблюдении данные, задаваясь каждый раз вопросом о том, какая конкретная конфигурация отношений ребенка с матерью, отцом и фаллосом не позволяет ему в данном случае допустить мысль о том, что мать оказалась объекта своего желания лишена, и лишена отцом. В какой мере правы мы, указывая в подобном случае на то, что коррелятом этих отношений становится у ребенка устойчивое отождествление себя с фаллосом?

Выражено это бывает, конечно же, в разной степени, и отношения эти в неврозе, психозе и извращении складываются по-разному. Но так или иначе, конфигурация этих отношений сплетена здесь в единый узел. На этом уровне вопрос ставится следующим образом: *быть или не быть, to be or not to be*, фаллосом. В воображаемом плане речь для субъекта идет о том, быть ему фаллосом или не быть. Фаза, которую субъекту в данном случае предстоит пройти, ставит его в ситуацию выбора.

Слово "выбор" я тоже советую заключить в кавычки, так как субъект здесь не столько активен, сколько пассивен – по той простой причине, что дергает за ниточки символического отнюдь не он. Фраза была начата до него, начата его родителями – я как раз и

веду вас постепенно к пониманию того, каким образом каждый из родителей с этой фразой связан и каким образом подобает им, заняв по отношению друг к другу определенную позицию, фразу эту продолжить. Поэтому, коли уж сформулировать мысль так или иначе нужно, остановимся на нейтральном варианте и скажем, что ребенок стоит перед альтернативой: быть или не быть фаллосом.

Вы чувствуете, конечно, какое усилие нужно сделать для понимания разницы между этой альтернативой и той, встреча с которой субъекту еще предстоит, хотя готовиться к ней приходится ему заранее, – альтернативой, которую мы, опираясь на другую литературную цитату, сформулируем как *иметь или не иметь*. Другими словами, иметь пенис или не иметь его – альтернатива, как видим, совсем иная. Между той и другой лежит – не забывайте этого – комплекс кастрации. Что именно комплекс кастрации собой представляет, никогда прямо не формулируется и остается до сих пор едва ли не полной загадкой. Мы знаем, тем не менее, что именно им, этим комплексом, обусловлены два важнейших факта – что мальчик делается мужчиной, с одной стороны, и что девочка становится женщиной, с другой. В обоих случаях, вопрос *иметь его или не иметь* оказывается отрегулирован – даже для того, кто, в конечном счете, владеет им по праву, для лица мужского пола – посредством комплекса кастрации. А это предполагает, что для того, чтобы его иметь, необходимо, чтобы был прежде того момент, когда его не было. То, о чем идет речь, не получило бы названия *комплекса кастрации*, если бы не оказывался при этом на переднем плане тот факт, что для того, чтобы его иметь, необходимо прежде признать, что иметь его невозможно, так что возможность оказаться кастрированным абсолютно необходима субъекту для усвоения того факта, что он обладает фаллосом.

Вот он, тот шаг, который нужно проделать, во что должен в один прекрасный момент деятельно, эффективно, реально вмешаться – отец.

2

До сих пор я, как свидетельствует сам ход моих рассуждений, мог отправляться исключительно от субъекта, говоря, что он, мол, соглашается или не соглашается, и если не соглашается, то это вынуждает его, независимо от того, мужчина он или женщина, быть фаллосом. Теперь же нам, чтобы сделать следующий шаг, без отцовско-

го вмешательства не обойтись.

Я не говорю, что он не вмешивался на деле и раньше, но мой дискурс позволял себе до сих пор держать его на заднем плане, а то и вовсе без него обходиться. Начиная с теперешнего момента, когда речь зашла о том, иметь его или не иметь, мы волей-неволей вынуждены его принимать в расчет. В первую очередь важно – я подчеркиваю – чтобы он, помимо субъекта, сложился как символ. Ибо если это не произойдет, не найдется никого, кто мог бы реально выступить в качестве облеченного этим символом. Итак, на следующем этапе он, отец, выступает в качестве реального персонажа, облеченного этим символом.

Как обстоит дело с реальным отцом – тем, кто способен наложить запрет? Мы уже заметили по этому поводу, что если речь идет о запрете на первые проявления созревающего у субъекта полового инстинкта – проявления, которые заключаются в том, что он начинает своим инструментом гордиться, его демонстрировать, предлагать матери его услугами воспользоваться, – то для этого в отце никакой нужды нет. Скажу больше: когда субъект, демонстрируя себя матери, делает ей предложения (момент, очень близкий еще к моменту воображаемого отождествления с фаллосом), то происходящее протекает по большей части (как мы в прошлом году на примере маленького Ганса уже убедились) в плане воображаемого умаления. Показать ребенку, насколько предложения его несостоятельны, и наложить на использование нового инструмента запрет прекрасно может и мать.

И тем не менее отец, безусловно, в деле участвует – участвует как носитель закона, как тот, кто делает мать предметом запретным. Мы знаем, что это лежит в основе, но вопрос о форме, в которой выступает этот закон для ребенка, остается открытым. Мы знаем, конечно, что функция отца, Имя Отца, связана с запретом на инцест, но никому и в голову не приходило выдвигать в комплексе кастрации на первый план тот факт, что именно отец этот закон, воспрещающий инцест, на деле проводит в жизнь. Закон этот иногда вслух формулируют, но это никогда не делает отец – во всяком случае, если можно так выразиться, *ex cathedra*, в качестве законодателя. Да, он служит между матерью и ребенком преградой, да, он является носителем закона, но лишь в правовом смысле, в то время как фактически он вмешивается – или не вмешивается – совсем иным образом. Это видно невооруженным глазом. Другими слова-

ми, отец, выступающий в культуре как носитель закона, отец, как фигура, облеченная в отцовское означающее, в эдиповом комплексе задействован более конкретно, более, если можно так выразиться, глубоко, о чем мы и пытаемся сегодня сказать. Перед нами тот уровень, где понять что-то труднее всего, хотя нас уверяют, что краеугольный камень Эдипа, исход его, следует искать именно здесь.

Тут-то и обнаруживается, что маленькая схема в комментировании, с которой я весь прошлый триместр, нагоняя, похоже, на некоторых из вас смертельную скуку, усердствовал, вовсе не обязательно должна пропасть для вас втуне.

Я напоминаю о том, к чему всегда полезно вернуться – не раньше, чем пройдена оказывается сложившаяся заранее область символического, намерение субъекта, то есть его перешедшее в состояние требования желание встречает, то, к чему оно обращается, свой объект, свой изначальный объект – мать. Желание – это нечто такое, что артикулируется, обретает связность. Тот мир, тот дольний, здешний мир, куда оно входит и где совершает свой путь, – это не просто *Umwelt* в смысле места, где может удовлетворять он свои потребности, а мир, где царит слово, слово, порабощающее желание каждого закону желания Другого. Требование юного субъекта преодолевает, таким образом, с большим или меньшим успехом, лежащую у него на пути линию – ту линию означающей цепочки, которая, будучи заранее налицо, навязывает ему исподволь свою структуру. И уже поэтому первый опыт отношений его с Другим связан с тем первичным Другим, которым является для него уже подвергнутая им символизации мать. Поскольку символизация имела место, обращение субъекта к матери, каким бы детским лепетом оно ни звучало, оказывается более или менее членораздельным, ибо первичная символизация эта как раз и связана с теми начатками членораздельной речи, которые отмечали мы в его *Fort–Da*. Получается, таким образом, что лишь пересечение с означающей цепочкой делает это намерение, это требование, перед лицом материнского объекта значимым.

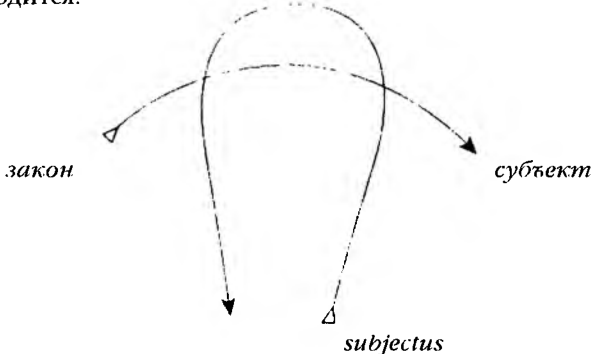
В результате ребенок, выстроивший свою мать в качестве субъекта на основе первичной символизации, оказывается безраздельно подчинен тому, что мы можем – исключительно, правда, в порядке предвосхищения – назвать *законом*. Это всего лишь метафора. И для того, чтобы подлинное место содержащейся в термине “закон” метафоры в момент, когда я ее употребляю, стало вам ясно, нам при-

дется эту метафору развернуть.

Закон матери – это, разумеется, сам тот факт, что мать – существо говорящее; уже этого одного достаточно, чтобы мы по праву могли говорить о *законе матери.* И все же закон этот, если можно так выразиться, бесконтрольный. Для субъекта, во всяком случае, он состоит в том, что нечто, имеющее отношение к его желанию, всецело зависит от чего-то другого – чего-то такого, что хотя и выражено, как закону и полагается, членораздельно, но обусловлено при этом исключительно тем субъектом, который является его носителем, то есть благосклонностью или неблагосклонностью матери – матери, которая может оказаться как хорошей, так и дурной.

Вот почему я предложу вам другой, новый термин, который, как вы сами убедитесь, не так уж и нов, поскольку достаточно чуть-чуть расширить его значение, и он вберет в себя нечто такое, что найдено языком отнюдь не случайно.

Будем исходить из того нами выдвинутого положения, что нет субъекта без означающего, который служил бы ему основанием. Первый субъект является матерью лишь постольку, поскольку имели место первичные, заключенные в означающей паре Fort-Да, акты символизации. Каким, в согласии с нашим положением, предстоит ребенок в начале своей жизни? Есть для него реальность или ее нет, свойственен ему аутоэротизм или нет? Вы сами увидите, насколько все прояснится с того момента, когда ребенок заинтересует вас как субъект, тот, от кого исходит требование, тот, в котором формируется желание – ведь к диалектике желания весь анализ и сводится.



Так вот, я утверждаю, что ребенок поначалу представляет собой *subjectus* в исконном для этого слова смысле *существа подневольного,* подданного. Подданным он является потому, что переживает и

ощущает себя в полной власти того, от чего зависит, хотя своенравие этой власти и является своенравием четко артикулированным-.Выдвинутое мною положение всем нашим опытом целиком подтверждается, и чтобы это проиллюстрировать, я воспользуюсь первым же примером, который пришел мне в голову. Вы видели в прошлом году, как удалось маленькому Гансу найти из своего эдипова комплекса необычный выход, не совпадающий, правда, с тем, который попытаемся мы наметить сейчас, но его в какой-то степени замещающий. Чтобы возместить все то, в чем явилась у него нужда в переходный момент, соответствующий тому этапу усвоения символического в виде эдипова комплекса, к которому я вас веду, ему необходима рабочая лошадка. Вот и возникает в результате та лошадка, что является у него одновременно отцом, фаллосом, сестренкой, чем угодно – по сути же дела, точно соответствует тому самому, что я вам сейчас собираюсь продемонстрировать

Вспомните, как он из комплекса выходит и какую символическую обработку получает этот выход в последнем его сновидении. На место отца привлекает он то воображаемое и всемогущее существо, что получает у него прозвание водопроводчика. И появляется этот водопроводчик именно для того, чтобы нечто субъектное раскрепостить, ибо тревога маленького Ганса и есть, по сути дела, – я уже говорил это вам – тревога закрепощенности. Начиная с какого-то момента он осознает, что закрепощен – при том и понятия не имея, чем это может для него кончиться. Вы помните схему, связанную с уходящим экипажем – экипажем, который становится средоточием его страха. Именно с этого момента фиксирует маленький Ганс в своей жизни несколько центров страха, вокруг которых и восстанавливаются им впоследствии системы защиты. Страх, то есть нечто такое, источник чего находится в Реальном, является для ребенка элементом обеспечения его безопасности. Благодаря этим страхам воссоздается им нечто, лежащее по ту сторону вызывающей у него тревогу закрепощенности – закрепощенности, которая немедленно осознается им, как только нехватка этой внешней области, этого второго плана дает о себе знать. И для того, чтобы он не обратился в *субъекта-подданного* без остатка, обязательно должно явиться нечто такое, что внушило бы ему страх.

Именно здесь надлежит обратить внимание на тот факт, что Другой, к которому он обращается, то есть мать, находится в определенных отношениях с отцом. Ни для кого не секрет, что отношения

эти зависят от массы разных вещей, тем более, что отец, по всеобщему мнению, не справляется – что наш опыт вполне подтверждает – с предназначенной ему ролью. Мне нет нужды напоминать вам, что в прошлый раз я уже обсуждал с вами все формы отцовской несостоятельности, рассматривая их в конкретных терминах человеческих отношений. Опыт свидетельствует, что несостоятельность эта действительно налицо, но никто не может ясно сформулировать, о чем, собственно, идет речь. Речь не идет здесь, собственно, об отношениях между отцом и матерью в смысле, довольно неопределенном, наличия между ними своего рода соперничества, той борьбы за престиж, в центре которой ребенок поневоле оказывается. Подобная схема взаимоотношений, безусловно, верна, а наличие инстанций-двойников более чем необходимо – ибо без них не было бы и троичности, – но полной картины, тем не менее, не возникает, хотя то, что между этими двумя инстанциями происходит, играет, по всеобщему признанию, принципиальную роль.

Мы возвращаемся, следовательно, к тем узам любви и уважения, которые и являются для многих в анализе случая маленького Ганса самым главным – была ли мать достаточно привязана к отцу, достаточно приветлива с ним? Возвращаемся, неизбежно попадая в привычную колею социологического, на окружение ориентированного анализа. На самом же деле речь не столько о личных отношениях между отцом и матерью, не столько об оценке значимости каждого из них в отдельности, сколько о моменте, который должен быть пережит как таковой, моменте, возникающем не просто в отношениях матери как личности с отцом как личностью, сколько в отношениях матери с отцовской речью – с отцом, выступающим в этой роли постольку, поскольку то, что он говорит, не имеет себе абсолютно ничего равноценного.

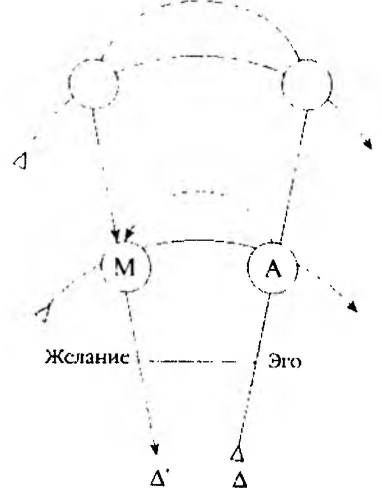
Что действительно идет в счет, так это та функция, в которой выступают, во-первых, Имя Отца, то есть само по себе означающее его; во-вторых, артикулируемая отцом речь; и, в-третьих, закон, насколько отец сохраняет с ним более или менее интимные отношения. Что действительно важно, так это то, что мать дает отцу место посредника, представителя того, что лежит по ту сторону ее собственного закона и ее произвола – другими словами, просто-напросто закона как такового. Речь идет, таким образом, об отце как Имени Отца – Имени, которое, как весь ход развития фрейдовского учения о том и свидетельствует, с провозглашением закона тес-

нейшим образом связано. Именно на этом основании, то есть в качестве того, кто лишает или не лишает мать объекта ее желания, отец либо принимается ребенком, либо не принимается им.

Другими словами, чтобы понять комплекс Эдипа, нам следует рассмотреть три фазы, три временных такта, которые я и попробую представить вам схематически, используя для этого построенную нами в первом триместре маленькую диаграмму.

3

Такт первый. То, что ребенок в качестве желания ищет, это возможность удовлетворить желанию матери; другими словами, вопрос для него заключается в том, быть или не быть ему, *to be or not to be* объектом желания матери. Он вводит, таким образом, здесь, в Δ, свое требование, результат, плод которого появится на другом конце вектора в точке Δ'.



На этом пути лежат две точки: та, что соответствует чему-то такому, что выступает как его *эго*, и еще одна, расположенная напротив и соответствующая здесь его другому, тому, с чем он отождествляет себя, другими словами – объекту, который окажется способен удовлетворить мать. Едва начав теребить расположенное у него пониже живота хозяйство, он немедленно пытается демонстрировать его матери – история обычная: *хочу знать, на что я способен*, история, неизменно кончающаяся разочарованием. Ища ответа на свой вопрос, он находит-таки его – находит постольку, поскольку требование его предстает вопросом, обращенным к матери. Она же,

в свою очередь, преследует собственное свое желание, и ребенок догадывается, где составляющие его надо искать.

В первом такте, на первом этапе, речь, таким образом, идет о следующем: субъект отождествляет себя в зеркале с тем, что является объектом желания его матери. Это и есть первичный фаллический этап – тот, на котором отцовская метафора действует сама по себе, поскольку первенство фаллоса уже утверждено в мире самим существованием символа дискурса и закона. Ребенок из всего этого усваивает лишь вывод, который если вы позволите мне, чтобы не затягивать дело, вложить в его уста мои собственные слова, звучит так: чтобы понравиться матери, необходимо и достаточно быть фаллосом. На этом этапе многие вещи оказываются остановлены и в каком-то смысле зафиксированы. В зависимости от того, насколько удовлетворительно реализуется в М сообщение, могут возникать те или иные трудности или нарушения, среди которых те отождествления, которые мы охарактеризовали как извращенные.

Второй такт. Я уже сказал, что в воображаемом плане отец выступает как фигура, которая мать чего-то лишает, а это значит, что обращенное к Другому требование отправляется, при условии правильной его передачи, в суд, так сказать, высшей инстанции.

И в самом деле: вопрос, обращенный субъектом к Другому, неизменно с той или иной стороны сталкивается – при условии, что Другой субъектом исследован до конца, – с Другим этого Другого, то есть с собственным его, Другого, законом. Именно на этом уровне и происходит то, в результате чего ребенку достается в ответ просто-напросто в чистом виде закон отца – закон, который предстает в воображении ребенка как причина, по которой терпит лишение его мать. Это стадия, если можно так выразиться, узловая, негативная – стадия, в ходе которой то, что отделяет субъекта от предмета, с которым он отождествляет себя, привязывает его в то же время к закону, принимающему облик того неоспоримого факта, что мать его находится в зависимости от объекта, который является уже не просто объектом ее желания, а объектом, который имеется или не имеется у Другого.

Тесная связь между отнесенностью матери к закону, который является не ее собственным, а законом Другого, и тем фактом, что объект находится реально в полном распоряжении того самого Другого, с чьим законом она соотнесена, дает нам ключ к отношениям эдипова комплекса. Выделяя то, что придает ему решающий

характер, мы обнаруживаем, что это вовсе не отношения с отцом, а отношения с отцовским словом.

Вспомните маленького Ганса, чей случай мы рассматривали в прошлом году. Отец Ганса, существо понимающее и чуткое, окружает ребенка своим вниманием, является ему лучшим другом; как человек неглупый, он приводит сына к Фрейду, что в его время свидетельствует об уме просвещенном, – и несмотря на все это, он совершенно беспомощен, а все, что он говорит (я имею в виду, когда он говорит с матерью), это простое сотрясение воздуха. Это совершенно ясно – независимо от того, какие реальные отношения сложились внутри этой родительской пары.

Мать – обратите внимание – занимает по отношению к маленькому Гансу позицию двусмысленную. Именно от нее исходят запреты, именно она играет роль кастратора, которую обычно в реальном плане приписывают отцу, именно она говорит Гансу: "не притрагивайся к этому, это гадко!" Все это, однако, отнюдь не мешает ей, в плане практическом, допускать к себе сына чрезвычайно близко – она не просто позволяет ему выполнять функцию воображаемого объекта, она его к этому поощряет. Ребенок оказывает ей, по сути дела, неоценимую услугу – он без остатка воплощает в себе ее фаллос, прочно занимая, таким образом, подчиненную, зависимую позицию субъекта как *под-лежащего*. Он подчинен ей – это и является единственным источником его тревоги и его фобии.

Здесь налицо проблема, поскольку положение отца ставится под вопрос тем фактом, что вовсе не его слово является для матери законом. Но это еще не все – похоже, что в случае с маленьким Гансом то, что должно было бы произойти в третьем такте, так и не имеет места. Именно поэтому я и обратил в прошлом году ваше внимание на то, что в случае маленького Ганса результат эдипова комплекса фальсифицирован. Несмотря на то, что выход из него он, благодаря своей фобии, так или иначе нашел, его любовная жизнь так и останется навсегда отмечена тем воображаемым стилем, о дальнейших судьбах которого я вам уже рассказывал на примере Леонардо да Винчи.

Третий этап менее важен, нежели второй, ибо исход эдипова комплекса зависит именно от него. Ведь что касается фаллоса, то отец уже успел засвидетельствовать, что дает он его исключительно лишь постольку, поскольку является носителем закона – его, так сказать, столпом и опорой. Именно от него зависит, обладает материнский

субъект фаллосом или же нет. Поскольку этап второго такта к этому времени уже пройден, теперь, в третьем такте, необходимо, чтобы отец обещанное им выполнил. Имея фаллос, он волен как дать его, так и отказать в нем, но тот факт, что он, фаллос, у него есть, ему еще предстоит подтвердить. Именно потому, что в третьем такте он выступает как тот, кто фаллос имеет, а не как тот, кто является фаллосом сам, и может произойти кувырок, который восстановит инстанцию фаллоса в качестве объекта желания матери, а не просто, как это было раньше, того объекта, которого отец может ее лишить.

Отец всемогущий, всесильный – это тот отец, который лишает. Это и есть второй такт – стадия, на которой остановился анализ Эдипа в эпоху, когда аналитики полагали, что все бедственные последствия комплекса обусловлены всемогуществом отца. Дальше этого второго такта ни у кого мысль не шла – никто не задумывался особо над тем, что кастрация, которая здесь совершается, лишает фаллоса не ребенка, а мать.

Третий такт – вот он: отец может дать матери то, что она желает, и может потому, что имеет это сам. Здесь-то и выступает, таким образом, фактор могущества в генитальном смысле этого слова – можно сказать, что отец является здесь как наделенный потенцией. В силу чего отношение матери к отцу переносится в реальный план.

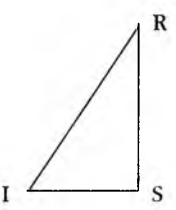
Возможная идентификация с отцовской инстанцией оказалась здесь, таким образом, на протяжении трех тактов осуществленной.

В первом такте отцовская инстанция выступает покуда в форме завуалированной, неявной. И тем не менее в реальности этого мира, то есть, попросту говоря, в мире, отец существует – существует уже потому, что правит этим миром закон символа. В силу этого факта вопрос о фаллосе где-то в матери уже поставлен, и ребенку предстоит с вопросом этим столкнуться.

Во втором такте отец заявляет о себе своим обусловливающим лишение присутствием, заявляет постольку, поскольку является опорой закона, причем происходит это уже не в завуалированной форме, а посредством матери, которая и является фигурой, полагающей его в качестве того, кто задает ей закон.

В третьем такте отец обнаруживается, так как ясно становится, что он, отец, его имеет. Это и знаменует собой исход эдипова комплекса. Исход этот благополучен, если идентификация с отцом на-

ступает именно в этом, третьем такте, где отец выступает как тот, кто его имеет. Идентификация эта называется *Идеалом Я* и вписывается в ту вершину символического треугольника, которую занимает ребенок. Происходит это по мере того, как на материнском полюсе начинает складываться все, что станет впоследствии реальностью, а на уровне отца начинается образование того, что станет впоследствии сверх-Я.



Таким образом, в третьем такте отец выступает как реальный и обладающий потенцией. Такт этот приходит на смену лишения, или кастрации, жертвой которых становится мать, которая предстает в воображении субъекта как находящаяся в воображаемом состоянии зависимости от отца. И по мере того, как отец выступает как тот, кто его имеет, он вбирается, интериоризируется объектом в качестве Идеала его собственного Я. Именно с этого момента и начинается – не будем забывать это – участие эдипова комплекса.

Что это означает? Это не значит, как вы понимаете, что вся полнота сексуальных возможностей оказывается у ребенка в распоряжении и он тут же начинает их применять. Напротив, он не применяет их вовсе – можно сказать, что в качестве исполнителя тех функций, что начали в нем пробуждаться, он оказался явно не на уровне. И все же, если положения, которые сформулировал Фрейд, имеют смысл, то все права на использование этих возможностей в будущем с этого момента у ребенка в кармане. Отцовская метафора играет здесь ту самую роль, которую естественно с нашей стороны от метафоры ожидать: приходя к созданию и закреплению чего-то такого, что относится к разряду означающего, оно как бы сохраняется в этом разряде в видах на будущее, так что значение его должно сформироваться лишь позже. Все права на то, чтобы стать человеком, у ребенка уже есть, и если что-то впоследствии, в момент полового созревания, будет у него оспорено, то это непременно окажется связано с чем-то таким, что не вполне удовлетворяет метафорической идентификации с образом отца в том виде, в котором она сложится у него в ходе рассмотренных нами трех тактов.

Обратите внимание: это означает, что в той мере, в какой человек обладает мужественностью, он всегда является в той или иной степени своей собственной метафорой. Больше того, именно это и накладывает на термин "мужескость" ту печать смехотворности, с которой приходится так или иначе считаться.

И вот еще на что я хочу обратить ваше внимание: вы все знаете, конечно, что для женщины эдипов комплекс разрешается по-иному. Как подчеркивает сам Фрейд (прочтите его статью об угасании Эдипа), третий этап оказывается для нее гораздо проще. Ни в идентификации, ни в сохранении прав на мужественность ей нужды нет. Что касается ее, то она знает, где он, она знает, куда пойти, чтобы его взять, и, зная, что это у отца, она и идет к тому, у кого он есть.

Это говорит еще и о том, в каком отношении женственность, настоящая женственность всегда имеет до известной степени измерение алиби. Настоящие женщины – в них всегда есть что-то шальное.

Это предположение я делаю исключительно для того, чтобы обратить ваше внимание на конкретное измерение этого развития.

Сегодня это, как вы сами чувствуете, всего-навсего диаграмма. Мы вернемся впоследствии к каждому из этих этапов и рассмотрим, что с каждым из них конкретно связано. В заключение я скажу несколько слов в оправдание использования мною термина *метафора*.

Обратите внимание: то, о чем здесь идет речь, – это в основе своей не что иное, как развернутая метафора, столь обычно возникающая на маниакальной почве. Ведь та формула метафоры, которую я только что вам предложил, имеет по сути дела в виду лишь одно – налицо две цепочки: заглавные S верхнего уровня, которые суть не что иное, как означающие, а под ними подвижный сонм циркулирующих означаемых – подвижный, поскольку каждое из них готово в любой момент ускользнуть. Пришпиливание одного уровня к другому в точках крепления, о которых я говорил, – это чистой воды миф, так как пришпилить отдельно взятое означающее к отдельно взятому означаемому не удавалось еще никому. Зато пришпилить одно означающее к другому означающему и посмотреть, что это нам даст, можно запросто. А возникает в этом случае нечто новое, так же порою непредсказуемое, как непредсказуем продукт химической реакции, – образуется, собственно говоря, новое значение.

Отец является, в Другом, тем означающим, которым представ-

лено в нем существование места означающей цепочки, выступающей как закон. И располагается он, так сказать, над этой цепочкой.

$$\frac{S}{\underline{S\,S\,S\,S\,S}}$$
$$s\,s\,s\,s\,s\,s$$

Отец находится в метафизической позиции лишь постольку и ровно в той мере, в которой мать делает его фигурой, которая санкционирует своим присутствием само существование места закона как таковое. Для способов и путей, которыми это осуществляется, остается огромный простор, почему механизм этот и оказывается совместим с самыми различными конкретными конфигурациями отношений в семье.

Только в той мере, в которой это осуществлено, и может быть пройден третий этап Эдипа – этап идентификации, тот самый, на котором мальчику предстоит идентифицировать себя с отцом как обладателем пениса, а девочке – признать в качестве обладателя пениса мужчину.

Что из этого следует, мы в следующий раз увидим.

22 января 1958 года

XI
Три такта Эдипа (II)

Желание желания
Метонимический фаллос
Обязательства господина Ла Кастра
Injet *и* adjet
Клиника мужской гомосексуальности

Я рассказываю вам об отцовской метафоре. Надеюсь, вы заметили, что говорю я при этом о комплексе кастрации. Но говорю об Эдипе я вовсе не потому, что говорю об отцовской метафоре. Если бы темой моей был Эдип, это повлекло бы за собой множество вопросов, а рассказывать обо всем сразу я не могу.

Схема, которую я вам в прошлый раз предложил, собирает воедино все то, что я хотел вам объяснить, говоря о трех тактах эдипова комплекса. Речь идет, и я каждый раз это подчеркиваю, о структуре, которая складывается отнюдь не там, где субъект идет на собственные авантюры, о структуре, в которую субъекту предстоит включиться. Интересовать она может, помимо нас, и многих других – по различным поводам. Предоставим тем из психологов, кто проецирует индивидуальные отношения на межчеловеческую, или интерпсихологическую, или социальную сферу, или на область межгруппового взаимодействия, попытаться вписать эту структуру, насколько это возможно, в их собственные схемы. Не мешало бы и социологам иметь в виду те структурные отношения, которые являются для нас общей с ними почвой – являются по той простой причине, что коренится все именно в них, что само существование эдипова комплекса не имеет социального оправдания, то есть ни на какой социальной целесообразности не основано. Но именно наше положение позволяет увидеть, каким образом должен субъект включиться в те отношения, которые мы называем отношениями эдипова комплекса.

Не мне принадлежит мысль, что включиться в них субъект может лишь при условии, что ведущую роль играет при этом мужской половой орган. Именно он является центром, осью, объектом всего, что имеет отношение к той, надо признаться, беспорядоч-

ной и не получившей еще четких границ совокупности событий, которая известна у нас как комплекс кастрации. О ней упорно продолжают, тем не менее, рассуждать в терминах, которые, как это ни удивительно, публику с некоторых пор устраивают.

Что касается меня, то посреди поднятой мною здесь своего рода психоаналитической бури я попытаюсь явить вам письмена, которые не изгладятся, – другими словами, я попытаюсь создать понятия, которые помогут различить между собою различные уровни, на которых происходит то, о чем в комплексе кастрации идет речь.

Понятие об этом комплексе приходится вводить не только на уровне перверсии, которую я назвал бы первичной, то есть в плане Воображаемого, но и перверсии, о которой нам предстоит, возможно, говорить подробнее сегодня и которая теснейшим образом связана с завершением эдипова комплекса, – я имею в виду гомосексуальность.

Чтобы добиться ясности в этом деле, я снова – поскольку перед нами уже новая тема – прибегну к способу, которым описал я эдипов комплекс на прошлой лекции. На сей раз я сфокусирую внимание на феномене, связанном с той особенной ролью, что принадлежит в этом комплексе, в качестве объекта, мужскому половому члену. Вновь проделав, для вящей ясности, весь путь шаг за шагом, я, как и обещал, продемонстрирую вам, что рассуждения наши проливают определенный свет на хорошо известные, но в теоретическую схему плохо укладывающиеся явления гомосексуальности.

1

В тех содержащих квинтэссенцию клинического опыта схемах, что были мною предложены, я пытаюсь ввести понятие о тактах. Это не обязательно такты хронологические, но суть не в этом – ведь и логические такты не могут развернуться иначе, нежели в той или иной последовательности.

Я уже говорил вам, что в первом такте мы имеем отношение ребенка не к матери, как говорят обычно, а к желанию матери. Перед нами желание желания. У меня были случаи убедиться, что формулировка эта не слишком привычна и что иным трудно бывает освоиться с представлением, что просто что-то желать, и желать желание другого субъекта, – далеко не одно и то же. Важнее всего здесь понять, что пресловутое желание желания подразумевает, что речь идет о первичном объекте, то есть, собственно говоря, о матери, и

что объект этот образован был таким образом, что желание его может оказаться желанием для другого желания – желания ребенка.

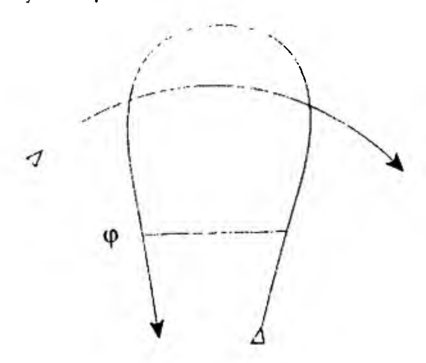
Какое же место занимает у нас диалектика этого первого этапа? Ребенок на нем в высшей степени изолирован и начисто лишен чего бы то ни было, за исключением желания того Другого, который уже сложился для него к этому времени в качестве *Другого, способного присутствовать или отсутствовать*. Попробуем поближе присмотреться к тому, каковы отношения ребенка с тем, о чем идет речь, то есть с объектом желания матери. То, через что предстоит пройти, – это D, то есть желание [desir] матери, желание, которое и является объектом желания для ребенка, D (D). Вопрос заключается в том, как он сможет этого объекта достичь – ведь на уровне матери, в существовании своем намного ребенка опережающей, объект этот успел получить строение не в пример более сложное.

Мы постулировали, далее, что объект этот, будучи осью, вокруг которой обращается вся диалектика субъекта, есть не что иное, как фаллос. Речь идет о фаллосе как том самом предмете, который и является для матери желанным. С точки зрения структуры существует несколько различных форм связи матери с фаллосом. Играя в субъективном устроении матери главную роль, он может, в качестве объекта, находиться в различных состояниях – что как раз и создает нам впоследствии немало сложностей. На данный момент, однако, мы удовлетворимся тем, что возьмем его таким, какой он есть, ибо внести во все то, что относится к разряду аналитических феноменов, порядок и верную перспективу, нам удается, на наш взгляд, лишь в том случае, если исходить мы будем из означающей структуры и циркуляции означающих. Если наши ориентиры надежны и постоянны, то это потому, что они структурны, что они ведут нас путями означающих построений. Это и есть то, чем мы руководствуемся, и потому беспокоиться о том, что представляет собой фаллос для определенной матери в каждом конкретном случае, нам здесь не приходится. Это, разумеется, тоже не безразлично, и позже мы к этой теме еще вернемся.

Воспользуемся поначалу просто-напросто нашей обычной схемой: фаллос расположен здесь, внизу слева и представляет собой метонимический объект.

Итак, в означающем место фаллоса нам довольно определить именно так – это метонимический объект. Ввиду существования оз-

начающей цепочки он будет в любом случае циркулировать в означающем повсюду – как колечко, бегающее от игрока к игроку при игре в веревочку. В означаемом он является тем, что возникает в нем вследствие самого существования означающего. Опыт показывает, что означаемое это приобретает для субъекта чрезвычайно важную роль – роль универсального объекта.

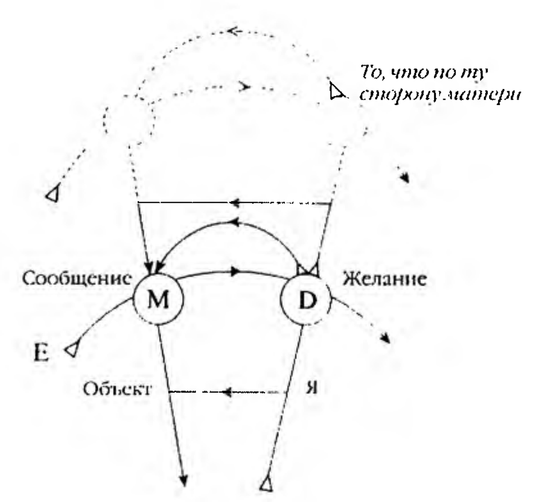


В этом как раз и заключается самое удивительное. Именно этим возмущаются те, кто хотел бы, чтобы ситуация в отношении сексуального объекта была для обоих полов симметричной. Точно так же, как мужчине предстоит открыть для себя, как его инструмент работает, а затем на ряде самостоятельных опытов его к действию приспособить, должно, по их мнению, обстоять дело и с женщиной, вся диалектика которой должна строиться вокруг *cunnus*. Анализ обнаружил, однако, что на деле ничего подобного нет. В этом и состоит лучшее подтверждение того, что у психоанализа есть своя, самостоятельная область – область, которая не имеет с развитием инстинктов, независимо от его степени, ничего общего и которая, в целом, накладывается на анатомию, то есть на реальное существование индивидов, не совпадая с ними.

Как можно представить себе, что ребенок, испытывающий желание стать объектом желания матери, это желание удовлетворяет? Единственный способ достичь этого заключается для него в том, чтобы занять место объекта ее желания.

Что это означает? Вот, в точке Е, ребенок. Нам уже не раз приходилось представлять его на схеме отношением его требования к существованию означающей артикуляции как таковой – артикуляции, которая не просто пребывает у него где-то внутри, а ему встречается.

В пункте, намеченном буквой Я, нет пока ничего – по крайней мере, в принципе. Созидание субъекта в качестве Я дискурса вовсе



не обязательно на этом этапе оказывается различимо, хотя подспудно оно происходит уже в первой же означающей модуляции. Я вовсе не обязательно обозначает себя в дискурсе как таковое, чтобы стать, таким образом, его носителем. В междометии, в требовании (*иди сюда!*), в призыве (*эй, ты!*) Я присутствует, но присутствует в скрытом виде. На схеме мы могли бы показать это, сделав черту между Я и D пунктирной. Соответственно, не сложился еще для ребенка и метонимический объект, расположенный у нас на схеме напротив Я.

В пункт D приходит ожидаемое ребенком желание матери. Напротив него помещается то, что станет результатом встречи призыва ребенка с существованием матери как Другого, – одним словом, сообщение, M. Что нужно для того, чтобы ребенку удалось совпасть с объектом желания матери – объектом, который мы уже на этом уровне можем представить как нечто такое, что находится в непосредственных пределах его досягаемости?

Начнем с того, что обозначим пунктирной линией (на этот раз по другим причинам – как нечто для ребенка абсолютно недосягаемое) то, что находится по ту сторону матери.

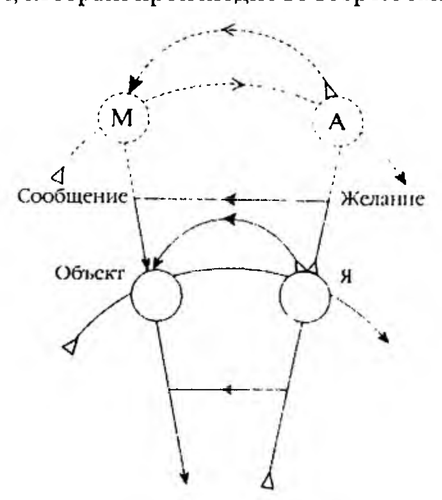
Чтобы ребенку удалось с объектом желания матери совпасть, необходимо и достаточно следующее. Во-первых, скрыто присутствующее в дискурсе ребенка Я должно явиться сюда, в D, чтобы здесь, на уровне Другого, то есть матери, оказаться выстроено – чтобы Я матери стало, иными словами, Другим ребенка. Во-вторых, то, что циркулирует на уровне матери, по мере артикуляции ею своего же-

лания, в D, должно, в качестве адресованного ребенку сообщения, прийти в М. Последнее предполагает, что ребенок отказывается, в конечном счете, на какой-то момент, от всего, что было бы собственной его речью. Большой беды в этом, однако, нет, так как речь его находится в это время еще в процессе образования. Таким образом, ребенок получает в М непосредственное сообщение о желании его матери, в то время как ниже, на уровне метонимическом по отношению к тому, что говорит мать, происходит идентификация его с объектом этой последней.

Все это чистой воды теория, но не поняв этого с самого начала, невозможно представить себе и как происходит то, чему суждено произойти впоследствии – то есть как происходит вмешательство того, что находится по ту сторону матери и сложилось в результате отношений ее с другим дискурсом – дискурсом отца.

Итак, лишь по мере того, как ребенок усваивает желание матери (а усваивает он его в реальности ее дискурса, грубо непосредственным образом), открывается для него возможность вписаться на место материнской метонимии, то есть стать тем, что я назвал в прошлый раз *субъектом-подданным.*

Вы видите теперь, на каком смещении основано то, что назовем мы в этом случае *первичной идентификацией*. Смещение это состоит в обмене, при котором Я субъекта заступает место выступавшей в роли Другого матери, а Я матери становится уже его, этого Я, Другим. Это как раз и выражено на нашей схеме переходом на ступеньку выше – подъемом, который происходит во втором такте.



Поворотным для второго такта является момент, когда в качестве фигуры, от которой исходит запрет, дает о себе знать отец. Является он при этом как опосредованный дискурсом матери. Только что, на первом этапе эдипова комплекса, дискурс матери воспринимался в первозданном своем состоянии. Говоря теперь, что дискурс отца опосредован, мы имеем в виду не очередное вмешательство того, во что превращает дискурс отца мать, а факт действительного вторжения речи отца в дискурс матери. Дискурс отца заявляет о себе, следовательно, не столь прикровенно, как на первом этапе, но полностью он еще не раскрылся. Именно поэтому мы в данном случае термин *опосредованный* и используем.

На этом этапе отец выступает под видом сообщения, которое адресовано матери. Он держит речь в М, и то, что он высказывает, представляет собой запрет, некое *не*....Передается оно на уровне, где ребенок принимает сообщение, ожидаемое от матери. Его *не*... – это сообщение о сообщении. Это особая форма сообщения о сообщении, которую, к моему великому удивлению, лингвисты (что свидетельствует о заинтересованности нашей в совместной работе) как таковую не замечают, – форма сообщения, которую мы назовем *прещением* (interdiction).

Сообщение это не сводится к простому *Ты не ляжешь со своей матерью* – слова, которые в этом возрасте ребенку приходится уже слышать – ибо обращено оно к матери. *Не усваивай себе вновь то, что ты произвела на свет*! – вот в чем заключается его суть. Все хорошо известные формы так называемого инстинкта материнства – вот чему ставится здесь преграда. Не случайно первичная форма материнского инстинкта проявляется у многих животных – возможно, даже отчетливее, чем у людей? – в оральной, если можно так деликатно выразиться, *реинтеграции* самкой того, что выпало у нее из противоположного места.

Прещение это является как таковое в А, где отец предстает в качестве Другого. Тем самым ребенок ставится по существу под вопрос, а его позиция субъекта-подданного оказывается поколебленной, что сообщает ему потенциальность и виртуальность, в конечном итоге для него спасительную. Другими словами, лишь постольку, поскольку желание матери затронуто отцовским прещением, круг вокруг ребенка полностью не замыкается и он не становится объектом желания матери в чистом виде. Процесс может, в принципе, остановиться и на первом этапе, учитывая, что отношение

ребенка к матери так или иначе скрыто, предполагает тройственность, так как желает он не ее, а ее желание. Перед нами с первого шага налицо символическое отношение, позволяющее субъекту впервые замкнуть желание на желание и успешно найти объект желания своей матери. Все это ставится, однако, под вопрос отцовским прещением, оставляющим ребенка с его желанием желания матери в немой растерянности.

Второй этап содержит в себе несколько меньше скрытых возможностей, нежели первый. Он ощутим, заметен, но по сути своей, так сказать, мгновенен, или, по крайней мере, скоропреходящ. Но это ничуть не умаляет его значения, так как именно к нему в конечном итоге сводится суть того, что называем мы в эдиповом комплексе *моментом лишения*. Лишь после того, как ребенок окажется согнан, для его же вящего блага, с той идеальной позиции, которой он и мать могли бы удовольствоваться и где он выполняет функцию ее метонимического объекта, – лишь после этого могут установиться отношения третьего типа, открыться следующий, плодотворный этап.

На этом этапе ребенок действительно становится чем-то другим, ибо именно на нем происходит та идентификация с отцом, о которой я вам в прошлый раз говорил, и приобретается виртуальное право иметь то, что имеет отец.

Набросав в прошлый раз общую картину трех тактов Эдипа, я сделал это для того, чтобы сегодня мне не пришлось начинать все с начала. Точнее, для того, чтобы не спеша проделать теперь весь путь шаг за шагом.

2

Остановимся немного, чтобы сделать нечто вроде отступления – но отступления очень важного и касающегося психозов.

То, как в этот момент отец вмешивается в диалектику Эдипа, нам исключительно важно будет сейчас рассмотреть.

Вы лучше уясните это, обратившись к статье, написанной мною для будущего номера журнала “Психоанализ”, – статье, подводящей итоги всему тому, чему я посвятил совой курс в том году, когда мы говорили с вами о фрейдовских структурах психоза. Характер публикации не позволил мне включить в нее предыдущую схему, которая потребовала бы много предварительных объяснений, но когда вы эту статью прочтете (что, надеюсь, вы сможете сделать скоро),

вам удобнее будет вернуться к тому, что я обрисую теперь в общих чертах.

В психозе Имя Отца, то есть отец в качестве символической функции, отец, взятый на уровне того, что происходит здесь между сообщением и кодом, или кодом и сообщением, оказывается отвергнутым, *verworfen*. Поэтому здесь нет того, что я представил на схеме пунктирной линией, то есть того, посредством чего отец вмешивается в качестве закона. А есть здесь лишь грубое вторжение сообщения "не...!" в сообщение, адресованное ребенку матерью. Сообщение это в его сыром, первозданном виде, является в то же время источником кода, находящегося по ту сторону матери. На схеме перед вами, где контуры движения означающих наглядно представлены, это хорошо видно.

Обратимся к случаю судебного председателя Шребера. Когда на важнейшем повороте жизненного пути от него потребовалось добиться того, чтобы на положенном месте выступило в качестве ответа Имя Отца, а ответить оттуда, где его никогда не было, оно никак не могло, возникает у Шребера на месте Имени Отца эта структура. Осуществляется это путем грубого, реального вмешательства стоящего за матерью отца – отца, который не дает матери в данном случае той опоры, которую он мог бы дать ей как виновник закона. Именно поэтому в самый главный, чреватый последствиями момент развития психоза и является Шреберу – что? – слуховые галлюцинации двух главных типов, между которыми, кстати в классических учебных пособиях никогда четкой границы не проводится.

Если вы желаете что-то понять в галлюцинациях, прочесть уникальную работу психотика Шребера вам будет куда полезнее, чем углубляться в труды светил нашей психиатрии, которые подходят к проблеме галлюцинации с готовым, усвоенным на школьных уроках философии масштабом – ощущение, восприятие, восприятие без объекта и прочая дребедень.

Что касается председателя Шребера, то он отчетливо различает два порядка явлений.

Имеются, с одной стороны, голоса, говорящие на основополагающем языке, – голоса, свойство которых состоит в том, что они обучают субъекта коду этого языка в процессе самой речи. Послания, которые он на этом языке получает, – послания, состоящие из слов, которые, независимо от того, являются ли они в буквальном

смысле слова неологизмами, всегда каким-то образом к этой категории принадлежат, – заключаются в сообщении субъекту того, что представляют эти слова в новом коде, том коде, в котором воспроизводится для него целый, новый для него, мир, целая значащая вселенная. Другими словами, первая серия галлюцинаций состоит из сообщений о новом коде, предстающем в них как нечто, исходящее от Другого. В них-то самое ужасное из того, что несут с собой галлюцинации, и заключается.

С другой стороны, имеется еще одна форма сообщения – сообщение прерванное. Вы помните, наверное, эти маленькие обрывки фраз вроде: *он должен, собственно; теперь мне хочется* и т. д. Все они представляют собой первые слова приказаний, а в ряде случаев и формулировок, выражающих самые настоящие принципы поведения, например: *Закончить дело, когда оно начато* и прочее в том же роде.

Короче говоря, сообщения эти, воздействуя на субъект подобно силам индукции, предстают как сообщения в чистом виде, как приказы, притом приказы прерванные, и место их с обоих сторон – как кода, так и собственно сообщения – определяется, поскольку стороны эти друг с другом не связаны, с большой легкостью.

Вот чем кончается вмешательство отца в случаях, когда с самого начала оказалось упразднено и так и не было включено в жизнь субъекта то, чем связность дискурса, собственно, и обусловлена, – тот на себя самого направленный акт санкционирования, посредством которого отец, завершив свой дискурс, к нему вновь возвращается, санкционируя его уже в качестве закона.

Перейдем теперь к следующему этапу эдипова комплекса – этапу, который в нормальных условиях предполагает, что в дело вмешивается отец, причем вмешивается, как мы уже в последний раз говорили, постольку, поскольку он это имеет. А вмешивается он на этом уровне, чтобы дать то, пропажу чего и подразумевает как раз "фаллическое лишение" – рубеж, которому в развитии эдипа и трех его тактах принадлежит главное место. Явление отца состоит, собственно, в акте дара. С этого момента присутствие его уже не дает о себе знать лишь косвенно, под маской исчезновения и появления матери, а заявляет о себе открыто, в его собственном, отцовском дискурсе. В каком-то смысле сообщение отца становится сообщением матери – постольку, поскольку сам он это разрешает и дозволяет. Схема, которую я нарисовал для вас в прошлый раз, иллюст-

рирует, собственно, только одно: что сообщение отца, получив собственное, независимое воплощение, может привести к надстройке еще одного этажа, в результате чего то, что субъект пытался получить из сообщения матери, он может теперь получить из сообщения отца. Обманутый уловкой дара или данного матери разрешения, субъект смиряется в конечном счете с тем, что пенис ему позволяется иметь несколько позже. Вот что в фазе угасания Эдипа, собственно, происходит – удостоверение, гарантия на будущее, оказывается, как мы прошлый раз и говорили, у субъекта в кармане.

Напомню вам один забавный исторический анекдот. Некая дама, муж которой хотел быть уверен, что жена не изменяет ему, дала ему письменное в том заверение, после чего, ведя бурную светскую жизнь, частенько говаривала: "*Хороша же грамотка у господина Лакастра!*" Так вот, Лакастр этот и наш кастрированный малыш – они одного порядка: оба заручаются к концу Эдипа грамотками-гарантиями. Однако гарантии эти на самом деле не так уж пусты – именно на них опираться будет впоследствии, при наиболее благоприятном исходе, то спокойствие, с которым примет субъект обладание пенисом, то есть станет кем-то таким, кто его отцу идентичен.

Но это этап, две стороны которого всегда способны, как видите, поменяться местами. Есть нечто абстрактное и в то же время диалектическое в отношениях между теми двумя тактами, о которых я только что говорил вам, – тем, где отец вмешивается как инстанция запрещающая и лишающая, и тем, где он вмешивается как инстанция позволяющая и дарующая – дарующая на уровне матери. Без всего прочего он может и обойтись – чтобы увидеть это, достаточно поместить себя на уровень матери и заново задаться вопросом о парадоксе, который преподносит нам центральный характер фаллического объекта как предмета воображения.

Мать – это женщина, которая предполагается нами уже пришедшей в полную меру женской своей ненасытности, и потому возражение, с которым встречается приписывание фаллосу воображаемой функции, является вполне основательным. Если мать – это то, что мы сказали, то фаллос воображаемым объектом не назовешь – она уже давно в этом предмете толк знает. Другими словами, фаллос на уровне матери не является объектом чисто воображаемым – это еще и нечто такое, что выполняет свою функцию на уровне

инстинкта, функцию инструмента, который находится у этого инстинкта на службе. Это, если позволено мне будет так выразиться, *инъектор* – имея в виду, что он ей вводится, а не просто она его вводит себе сама. Что касается приставки *ин*, то она тоже указывает на связь функции данного предмета с *ин*стинктом.

Иметь дело со сложнейшей диалектикой эдипова комплекса приходится нам лишь потому, что на пути к первоначальным, приемлемым на уровне инстинкта объектам мужчина должен продраться через целую чащу означающего. Что ему, несмотря ни на что, слава богу, все-таки время от времени удается – в противном случае, ввиду того, насколько трудной встреча с реальным объектом оказывается, борьба полов давно, за отсутствием соперников, прекратилась бы.

Такова одна из возможностей, возникающих со стороны матери. Есть и другие, и к тому, чем являются для нас собственные объяснения с фаллосом, следовало бы присмотреться внимательно – ведь отношения эти ее, как и любого человека, очень волнуют. Можно, например, наряду с вводом, инъекцией, обнаружить и другую функцию – функцию придачи, *адъективации*. Термин этот указывает на воображаемую принадлежность ей чего-то такого, что на воображаемом уровне либо дано, либо не дано ей, что позволено ей желать как такового – чего, одним словом, ей не хватает. Фаллос выступает в этом случае как нехватка, как объект, которого она была лишена, как объект того *Penisneid*, того вечно ощущаемого лишения, влияние которого на женскую психологию прекрасно известно. Но наряду с этим может он выступить и в качестве объекта, который ей дан-таки, но дан оттуда, где он находится, входя, таким образом, в расчет вполне символическим образом. Это еще одна функция адъективации, хотя совмещение ее с функцией первоначальной инъекции вполне возможно. Короче говоря, сполна испытывая трудности, обусловленные необходимым для интеграции в семью человечества вхождением в диалектику символа, женщина имеет наряду с этим доступ к чему-то первоначальному, имеющему природу инстинкта, что ставит ее в непосредственное отношение к объекту уже не желания ее, а ее потребности.

Теперь, когда мы это себе уяснили, поговорим немного о гомосексуалистах.

3

О гомосексуалистах говорят. О гомосексуалистах заботятся. Гомосексуалистов не лечат. Но самое поразительное, что не лечат их вопреки тому, что они вполне излечимы.

Если есть что-то, что с очевидностью следует из наблюдений, так это то, что мужская гомосексуальность – собственно, и другая тоже, но мы для ясности ограничимся здесь мужчинами, – это не что иное, как смена объекта на противоположный, складывающаяся на фоне полноценного и завершенного уже Эдипа. Если говорить точнее, то, проходя третий этап, о котором мы только что говорили, гомосексуалист ощутимо видоизменяет его. "*Мы знаем, он реализует Эдипа в обращенной форме*", – скажете вы. Никто не заставляет вас со мной соглашаться, но мне кажется, что на вопрос: "*Почему ваша дочь нема?*" мы вправе потребовать ответа более вразумительного, нежели что-то вроде: "*Потому что она прошла Эдип в обращенной форме.*"

Если понять, в какой именно момент завершение Эдипа имеет место, нам не удается, следует обратиться к самой структуре относящегося к гомосексуалистам клинического материала. Во внимание в этом случае следует принять как позицию субъекта со всеми ее характеристиками, так и сам факт, что он за эту позицию так цепляется. Ведь гомосексуалист действительно при малейшей возможности держится за свою позицию гомосексуалиста необычайно цепко, а отношения его с женским объектом не только не упразднены, но обладают сложной структурой.

Я полагаю, что только этот способ схематизировать проблему позволит нам указать причину, по которой поколебать его позицию так трудно, а также то, почему в случаях, когда позиция эта выявлена, анализ, как правило, кончается неудачей. Дело здесь не в том, что эта позиция изнутри себя невозможна, а в том, что для анализа ее требуются всякого рода условия и что следовать приходится теми самыми обходными путями, на которых и стала для него собственная позиция столь важной и драгоценной.

Существует ряд черт, которые у гомосексуалиста можно отметить, и в первую очередь это глубокая и постоянная связь его с матерью. Считается обычно, что мать в большинстве подобных случаев играет в родительской чете ведущую, главную роль и занимается ребенком больше отца. Утверждают также – и это уже совсем другое дело – что, занимаясь ребенком, она кастрирует его, что она

слишком долго, тщательно и вникая в детали руководит его образованием. Похоже, в том, что все это льет воду на одну мельницу. сомнений ни у кого не рождается. Стоит добавить еще несколько маленьких логических звеньев, и придется предположить, что именно активное вмешательство матери в роли кастратора приводит ребенка к переоценке роли объекта, в той общей форме, в которой она обыкновенно у гомосексуалистов встречается: любой партнер, к которому способны они проявить интерес, непременно должен им обладать.

Я не собираюсь ни томить вас ожиданием, ни задавать вам загадки. На мой взгляд, ключ проблемы гомосексуальности состоит вот в чем: если гомосексуалист, независимо от его особенностей, приписывает благословенному объекту ценность настолько высокую, что он становится характеристикой, для сексуального партнера абсолютно необходимой, то происходит это постольку, поскольку мать его является, в той или иной форме, законодателем для отца – в том смысле, в котором я научил вас закон этот определять.

Я уже сказал вам, что отец вмешивается в эдипову диалектику желания постольку, поскольку он дает закон матери. Здесь же происходящее, какие бы формы оно ни принимало, сводится к следующему: в решающий момент неизменно оказывается, что именно мать составила для отца закон. А это как раз и означает, что в момент, когда вмешательство отцовского запрета должно было бы ввести субъекта в фазу распада его связи с объектом желания матери и любую попытку отождествить себя с фаллосом пресечь в корне, субъект находит, напротив, в структуре матери опору и поддержку, в силу которых кризис этот не имеет места. В самый удачный момент, как раз в той диалектической фазе, когда мать, к вящей растерянности субъекта, должна была бы предстать известного "приложения" лишенной, субъект, напротив, обретает с этой стороны чувство безопасности. И чувство это очень прочное, ибо субъект на опыте убеждается, что владеет ситуацией именно мать, что она не позволит себя чего-то лишить, себя обездолить. Другими словами, отец может говорить, что ему вздумается – никому от этого ни жарко, ни холодно.

Это не означает, что все происходит без участия отца. Фрейд уже с первых шагов (смотрите его *Три очерка по теории сексуальности*) указал, что нередки случаи (а необдуманных утверждений у него не бывает – если он говорит, что они *нередки*, то не потому,

что у него язык без костей, а потому, что он часто наблюдал это), когда причиной смены объекта на противоположный является *Wegfall*, падение авторитета слишком строгого отца. В этом событии тоже имеется две фазы: во-первых, запрет и, во-вторых, факт невыполнения этого запрета, то есть тот факт, что именно мать, в конечном счете, установила закон.

Понятно тогда, что и в других случаях, когда авторитет строгого отца падает, результат оказывается тем же самым. Это происходит, в частности, когда отец любит мать слишком сильно, когда создается впечатление, что любовь делает его от матери всецело зависимым.

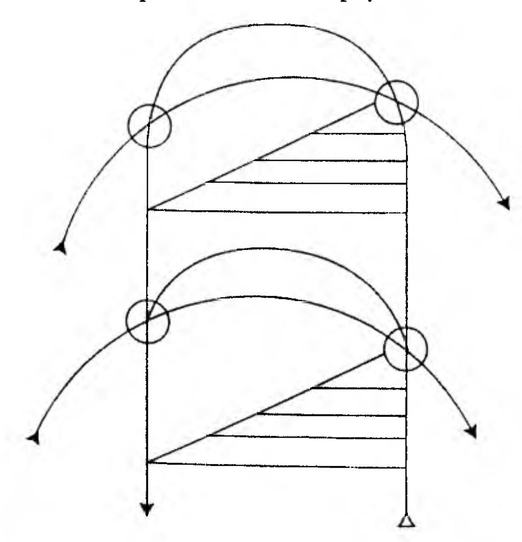
Я не готов утверждать, что результат будет в точности таким же всегда, но в ряде случаев он именно таков. Конечно, тот факт, что отец любит мать слишком сильно, далеко не обязательно приводит к гомосексуальности. Нет, я не собираюсь укрываться за ссылками на врожденную конституцию, я просто походя хочу заметить, что случаи бывают разные, что в подобной же ситуации может, например, как мы в дальнейшем увидим, развиться невроз одержимости. Я лишь подчеркиваю покуда, что самые разные причины могут привести к одним и тем же последствиям, то есть что в случае, когда отец влюблен в мать слишком сильно, последствия могут быть теми же, что и в случаях, когда закон устанавливается матерью.

Бывают еще и случаи (весь интерес как раз в том, чтобы рассмотреть все случаи, которые в этой перспективе встречаются), когда отец остается, по свидетельству самого субъекта, фигурой очень отдаленной, сообщения которой достигают субъекта лишь посредством матери. Анализ показывает, однако, что на самом деле он и в этих случаях далеко не отсутствует. Так, в частности, за напряженными, отмеченными зачастую всякого рода обвинениями, жалобами и так называемыми проявлениями агрессивности отношениями с матерью, из которых материал анализа гомосексуального субъекта выстраивается, возникает, причем совершенно отчетливо, фигура отца-соперника, причем фигура, характерная не для Эдипа обращенного, а для Эдипа вполне нормального. В этом случае ограничиваются обыкновенно объяснением, согласно которому агрессивность, направленная на отца, была перенесена на мать, что не очень понятно, но зато, по крайней мере, вполне соответствует фактам. Все дело в том, чтобы понять, почему это, соб-

16 Зак. 2370

ственно, происходит.

А происходит это потому, что в критическом положении, когда отец представлял для ребенка угрозу, тот нашел выход – выход, состоящий в идентификации, основанной на гомологичности обоих на этой схеме представленных треугольников.



Субъект счел для себя, что лучшим способом противостоять ситуации будет для него идентификация с матерью, которая как ему известно, никогда ни на какие уступки не шла. Поэтому-то в итоге и оказывается он в позиции матери, заданной для него именно таким образом.

С одной стороны, когда гомосексуалист имеет дело с партнером, являющимся для него заменителем отцовской фигуры, то все дело для него, как зачастую явствует из фантазий и сновидений гомосексуалистов, в том, чтобы партнера этого обезоружить, смирить, более того, чтобы партнера этого, эту замещающую отца фигуру лишить – у иных это стремление проявляется вполне отчетливо – способности вызвать к себе интерес у какой-то определенной женщины или у женщины вообще.

С другой стороны, поведение гомосексуалиста, требующего от партнера наличия пенисообразного органа, в точности соответствует ситуации, когда в первоначальной позиции, той самой, которую занимает мать, дающая закон сыну, под вопрос ставится (хотя так окончательно и не выясняется) как раз то, имеет отец этот предмет или же нет, и именно это и хочет гомосексуалист выяс-

нить у своего партнера с самого начала, предваряя этим все остальное. Что с предметом делать, мы увидим потом – первым делом партнер должен продемонстрировать его наличие.

Я пойду еще дальше и укажу вам, в чем именно состоит содержание той зависимости, которую усматривает ребенок в чрезмерно сильной любви отца к матери. Вы помните, надеюсь, формулу, которую я когда-то счел нужным вашему вниманию предложить. Формула гласила: *любить – значит давать то, чего не имеешь, и не давать то, что имеешь.* Я не буду возвращаться к причинам, по которым я эту формулу вам сообщил, но верьте, что это именно так, и пользуйтесь этой формулой как ключом, как маленькой подъемной площадкой, которая, стоит вам дотронуться до нее рукой, немедленно поднимает вас на нужный этаж, даже если вы в ней ничего не поняли – впрочем, оно и лучше, если вы в ней ничего не поняли. *Любить* – значит давать нечто кому-то, кто может то, о чем идет речь, как иметь, так и не иметь, но в любом случае даете вы то, чего у вас заведомо нет. В то время как собственно *давать* – тоже означает давать, но давать то, что у вас есть. В этом вся разница.

В любом случае отец, являя любовь по отношению к матери, вызывает подозрение: у него предмета может не оказаться. Здесь-то механизм гомосексуальности и срабатывает. Пользуясь случаем, я хочу вам заметить, что все эти истины никогда за семью печатями не хранятся – даже не сформулированные прямо, они по меньшей мере предчувствуются. Вы заметили, может быть, что жгучие темы эти психоаналитики никогда не затрагивают, хотя знать, любил ли отец мать по меньшей мере так же интересно, как знать, любила ли мать отца. Обычно вопрос ставят одним и тем же образом: у ребенка была фаллическая мать, от нее исходила угроза кастрации и все что хотите, по отношению к отцу она занимала позицию авторитарную, не проявляла к нему любви и уважения и т. д. Забавно, однако, что на отношение отца к матери никогда специально внимания не обращают. Мы толком не знаем, что на этот счет думать, и нам не кажется возможным вывести отсюда какие-то нормативы. Поэтому давайте, по крайней мере на сегодня, этот аспект проблемы отложим – у нас, наверное, будет еще возможность к нему вернуться.

И еще одно следствие. Есть еще кое-что, что происходит довольно часто, являя собой один из главных парадоксов, с которыми мы при анализе гомосексуалистов встречаемся. Учитывая, что гомосек-

суалисты требуют наличия у партнера пениса, парадоксально, на первый взгляд, утверждать, будто вид женского органа приводит их в ужас – потому будто бы, что это наводит их на мысль о кастрации. Может, это и так, но не совсем в том смысле, в каком это, как правило, понимают, ибо женский орган пугает их, наоборот, тем, что принял в себя, как им зачастую представляется это, фаллос отца. Проникая вовнутрь, они как раз и страшатся этот фаллос там встретить.

Сновидения, как засвидетельствованные в литературе, так и те, с которыми я сталкивался в своей собственной практике (некоторые из них я вам впоследствии перескажу), не оставляют сомнений в том, что при встрече с влагалищем возникает порою не что иное, как фаллос – фаллос, который, являясь все более отчетливо, воплощает собой нечто непреодолимое, перед чем субъект не просто вынужден остановиться, но и чувствует страх. И это придает чувству опасности, которую несет в себе влагалище, совсем другой смысл, к фантазму о влагалище с зубами (который тоже, разумеется, существует) не имеющий отношения. Здесь влагалище внушает страх потому, что оно содержит враждебный, отцовский фаллос, фаллос одновременно фантазматический и поглощенный матерью – фаллос, подлинное могущество которого мать в своем женском органе как раз и хранит.

Сказанное дает вполне достаточное представление о сложности отношений, в которые гомосексуалист вступает. Перед нами не ситуация противостояния один на один, а ситуация стабильная, внушающая чувство безопасности, ситуация “на трех ногах”. И не выясняется она до конца лишь оттого, что, по вине аналитика, который в лабиринт ситуации гомосексуалиста углубляться не хочет, рассматривается исключительно в перспективе противостояния один на один.

Несмотря на теснейшую связь субъекта с матерью, ситуация получает серьезные последствия лишь в силу характера взаимоотношений с отцом. То, что должно выступать как возвещение закона, оборачивается здесь своей противоположностью и оказывается, будь то в поглощенном виде или же нет, в распоряжении матери. Именно мать получает ключ к ситуации, но происходит это совсем не так просто, как это следует из глобального и недифференцированного представления о матери, обладающей фаллосом. И если оказывается, что гомосексуалист себя с нею идентифицирует, то

обусловлено это бывает вовсе не тем, имеется у нее пресловутое "приложение" или же нет, а тем, заняла ли она ключевую позицию в той конкретной, на исходе Эдипа определившейся ситуации, когда субъекту предстоит узнать, кто же из двоих выступает в конечном счете как власть имущий. И речь при этом идет не просто о власти, неважно какой, а о власти именно в любви, ибо сложная, выстраивающая эдипов комплекс система взаимосвязей, которую мы здесь представили, помогла вам, надеюсь, понять, каким образом отношение субъекта к власти закона отзывается метафорически на отношении его к такому фантазматическому объекту, как фаллос, – отзывается постольку, поскольку именно фаллос является тем объектом, с которым предстоит субъекту в один прекрасный момент себя идентифицировать.

В следующий раз я предложу вам в качестве дополнения небольшой комментарий к тому, что называют *состояниями пассивности фаллоса*, – это поможет нам пролить свет на некоторые случаи нарушения потенции. Это укладывается в анализ настолько естественно, что грех было бы этого здесь не сделать. Затем я покажу, каким образом, следуя за различными метаморфозами одного и того же объекта – начиная с первой, когда он функционирует как воображаемый объект матери, и кончая последней, когда субъект усваивает его себе, – можем мы наметить общую и достаточно определенную классификацию тех форм, в которых этот объект выступает. Именно этим займемся мы через восемь дней.

На последующей лекции, после которой мы с вами на три недели расстанемся, я постараюсь тему отношения субъекта к фаллосу завершить. То, как я это сделаю, впрямую вас, может быть, и не заинтересует, но для меня выводы эти очень важны.

Мы закончили наш последний триместр разговором о комедии. Когда, объясняя, в чем суть комедии состоит, я сказал, что комедия – это когда субъект берет всю диалектику в свои руки и говорит: "*В конце-то концов вся эта драматическая коллизия, трагедия, конфликты между отцом и матерью – по сравнению с любовью все это пустяки, так что давайте веселиться, предадимся оргиям, забудем конфликты, ибо все в конечном счете для человека*" – так вот, когда я это сказал, мне кажется, не все правильно это восприняли Я был изумлен, узнав, что некоторые мои слушатели были этим возмущены и шокированы. Теперь я честно признаюсь вам – все это есть у Гегеля.

А вот в дальнейшем я действительно скажу на этот счет кое-что новое, и притом куда более поучительное, нежели все то, что можно было вывести из рассмотрения феноменов духа. Дело в том, что раз на этот путь вступив, мы находим на нем поразительные подтверждения тому положению, что я собираюсь здесь выдвинуть: именно воображаемая идентификация с фаллосом имеет для субъекта и его развития решающее значение.

Таким образом я назначаю вам встречу на последний день триместра, где и продемонстрирую вам, каким образом все то, что я говорю, дает идеальный, очевидный, неожиданный ключ к пониманию и единственно верной формулировке того, в чем состоит функция комедии.

29 января 1958 года

XII
От образа к означающему в удовольствии и в реальности

Связь двух начал
Парадокс Винникота
Тупики кляйнизма
От Urbild*'а к идеалу*
Девушка, которая хочет порки

Тема символизации занимает всех. В майско-июньском номере "International Journal" за 1956 год появилась статья Чарльза Райкрофта под заглавием *Символизм и его отношение к первичному и вторичному процессам*, где автор пытается дать слову *символизм* смысл, исходя из той точки зрения, на которой мы в психоанализе сейчас находимся. Те из вас, кто владеет английским, имеют возможность, ознакомившись со статьей, воочию убедиться в том, насколько уже с самого начала трудно было не только придать слову "символизм" в анализе определенный смысл, но и составить себе о процессе символизации какое-то представление.

С 1911 года, когда Джонс опубликовал первую обобщающую работу на эту тему, состояние вопроса успело пройти различные фазы и встретило, да и встречает еще до сих пор, огромные трудности, столкнувшись с тем, что представляет собой на сегодняшний день наиболее связным образом сформулированную на этот предмет точку зрения – ту самую, что вытекает из соображений Мелани Кляйн относительно роли символа в образовании собственного Я.

То, о чем идет речь, имеет к предмету моих объяснений отношение самое непосредственное. Я хотел бы дать вам почувствовать, насколько то, что я пытаюсь сказать вам, может оказаться полезным, пролив некоторый свет на области, лежащие покуда в потемках.

Я не знаю еще, с какого конца начать, поскольку никакого плана в отношении того, как вам эти вещи лучше преподнести, у меня нет. Поскольку встреча эта предпоследняя и я уже объявил в прошлый раз, что очередной семинар будет посвящен фаллосу и комедии, я хотел бы лишь обозначить сегодня исходный пункт и указать на несколько направлений, в которых то, что я сказал вам относительно комплекса кастрации, позволяет расставить знаки вопроса.

Начну я с того, что рассмотрю главные тезисы статьи в той пос-

ледовательности, в которой они формулируются. Строгий порядок в таких вещах невозможен, тем более когда находишься, как сегодня, на перепутье.

1

В заглавии статьи Райкрофта появляются, как вы только что видели, термины "первичный процесс" и "вторичный процесс" – термины, о которых я никогда не говорил вам, так что иные даже испытали некоторое удивление, когда термины эти свалились им на голову чуть ли не в виде словарного определения.

Противопоставление первичного и вторичного процессов восходит ко времени написания *Traumdeutung* и, не будучи ему целиком идентично, соответствует в целом оппозиции понятий *принципа удовольствия* и *принципа реальности*. Об этих последних я перед вами неоднократно упоминал, обращая при этом ваше внимание на то, что использование их не может быть полноценным, если мы не рассматриваем их в связи друг с другом, если мы не чувствуем, что именно связь их, их противоположность, определяет собой позицию каждого из них.

Я начну прямо с сути вопроса.

Обособляя понятие принципа удовольствия как принципа первичного процесса, приходят обычно к тому, что делает Райкрофт. В попытке дать первичному процессу определение Райкрофт счел нужным, отстранив все структурные характеристики, отодвинув на задний план сгущение, смещение и т. д. – все то, одним словом, к изучению чего приступил Фрейд, определив бессознательное, – использовать для описания этого процесса то, что было привнесено во фрейдовскую теорию *Traumdeutung* ее позднейшей, окончательной переработкой. Другими словами, он делает из первичного процесса тот первичный, порождающий (независимо от того, рассматриваете вы его как исторический этап или как скрытую основу) механизм, на котором смогло впоследствии развиться нечто иное. Для нашего автора это своего рода фундамент, психическая почва, или, если подойти с логической точки зрения, обязательный для рефлексии исходный пункт. В ответ на вызванное влечением возбуждение у человеческого субъекта – речь идет вроде бы именно о нем, хотя в этом отношении полной определенности нет – неизбежно возникает, согласно автору, стремление удовлетворить свое желание галлюцинаторным способом. В этом и состоит, по его

мнению, та возможность, которая скрыто выстраивает позицию субъекта по отношению к миру.

Я думаю, вас это не удивляет, так как ссылку на примитивный опыт с рефлекторной дугой можно найти у множества авторов. Прежде чем сообщить субъекту – путем внутреннего возбуждения запускающего механизм инстинкта – движение, пусть еще нескоординированное, позывы, приводящие затем к поиску и нахождению объекта в реальности, потребность находит себе удовлетворение в сохраненных памятью следах того, что некогда желанию отвечало. Удовлетворение стремится, таким образом, воспроизвести себя в плане чисто галлюцинаторном.

Представление это, которое вошло в плоть и кровь современных аналитических концепций и всякий раз, когда мы говорим о принципе удовольствия, подспудно нами используется, – не кажется ли вам, что необычность его заслуживает разъяснения? В конце концов, если природа цикла психических процессов такова, что они создают себе удовлетворение сами, то почему люди остаются неудовлетворенными?

Конечно же, потому, что потребность продолжает на себе настаивать. Фантазматическое удовлетворение не в силах утолить все потребности. Однако мы слишком хорошо знаем, что в сексуальной сфере оно в любом случае более чем способно потребности, если потребность эта обусловлена влечением, противостоять. Другое дело голод. Возникает, таким образом, отдаленное подозрение, что сексуальный объект носит, в конечном счете, чисто иллюзорный характер.

Подобное представление о связи потребности с удовлетворением существует, и на определенном уровне – на уровне удовлетворения сексуального – имеет свои основания. Оно наложило на психоаналитическую мысль отпечаток настолько глубокий, что на первый план стали выдвигаться те первичные, примитивные виды удовлетворения и вознаграждения (равно как и фрустрации), что имеют место на первых шагах жизни субъекта, то есть в отношениях его с матерью. Психоанализ, таким образом, входит в диалектику потребности и ее удовлетворения все глубже по мере того, как начальные стадии развития субъекта заинтересовывают его все больше и больше. И на пути этом он пришел к формулировкам, которые – на что я хотел бы ваше внимание обратить – носят характер столь же показательный, сколь и необходимый.

В кляйнианской перспективе, которую я сейчас обрисовываю, любое, если можно так выразиться, "обучение" субъекта реальности с самого начала подготовлено тем, что подоплекой его является галлюцинаторный, фантазматический по сути своей характер первичных объектов – объектов, которые, подразделяясь на хорошие и плохие, фиксируют те отношения, из которых и вырастут в дальнейшей жизни субъекта основные типы и виды связей его с реальностью. Отсюда и возникает представление, согласно которому мир субъекта построен на ирреальной в существе своем связи его с объектами, которые являются по сути лишь отражением его основных влечений.

Вокруг присущей субъекту агрессивности выстраивается, к примеру, в виду серии проекций его потребностей, тот мир *phantasy*, концепция которого последователями Мелани Кляйн активно используется. Именно в этом мире, на поверхности его, происходит для субъекта ряд счастливых событий – желательно, по крайней мере, чтобы они были достаточно счастливы. Таким образом, мир опыта позволяет постепенно разумно вычленить в этих объектах то, что поддается в них, как говорят, объективному определению как отвечающее определенной реальности, хотя канва ирреального остается для этого абсолютно необходимым условием.

Это как раз и есть то, что можно назвать *психотическим строением субъекта*. Нормальный человек с этой точки зрения – это просто благополучный психоз, психоз, удачно приведенный в гармоническое соответствие с опытом. То, о чем я рассказал вам, – это не реконструкция. Автор, о котором я буду сейчас говорить, г-н Винникот, именно в таких выражениях и пишет об этом в тексте, посвященном использованию регрессии в психоаналитической терапии. Принципиальная однородность психоза, с одной стороны, и нормального отношения к миру, с другой, утверждается в нем совершенно недвусмысленно.

Такая перспектива вызывает, однако, огромные трудности, связанные хотя бы с необходимостью ее осмыслить. Если фантазия представляет собой лишь канву, необходимую подоплеку мира реальности, какова может быть функция фантазии как таковой у законченного и сформированного субъекта, успешно выстроившего свой собственный мир? Это еще одна проблема, которую должен решить для себя всякий уважающий себя, то есть открытый, последователь Мелани Кляйн, как и, собственно, в наши дни почти

всякий аналитик вообще, поскольку регистр, в который он отношения между субъектом и миром вписывает, все более и более сводится к ряду "уроков", которые преподносит субъекту мир, – уроков, основанных на серии случаев, когда ожидания субъекта более или менее успешно были обмануты.

Я отсылаю вас к тексту Винникота, найти который вы сможете в 26-м томе "International Journal of Psycho-Analysis", где он опубликован под заглавием *Primitive Emotional Development*. Автор ставит в нем своей задачей найти мотивы возникновения мира фантазии, который субъектом сознательно переживается и, как свидетельствует об этом материал опыта, уравновешивает для этого субъекта реальность. Тем, кого это интересует, следует обратить внимание на одно замечание автора, необходимость которого отчетливо ощущается, так как приводит оно к парадоксу поистине замечательному.

Возникновение принципа реальности, другими словами, признание реальности, исходящее из первоначальных отношений ребенка с материнским объектом, источником как удовлетворения, так и неудовлетворенности, никак не объясняет возникновение мира фантазии в его взрослой форме – разве что путем того ухищрения, к которому прибегает Винникот и которое, позволяя, безусловно, развивать его теорию довольно последовательно, делает это лишь ценой парадокса, на который и собираюсь я обратить ваше внимание.

Существует принципиальное несоответствие между галлюцинаторным удовлетворением потребности, с одной стороны, и тем, что приносит ребенку мать, с другой. Именно это несоответствие и оставляет тот зияющий промежуток, благодаря которому первое признание объекта становится для ребенка возможным. Это предполагает открытие того обстоятельства, что объект, вопреки видимости, обманчив. Чтобы объяснить теперь, каким образом возникает то, к чему все, что относится к миру фантазии и воображения, для современного психоанализа сводится, то есть то, что по-английски называется *wishful thinking*, нужно заметить следующее.

Предположим, что материнский объект оказывается налицо в тот самый момент, когда потребность необходимо удовлетворить. Стоит ребенку начать просить грудь, как мать ее тут же ему дает. Здесь Винникот останавливается и справедливо задается следующим вопросом: а что собственно, позволяет ребенку в этих условиях отличить галлюцинаторное удовлетворение своего желания от

реальности? Другими словами, начав отсюда, мы с неизбежностью приходим к тому выводу, что поначалу галлюцинация от исполненного желания абсолютно неотличима. Парадоксальность этого смешения, конечно же, поражает.

В перспективе, где первичный процесс выступает как процесс, который должен прийти к естественному удовлетворению галлюцинаторным образом, мы приходим к выводу, что чем более реальность удовлетворительна, тем менее способна она дать для реальности критерий – идея всемогущества основана в таком случае у ребенка с самого начала на всем том, что могло удачно сложиться для него в реальности прежде.

Концепция имеет, конечно, какие-то основания, но согласитесь, что есть в ней и нечто явно парадоксальное. Сама необходимость прибегать к подобному парадоксу для объяснения поворотного в развитии субъекта момента невольно наводит на размышления и сомнения.

Но сколь бы откровенно парадоксально эта концепция ни была, из нее следуют определенные выводы, о которых я вам в прошлом году, ссылаясь на эту самую статью Винникота, напоминал. Дело в том, что по мере того, как он развивает свою антропологию дальше, концепция эта вынуждает его зачислить под рубрику фантазматических аспектов мысли едва ли не все то, что называют обычно свободной спекуляцией. Все, что к спекулятивному мышлению относится, сколь бы хорошо разработано оно ни было, то есть все, что можно было назвать, независимо от их характера, убеждениями – политическими, религиозными и т. д., – все это он полностью усваивает жизни фантазматической. Подобная точка зрения прекрасно вписывается в англосаксонский характер мировосприятия, в свойственную ему перспективу взаимного уважения, сдержанности, терпимости. Есть ряд вещей, о которых говорят лишь как бы в кавычках, а среди людей благовоспитанных не говорят вовсе. И тем не менее это вещи, с которыми надо-таки считаться – хотя бы потому, что они являются частью той внутренней речи, свести которую к *wishful thinking* никогда не удается.

Но оставим покуда выводы в стороне. Сейчас я просто хочу показать вам, что может противопоставить этому взгляду еще одна, иная концепция.

2

Прежде всего, так ли уж очевидно, что можно безоговорочно

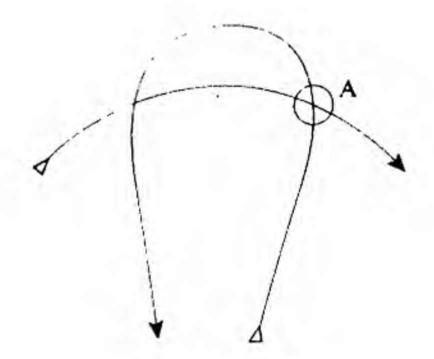
назвать удовлетворением то, что происходит на галлюцинаторном уровне и в тех различных регистрах, где можем мы фундаментальное положение о галлюцинаторном удовлетворении изначальной потребности на уровне первичного процесса воплотить в действительность?

К проблеме этой я подходил с вами уже не раз. Указывают обычно на сновидения, всегда при этом на сновидения детские. Сам Фрейд указал нам именно этот путь. В исследуемой им перспективе, где именно желанию принадлежит в сновидении главенствующая роль, сновидение ребенка действительно предстало у него типичным образцом галлюцинаторного удовлетворения.

После этого путь был свободен. По нему-то и устремились сломя голову психиатры, уже давно пытавшиеся составить себе представление о происходящих в бреду нарушениях связи субъекта с реальностью, увязывая этот бред со структурами, аналогичными, скажем, структурам, свойственным сновидению. Перспектива, которую я здесь вам описываю, ничего существенно нового в позицию эту не вносит.

Теперь, когда мы отдаем себе отчет в непреодолимых трудностях, которые перед нами ставит представление о том, будто у истоков развития отношений субъекта с якобы противостоящей ему реальностью лежит чисто воображаемая связь его с миром, нам снова придется вернуться к маленькой схеме, которая уже не раз послужила нам верой и правдой.

Я беру эту схему в простейшей ее форме и напоминаю еще раз, рискуя показаться занудным, о чем в ней, собственно, идет речь.



потребность, или желание

Мы находим здесь нечто, что можно назвать потребностью, но что я буду отныне называть желанием, так как начального

состояния, состояния потребности в чистом виде просто не существует. Потребность мотивируется с самого начала в плане желания, то есть чего-то такого, что обречено у человека на определенного рода связь с означающим. Схема изображает пересечение обусловленного желанием намерения с тем, что наличествует в субъекте в качестве означающей цепочки – независимо от того, успела эта цепочка навязать свои необходимые условия субъективности как таковой или предстоит ему первоначально как нечто имеющееся в сложившемся виде у его матери и ставящее ему уже у матери определенные необходимые условия и барьеры. Субъект, как вы знаете, впервые сталкивается с означающей цепочкой в форме Другого, в то время как цепочка эта вторично возвращается к барьеру в качестве сообщения – сообщения, проекцию которого и призвана изобразить эта схема.

Где располагается на схеме принцип удовольствия? Под определенным углом зрения можно считать, что с первичными его проявлениями мы имеем дело в форме сновидения. Возьмем сновидение самое простое и еще смутное – сновидение собаки. Мы знаем, что во сне собака время от времени шевелит лапами. Выходит, она видит сны и, как знать, может быть даже и получает для своего желания галлюцинаторное удовлетворение. Можем мы себе такое представить? Какое место занимает это удовлетворение у человека? Я предлагаю вам то, что вы сможете покуда рассматривать как по крайней мере возможный вариант ответа. В дальнейшем у вас будет, надеюсь, случай в его преимуществах убедиться.

То, что представляет собой галлюцинаторный ответ на потребность, не является возникновением фантазматической реальности в конечной точке цепи, под нажимом этой потребности выстроенной. То, что на острие испытываемой субъектом нужды, того движения по направлению к чему-то, действительно призванному вычертить для него некую траекторию, появляется, не то чтобы с потребностью субъекта совсем не связано – нельзя сказать, что не связано оно и с объектом, но характер связи его с объектом таков, что мы вправе то, что соединяет их, назвать означающим. Перед нами действительно нечто такое, что, с одной стороны, принципиально связано с отсутствием объекта, а с другой, носит отчетливый характер дискретного элемента, знака.

Если вы заглянете в уже цитированное мною пятьдесят второе письмо Флиссу, то увидите, что, стараясь построить связную кар-

тину рождения бессознательных структур, сам Фрейд, в момент, когда модель психического аппарата, позволяющая как раз дать первичному процессу какое-то объяснение, начинает у него вырисовываться, не находит ничего лучшего, как с самого начала признать, что мнезическая запись, которая отреагирует на проявление потребности появлением галлюцинации, есть не что иное, как *Zeichen*, знак.

Для знака характерна не только его связь с образом, занимающим в теории инстинктов определенное место. Он не принадлежит к тем приманкам, которых хватает, чтобы пробудить потребность, но недостаточно, чтобы утолить ее. Он стоит в определенном отношении с другими означающими – например, с тем, что прямо ему противоположно и означает его отсутствие. Являясь в связи с игрой, которую присутствие ведет с отсутствием, а отсутствие с присутствием, – игрой, которая связана, в свою очередь, с голосовой артикуляцией, где дискретные элементы, которые представляют собой означающие, уже проявляются, – он находит себе место в группе, уже организованной в качестве совокупности означающих, уже связанной в единую символическую структуру.

Наши знания о простейших сновидениях ребенка свидетельствуют о том, что речь в них идет не просто об удовлетворении, наподобие удовлетворения голода. Здесь перед нами нечто такое, что с самого начала несет в себе черты избытка, чрезмерности. Маленькой Анне Фрейд снится как раз то, что ребенку успели запретить: *вишни, малина, клубника, пирожные с кремом* – все то, одним словом, что уже успело получить собственно означающую характеристику в качестве запрещенного. Она видит сны не просто о том, что отвечает ее потребности, а о том, что представляется ей праздником, выходя за границы естественного объекта, способного ее желания удовлетворить.

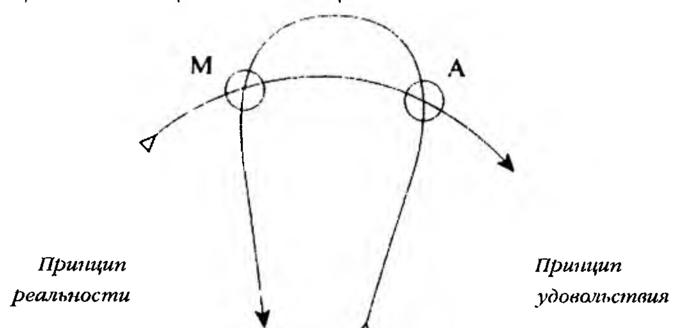
И это принципиально существенная черта. Мы находим ее абсолютно на всех уровнях. На каком бы уровне мы ни рассматривали все то, что предстает как галлюцинаторное удовлетворение, черта эта обязательно окажется налицо.

Если вы, напротив, возьмете в качестве отправной точки явление бреда, то и здесь вы можете на какое-то время испытать искушение попытаться за неимением лучшего, опередив Фрейда, представить это явление как соответствующее своего рода желанию, желанию того же субъекта. Что ж, несколько поверхностных наблюдений или косвенных свидетельств, вроде приведенного выше, где

что-то действительно может об удовлетворении желания напомнить, позволяет вам к такому выводу и вправду придти. Но разве не очевидно при этом, что самым значительным, поразительным, крупным и всеобъемлющим из связанных с бредом явлений будет вовсе не явление, сопоставимое с удовлетворением желания в сновидении, а нечто установившееся и фиксированное – вербальная галлюцинация.

Здесь, однако, встает ряд вопросов: на каком уровне эта вербальная галлюцинация возникает; имеет ли в данном случае у субъекта место своего рода внутреннее отражение в форме психомоторной галлюцинации, констатировать наличие которой необычайно важно; имеют ли место та или иная проекция и т. д. Разве не понятно, однако, что началом, которое в образовании этих галлюцинаций играет главную роль и должно было бы лечь в основу их классификации, является их означающая структура? Галлюцинации – это явления, организованные на уровне означающего. Строение этих галлюцинаций нельзя ни на мгновение представить себе, не обратив внимание на то, что главная в этом явлении черта –что это явление означающего.

Это как раз и должно постоянно напоминать нам, что если принцип удовольствия и можно рассматривать с точки зрения такого заведомо ирреального удовлетворения желания как удовлетворение галлюцинаторное, то лишь постольку, поскольку удовлетворение это дает к себе доступ в области означающего и предполагает наличие некоего места, которое мы назовем *местом Другого*. Это вовсе не обязательно тот или иной конкретный Другой, это именно место Другого – место, необходимо обусловленное самой позицией инстанции означающего.



Как можете вы на маленькой этой схеме видеть, потребность дает о себе знать в той внешней, в каком-то смысле, зоне контура,

что образуется правою его частью. Потребность предстает здесь в виде своего рода хвоста означающей цепочки – чего-то такого, что, существуя лишь в пределе, носит, тем не менее, узнаваемые черты соединенного с ним удовольствия. Что бы на этом уровне схемы ни оказалось, дело всегда происходит именно так.

Острота приносит удовольствие лишь постольку, поскольку то, что реализуется на уровне Другого, она заставляет устремиться в конечном счете к тому, что, располагаясь по ту сторону смысла, как раз и заключает в себе известное удовлетворение.

Точно так же, как в этой, внешней части цепи находит себе место принцип удовольствия, в противоположной части ее располагается принцип реальности. Если говорить о человеческом субъекте в том виде, в котором мы на опыте имеем с ним дело, то поскольку принцип этот поднимается на уровень процесса вторичного, воспринимать или определять его каким-либо иным образом уже невозможно. Нельзя же игнорировать, говоря о реальности, тот факт, что означающее действительно входит в Реальное человечка в качестве некоей самобытной реальности! Имеется язык, в мире что-то говорится, и отсюда возникает целый ряд вещей, целый ряд означаемых предметов, которые, не будь в мире означающего, никогда таковыми не стали бы.

Вступление субъекта в мир какой бы то ни было реальности абсолютно немыслимо, если выводить его исключительно из чистого опыта или переживания чего бы то ни было – фрустрации, раздора, столкновения, ожога, чего хотите. *Umwelt* не познается непосредственным, словно на ощупь, снятием слоя за слоем. Животному, к счастью, на помощь приходит инстинкт. Если бы животному пришлось воссоздавать для себя мир, никакой жизни ему для этого не хватило бы. Можно ли думать тогда, что человек, чьи инстинкты адаптированы весьма плохо, составляет себе представление о мире так, словно он обшаривает его руками? Факт наличия означающего играет тут решающую роль, и главный посредник в восприятии человеком реальности – как ни банально и ни глупо об этом вновь и вновь говорить – это, конечно, голос. Большую часть того, что он о мире усваивает, усваивает он именно через речь взрослого.

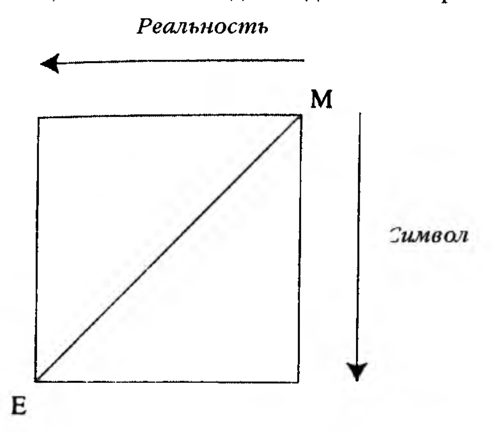
Фрейд, однако, делает касательно этого элемента опыта существенную оговорку: символизация налицо уже раньше, задолго до того, как обучение языку в плане моторном, в плане слуховом и в том плане, где происходит понимание того, что рассказывают, при-

няло формы сколь-нибудь развитые; она налицо с самого начала, заявляя о себе уже в первых же отношениях ребенка с объектом, и прежде всего в отношениях с материнским объектом – тем первоначальным, первичным объектом, от которого всецело зависит само существование его в мире. Объект этот на самом деле в процессе символизации заранее уже включен, и роль его в том, собственно, и состоит, чтобы ввести в мир существование означающего. Причем происходит это на стадии самой ранней.

Запомните хорошенько: как только ребенок обретает способность противопоставлять друг другу две фонемы, перед нами уже два слова. И вместе с двумя другими – тем, кто их произносит, и тем, кому они адресованы, то есть объектом, его матерью, – они составляют четыре элемента, которых вполне достаточно, ибо они уже содержат в себе свернутым образом ту комбинаторику, из которой разовьется впоследствии организация означающего.

3

Я перейду теперь к другой, новой схеме, которая, впрочем, уже была мною раньше намечена и которая продемонстрирует вам некоторые следствия того, о чем я только что говорил, напоминая одновременно о том, что я пытался до вас донести в прошлый раз.



Мы сказали уже, что исходным моментом здесь являются отношения ребенка с матерью. Однако настаивая на том, что первые отношения с реальностью складываются по оси ЕМ, объясняя построение реальности исключительно отношениями желания ребенка с объектом, поскольку он это желание удовлетворяет или же нет, мы обнаружим, что реальность остается для нас при этом не выво-

димой и что реконструировать ее в опыте, не прибегая для этого к всевозможным уловкам, попросту невозможно.

Если и можно, в пределе, в некоторых случаях ранних психозов что-то подобное усмотреть, прибегают к такой диалектике не иначе, как обращаясь в детском развитии к его так называемой депрессивной фазе. Но поскольку диалектика эта предполагает предварительное развитие гораздо более сложное, речь на самом деле всегда идет совершенно о другом – ребенок не имеет дело просто-напросто с объектом, который удовлетворяет или не удовлетворяет его, так как благодаря той минимальной плотности ирреальности, которую первичная символизация создает, он занимает место в треугольнике, задаваемом не только отношениями его с тем, что приносит удовлетворение его потребности, но и отношениями его с желанием материнского субъекта, который находится перед ним.

И если ребенку удается в этой позиции сориентироваться, то лишь постольку, поскольку уже открылось ему измерение символа. Оно, это измерение, представлено на схеме как ось, именуемая в математическом анализе осью координат. Наличие этой оси отражает тот факт, что ребенку предстоит сориентироваться по отношению к двум полюсам. Это, собственно, и хочет сказать Мелани Кляйн, так и не сумевшая найти для своей мысли подходящую формулу. Ребенок действительно начинает определять собственную позицию по отношению к двойному полюсу матери, которая у Мелани Кляйн разделяется на "мать плохую" и "мать хорошую". Ребенок не ищет места объекту – в первую очередь он ищет места самому себе. В дальнейшем он будет искать себе место в самых разных точках, на этой оси лежащих, в попытках слиться с объектом желания матери, желанию этому ответить. Вот в чем состоит элемент самый важный, причем продолжаться эти поиски могут исключительно долго.

На самом деле диалектика, которая принимала бы во внимание исключительно отношение ребенка к матери, просто невозможна – прежде всего потому, что из нее невозможно ничего вывести, но еще и потому, что, судя по опыту, трудно даже представить себе ребенка живущим в том двусмысленном мире, который рисуют нам аналитики школы Мелани Кляйн, – мире, где нет иной реальности, кроме реальности матери. Согласно этим аналитикам, первоначальный мир ребенка всецело от материнского объекта зависим и в то же время полностью аутоэротичен, поскольку ребенок связан с ма-

теринским объектом столь тесно, что образует с ним буквальным образом замкнутый круг.

И тем не менее всякий знает, что маленький ребенок вовсе не аутоэротичен – чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать за его жизнью. Разумеется, как и всякий детеныш, он собою интересуется, а поскольку детеныш этот в целом немножко поумнее, чем детеныши других животных, интересуется он в окружающей его реальности и множеством других вещей. Совершенно ясно, что вещи это не первые попавшиеся. И есть среди них одна, которой приписываем мы определенное значение и которая, лежа на оси абсцисс, то есть оси реальности, вырисовывается на пределе этой реальности. Это не фантазм, это восприятие.

Мелани Кляйн позволено все, она женщина гениальная, но для учеников, особенно тех, кто, как Сьюзен Айзекс, психолог по образованию, в психологии сведущ, есть вещи непростительные. Следуя Мелани Кляйн, Сьюзен Айзекс сформулировала такую теорию восприятия, где никакого способа отличить это восприятие от интроекции в аналитическом смысле слова просто не существует.

Я не могу походя указать на все тупики, куда заводит нас кляйновская система, я пытаюсь лишь предложить модель, которая позволила бы артикулировать происходящее более четко.

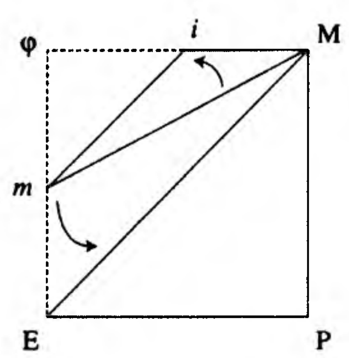
Что происходит на уровне стадии зеркала? Стадия зеркала – это встреча субъекта с тем, что, являясь реальностью в собственном смысле слова, в то же время ею не является, с виртуальным образом, играющим решающую роль в той кристаллизации субъекта, которую я называю его *Urbild*'ом. Между этим явлением и отношениями матери и ребенка можно провести параллель. В конечном счете речь в обоих случаях идет, грубо говоря, об одном и том же. Ребенок завоевывает себе точку опоры в виде той вещи на пределе реальности, которая, являясь ему в плане восприятия, может в то же время быть названа образом, если понимать образ как то, что имеет свойство представлять собой обособляющийся в реальности, завораживающий сигнал, который привлекает к себе и пленяет собой некое либидо субъекта, некий его инстинкт, благодаря чему возникает в мире определенное число ориентиров, определенное число психоаналитических пунктов, позволяющих живому существу в какой-то мере свое поведение организовать.

Похоже, что для человеческого существа это, в конечном счете, единственная точка опоры, которая сохраняется у него постоян-

но. И роль свою она выполняет ровно постольку, поскольку является обманчивой и иллюзорной. Именно в этом приходит она на помощь субъекту, вся деятельность которого направляется теперь на то, чтобы удовлетворить желание Другого, с намерением, следовательно, его, это желание, ввести в заблуждение. Именно в этом и состоит подлинное значение ликующей жестикуляции ребенка перед зеркалом. Образ тела завоевывается им в качестве чего-то одновременно существующего и не существующего, по отношению к чему координирует он как собственные свои действия, так и образы тех, кто отражается в зеркале вместе с ним. Уникальность этого опыта состоит в способности его предложить субъекту некую виртуальную, нереализованную, непосредственно воспринимаемую реальность, которую ему дается возможность завоевать. Любая возможность себя выстроить проходит для человеческой реальности через этот опыт.

Фаллос, который и представляет собой тот воображаемый объект, с которым должен ребенок себя идентифицировать, чтобы желанию матери удовлетворить, до поры не может, разумеется, занять подобающее ему место. Но кристаллизация собственного Я ребенка в координатах, нами описанных, кристаллизация, открывающая перед воображаемым любые возможности, в значительной мере ему это место расчистила.

Чему являемся мы свидетелями? – Перед нами двусторонний процесс. С одной стороны, опытное соприкосновение с реальностью вводит, в форме образа тела, иллюзорный и обманчивый элемент, который становится принципиальной основой ориентации



субъекта по отношению к реальности. С другой стороны, простор, который этот опыт ребенку предоставляет, дает ему возможность

выстроить, в противоположном направлении, первые идентификации собственного Я, входя для этого в другое поле.

Поле опытного соприкосновения с реальностью представлено здесь треугольником М-*i*-*m*, опирающимся на ось абсцисс, которой мы дали определение выше, в то время как обратный и подобный ему треугольник М-*m*-Е, куда более загадочный, дает субъекту то поле, в котором тот призван себя идентифицировать, определить, завоевать, субъективировать.

Что же этот треугольник М-*m*-Е собой представляет? Что это за поле? И каким образом путь, начинающийся от зеркального *Urbild*'а собственного Я в точке *m*, позволяет ребенку овладеть собой, себя идентифицировать, продвигаться вперед? Как можем мы его определить? В чем он состоит?

И вот ответ. *Urbild* собственного Я представляет собой первичное завоевание ребенка, то господство над собой, которое получает он на опыте с момента удвоения им реального полюса, по отношению к которому предстоит ему ориентироваться. Завоевание это и позволяет ребенку вступить в трапецию *m*-*i*-М-Е. Происходит это постольку, поскольку ребенок идентифицирует себя, отправляясь от того все растущего множества означающих, которые он в реальности обнаруживает. Посредством ряда последовательных идентификаций на отрезке *m*-Е он сам берет на себя роль ряда означающих – то есть тех иероглифов, типов и предъявляемых форм, которые и размечают его реальность определенным числом ориентиров, превращая ее в реальность, буквально начиненную означающими.

На пределе этого ряда, в точке Е, возникает образование, которое называется *Идеалом Я*. Это и есть то, с чем субъект, двигаясь в направлении символического, себя идентифицирует. Отправляясь от воображаемого ориентира, который в каком-то смысле, заранее инстинктивным образом в его отношении к собственному телу уже сформирован, он проходит ряд означающих самоидентификаций, направленных в противоположную Воображаемому сторону и использующих его при этом как означающее. И если идентификация Идеала Я осуществляется на отцовском уровне, то происходит это как раз потому, что отрешение от воображаемых связей сказывается на этом уровне куда сильнее, чем на уровне отношений с матерью.

В этой конструкции, где схемы громоздятся друг на друга, по-

добно акробатам, прыгающим друг другу на закорки, – в ней-то как раз все дело и состоит.

Третья из этих конструкций – это отец, выступающий в качестве фигуры, которая вмешивается, чтобы наложить запрет. Тем самым он тут же переводит объект желания матери в собственно символический план – отныне это не просто объект воображаемый, это еще и объект уничтоженный, запрещенный. И поскольку для выполнения этой функции отец выступает в качестве реального персонажа, в качестве Я, то Я это становится тем означающим по преимуществу элементом, который и образует собой ядро последней идентификации, окончательного результата эдипова комплекса. Вот почему именно с отцом соотносится образование идеала Я.

Противостояние, в различных аспектах, Идеала Я объекту желания матери также нашло выражение на этой схеме. Виртуальная и идеальная самоидентификация субъекта с фаллосом как объектом желания матери представлена на ней вершиной первого треугольника, треугольника отношений с матерью. Позиция, занимаемая субъектом на этой вершине виртуальна, – она всегда возможна, но всегда опасна, всегда находится под реальной угрозой гибельного вмешательства чистого символического начала, представленного Именем Отца.

Это последнее всегда налицо, но присутствие его скрыто. И обнаруживается оно не постепенно, а посредством своего решающего вмешательства, ибо именно оно является элементом, от которого исходит запрет.

Во что же оно вмешивается? А вмешивается оно в те неуверенные, на ощупь, поиски, которые, не будь этого вмешательства, привели бы субъект, да в некоторых случаях и приводят его, к замыканию его отношений на мать и только на мать. Замкнутые отношения эти не сводятся к чистой зависимости, а находят себе проявление в различного рода извращениях, характер которых определяется отношением субъекта к фаллосу: субъект либо в той или иной форме его себе усваивает, либо делает из него фетиш, либо оказывается на уровне того, что лежит в самом корне извращенного отношения к матери.

Вообще говоря, в определенной фазе субъект действительно способен двинуться в направлении идентификации собственного Я с фаллосом. И именно постольку, поскольку его влечет в направлении прямо обратном, способен он выстроить и создать отношения,

пределы которых помечены на оси реальности точками *i* и М – отношениями с образом собственного тела, то есть с Воображаемым в чистом его виде, с матерью.

С другой стороны, будучи величиной реальной, собственное Я субъекта способно не просто узнать себя, но и, себя узнав, превратить себя из чисто воображаемого элемента в отношениях с матерью в элемент означающий. Именно на этом пути и возникают те лежащие на отрезке *m*-Е последовательные самоидентификации, которые Фрейд строжайшим образом формулирует и которые являются в его теории Я главной темой. Теория эта и демонстрирует, собственно тот факт, что Я представляет собою ряд идентификаций с объектом, лежащим по ту сторону объекта непосредственного; с отцом по ту сторону матери.

Схему эту важно запомнить. Она показывает, что для того, чтобы идентификации эти происходили правильно, до конца и в верном направлении, должны быть налицо определенная связь между направленностью субъекта, целенаправленностью его движения, характером случайностей, его на пути поджидающих, с одной стороны, и наращиванием присутствия отца в диалектике отношений ребенка с матерью, с другой.

Схема рисует нам двунаправленное движение, наподобие качелей. С одной стороны, субъект завоевывает реальность – завоевывает по мере того, как та принимает на одном из своих пределов виртуальную форму образа тела. С другой же, соответственно, вводя в поле своего опыта ирреальные элементы означающего, он расширяет поле этого опыта до нормальных для человеческого субъекта масштабов.

Схемой этой следует пользоваться постоянно. Не опираясь на нее, вы сами не заметите как безнадежно запутаетесь и обречены будете вечно попадать пальцем в небо, принимая идеализацию за идентификацию, иллюзию за образ, смешивая друг с другом самые различные и далеко не равнозначные друг другу явления, о которых нам еще придется в дальнейшем, к этой схеме вернувшись, поговорить.

Совершенно ясно, к примеру, что представление наше о таком явлении, как бред, легко поверяется очевидной на этой схеме структурой. Бред – это явление, которое, хотя и заслуживает названия регрессивного, но отнюдь не в смысле воспроизведения какого-то предшествующего состояния, что было бы преувеличением. Пред-

ставление, будто ребенок живет в мире бреда (а именно такое представление кляйновской концепцией, похоже, молчаливо предполагается) является навряд ли приемлемым – по той простой причине, что в то время как предпосылки кляйновской концепции требуют обязательного наличия психологической фазы развития, мы не находим у ребенка и следа какого-то опыта, который бы это переходное психотическое состояние демонстрировал.

И наоборот, очень четкая концепция бреда выстраивается в случае, если мы рассматриваем его в плане регрессии не генетической, а структуральной – регрессии, которую на схеме нашей легко проиллюстрировать движением, обратным по отношению к тому, что представлено на ней двумя стрелками. Вторжение образа тела в мир объектов в бреду типа шреберовского совершенно неоспоримо. Что же касается феноменов означающего, то они, наоборот, группируются вокруг Я, так что единственной опорой субъекта в качестве Я остается непрерывная сеть вербальных галлюцинаций на исходные позиции, с которых формирование его мира и его реальности начиналось.

4

Посмотрим, к чему мы сегодня шли. А шли мы к тому, чтобы уяснить для себя смысл вопроса, который мы ставим в отношении объекта.

Вопрос об объекте является для нас, аналитиков, фундаментальным. Именно с ним сталкиваемся мы постоянно, и другого дела, как заниматься им, у нас нет. Суть этого вопроса следующая: каковы истоки иллюзорного объекта и его происхождение? Речь идет о том, можем ли мы ограничиться представлением о его иллюзорности, вправе ли мы опираться лишь на категории воображаемого.

Нет, отвечаю я, это невозможно. Иллюзорный объект известен испокон веку, с тех пор как завелись философы, люди мыслящие, которые пытаются выразить то, в чем состоит повседневный опыт людей. Иллюзорный объект этот – о нем говорят уже давно, и это не что иное, как покрывало майи. Мы отлично знаем, что сексуальная потребность служит целям, которые выходят за пределы того, что нужно субъекту. Для этого ждать Фрейда не стоило – уже Шопенгауэр, да и многие до него, сумели разглядеть хитрость природы, заключающуюся в том, что, целуя полюбившуюся ему женщи-

ну, субъект просто-напросто подчиняется необходимости продолжения рода.

То, что объект, в особенности объект сексуальной потребности, носит, по сути своей, характер воображаемый, признано уже давно. Тот факт, что субъект, как правило, чувствует интерес лишь к женской особи собственной породы действительно напоминает расставленную природой ловушку, но это еще не продвигает нас ни на шаг в понимании другого, не менее важного между тем факта – того факта, что какая-нибудь дамская туфелька может вдруг оказаться предметом, который и провоцирует в мужчине взрыв той энергии, которая считается предназначенной для продолжения рода. Вся проблема именно в этом.

И разрешится она не раньше, чем мы обратим внимание, что иллюзорный объект – как бы обманчив он ни был, какой бы хитро устроенной природной ловушкой он вам ни представлялся, – никогда не выполняет своей функции в жизни человеческого существа в качестве образа. А выполняет он их в качестве означающего элемента, включенного в означающую цепочку.

Занятие наше, которое подходит теперь к концу, оказалось, похоже, чрезмерно абстрактным. Я прошу у вас за это извинения, но должен сказать при этом, что если бы мы не расставили наши термины на свои места, нам так никогда и не удалось бы понять, что находится здесь, а что там, что я говорю, а что я не говорю, что говорю я, чтобы возразить другим, а что говорят эти другие сами, говорят в простоте душевной, сами своих противоречий не замечая. Без знания функции, которую объект этот – будь он фетиш или же нет – выполняет, как и без знания самого инструментария перверсии, нам будет в дальнейшем не обойтись.

Не знаю, о чем нужно думать, чтобы довольствоваться, например, такими терминами, как *мазохизм* и *садизм*, и связанными с ними замечательными соображениями об этапах, инстинктах, о наличии некоей движущей нами потребности в агрессии – и все это ради простого генитального соития! Но почему тогда, скажите пожалуйста, в садизме этом и этом мазохизме тот факт, скажем, что вас побили (есть, конечно, у садизма и мазохизма и другие проявления), причем побили именно тростью или чем-нибудь ей аналогичным, – почему именно этот факт приобретает решающее значение? Стоит ли преуменьшать значение в человеческой сексуальности того элемента, который называют обычно – символически,

обобщенно, уклончиво – *хлыстом*? Здесь есть, по крайней мере, о чем задуматься.

Олдос Хаксли рисует мир будущего, где инстинкт продолжения рода будет отрегулирован так замечательно, что зародышей, предварительно отобрав тех из них, что способны будут обеспечивать размножение наилучшим образом, станут просто растить в бутылках. Все в этом мире идет хорошо и население полностью удовлетворено. Хаксли, в силу личных своих пристрастий, объявляет этот мир скучным. Мы оставляем на сей счет свое мнение при себе, но интересно то, что предаваясь на счет будущего фантазиям, которым мы, со своей стороны, никакого значения не придаем, он возрождает мир, и ему, и нам уже прекрасно известный – известный посредством персонажа весьма своеобразного: девушки, демонстрирующей свою потребность быть выпоротой. Ему, без сомнения, представляется, что есть в этом что-то такое, что тесно связано с самим способом существования человека в мире.

Я просто вам на это указываю. То, что доступно романисту, который, естественно, в жизни пола мало-мальски разбирается, должно, по меньшей мере, привлечь и наше внимание, внимание аналитиков.

В истории аналитической концепции извращения существовал поворотный пункт. Чтобы разделаться с представлением, будто извращение является просто-напросто заявляющим о себе внезапно влечением, то есть явлением, противоположным неврозу, аналитики дожидались взмаха дирижерской палочки, то есть того момента, когда появилась работа Фрейда *Ein Kind wird geschlagen* – текст совершенства столь безупречного, что все написанное на эту тему впоследствии оказывалось лишь разменной монетой. Именно анализ фантазма, хлыста, Фрейдом в этой работе проделанный, вскрывает подлинную аналитическую диалектику извращения. Это последнее уже не выступает здесь как непосредственное проявление влечения, а оказывается включенной в диалектический контекст не менее тонкий, сложный, богатый компромиссами и двусмысленный, нежели контекст невроза.

Извращения не следует, таким образом, относить к категории инстинктов и влечений – артикулировать их необходимо, пользуясь языком собственных их деталей, собственного материала, собственного (произнесем, наконец, это слово) означающего. К тому же, всякий раз, когда вы с извращением имеете дело, заблуждени-

ем было бы не видеть, насколько прочно связано оно по сути своей с канвой фабулы, всегда готовой к трансформации, изменению, развитию, обогащению. В некоторых случаях опыт показывает, что извращение находится в тесном, буквально химическом соединении с появлением, исчезновением и любым компенсаторном проявлении фобии. Эта последняя тоже имеет, разумеется, свою лицевую и оборотную сторону, но в данном случае речь у нас идет о другом – о соединении двух систем, которые, складываясь в единое составное целое, друг друга компенсируют и друг с другом в своем действии перемежаются. Именно это побуждает нас артикулировать влечение на языке другой области, нежели область природной склонности.

Я особо обращаю ваше внимание на то, что, хотя первоначально речь идет об объекте, элементы самой перверсии и материал ее согласуются с означающим.

Что я хочу этим сказать? Перед нами объект – тот первоначальный объект, который и останется во всей дальнейшей жизни субъекта господствующим. Перед нами ряд воображаемых элементов, которые играют кристаллизующую роль – и, в первую очередь, весь материал телесного аппарата, конечности тела, связь субъекта с господством над ними, целостный образ. Но все дело в том, что объект этот облечен функцией означающего.

Налицо уже сложившееся соответствие между двумя рядами – рядом букв S, S', S'', символизирующим для нас существование означающей цепочки, и рядом значений, расположенным снизу. В то время как означающая цепочка продвигается в одном направлении, нечто, имеющееся в значениях, продвигается в направлении противоположном. Значение вечно скользит, убегает, скрывается, так что в конечном счете, уже в силу самого факта, что означающее существует, связь человека с любым значением представляет собой, по сути своей, объект особого типа. Именно этот объект и называю я *объектом метонимическим*.

На чем зиждется связь этого объекта с субъектом? В своем воображении субъект себя с этим объектом идентифицирует, причем идентифицирует всецело и радикально, а вовсе не с теми отдельными его функциями, которые отвечают, будто бы, тем или иным так называемым *частичным* его *стремлениям*. На этом уровне возникает, однако, необходимость в наличии какого-то полюса, который представлял бы в воображаемом то, что, индуцируясь в нем

током пробегающих через него объектов, всегда, тем не менее, исчезает из вида. Полюс этот представляет собой объект. Объект этот является главным стержнем не только диалектики неврозов и извращений, но и диалектики развития субъекта вообще. У объекта этого есть имя. И имя ему – фаллос.

Именно это положение и собираюсь я на следующем занятии проиллюстрировать.

5 февраля 1958 года

XIII
Фантазм по ту сторону принципа удовольствия

Прочтение работы Бьют ребенка
Иероглиф кнута, закон побоев
Отрицательная терапевтическая реакция
Мучение быть
Пресловутый женский мазохизм

В качестве библиографического указания назову три статьи, на которые мне сегодня придется сослаться. Первая из них – это статья Эрнеста Джонса *Фаллическая фаза*, опубликованная в "International Journal", том XIV за 1933 год и перепечатанная затем в конце сборника его работ, носящего заглавие "*Papers on Psycho-Analysis*". Вторая – статья на немецком языке Ганса Закса под заглавием *Genese der Perversion*; вы найдете ее в девятом томе журнала "Zeitschrift fьr Psychoanalyse" за 1923 год. И, наконец, это английское издание статьи Отто Ранка *Perversion und Neurosis*, опубликованное в *IJP* за этот же год.

К этому перечню я присоединяю статью Фрейда 1919 года *Der Kind wird geschlagen*, ознаменовавшую новый поворот или очередной шаг вперед не только в его собственной мысли, но и в развитии всего последующего теоретического осмысления неврозов и извращений вообще.

Если присмотреться к делу поближе, то лучшей формулировкой для выражения того, что тогда произошло, была бы формулировка, которая позволила бы указать тот регистр, который я пытаюсь раскрыть здесь, показывая вам, насколько существенная роль принадлежит в образовании симптомов означающему, – другими словами, речь идет о появлении у Фрейда понятия означающего.

С тех пор, как Фрейду удалось это показать, стало понятно, что мы не вправе утверждать, будто инстинкт, влечение выступает в извращении в более неприкрытой, так сказать, форме, нежели в неврозе. Вся статья Ганса Закса о происхождении извращений как раз на то и направлена, чтобы показать нам, что во всяком психическом образовании, характеризуемом как извращение, каково бы оно ни было, налицо точно та же структура компромисса и уклонения,

та же диалектика вытеснения и возвращения вытесненного, что и в неврозе. В этом вся суть замечательной статьи Закса, и приводимые им примеры абсолютно убедительны. В извращении всегда есть что-то такое, что субъект не хочет признать – я говорю *не хочет*, имея в виду все то, что слово это в нашем аналитическом языке подразумевает: то, что субъект не хочет признать, следует понимать не как нечто этим субъектом артикулированное, но в то же время и не как что-то совсем ему неизвестное; оно вытеснено, но вытеснено по причинам, существенно связанным именно с артикуляцией.

Вот где лежат пружины открытого анализом механизма вытеснения. Если бы субъект вытесненное признал, он вынужден был бы тем самым признать и ряд других вещей, для него невыносимых, – в этом источник вытеснения и надо искать. Вытеснение невозможно представить себе иначе, как связанным с означающей цепочкой из сочлененных друг с другом звеньев. Каждый раз, когда в неврозе имеет место вытеснение, происходит это потому, что субъект не желает признать нечто такое, чему требуется быть признанным, и сам термин этот, *требуется*, предполагает некий элемент означающей артикуляции, который иначе, нежели в связном дискурсе, просто немыслим. Так вот – в извращении дело обстоит точно таким же образом. Уже в 1923 году, вскоре после выхода статьи Фрейда, Закс и все психоаналитики обратили внимание на то обстоятельство, что в извращении, действуют те же механизмы выпадения существенных, то есть эдиповых, терминов, которые обнаруживаем мы в анализе неврозов.

Если, однако, какая-то разница все же есть, то к ней следует присмотреться как можно внимательнее. В любом случае нельзя ограничиться противопоставлением самого общего порядка, указав лишь, что в неврозе влечение избегается, в то время как в извращении оно выступает в неприкрытом виде. Влечение в нем действительно проявляется, но проявляется всегда лишь частично. И проявляется оно в чем-то таком, что представляет собой по отношению к инстинкту некий изолированный элемент, собственно говоря, знак; можно даже сказать – означающее инстинкта. Вот почему в прошлый раз, расставаясь с вами, настаивал я на том, что в любой серии фантазмов, характеризуемых как извращение – а о других мы пока говорить и не будем, – имеется определенный инструментальный элемент.

Отправляться ведь надо не от общего, успевшего сложиться у нас представления о том, что называют *инстинктуальной экономией напряженности*, будь она агрессивной или нет, об ее отражениях, возвращениях, преломлениях, – отправляться следует от конкретного. Ибо это, по крайней мере, откроет нам глаза на преобладание, настойчивое присутствие, преимущественное значение этих элементов, которые не только выступают на первый план в той форме, которую извращение принимает, но и обособляются в ней в качестве фантазмов, – на то, другими словами, благодаря чему и доставляют извращения воображаемое удовлетворение.

Почему же занимают эти элементы место столь привилегированное? Я уже говорил вам в прошлый раз об обуви, да и о хлысте тоже – связать их с чисто биологической экономией инстинкта не удается. Инструментальные элементы эти обособляются в форме, символический характер которой настолько очевиден, что столкнувшись с реальностью того, что переживается в извращении, не признать этого символического характера просто невозможно. Само постоянство, с которым проходит такой элемент через все трансформации, которые за время жизни субъекта извращение его может в ходе своей эволюции претерпеть, лишний раз подчеркивает для нас необходимость признать в этом элементе перверсии не просто элемент первичный, последний, необратимый: элемент, чье место в субъективной экономии неоспоримо, но именно элемент означающий.

Вернемся теперь к статье Фрейда.

1

Фрейд исходит из фантазма, выделенного им у группы из восьми больных, в том числе шести девочек и двух мальчиков, – больных, обнаруживавших достаточно различные формы патологии, часть из которых – но далеко не все – носила характер невротический.

Речь идет о систематическом и тщательном исследовании, которое проводит Фрейд шаг за шагом, со всей скрупулезностью ему в подобных случаях свойственной. Опираясь на изучение пациентов, он старается, сколь бы разными они ни были, проследить преобразование экономии фантазма "*ребенка бьют*" на каждом из этапов эдипова комплекса, уже здесь начиная формулировать то, что вырастет в дальнейшем в один из главных моментов его толкования извращений и сделает очевидным (на чем настаиваю и я) то,

насколько важная роль принадлежит в этой экономии игре означающего.

Пользуясь случаем, обращаю ваше внимание на то, что одна из последних статей Фрейда, *Конструкции в анализе*, как раз и показывает – не знаю, заметили вы это или же нет, – что центральное место в объяснении действующего в анализе механизма припоминания занимает понятие связи субъекта и означающего. В статье этой четко доказано, что механизм этот связан с цепочкой означающих. Да и последняя работа, завещанная нам Фрейдом, его последняя, в 1938 году написанная статья – та, что в *Collected Papers* фигурирует под заглавием *Splitting of the Ego in the Process of Defence*, которое я передал бы как "*Разделение* (или *расщепление*, *разрыв*) *Я в механизме аналитического симптома*" и чье немецкое заглавие на котором остановился Фрейд, когда перо выпало у него из рук (статье так и суждено было остаться неоконченной), звучит как *Die Ichspaltung im Abwehrvorgang*, – также тесно связывает экономию с диалектикой извращенного, если можно так выразиться, признания некоей темы, перед лицом которой субъект неожиданно оказывается. Функция эго и воображаемые отношения, имеющие место в связи субъекта с реальностью, сплетены в нерасторжимый узел, обусловленный тем, что используются воображаемые отношения эти уже будучи интегрированы в механизм означающего. Рассмотрим теперь фантазм *бьют ребенка*.

Фрейд останавливается на том, что фантазм этот, вобравший в себя если не все воображаемые способы удовлетворения субъекта, то, по крайней мере, важнейшую часть их, собственно, означает. При этом он настаивает на том факте, что фантазм обнаруживается у большинства субъектов женского пола и гораздо реже у субъектов пола мужского. Причем речь идет не о любых фантазмах садистского и извращенного характера вообще, а о конкретном фантазме, который кульминирует и находит завершение в форме, о которой субъект высказывается очень уклончиво. Создается впечатление, что сам факт затрагивания этой темы связан с довольно заметным чувством вины. Будучи же затронута, она неизбежно принимает одно и то же словесное выражение: *ребенка бьют*.

Бьют. *Ein Kind wird geschlagen*. Это означает, что сам субъект не бьет. Он при этой сцене лишь зритель. Фрейд начинает статью с анализа того, как разворачивается эта сцена в воображении субъектов женского пола, которым пришлось ему об этом поведать. Бью-

щий принадлежит, в общем и целом, к породе тех, кто обладает властью или авторитетом. Это не отец – иногда это школьный учитель, иногда просто некое могущественное лицо: король, тиран – одним словом, фигура весьма фантастическая. И узнается в ней не обязательно отец, а тот, кто является для нас эквивалентным ему лицом. Фигура эта занимает в окончательной форме фантазма свое законное место, и мы легко убедимся, что гомологичностью ее с отцом довольствоваться нельзя. Вместо того, чтобы уподоблять эту фигуру отцу, ее следует поместить по ту его сторону, в той категории Имени Отца, которую мы тщательно отличаем от действий отца реального.

В фантазме фигурируют несколько детей, своего рода группа, или даже толпа, причем все они непременно мальчики. Это как раз и вызывает целый ряд вопросов – настолько многочисленных, что рассмотреть сегодня их все нечего и думать – я просто-напросто попрошу вас обратиться к работе Фрейда самим. По поводу того, что бьют именно мальчиков, то есть субъектов противоположного по отношению к субъекту фантазма пола, можно рассуждать бесконечно – попробуйте, например, соотнести этот факт с такой, скажем, темой, как соперничество полов. На этом Фрейд как раз и заканчивает свою статью, показывая принципиальную несовместимость таких теорий, как теория Адлера, с клиническими данными и неспособность их подобные результаты удовлетворительно объяснить. Аргументацию Фрейд приводит более чем исчерпывающую, и нас будет интересовать здесь совсем другое.

А интересовать нас будет тот способ, которым Фрейд к этой проблеме подходит. Первым делом он сообщает нам результат анализов, причем в интересах изложения – чтобы не повторяться, говоря то и дело, что так вот, мол, происходит у мальчиков, а так у девочек – он рассказывает сначала о том, как обстоит дело у девочек, а потом переходит к мальчикам, о которых, кстати говоря, он располагает материалом более скудным. К чему, в сущности, эти результаты сводятся? К элементам постоянства, которые он обнаруживает и описывает. Для него важны в этом фантазме его превращения, его преобразования, его предшествующие формы, его история, то скрытое в нем, к чему аналитическое исследование дает ему доступ. Фантазм этот проходит через ряд последовательных состояний, в ходе которых что-то в нем изменяется, а что-то оказывается постоянным. Наша задача состоит в том, чтобы извлечь урок из результатов это-

го тщательного исследования – исследования, отмеченного печатью того, что составляет особенность почти всего, Фрейдом написанного: точности, настойчивости, привычки обрабатывать материал до тех пор, пока не окажутся распутанными те связи, которые казались прежде нерасторжимыми. Так, во всех пяти "больших психоанализах", и в поразительном "*Человеке с волками*" в особенности, хорошо видно, как без конца возвращается Фрейд к строгому разграничению между тем, что в первоначальной линии истории субъекта можно назвать его символическим происхождением, с одной стороны, и тем, что было его реальным происхождением, с другой. При этом он выделяет три временных такта.

Первый этап, говорит он, который имеет место в подобных случаях у девочек, состоит в следующем. В какой-то момент анализа ребенок, которого бьют, открывает так или иначе свое истинное лицо и оказывается ее младшим братом или сестричкой, которых избивает отец. Каково значение этого фантазма?

Мы не в силах сказать, сексуальный он или садистский – вот поразительное, принадлежащее самому Фрейду, признание, литературной иллюстрацией которому служат у него обращенные к Банко в *Макбете* слова ведьм. Состоит же фантазм этот, согласно Фрейду, из того материала, *stuff*, в котором берут свое начало и то, и другое: и сексуальное, и садистское. Мы встречаемся здесь с мыслью, которую разовьет Фрейд впоследствии, в 1924 году, в статье *Экономические проблемы мазохизма* – мыслью, которая из работы *По ту сторону принципа удовольствия* с необходимостью следует. Мысль эта заключается в том, что существует некий начальный этап, на котором имеет место, по крайней мере, как правило, *Bindung*, соединение, слияние либидинальных инстинктов, инстинктов жизни, с инстинктами смерти, и что последующее развитие инстинктов предполагает их, этих двух инстинктов, более или менее раннее *Entbindung*, разъединение. Определенные перекосы и приостановки в развитии объясняются при этом преждевременным обособлением инстинкта смерти.

Хотя фантазм этот является первоначальным – во всяком случае, следов архаического, предшествующего ему этапа не обнаруживается, – Фрейд подчеркивает, что значение его следует искать на отцовском уровне. Нанося брату или сестренке побои, отец отказывает им в своей любви. Именно постольку, поскольку сцена эта является сценой расторжения любви и унижения, она затраги-

вает субъекта в самом существовании его как субъекта. Он становится в ней объектом насилия, расправы, и состоит эта расправа в отрицании за ним достоинства субъекта, в уничижении его существования в качестве носителя желания, в сведении его к состоянию, в котором он как субъект начисто упраздняется. *Мой отец его не любит* – вот смысл первичного фантазма. Он-то, смысл этот, и доставляет субъекту удовольствие – другого не любят, другими словами, из системы собственно символических связей он исключен. Именно под таким углом зрения и получает впервые вмешательство отца для субъекта свое значение – то самое, которым и окажутся предопределены все последующие.

Таким образом, архаический фантазм этот уже при рождении своем описывается треугольником, вершинами которого служат не субъект, мать и ребенок, а субъект, его младший брат или сестра, и отец. До Эдипа еще далеко, но отец уже налицо.

Если первая фаза фантазма, наиболее архаическая, субъектом в ходе анализа обнаруживается, то вторая не обнаруживается никогда – она подлежит реконструкции. Поразительно смелое утверждение! Но, подчеркивая смелость фрейдовских выводов, я ни на миг не собираюсь подвергать сомнению их законность, я просто хочу, чтобы глаза ваши были не зашорены, чтобы вы ясно отдавали себе отчет в том, что Фрейд делает и на чем все дальнейшие построения основаны. Материалы анализов указывают, таким образом, на наличие у фантазма некоей фазы, которая, согласно Фрейду, подлежит реконструкции, поскольку воспоминания о ней отсутствуют.

Эта вторая фаза связана с Эдипом как таковым. Смысл ее в особых отношениях девочки со своим отцом – бьет он ее саму. Фрейд признает, что реконструированный в таком виде фантазм этот может свидетельствовать о возвращении у девочки эдипова желания, желания быть объектом желания отца. Именно это желание и влечет за собой чувство вины, делающее наказание в виде побоев необходимым. Фрейд говорит в данном случае о регрессии. Как это следует понимать? Поскольку сообщение, о котором идет речь, вытеснено, поскольку в памяти субъекта оно не обнаруживается, коррелятивный механизм, именуемый Фрейдом регрессией, заставляет субъекта обратиться к воспроизведению в своем воображении этапа предыдущего, проигрывая в этом обреченном забвению фантазме те откровенно либидинальные, уже выстроенные согласно эдиповой схеме отношения, которые складываются у субъекта с ее отцом.

В третьей фазе, после выхода из Эдипа, от фантазма остается одна лишь голая схема. Происходит новое, двоякое преобразование. Фигура отца преодолена, преломлена, разрешена в обобщенную фигуру деспотичного, облеченного властью наказывать лица, в то время как сам субъект предстает в форме множества различных детей, не имеющих даже определенного пола, а образующих своего рода нейтральный ряд.

Этой последней форме фантазма, в которой содержание его поддерживается, фиксируется, можно сказать, запоминается, как раз и свойственно послужить субъекту тем привилегированным образом, на основе которого то генитальное удовлетворение, которое этому субъекту станет доступно, в дальнейшем и будет строиться.

Вот предмет, заслуживающий нашего с вами внимания, – предмет, который как раз и стоит осмыслить в терминах, которые мы с вами начали здесь осваивать. Что же могут они нам сказать на сей раз?

2

Итак, я возвращаюсь к своим двум треугольникам – воображаемому и символическому.

Диалектика символизации отношений матери и ребенка изначально направлена по сути своей на то, что может быть обозначено – то самое, другими словами, что нас с вами интересует. Есть, конечно, помимо этого и другие вещи – есть объект, который может предъявить мать как обладательница груди, есть способы непосредственного удовлетворения, которое она может ребенку доставить. Однако если бы кроме этого ничего не было, не было бы и диалектики, не существовало бы никакого доступа к ее построениям. Ведь дальнейшие отношения субъекта с матерью одними удовлетворениями и фрустрациями не исчерпываются, решающая роль принадлежит в них открытию того, что является объектом ее, матери, желания. Субъекту, этому маленькому ребенку, который призван сформироваться в условиях человеческой жизни и получить доступ в мир означающего, предстоит открыть для себя, что значит для матери ее желание. И все время, пока существует психоанализ, одной из главных задач, как в теории, так и на практике, остается для него понимание того, почему преимущественная роль столь явно принадлежит здесь фаллосу.

Читая статью Джонса о *фаллической фазе*, вы сами увидите, насколько неразрешимые трудности создает для него утверждение

Фрейда, что в сексуальном развитии обоих полов существует некий первоначальный этап, на котором тема "другого" как "другого желающего" связана с обладанием фаллосом. Из окружения Фрейда этого не понимает почти никто, хотя все они вынуждены как-то изворачиваться, чтобы в свои построения этот момент как-то включить, так как их принуждают к этому сами факты. Что так и остается для них непонятым, так это то, что, говоря о фаллосе, Фрейд видит в нем означающее – означающее, которое является стержнем всей диалектики того, что в себе самом, в собственном бытии своем, предстоит субъекту завоевать.

Не отдавая себе отчета в том, что речь идет именно об означающем, комментаторы в поте лица пытаются найти ему нечто эквивалентное, рассуждая о защите субъекта в форме веры в фаллос. Конечно же, они собирают в подтверждение своей теории множество исключительно ценных фактов и обнаруживают тысячи следов интересующего их явления в своей практике, но все это так и остается у них набором частных случаев и индивидуальных подходов, нисколько не объясняющих, почему именно этот элемент получает преимущественное значение в качестве центра и стержневого элемента защиты. Так, прочтя Джонса, вы, в частности, обнаружите, что он приписывает вере в фаллос в развитии ребенка функцию, обнаруженную им в случае гомосексуальности – случае, который общим далеко не является. В то время как мы, говоря о фаллосе, имеем в виду функцию, касающуюся всех.

Позвольте мне использовать сжатую формулу, которая покажется вам, наверное, слишком смелой, – примите ее на данный момент, по крайней мере, в качестве рабочего варианта, к которому мы в дальнейшем возвращаться не станем. Я уже говорил вам, что функция Имени Отца внутри системы означающих состоит в том, чтобы обозначать всю эту означающую систему в ее совокупности, чтобы узаконить ее, чтобы сделать закон из нее самой. К этому я хочу добавить теперь, что фаллос начинает функционировать в системе означающих в тот момент, когда субъекту необходимо становится найти, в противоположность означающему, символ для означаемого как такового – я имею в виду, для значения.

То, что субъекту важно, то, чего он желает, желание как желанное, желание как то, что субъекту желанно, – когда невротику или извращенцу предстоит для всего этого найти символ, то, как показывает анализ, прибегает он для этого к помощи фаллоса. Означа-

ющее означаемого вообще – это и есть фаллос.

Это очень важно. Исходя из этого, вы во многом сможете разобраться. Не учитывая этого, вы поймете куда меньше и вынуждены будете доходить до многих чрезвычайно простых вещей путями долгими и окольными.

Фаллос оказывается в центре происходящего сразу же, как только субъект сталкивается с желанием матери. Фаллос этот остается завуалированным и останется таковым на веки вечные – по той простой причине, что в отношениях между означающим и означаемым это означающее выступает последним. И мало шансов, на самом деле, что оно откроется когда-нибудь как-то иначе, нежели в качестве того, что является означающим по природе, то есть что оно и вправду явит когда-нибудь то, что оно, в качестве означающего, означает.

Давайте, тем не менее, подумаем о том, о чем мы еще не задумывались, – о том, что происходит, когда на месте этом оказывается нечто такое, что поддается артикуляции и символизации куда труднее, нежели что бы то ни было из принадлежащего Воображаемому, – другими словами, когда на месте этом оказывается реальный субъект. Ведь именно это и происходит в той фазе, на которую указывает нам Фрейд в качестве первой.

Желание матери не является здесь объектом поисков чего-то загадочного – поисков, которым по мере развития субъекта суждено навести его на след того знака, фаллоса, который и призван потом, вступив в танцевальный круг символического в качестве объекта кастрации, вернуться к субъекту уже в другой форме – чтобы тот делал то и был тем, что ему предстоит делать и чем ему предстоит стать. Он уже стал им и он это делает, но мы-то покуда находимся в самом начале, в том моменте, когда субъект, столкнувшись с воображаемым местом, где находится желание его матери, обнаруживает, что место это уже занято.

Мы не могли говорить с вами обо всем сразу – нам повезло, к тому же, что мы не задумались с самого начала о роли младших детей, которая является, между тем, как мы знаем, в возникновении неврозов решающей. Малейшего аналитического опыта достаточно, чтобы отдавать себе отчет в том, что рождение маленького брата или сестрички служит в развитии любого вида невроза поворотным пунктом. Однако если бы мы преждевременно на эту тему задумались, это возымело бы на нашу мысль в точности то же дей-

ствие, что наблюдаем мы у невротиков, – фиксировав внимание на реальности обнаруженной нами связи, мы полностью упустили бы из виду ее функцию. Отношения с младшим братом или сестричкой обретают решающее значение не на уровне реальности, а лишь постольку, поскольку вписываются в ход совсем иного процесса – процесса символизации. Усложняя этот процесс, они требуют совсем иного решения – решения фантазматического. Каково же оно? Природу его Фрейд нам описывает – если в символическом плане субъект упраздняется, обращается в полное ничтожество, которое в качестве субъекта никто не собирается принимать в расчет, ребенок обращается к так называемому "мазохистскому" фантазму побоев, который и представляет собой в такой ситуации успешное решение проблемы на этом уровне.

Мы не должны этой ситуацией ограничиваться, но прежде всего нам нужно понять, что же все-таки имеет здесь место. А имеет здесь место символический акт. Фрейд сам это и подчеркивает – если ребенок привык думать, что в семье он один, одного-единственного подзатыльника бывает достаточно, чтобы вывести его из эйфории собственного всемогущества. Так что речь идет именно о символическом акте, и сама форма предмета, который в фантазме участвует – прута или розги – имеет природу чего-то такого, что в символическом плане выступает в виде черты, зарубки или рубца. И хотя наличие таких явлений, как своего рода эмпатия, *Einfühlung*, которые могут сопровождать физический контакт субъекта с лицом, испытывающим страдания, мы отрицать не будем, на первый план выходит здесь все же нечто такое, что зачеркивает субъект, заграждает, упраздняет его, – одним словом, нечто означающее.

Вывод этот подтверждается уже тем, что впоследствии (все это есть в статье Фрейда, которой я следую здесь шаг за шагом), когда ребенок действительно с телесным наказанием сталкивается (в школе, например, где вполне могут кого-то на его глазах выпороть), удовольствия от этого он отнюдь не испытывает – так утверждает Фрейд, основываясь на опыте своей работы с субъектами, из которых ему удалось историю этого фантазма извлечь. Наоборот, сцена такого рода внушает ему нечто вроде *Ablehnung*, то есть (я исправляю здесь существующий перевод) ***отвращение, желание отвернуться***. Вынужденный это зрелище наблюдать, субъект, тем не менее, к нему не причастен, он держится на расстоянии. Встретившись в жизни с действительной сценой порки, субъект не горит желани-

ем в реально происходящем участвовать. Больше того – Фрейд недвусмысленно отмечает то обстоятельство, что само удовольствие, которое субъект в этом фантазме испытывает, явно обусловлено несерьезностью, невсамделишностью происходящего. Реальной, физической целостности субъекта порка не затрагивает. Эротизации подвергается лишь ее символический характер как таковой, причем происходит это уже с самого начала.

Во второй фазе (и это поможет вам по достоинству оценить схему, которую я не прошлом занятии предложил) фантазм получает иное значение, новый смысл. В этом-то вся загадка мазохизма по сути и состоит.

Если говорить о субъекте, то выхода из этого тупика нет. Я не утверждаю, будто понять, объяснить, распутать эту ситуацию очень легко. Будем поначалу держаться фактов, и лишь установив точно, как именно обстоит дело, попробуем объяснить, почему же все-таки сложилось оно именно так.

Вмешательство означающего привносит с собой два четко различающихся между собой элемента. С одной стороны, налицо сообщение и значение: субъект узнает, что его маленький соперник – это ребенок, которого порют, то есть полное ничтожество, о которое можно вытирать ноги. С другой стороны, налицо означающее, которое следует выделить и обособить как таковое, – то, что служит орудием, инструментом.

Фундаментальной чертой мазохистского фантазма (в том виде, в котором мы его у субъекта действительно наблюдем, а не в той идеальной модели эволюции инстинктов, которую мы умозрительно конструируем) является наличие кнута. И черта эта сама по себе заслуживает того, чтобы мы заострили на ней свое внимание. Мы имеем здесь дело с означающим, которое заслуживает в ряду наших иероглифов особого места – и прежде всего уже по той простой причине, что иероглиф существа, держащего хлыст, испокон веку означает правителя, руководителя, господина. Важно не терять из виду того факта, что это так и что мы имеем дело именно с этим.

Те же два элемента оказываются налицо и во второй фазе. Разница лишь в том, что сообщение, о котором идет речь, *мой отец меня бьет*, субъекта не достигает – то, что говорит Фрейд, понимать следует именно так. Сообщение, подразумевавшее поначалу *соперник не существует, он ничтожество*, подразумевает теперь *ты существуешь, и больше того, тебя любят*. Именно это служит

сообщением во второй фазе, а то, что сообщение это является здесь в форме регрессивной или вытесненной, не имеет значения. Перед нами сообщение, которое субъекта не достигает.

Когда годом позже, в работе *По ту сторон принципа удовольствия*, пытаясь вскрыть корни того мазохизма, с которым он имеет дело в анализе в форме противодействия, непримиримого врага, Фрейд поднимает вопрос о мазохизме как таковом, он будет вынужден сделать это уже в других терминах.

Поэтому задержать наше внимание на загадочной фазе фантазма, в которой, по словам Фрейда, вся суть мазохизма и заключается, нам будет особенно интересно.

3

Будем двигаться постепенно, шаг за шагом. Рассмотрим для начала, в чем заключается парадокс и где нам его искать.

Итак, имеется сообщение – сообщение, которое места субъекта не достигает. Единственное, что от него остается, это означающий материал – тот предмет, хлыст, который и пребывает в качестве знака неизменным, становясь в конечном итоге стержнем и чуть ли не моделью всех отношений между желанием и Другим.

На обобщенный характер последнего фантазма, который в памяти остается, ясно указывает тот факт, что субъектов становится неопределенное множество. Факт этот с очевидностью обнаруживает либидинальный характер связи с другим (l'autre), другими, другими с маленькой буквы, маленьким *a*, давая понять, что человеческие существа, все, как таковые, являются подневольными. Войти в мир желания означает для человеческого существа в первую очередь встать под ярмо закона, навязываемого чем-то таким, что находится по ту его сторону (назовем мы его отцом или нет, здесь уже не имеет значения) – закона палки. Именно так прочерчивается у субъекта, входящего в жизнь заранее предопределенным путем, линия его эволюции. Функция окончательного фантазма состоит в том, чтобы явить принципиально важную связь между субъектом и означающим.

Пойдем теперь дальше и вспомним, в чем состоит то новое, что сказано Фрейдом о мазохизме в работе *"По ту сторону принципа удовольствия"*. А сводится оно, по сути дела, вот к чему. Рассматривая инерцию субъекта, тот способ, которым сопротивляется он нормативному, нормализующему лечебному вмешательству, мы при-

ходим к выводу, что принцип удовольствия представляет собою не что иное, как стремление жизни вернуться к неодушевленному состоянию. Скрытой пружиной либидинальной эволюции является стремление вновь обрести покой камня. Вот что говорит Фрейд к великому смущению тех, для кого понятие либидо было тогда краеугольным.

При всей новизне и даже – во всяком случае, в приведенной мною выше формулировке – скандальности, вывод этот представляет собой лишь дальнейшее развитие принципа удовольствия, который характеризуется у Фрейда как стремление разрядить напряжение до нуля. Не существует, однако, более радикального способа вернуться к нулю, чем смерть. В то же время нельзя не заметить, что, формулируя принцип удовольствия таким образом, мы оказываемся вынуждены, чтобы окончательно не запутать дела, поместить эту формулировку по ту сторону принципа удовольствия.

Здесь нужно сказать несколько слов об одной из самых своеобразных сторон жизни и личности Фрейда – о его отношении к жене. Возможно, у нас еще будет впереди случай к этой теме вернуться. В жизни Фрейд был человеком, женщинами обделенным, или ими себя обделившим. Мы знаем лишь о двух его женщинах – это жена и свояченица, жившая как бы в тени этой супружеской пары. Никакого следа чего-то другого, что напоминало бы любовные отношения, мы не встречаем. Зато он имел несчастную склонность легко следовать внушениям, исходившим из своего женского окружения, иные из которого мнили себя его помощницами и преемницами. Стоило, например, даме по имени Барбара Лоу предложить ему такой не слишком подходящий, мягко говоря, термин, как *принцип нирваны,* как Фрейд тут же дал ему свою санкцию. Связь нирваны с понятием возвращения природы к неодушевленному состоянию, конечно, весьма приблизительна, но коли уж Фрейд этим термином удовольствовался, не будем против него возражать и мы.

Если принцип нирваны действительно является правилом и законом жизненной эволюции, то обязательно должно где-то существовать что-то такое, благодаря чему удовольствия нам доставляется (время от времени, по крайней мере) не понижением уровня удовольствия, а его повышение – правда, признает Фрейд, мы абсолютно неспособны объяснить, почему. Это, должно быть, нечто вроде временного ритма, соответствия сроков, пульсаций. Фрейд явно допускает здесь отдаленную возможность прибегнуть к объяс-

нениям, которые, будучи сформулированы, может и не показались бы такими уж неопределенными, но остаются для нас покуда за пределами досягаемости – речь идет о чем-то имеющем отношение к музыке, к гармонии сфер.

В любом случае, даже если мы признаем, что принцип удовольствия состоит в возвращении к смерти, удовольствие действительное, то, с которым мы конкретно имеем дело, явно требует объяснений иного порядка. Обязательно должен быть в распоряжении жизни какой-то фокус, который заставил бы субъектов поверить, что находятся они тут исключительно для собственного удовольствия. Мы возвращаемся тем самым к философской банальности, к идее о покрывале майи, которое, вводя людей в заблуждение, позволяет им выжить. Возможность правдами и неправдами достичь его потустороннего – будь то удовольствия как такового, будь то многоразличных удовольствий частичного характера – опирается на принцип реальности. Именно его мы по ту сторону принципа удовольствия и находим.

Только это и позволяет Фрейду теоретически оправдать существование того, что называется у него *отрицательной терапевтической реакцией*. Здесь нам, однако, предстоит задержаться, так как в конечном счете отрицательная терапевтическая реакция эта со стороны субъекта не является сродни реакции стоической. Проявления ее приносят как самому субъекту, так и его окружению массу неприятностей. Более того, они оказываются порою настолько тягостны, что лучшим жребием для всего пришедшего в бытие может показаться в конечном итоге *не родиться вовсе*. Слово, которое под конец выговаривает Эдип, его μη φῦναι, смысловой предел и вершина всей трагической авантюры, не только эту авантюру не упраздняет, но, напротив, увековечивает ее – увековечивает по той простой причине, что если бы не удалось Эдипу в конечном итоге это слово высказать, ему не суждено было бы стать тем героем трагедии по преимуществу, которым мы его теперь знаем. Героем этим становится он лишь постольку, поскольку в конечном счете выговаривает-таки это слово, увековечивает себя.

Итак, Фрейд показывает, что по ту сторону принципа удовольствия лежит нечто, представляющее собой, возможно, не что иное, как стремление к вечному покою смерти. Мы, однако, в собственной нашей аналитической практике – и к этому весь смысл второго года моего семинара и сводится – столкнулись с явлением, когда

отрицательная терапевтическая реакция носит специфический характер, принимая форму той неодолимой тяги к самоубийству, что дает о себе знать на последних стадиях сопротивления у субъектов, которые были в той или иной степени родителям нежеланны. По мере того, как все яснее выговаривается в анализе то, что должно, по идее, заставить их к собственной, прожитой в качестве субъектов, истории подойти ближе, они все упорнее отказываются в эту игру играть. Более того, они хотят из нее в буквальном смысле слова выйти. Они не согласны быть тем, чем они стали, они отвергают ту означающую цепочку, в которую были допущены своей матерью лишь скрепя сердце.

Нам, аналитикам, бросается в таких случаях в глаза то самое, что налицо и в других субъектах, – присутствие желания, которое выговаривается, выговаривается не только как желание признания, но и как признание самого желания. Означающее становится при этом существенным его измерением. Чем настойчивее утверждает себя субъект с помощью означающего в качестве желающего из означающей цепочки выйти, тем безысходнее он в нее включается, тем бесповоротнее превращается он в один из входящих в эту цепочку знаков. Упразднив себя, он себя в этом знаковом качестве лишь упрочивает. И это легко объясняется – ведь именно после смерти становится субъект для других увековеченным знаком, особенно самоубийца. Именно потому и свойственна самоубийству та исполненная жути красота, из-за которой подвергается оно у людей столь суровому осуждению, – красота заразительная и ведущая порой к эпидемиям самоубийств, в реальности которых наш опыт усомниться не позволяет.

В работе *По ту сторону принципа удовольствия* Фрейд еще раз обращает наше внимание на то, что в основе всего, из чего наши отношения с субъектом складываются, лежит желание признания как таковое. Да и вообще, не сводится ли все то, что лежит у Фрейда по ту сторону принципа удовольствия, к основополагающей для субъекта связи его с цепочкой означающих?

По здравом размышлении, сама мысль прибегнуть к пресловутой инерции человеческой природы в поисках модели того, к чему жизнь, якобы, стремится, может на сегодняшний день вызвать у нас лишь улыбку. Что касается возврата к ничто, то на него расчет очень слабый. Сам же Фрейд, в маленьком отступлении, которое я попрошу вас найти в его статье *Экономические проблемы мазохизма*, где

темы книги *По ту сторону принципа удовольствия* поднимаются им заново, указывает на то, что даже если возврат к неодушевленной природе и можно действительно представить себе как возврат к более низкому уровню напряжения, к полному покою, ничто не доказывает при этом, что тогда, после уничтожения всего, что возникло и считается у нас жизнью, воцарится внутри полная неподвижность, что в глубине бытия не кроется боль. Эту боль, я ее не придумал, я ее не экстраполировал – сам Фрейд говорит о ней как о том, что следует рассматривать как последний остаток связи Танатоса с Эросом. Конечно, Танатос, пользуясь моторной агрессией субъекта по отношению к окружению, находит способ высвобождения, но что-то от него остается, тем не менее, внутри субъекта – остается в форме той неотделимой от бытия боли, которая, как полагает Фрейд, связана у живого существа с самим существованием его. Но ничто не доказывает, что боль эта свойственна лишь живому – ведь и неживая природа оказалась теперь, как мы знаем, средой настолько по-своему одушевленной, бродящей, гниющей, кипящей, даже взрывоопасной, что еще недавно мы не могли себе ничего подобного и вообразить. Зато есть факт осязаемый, который воображать не надо, и состоит он в том, что субъект, связанный определенными отношениями с означающим, способен время от времени, когда попросят его в этом означающем оформиться, ответить на эту просьбу отказом. “Нет, я не стану элементом цепочки”, – может заявить он. Вот что, в конечном счете, лежит в основе. Но основа, изнанка представляет собой в данном случае ровно то же самое, что и лицо. Что, собственно, субъект делает, отказываясь платить по долговым обязательствам, которых он не давал? Он их тем продлевает, увековечивает. Его последовательные отказы лишь оживляют цепочку, и он оказывается к ней еще прочнее привязанным. *Absagungzwang*, вечная необходимость повторять один и тот же отказ снова и снова – вот в чем усматривает Фрейд наиболее глубокую пружину того бессознательного, что заявляет о себе симптоматическим воспроизведением.

Без всего этого трудно понять, почему означающее, едва будучи введено, немедленно получает двойное достоинство. Почему субъект чувствует, что оказался затронут означающим в своем желании? Да потому, что именно он, а не кто-то другой, оказывается воображаемым – и, разумеется, означающим – хлыстом упразднен. Субъект чувствует, что в качестве желания он упирается во что-то

такое, что, закрепляя и санкционируя его, устанавливая за ним определенную ценность, одновременно его профанирует. В мазохистском фантазме всегда есть сторона позора, унижения, профанации, указывающая в то же самое время на измерение признания и способ запретных отношений субъекта с отцовским субъектом. Это как раз и лежит в основе непризнанной субъектом фазы фантазма.

Доступ субъекта к принципиально двойственному характеру означающего облегчается фактором, который я, щадя ваши бедные головы, на схеме пока не задействовал, так как в последний раз они и так оказались страшно осложнены тем, что я ввел на ней еще одну параллельную линию: *i–m* – линию, обозначающую связь образа собственного тела субъекта с его собственным Я.

Мы не можем не считаться с тем фактом, что соперник не становится просто-напросто вершиной некоего возникающего с его появлением треугольника, а предстает, уже на воображаемом уровне, как радикальное препятствие. Именно это и провоцирует явление, описанное в *Исповеди* Блаженного Августина, – смертельную бледность на лице грудного ребенка при виде своего молочного брата, сосущего материнскую грудь. В отрывке этом действительно описано нечто для субъекта поистине крайнее, убийственное. Но соперничеством с другим дело далеко не исчерпывается – ведь идентификация с этим другим тоже имеет место. Другими словами, связь субъекта с любым образом другого носит характер принципиально двойственный и помещает субъекта, вполне естественно, на планку качелей, взмах которых немедленно перебрасывает его в положение, принадлежавшее ранее его сопернику, – положение, куда то же самое сообщение придет теперь, имея прямо обратный смысл.

Мы убеждаемся, таким образом, – и это помогает нам лучше понять, о чем идет речь, – в следующем: лишь по мере того, как отношения внутри треугольника связываются в какой-то части своей с собственным Я субъекта, организуются и получают свою структуру все впоследствии возникающие фантазмы. Не случайно именно в измерении, лежащем между первоначальным материнским объектом, с одной стороны, и образом субъекта, с другой, – измерении, где разворачивается веером вся гамма тех промежуточных состояний, из которых реальность складывается, – находят свое место все те другие, которые становятся носителями значащего объекта, то есть хлыста. Начиная с этого момента фантазм – я имею в

виду тот фантазм, где в качестве ребенка, которого бьют, фигурирует сам субъект, – знаменует отношения субъекта с Другим, в любви которого он нуждается, – знаменует постольку, поскольку сам фантазм как таковой остается субъектом непризнан. Располагается этот фантазм где-то в символическом измерении между отцом и матерью, постоянно колеблясь фактически от одного из этих полюсов к другому.

Мы с вами проделали сегодня путь не менее трудный, чем в прошлый раз. В том, что работа эта не напрасна и имеет определенную ценность, вы в дальнейшем сможете убедиться. В качестве легкого намека на предстоящую тему я позволю себе здесь одно замечание, которое покажет вам, какое применение могут наши формулировки найти.

Аналитики утверждают, как правило, что отношения с мужчиной предполагают со стороны женщины своего рода мазохизм. Это одно из тех заблуждений, что зачастую сбивают нас с толку и ставят на практике в безвыходное положение. Если и правда, что отношения женщины с мужчиной носят мазохистский характер, то вовсе не потому, что в отношениях с партнером мазохисты демонстрируют определенные признаки и фантазмы, типичные именно для позиции женщины. Представление о том, будто в отношениях между мужчиной и женщиной именно женщина является тем, кто удары на себя принимает, для мужчины действительно характерно, поскольку позиция женщины так или иначе его затрагивает. Но для того, чтобы позицию субъекта действительно можно было охарактеризовать как принципиально женскую, явно недостаточно того обстоятельства, что мужской субъект отмечает наличие в собственной или в клинической перспективе определенной связи между занятием женской позиции, с одной стороны, и означающим позиции субъекта, имеющим большее или меньшее отношение к мазохизму, с другой.

Внести по ходу дела эту коррективу в предложенное Фрейдом в его посвященной экономической проблеме извращения работе понятие женского мазохизма кажется мне делом необычайно важным.

Я собирался вам кое-что рассказать о связи фаллоса и комедии, но на это, к сожалению, у меня совсем не хватило времени. Очень жаль, но придется отложить эту тему до следующего раза.

12 февраля 1958 года



ЗНАЧЕНИЕ ФАЛЛОСА

XIV

Желание и наслаждение

Маски женщины
Перверсия Андре Жида
Идеал собственного Я и перверсия
Балкон *Жана Жене*
Комедия и фаллос

Дорогие друзья! Возвращаясь к нашей прерванной три недели назад теме я буду исходить из того, о чем мне совершенно справедливо напомнили прошлым вечером, – из того, что дискурс наш должен быть дискурсом научным. Оказывается, однако, что имея дело с таким предметом, как наш, достичь этого совсем не так просто.

Вчера вечером я обратил ваше внимание на то, что в подходе фрейдовской дисциплины к изучению любых связанных с человеком явлений имеется один оригинальный момент: на первом плане всегда оказывается у нее тот привилегированный элемент, который мы называем желанием.

Я уже обращал ваше внимание на то, что до Фрейда элемент этот всегда оказывался сведен на нет, заведомо проигнорирован. И это позволяет нам утверждать, что до Фрейда всякое изучение человеческого устроения вменялось так или иначе морали и этике – дисциплинам, которые озабочены были не столько тем, чтобы желание изучить, сколько тем, чтобы его укротить и дисциплинировать. В психоанализе же мы имеем дело с явлениями желания в самом широком смысле слова, а не рассматриваем их как своего рода побочный эффект.

Главное, что в явлении человеческого желания бросается в глаза – это постоянная подтасовка, а то и полная перелицовка его означающим. В этом и состоит та связь желания с означающим, о которой не устаю я здесь с вами напоминать.

Но вместо того, чтобы развивать сегодня эту мысль – хотя вернуться к ней, чтобы сделать ее своим исходным пунктом, нам все-таки пришлось, – я покажу вам, какое значение приобретает в перспективе, строго учитывающей своеобразие условий человеческого желания, понятие, которое вы, оперируя понятием желания, так или иначе должны принимать во внимание и которое заслуживает того,

чтобы его с этим последним не путали – скажу больше: которое и сформулировано-то может оказаться не раньше, чем осознаем мы в достаточной мере все сложности, которые с образованием желания связаны. Оно-то, понятие это, и станет вторым полюсом наших сегодняшних рассуждений. Я говорю о понятии наслаждения.

Возвращаясь к тому, из чего же, собственно, смещение и отчуждение желания в означающем складывается, мы зададимся для начала вопросом о значении в этой перспективе того бесспорного факта, что человеческий субъект способен овладеть навязанными ему миром условиями так, словно эти условия были для него созданы, более того – получить в этих условиях удовлетворение.

Что и приведет нас – я надеюсь, уже сегодня – к теме, которую я в начале года, когда в центре нашего внимания лежала острота, уже заявлял, – к обсуждению природы комедии.

1

Напомним для начала, что желание поставлено в связь с означающей цепочкой, что в ходе эволюции человеческого субъекта оно поначалу выступает и заявляет о себе в качестве требования и что фрустрацию у Фрейда воплощает собой *Versagung*, то есть отказ, а еще точнее – отречение.

Проследив, вслед за последователями Мелани Кляйн, истоки этого явления (исследование, которое, безусловно, ознаменовало в анализе определенный прогресс), мы обнаруживаем, что большинство проблем в эволюции невротического субъекта восходит к типу удовлетворения, именуемого садо-оральным. Отметим лишь, что удовлетворение это имеет место в фантазме, причем в форме, встречной по отношению к тому удовлетворению, которое субъект фантазирует.

Говорят, что начинается все с потребности в укусе, порой агрессивном, которую испытывает ребенок по отношению к телу матери. Не будем забывать, однако, что до реального укуса дело никогда не доходит, что все это не более, чем фантазмы, и что мы не продвинемся в наших выводах ни на шаг, пока не признаем, что в сердцевине того, что нам предстоит выяснить, лежит не что иное, как страх укуса ответного.

Один из тех, с кем я говорил прошлым вечером, совершенно справедливо заметил мне, что, пытаясь использовать неплохие определения фантазма, предложенные Сьюзан Айзекс, обнаружил

полную неспособность со своей стороны сделать из них какие-то выводы, которые были бы основаны исключительно на воображаемых отношениях между субъектами. Провести сколь-нибудь приемлемое различие между бессознательными фантазмами, с одной стороны, и чисто формальными продуктами игры воображения, с другой, абсолютно невозможно, не увидев того, что над бессознательным фантазмом господствует означающее. Именно означающим и обусловлены с самого начала его, этого фантазма, структуры.

Первичные хорошие и плохие объекты, те самые первоначальные объекты, исходя из которых всякий аналитический вывод и строится, образуют своего рода батарею, вырисовывается несколько рядов замещающих друг друга терминов, которым суждено стать эквивалентными. Так, молоко и грудь становятся впоследствии: одно – спермой, другая – пенисом. Отныне объекты эти навсегда перейдут, если можно так выразиться, в новое качество – в качество означающих.

То, что происходит с объектом первоначальным, то есть объектом материнским, с самого начала представляет собой операцию, совершаемую над знаками – теми знаками, которые можно было бы, чтобы дать о предмете нашего разговора образное представление, назвать разменной монетой желания Другого. Дело, однако, в том, что, рассматривая в прошлый раз достаточно подробно работу, которую Фрейд считал в данном отношении наиболее важной (я уже говорил вам, что она действительно знаменовала собою в понимании Фрейдом проблемы извращения решающий шаг), я уже дал вам случай обратить внимание на то, что знаки эти можно разбить на две категории. Дело в том, что далеко не все они сводимы к тому, что я уже охарактеризовал здесь как своего рода разменную монету, как ценные бумаги, как меновые, чисто репрезентативные величины или, другими словами, как знаки, уже осуществленные и положенные в этом качестве. Есть среди знаков и другие – те, что сами это качество знаковости полагают. Они-то и обеспечивают само создание ценности, именно их посредством толика реальности, ежемоментно в этой экономии задействованная, поражена оказывается тем оружием, шрам от которого и делает ее знаком.

В прошлый раз мы наблюдали с вами такое оружие в действии, и представляло оно собой знак палки, хлыста или подобного им инструмента битья. То, что служило поначалу орудием, сводившим на нет реальность брата-соперника, становится в дальнейшем в гла-

зах субъекта показателем собственного отличия и признания, знаменующим его, субъекта, в качестве чего-то такого, что может быть либо признано, либо подвергнуто уничижению. С этого момента субъект оборачивается чистой поверхностью, на которой может быть записано все, что бы ему будущее ни принесло, – или даже, если можно так выразиться, своего рода подписанный чековый бланк, на котором впоследствии может быть проставлена любая сумма, которую заблагорассудится подарить. Поскольку же размер дара не ограничен ничем, то речь идет, собственно, не о том, что может или не может им послужить, а об отношениях, которые зовутся любовью – отношениях, состоящих, как я уже говорил вам, в том, что субъект в них приносит в дар нечто такое, чего он, по сути дела, не имеет. Сама возможность включиться в отношения, которые относились бы к разряду любовных, предполагает наличие того фундаментального для субъекта знака, которым его признание или уничижение опосредовано.

Я просил вас за время перерыва в наших занятиях кое-что прочитать. Надеюсь, вы исполнили мою просьбу и посвятили фаллической фазе Джонса и раннему развитию женской сексуальности хоть какое-то время.

Поскольку сегодня мне придется двигаться дальше, я предложу вашему вниманию один частный пример, который я обнаружил, перечитывая номер *IJP*, посвященный 50-летию Джонса и относящийся, соответственно, к периоду, когда интерес к фаллической фазе стоял у английских аналитиков на первом плане. В номере этом (том X) я вновь с большим интересом прочел статью Жоан Ривьер, озаглавленную *Женственность как маскарад*.

Речь в статье идет не о функции женственности вообще, а об анализе частного случая, который рассматривается автором как ответвление на одном из возможных путей становления субъекта в качестве женщины.

Субъект, которому посвящена статья, выступает как наделенный женственностью, видимая естественность которой для самого субъекта тем более удивительна, что всей жизнью своей он демонстрирует (что в ту, отдаленную уже эпоху, особенно бросалось в глаза) полное усвоение всех собственно мужских функций. В своей профессиональной жизни этот субъект абсолютно независим, свободен, прекрасно подготовлен, что в то время, повторяю, было чертой гораздо более неординарной, чем нынче. При этом, одна-

ко, поведение субъекта свидетельствует о том, что он в максимальной мере и на всех уровнях усвоил себе и свои женские функции – включая сюда как социальную роль супруги и хозяйки дома, где он выказывал в превосходной степени все те качества, что в нашем сословии (да и в других тоже) обусловлены задачами, которые на женщину возлагаются, так и функции собственно сексуального плана, где отношения субъекта с мужем в смысле наслаждения, то есть сексуального удовлетворения, не оставляли желать лучшего.

Вы прекрасно знаете, какое значение в нарушениях развития женской сексуальности придает наш опыт так называемой *зависти к пенису*, *Penisneid*. Здесь же, в нашем случае, скрывается нечто обратное. Я не буду пересказывать вам сегодня всю историю этой женщины, так как это в нашу сегодняшнюю тему не входит, скажу лишь главное: источником удовлетворения, на котором держится то, что явным образом расцветает в этом счастливом либидо пышным цветом, является скрытое удовлетворение превосходством над родительскими персонажами. Я воспроизвожу здесь тот термин, которым сама г-жа Жоан Ривьер и воспользовалась и который отражает, по ее мнению, самую суть того, в чем заключаются проблемы этого конкретного случая – случая, характеризующегося непринужденностью и полнотой, вероятность которых в эволюции женской сексуальности слишком мала, чтобы пройти незамеченной. Результатом обнаружения этой лежащей в основе личности скрытой пружины является пусть временное, но глубокое нарушение тех отношений, что ранее представлялись стабильными, зрелыми и безоблачными, вплоть до того, что исход, до сих пор обычно счастливый, полового акта, тоже на это время оказывается под угрозой – что, по мнению автора, и служит как раз ее предположению пробным камнем.

Таким образом, подчеркивает г-жа Ривьер, поведение этой женщины обнаруживает потребность избежать со стороны мужчин упреждающей агрессии – агрессии, мотивированной тем, что она тайком изымает у них то самое, что является источником и символом их могущества. По мере продвижения анализа характер отношений с лицами того и другого пола все в большей степени задается, направляется и определяется с ее стороны старанием избежать наказания и упреждающего ответа со стороны мужчин, на которых внимание субъекта направлено.

Это тонкое различие моментов поведения становится, как я уже

говорил, по мере анализа все очевиднее, уже с самого начала давая о себе знать в небольших отклонениях от нормы. Всякий раз, когда женщина эта являла свое фаллическое могущество, она тут же пускалась на ряд уловок, которые носили характер обольщения или актов самопожертвования (я, мол, всю себя посвящаю людям) и которыми она, имитируя самые возвышенные формы женской самоотверженности и преданности, словно говорила: "Смотрите, никакого фаллоса у меня нет, я просто женщина и ничего больше". Особенно тщательно маскировалась она, имея дело с мужчинами на работе, – человек исключительно квалифицированный, она шла вдруг на ухищрения, выказывая сомнения или даже тревогу по поводу качества своей работы, что было у нее, по выражению г-жи Жоан Ривьер, кокетливой игрой, призванной не успокоить, а, напротив, ввести в заблуждение тех, кого могло, как она опасалась, задеть то, что представало в ее поведении, по сути дела, как агрессия, как потребность получить превосходство и насладиться им – потребность, сложившаяся в ходе соперничества ее поначалу с матерью, впоследствии же с отцом.

Одним словом, при всей кажущейся парадоксальности такого примера, он убеждает нас, что в анализе, нацеленном на понимание субъективной структуры, речь всегда идет о чем-то таком, в свете чего субъект предстает нам как вовлеченный в процесс признания. Да, но признания в чем? Давайте в этом разберемся.

Это потребность в признании является у субъекта бессознательной – вот почему так необходимо нам найти ей место в принципиальной "инаковости" того качества, о котором мы до Фрейда пребывали в неведении. Инаковость же эта обусловлена не чем иным, как позицией означающего – того, под действием чего происходит отделение существа от его же собственного существования.

Судьба человеческого субъекта принципиально связана с отношением его к знаку своего бытия – предмету, вокруг которого разгораются всякого рода страсти и который в процессе этом воплощает собою смерть. Связанный с этим знаком, субъект оказывается настолько отрешен на деле от себя самого, что это дает ему уникальную среди всех тварей возможность занять по отношению к собственному существованию позицию, представляющую собой крайнюю форму того, что мы называем в анализе *мазохизмом*, – позицию, позволяющую субъекту осознать мучительность существования.

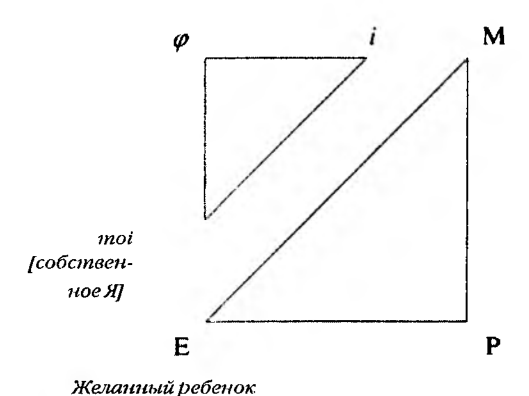
В плане существования, субъект с самого начала оказывается существующим в разделении. Почему? Потому что бытие его требует для себя представления в другом месте, в знаке, а сам знак расположен уже в ином месте, в третьем. Именно это обстоятельство и задает ту структуру субъективного разложения, без которой создать сколь-нибудь основательное представление о том, что называем мы бессознательным, просто невозможно.

Возьмите любое сновидение, и вы, обратившись к книге *Толкование сновидений* и правильно проанализировав его, немедленно убедитесь, что вовсе не в артикулированном означающем, даже если оно поддалось у вас первичной дешифровке, воплощено бессознательное. Не случайно настойчиво возвращается Фрейд по всякому поводу к мысли, что хотя и бывают лицемерные сновидения, они тоже представляют собой выражение желания, даже если это всего-навсего желание обвести аналитика вокруг пальца. Вспомните тот ярко выраженный в анализе молодой гомосексуалистки момент, на который я ваше внимание уже обращал. Бессознательный дискурс не является последним словом бессознательного, в основе его лежит то, что действительно является у бессознательного его тайной пружиной и говорить о чем можно лишь как о желании признания со стороны субъекта – том желании признания, которым сама ложь в данном случае обусловлена и которое под неправильным углом зрения может выглядеть как обман со стороны бессознательного.

Сказанное должно открыть вам глаза на то, почему в основу анализа феномена субъекта в целом, в том виде, в каком имеет с ним дело аналитический опыт, необходимо положить ту нарисованную здесь схему, вокруг которой и пытаюсь я наращивать адекватные представления об образованиях бессознательного. Это уже знакомая вам по недавним занятиям схема, которую я могу сегодня представить в более простом виде. Так, разумеется, и должно быть – самые простые формы всегда являются на свет в последнюю очередь.

Что имеем мы в треугольнике с вершинами Е, Р, М – треугольнике, которым представлена у нас на схеме позиция субъекта?

Мы видим, что субъект связан с триадой терминов, которые являются теми означающими, на которых все его дальнейшее развитие строится. И в первую очередь М, *мать*, этот первый подвергшийся символизации объект, отсутствие или присутствие которого станут для субъекта знаком желания, с которым сцепится жела-



ние его собственное, – знаком, в зависимости от которого он будет ребенком не просто удовлетворенным или неудовлетворенным, а, самое главное, желанным или нежеланным.

Это отнюдь не произвольная конструкция. Вы можете убедиться сами: все, что я на этой схеме располагаю, шаг за шагом было открыто нами на опыте. Именно опыт показал нам, какие лавинообразные, бесконечно разрушительные последствия имеет для субъекта то обстоятельство, что он еще до своего рождения является нежеланным. Этот пункт чрезвычайно важен. Быть желанным для ребенка гораздо важнее, нежели оказаться, в той или иной момент времени, более или менее удовлетворенным. Полюс "желанный ребенок" соответствует как формированию матери в качестве очага желания, так и всей диалектике отношений ребенка с желанием матери, которую я вам попытался продемонстрировать – диалектике, сконцентрированной в изначальном наличии символа для *желанного ребенка*.

Третью вершину треугольника, P, занимает *отец*, являясь в означающем материале тем означающим, посредством которого полагается означающее как таковое. Именно поэтому отец является по сути своей творцом, я бы даже сказал, творцом абсолютным – творцом, творящим из ничего. Означающее действительно обладает замечательным свойством: оно может содержать в себе конкретное означающее, знаменующее собой возникновение означающего как такового.

Именно по отношению к этому должно найти свое место нечто по самой сути своей смутное, неопределенное, неотделенное от соб-

ственного существования, и, тем не менее, от него отделиться призванное – субъект в качестве подлежащего обозначению.

Если какие-то идентификации оказываются возможны, если удается субъекту в переживаниях своих придать тому, что ему собственной человеческой физиологией преподносится, какой-то смысл, – результат обязательно укладывается в эту формирующуюся на уровне означающего триадическую структуру.

Мне не нужно очередной раз говорить вам, что на уровне означаемого, со стороны субъекта, налицо три полюса, гомологичных по отношению к трем символическим полюсам. Отчасти я вам это уже показал. И приглашал вас последовать за мной, в направлении все большей очевидности, все более широкой базы для выводов.

В отношениях с собственным образом субъект вновь обнаруживает двойственность, двуличие желания, которое испытывает по отношению к нему мать – ведь в качестве ребенка желанного он представляет собой ребенка чисто символического. В чем и удостоверяется субъект, экспериментируя с образом самого себя в зеркале – образе, на который он разве что только себя не накладывает.

Сейчас я вам это проиллюстрирую на примере. Я ведь уже упоминал вчера вечером о том, что внимательно ознакомился с рассказом о детстве Андре Жида, которое с исчерпывающей подробностью описывает Жан Делэ в опубликованной под заглавием *Юность Андре Жида* патографии.

Мы знаем, что в эротической жизни, в первичных проявлениях направленного на себя эротизма, Жид, ребенок милостью судьбы отнюдь не взысканный (именно так выражается автор, описывая фотографию Жида, при виде которой того охватывала дрожь), чувствовал себя отданным на милость самых хаотичных образов, ибо оргазма достигал он, по словам автора, лишь ставя себя в ситуации катастрофические. Так, он очень рано получал эротическое наслаждение от чтения мадам де Сегюр, чьи полные двусмысленностью изначального садизма книги являются в своем роде показательными, хотя садистские мотивы эти не развиты ею, пожалуй, со всей подробностью. Находим мы и другие подтверждения – здесь и ребенок, которого бьют, и служанка, у которой со страшным грохотом валится что-то, разбиваясь на части, из рук, и персонаж сказки Андерсена, с которым ребенок себя идентифицирует, – тот самый Грибуйль, что, уносимый течением, прибивается к противоположному берегу, обратившись в веточку. Все это не что иное, как наиболее

далекие от человечности формы страдания, связанного с существованием.

Больше ничего разглядеть нам здесь не удается – разве что темные провалы, с самого начала заметные в отношениях субъекта с матерью. Об этой последней нам известно лишь то, что она была женщиной редких и высоких достоинств, хотя в сексуальности ее, в ее личной жизни как женщины были таинственные пробелы, в силу которых в ее присутствии, за которым следовали годы отсутствия, ребенок наверняка чувствовал себя совершенно потерянным, дезориентированным.

Поворот в жизни Жида, момент, когда она приобретает, если можно так выразиться, человеческий уклад и человеческий смысл, ознаменован тем событием овеществления, который предстает нам в его воспоминания со всей возможной ясностью и кладет неизгладимую печать на все дальнейшее его существование. Речь идет об идентификации его с двоюродной сестрой.

То, что перед нами идентификация, несомненно, но описать происшедшее этим расплывчатым термином явно недостаточно. Момент он называет с точностью и своеобразие этого момента заслуживает самого пристального внимания. Это тот момент, когда он обнаруживает свою двоюродную сестру в слезах на втором этаже того дома, куда он направился, привлеченный не столько им самим, сколько той атмосферой тайны, которая в этом доме царила. И вот, миновав первый этаж дома, где он застает мать сестренки, свою тетю, едва ли не в объятиях ее любовника, Андре оказывается на втором, где, видя сестренку в слезах, переживает пьянящее чувство любви, энтузиазма, скорби и преданности. С этого момента он посвящает себя, как сам впоследствии говорит, ее, этого ребенка, защите и покровительству. Не забывайте, что она при всем том его старше – во время описываемых событий Мадлен уже пятнадцать лет, а ему всего лишь тринадцать.

Смысл происшедшего останется совершенно непонятен нам, пока мы не поместим его в контекст взаимоотношений между тремя участниками. Ведь связан юный Андре не только со своей двоюродной сестрицей, но и с той, другой, что этажом ниже готовится остудить жар снедающей ее лихорадки, с матерью двоюродной сестры – той самой, о которой он в *Узких вратах* рассказывает, что она пыталась еще до этого эпизода его соблазнить.

Как же понять теперь, что в эпизоде этом происходит? В момент

соблазнения он становится желанным ребенком и в ужасе спасается бегством, так как в ситуации напрочь отсутствует всякий элемент сближения и опосредования, способный ее травматичность хоть как-то смягчить. Но как бы то ни было, он впервые оказывается в роли ребенка желанного. Эта новая ситуация, которая в каком-то отношении окажется для него спасительной, закрепит его, тем не менее, в позиции глубокого раздвоения, обусловленного нетипичностью, запоздалостью и, повторяю, неопосредованностью этой встречи.

Что сохранит он от этой встречи после формирования в нем того символического полюса, которого до сих пор ему не хватало? Ничего, кроме самого места – того места желанного ребенка, которое и займет он в конечном счете посредством своей сестрички. На месте этом, где раньше была пустота, дыра, теперь есть место, но только место и ничего больше, потому что, будучи не в состоянии принять желание, объектом которого он является, занять это место он не может и себе в нем, несмотря ни на что, отказывает. Зато собственное Я его явно, само того не зная, не перестает идентифицировать себя, притом на веки вечные, с субъектом желания, от которого оно всецело теперь зависит. В результате он навеки, до конца своего земного существования, влюбляется в того мальчика, которым побывал он однажды в объятиях своей тети, покрывавшей нежными ласками его шею, плечи и грудь. В этом и будет теперь вся его жизнь.

Мы можем принять во внимание, доверяя собственному его признанию, и тот факт, что уже во время своего свадебного путешествия и едва ли не в присутствии своей жены он, ко всеобщему негодованию и возмущению, только и думал, что о той, по его собственному выражению, "мучительной сладости", которую он испытывал, лаская руки и плечи встреченных им в поезде юношей. На этих знаменитых, вошедших в литературу страницах, Жид как раз и показывает нам то, что навсегда останется привилегированным пунктом, на котором фиксировано отныне его желание.

Другими словами: то, что на уровне ставшего для него Идеалом Я, оказалось изъято, то есть желание, объектом которого он оказался и вынести которое он не может, усваивает он теперь себе самому, влюбившись навеки в того самого покрываемого ласками мальчика, которым не пожелал он стать сам.

Полюс желанного ребенка, это означающее, с самого начала

оформляющее субъекта в его бытии, является здесь осевым. Здесь как раз и должно быть выработано нечто такое, с чем собственному Я предстоит так или иначе соединиться в том пункте, где оно находится – пункте, обозначенном у меня на схеме буквой Е. Именно тут складывается тот идеал собственного Я, чертами которого все дальнейшее психологическое развитие субъекта будет отмечено.

Идеал Я отмечен знаком означающего – это первое. Затем, однако, встает вопрос: что послужило для него, этого идеала, отправной точкой? С одной стороны, он может постепенно сложиться, исходя их собственного Я. С другой стороны, Я, может статься, является лишь игрушкой того, что происходит помимо субъекта, без его ведома, идеал же формируется рядом случайностей, всецело зависимых от приключений означающего, случайностей, последовательность которых позволяет субъекту сохранять свою позицию ребенка в той или иной степени желанного.

Схема показывает нам, таким образом, что в зависимости от того, происходит ли это сознательным путем или же бессознательным, на одном и том же месте развивается Идеал Я, в одном случае, и извращение – в другом.

Извращение, свойственное Андре Жиду, обусловлено, главным образом, вовсе не тем, что он не способен желать никого, кроме мальчиков, кроме того мальчика, которыми некогда был он сам, *i*. Извращение его состоит в том, что сформироваться там, в точке Е, он сможет лишь при условии, что ему придется постоянно себя выговаривать, при условии подчинения тому режиму переписки, которая стала жизненным нервом его литературной деятельности, при условии, что он станет тем, кто явит свои достоинства в месте, занятом его двоюродной сестрой, тем, чьи мысли заняты единственно ей, тем, кто буквально на каждом шагу отдает ей все то, чего у него нет, но не более того – тем, одним словом, кто складывается как личность в ней, посредством нее и по отношению к ней. Именно это и ставит его в пожизненную от нее зависимость, продиктовав однажды такие обращенные к ней слова: "Что такое любовь жителя Урана, вам знать не дано. Эта любовь словно набальзамирована".

Именно полная проекция самой сути своей в отношения с двоюродной сестрой и есть основа всего существования Жида, корень и жизненный нерв его существования как литератора, как человека, всецело пребывающего в означающем, всецело пребывающего

в том, что он этой женщине сообщает. Тем самым и оказывается он в своих отношениях с другим человеком овеществлен. Именно поэтому эта нежеланная женщина становится для него предметом высшей любви, и когда предмет этот, этот объект, которым закрыл он прореху любви без желания, исчез, ему ничего не остается делать, как испустить тот несчастный вопль, на сходство которого с воплем преимущественно комичным, воплем ограбленного скупца, я вам вчера указывал: *"О мой сундук! Милый мой сундучок!"*.

Результат отчуждения желания в объекте, все страсти представляют собой явления одного порядка. Конечно, сундучок скупого вызывает у нас смех куда естественней (если мы, конечно, что-то человеческое в себе сохранили – случай далеко не общий), нежели исчезновение переписки Жида с женой. Эта последняя всегда, разумеется, представляла бы для нас ценность. Однако в конечном счете это, по сути дела, одно и то же. Крик Жида, узнавшего об исчезновении своей переписки, – это все тот же самый что ни на есть комичный крик Гарпагона.

Что же она такое, эта комедия?

3

Комедия берет нас за живое разбросанными в ней речами и фразами. Комедия – это не комическое.

В построении правильной теории комедии исходить следует из того факта, что, по крайней мере в какой-то период времени комедия разыгрывалась перед группой людей, представлявших собой мужское сообщество, то есть тот фундамент, на котором строится существование Мужчины как такового. Комедия была тем, чем, похоже, являлась она в тот момент, когда воспроизведение отношений мужчины и женщины было предметом зрелища – зрелища, имевшего церемониальный статус. Я не первый, кто сравнивает спектакль с мессой: все, кто всерьез занимались проблемами театра, обращали внимание на то, что именно месса остается в наше время той единственной драмой, которая разыгрывает все то, что разыгрывалось некогда на сцене театра, – разыгрывалось в тот исторический момент, когда функции театра были реализованы полностью.

В классическую эпоху греческого театра трагедия разыгрывала отношения между человеком и речью – отношения, где человек представал как обреченный, причем обреченность его носила кон-

фликтный характер, поскольку цель, связывающая человека с законом означающего, оказывалась на уровне семьи совсем иной, нежели на уровне общины. В этом и заключается суть трагедии.

Что касается комедии, то она разыгрывает нечто иное, но это иное тоже связано с трагедией, поскольку, как вы сами знаете, комедия завершала трагическую трилогию и рассматривать ее независимо от этой последней просто нельзя. Я покажу в дальнейшем, что след этой комедии, тень ее прослеживается вплоть до фарсов, вторивших в качестве комментария христианской драме средневековья.

В наше время, когда христианство страдает запором, ничего подобного, конечно, уже нет и в помине – никто не решится сопровождать религиозный церемониал грубыми фарсами, составлявшими некогда так называемый *ritus pascalis*. Но давайте пока эту тему оставим.

Комедия знаменует собой тот момент, когда субъект и человек пытаются вступить с речью в отношения, отличные от тех, что имеют место в трагедии. Речь идет уже не о включенности его сразу в два противоречащих друг другу порядка, не о попытках его за одним из этих порядков укрыться – дело уже не только в этом, ибо речь идет о том, в чем он призван артикулировать себя в качестве того, кому предстоит поглотить, усвоить себе субстанцию и материю этого причастия, этой общности; в качестве того, кто этой материей пользуется, наслаждается, кто потребляет ее. Комедия представляет нам, так сказать, окончание той общинной трапезы, в контексте которой трагедия была разыграна. Именно человек потребляет, в конечном счете, все то, что на трапезе этой в качестве субстанции, в качестве общей плоти было представлено, и наша задача в том, чтобы извлечь из этого надлежащий урок.

А для этого нет средства более подходящего, нежели обратиться к комедии античной – комедии, по отношению к которой все последующие представляют собой лишь плоды вырождения, хотя черты оригинала и остаются в них всегда узнаваемы. Обратитесь к комедиям Аристофана, возьмите *Школу женщин*, *Лисистрату*, *Фесмофории*, и выводы не заставят себя ждать. Я уже в свое время вам на это указывал – комедия, повинуясь своего рода внутренней необходимости, являет нам отношение субъекта к собственному означаемому, которое предстает в ней как результат, как плод отношений означивания. Означаемое это должно выйти на сцену ко-

медии уже вполне сформированным. Комедия усваивает себе, вбирает в себя, разыгрывает эффект, принципиально с регистром означающего соотнесенный, – появление означаемого, которое именуется фаллосом.

Случилось так, что вслед за тем, как я этот термин ввел, вскоре после того, как я кратко охарактеризовал *Школу женщин* Мольера как образец самой сути комических отношений, мне довелось открыть текст, который, если мое понимание Аристофана соответствует истине, можно рассматривать как исключительный, из ряда вон выходящий случай появления на свет комедийного шедевра, достойного своих античных предшественников. Я говорю о *Балконе* Жана Жене.

Что же такое *Балкон*?

Вы знаете, что попытка этот спектакль поставить встретила весьма ожесточенное сопротивление. Что и неудивительно при нынешнем состоянии театра – театра, вся суть и весь интерес которого состоят в том, чтобы актеры могли под различными предлогами себя на сцене продемонстрировать. Что доставляет удовольствие и щекочет самолюбие тем, кто приходит в зрительный зал для того, чтобы с этим публичным выставлением себя напоказ, с этим, будем называть вещи своими именами, актом эксгибиционизма, идентифицироваться. И если театр представляет собой что-то другое, именно эта пьеса словно специально создана, чтобы дать нам это почувствовать. Уверенности в том, что публика в состоянии что-то понять, конечно же, нет. И все же трудно не разглядеть заложенный в пьесе драматический интерес.

То, о чем говорит Жане, очень близко по смыслу к тому, что пытаюсь вам объяснить я. Утверждать, будто автор понимает, что делает, я не берусь. Отдает он себе в этом отчет или нет, в данном случае не имеет значения. Корнель тоже наверняка не знал, что он, будучи Корнелем, писал, хотя дело свое выполнял безупречно.

На сцену *Балкона* выступают одна за другой человеческие функции, связанные порядком Символического. Здесь и идущая от Христа власть наследников св. Петра и церковного епископата вязать и решать все то, что относится к области греха и вины; и власть того, кто выносит приговор и показывает, власть судьи; и власть того, кто принимает на себя командование в таком великом событии, как война, – власть военачальника, или, попросту говоря, генерала. Все эти персонажи воплощают собой функции, по отношению к которым

субъект чувствует себя отчужденным, – те функции речи, на которые он опирается, но которые выходят при этом далеко за рамки частных его особенностей.

И вот персонажи эти неожиданно оказываются во власти законов комедии. Другими словами, воображение наше рисует то наслаждение, которое отправление этих функций может доставить. Конечно, такая постановка вопроса говорит о неуважении к ним, но важно для нас не это неуважение само по себе, а то, во что выльется оно в дальнейшем.

А то, во что оно выливается, дает о себе знать лишь во время кризиса. Не случайно именно в момент, когда Афины – в результате ряда ошибочных решений и подчинения закону полиса, который, похоже, как раз и грозит привести их к неминуемой гибели – пребывают в растерянности, Аристофан пытается вернуть их в чувство, доказывая, что истощать свои силы в войне бессмысленно и что выход один: оставаться у домашнего очага, возле своей жены. Причем преподносится это, собственно, не как мораль – Аристофан просто предлагает человеку вернуться к тому, что составляет суть его бытия, притом что мы понятия не имеем, действительно ли последствия такого шага окажутся благотворными.

Таким образом, фигуры епископа, судьи, генерала выведены здесь для того, чтобы дать ответ на один единственный вопрос: что значит для человека своим положением епископа, генерала или судьи наслаждаться? И это объясняет прием автора, местом действия *Балкона* выбравшего так называемый *дом иллюзий*. То, что происходит на уровне различных форм Идеала Я, не является, как обычно думают, эффектом сублимации, понятой как постепенная нейтрализация укорененных внутри функций. Напротив, формирование этого идеала всегда сопровождается более или менее ярко выраженной эротизацией символических связей. Тем самым возможной становится ассимиляция того, кто, занимая положение и выполняя функции епископа, генерала или судьи, этим положением наслаждается, с персонажем, которого содержатели дома иллюзий прекрасно знают, – старичком, получающим удовлетворение от заранее просчитанной ситуации, где он вступает на какое-то время в соответствующие отношения с участвующей в затее партнершей, роль которой заключается в том, чтобы по возможности ему подыгрывать.

Так, служащий кредитного учреждения надевает на себя священ-

ное облачение, чтобы принять исповедь у обслуживающей его проститутки. Конечно, исповедь эта – не что иное, как имитация, но ему важно, тем не менее, чтобы она была не так уж далека от истины. Ему важно, другими словами, чтобы в намерениях участницы этой игры было хоть что-нибудь, что по крайней мере позволяло бы ему верить, что в его окрашенном виной наслаждении она принимает участие.

Искусство Жене, лиризм, с которым умеет поэт воссоздать речи своего гротескного персонажа, проявились и в том, что гротеску этому он сумел придать масштаб еще больший, поставив свой персонаж на котурны, чтобы карикатурность его тем самым еще более подчеркнуть. Мы видим, таким образом, как субъект – извращенец, разумеется – с охотой ищет в этом образе удовлетворение, получая, однако, его лишь постольку, поскольку образ этот является отражением функции, которая является по сути дела функцией означивания.

Другими словами, в первых трех больших сценах предстает нам у Жене в облике извращения то самое, что и берет, по сути дела, здесь свое имя, – то, иными словами, что можем мы, в дни полного развала, назвать, не стесняясь в выражениях, *борделем*, в котором мы все живем. Общество и характеризуется-то, по сути своей, не чем иным, как состоянием большего или меньшего упадка культуры. Вся путаница в отношениях – существенных, между тем – человека и речи представлена в этих сценах как на ладони. Ситуация эта нам хорошо знакома.

О чем же все-таки здесь идет речь? Речь идет о чем-то таком, что воплощает связь субъекта функциями веры в наиболее сакраментальных ее формах, выстраивая эти формы в порядки их последовательной деградации. И когда в какое-то мгновение выбор сделан, когда, говоря языком извращения, епископ, судья и генерал выступают перед нами в качестве специалистов, под вопросом оказывается связь субъекта с функцией речи.

Что же происходит? А происходит вот что. Связь эта, сколь бы вырожденной, искаженной она ни была (ведь это отношения, в которых каждый участник потерпел неудачу, в которых никому не удается найти себя), продолжает тем не менее на наших глазах существовать, как-то поддерживается, сохраняется. Хотя и незаконная, она остается нетронутой уже потому, что существует нечто такое, что мы зовем порядком.

К чему же, однако, этот порядок сводится, когда беспорядок, царящий в обществе, доходит до крайней степени? А сводится он к тому, что зовется у нас полицией. И вот эту последнюю правовую инстанцию, это последнее прибежище, последний аргумент порядка, этот так называемый "орган поддержания порядка", символизируемый установкой посреди общественного собрания, этой своего рода кухни, сооружения, первоначально представлявшего собой конструкцию из трех воткнутых в землю копий, орган, сводящий всю идею порядка к необходимости его поддержания, и призван воплотить в драме ключевой ее персонаж – префект полиции.

Гипотеза Жене, и вправду очень забавная, состоит, однако же, в том, что образ префекта полиции – того, на ком лежит забота о поддержании порядка и кто является последней инстанцией власти, тем, что от нее осталось, – не выглядит, однако, достаточно благородно, чтобы хоть один из престарелых посетителей борделя, прельстившись им, на его внешние признаки, атрибуты, роль и функции посягнул. Охотник, скажем, сыграть судью, находится легко – ему ничего не стоит войти в роль и потребовать у юной проститутки признания в воровстве, ссылаясь на то, что *если, мол, ты не воровка, то какой же тогда из меня судья?* О том, что говорит генерал своей кобыле, я вообще умолчу. А вот на роль префекта полиции не претендует никто.

Конечно, это только гипотеза. Мы недостаточно знакомы с борделями, чтобы наверняка утверждать, будто префекты полиции не возведены там покуда в достоинство персонажей, в шкуре которых можно наслаждаться. Что же касается пьесы, то в ней префект полиции, хороший приятель держательницы борделя (я не пытаюсь здесь теоретизировать, и ни на что конкретное тоже не намекаю), являясь каждый раз, озабоченно спрашивает: *ну как, кто-нибудь просился стать перфектом полиции?* Но этого так никогда и не происходит.

Да и формы-то у префекта полиции никакой нет. Перед нашими глазами прошли облачения епископа, тапочки судьи, генеральская фуражка (не говоря уже о его штанах), но человека, который пожелал бы заняться любовью в шкуре префекта полиции, – такого, увы, не нашлось. На этом весь сюжет пьесы и строится.

Тем временем вокруг борделя, где происходит действие, бушует революция. Все, что происходит внутри борделя (я не буду вам об этом рассказывать, чтобы не лишить вас удовольствия почитать

пьесу самим – знайте лишь, что все это не так схематично, как вам сейчас могло показаться: герои много кричат, дерутся – развлекаются, одним словом), – так вот, все, что происходит внутри, сопровождается треском автоматных очередей. В городе революция, и все обитательницы борделя уже готовятся пасть во цвете лет жертвами добродетельных и загорелых рабочих, призванных явить собой образ цельного, реального человека, ни минуты не испытывающего сомнений в том, что желание его может прийтись ко двору, может заявить о себе прямо гармоничным аккордом. Пролетарское сознание всегда верило в торжество морали, а право оно или ошибается, значения не имеет.

Важно другое: важно то, что Жене показывает нам (я вынужден многое пропускать), чем вся эта катавасия кончается. Префект полиции нисколько не сомневается – поскольку в этом и состоит его функция (почему и события в пьесе разворачиваются именно так, а не иначе), – что после революции, как и до нее, бордель также останется борделем. Он прекрасно знает, что революция в этом отношении не более чем игра.

Есть в пьесе еще одна прекрасная сцена, где потомственный дипломат, дипломат до мозга костей просвещает собравшуюся в доме иллюзий почтенную публику насчет того, что происходит в королевском дворце. Пребывающая там во всей полноте собственной законности королева вышивает, и в то же время не вышивает. Королева храпит, и в тоже время не храпит. Королева вышивает носовой платок. Посредине платка она вышивает лебедя, и не известно еще, сядет ли он в море, в пруд или же в чашку чая. На всем, что связано с полным исчезновением символа, я здесь не останавливаюсь.

Девушка, которая стала гласом революции, ее речью, является одной из проституток борделя. Некий добродетельный водопроводчик уводит ее оттуда, и она является в итоге в роли женщины во фригийском колпаке, женщины на баррикадах, оказываясь к тому же при этом чем-то наподобие Жанны д'Арк. Досконально зная диалектику мужчины – недаром она провела столько времени там, где предстает эта последняя во всей красе, – она прекрасно умеет говорить с этим полом и его убеждать. Но когда девушка эта, Шанталь, сраженная пулей, со сцены неожиданно исчезает, видимость власти воплощается в Ирме, содержательнице борделя. С каким неподдельным чувством превосходства берет она на себя функции королевы! Не приобретает ли при этом статус чистого символа и она?

Недаром же замечает автор, что кроме разве что драгоценностей ничего подлинного в ней нет.

Мы подходим к моменту, когда извращенцы, которых наблюдали мы во всей красе в первом акте, вписываются в режим власти и в самом деле полностью берут на себя те роли, которые разыгрывали только что в своих любовных забавах.

Довольно откровенный политический диалог завязывается затем между ними и префектом полиции, который нуждается в них, чтобы представлять ту власть, которая на смену свергнутому строю должна прийти. Берут они на себя новые роли крайне неохотно, прекрасно понимая, что одно дело наслаждаться жизнью в тепле и холе под защитой стен одного из тех учреждений, где, если подумать, как раз им-то порядок и поддерживается строже, чем где-либо, и совсем другое отдать себя на милость стихий, взвалив на себя ответственность, которую эти абсурдные по сути дела функции за собой влекут. Перед нами здесь, разумеется, откровенный фарс.

И вот на завершение этого со вкусом разыгранного фарса и хочу я теперь ваше внимание обратить.

Во время разговора префекту полиции не дает покоя прежняя мысль: *Не нашелся ли желающий побыть префектом полиции? Не нашелся ли кто-нибудь, кто оценил его, наконец, по достоинству?* И вот, признавая, что удовлетворение, которое ему требуется, получить нелегко, отчаявшись дождаться события, которое санкционировало бы вступление его в ряды тех, чьи функции профанируются, а следовательно, пользуются уважением, префект полиции, теперь, когда ему удалось доказать, что весь порядок держится лишь на нем одном, или, другими словами, что вся власть заключается в кулаке (вывод весьма знаменательный: не случайно ведь открытие Фрейдом Идеала Я более или менее совпало по времени с появлением в Европе политической фигуры, предлагающей общественности единственный в своей простоте способ себя идентифицировать, – фигуры диктатора), советуется с теми, кто его окружает, по поводу подобающей его функции формы одежды, которая послужила бы этой функции символом, но испытывает, однако, при этом некоторое смущение. И не удивительно, ибо предложение его окружающих несколько шокирует – он хочет одеться фаллосом.

Не будет ли возражений со стороны Церкви? И он склоняется перед епископом, который, покачав в знак сомнения головой, дает понять, что в конечном счете голубка, символ Святого Духа, устро-

ила бы Церковь больше. Генерал со своей стороны предлагает выкрасить символ в цвет национального флага. Другие поступающие предложения в этом же роде позволяют предположить, что сторонам довольно быстро удается прийти к тому, что называют в подобных случаях *соглашением*.

И вот тут-то и следует у Жене кульминационный сценический эффект. Одна из девушек, о роли которой в этой поистине изобилующей значениями пьесе я здесь умалчиваю, вбегает на сцену, еще не придя в себя от волнения по поводу того, что только что произошло. А произошло ни больше ни меньше, как следующее: водопроводчик, друг и спаситель ставшей революционным символом проститутки, лицо, в публичном доме известное, явился туда и потребовал себе все, что нужно, чтобы походить на префекта полиции.

Все растроганы до слез. Наконец-то! В борделе нашлось все необходимое, вплоть до парика. Префект полиции поражен: *Откуда вы узнали о парике? – Только вы могли думать, будто никто не знает, что вы носите парик*, – отвечают ему. Когда водопроводчик (поистине героическое лицо в этой драме!) наряжается, наконец, префектом, проститутка делает вид, что швыряет ему в лицо, предварительно отрезав у него то, чем, как выражается она стыдливо, он никого больше не лишит девственности. При виде чего префект, уже находившийся было на верху блаженства, делает-таки невольно соответствующий жест, убеждаясь, что штука эта при нем осталась. Она действительно при нем осталась, и переход ее в статус символа в форме предложенного префектом фаллического костюма становится теперь бесполезен.

Вывод из всего этого совершенно ясен. Субъект, тот, что воплощает собой в пьесе простое свойственное человеку желание сделать свое существование и свою мысль – ценности, неотличимые от его плоти, – поистине своими, субъект, который выступает здесь как представляющий человека вообще, герой, сражавшийся ради того, чтобы все то, что мы до сих пор называли борделем, пришло в норму, заняло свое место и вернулось в то состояние, которое можно было бы признать вполне человеческим, – субъект этот вписывается в существующее, пройдя все испытания, лишь ценой кастрации. Ценой того, другими словами, что фаллос его вновь возводится в достоинство означающего – того, что можно дать или отнять, чем можно пожаловать или обделить, того, что совпадает в конечном

счете и притом самым откровенным манером, с образом *Отца*, того *Отца, что есть сущий на небеσех.*

На этом комедия заканчивается. Кощунственна она? Или просто комична? Акценты мы можем расставлять по собственному усмотрению.

Полюса нашей схемы, к которой я позже еще вернусь, послужат ориентиром в том важнейшем разговоре о желании и наслаждении, азы которого я счел нужным сегодня вам предложить.

5 марта 1958 года

XV
Девушка и фаллос

Апории Мелани Кляйн
Фаллос, означающее желания
Теория фаллической фазы
Критика Эрнеста Джонса
Шаг вперед

Наша работа предполагает, по меньшей мере, что вы отдаете себе отчет в том, какую мы преследуем цель. А цель у нас всегда одна: подвести вас к той точке зрения, с которой в полный рост предстанут перед вами те противоречия, тупики и трудности, из которых вся ваша практика соткана и которых вы теперь, обращаясь к различным частным теориям, избегаете, вплоть до того, что в самих терминах, которыми пользуетесь, этих гнездилищах ваших многочисленных алиби, допускаете смысловые сдвиги и подтасовки.

В прошлый раз мы говорили с вами о желании и наслаждении. Я хотел бы продвинуться сегодня еще немного вперед и в самом тексте Фрейда указать вам на одно конкретное дополнение, которое привносит он в свою теорию ввиду тех трудностей, которые вызывает она у его последователей. Однако в попытке присмотреться к вещам внимательнее, исходя при этом из нескольких заранее обдуманных требований, выясняется нечто такое, что заходит в смысле трудности куда дальше. Что касается нас, то мы тут можем, пожалуй, решиться на очередной, третий шаг.

Речь идет, собственно говоря, о фаллической позиции женщины, а точнее – о том, что называет Фрейд *фаллической фазой*.

1

Напомню то, на чем заострял я ваше внимание и к чему мы, в конечном счете, пришли. В ходе последних двух-трех наших встреч то желание, что является сердцевиной аналитического опосредования, мы начали худо-бедно артикулировать. Сводя воедино все нами сказанное, мы определили его самым широким образом как оглашаемое в значащей форме требование. *Требование оглашают*, о нем дают знать – в том же смысле, в котором *оглашают приговор* или *оглашают приказ*. Требование это предполагает, таким образом, наличие другого – того, от которого нечто требуется, но также

и того, для которого требование это имеет какой-то смысл; Другого, одним словом, среди многочисленных измерений которого есть и такое, где означающее, в котором оглашено требование, имеет какую-то силу. Что касается второго термина – *означаемое* или *знаменуемое* (в том смысле, в котором можно сказать: *в ознаменование чего-то, в ознаменование моей воли*) – то это очень важный пункт, который составил предмет нашего специального интереса. Термин этот предполагает в субъекте структурообразующее воздействие означающих, сама организация которых вносит в выражаемую ими потребность серьезные искажения, связанные с тем, что в требование вторгается здесь желание.

Я остановлюсь здесь, чтобы сделать краткое отступление.

В этом году мы, говоря преимущественно об образованиях бессознательного, одного из них, тем не менее, по соображениям времени и экономии, совсем еще не касались. Я имею в виду сновидение. Вы знаете, конечно, что говорит о сновидении Фрейд – он говорит, что сновидение выражает желание. Но ведь мы, по большому счету, даже вопросом не задавались о том, что же оно, это желание сновидения, собой представляет. Ведь в каждом сновидении оно не одно. И если дневные желания дают ему повод и материал, то нас в нем, вестимо, интересует совсем другое – желание бессознательное.

Но каким образом Фрейд вообще его, это бессознательное желание, в сновидении разгадал? На каком основании заявляет он, что это желание существует? В чем именно он его усматривает? Ведь на первый взгляд ничего похожего на ту грамматику, в которой заявляет о себе желание, в сновидении нет. Если текст сновидения существует, то он представляет собой нечто такое, что предстоит перевести, выявив ту скрытую артикуляцию, которая заложена в его глубине. Но существует ли на уровне этой скрытой, замаскированной артикуляции что-то такое, что хоть как-нибудь выделяло бы, позволяло бы обнаружить то, что, собственно, сновидение артикулирует? На первый взгляд – ничего.

Обратите внимание: то, что Фрейд в сновидении опознает как желание, заявляет о себе, в конечном счете, тем самым, о чем я вам уже говорил – искажением потребности. Что, по сути дела, остается замаскированным, будучи артикулировано в материале, трансформирующем потребность до неузнаваемости. Процесс этот проходит через ряд форм, образов, выступающих в нем как означаю-

щие, а это свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с некоей структурой, причем со структурой в целом.

Структура эта является, разумеется, структурой субъекта, обусловленной тем, что действовать в нем должен целый ряд инстанций. Узнаем мы ее, однако, лишь в силу того факта, что все, происходящее в сновидении, подчинено модусам и видоизменениям означающего, структурам метафоры и метонимии, правилам сгущения и смещения. Закон выражения желания в сновидении – это закон означающего. Лишь путем истолкования того, что в том или ином конкретном сновидении артикулировано, можем мы различить, в конечном итоге, нечто такое, что является – чем собственно? – Чем-то таким, что, как мы предполагаем, стремится к признанию; что имеет прямое отношение к нашему первому приключению; что в это означаемое событие вписано и себя артикулирует; что мы постоянно относим к чему-то первичному, что произошло с нами в детстве и впоследствии было вытеснено. Именно этому и даем мы, в конечном итоге, смысловое преимущество в том, что заявляет о себе в артикуляции сновидения.

Здесь предстает нашему вниманию нечто такое, что в означающем желания субъекта играет самую последнюю роль. Мы можем теперь это нечто назвать членораздельно – это не что иное, как то, что приключилось изначально с детским желанием – с тем сущностным желанием, что является желанием желания Другого, то есть *желанием быть желанным*. То, что в ходе этого приключения в субъект вписывается, подспудно остается в нем навсегда. В этом и заключается окончательная разгадка того, что интересует нас в сновидении. Бессознательное желание выступает под маской того, что случайно подбрасывает сновидению свой материал. Знак об этом желании подается нам лишь посредством тех, в каждом отдельном случае особых, условий, которые накладывает на желание закон означающего.

Я пытаюсь здесь приучить вас к тому, чтобы на место механической экономии поощрений, забот, фиксации, проявлений агрессии – всего, что остается в теории более или менее непроясненным, так как всегда носит частичный характер – стало у вас фундаментальное понятие изначальной зависимости субъекта от желания Другого. Все то, что выстраивается в субъекте в какую-то структуру, обязательно проходит для этого через механизм, под действием которого желание его с самого начала моделируется условиями тре-

бования. В ходе истории субъекта в его структуру вписываются, таким образом, те перипетии и превращения, в которых складывается, повинуясь закону желания Другого, его собственное желание. Вот почему самое глубокое желание субъекта, то, что остается задержанным в подсознании, становится не чем иным, как суммой – можно сказать, интегралом – нашего большого D, желания Другого.

Только это и объясняет известную вам эволюцию, которую проделал психоанализ, для которого первоначальные отношения с матерью стали настолько важными, что он, похоже, игнорирует теперь всю диалектику, им последующую, в том числе и диалектику эдипова комплекса.

Развитие это, имея верную цель, допускает, однако, промашку, когда ее формулирует. Самое главное ведь заключается на самом деле не в фрустрациях, как таковых, то есть не в той бÓльшей или меньшей порции Реального, которая была или не была субъекту уделена; самое главное – то в чем усмотрел или разглядел субъект это желание Другого, которое предстает перед ним как желание его матери. И важно лишь дать ему понять, в чем именно удалось или не удалось ему стать тем, кто этому *x*, этой неизвестной величине, представляющей собой желание его матери, отвечает.

Вот это действительно существенно. Не обратившая на это внимания Мелани Кляйн уже самим тем, что она к этому приблизилась, что она подошла к самой сути того, что в ребенке происходит, дала психоанализу очень много. Однако сформулировав свое открытие в терминах противостояния ребенка и фигуры матери, дальше отношений зеркального типа, отношений взаимного отражения, она не пошла. А потому и тело – поразительно уже то, что именно тело оказывается у нее на переднем плане, – материнское тело становится у нее оградой и обиталищем всего материала детских влечений, который может, путем проекции, в нем разместиться, тем более, что сами эти влечения мотивируются лишь агрессией, обязанной своим возникновением неизбежному разочарованию. В конечном счете, ничто в этой диалектике так и не способно вывести нас из механизма иллюзорной проекции, механизма построения мира путем прогрессивного самовоспроизведения первоначальных фантазмов. Генезис внешнего как места всего дурного остается чисто искусственным, так что подход субъекта к реальности в дальнейшем определяется в этом случае исключительно диалектикой его фантазии.

Чтобы кляйновскую диалектику дополнить, нужно ввести в нее понятие о том внеположном, что дано субъекту заранее, дано не в качестве чего-то такого, что проецируется изнутри его самого, не как порождение собственных его влечений, а как то пространство, то место, где располагается желание Другого, где предстоит субъекту с Ним, этим Другим, встретиться.

Это единственный путь, который позволит нам разрешить апории, к которым приводит подход Мелани Кляйн, – подход, доказавший во многих отношениях свою плодотворность, но в то же время сводящий на нет, полностью исключивший или до неузнаваемости перестроивший – тихой сапой, сам того не замечая, и в то же время незаконно, ибо никак этого не мотивируя – первоначальную диалектику желания, как описал ее Фрейд, – диалектику, включающую в схему отношений матери и ребенка тот третий вектор, благодаря которому заявляет о себе через посредство матери присутствие за ней еще одной, третьей, желанной субъектом или соперничающей с ним, фигуры, фигуры отца.

Здесь-то и становится ясна справедливость той схемы, которую я дал вам, сказав, что в основу всего следует положить символическую триаду матери, ребенка, отца.

Отсутствие матери, или присутствие ее, уже самим тем, что оно вводит новое, символическое измерение, дает ребенку – полагаемому здесь не как субъект, а как чисто символическая величина – возможность быть или не быть ребенком затребованным.

Значение третьего, отцовского полюса в том, что именно он является тем, что все это позволяет или, наоборот, запрещает. Располагается он по ту сторону желания матери, располагается в качестве смысла, значащего присутствия, что позволяет, или, наоборот, не позволяет ему себя проявить. И как только порядок означающего устанавливается, субъект волей-неволей вынужден оказывается найти в нем себе по отношению к этим полюсам место.

Субъект вручает этому порядку свою конкретную и реальную жизнь. Жизнь эта включает отныне и желания в воображаемом смысле, желания в смысле плененности, завороженности субъекта образами, по отношению к которым он чувствует себя собственным Я, центром, господином, или, наоборот, объектом господства.

Вы сами знаете, что в воображаемых отношениях образ самого себя, образ своего тела играет у человека первоочередную роль и, в конечном счете, ставит в зависимость от себя все. То, как избирает-

ся этот образ у мужчины, глубочайшим образом связано с фактом открытости его той диалектике означающего, о которой мы только что говорили. Сведение пленяющих образов к единственному и центральному – к образу тела – имеет прямое отношение к фундаментальной для субъекта связи его с триадой означающих. Именно связь с триадой означающих и вводит в его существование тот третий полюс, в силу которого субъект, помимо своего противостояния матери, помимо своей плененности образом, требует, если можно так выразиться, еще одного – требует быть обозначенным. Именно по этой причине в плане воображения налицо три полюса.

Поскольку существовать мне предстоит в качестве означающего, по ту сторону моего Я и моего образа складывается минимальное символическое поле, где налицо должен быть признак того, что желание мое, обязательно проходящее через требование, о котором я должен в плане символическом подать знак, нуждается в обозначении. Другими словами, мне нужен общий символ того зазора, который всегда отделяет меня от моего желания – зазора, в силу которого желание мое всегда отмечено искажением, которое претерпевает оно, вступая в ранг означающего. И у зазора этого, у этой фундаментальной нехватки, необходимой, чтобы ввести мое желание в означающее, чтобы превратить его в то желание, с которым я в аналитической диалектике имею дело, символ такой действительно есть. Он-то как раз и указывает на означаемое в качестве такового – вечно означаемого, вечно искаженного, вечно остающегося где-то сбоку.

Именно его наличие и утверждается схемой, которую я вам дал. Перед вами здесь треугольник, который располагается для субъекта на уровне воображаемого. Вот его образ, *i* [image]. Вот точка, где складывается его собственное Я, *m* [moi]. А здесь, на третьей вершине, располагается то, что обозначил я греческий буквой φ – фаллос.

Вывести функцию фаллоса как элемента, который в диалектике вступления субъекта в существование и его сексуального самоопределения является основополагающим, было бы невозможно, не сделай мы из него то фундаментальное означающее, с помощью которого желание субъекта – независимо от того, идет ли речь о мужчине или о женщине – только и может дать знать о себе как таковое.

Факт есть факт: желание субъекта, каково бы это желание ни было, так или иначе соотнесено у него оказывается с фаллосом.

Конечно, речь идет о желании самого субъекта, но поскольку значение свое получено им от Другого, своей властью субъекта обязан он знаку – знаку, получить который он может лишь при условии, что лишит себя чего-то такого, чья нехватка как раз и станет для всего остального масштабом ценности.

Это не результат логического вывода. Это данные аналитического опыта. Это сама суть фрейдовского открытия.

Именно поэтому в 1931 году, в работе *Uber die weibliche Sexualitat*, и делает Фрейд утверждение – поначалу проблематичное, недостаточно обоснованное, еще нуждающееся в раскрытии – на которое так бурно откликнулись в первую очередь аналитики-женщины, в том числе Элен Дейч, Карен Хорни, Мелани Кляйн, Жозин Мюллер, и которое впоследствии, обобщив эти отклики и приведя формулировку проблемы в соответствие с постановкой ее у Фрейда, откомментировал в своем выступлении Эрнест Джонс.

Этим утверждением мы сейчас и займемся.

2

Подойдем к вопросу в наиболее парадоксальной его постановке.

В первую очередь парадокс возникает в плане наблюдений чисто эмпирического характера. "*Как мой опыт о том свидетельствует, фаллос находится в центре не только у мужчины, но и у женщины*", – констатирует Фрейд тоном натуралиста.

В соответствии с общей формулой, которую я только что попытался вам дать, Фрейд показал, что введение субъекта в диалектику, которая позволит ему занять определенное место и положение в числе тех, кто призван воспроизвести черты человека в следующем поколении, то есть позволит ему, в свою очередь, стать отцом – что введение это неосуществимо в принципе без того, что является, как я недавно сказал вам, тем основным увечьем, в силу которого и становится фаллос скипетром, означающим власти – тем, благодаря чему усвояется человеком мужественность. Это все мы с вами у Фрейда поняли. Но он идет дальше, показывая нам, каким образом тот же самый фаллос обнаруживается в центре диалектики женской. Здесь, похоже, зияет некая недосказанность.

Возведение мужчины в достоинство мужчины мы еще могли, худо-бедно, объяснить в терминах борьбы и биологического соперничества. Но в отношении женщины подобное утверждение звучит парадоксально. Фрейд ограничивается поначалу тем, что препод-

носит его как результат наблюдения, который, как и все получаемые эмпирическим путем выводы, предстает как нечто естественное, природное.

Точно таким же, похоже, образом, представляет он дело, заявляя – будем держаться его собственных выражений – что поначалу девочка, как и мальчик, желает мать. Но есть только один способ желать. Так что поначалу девочка уверена, что у нее имеется фаллос. Уверена она в наличии фаллоса и у матери.

Это означает, что в ходе естественной эволюции своих влечений субъект, минуя, от одного переноса к другому, череду обусловленных инстинктом фаз, приходит в итоге, посредством ряда форм, первой из которых является материнская грудь, к тому фаллическому фантазму, в силу которого дочь занимает по отношению к матери мужскую позицию. Чтобы она признала за собой позицию, более ей подобающую, позицию женщины, необходимо вмешательство куда более сложное, нежели в случае мальчика. У Фрейда же дело предстает так, будто признание девочкой своей женской позиции не только в принципе безосновательно, но и обречено с самого начала остаться несостоятельным.

Подобное утверждение, откровенно идущее вразрез с природой, выглядит парадоксом куда как не безобидным. Куда сообразнее этой последней было бы, по-видимому, предположить наличие между мальчиками и девочками определенной симметрии, выделив у девочки такой орган, как вагина, или даже, как выразился один исследователь, *вагинальный рот*. Более того, мы располагаем наблюдениями, которые, на мой взгляд, фрейдовским данным противоречат. В раннем возрасте у субъектов можно обнаружить следы примитивных переживаний, свидетельствующих о том, что, вопреки представлениям об изначальном заблуждении, налицо имеется нечто такое, что – по крайней мере косвенно – вызывает у субъекта в момент кормления живую реакцию. Девочка грудного возраста выказывает какие-то эмоции, пусть смутные, которые можно не совсем безосновательно соотнести с глубоким телесным эмоциональным переживанием. Локализовать это переживание исходя из воспоминаний трудно. В целом, однако, оно позволяет приравнять, посредством серии последовательных превращений, рот, через который происходит кормление, отверстию вагинальному – отверстию, которое впоследствии, на этапе уже сформированной женственности, как раз и выполняет функцию органа вби-

рающего и даже засасывающего.

Все это факты, в верности которых можно убедиться на опыте. Они-то и создают картину той непрерывности, в которой, иди у нас речь лишь о миграции эрогенного влечения, легко прослеживался бы царский путь эволюции женственности на биологическом уровне. Это и есть картина, защитником и теоретиком которой выступает Джонс, утверждая, что по целому ряду принципиальных соображений он никак не может признать, будто сексуальность женщины обречена разыгрываться путем настолько обходным и искусственным.

В итоге Джонс предлагает теорию, которая то, что предстает у Фрейда как результат наблюдений, пункт за пунктом оспаривает – в основе фаллической фазы у девочки лежит, согласно Джонсу, влечение, опирающееся, по его мнению, на два естественных элемента. Против первого из них возражений нет – это врожденная биологическая двуполость. Надо признать, однако, что это пункт чисто теоретический и нам, в чем мы вполне согласны с держащимся того же мнения Джонсом, малодоступный. Другое дело – наличие у девочки зачаточного фаллического органа. Именно клитор, с которым связаны первые удовольствия от мастурбации, способен дать начало фаллическому фантазму – фантазму, который ту решающую роль, что приписывал ему Фрейд, здесь как раз и играет. Ведь именно это Фрейд и подчеркивал: фаллическая фаза, согласно ему, – это фаллическая фаза клитора; фантазматический пенис – это преувеличенное представление о том маленьком пенисе, который в анатомии женщины и в самом деле присутствует.

То, что девочка занимает, в конечном счете, позицию женщины, объясняется, по Фрейду, ее разочарованием. Именно этим разочарованием обусловлен выход ее из фаллической фазы. Обходной путь этот предусмотрен однако, согласно Фрейду, естественным механизмом. Здесь-то, как утверждает Фрейд, и выполняет эдипов комплекс ту нормализующую роль, к которой он предназначен, хотя происходит это у девочек, по сравнению с мальчиками, прямо противоположным образом. Эдипов комплекс дает девочке доступ к недостающему ей пенису. Происходит же это путем знакомства ее с пенисом мужским – независимо от того, обнаруживает ли девочка его у кого-то из своих товарищей, или приписывает отцу.

Именно разочарование, именно утрата иллюзий в отношении возникающих на определенном этапе фаллической фазы фантаз-

21 Зак. 2370

мов и знаменует собой вступление девочки в эдипов комплекс – такова теория г-жи Лампл де Гроот, одной из первых аналитиков, следовавших в этом вопросе по стопам Фрейда. Она абсолютно верно заметила, что фазы, в которых девочка проходит комплекс Эдипа, следуют в обратном порядке. Поначалу, вступая в комплекс, девочка имеет дело с матерью. Неудача, которую девочка в этих отношениях терпит, становится началом как отношений ее с отцом, так и всего того, что приведет она в конечном итоге в норму, приравняв пенис, которым не будет обладать никогда, к ребенку, которого реально сможет иметь и которого вместо этого пениса сможет дать.

Обратите внимание – здесь вновь оказываются перед нами те самые ориентиры, о которых мы с вами уже говорили. Так, *Penisneid* становится здесь ведущим звеном вхождения женщины в эдипову диалектику – подобно тому, как кастрация находится в центре этой диалектики у мужчины. Конечно, критические замечания, которые я в дальнейшем здесь сформулирую, равно как и уже приведенная мною критика Джонса, способны поставить под сомнение эту концепцию, которая при первом подходе к аналитической теории действительно может показаться искусственной.

На этом мы несколько задержимся. Вслед за Джонсом, который тоже на этом заостряет внимание, мне хотелось бы подчеркнуть, что употребление термина *Penisneid* применительно к разным этапам эдиповой эволюции у девочек неоднозначно. Дело в том, что в период между вступлением в эдипов комплекс и выходом из него *Penisneid* предстает в трех различных формах – формах, которые были охарактеризованы Фрейдом в связи с фаллической фазой.

Во-первых, существует *Penisneid* в смысле фантазма. Это не что иное, как чаяние, как долго, порою всю жизнь, сохраняющееся пожелание, чтобы клитор на самом деле был пенисом. Фрейд настаивает на том, что фантазм этот, оказавшись на первом плане, бывает неустраним.

Совершенно иной смысл получает *Penisneid*, появляясь в момент, когда предметом желания субъекта является пенис отца. Это момент, когда субъект проявляет интерес к реальности пениса там, где тот есть, и видит, куда следует направить усилия, чтобы обладать им. В результате ожидания его оказываются обмануты – виной чему как эдипов запрет, так и физиологическая невозможность в чистом виде.

И, наконец, в ходе дальнейшей эволюции возникает фантазм обретения ребенка от отца, то есть фантазм обладания пенисом в символической форме.

Вспомните теперь о трех формах утраты, которые я в связи с комплексом кастрации вас научил различать, и подумайте, которая из этих трех форм соответствует каждому из трех наших терминов.

Фрустрация является воображаемой, но объект ее вполне реален. Именно в этом смысле тот факт, что девочка отцовского пениса не получает, переживается ею как обманутое ожидание.

Лишение, напротив, совершенно реально, хотя объект его является чисто символическим. И в самом деле – когда у маленькой девочки нет ребенка от отца, о том, чтобы он у нее был, в действительности не могло быть и речи. Она просто еще не способна к деторождению. Ребенок выступает здесь всего-навсего как символ – причем символ того самого реального объекта, который и был предметом ее обманутых ожиданий. Таким образом, в определенный момент развития желание субъекта иметь от отца ребенка оборачивается для него лишением.

Остается рассмотреть, что соответствует кастрации, символически ампутирующей у субъекта нечто воображаемое. Ясно, что речь в данном случае идет о фантазме.

Какова бы концепция Фрейда ни была, но уточняя позицию девочки по отношению к ее клитору он находится на верном пути – рано или поздно наступает момент, когда от мысли о том, на что она питала до поры, по крайней мере, надежду – о том, что из клитора этого выйдет что-нибудь не менее значительное, чем пенис – ей приходится окончательно отказаться. Именно на этом уровне и находится то, что занимает в структуре место кастрации – вспомните формулы, которые я счел нужным вам дать, говоря о кастрации в том избранном пункте, где она проявляется, то есть у мальчика.

О том, действительно ли все сосредоточено у девочки вокруг влечения, связанного с клитором, можно, конечно, спорить. Можно прослеживать обходные пути, которыми авантюра эдипова комплекса следует, – что и было сделано, как сами вы убедитесь, рассматривая вместе со мной критику Джонса. Нельзя, однако, не отметить при этом, насколько удачно встраивается в структурную перспективу пункт, который, по Фрейду, соответствует у женского субъекта кастрации. Именно на уровне фантазматических отношений – при условии, разумеется, что они приобретают достоинство означаю-

щего – должен этот симметричный пункт так или иначе располагаться.

Все дело теперь в том, чтобы понять, как именно это, собственно, происходит. Пункт этот является ключевым вовсе не потому, что он в анализе используется. У Фрейда он несомненно является ключевым оттого, что тот, похоже, пытается с его помощью пролить свет на историю наблюдаемой во влечении аномалии, а это как раз и вызывает со стороны определенных субъектов неприятие и протест, во многом обусловленные их чисто биологическими предубеждениями. Но сами возражения их поневоле, как вы вскоре увидите, говорят о многом. Сама природа вещей приводит их к целому ряду формулировок, которые как раз и позволяют нам сделать теперь очередной шаг вперед.

Речь, в конечном счете, идет о том, чтобы, выйдя за рамки теории естественных влечений, понять, что фаллос как раз и выступает здесь в форме, которую я во вступлении к этому занятию обозначил. Я говорю о том, к чему мы с вами, следуя сразу нескольким путями, вплотную приблизились, – о том, что фаллос выступает здесь в качестве означающего.

Перейдем теперь к возражениям, высказанным Джонсом в ответ Фрейду.

3

Существует три важных статьи Джонса на эту тему. Одна из них, написанная в 1935 году, называется *Early Female Sexuality* – о ней-то нам и предстоит сегодня поговорить. Предшествовала ей статья *The Phallic Phase*, представленная тремя годами раньше, в сентябре 1932 года, на конгрессе в Висбадене, а также статья под заглавием *Early Development of Female Sexuality*, с которой он выступил в сентябре 1927 года на конгрессе в Инсбруке – та самая, на которую ссылается Фрейд в своей статье 1931 года, открещиваясь в нескольких строчках, надо сказать, в довольно презрительных выражениях, от мнений Джонса, который в *Фаллической фазе* собственно и формулирует, отвечая ему, свою, в общем самостоятельную позицию, пытаясь в то же время следовать букве Фрейда настолько близко, насколько это возможно.

Третья статья, на которую я и буду сегодня опираться, в отношении нашей сегодняшней темы особенно показательна. К тому же она представляет собой наиболее развитый этап построений

Джонса. Написана она была четыре года спустя после опубликования статьи Фрейда о женской сексуальности. Доклад, легший в основу статьи, был сделан по просьбе Федерна, тогдашнего вице-президента Венского психоаналитического общества. В Вену доклад был привезен не случайно – важно было предложить вниманию венского кружка то, что Джонс представил как общее мнение лондонских свих коллег – мнение, уже тогда опиравшееся в основном на клинический опыт Кляйн и ее последователей.

Джонс проводит, как это свойственно лондонским аналитикам, очень четкие противопоставления, в результате чего изложение много выигрывает в простоте и ясности, давая, таким образом, дискуссии обильную пищу. Очень интересно остановиться на некоторых его замечаниях, следуя тексту статьи как можно ближе.

В первую очередь Джонс отмечает, что, изучая ребенка, очень трудно, как показывает опыт, обнаружить у девочки пресловутую мужскую позицию, которую она должна, якобы, занять по отношению к матери с наступлением так называемой фаллической фазы. Чем более приближаемся мы к истокам, тем более оказываемся перед лицом чего-то в этом отношении критического. Я извиняюсь, если текст этот порой уводит нас немного в сторону от той магистральной линии, которой мы здесь придерживаемся, но мнения автора достойны упоминания – хотя бы лишь в связи с тем, о чем они нам поневоле напоминают.

Предположения Джонса, сразу скажу, с самого начала направлены, по сути дела, на то, что он в конце статьи формулирует недвусмысленно – является ли женщина в качестве женщины существом рожденным, *born*, или же сделанным, сфабрикованным, *made*? Именно этим вопросом он задается, и именно в этом вопросе против мнения Фрейда решительно восстает. По сути дела, он все время упирается в эту альтернативу. Конечно, работа его подводит итоги конкретных наблюдений над детским поведением, позволяющих где-то возразить Фрейду, где-то согласиться с ним, в любом случае, его подправить, но занимает его все время именно то, что в конце он и формулирует окончательно как вопрос – *да или нет*? На самом деле он полагает, что тут выбора быть не может, что один из ответов заведомо исключен – нельзя же, в самом деле, всерьез защищать мнение, из которого вытекает, что половина человечества состоит из существ сделанных, *made*, то есть сфабрикованных на конвейере эдипова комплекса.

Похоже, ему не приходит при этом в голову, что и мужчин, если уж на то пошло, фабрикуют на том же самом конвейере. Тем не менее, сам факт, что женщины вступают на этот путь с багажом, который им не принадлежит, является для него достаточным основанием для суждений весьма даже категорических.

Суть этих суждений заключается в следующем. Да, мы действительно наблюдаем, что у маленькой девочки в определенный момент ее развития на первый план выходит именно фаллос, а с ним и та триада, то желание, которое, в несколько двусмысленной и столь проблематичной для нас форме, заявляет о себе в качестве *Penisneid*. Что же это такое? Объяснения Джонса сводятся к тому, что перед нами в данном случае защитное образование, некое сопоставимое с фобией отклонение. Выход из фаллической фазы следует, таким образом, рассматривать как излечение от своего рода фобии – пусть общераспространенной и, так сказать, нормальной, но представляющей собой явление того же порядка и с тем же механизмом, что и фобия вообще.

Коли уж я, по своему обыкновению, взял быка за рога, надо тут же добавить, что есть в аргументации Джонса нечто, говорящее в пользу нашего собственного подхода – вспомните, каким образом пытался я сформулировать для вас функцию фобии. Если отношение девочки к фаллосу и вправду правомерно представлять себе так, как описывает его Джонс, то мы, безусловно, приближаемся здесь к той концепции, которую выстраивал я, утверждая, что в эдиповых отношениях маленькой девочки фаллос выступает в качестве привилегированного означающего элемента.

Значит ли это, что мы присоединяемся к мнению Джонса? Конечно, нет. Вы помните различие, которое проводил я между фобией и фетишем – так вот, фаллос играет здесь роль не фобического объекта, а скорее именно фетиша. Мы к этому в дальнейшем еще вернемся.

Обратимся теперь к отправной точке критических суждений Джонса и посмотрим, откуда же, по его мнению, эта фобия возникает. Оказывается, фобия эта является, с его точки зрения, защитным образованием против опасности, которую несут с собой, как для мальчика, так и для девочки, простейшие их влечения. В данном случае, однако, речь идет именно о девочке, и Джонс отмечает здесь, что первоначальное ее отношение к матери – именно это имею я в виду, говоря, что нам предстоит встретиться с чем-то очень

своеобразным – свидетельствует о том, что поначалу ее позиция является женской. По словам Джонса, она далека от того, чтобы вести себя по отношению к матери как мужчина по отношению к женщине. ***Her mother she regards not as a man regards a woman, as a creature whose wishes to receive something it is a pleasure to fulfill.*** Итак, если верить Джонсу, мужчина считает женщину созданием, чье желание что-то получить является удовольствием удовлетворить и исполнить.

Надо сознаться, что столь сложные представления об отношениях между мужчиной и женщиной по меньшей мере парадоксально проецировать на уровень, который мы здесь рассматриваем. Совершенно очевидно, что говоря о мужской позиции девочки, Фрейд не имеет в виду той высшей – сомнительно, чтобы уже достигнутой – ступени цивилизации, где роль мужчины состоит в том, чтобы удовлетворять все пожелания женщины. Поэтому нельзя не отметить, что выходя из-под пера человека, выступающего в этой области под знаменем натурализма, теория эта лишний раз свидетельствует о том, насколько зыбкая почва ожидает нас там, где возникают в доказательствах – да еще с самого начала – промахи столь очевидные. Хорошо, по крайней мере, уже то, что позицию мужчины по отношению к женщине автор не путает с позицией ребенка по отношению к матери.

Итак, следуя Мелани Кляйн, автор подводит нас к той кринке с молоком, именуемой матерью, которую ребенок рассматривает – я процитирую здесь Джонса – как *person who had been successful in filling herself with just the things the child wants so badly.* Слово *successful* особенно здесь уместно, так как подразумевает – хотя Джонсу это, похоже, и не приходило в голову – что если положение дел тому тексту, который вкладывает он в уста ребенка, действительно соответствует, то материнский субъект является существом, испытывающим желание. Лицо, которому что-то в данном случае удалось, – это именно мать, так как именно ей посчастливилось наполнить себя тем, чего так отчаянно *жаждет* ребенок, той материей вещей жидких и твердых, которая приносит ему столь большую радость.

Первоначальные переживания детей приходится, конечно, изучать буквально под лупой, но Мелани Кляйн, внимательнейшим образом проанализировав поведение детей в возрасте трех-четырех лет, обнаружила наличие у них определенных отношений с объектом, который я охарактеризовал когда-то как царство материнс-

кого тела. Нельзя не признать, что уже сам факт такого открытия представляет собой выдающийся вклад в дело психоанализа.

Формулирует Кляйн это открытие, говоря о том, что рассматривается в ее работе как "ультра-ранняя" стадия Эдипа. Рисунки ребенка, проходящего эту стадию, свидетельствуют, что внутри этого материнского царства располагается то, что назвал я, имея в виду китайскую историю, соперничающими княжествами – ребенок помещает на рисунке внутри этого поля все то, что для него значимо, что-то означает – братьев, сестер, собственные испражнения. Все это вместе обитает в материнском теле, все с самого начала находится у нее внутри – в том числе помещает туда ребенок и то, что диалектика исследования позволяет опознать в качестве отцовского фаллоса. Этот последний присутствует там с самого начала, представляя собой элемент особенно враждебный и вредоносный по отношению к нуждам ребенка, связанным с обладанием содержимым материнского тела.

Трудно не обратить внимание на то, что данные эти лишний раз подчеркивают и углубляют сомнительный характер тех отношений, которые преподносятся нам здесь ничтоже сумняшеся как естественные, хотя для нас очевидно теперь, что они с самого начала обладают структурой и что структура эта задана тем, что назвал я недавно *батареей означающих* – означающих, выстроенных таким образом, что никакие связи естественные, биологические, мотивировать эти отношения ни в коем случае не могли.

Таким образом, уже на уровне этого раннего опыта выходит на сцену в диалектике ребенка фаллос. И хотя отсылка к фаллосу предстает у Мелани Кляйн как нечто такое, что прочитала в предложенном ей ребенком материале она сама, факт не кажется от этого менее поразительным. Появление на первом плане пениса в качестве боле доступной, более удобной и в каком-то смысле более совершенной груди – этого нельзя не признать, это дано нам на опыте.

Раз это дано в опыте, на это можно опираться. И все же о самоочевидности здесь говорить не приходится. Что, собственно, делает из пениса предмет более доступный, более удобный и приносящий больше наслаждения, чем материнская грудь, с которой ребенок имел дело первоначально? По сути дела, это вопрос о том, что пенис означает, то есть о первом вступлении ребенка в диалектику означающего. Все дальнейшие аргументы Джонса ведут лишь к тому, что вопрос этот приобретает все большую настоятельность.

Джонс, как его предпосылки и требуют, вынужден заявить, что фаллос не может выступать здесь ничем, кроме средства и алиби определенного рода защиты. Он предполагает, таким образом, что поначалу девочка проявляет некоторый либидинально обусловленный интерес к восприятию, на примитивном уровне, своего собственного, женского, органа, объясняя затем, почему получается так, что восприятие это она впоследствии вытесняет. Отношение ребенка женского пола к своему половому органу выдает беспокойство куда большее, чем такое же отношение у мальчика, и объясняется это, по мнению Джонса, тем, что орган девочки является чем-то более внутренним, более смутным, что источники первых его движений кроются в глубине его самого. Откуда и та роль, которую играет у девочки клитор.

Если Джонс не останавливается в данном случае перед сравнительно наивными формулировками, то я уверен, лишь для того, чтобы лучше выявить стоящие за ними зависимости. Клитор – утверждает он, – будучи внешним органом, позволяет субъекту проецировать на него свои страхи и быть относительно уверенным на его счет, так как субъект всегда может, манипулируя им, или, в крайнем случае, посмотрев на него, убедиться, что орган этот на месте. В дальнейшем то, что Джонс называет ***потребностью в уверенности***, так и будет связываться женщиной с внешним объектами – обликом, одеждой, – что позволит ей смягчить свою тревогу, перенося ее на предметы, которые никак с происхождением этой тревоги не связаны. Именно поэтому относительно происхождения ее она как раз чаще всего и ошибается.

Как вы сами видите, перед нами еще один фактор, говорящий в пользу того, что на первый план в качестве предела, полагающего границу тревоге, должен, будучи элементом внешним, себя обнаруживающим, выступить именно фаллос. Такова диалектика рассуждений Джонса. Насколько она основательна, нам еще предстоит выяснить.

Диалектика эта вынуждает его представить фаллическую фазу как фаллическую позицию – позицию, позволяющую ребенку отстранить от себя тревогу, сосредоточив ее на чем-то доступном, в то время как собственные его желания орального и садистского характера, направленные на внутренность тела матери, немедленно возбуждают ответные страхи и предстают ребенку-девочке в виде опасности, способной угрожать ей изнутри собственного ее тела. Тако-

во, согласно Джонсу, происхождение фаллической позиции – происхождение, роднящее ее с фобией.

Итак, фаллос несомненно выступает в данном случае в качестве органа доступного, внешнего, но чисто фантазматического и потому в дальнейшем способного вновь со сцены исчезнуть. Страхи, обусловленные враждебностью, будут впоследствии смягчены путем переноса их с матери на другие объекты. Эрогенность и тревога, связанные с внутренними органами, будут смещены в процессе мастурбационной практики. В конечном счете, утверждает Джонс, отношение к женскому объекту утратит свой частичный характер и сможет сместиться на другие объекты. Что же касается той первоначальной тревоги, что не имеет имени, тревоги, связанной с женским половым органом и соответствующей у девочки преследующему мальчика страху кастрации, то и она со временем претерпит изменения, превратившись мало-помалу в тот страх быть оставленной, который Джонс считает для женской психологии характерным.

Такова стоящая перед нами проблема, и мы посмотрим сейчас, как собирается решить ее Фрейд. Его позиция – это позиция наблюдателя, и потому мысль свою он формулирует как это делал бы наблюдатель-натуралист.

Связь с фаллической фазой имеет природу влечения. Исходным пунктом в становлении женственности является либидо, которое по природе своей является, скажем так – чтобы называть вещи своими именами, не следуя Джонсу с его несколько карикатурной критикой, – активным. Субъект приходит к женской позиции по мере того, как разочарованию удается, путем серии преобразований и отождествлений, породить в нем требование, обращенное к отцовскому персонажу – требование чего-то такого, что исполнило бы его желание.

В конечном счете, предположение Фрейда – недвусмысленно, кстати, им сформулированное – состоит в том, что первоначальные детские запросы, как он говорит, *ziellos, бесцельны.* Субъекту нужно все, и лишь на опыте убедившись, что нужду эту удовлетворить невозможно, он занимает мало-помалу позицию более нормативную. Будучи сама по себе проблематичной, формулировка эта закладывает, однако, основу, которая позволит нам артикулировать проблему в терминах требования и желания – тех самых, которыми пытаюсь я здесь оперировать.

Джонс, отвечая Фрейду, его позицию наблюдателя-натуралиста,

его естественно исторический подход одобряет – только вот выводы кажутся ему вовсе не естественными. *А вот у меня они выйдут гораздо естественнее* – он так прямо и говорит. История фаллической фобии – всего лишь обходной маневр на пути к позиции, которая природой уже изначально задана. Женщина с самого начала родится, *born*, как таковая, и позиция ее – это с самого начала позиция рта, поглощающего, сосущего рта. Справившись с фобией, представляющей собой не более чем обходной маневр, она в эту позицию вновь возвратится. То, что вы называете *фаллической позицией*, – это лишь искусственное, вывернутое наизнанку описание фобии, вызванной у ребенка собственной враждебностью и агрессивностью по отношению к матери. Это всего лишь небольшое отклонение в целиком заданном инстинктами поведенческом цикле, завершив который женщина по праву вернется на свою естественную позицию – позицию вагинальную.

Такова, в общих чертах, концепция Эрнеста Джонса.

4

В ответ я попытаюсь сформулировать следующее.

Ни в диалектику, ни в механику кляйновского подхода фаллос совершенно не вписывается. Фаллос вообще мыслим лишь в том случае, если он с самого начала работает как означающее нехватки, означающее зазора, дистанции между требованием субъекта и его желанием. Чтобы желание это постичь, необходимо путем дедукции установить то, как происходит вступление субъекта в означающий цикл – вступление, для него обязательное. Если женщина, как это ни парадоксально, тоже должна через это означающее пройти, то происходит это потому, что задача, которая ей предстоит, состоит не в том, чтобы реализовать какую-то изначально заданную женскую позицию, а в том, чтобы вступить в определенную диалектику обмена. И если мужчина, особь мужского пола, самим фактом своего существования в качестве означающего от всех запретов, образующих эдиповы отношения, освобожден, то девочке предстоит вписаться в цикл брачно-родственных обменов, превратившись в предмет обмена самой.

Как всякий корректно проведенный анализ на деле показывает, в основе структуры эдиповых отношений лежит то, что женщина должна предложить себя – или, точнее, признать себя – в качестве элемента цикла обменов. Значение этого факт огромно – с при-

родной точки зрения он сказывается на человеке куда больше, чем любые замеченные нами до сих пор аномалии в развитии его инстинктов. И мы должны быть готовы к тому, что на уровне воображаемом, на уровне желания, на тех обходных путях, которыми девочке самой предстоит в мир означающего войти, факт этот будет как-то представлен.

Тот факт, что девочке, как и мальчику, предстоит вписаться в мир означающего, акцентирован у нее тем желанием, которое, будучи означаемым, всегда сохранит определенную дистанцию, определенный зазор по отношению ко всему, что может иметь какое-то отношение к естественной, природной потребности. Ибо само вступление в диалектику означающего требует, чтобы какая-то часть естественных отношений была отсечена, принесена в жертву. Для чего? Да именно для того, чтобы сделать эту часть означающим элементом – тем самым, который означает собой введение в диалектику требования.

Обратите внимание, что мы возвращаемся – в чем нет, на мой взгляд, ничего удивительного – к необходимости, вам только что мною заявленной со всей прямотой, которой это социологическое замечание, основанное на всех известных нам фактах и сформулированное недавно в *Структурах родства* Леви-Строссом, требует – к печальной необходимости для половины человечества стать означающим обмена, протекающего по самым различным законам – относительно простым в элементарных структурах родства или имеющим куда более запутанную разветвленность в структурах более сложных. На самом деле, диалектика включения ребенка в систему означающих представляет собой – в том виде, в котором мы ее наблюдаем – своего рода оборотную сторону вхождения женщины в качестве означающего объекта в то, что мы можем назвать диалектикой социальной – в кавычках, конечно, так как мы считаем своим долгом всячески подчеркивать зависимость социального от означающей и комбинаторной структуры. Но когда ребенок в эту социальную означающую диалектику включается – что мы наблюдем? А вот что: не существует желания, от которого он зависел бы более тесно и непосредственно, чем желание женщины, причем происходит это постольку, поскольку желание это как раз и обозначено тем, чего ей не хватает – фаллосом.

Я, собственно, уже показал вам, что все, что выглядит в развитии ребенка как срыв или неудача, вплоть до самых серьезных из этих

срывов, связано с тем, что ребенок предстоит матери не один, что наряду с ним матери предстоит еще и означающее ее желания, то есть фаллос. Мы подходим здесь к тому, что послужит предметом нашего следующего занятия.

Одно из двух. Либо ребенок вступает в диалектику, делается объектом в череде обменов и в один прекрасный момент от отца и матери, то есть от первоначальных объектов своего желания, отказывается. Либо он эти объекты сохраняет. То есть, другими словами, сохраняет за ними нечто такое, что гораздо больше их ценности, потому что ценность – это как раз то, что, собственно, подлежит обмену. Но если после того, как объекты эти становятся означающими, он продолжает стремиться к ним как объектам своего желания, то эдипова привязанность навсегда сохраняется, то есть детское отношение к родительским объектам в прошлое не уходит. И вот в той мере, строго в той мере, в которой оно в прошлое не уходит, как раз и наблюдаем мы – выражаясь здесь в самой общей форме – те смещения и извращения желания, которые показывают нам, что внутри воображаемых отношений с эдиповыми объектами ни о какой нормативности не может быть речи.

Почему? Да потому, что даже в отношениях самых примитивных, в отношениях ребенка с матерью, всегда имеется еще один, третий элемент – фаллос как объект желания матери. Он-то и ставит непреодолимую преграду удовлетворению желания ребенка – желанию, которое как раз и заключается в том, чтобы самому быть единственным объектом желания матери. Что и подсказывает ребенку целый ряд решений, заключающихся в той или иной редукции или идентификации внутри данной триады. Если мать становится фаллической или место матери занимает фаллос, то мы имеем дело с фетишизмом. Если ребенок осуществляет соединение фаллоса и матери, без которого никакое удовлетворение для него невозможно, в самом себе, интимным образом, то перед нами случай трансвестизма. Короче говоря, в той мере, в какой ребенок, это существо, вступающее со своими естественными потребностями в диалектику означающего, от своего объекта не отказывается, желание его оказывается неудовлетворенным.

Удовлетворенным же оно оказывается лишь при условии, что от него отчасти отказываются. Именно это имел я поначалу в виду, когда говорил, что желание должно стать требованием, то есть желанием, которое в силу существования и вмешательства означаю-

щего стало желанием обозначенным, другими словами – желанием отчужденным.

1 марта 1958 года

XVI
Знаки отличия Идеала

Карен Хорни и Элен Дейч
Комплекс маскулинности и гомосексуальность
Процесс вторичной идентификации
Мать и жена
Метафора Идеала собственного Я

Я хотел бы сегодня затронуть проблему идентификации. Для тех, кого в прошлый раз в этой аудитории не было, а заодно и для тех, кто был, я напомню суть того, что здесь прозвучало.

Я попытался привлечь внимание к трудностям, к которым приводит нас само понятие фаллической фазы. С чисто биологической точки зрения рационально объяснить полученные Фрейдом на опыте выводы действительно трудно, но стоит нам предположить, что фаллос задействован в некоей субъективной функции в роли означающего, как положение дел немедленно проясняется.

Этот фаллос в роли означающего с неба, конечно, не падает. Он ведет откуда-то свое происхождение, причем ведет он его из воображаемого, где обладает определенным свойством, позволяющим ему свою функцию выполнять.

В каком-то смысле, означающее это знаменует собой перекресток. Именно к нему сходится в большей или меньшей степени все то, что имеет место в процессе включения человеческого субъекта в систему означающего – систему, через которую желание его, чтобы получить признание, так или иначе должно пройти, претерпевая при этом глубокие изменения. Весь опыт нам говорит о том, что ни начало переживания субъектом эдиповой драмы, ни развязка ее, без фаллоса не обходятся.

Можно даже утверждать – хотя решенным этот вопрос считать нельзя – что роль его участием в эдиповой драме не ограничивается, так как нельзя не удивиться присутствию фаллоса – а именно фаллоса отцовского – в описанных Мелани Кляйн первоначальных фантазиях. Именно присутствие это и заставляет задуматься над тем, к какому регистру их, эти фантазии, следует отнести. Может быть, к тому, что предложила сама Кляйн, признав наличие у

детей особого, раннего эдипова комплекса? Или же мы должны, наоборот, признать наличие некоей первоначальной деятельности воображения, которую правильнее квалифицировать как до-эдипову? Вопрос этот можно покуда оставить и нерешенным.

Чтобы пролить свет на функцию фаллоса, которая обсуждается здесь в общей форме как раз потому, что представляет собой функцию означающего, следует рассмотреть ту означающую экономию, в которую фаллос включен, а это значит, что в центре нашего внимания окажется тот момент, который Фрейдом, его исследованиям, охарактеризованы как выход из эдипова комплекса – момент, когда субъект, эдипово желание вытеснивший, выходит из этого испытания обновленный и снабженный – как вы думаете чем? – Идеалом собственного Я.

1

При нормальном развитии эдипова комплекса он завершается вытеснением. У субъекта результатом этого вытеснения становится идентификация, которая с ним самим оказывается в отношениях довольно двусмысленных. Здесь нам придется двигаться медленно, шаг за шагом. Одно, по крайней мере, мы можем утверждать однозначно, то есть единодушно – речь идет об идентификации, с идентификацией в качестве собственного Я отнюдь не совпадающей. Фрейд был первым, кто это положение высказал, и для всех последователей его оно служило тем минимумом, относительно которого разногласий не возникло.

В то время, как структура собственного Я построена на соотношении субъекта с образом себе подобного, структура Идеала Я ставит перед нами совершенно особый вопрос. Дело в том, что Идеал Я вовсе не пытается – это едва ли не прописная истина – выступить в роли идеального Я. Фрейд, как я уже многократно подчеркивал, эти термины различает, причем делает это именно в своей посвященной нарциссизму статье, *Zur Einführung des Narzissmus*, но чтобы заметить это, читать ее следует буквально под микроскопом, ибо различие это обнаружить в тексте настолько трудно, что кое-кто понятия эти все-таки путает. Прежде всего, разграничение у него не вполне точно, но это не так уж важно – ведь так или иначе, уже обычное, принятое словоупотребление позволило бы нам заметить, что между тем, что приписывается в текстах Фрейда функциям Идеала Я, с одной стороны, и смыслом, который позволительно при-

дать образу Я, с другой, ни малейшей синонимии нет – при всем том, что образу этому, который становится тем идеальным образом, с которым субъект отождествляет себя, своего рода совершенным образом себя самого, тем, с чем он норовит слиться, что убеждает его в собственной цельности, придаются нами порою черты необычайно возвышенные.

Так, к регистру идеального Я можем мы, например, отнести все то, что оказывается под угрозой, когда речь у нас идет о страхах, связанных с нарциссическими покушениями на собственное тело, все то, что подразумеваем мы, говоря о необходимости нарциссического самоутверждения. Что же касается Идеала Я, то с ним мы имеем дело в тех функциях, которые зачастую выступают по отношению к субъекту как угнетающие, агрессивные. Так, Фрейд пользуется им, говоря о различных формах депрессии. В конце посвященной идентификации седьмой главы книги "*Massenpsychologie*" – главы, где понятие Идеала Я впервые выступает у него в отчетливой, эксплицитной форме – он явно стремится отнести все депрессии не столько к регистру Идеала Я, сколько в некоей сумеречной, конфликтной сфере, образованной связями между собственным Я, с одной стороны, и Идеалом Я, с другой.

Так или иначе, все то, что происходит в регистре угнетения, равно как и происходящее в регистре превознесения, следует воспринимать с учетом открытой вражды между обеими инстанциями, независимо от того, кем военные действия объявляются – бунтует ли собственное Я или, напротив, Идеал Я становится чересчур строгим, вызывая чрезмерной своей суровостью ответную реакцию и нарушение равновесия. Но как бы то ни было, Идеал Я по-прежнему остается для нас проблемой.

Считается, что Идеал Я возникает в результате позднейшей идентификации, что идентификация эта связана с отношениями внутри эдипова треугольника, и что желание сложнейшим образом сочетается в нем с соперничеством, враждой и агрессией. Разыгрывается некий конфликт, исход которого неясен. Но при всей неопределенности своего исхода конфликт этот так или иначе влечет за собой определенное субъективное преобразование. Преобразование это обусловлено введением – или, как говорят, интроекцией – внутрь субъекта структуры, которую называют Идеалом Я – структуры, которая становится впредь частью самого субъекта, сохраняя при этом в то же время какие-то отношения с внешним объек-

том. Обе стороны здесь налицо, и мы воочию убеждаемся в том, что интра-субъективность и интер-субъективность, как анализ и утверждает, друг от друга неотделимы. Какие бы изменения во внешней среде и в окружении субъекта ни произошли, то, что приобретено им в качестве Идеала Я, останется для него чем-то вроде той родины, что уносит изгнанник на подошвах своих башмаков – Идеал Я от него уже неотъемлем, навсегда им усвоен. Это не объект, а нечто такое, что, внутри субъекта, ему придано.

Нам настойчиво напоминают, что при любом правильном ходе анализа интра-субъективость и интер-субъективность должны оставаться связаны. В современном психоанализе считается, что связи между Я и Идеалом Я бывают хорошие или плохие, конфликтные или мирные. При этом замалчивается и остается за скобками как раз то, что должно быть сформулировано в первую очередь, что сами условия нашего языка диктуют на любом уровне – связи эти всегда выстроены как связи интер-субъективные.

Внутри субъекта воспроизводятся отношения, типологически сходные с теми, что существуют между субъектами – а воспроизводиться они могут, как вы прекрасно понимаете, лишь на основе определенным образом организованных означающих. Не следует представлять себе – хотя мы так говорим, и на деле это сходит нам с рук – будто сверх-Я представляет собой что-то свирепое, подстерегающее Я за углом, чтобы на него наброситься. Сверх-Я – это не личность, ведь оно ведет себя внутри субъекта точно так же, как ведет себя субъект по отношению к другому субъекту, а отношения между субъектами существования личности отнюдь не предполагают – чтобы интер-субъективные отношения оказались налажены, условий, созданных существованием и функционированием означающего как такового, вполне достаточно.

Именно с этой интерсубъективностью внутри живой личности и имеем мы дело в психоанализе. Именно в недра этой интерсубъективности нам предстоит заглянуть, чтобы составить себе представление о том, какова функция Идеала Я. Не надейтесь прочитать об этой функции в словаре – никакой словарь не даст вам однозначного ответа и только запутает вас еще больше. Функция эта не сливается, конечно же, с той, которую выполняет Сверх-Я. Возникли они приблизительно вместе, но как раз поэтому они и различны. Скажем, пожалуй, что они сливаются лишь отчасти, но Идеал Я выполняет в желании субъекта функцию, скорее типологизирующую.

Похоже, что он связан с усвоением субъектом определенного сексуального типа или образца – образца, включенного в более широкую экономию, которая может, в определенных случаях, носить социальный характер. Речь идет о функциях мужских и женских – не в качестве средства, ведущего к акту, необходимому для продолжения рода, а в качестве того, что определенным образом оформляет любые отношения между мужчиной и женщиной вообще.

Что интересного дают нам в этом отношении добытые психоанализом данные? Анализ позволил нам рассмотреть изнутри работу той функции, которую до тех пор мы знали лишь поверхностно, по ее результатам. И шел он для этого окольным путем, отталкиваясь от случаев, где результатов этих налицо не оказалось. В этом он следовал хорошо известной, так называемой *психопатологической*, методике, состоящей в том, чтобы разобрать функцию, расчленить ее, воспользовавшись для этого тем местом, где она оказалась сдвинутой, смещенной, в результате чего то, что обычно вписывается в дополняющее окружение более или менее незаметно и гладко, обнажает здесь свои корни и острые грани.

Мне хотелось бы сослаться здесь на опыт нашей работы со случаями, когда идентификация субъектов определенного типа с тем, что можно назвать их правильным, удовлетворительным образцом, пусть даже временно и частично, не происходит. Нам придется выбрать какой-то определенный случай. Возьмем случай женщин, у которых развивается так называемый комплекс мужественности, *Masculinity-Complex*, который связывают обыкновенно с существованием фаллической фазы. Мы можем теперь это сделать, так как на проблематичность существования этой фаллической фазы я вам заранее указал.

Есть ли здесь что-то, связанное с инстинктами? Не имеем ли мы здесь дело со сбоем в созревании инстинкта – сбоем, ответственность за который несет уже само существование клитора, которое и является причиной того, что на другом конце цепочки выступает в виде комплекса мужественности? Но мы понимаем теперь, что дело обстоит не так просто. Присмотревшись повнимательнее, мы увидим, что и для Фрейда дело здесь обстоит не так просто – уже ему было отлично известно, что ни об отклонении в развитии женственности в результате природной аномалии, ни о пресловутой бисексуальности речи здесь быть не может. Возникавшие затем по целому ряду случаев споры – пустые, по сути дела, ибо исходив-

шие из ложной предпосылки, будто иначе и быть не может – словно предназначены были показать нам, что на деле все не так просто.

То, о чем идет речь, в действительности, разумеется, гораздо сложнее. Мы не можем, правда, немедленно сформулировать в чем тут дело, но уже сейчас прекрасно видим, что сама изменчивость того, что предстает у женщины как комплекс мужественности, указывает нам на связь этого явления с фаллическим элементом, на обыгрывание, использование этого элемента – использование, заслуживающее быть принятым во внимание хотя бы лишь потому, что знание о том, для чего элемент используется, способно пролить свет и на то, что представляет собой этот элемент по своей сути.

Посмотрим теперь, что говорят нам те аналитики, в особенности аналитики-женщины, которые в работах своих эту тему затронули.

2

Сегодня мы не можем уже с ними во всем согласиться. Говоря о них, я имею в виду прежде всего тех двух женщин-аналитиков, чьи работы послужили фоном для обсуждения этой проблемы Джонсом – Элен Дейч и Карен Хорни. Те из вас, кто владеет английским, смогут обратиться к первоисточникам: статье Элен Дейч *Masochism in the Mental Life of Women*, опубликованной в январе 1930 в *International Journal of Psychoanalyses*, том XI, и статье Карен Хорни *On the Genesis of the Castration Complex in Women*, опубликованной в январе 1924 в томе V этого же журнала.

Как бы мы ни относились к тем выводам, к которым пришла Карен Хорни как в вопросах теории, так и в вопросах техники, в плане клиническом она с начала и где-то до середины своей профессиональной карьеры бесспорно оставалась новатором. Открытия ее по-прежнему сохраняют свою ценность, несмотря на все те более или менее шаткие заключения относительно антропологической ситуации психоанализа, которые она постаралась из них вывести. Главное, что говорит она в своей статье о комплексе кастрации, сводится к следующему. У женщин наблюдается аналогия между тем, что выстраивается в клиническом опыте вокруг идеи кастрации, с одной стороны, и теми притязаниями относительно недостающего органа, которые субъект так или иначе в анализе формулирует, с другой. В притязаниях этих обнаруживаются отзвуки, клинические следы кастрации. На ряде примеров – здесь хорошо бы вам самим

обратиться к текстам – Хорни показывает, что по природе своей эти случаи фаллических притязаний ничем не отличаются от некоторых случаев женской гомосексуальности – тех, собственно говоря, где в отношении к своему партнеру субъект идентифицирует себя в определенной позиции с отцовским образом. Одно незаметно переходит в другое. Тот же ритм временных интервалов, те же фантазмы, сновидения, внутренние торможения, симптомы – все то же самое. Сказать, что первое из этих явлений является смягченной формой второго, и то, пожалуй, было бы неправильно – просто есть некий рубеж, сам по себе тоже не очень отчетливый, который один субъект переступает, а другой нет.

Обстоятельство, на котором настаивает Карен Хорни, состоит в следующем. То, что в подобных случаях происходит, заставляет нас сосредоточить внимание на моменте, близком к угасанию эдипова комплекса, ибо предполагается, что отношение к отцу у субъекта к этому времени не просто сформировано, но сформировано настолько основательно, что проявляется у субъекта-девочки как откровенное желание отцовского пениса, что, как в статье справедливо подчеркивается, подразумевает признание этого пениса – не то фантазматическое, отвлеченное, двусмысленно-призрачное, что побуждает нас вечно задаваться вопросом о том, что же такое фаллос, а именно признание реальности пениса как такового. Вопрос о том, воображаемый он или же нет, здесь уже не стоит.

Разумеется, в своей основной функции фаллос это воображаемое существование подразумевает. На различных фазах развития отношений субъект женского пола может, несмотря ни на что, настаивать на обладании им – прекрасно, между тем зная, что он им вовсе не обладает. То есть он, конечно, обладает им, но лишь в качестве образа – будь то образа того, что у него было, или, как это часто случается, образа того, что у него быть должно. Но здесь, говорят нам, речь идет о другом. Речь идет о пенисе, осуществленном как нечто реальное – именно в таком качестве на него и рассчитывают.

Я бы не смог говорить об этом, если бы заранее уже не выделил в комплексе Эдипа три фазы, обратив ваше внимание на то, что в каждой из этих фаз он заявляет о себе по-разному. Отец как обладатель реального пениса появляется лишь в третьей фазе. Я уже показал вам, как это происходит у мальчиков, и вот теперь перед

нами раскладывают по полочкам то, как дело обстоит у девочек.

Что же, если верить тому, что нам говорят, происходит? А говорят нам, что в случаях, о которых идет речь, именно вследствие лишения того, на что субъект так или иначе рассчитывает, возникает явление, которое не изобретено Карен Хорни, а неоднократно обыгрывается уже в текстах самого Фрейда – происходит тот крутой поворот, та мутация, в результате которой то, что было любовью, становится идентификацией.

Идентификация складывается, поскольку отец на ожидания субъекта, на его определенным образом ориентированные домогательства не отвечает. Это предполагает, разумеется, что ситуация уже назрела. Можно было бы сказать, что эдипова ситуация достигла у субъекта расцвета, если бы функция ее как раз и не состояла в том, чтобы комплекс преодолеть, ибо лишь преодолев его сможет субъект найти удовлетворительную для своего пола идентификацию.

Происходящая в это время идентификация с отцом имеет черты загадки, а то и тайны. Сам Фрейд подчеркивает, что преобразование любви в идентификацию, возможность которой здесь превосходно демонстрируется, вовсе не очевидно. В данный момент, однако, мы ее допускаем – хотя бы уже потому, что мы ее констатируем. Речь идет о том, чтобы уяснить и описать ее механизм, то есть найти формулу, которая позволила бы представить себе, что эта идентификация собой представляет и каким образом связана она с моментом лишения.

Я хотел предложить вам несколько формул, так как думаю, что они помогут нам решить, что можно, а что нет, к этому моменту отнести. Вводя здесь этот существенный для артикуляции означающего элемент, я делаю это, если можно так выразиться, не для собственного удовольствия, не из желания все расставить по полочкам, а лишь для того, чтобы не уподобить слова и означающие пальцу, которым только и делают, что тычут в небо. Не будем обманываться – от того, что неоднозначно сформулировано, ясности ожидать нечего. Четкая артикуляция – вот единственное, что позволит нам правильно оценить происходящее и отличить имеющее место в одном случае от того, что имеет место в другом.

Так что же происходит, когда субъект женского пола занимает позицию идентификации с отцом?

Ситуация, если хотите, следующая. Вот перед нами отец, вот ребенок, на уровне которого имели место некоторые ожидания. Ре-

зультат – удивительный, парадоксальный – состоит в том, что определенным образом и под определенным углом зрения ребенок становится этим отцом сам. Он, разумеется, не становится отцом реально, нет – он становится отцом в качестве Идеала Я. Именно в таких случаях и можете вы, прислушавшись к женщине, услышать от нее что-нибудь вроде: "*Я кашляю как мой отец*". Это как раз идентификация и есть. Попробуем теперь рассмотреть экономию этого преобразования шаг за шагом.

В мужчину маленькая девочка, конечно, не превращается. О происшедшей идентификации свидетельствуют нам знаки, стигматы, которые так или иначе о себе заявляют, которые могут быть субъектом замечены и даже являют порою, до известной степени, предмет его гордости. Что в этом случае перед нами? Нет никакого сомнения – перед нами не что иное, как ряд означающих элементов.

Если женщина говорит вам: "*Я кашляю точно, как мой отец*", или "*у меня такая же манера толкаться животом, как у него*", перед нами означающие элементы. Однако точности ради, чтобы лучше выявить их специфику – ведь в цепочке означающих эти означающие не задействованы – мы придумаем для этих означающих особый термин. Мы назовем их *отличительными знаками* отца.

Уже самое поверхностное наблюдение психологии человеческого поведения говорит нам, что для того, чтобы назвать вещи своими именами, субъект выступает под маской отличительных знаков мужественности – знаков, которые накладываются им на тот фон, что неразличимо присутствует у всякого субъекта как такового.

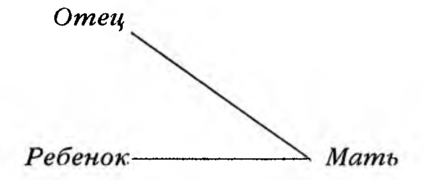
Теперь стоит, пожалуй, постепенно – именно постепенность служит знаком того, что мы здесь не ошиблись – разобраться в вопросе о том, что в результате этих действий происходит с желанием. С чего все это началось? Ведь желание, в конце концов, специфически мужским отнюдь не было. Что происходит с ним, когда субъект присваивает себе знаки отца? Перед кем знаки эти демонстрируются? Опыт отвечает нам, что демонстрируются они перед тем, что находится на месте, которое в начальной стадии развития эдипова комплекса занимала мать. Начиная с момента, когда субъект возлагает на себя знаки того, с чем он себя идентифицировал, и преобразуется в направлении, знаменующем собой переход в состояние означающего, в состояние отличительного знака, желание, которое вступает при этом в игру, оказывается уже не тем.

С каким желанием имели мы дело прежде? Теперь, дойдя в ана-

лизе комплекса Эдипа до этого рубежа и увидев, чего именно ожидал субъект от отношений с отцом, мы можем предположить, что это было страстное, призывное желание, свойственное женщине, очень близкое к пассивной генитальной позиции. Ясно, конечно, что после происшедшего с субъектом изменения мы имеем дело с желанием совершенно иным.

Оставим пока вопрос о том, что с желанием этим произошло, а вернемся к термину *лишение*, который мы недавно произнесли. Но ведь можно было бы с тем же успехом говорить о фрустрации. Почему же именно лишение, а не фрустрация? Обратите внимание – решения здесь еще нет.

Но как бы то ни было, субъект, который находится здесь, явился теперь и там, ибо теперь у него есть Идеал его Я. То, что теперь перешло вовнутрь субъекта, выстроено как отношения между субъектами. Субъект наш будет теперь носителем определенного желания. Какого же?



На схеме показаны отношения между отцом и матерью. Совершенно ясно, что то, с чем мы сталкиваемся в анализе такого субъекта в момент, когда мы его анализируем, – это вовсе не дубликат, вовсе не воспроизведение того, что происходило между его матерью и отцом. И этому есть множество причин – хотя бы то, например, что субъекту отношения эти далеко не вполне доступны. Опыт, напротив, свидетельствует, что обнаруживается в анализе не что иное, как прошлое, как превратности тех исключительно сложных отношений, которые с самого начала и вплоть до этого момента влияли на характер связи ребенка с матерью. На поверхность выходят фрустрации, связанные с неизбежными помехами и задержками разочарования, различные перебои и случайности, которые отношения ребенка с матерью крайне усложняют, вызывая к жизни как совершенно специфические проявления агрессии в самой первоначальной их форме, так и явления соперничества, отмеченные влиянием посторонних для нашей троицы элементов – скажем, сестер и братьев, которые в один прекрасный момент могли в раз-

витие субъекта и его отношений с матерью более или менее некстати вмешаться. Все это так – следы и отражения всего этого, смягчающие или усиливающие то, что предстает в этом случае как притязание на отличительные знаки мужественности, всегда налицо. Все это проецируется на отношения юного субъекта к своему объекту. И распоряжаться ими станет субъект начиная с момента идентификации, момента, когда он возложит на себя отличительные знаки того, с чем себя идентифицировал – знаки, играющие для него роль и выполняющие функцию Идеала Я.

Конечно, то, что я здесь описываю, есть не что иное, как способ те позиции, о которых идет речь, представить наглядно, но если вы желаете их понять, вам нужно, разумеется, привести картину в движение. Когда момент колебаний пройден, субъект уносит эти знаки отличия с собой и обнаруживает, что устроен он теперь по-новому и что желание его обновилось тоже.

Каков механизм этого преображения? Нам предстоит выделить в нем три временных такта.

Вначале мы имеем субъекта и еще одну инстанцию – инстанцию, обладающую для этого субъекта либидинальной ценностью.

Имеется, затем, третья инстанция, отношения которой с субъектом носят иной характер – отношения эти обязательно предполагают в прошлом такой вводящий коренное различие элемент, как соперничество.

И наконец, происходит обмен – то, что было объектом либидинальных отношений, становится чем-то другим, получая для субъекта, в результате преобразования, функцию означающего. Желание субъекта переходит при этом в иную плоскость – плоскость желания, обусловленного третьей инстанцией. Это последнее, заменяя собою желание первоначальное, которое остается впредь вытеснено, оказывается в итоге иным, совершенно преображенным.

Вот что представляет собой процесс идентификации.

Прежде всего необходимо наличие либидинального элемента – элемента, который наметил бы определенный предмет в качестве объекта. Объект этот становится для субъекта означающим, занимая то место, которое с этого момента получает название Идеал Я. Желание оказывается при этом подменено – на его место приходит другое. Это другое желание не является из ничего, оно не представляет собой ничто – оно и прежде, в связи с третьей инстанци-

ей, существовало. Именно оно в итоге оказывается преображенным.

Вот схема, которую я попрошу вас запомнить. Это и есть минимальная схема любого процесса идентификации в собственном смысле слова – той самой идентификации на вторичном уровне, которая и лежит в основе формирования Идеала Я. Все три инстанции обязательно должны быть налицо. Вся эта чехарда возникает в результате трансформации объекта в означающее – трансформации, которая имеет место в субъекте. Ею-то и обусловлена идентификация, лежащая в основе того, из чего складывается Идеал Я. Сопровождается это явлением, которое можно назвать переносом желания: со стороны, из отношений с третьей инстанцией, которая с первичным либидинальным отношением ничего общего не имела, является другое желание, и желание это, заменяя собой первое, в самой замене этой и посредством ее оказывается преображенным. Это очень существенно. Можно объяснить это и по-другому. Вернемся для этого еще раз к знакомой схеме – в той форме, которая сейчас перед нами.

В своих начальных отношениях с первичным объектом ребенок – это формула общепринятая – занимает позицию, симметричную по отношению к позиции отца. Вступая с отцом в соперничество, он располагается на полюсе, противоположном позиции его первоначальных отношений с объектом – в точке *x*, помеченной знаком φ. Там, в этой точке, он становится чем-то таким, что способно облечься в знаки отличия того, с чем он вступил в соперничество. Именно по мере того, как он это делает, обретает он впоследствии свое место там, где он так или иначе уже находится – в точке, противоположной той точке *x*, где все первоначально произошло. В этой второй точке, в точке E, и складывается он в той новой форме, которая носит у нас название I, *Идеал Я* – складывается, что-то от своего происхождения в самой общей форме удерживая.

Вы сами прекрасно видите, что речь идет не об отце или матери, речь идет об отношениях с объектом. Мать – это объект первичный, объект по преимуществу. От приходов и уходов матери, обусловливающих соперничество его с третьей инстанцией, субъект нечто сохраняет. Характеризуется это нечто тем общим множителем, наличием которого обязана человеческая психика существованию означающих. Поскольку люди волей-неволей имеют с миром означающих дело, именно означающие образуют тот проход, ту теснину, которой желанию их так или иначе предстоит пройти. И пото-

му уходы и приходы эти предполагают, что у всех случаев воздействия означающего на желание, у всего того, что это желание означивает, у всего того, что так или иначе обращает это желание в желание обозначенное, имеется некий общий множитель, общий коэффициент. Таким общим коэффициентом и является как раз *фаллос.*

Во всяком случае, он обязательно в этот коэффициент входит. Он представляет собой наименьшее общее кратное этого общего множителя. Именно поэтому фаллос, идет ли речь о мужчине или о женщине, мы обнаруживаем неизменно. Вот почему сюда, в точку x, мы помещаем φ, *фаллос.*

В тех воображаемых отношениях субъекта с самим собой, всегда более или менее непрочных, что представлены на схеме линией *m-i*, фаллос непременно является третьим участником. Отношения эти представляют собой первоначальную, всегда, по сути дела, более или менее умозрительную идентификацию собственного Я, *m*, с образом, *i*, всегда так или иначе спорным. К фундаментальной связи, которую поддерживает субъект с тем, к чему адресует он свои требования, то есть с объектом, все это никакого отношения не имеет.

В продолжение этих уходов и приходов Идеал Я, I, всегда складывается в точке, противолежащей одновременно как той виртуальной точке, где возникает оспаривание, *contest*, третьей инстанции, обозначенной на схеме как Р, так и тому метонимическому коэффициенту, которым является вездесущий фаллос. Разумеется, то, что происходит на уровне Идеала Я, основывается на том, что он, этот общий коэффициент, по крайней мере, имеется. Идеал построен таким образом, что не позволяет его, фаллос, увидеть, а если и позволяет, то лишь как что-то такое, что вечно ускользает у нас всех между пальцев. И тем не менее именно он, фаллос, лежит в подоплеке любого усвоения субъектом чего бы то ни было в означающей форме.

Обратите внимание – означающее обязательно накладывается на означаемое, перекрывает его. Идеал Я складывается в отношениях с третьей инстанцией, которая представлена здесь на схеме отцом, и всегда скрыто включает фаллос – включает исключительно постольку, поскольку именно он, фаллос, является стержнем и общим коэффициентом инстанции означающего.

3

Итак, Карен Хорни продемонстрировала существование преемственности между женской гомосексуальностью, с одной стороны, и комплексом кастрации, с другой. Что скажет нам Элен Дейч?

Она говорит совсем о другом. Она согласна, что фаллическая фаза действительно играет ту роль, о которой говорит Фрейд, но важно для нее при этом совсем иное – ей важно проследить те дальнейшие превращения, в результате которых девочка займет в конечном счете ту мазохистскую позицию, которая является, по мнению Элен Дейч, неотъемлемым элементом женской позиции вообще. Поскольку наслаждение клитором оказывается для маленькой девочки под запретом, она получает удовлетворение от позиции, которая уже не является исключительно пассивной – позиции наслаждения, которое именно этим навязанным ей лишением наслаждения клиторного и обеспечивается.

Перед нами, разумеется, парадокс. Парадокс этот Дейч подтверждает, однако, результатами опыта – настолько стабильными, что они дают ей основание для технических рекомендаций. Я говорю вам сейчас о данных аналитического опыта – данных, которые, даже будучи предопределены отчасти заранее выбором материала, заслуживают, тем не менее, чтобы мы на них задержались.

К вопросу о женском удовлетворении Элен Дейч подходит достаточно глубоко. Она утверждает, что полное удовлетворение – достаточно полное, чтобы в ее поведении, как и в адаптации ее к выполнению специфически женских функций, ничего, что могло бы казаться невротическим или не вполне типичным, не появилось – женщина, по природе своей, способна получить таким образом, что удовлетворение генитальное ни в какой сколь-нибудь заметной форме в этом участия принимать не будет.

Я повторяю – это точка зрения Элен Дейч. По ее мнению, полноценное удовлетворение в женской позиции сполна заключено в совокупности последовательных этапов функции материнства – беременности, кормления, материнской опеки. Что же касается готовности к удовлетворению, связанному с половым актом, с оргазмом как таковым, то это совсем другое дело – эта готовность определяется диалектикой лишения фаллоса.

Следуя этому взгляду, Элен Дейч обнаружила, что у ряда вовлеченных в фаллическую диалектику и подающих те или иные признаки мужской идентификации субъектов личность находится в

состоянии безусловно конфликтного и, следовательно, хрупкого равновесия, которое именно на этой основе и складывается. Упрощать эти сложные отношения, заходить в анализе слишком далеко, означало бы разочаровать этого субъекта в том наслаждении, которого он до тех пор более или менее успешно добивался в генитальном плане. По ее мнению, в случаях такого типа все говорит за то, чтобы оставить субъекту тот пенис, который получил он путем, может быть не слишком успешных, но так или иначе проделанных им идентификаций. Разлагая эти идентификации, анализируя их, сводя их на нет, мы рискуем поставить субъекта в положение утраты фактора, который, как в результате лечения выясняется, лежал в основе того наслаждения, которого ему до начала анализа удалось добиться. Достижения в плане генитального наслаждения связаны, по мнению Дейч, с прошлым субъекта по отношению к его идентификациям. Ведь если наслаждение действительно носит мазохистский характер, действительно заключается в обманутых ожиданиях, которые достигнутая субъектом позиция подразумевает, то для него требуется, чтобы положение дел, при котором ожидания остаются обманутыми, сохранилось. Другими словами, сведение на нет идентификаий собственно мужского характера может в определенных условиях нести угрозу тому, что в плане наслаждения было субъектом через саму диалектику его идентификаций уже достигнуто.

Изложенное говорит само за себя. Для нас важно уже то, что подобная точка зрения могла оказаться высказана, причем высказана аналитиком весьма опытным и принадлежащим – судя, по крайней мере, по ее суждениям – к числу тех, кто выполняет свою работу осмысленно и отдает себе отчет в ее возможных последствиях. Именно в этом и только в этом качестве мнение это заслуживает внимания.

Итак, г-жа Дейч полагает, что в отношениях между людьми – в том, что у малиновок или богомолов половой акт происходит таким же способом, я не поручусь – что в человеческом роде, одним словом, центр тяжести, главный элемент удовлетворения субъекта, занимающего женскую позицию, лежит вне генитальных отношений как таковых.

Все, что может женщина в генитальных отношениях получить, связано, согласно г-же Дейч, с диалектикой, в действии которой ничего удивительного для нас нет. О чем это говорит? Прежде всего,

об исключительном значении того, что называют *предварительным удовольствием* – без него не обходится в генитальном половом акте и у мужчины, но у женщины оно более ярко выражено. Это либидинальный материал, принять который во внимание просто необходимо. Но и этот материал задействуется лишь постольку, поскольку он включен в историю субъекта, в означающую диалектику, предусматривающую возможность вмешательства сюда идентификации с третьим объектом, вероятнее всего, с отцом. Притязания на фаллос, этот результат идентификации с отцом, усложненный отношением женщины к своему объекту, оказывается, таким образом, не чем иным, как означающей проработкой того предварительного удовольствия, из которого все виды удовлетворения, имеющие место в генитальном половом акте, как раз и заимствуются. Что касается самого оргазма, отождествляемого с моментом полового акта, то он составляет для женщины по справедливости заслуживающую внимания проблему, так как данные физиологии свидетельствуют об отсутствии у женщин нервной организации, непосредственно предназначенной для вызова вагинального возбуждения.

Принимая это во внимание, мы склонны сформулировать отношение Идеала Я к переменчивости желания следующим образом. В определенный момент как мальчик, так и девочка вступают в отношения с некоторым объектом, выступающим в дальнейшем как нечто в качестве реального объекта вполне сложившееся. Именно этот объект становится для них, посредством имеющихся у него знаков отличия, Идеалом Я. Почему желание, с которым мы в подобном отношении к объекту имеем дело, было в данном случае названо *лишением*? Да потому, что с реальным объектом оно, как утверждают, никак не соприкасается.

Конечно, если отец, как это имело место в первом моем примере, в развитие девочки вмешивается, в физиологическом плане он должен быть фигурой вполне реальной. В противном случае фаллос так и не вступит в новую фазу своей эволюции, так и не выйдет за рамки того чисто воображаемого функционирования, которое в *Penisneid*, зависти к пенису, ему еще долго бывает свойственно.

Это, конечно, так, но лишение состоит для желания не в том, что оно нацелено на что-то реальное, а в том, что оно нацелено на нечто такое, что можно потребовать. Диалектика лишения может, строго говоря, возникнуть лишь вокруг чего-то такого, что субъект

способен символизировать. И лишь постольку, поскольку отцовский пенис может быть символизирован и затребован, происходит то, что наблюдаем мы на уровне идентификации, нас сегодня и интересующем.

Все это совершенно не похоже на то, что имеет место на уровне запрета наслаждения фаллического. Наслаждение собственно клитором может на определенном этапе эволюции оказаться запрещено. То, что запрещено, отбрасывает субъекта в ситуацию, где он больше не находит ничего подходящего, чтобы это запрещенное обозначить. Вот почему положение это для субъекта мучительно, и он погружается в состояние меланхолии, когда Я оказывается, к примеру, собственным Идеалом отвергнуто. К разговору о природе этого отторжения мы позже еще вернемся, покуда же запомните, что то, что я здесь имею в виду, может быть соотнесено с немецким термином, которому я как раз и нашел у нас в слове "отторжение" (rejet) соответствие – с термином *Verwerfung*. Депрессивное состояние как таковое развивается именно постольку, поскольку субъект как живое и реальное существо Идеалом собственного Я ставится в положение, когда всякое возможное значение для него оказывается исключено.

Что касается образования Идеала собственного Я, то оно представляет собой процесс, полностью противоположный. С тем, что мы именуем лишением, объект сталкивается тогда, когда речь идет о желании негативном, когда он представляет собой объект, который может быть затребован, когда субъекту отказано в его желании именно в плане требования. Связь между желанием, поскольку оно оказалось отвергнуто, и объектом – вот что лежит в основе становления этого объекта в качестве означающего, занимающего совершенно определенное место – означающего, которое подменяет собой субъект, становится его метафорой.

Происходит же это при идентификации с объектом желания – в случаях, когда девочка идентифицирует себя с отцом. Отец этот, которого она пожелала и который ей в желании требования с ее стороны отказал, занимает теперь ее место. Образование Идеала Я носит, таким образом, характер метафорический и оборачивается в результате, как и в метафоре, видоизменением иного желания, которое с желанием, участвующим в образовании объекта, ничего общего не имеет – желания, занимающего совершенно иное место; желания, связывающего маленькую девочку с ее матерью .

Обозначим его, чтобы с большим D не путать, как *d* маленькое. Весь ход предшествующих отношений девочки с матерью сводится здесь к одному-единственному вопросу и испытывает на себе последствия описанной нами метафоры – метафоры, с которой желание оказывается теперь связано. Перед нами вновь формула метафоры, которую я вам некогда дал. Результатом ее становится изменение значения в тех отношениях, которые успели до той поры в истории субъекта установиться.

Возвращаясь к примеру отношений отца и маленькой дочери, мы можем теперь смело сказать, что фактором, видоизменяющим ее историю и задающим характер дальнейшего отношения субъекта к объекту, является утверждение за субъектом совершенно для него новой функции – функции, именуемой Идеалом Я.

19 марта 1958 года

XVII
Формула желания

Критика представлений о раннем эдипе
Желание и клеймо
О книге Тотем и табу
Знак языка
Означающее зачеркнутого Другого

$$d \dashrightarrow \$ \Diamond a \rightleftarrows i(a) \longleftarrow m$$

$$D \dashrightarrow A \Diamond d \rightleftarrows s(A) \longleftarrow I$$

$$\Delta \longrightarrow \$ \Diamond D \rightleftarrows S(Ⱥ) \longleftarrow \Phi$$

Эти три формулы я заранее пишу на доске, чтобы потом, когда мне придется к ним обращаться, чего-нибудь не забыть или не перепутать. Надеюсь, что к концу сегодняшней встречи значение их вам станет ясно

Возвращаясь к тому, на чем в прошлый раз я закончил, я не без удовлетворения должен отметить, что кое-какие из моих рассуждений вызвали некоторый эмоциональный отклик – и в первую очередь те, где я, как показалось слушателям, присоединился к мнению одной женщины-аналитика, которая сочла необходимым высказать предположение, что у целого ряда пациенток анализ не следует непременно доводить до конца по той причине, что само продвижение лечения способно лишить этих субъектов того немногого, что они сами до начала анализа в своих сексуальных отношениях сумели достичь, грозит отнять у них то наслаждение, которого они с таким трудом уже сумели добиться. В итоге меня прямо спросили, готов ли я к такой формулировке присоединиться, и действительно ли может в анализе наступить момент, когда по каким-то внешним причинам, не имеющим с собственными его законами ничего общего, он должен быть остановлен.

На мой взгляд, все зависит от того, что будет у нас целью анализа – не внешней его целью, а тем, чем регулируется он, если можно так выразиться, теоретически. Так, существует взгляд, согласно которому само понятие успешного развития анализа подразумевает

успешное приспособление к реальности. Сами условия существования мужчины и женщины таковы, что полное прояснение этих условий должно, якобы, само собой привести субъекта к своего рода заранее предусмотренной, гармонической адаптации. Но это только гипотеза. На самом деле в опыте нашем нет ничего, что бы эту гипотезу подтверждало.

Вопрос о развитии женщины и приспособлении ее к определенному поливалентному регистру человеческого устроения действительно является для аналитической теории моментом очень уязвимым. Чтобы сразу поставить точки над *i* и воспользоваться терминами, к которым нам предстоит сегодня, на сей раз употребляя их в смысле вполне конкретном, вернуться, не лучше ли будет, говоря о женщине, не путать то, что она – в полном смысле этого слова – желает, с тем, что она требует? Другими словами, не путать больше то, чего она требует, с тем, чего она хочет – в том смысле, в каком употребляем мы это слово, говоря: "*Чего хочет женщина, того хочет Бог*"?

Эти простые напоминания о вещах если не вполне очевидных, то, во всяком случае, подтверждаемых опытом, призваны лишний раз подчеркнуть, насколько непростым является вопрос о том, что, собственно, должно в итоге анализа произойти.

1

То, о чем я вам в прошлый раз говорил, было для нас всего лишь побочной темой. То, к чему я вас хотел подвести и к чему я вас сегодня, наконец, приведу, позволит нам вывести общую формулу, которая послужит в дальнейшем ориентиром в критической оценке нормативных идентификаций как женщины, так и мужчины.

В последнюю нашу встречу я дал вам начальное представление об идентификации, которая приводит к возникновению Идеала Я – идеала, который служит одновременно исходным, поворотным и конечным пунктом того эдипова кризиса, вокруг которого психоаналитический опыт, собственно, и зародился и вокруг которого он, как бы сильны центробежные тенденции ни оказались, не перестает вращаться.

Вот приблизительно к чему моя мысль сводилась. Этим, разумеется, я угодил далеко не всем, хотя в личной беседе с тем или иным из них я приведенными в лекции аргументами не ограничивался. Разве не ясно, к примеру, что по мере идентификации со своим от-

цом женщина переадресует мужу все те претензии, которые выдвигала она когда-то по отношению к отцу? У Фрейда, да и у всех других авторов, этот факт обязательно выступает на первом плане.

Примером, который мы привели, особенно увлекаться не стоит – ту же самую формулу обнаружили мы и во многих других обличьях. Он просто-напросто иллюстрирует тот факт, о котором я только что вам сказал – тот факт, что идентификация происходит путем усвоения означающих, характеризующих отношения одного субъекта с другим, что она покрывает и включает в себя выступление на передний план отношений желания между субъектом и какой-то третьей инстанцией. Итак, перед нами вновь субъект, S, A большое и *a* маленькое. Где находится A большое и где *a* маленькое, это неважно – важно лишь, что их двое.

Начну с максимы Ларошфуко, утверждавшего, что есть в мире вещи, на которые нельзя взглянуть прямо – солнце и смерть. Имеется нечто подобное и в анализе. Причем интересно, что вещи, на которые смотрят обычно все более и более косо и все более издалека, принадлежат к главным, центральным его понятиям. Одним из них является и комплекс кастрации.

Посмотрите, что происходит и что успело произойти с тех пор, как Фрейд впервые на это явление обратил внимание. Комплекс этот оказался существеннейшим, решающим в формировании субъекта моментом и представляет собой явление, надо признаться, странное, до Фрейда никем не замеченное и не описанное. Главный шаг Фрейда состоял в том, что формирование субъекта было поставлено им в зависимость от совершенно определенной, конкретной, архаической, парадоксальной, вызывающей неподдельный ужас и в решающий момент приходящей угрозы – угрозы, безусловно, патогенной, но в то же время нормализующей. Угроза эта не является одиночной, изолированной, а тесно связана с так называемыми эдиповыми отношениями между субъектом, отцом и матерью – отношениями, где отец выступает как носитель угрозы, а мать как объект, на который направлено желание, от самого субъекта глубоко скрытое.

Таким образом, мы с самого начала сталкиваемся с тем, что нам как раз впоследствии и предстоит прояснить – с теми трехсторонними отношениями, в которых имеет место усвоение связей со знаками отличия, на которые указывает – хотя и таинственным, прикровенным образом, ибо знаки эти сами находятся с субъектом в

исключительно своеобразные отношениях – комплекс кастрации. Знаки эти находятся под угрозой, но именно их, тем не менее, предстоит субъекту воспринять себе, сделав это в связи с желанием, которое затрагивает еще одну, третью инстанцию, представляющую собой мать.

В самом начале мы обнаруживаем именно это, но стоит нам это высказать, как мы оказываемся перед загадкой. Ведь сталкиваясь в жизни субъекта с этими по самой сути своей и по определению сложными отношениями, мы, практикующие психоаналитики, призваны их уловить, согласовать, выговорить. Перед нами множество форм, множество отражений, россыпи образов и сеть основополагающих связей, и все последствия их, все многообразие их обликов, все отражения их в переживаниях невротического субъекта нам предстоит постичь. Что же при этом происходит?

А происходит вот что – возникает явление, которое я назвал бы *психологизирующей мотивацией*. Тот факт, что исследование причин и значения страха кастрации предпринимается нами в отношении того или иного конкретного индивида, влечет за собой целый ряд смещений и перестановок. Сейчас я попробую кратко их подытожить.

Страх кастрации связан в первую очередь с отцом как объектом, со страхом перед отцом.

Рассматривая этот страх в его последствиях, мы поневоле обращаем внимание на его связь с определенным желанием или стремлением субъекта – стремлением к телесной целостности. Тем самым заявляет здесь о себе понятие нарциссического страха.

Затем – следуя в направлении так или иначе генетическом, то есть восходящем к истокам, так как происхождение всего, что разовьется в дальнейшем, мы ищем в самом индивиде – мы обнаруживаем, что на первый план выходит подтвержденный обязательным для понимания конкретных воплощений того или иного явления клиническим опытом страх перед женским половым органом. Страх этот носит двусмысленный характер: с одной стороны, орган этот выступает как место, которое для другого органа, органа-виновника, заключает угрозу, с другой – он служит моделью его, этого органа-виновника, исчезновения.

И наконец, при отступлении еще дальше, к последней границе, психоаналитики, чьи имена я здесь не буду перечислять, упомянув лишь, что завершает этот ряд, как вам известно, Мелани Кляйн, при-

шли постепенно к итогу неожиданному и поразительному: источником страха кастрации служит не что иное, как сам фаллос – фаллос, скрытый в глубине материнского полового органа. Первоначально, таким образом, отцовский фаллос воспринимается ребенком как пребывающий внутри материнского тела – именно его страшится ребенок там встретить.

Разве не поразительно зрелище появления в зеркале перед органом, над которым нависла угроза, органа, ему угрожающего – появления в форме, которая по мере восхождения к начальным ее истокам становится все более мифической? И для того, чтобы сделан оказался последний шаг, необходимо, чтобы находящийся внутри материнского органа орган отцовский рассматривался как несущий угрозу – несущий ее уже в силу того, что с самых первых проявлений у себя так называемых начальных, агрессивных, садистских устремлений, именно этот орган сделал субъект своим идеальным оружием. Все возвращается в конечном итоге к своего рода отражению фаллического органа, который рассматривается при этом как носитель сводящегося к агрессии изначального стремления. Комплекс кастрации сводится, таким образом, к обособлению изначально агрессивного частичного влечения, выступающего с этого момента в изолированном, отъединенном виде.

Все усилия наших авторов направляются в результате на то, чтобы вновь включить комплекс кастрации в контекст комплекса – в тот самый контекст, из которого он вышел и которым обусловлена на глубинном уровне центральная роль его в субъективном устроении, лежащем в основе исследования неврозов – роль, которая до поры до времени игнорировалась. Однако вернуть комплексу кастрации подобающее ему место оказывается для них задачей нелегкой, и вырисовывается на поверку лишь совокупность концепций, вращающихся в порочном круге. Именно такую картину наблюдаем мы, скажем, в устроении того, что происходит, в терминологии Мелани Кляйн, на уровне раннего эдипа. Само выражение это содержит противоречие – как если бы мы говорили об эдипе доэдиповом. Выходит, что перед нами эдип, возникший раньше, чем на сцену явились персонажи эдиповой драмы. Истолковательные означающие, которыми пользуется Мелани Кляйн, чтобы дать имя влечениям, с которыми она у ребенка, по ее мнению, встречается, принадлежат ей самой – та диалектика, которую она пытается обнаружить, имплицитно уже содержится в них.

Итак, начнем все сначала и будем держаться самой сути дела.

2

Аналитический опыт и аналитическая теория с самого начала, в том числе и у Фрейда, свидетельствуют о том, насколько существенную роль играет кастрация. Давайте же попробуем рассмотреть, что она представляет собой. Представляет собой еще до того, как становится предметом страха или переживания, до того, как становится достоянием психологии.

Кастрация не является кастрацией реальной. И связана она, как мы уже говорили, с желанием – с эволюцией, развитием, созреванием желания у человеческого субъекта.

Но хотя и называется она кастрацией, четко установить связь ее в комплексе кастрации с определенным органом не так-то просто. Как часто уже отмечалось, кастрация эта не относится ко всей совокупности половых органов – поэтому и принимает она у женщин форму угрозы ее половым органам не как таковым, а в качестве чего-то другого, в качестве фаллоса. Точно так же мы можем с полным основанием спросить себя, следует ли включать в понятие комплекса кастрации у мужчины только пенис как таковой, или же пенис вместе с яичками? Споры на эту тему доказывают, собственно, лишь одно – что речь не идет в данном случае о том или ином органе. Речь идет о том, что имеет определенное отношение к органам – отношение, означающий характер которого с самого начала не вызывает сомнений. Именно означающий характер их стоит здесь на первом месте.

Отметим сразу же минимум, который необходимо усвоить, чтобы определить, что представляет собой комплекс кастрации по своей сути – это связь желания с тем, что я назвал бы здесь *меткой*, *клеймом*.

Чтобы желание успешно миновало определенные фазы и достигло зрелости, необходимо, как учит нас фрейдовский опыт и аналитическая теория, чтобы фаллос, место которого более чем спорно, был отмечен той особенностью, что сохранен он может быть лишь постольку, поскольку прошел через угрозу кастрации.

Это и есть тот существенный и необходимый минимум, перейдя за границу которого мы оказываемся в мире синонимов, сдвигов, равноценностей – и, следовательно, неясностей. Не усвоив эти существенные характеристики, мы потеряем представление, о чем мы,

собственно, говорим. Поэтому не лучше ли прежде рассмотреть связь между этими двумя полюсами – желанием и меткой – как таковую, и только затем отправиться на поиски способов, которыми связь эта может для субъекта получить воплощение? По мере того, как мы будем удаляться от нашей исходной точки, причины этой связи будут казаться все более загадочными и проблематичными, пока не исчезнут из поля зрения вовсе.

На этом характере метки я буду настаивать. Ведь вне области психоанализа, во всех других случаях, где метка служит истолкованию и означиванию (и в первую очередь во всем том, что воплощает ее в ритуале, церемонии или иным общественно значимым способом), она, метка эта, служит знаком того, что лежит в основе отношений, построенных на кастрации, – отношений, возникновение которых у человеческой особи было психоанализом обнаружено. Не забудем о тех религиозных воплощениях метки, где узнается комплекс кастрации – обрезании, например. Не забудем также о ритуалах совершеннолетия, о различных формах записи, метках, татуировках, связанных с определенной жизненной фазой, которая недвусмысленно предстает в них как возведение желания на очередную, высшую ступень. Во всех этих случаях мы обязательно имеем дело с меткой или клеймом.

"*Ага, понятно*, – скажете вы, – *клеймо, о котором вы говорите, дело вполне обычное – даже пастухи в отарах пользуются индивидуальным клеймом, чтобы отличить своих ягнят от чужих*". Что ж, это не так уж глупо, связь тут действительно есть – хотя бы уже в том, что метка предстает как нечто трансцендентное по отношению к составу стада как таковому. Но только ли в этом дело? Конечно, обрезание действительно в каком-то смысле формирует стадо – стадо Божьих избранников. Только это ли мы имеем в виду? Разумеется, нет. Аналитический опыт, да и сам Фрейд, с самого начала дают нам понять, что существует тесная, можно сказать интимная, связь между меткой и желанием. Метка присутствует не в качестве простого знака, который мог бы распознать пастух, чью роль, кстати, в данном случае неизвестно кому приписать. В человеческом мире запечатленное меткой живое существо имеет желание – желание, которое не обходится без некоторой с этой меткой интимной связи.

Мы не собираемся сразу заходить далеко, утверждая, что эта метка что-то в желании изменяет. Не исключено, что в желании уже с

самого начала имеется некое зияние, которое и позволяет этой метке на нем сказаться. Ясно одно – между тем, что характерно для человеческого желания, с одной стороны, и ролью, функцией и влиянием на него метки, с другой, существует тесная связь. Перед нами вновь противостояние означающего и желания – то самое, что служит здесь предметом нашего рассмотрения. Я не хотел бы слишком отклоняться от темы, но здесь мне хочется вставить одно маленькое замечание. Не будем забывать, что вопрос наш касается, в конечном счете, функции означающего в человеческом мире и что тема эта поднимается здесь отнюдь не впервые. Если Фрейд написал *Тотем и табу*, если высказать то, что он там высказал, было для него насущной, требующей своего удовлетворения потребностью, значит речь шла для него о чем-то более важном, чем случай прикладного психоанализа – обратитесь к книге Джонса, и вы убедитесь, насколько большое значение придавал Фрейд этой своей работе. Причем удовлетворение Фрейда состояло не в том, чтобы раздуть до вселенских масштабов маленькое человеческое животное, с которым он ежедневно имел дело в своем кабинете. У него нет речи о собаке небесной по отношению к собаке земной, как у Спинозы. Он рассказывает нам миф абсолютно существенный – настолько существенный, что для него это и не миф вовсе. Так о чем же эта книга, *Тотем и табу*, говорит нам?

А говорит она нам о том, что если мы хотим в конкретных вопросах, поднятых Фрейдом в связи с переживанием эдипова комплекса у больных, что-то понять, то нам необходимо вернуться к теме убийства отца. Следуя своему методу, методу наблюдателя и натуралиста, Фрейд группирует факты и собирает в отношении интересующего его переломного момента человеческой жизни изобилие материалов, где черпает интересующую его информацию. На первый план выходят, разумеется, те моменты, где опыт его соприкасается с данными этнологии. И не беда, если данные эти оказываются несколько устаревшими. Это не имеет теперь никакого значения. Важно другое – важно, что ориентиры свои, что удовлетворяющие его ответы, что сопряжение признаков, им прослеживаемых, находит он там, где фобия сближается с темой тотема. А это, в сущности, и знаменует тот шаг, которым ставится на первый план функция означающего.

Фобия как раз и является симптомом, где на первый план выходит обособленное и выступающее самостоятельно означающее. Я

потратил весь прошлый год, чтобы это вам объяснить, наглядно показывая, что означающее фобии может приобрести для субъекта тридцать шесть тысяч разных значений. Это своего рода ключевой пункт – означающее, которого не хватает, чтобы значения могли, хотя бы на время, вести себя поспокойнее. Без этого субъект оказывается буквально затоплен ими. Но ведь то же самое представляет собой и тотем – означающее на все случаи жизни, ключевое, то самое означающее, благодаря которому все упорядочивается, и в первую очередь получает в этом порядке свое место субъект, ибо именно в этом означающем обнаруживает он то, что он есть, и именно во имя этого тотема организуется для него все то, что находится для него под запретом.

Но что же все это призвано, в конечном счете, от нас утаить, что еще за всем этим кроется? Что кроется за умерщвлением отца – тем, вокруг чего и совершается как раз тот переворот, благодаря которому юноши первобытной орды оказываются во власти того, что станет их первым законом, во власти инцестуального запрета? А кроется за ним не что иное, как тесная связь между смертью и появлением означающего.

Каждый из нас прекрасно знает, что жизнь, не обинуясь, перешагивает на своем пути через трупы. Большие рыбы поедают маленьких – а то и просто убивают, не поедая. Течение жизни обезличивает все то, что ей по ходу дела предстоит упразднить, и трудно бывает сказать, чем именно отдельная смерть запоминается, если запоминание это остается в каком-то смысле неявным, если природа его, как об этом все и свидетельствует, действительно такова, что факт смерти, будь то убийство отца или убийство Моисея, стирается у индивида из памяти. Для нашего ума естественно предавать забвению то самое, что в качестве ключа, оси, стержня для него абсолютно необходимо. Чтобы отдельно взятая смерть все-таки запомнилась, какая-то связь должна быть сделана означающей – только тогда смерть эта получит в реальном, в брожении жизни, какой-то иной, особый способ существования. Ведь смерть – она не существует, есть только мертвые, вот и все. И когда они мертвы, никто из живых на них больше не обращает внимания.

Чем объясняется, другими словами, та страсть, с которой писал Фрейд свою книгу, чем объясняется произведенный ею эффект взорвавшейся бомбы – то неприятие, отторжение, которым она была встречена? "*Что за сказки он нам тут рассказывает?* – воз-

мущалась публика. – *И вообще, откуда он взялся? С какой стати мы должны его слушать? Мы, этнографы, ни о чем подобном никогда не слыхали*". И все же книга эта стала одним из главных событий века – событием, оказавшим глубокое влияние на дух современной критической, этнологической, литературной и антропологической мысли.

В чем же здесь дело? А дело здесь в том, что Фрейд сопрягает воедино две вещи – желание и означающее. Он *сопрягает* их в том же примерно смысле, в котором мы *спрягаем* глагол. И категория сопряжения этого становится у него ядром мысли о человеке, мысли, которая до Фрейда оставалась, как я бы выразился, академической. Академическим же я называю то наследие античной философии, в котором, начиная с платонизма и вплоть до стоических и эпикурейских сект, прослеживается переходящее и далее, в христианство, подспудное стремление предать забвению органическую связь желания с означающим, исключить желание из означающего, свести желание на нет, мотивировать его определенным порядком получения удовольствия, обойти то, что носит в нем характер абсолютно проблематичный, неразрешимый, по сути дела, извращенный, обойти все существенные, живые проявления человеческого желания, главной чертой которого мы должны признать не только невозможность хоть как-то его адаптировать, но и его фундаментальную извращенность и тот факт, что оно обязательно несет на себе клеймо.

Что и есть та связь между желанием и меткой, желанием и знаком отличия, желанием и означающим, роль и место которой мы попытаемся теперь выяснить.

3

Обратимся теперь к трем формулам, написанным мною в начале занятия.

Сегодня я собираюсь просто-напросто ввести их, объяснив заодно, что они значат, ибо на большее времени у нас не хватит. Формулы эти, по-моему, хороши тем, что позволят не только членораздельно сформулировать, хотя бы отчасти, ту проблему, которую я только что перед вами поставил, но и ввести в определенное русло туманные разглагольствования аналитической мысли касательно того, что остается, не забывайте, нашей главной проблемой – я имею в виду проблему желания.

Начнем с уточнения буквальных обозначений. Маленькое *d* – это *desir*, *желание*. Большое S – *sujet*, *субъект*. Маленькое *a* – *autre*, *маленький другой*, другой, нам подобный, чей образ нас пленяет, притягивает, поддерживает. Именно вокруг этого образа выстраиваем мы тот первый ряд идентификаций, который я определил как идентификацию нарциссическую. На схеме ей соответствует маленькое *m* – *moi*, *собственное Я*.

Вторая строка касается того, о чем у меня шла речь в начале этого года, когда я пытался показать вам подспудную связь остроты – нет, не с означающим как таковым, но с речью, а именно – с требованием. Большая буква D на схеме и означает у меня *demande*, *требование*. Следующее за ним большое A – это *Autre*, *большой Другой*, место, местопребывание и свидетель, к которому субъект, вступая в отношения с тем или иным *a* маленьким, обращается как к месту речи. Здесь нет нужды напоминать о той настойчивости, с которой я давно уже, не раз к этому возвращаясь, говорю о необходимости этого Большого Другого как места членораздельной речи как таковой. В этой же строке мы видим маленькое *d*, а также, впервые, маленькое *s*, которое здесь, как обычно, означает у меня *signifié*, *означаемое*. Маленькое *s* большого A, *s*(A), обозначает то, что в Другом означено, означено с помощью означающего, то есть то, что в Другом, для Я-субъекта, приобретает достоинство означаемого – то, одним словом, что мы только что назвали знаками отличия. Именно в отношении этих знаков отличия и возникает идентификация, плодом и результатом которой является образование в субъекте большого I – *Идеала Я*. Уже само построение этих формул указывает на то, что пока констатация большого A в расчет не вошла, доступ к идентификации Идеала Я остается закрыт.

Третья строка, как и предыдущие, призвана сформулировать в виде цепочки знаков определенную проблему. И это та самая проблема, над выражением которой я бьюсь сегодня.

Дельта, Δ, – это именно то, о чем мы сегодня задаемся вопросом, та пружина, которая как раз и ставит субъекта в определенную связь с означающим – *субъект в его сущности*, в его целокупности, субъект как то совершенно открытое, проблематичное, загадочное, на что и указывает в нем этот символ.

Далее, как видите, субъект возвращается снова – на этот раз в связи с тем фактом, что желание его проходит через требование, что он его проговаривает, и что это приводит к определенным послед-

ствиям. За субъектом следует большое S – буква, здесь, как всегда, обозначающая у меня означающее. Формула демонстрирует, что большое S перечеркнутого A, S(Ⱥ), как раз и есть то самое, что осуществляет Ф, фаллос. Иными словами, фаллос – это то означающее, которое вводит в Ⱥ нечто новое, но вводит исключительно в Ⱥ и на уровне Ⱥ. Так что формула эта проливает на действие означающего определенный свет, уточняя то место, где последствия его сказываются на Другом.

Вернемся теперь к тому, о чем у нас идет речь.

Связь человека с желанием желанием как таковым не исчерпывается. Она отнюдь не представляет собой связь с объектом. Если бы связь с объектом была наперед устанавливаемой, никакой проблемы для анализа не было бы. Люди устремлялись бы к своим объектам точно так же, как делает это, по общему убеждению, большинство животных. Не существовало бы, так сказать, вторичной связи – определенного отношения человека к тому факту, что он является животным желающим; отношения, которым как раз и обусловлено то, что происходит у него на уровне, называемом нами *извращением* и где он самим желанием своим наслаждается. Вся эволюция желания берет свое начало в тех пережитых человеком фактах, которые мы называем мазохистскими отношениями. В порядке генетическом они выявляются первыми, но выявляются путем определенной регрессии. Отношения наиболее характерные и знаменующие момент наиболее переломный – это отношения садистские и скоптофилические.

Совершенно ясно, что лишь путем редукции, путем тщательной обработки, путем задним числом проделанного искусственного разложения того, что дано нам в опыте, можем мы обособить эти отношения в виде влечений, друг друга заменяющих и друг другу эквивалентных. Что касается скоптофилических отношений, сопрягающих между собой эксгибиционизм, с одной стороны, и вуайеризм, с другой, то они всегда имеют характер двусмысленный. Субъект видит, что его видят, и самого субъекта видят как видимого, но не просто видят, а видят в ореоле его наслаждения, в лучах того фосфоресцирующего сияния, которое исходит от него благодаря тому, что субъект этот оказывается в положении, ведущем свое происхождение от некоего незапамятного зияния, оставшегося от изначальной причастности его к объекту – положении, в котором он неизбежно воспринимает себя как нечто страдательное. Не слу-

чайно глубокое аналитическое исследование желания обнаруживает в итоге именно мазохизм – субъект воспринимает себя страдающим, воспринимает свое существование в качестве живого существа как страдание. Другими словами, он воспринимает себя как субъекта желания.

В чем же проблема? Все дело в том, что человеческое желание ни к чему не сводимо и ни с чем не сообразуется. Никакой аналитический опыт с этим уже ничего не сделает. Субъект не просто удовлетворяет желание, он желанием наслаждается, причем в наслаждении его это измерение очень существенное. И было бы серьезной ошибкой упускать из виду этот основополагающий факт, который, должен признать, исследования так называемых экзистенциалистов, представивших его в определенном освещении, значительно прояснили. Чтобы то, что я здесь как могу пытаюсь сказать, получило для вас смысл, вам следует обратиться к собственному повседневному опыту, но очень подробно и во многих отношениях просто мастерски развивает эту тему на страницах книги *Бытие и ничто* Жан-Поль Сартр. С философской точки зрения мысль его, правда, не отличается безупречной строгостью, но литературный талант его выше всяких сомнений. Замечательно, что подобные вещи могли быть высказаны с подобным блеском лишь после того, как анализ дал, наконец, измерению желания право гражданства.

Джонс, чья полезная роль и функция в анализе прямо пропорциональны степени им непонятого, очень быстро попытался сформулировать комплекс кастрации, найдя ему подходящий эквивалент. Надо прямо сказать, что в течение всей его деятельности в качестве психоаналитика и литератора фаллическое означающее оставалось для него предметом самой настоящей и неподдельной фобии. Лучшее из всего им написанного, в том числе и статья о фаллической фазе, эта вершина его творчества, как раз и посвящено, собственно, вопросу о том, с какой стати этому чертову, вечно стоящему у нас поперек дороги фаллосу, этой штуке, к тому же столь ненадежной, приписывать какое-то привилегированное значение, в то время как вокруг найдутся вещи ничуть не менее интересные – влагалище, например. И он, этот человек, действительно прав. Совершенно ясно, что предмет этот не менее интересен, чем фаллос – что-что, а это мы знаем. Удивляет Джонса лишь то, что у предметов этих совершенно разные функции. Впрочем, он был обречен на непонимание, обречен с того самого момента, когда, делая свой пер-

вый ход и пытаясь выяснить, что же именно означал у Фрейда комплекс кастрации, он чувствует потребность найти этому комплексу эквивалент, вместо того, чтобы, напротив, твердо держаться самого упрямого и неустранимого, что в этом комплексе налицо – фаллоса как означающего.

В какой-то степени Джонс в вопросе, разумеется, ориентируется. Сделал он, похоже, только одну ошибку, решив, что Господь “мужчиной и женщиной сотворил их”. Именно этой фразой завершает он свою статью о *Фаллической фазе*, продемонстрировав тем самым, что убеждения его имеют вполне библейские корни. Уж коли сотворил их Бог мужчиной и женщиной, все должно идти как по маслу – заранее известно, к чему, и почему именно, это должно привести.

Но мы-то, аналитики, знаем, что когда требуется узнать *почему*, обязательно возникают сложности. Не случайно Джонс с самого начала заменил термин *комплекс кастрации* другим термином, *афанисис* – термином, который он отыскал в греческом словаре и который, надо сказать, большой популярности в дальнейшем у авторов не снискал. Означает он *исчезновение*. Исчезновение чего? Исчезновение желания. Это как раз то, чего, как утверждает Джонс, субъект в комплексе кастрации и боится. Двигаясь легкой походкой шекспировского героя, ученый не заметил даже, насколько необычен тот факт, что живое существо робеет перед опасностью исчезновения, лишения, утраты не объекта, нет, а самого желания, желания как такового. Нельзя сделать *афанисис* эквивалентом комплекса кастрации не определив его так, как сделал это Джонс – как исчезновение желания. И разве так уж это абсолютно необоснованно? То, что мы имеем здесь дело с чем-то возведенным во вторую или третью степень, по сравнению с отношениями, артикулированными в терминах потребности, не вызывает сомнения, но именно об этом, похоже, Джонс менее всего догадывается.

Но даже если мы допустим, что все сложности, которые подразумевает сама постановка этой проблемы в подобных терминах, благополучно разрешены, нам все равно предстоит понять, как именно выстраиваются отношения субъекта с другим, ибо именно в Другом, во взгляде Другого постигает субъект собственную свою позицию. И если я выделяю здесь позицию скоптофилическую, то это не случайно – именно она является внутренним стержнем не только позиции субъекта как такового, но и поведения Дру-

гого, ибо не существует такой садистской позиции, которая, будучи именно садистской по всем своим признакам, не сопровождалась бы определенной идентификацией мазохистского характера. Таким образом, отношение человеческого субъекта к собственному своему бытию характеризуется своего рода отрешенностью от него, что ставит субъекта перед Другим в положение, где, постигая что-либо и чем-либо наслаждаясь, он имеет дело не с объектом, но с желанием. И то, что нам теперь предстоит здесь понять, – это роль, которую играет во всем этом фаллос как таковой. В этом-то вся проблема и состоит.

Для решения ее поостережемся прежде всего от попыток породить интересующий нас термин самостоятельно, от попыток придать ему воображаемое содержание путем генетического воссоздания, опирающегося на то, что я назвал бы основополагающими началами современного обскурантизма. Я имею в виду формулы, идиотизм которых далеко превосходит все то, что вы можете найти в популярных катехизисах – истина типа "онтогенез воспроизводит филогенез" является тому ярким примером. Когда наши праправнуки узнают, сколько всего разного объяснялось у нас этими магическими формулами, они немало подивятся человеческим странностям – не обращая, как водится, внимания на то, что займет место этих формул у них самих.

Итак, нас интересует роль фаллоса. Будем сегодня исходить из того, что записано у меня в третьей строке – что фаллос играет роль означающего. Что я этим хочу сказать?

Чтобы объяснить это, обратимся сначала ко второй строке, говорящей нам, что между человеком и маленьким другим имеется некоторая связь, выстроенная как то, что мы только что назвали человеческим желанием. Поскольку желание это изначально извращено, все требования субъекта оказываются включены в определенные отношения, представленные тем новым маленьким ромбовидным символом, без которого, как видите, ни одна формула у меня не обходится. Символ этот выражает у меня ту мысль – в этом единственное его значение и состоит – что все, о чем в этих формулах идет речь, подчинено той квадратичной зависимости, которая с самого начала лежит в основе нашего подхода к артикуляции этой проблемы – зависимости, суть которой состоит в том, что нет и не может быть, даже и представить себе нельзя, такого $\$$, который не опирался бы на отношения внутри структуры из трех других эле-

ментов: А *a' a*. Это все, что означает у меня ромбовидный символ. Чтобы требование существовало, получило свой шанс, состоялось, необходима определенная связь между *s*(A) и желанием с присущей ему структурой, A◊*d*, что отсылает нас назад, к первой строке.

Как видите, строки эти образуют определенную композицию. Первая говорит о том, что нарциссическая идентификация, то есть то, из чего складывается Я субъекта, находится в определенном соотношении – характер этого соотношения, многообразие его нюансов, его зависимость от таких факторов, как престиж, солидность, господство, нам с течением времени стал хорошо знакомым – в определенном отношении, повторяю, с образом другого. Соответствием, коррелятом этого соотношения служит то, что находится по другую сторону того места в моих таблицах, где направление векторов меняется – той знаменующей равенство двойной линии, что фигурирует у них в центре. Сама возможность существования поставлена, таким образом, в соответствие с характером субъекта как того, кто желает, желает в принципе, с различными аватарами, превратностями этого желания – что и выражено у меня в первой части первой строки.

И точно так же, любая идентификация со знаками отличия Другого, то есть с третьим, как таковым, зависит от чего? От требования, во-первых, и того, что связывает Другого с желанием, во-вторых.

Положения эти, сами по себе вполне очевидные, позволяют сполна оценить значение термина, которым Фрейд обозначает то, что мы совершенно неподобающим образом – позднее я объясню, почему – именуем *фрустрацией, обманутым ожиданием*. Фрейд называет это *Versagung*. Мы по опыту знаем, что лишь по мере того, как субъекту в чем-то отказано, *versagen*, у него возникает феномен вторичной идентификации, идентификации со знаками отличия Другого.

Что же из этого следует? А из этого следует, что для того, чтобы между большим Другим как местом речи, с одной стороны, и феноменом желания, лежащим в совсем иной плоскости, ибо соотнесенным с маленьким другим в качестве образа, с другой, могла для субъекта установиться хоть какая-то связь, необходимо, чтобы нашлось что-то такое, что ввело бы в большого Другого то же самое соотношение, соотношение необходимое, требуемое и феноменологически осязаемое, с маленьким другим – только так может человеческое желание получить свое объяснение в качестве желания

извращенного. В этом и состоит необходимость артикулировать проблему именно так, как мы предлагаем это сегодня сделать.

Все это может вам показаться довольно туманным. Я скажу одно – если мы никаких допущений делать не станем, тогда действительно все будет не только казаться туманнее и туманнее, но и запутается окончательно. И не исключено, наоборот, что определенные допущения сделав, мы сможем выявить какой-то порядок.

Мы допускаем, что **Ф**, фаллос, представляет собой то означающее, посредством которого в А как местопребывании речи вводится соотношение с *а*, маленьким другим, – вводится постольку, поскольку означающее какую-то роль в нем играет.

Вот так. Это похоже на змею, кусающую себя за хвост, но так, наверное, и должно быть. То, что означающее в этом месте какую-то роль играет, совершенно очевидно, ибо встречаем мы его на каждом шагу. Мы встречаем его с самого начала, потому что если бы соотношение с означающим не существовало с самого начала, включение человека в культуру – или, если на то пошло, в общество, если мы будем культуру и общество различать, хотя на самом деле это одно и то же – было бы неосуществимо.

Мы уже дали определение означающему отцовскому – мы сказали, что это то означающее, благодаря которому та игра означающих, которая в большом А имеет место, становится возможна и допустима. Но наряду с ним существует, как мы видим, еще одно привилегированное означающее – означающее, вследствие которого в Другом появляется нечто такое, что изменяет его природу – не случайно символ Другого у меня в третьей строке перечеркнут. Другой теперь – не просто место речи как таковой, ибо он, как и субъект, вовлечен теперь в диалектику, имеющую место в чисто феноменологической плоскости, в плоскости отражения по отношению к маленьком другому. Другой дополняется теперь новым соотношением, существующим в нем постольку, поскольку вписывается в него означающим.

Сколь бы трудным вам сказанное ни показалось, прошу его хорошенько запомнить. На этом я покуда вас оставляю. В дальнейшем я покажу вам, что именно все это позволит нам проиллюстрировать и артикулировать.

26 марта 1958 года

24 Зак. 2370

XVIII
Маски симптома

Его интерпретации и наши собственные
Случай Елизаветы фон Р.
Отделение любви от желания
Артикулированное желание артикуляции не поддается
Смех и идентифкация

Сегодня мне хотелось бы сообщить вам некое первоначальное видение того, что предмет нашего опыта, то есть бессознательное, собой представляет.

Замысел мой состоит, в конечном итоге, в том, чтобы показать вам, какие пути и возможности открывает обнаружение бессознательного, напоминая одновременно и о пределах, которые оно перед нами ставит. Другими словами, мне предстоит показать вам, в какой перспективе, в конце какого пути видится мне возможность нормативизации – терапевтической нормативизации – которая наталкивается, как весь психоаналитический опыт о том свидетельствует, на внутренние отношения, присущие – таков уж наш человеческий удел – любой нормативизации вообще.

Психоанализ дает возможность углубить наше представление о природе этих пределов.

1

Нельзя не поразиться тому факту, что Фрейд, в одной из последних своих статей – в той, чье заглавие столь неудачно перевели как *Анализ завершимый и незавершимый*, в то время как на самом деле речь в ней идет о конечном и бесконечном, то есть о том, имеет ли анализ конец, или же конец этот следует мыслить в своего рода бесконечной перспективе – что Фрейд, одним словом, самым недвусмысленным образом и опираясь, как он сам утверждает, на конкретный аналитический опыт, проецирует цель анализа в бесконечность, подчеркивая непреодолимость для мужчины – комплекса кастрации, а для женщины – зависти к пенису, *Penisneid*'a, то есть определенного изначально заложенного в ней отношения к фаллосу.

На что фрейдовское открытие ставило поначалу главный акцент? На желание. Главное, что в симптомах, каковы бы эти симптомы ни были, идет ли речь о симптомах действительно патологических, или об истолковании того, что прежде рассматривалось как нечто лежащее границах нормы, как то, например, сновидения, Фрейд всегда усматривает и обнаруживает – это желание.

Больше того, рассуждая о сновидении, он говорит нам не просто о желании, а об исполнении желания, *Wunscherfüllung*. И это также не может не удивить нас – я имею в виду тот факт, что он говорит об удовлетворении желания именно в сновидении. С другой стороны, он указывает, что хотя в самом симптоме имеется нечто такое, что удовлетворение желания очень напоминает, удовлетворение это носит, по ряду признаков, характер весьма сомнительный – по сути дела, это удовлетворение наизнанку.

Оказывается, таким образом, что желание связано с чем-то таким, что является его обликом или, скажем прямо, его маской. Тесная связь желания – в том виде, в каком предстоит оно перед нами в аналитическом опыте, – с тем сомнительным облачением, в котором оно выступает, представляется нам важной проблемой, над которой стоит задуматься.

На наших последних занятиях я уже обращал неоднократно ваше внимание на то, в сколь парадоксальных формах желание, насколько оно вообще доступно сознанию, проявляется в аналитическом опыте – на то, другими словами, до какой степени выходит в этом опыте на первый план та внутренне присущая желанию извращенность, которая состоит в стремлении быть желанием во второй степени, испытывать наслаждение от самого желания как такового.

Вообще говоря, открыл функцию желания совсем не анализ, но именно он позволил нам осознать всю глубину того факта, что человеческое желание не вовлечено в прямые и непосредственные отношения с объектом, который удовлетворяет его, а связано как с той позицией, которую занимает субъект в присутствии этого объекта, так и с той, которую он занимает совершенно безотносительно к нему, так что отношением к объекту в чистом виде все далеко не исчерпывается.

С другой стороны, анализ лишний раз напоминает то, что давно известно, – о том, что желание по природе своей причудливо, непостоянно, неуловимо. От синтеза, к которому стремится Я, оно как

раз вечно и ускользает, не оставляя этому Я ничего другого, как превратиться в иллюзорное утверждение искомого синтеза. Желаю всегда Я сам, но лишь через многообразие желаний может это во мне, в моем собственном Я, быть постигнуто.

Совершенно ясно, с другой стороны, что сквозь это феноменологическое многообразие, сквозь все противоречия, аномалии и апории желания просвечивают связи более глубинные – связи субъекта с жизнью, или, как говорят, с инстинктами. Двигаясь в этом русле, анализ позволил нам добиться успехов в изменении ситуации субъекта по отношению к той позиции, которую занимает он в качестве живого существа. Но самое главное – анализ заставил нас на опыте разобраться в тех уловках, с помощью которых осуществляет свои цели и свое предназначение жизнь, а может быть еще и что-то другое, лежащее по ту ее сторону. Ведь по ту сторону принципа удовольствия Фрейд усматривал своего рода телеологию – телеологию целей, которые изначально жизнь себе ставит, или, если угодно, телеологию конечных целей, к которым всякая жизнь стремится – телеологию возврата к равновесию смерти. Все это анализ позволил нам если не определить, то, по крайней мере, разглядеть, дав возможность проследить те пути, которыми идут к своему осуществлению наши желания.

О тайных нитях, связывающих человеческое желание с желанием Другого люди догадывались всегда. Достаточно обратиться к первой главе гегелевской *Феноменологии духа*, чтобы обнаружить пути, следуя которыми достаточно глубокие размышления могли бы позволить нам на исследование этих связей пуститься. Но это ничуть не умаляет оригинальность нового, открытого Фрейдом явления – явления, позволяющего нам пролить на природу желания столь яркий и неожиданный свет.

Путь, которым следует Гегель, приступая к исследованию желания, далеко не является, как это представляется при взгляде со стороны, путем исключительно дедуктивным. Все дело в том, что желание он рассматривает через призму связей, существующих между своим собственным самосознанием и формированием самосознания у другого. Вопрос в этом случае заключается в том, каким образом при таком посредничестве берет начало диалектика жизни как таковой. У Гегеля это волей-неволей оборачивается своего рода прыжком – прыжком, который он в данном случае называет *синтезом*. Опыт Фрейда предлагает нам совершенно иной путь,

хотя – как это ни странно и, пожалуй, ни поразительно – желание и тут оказывается глубочайшим образом связанным с отношением к другому как таковому, пусть и предстает при этом как желание бессознательное. Самое время теперь посмотреть, какое место занимал этот подход к бессознательному желанию у самого Фрейда, на уровне его собственного человеческого опыта. Представим себе то время, когда Фрейд впервые столкнулся с этим опытом во всей его поразительной новизне и вынужден был прибегнуть не к интуиции даже, а, я бы сказал, к гаданию, к дивинации – ведь речь шла о видении того, что скрыто под маской.

Лишь теперь, когда психоанализ уже сложился и выработал себе мощный и достаточно гибкий способ мышления, мы можем представить себе – хотя на самом деле и по сей день представляем довольно плохо – значение того, что внес в нашу жизнь Фрейд, начав читать в наших симптомах и своих сновидениях и подойдя тем самым к понятию *бессознательного желания*. Игнорирование этого последнего как раз и позволяет нам оценить его истолкования достойным образом. Недаром столь неизменно удивляемся мы тому, что кажется нам в этих толкованиях вмешательством чрезмерно смелым по сравнению с тем, что позволяем себе мы сами, или, вернее, с тем, что мы можем или же больше не можем себе позволить.

Я бы добавил даже, что истолкования эти до известной степени поражают нас своим не относящимся к делу побочным характером. Я уже тысячу раз демонстрировал вам – на примере, скажем, случая Доры или аналитического вмешательства Фрейда в ходе анализа молодой гомосексуалистки, о которой мы столько тут говорили – насколько сильно сказывается на истолкованиях Фрейда, по собственному его признанию, ограниченность познаний его в психологии – в психологии как гомосексуалистов вообще, так и больных истерией. Этот недостаток знаний с его стороны приводил к тому, что в целом ряде случаев истолкования его носят характер директивный, насильственный и несколько преждевременный – что нашему понятию *побочного истолкования* как нельзя лучше соответствует.

Ясно, однако, что истолкования эти представлялись ему обязательными, то есть именно теми, которые нужны были в этот момент для снятия симптома. Что по этому поводу можно сказать?

Можно сказать, что это ставит нас перед серьезной проблемой. Чтобы хорошенько в ней разобраться, нужно отдавать себе ясный отчет в том, что когда Фрейд подобного рода истолкования предла-

гал, ситуация, в которой он находился, была во многом отлична от нынешней. Ведь все, что исходит из уст аналитика в качестве приговора-истолкования, то есть то, что говорится, предлагается, подается им в качестве истинного, заимствует, если это действительно истолкование в собственном смысле этого слова, свое значение от того, что при этом не говорится. Все дело, таким образом, в том, чтобы понять фон – тот фон невысказанного, на котором истолкование прозвучало.

Предлагая Доре свои толкования, Фрейд говорил ей, к примеру, что она влюблена в г-на К., и не обинуясь давал ей знать что начать новую жизнь ей следовало бы именно с ним. Для нас это звучит удивительно – мы-то знаем, что по целому ряду серьезных причин об этом не может быть и речи, тем более, что сама Дора в конечном счете не желает об этом ничего знать. Однако истолкование такого порядка в тот момент, когда оно было Фрейдом предложено, прозвучало для пациентки на фоне, где представление, будто роль ее собеседника-аналитика состоит в том, чтобы *выправить ее восприятие мира*, или *способствовать созреванию ее объектного отношения,* начисто отсутствовало. Для того, чтобы субъект ожидал услышать из уст аналитик нечто подобное, нужна совершенно иная, новая культурная среда – среда, которая к тому времени еще не успела сформироваться. На самом деле Дора покуда просто не знает, чего ей ждать, ее словно ведут за руку. "*Говорите*", – велит ей Фрейд, и на горизонте опыта, в котором она этому указанию следует, никаких других ориентиров не обнаруживается – разве что косвенно, ибо сам факт, что ей велят говорить, свидетельствует о том, что нечто, имеющее отношение к истине, здесь обязательно так или иначе задействовано.

В наше время дело обстоит совершенно иначе. Теперь субъект начинает анализ, убежденный в том, будто созревание личности, инстинктов, объектного отношения представляет собой некую организованную и подчиненную определенным нормам реальность – реальность, меру которой задает аналитик. Аналитик представляется ему хранителем секретов и тайных путей того, что заранее мыслится субъектом как некая сеть отношений: если не целиком, то по крайней мере в общих чертах ему, субъекту, уже известных – по крайней мере в понятиях, которые у него теоретически об этих вещах сложились. Он убежден, что в развитии его возможны были остановки и что ему предстоит достичь тех или иных ре-

зультатов. Короче говоря, налицо готовый фон представлений о нормализации личности, ее инстинктов и всего прочего – можете добавлять по вкусу. Все это предполагает, что аналитик, допуская вмешательство, вмешивается с позиций того, кто произносит суждение, дает санкцию – впрочем, есть еще одно слово, более точное, но мы его прибережем на будущее. Все это сообщает его истолкованию новое, иное значение.

Чтобы лучше понять то, что я имею в виду, говоря об открытии Фрейдом бессознательного желания, необходимо вернуться к той эпохе невинности, когда истолкование, предлагаемое аналитиком, не подразумевало ничего, кроме обнаружения в непосредственном, в том, что парадоксальным образом предстает как наглухо замкнутое, некоего x, лежащего по ту его сторону.

Здесь никто не упускает случая отвести душу болтовней о *смысле*. Лично я думаю, что термин этот лишь ослабляет то, о чем на самом деле с самого начала шла речь, в то время как термин *желание*, связывая и собирая воедино то подлинное, что в субъекте имеется, сообщает тому, с чем имеем мы дело в этом первом столкновении с аналитическим опытом, настоящее и полное его значение. Именно к этому следует нам вернуться, если мы действительно хотим осмыслить нынешнюю нашу ситуацию в свете того, что не только наш опыт, но сама возможность его в действительности означают – того, я имею в виду, что только и делает этот опыт возможным.

С другой стороны, это то самое, что позволит нам не угодить в самим себе расставленную ловушку, поддавшись легкому и опасному искушению направить пациента, приобщаемого нами анализу, на путь, основанный целым рядом недоказанных посылок, и, в первую очередь, представлением, согласно которому состояние его должно разрешиться окончательно во что-то такое, что даст ему, в конечном счете, возможность стать – будем внимательны: стать идентичным с неким объектом.

Итак, вернемся снова к проблемам, которые ставит перед нами желание в том виде, в котором оно предстает перед нами в аналитическом опыте – то есть в симптоме, каким бы симптом этот ни был.

2

Слово *симптом* я употребляю здесь в самом общем смысле, разумея под ним как болезненные симптомы и сновидения, так и все,

что поддается анализу вообще.

Симптом является под маской, является в парадоксальной форме.

Страдания одной из первых больных истерией, которых анализирует Фрейд, Елизаветы фон Р, представляются на первый взгляд чем-то совершенно непроницаемым. Понемногу, однако, Фрейд, благодаря своему терпению, одушевленному, похоже, в данном случае чем-то, вроде инстинкта собаки-ищейки, удается соотнести это страдание с тем долгим временем, которое провела пациентка, ухаживая за больным отцом, а также с вмешательством в этот самый период чего-то еще, что угадывалось Фрейду поначалу словно в тумане и оказалось впоследствии тем желанием, которое могло связывать тогда девушку с одним из друзей ее детства, на замужество с которым она возлагала надежды. В дальнейшем вырисовывается, в форме тоже несколько прикровенной, кое-что еще – отношения девушки с супругами двух ее сестер. Анализ дает понять, что оба они, хотя и в разных отношениях, занимали в ее жизни важные места – одного она за грубость, отсутствие достоинства и чисто мужскую бестактность откровенно презирала, другой, напротив, казался ей бесконечно соблазнительным. Создается впечатление, что симптом был спровоцирован у девушки под влиянием некоторых ее встреч и своего рода косвенных размышлений ее по поводу отношений – вполне счастливых, кстати – шурина с одной из ее младших сестер. Я напоминаю об этом просто в качестве примера, чтобы мысль свою как-то конкретизировать.

Ясно, что происходило это в то время, когда психоаналитический опыт делал первые свои шаги. Сказать прямо и в открытую пациентке, как Фрейд это действительно не преминул сделать, что она влюблена в шурина и что симптом ее, то есть боль в ноге, именно вокруг этого подавленного желания и кристаллизируется – мы, с высоты набранного нами опыта, не только чувствуем, но и знаем теперь, что это истолкование преждевременное, – это все равно, что объявить Доре, будто она влюблена в г-на К.

Подходя к подобным наблюдениям с нашей нынешней точки зрения, мы осязаемо чувствуем ту более широкую перспективу, в которой предлагаю я их рассматривать. И нет для этого нужды переворачивать эти наблюдения с ног на голову, ибо несмотря на разницу в формулировках, в диагностике, в видении проблемы, все элементы нового взгляда уже присутствуют у Фрейда самым отчетливым образом. И сам строй его наблюдений, как бы помимо тех

слов, в которые облекает он свою мысль, демонстрирует этот взгляд бесконечно более убедительно по сравнению с тем, *что* он, собственно, говорит.

Что же в опыте анализа Елизаветы фон Р. кажется Фрейду особенно важным? Прежде всего, то подтверждаемое его собственным опытом обстоятельство, что в очень многих случаях истерические симптомы связаны с трудным делом преданного служения больному, с принятием на себя роли не просто даже сестры милосердия, а чего-то большего – вспомним, во что выливается, как правило, эта роль, когда субъект берет ее на себя в отношении кого-то из своих близких. Ухаживающий оказывается соединен с тем, за кем он ухаживает, узами глубокой, порою страстной привязанности. Тем самым субъект оказывается в положении, где ему более, чем когда-либо, приходится удовлетворять тому, что здесь с максимальной отчетливостью выступает как требование. Именно подчинение субъекта требованию, его безусловное самоуничижение перед ним как раз и выдвигается Фрейдом как одно из главных условий, при которых возможно в определенной ситуации возникновение истерии.

Это тем более важно, что у этой больной, в отличие от других, которых Фрейд в качестве примеров упоминает, как личные, так и семейные черты, говорящие о склонности к заболеванию, настолько незаметны и нехарактерны, что именно ситуация как фактор возникновения истерии приобретает особенный вес. Это же, кстати, недвусмысленно дает понять и сам Фрейд.

Следуя средней из трех моих формул я обособляю здесь, таким образом, функцию требования. На этом фоне я, соответственно, могу утверждать, что речь идет, по сути дела, о заинтересованом участии, которое проявляет субъект в ситуации желания.

Фрейд совершает здесь, если можно так выразиться, лишь одну ошибку – захваченный невольно внутренней необходимостью языка, он ориентирует субъекта несколько преждевременно, вовлекает его в эту ситуацию желания слишком определенным образом.

Существует ситуация желания, и субъект проявляет в этой ситуации заинтересованность. Теперь, однако, когда мы знаем, что представляет собой больная истерией, мы не можем добавить: "*с какой бы стороны она ни подошла к ней*". Ведь это заранее предполагало бы, что она обязательно подходит к ней с какой-то одной стороны – что ее интересует, скажем, шурин – с точки зрения ее сестры, или,

наоборот, сестра – с точки зрения шурина. На самом деле, самоидентификация больной истерией может отлично осуществляться в нескольких, друг с другом соотносящихся направлениях. В данном случае она двойственна. Важно, что субъект заинтересован, что он в ситуацию желания вовлечен – именно это, по сути дела, и воплощает собою симптом, что и заставляет нас вновь вернуться теперь к понятию *маски*.

Понятие *маски* предполагает, что желание предстает в двусмысленной форме, что как раз и не позволяет нам сориентировать субъекта по отношению к тому или иному из участвующих в ситуации объектов. Заинтересованность субъекта – это заинтересованность в ситуации как таковой, то есть в наличии отношений, построенных на желании Это как раз и выражает собой появляющийся у субъекта симптом – именно это называю я присущим симптому *элементом маски*.

Как раз в связи с этим и может Фрейд утверждать, что во время психоаналитического сеанса симптом *говорит, держит речь*. То безличное "говорится", о котором я столько времени вам толкую, налицо уже в первых формулировках Фрейда, выражено в его текстах. Позже он скажет, что даже раздававшееся у его пациентов во время сеансов урчание в животе означало речь. Здесь он утверждает лишь, что боли, которые вновь и вновь появляются, усиливаются и делаются невыносимыми во время психоаналитического сеанса, являются частью речи субъекта; что тон этой речи и модуляции голоса пациентки позволяют ему судить о важности, насущности, новизне того, что она готова ему сообщить или пытается от него скрыть. След, направленность следа к центру, успех в продвижении анализа оцениваются Фрейдом по интенсивности модуляции, которая служит у субъекта во время сеанса признаком большей или меньшей интенсификации его симптома.

Я воспользовался этим примером – как мог бы воспользоваться и другими, например, из области сновидений, – чтобы поместить проблему симптома и бессознательного желания в центр внимания. Вопрос состоит в том, чтобы найти связь между желанием, которое остается неким *x*, вопросительным знаком, загадкой, с одной стороны, и симптомом, в который это желание облекается, то есть его маской, с другой.

Считается, что симптом в качестве бессознательного является в конечном счете, до известной степени чем-то таким, что держит

речь, и о чем можно вместе с Фрейдом – в том числе ранним Фрейдом – сказать, что он эту речь артикулирует, делает членораздельной. Симптом стремится, таким образом, в направлении признания желания. Но если роль симптома в том, чтобы заставить признать желание, то как обстояло с ним дело раньше, когда ни Фрейда, ни встающей за ним армии его учеников-психоаналитиков не было и в помине? Стремясь выйти на свет божий, ища себе путь, признание это проявляет себя, в конечном счете, лишь созданием того, что мы назвали *маской*, то есть чем-то наглухо закрытым. Признание желания – это признание без признающего, признание, никого в виду не имеющее, ибо никто не может прочесть его, пока не найдется человек, способный подобрать к нему ключ. Признание это предстает в форме, наглухо для другого закрытой. Итак, признание желания, но признание кем? Никем?

С другой стороны, будучи желанием признания, это уже не только желание, это еще и нечто иное. Недаром нам говорят, что это желание вытесненное. Именно поэтому аналитическое вмешательство не ограничивается простым чтением – оно кое-что добавляет к нему. Желание, с которым мы имеем здесь дело – это желание, которое субъект исключает: исключает как раз постольку, поскольку хочет его признания. Будучи желанием признания, это, пожалуй, и вправду желание, но желание чего? Да ничего. Это желание, которого нет налицо, желание исключенное, отвергнутое.

Бессознательному желанию присуща двойственность, которая, идентифицируя это желание с собственной маской, превращает его в нечто такое, что от всего направленного на объект в корне отлично. Забывать об этом нам никогда не следует.

3

Здесь как раз и прочитывается, буквальным образом, аналитический смысл обнаружения на опыте того явления, которое считается одним из важнейших открытий Фрейда – того имеющего место в любовной жизни уничижения, *Erniedrigung*, истоки которого заложены в эдиповом комплексе.

У субъектов, которые расстаться с инцестуальным объектом так и не сумели – во всяком случае, расстаться достаточно решительно, так как полностью субъект, как мы уже знаем, не расстается с ним никогда – в основе этого уничижения лежит, согласно Фрейду, желание матери. При этом должно, разумеется, быть налицо нечто та-

кое, что этой большей или меньшей степени расставания соответствует. Это и называем мы в наших диагнозах *фиксацией на матери.*

Это и есть те случаи, на которых Фрейд демонстрирует нам отделение любви от желания.

Субъекты, о которых в этих случаях идет речь, не видят для себя возможности подступиться к женщине, которая выступает в их глазах в качестве любимого существа, человеческого существа, существа в полном смысле этого слова, существа, способного давать и отдаваться. Объект, как нам и говорят, здесь налицо, но означает это, конечно же, что налицо он под маской, ибо обращается субъект не к матери, а к женщине, которая ей наследует, которая занимает ее место. Здесь, таким образом, никакого желания нет. Зато, говорит нам Фрейд, эти субъекты находят удовольствие в общении с проститутками.

Что это означает? В тот момент, когда тайны желания в окружающем их мраке едва нащупывались, напрашивался ответ – все дело в том, что проститутка являет собой полную противоположность матери.

Но удовлетворяет ли нас теперь сполна подобное объяснение? Успехи, достигнутые нами с тех пор в изучении образов и фантазмов бессознательного, позволяют обоснованно утверждать, что то, что субъект в данном случае у проституток ищет, представляет собою тот самый предмет, чьи скульптурные и живописные изображения украшали собой в эпоху древнего Рима двери публичных домов, то есть фаллос – ведь именно фаллос и есть то, что обитает у проститутки внутри.

То, что субъект ищет у проститутки, – это фаллос всех прочих мужчин, фаллос как таковой, фаллос анонимный. В загадочной форме, под маской, связывающей желание с тем привилегированным объектом, в значении которого мы в ходе наших исследований фаллической фазы и тех связанных с ней маневров, которые субъективный опыт неизбежно должен проделать, чтобы прийти в конечном итоге к тому, что он желает по естеству, достаточно хорошо убедились, здесь скрывается какая-то важная проблема.

То, что мы называем в данном случае *желанием матери*, представляет собой своего рода этикетку, символическое указание на явление, которое факты позволяют нам констатировать – распад объекта желания на две соотнесенные между собою непримиримые половины. С одной стороны, это то, что в собственной нашей

интерпретации может предстать в качестве объекта-заместителя, женщины как наследницы материнской функции – наследницы, которая в надеждах своих на обладание элементом желания оказалась обманутой. С другой, сам элемент желания, связанный с чем-то еще чрезвычайно сомнительным и носящий на себе черты маски, метки – другими словами, черты означающего. Все происходит так, словно с момента, когда речь заходит о желании бессознательном, мы оказываемся в присутствии некоего механизма, некоего неизбежного *Spaltung*, расщепления, под действием которого желание (которое, согласно нашему давнему предположению, в тех совершенно особенного характера отношениях, что связывают его с другим, оказывается отчуждено) предстает в данном случае отмеченным не только необходимостью говорить за другого как такового, но и печатью особого, избранного означающего, что оказывается здесь в роли того пути, того русла, которого жизненной силе – в данном случае желанию – волей-неволей придется держаться.

Проблематичный характер этого особого означающего, то есть фаллоса – вот что нас озадачивает и останавливает, вот что вызывает у нас массу трудностей. Как можно представить себе, что на пути так называемого *генитального созревания* встретится нам это препятствие? Более того, это не просто препятствие – это тот неизбежный маневр, в силу которого лишь заняв определенную позицию по отношению к фаллосу (для женщины выступающему как предмет нехватки, а для мужчины в качестве предмета угрозы) субъект может осуществить то, что представляется по идее, скажем так, наиболее удачным выходом.

Очевидно теперь, что, во что-то вмешиваясь, что-то истолковывая, что-то нарекая, мы всегда – чтобы мы ни делали – делаем при этом больше, чем полагаем сами. Точное слово, которое я только что поэтому поводу обещал вам – это *тожесловие* (homologuer). Мы идентифицируем то же самое с тем же самым, и говорим потом: "*Это вот что*". На место *никого*, к которому обращен симптом, мы ставим кого-то, некоего персонажа, на пути признания желания оказавшегося. Тем самым относительно желания, требующего себе признания, мы до известной степени всегда обманываемся, приписывая ему тот или иной объект, в то время как вовсе не в объекте суть дела: желание – это желание той нехватки, которая – в Другом – указывает на другое желание.

Именно это и подводит нас ко второй из предложенных здесь

мною трех формул – к рубрике *требования.*

4

Самим подходом к вещам и манерой к ним возвращаться я пытаюсь членораздельно высказать оригинальность того желания, с которым мы в каждый момент анализа имеем дело, оставив в стороне то общее представление, которое можем мы о нем составить себе, исходя из более или менее теоретической идеи созревания каждого индивида.

Я полагаю, что вам пора уже отдавать себе отчет в том, что говоря о функции речи или инстанции буквы в бессознательном, я вовсе не собираюсь тем самым исключать из рассмотрения то, что не поддается в желании формулировке или редукции – я имею в виду не то, что существует до всякого слова, а то, что лежит по ту его сторону.

Я говорю это в связи с замечанием, которое один незадачливый господин счел нужным сделать недавно по поводу того факта, что некоторые психоаналитики – можно подумать, что их так уж много – придают слишком большое значение языку в ущерб пресловутому "*несформулированному*", на которое ныне философы предъявляют, не знаю, на каком основании, права собственности. Господину этому, которого я называл "незадачливым", – это самое мягкое, что я нем думаю, – и который провозгласил, будто "*несформулированное не обязательно формулировке не поддается*", я дам сейчас ответ, и к ответу этому лучше прислушаться, нежели поднимать бурю в стакане воды, вовлекая всех в ненужную ссору – тем более что философы до мысли этой еще, кажется, не дошли. Все дело в том, что перспектива на самом деле обратная – если желание артикуляции не поддается, то это еще не значит, что оно не артикулировано.

Я хочу сказать, что желание само по себе всегда артикулировано, членораздельно, ибо связано оно с присутствием в человеческом существе означающего. Но это вовсе не значит, что оно артикуляции поддается. Именно в силу того, что речь идет, по сути дела, о связи с означающим, в каждом конкретном случае желание до конца не артикулируется.

Вернемся теперь к нашей второй рубрике, рубрике требования, в область артикулированного артикулируемого, в область того, что артикулировано здесь и теперь.

Здесь нас интересует связь между желанием, с одной стороны, и требованием, с другой. Сегодня мы разговор об этом не закончим, и терминам этим, *желание* и *требование*, равно как и парадоксам, которые мы только что обозначили, говоря о желании как желании замаскированном, я посвящу наше следующее занятие.

Желание так или иначе обязательно артикулируется в требовании, так как иного подхода, кроме как через какое-то требование, к нему нет. Вступая с нами в контакт и встречаясь с нами, пациент собирается что-то от нас потребовать, и даже просто ответив ему: "*Я вас слушаю*", – мы заходим тем самым в своих обязательствах и в придании ситуации определенности достаточно далеко. Поэтому самое время здесь обратиться к тому, что можно назвать *предпосылками требования*, к тому, что вызывает к жизни само требование требования, к тому, что создает ситуацию требования, к тому способу, которым требование включается в жизнь индивидуума изнутри.

Что приводит к возникновению требования? Я не буду воспроизводить здесь фрейдовскую диалектику *Fort-Da*. Требование связано в первую очередь с чем-то таким, что заложено в предпосылках языка, с существованием призыва – того, что является одновременно началом наличия и пределом, позволяющим его отторгнуть, самой игрой в присутствие и отсутствие. Объект, впервые членораздельно призванный, уже не является объектом в чистом виде – это объект-символ, который становится тем, что делает из него желание присутствия. Первоначальная диалектика вовсе не является диалектикой частичного объекта, матери-груди, матери-пищи, или матери–"тотального объекта" каких-нибудь гештальт-психологов, как если бы речь шла о постепенном, шаг за шагом, завоевании. Младенцы прекрасно видит, что шея, подмышки и волосы матери образуют продолжение груди. Объект, о котором идет речь, это присутствие, взятое в символические скобки – скобки, заключающие внутри себя совокупность всех тех объектов, которые присутствие это может доставить. Символические скобки эти представляют собой драгоценность, не сравнимую с любым другим благом. Ни одно из благ, которые внутри них содержатся, не может одно, само по себе, удовлетворить призыву, что обращен к присутствию. Как я уже несколько раз объяснял вам, любое из этих благ в отдельности может лишь раздавить этот призыв в зародыше. Младенец получает питание, потом, возможно, засыпает, и в этот момент о призыве,

ясное дело, речи нет. Всякие отношения с каким бы то ни было из так называемых частичных объектов внутри материнского присутствия представляют собой не удовлетворение как таковое, а заменитель его – то, что подавляет желание.

Принципиально символический характер объекта в качестве объекта призыва отмечен в дальнейшем тем фактом – да, мы о нем читали и раньше, но, как всегда, не сумели продумать до конца то, что из него следует, – тем фактом, повторяю, что в объекте этом появляется новое измерение – измерение маски.

О чем ином, как не об этом, говорят нам данные, полученные нашим другом, г-ном Шпитцем? Первое, что младенец распознает – это греческий фронтон, арматура, маска, и все это с теми чертами потусторонности, что характеризуют присутствие, поскольку оно подверглось символизации. Дальнейшие поиски ведут его, собственно, по ту сторону этого присутствия, выступающего под личиной маски, симптома, символа. И самим поведением своим ребенок недвусмысленно свидетельствует нам, что измерения этого потустороннего ему не чужды.

Я уже говорил как-то вам по другому поводу, что реакция ребенка на маску носит совершенно особый характер. Покажитесь ребенку в маске, потом снимите ее – он страшно развеселится. Но если под маской окажется другая маска – ему будет не до смеха и он окажется не на шутку встревожен.

Да и не нужно, собственно, ставить эти маленькие эксперименты. Лишь тот, кому никогда не приходилось наблюдать развитие маленького ребенка в течение первых месяцев его жизни, может не заметить, что первый истинный, существующий задолго до речи, способ общения, общения с лежащим по ту сторону того, что находится перед вами в качестве символизированного присутствия, – это смех. Ребенок смеется прежде, чем появляется у него дар речи. Физиологический механизм смеха всегда связан с улыбкой, с ослабленным напряжением, с определенным удовлетворением. О характерной для накормленного ребенка улыбке уже говорилось, но когда ребенок встречает вас смехом, то он бодрствует, он здесь, с вами, и смеется он в связи не столько с удовлетворением желания, сколько – уже затем и по ту сторону этого удовлетворения – с тем потусторонним ему присутствием, которое способно ему это удовлетворение принести и согласно, быть может, с его желанием. Это знакомое ребенку присутствие, присутствие ему привычное и спо-

собное, как он знает, удовлетворить его желания во всем их разнообразии, призывается, воспринимается и узнается им в том особом коде, которым пользуется ребенок еще до всякой речи – в том смехе, которым встречает он присутствие тех, кто за ним ухаживает, кормит его, ему отвечает.

Смех является одновременно ответом и на те материнские игры, которые служат для ребенка первыми упражнениями в восприятии модуляции и артикуляции как таковой. Смех связан как раз с тем, что уже на первых, посвященных остроумию, занятиях этого года я попытался обозначить как потустороннее, как лежащее по ту сторону непосредственного, по ту сторону любого требования. В то время как желание связано с означающим, которое в данном случае выступает как означающее присутствия, первый смех ребенка адресован тому, что лежит по ту сторону этого присутствия, адресован находящемуся за ним субъекту.

Уже здесь, с самого начала, если можно так выразиться, имеем мы дело с корнями той идентификации, которую осуществит ребенок по мере своего развития прежде с матерью, а затем и с отцом.

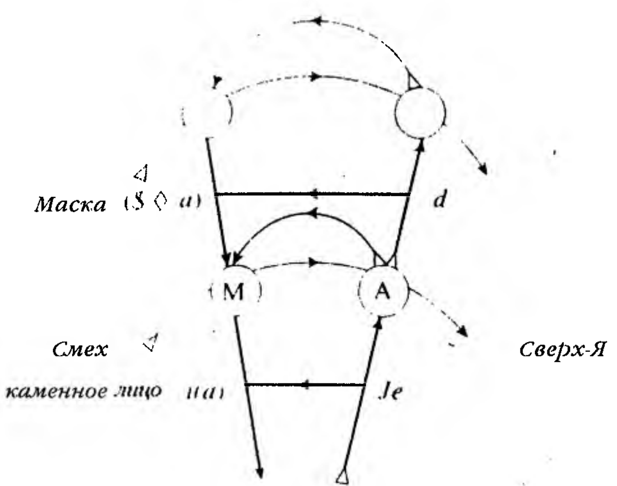
Противоположность смеху – это, конечно, не плач. Плач – это выражение боли в животе, поноса, выражение потребности, плач – это средство выражения, а не общения, в то время как смех, требуя артикуляции, является не чем иным, как средством общения.

Что же противоположно смеху? Смех – он что-то сообщает, он обращен к тому, кто, находясь по ту сторону означенного присутствия, является пружиной и источником удовольствия. А идентификация? Это как раз нечто противоположное. Ребенок больше не смеется. Он серьезен как римский папа или как собственный папаша. Он принимает безразличное выражение, потому что у того, кто здесь, с ним, каменное лицо, и потому что смеяться явно не время. А смеяться не время, потому что не время теперь удовлетворять потребности. Ведь желание моделируется, как утверждают, по образцу того, кто, имея власть удовлетворять их, противопоставляет им сопротивление реальности. Сопротивление же это представляет собой вовсе не то, что о нем говорят – оно предстает здесь в совершенно определенной форме, будучи с самого начала уже включено в диалектику требования.

Обратившись теперь к моей прежней схеме, мы видим, что же именно происходит во время смеха, когда требование, попадая по назначению, то есть по ту сторону маски, находит там не удовлет-

ворение, нет, но сообщение, которым свидетельствуется присутствие. И когда субъект получит подтверждение, что перед ним действительно источник всех благ – тогда-то и раздается смех, после чего продолжаться процессу уже нет нужды.

Может, однако, случиться, что процессу придется идти дальше. Это произойдет, если обращенное к субъекту лицо будет каменным, а на требование свое он получит отказ. Тогда, как я уже говорил, то, что лежит у истоков этого требования и желания, обнаружится уже в иной, видоизмененной форме. Каменное лицо переместится по цепочке, как видно на схеме, сюда, в то место, где отнюдь не случайно встречаем мы образ другого. Пределом этой претерпеваемой требованием трансформации является так называемый *Идеал собственного Я*. В то же время, однако, на означающей линии закладывается фундамент того, что именуется *запретом* и *сверх-Я* и что артикулируется как происходящее от Другого.



Аналитическая теория всегда тратила огромные усилия на то, чтобы примирить друг с другом Идеал Я и сверх-Я, чтобы обеспечить их сосуществование, чтобы втиснуть их в одно измерение, несмотря на то, что принадлежат они к разным образованиям и истоки происхождения у них тоже разные. Для того, чтобы понять, каким образом два эти продукта могут быть одновременно различны и соизмеримы, достаточно, однако, провести одно существенное различие – различие между потребностью, с одной стороны, и речью, выражающей требование, с другой. Если сверх-Я, даже в самых примитивных своих формах, формируется на линии означающей ар-

тикуляции, линии запрета, то Идеал Я возникает на линии преобразования желания, всегда связанного с той или иной маской.

Другими словами, маска всегда образуется в состоянии неудовлетворенности, посредством требования, на которое был получен отказ. Вот тот пункт, к которому я хотел сегодня вас подвести.

Но что отсюда следует? Отсюда следует, что масок должно существовать столько же, сколько существует различных форм неудовлетворенности.

Дело представляется именно так, и на вывод этот вы смело можете положиться. В том психологическом признании, что обязано своим появлением фрустрациям, которые некоторые субъекты переживают необычайно остро, связь между неудовлетворенностью и маской, в силу которой масок должно быть примерно столько же, сколько имеется видов неудовлетворенности, вы в самих заявлениях этих субъектов сможете без труда выявить. Но многообразие отношений субъекта с другими, отвечающее разнообразию возможных форм неудовлетворенности, ставит нас перед серьезной проблемой, позволяя с известной степенью строгости утверждать, что всякая личность представляет собой подвижную мозаику, калейдоскоп идентификаций. Чтобы субъект смог в таких условиях вновь обрести себя как нечто единое, необходимо включение третьего измерения, разговор о котором я оставлю на следующий раз.

Измерение это не вводится, на самом деле – вопреки ходячим на этот счет мнениям, – ни генитальным созреванием, ни даром жертвенности, ни прочим морализирующим вздором, имеющим к этому вопросу самое косвенное отношение. Необходимо, конечно же, вмешательство желания – желания, которое является не потребностью, а *эросом*, то есть, говоря то же самое другими словами, желания не ауто-эротичного, а, как называют его иногда, *алло-эротичного*, направленного на другого. Но этим вопрос не исчерпывается, так как для решающих преобразований внутри субъекта – тех, что позволят нам увидеть существующую между желанием и маской связь – генитального созревания заведомо недостаточно

На следующем занятии мы и рассмотрим как раз то существенное условие, что связывает субъекта с тем привилегированным, первенствующим означающим, которое мы – не случайно, но именно потому, что предмет действительно таковым означающим и является – называем *фаллосом*. Мы увидим также, что именно на этом этапе

осуществляется, как это ни парадоксально, то самое, что, позволяя субъекту обрести себя через разнообразие масок как нечто единое, в то же самое время вносит в него принципиальное разделение, создает существенное расщепление, *Spaltung*, между тем, что является в нем желанием, и тем, что служит в нем маской.

16 апреля 1958 года

XIX
Означающее, хер и фаллос

Желание, эксцентричное по отношению к удовлетворению
Набросок графа желания
След, оставленный Пятницей
Aufhebung *фаллоса*
Кастрация Другого

Сегодня нам предстоит продолжить работу по уточнению различия между желанием и требованием – различия, которое мы для правильного ведения анализа считаем столь важным, что, по нашему мнению, он, попытавшись без этого различия обойтись, неизбежно опустился бы на уровень практической спекуляции, построенной на терминах *фрустрации*, *обманутого ожидания*, с одной стороны, и *поощрения*, с другой, и тем самым окончательно сбился бы, как мы полагаем, с предназначенного ему пути.

Речь следовательно, идет о дальнейшем исследовании того, чему мы на прошлом занятии уже успели дать имя – об исследовании *расщепления*, *Spaltung*, существующего между желанием и требованием.

Термин *Spaltung* используется мною отнюдь не случайно. Именно он был если не введен, то по меньшей мере всячески акцентирован в самой последней работе Фрейда – той, в середине которой перо выпало у него из рук, а точнее, было вырвано из них смертью. Понятие *Ichspaltung* представляет собой тот фокус, к которому последние размышления Фрейда поистине тяготеют. Мы не можем точно сказать, суждено ли им было к нему прийти, ибо в нашем распоряжении лишь маленький отрывок, всего несколько страниц, которые можно найти в томе XVII его *Gesammelte Werke*. Если вы хотите, чтобы перед вашим мысленным взором возник тот же самый вопрос, который родился у Фрейда в связи с понятием *Spaltung*, я вам настоятельно советую эти несколько страниц прочитать. Сделав это, вы сами убедитесь в том, с какой настойчивостью говорит он о том, что когда речь идет о психоаналитическом *Ich*, функцией синтеза собственного Я дело далеко не исчерпывается.

Я вернусь еще раз к тому, что говорил в прошлый раз, так как думаю, что единственный способ добиться в нашем деле успеха, это,

делая три шага вперед, тут же возвращаться на два назад, чтобы так, начиная каждый раз заново, отвоевывать помаленьку новую территорию. Итак, я быстро напомню вам то, на чем я настаивал, говоря о желании, с одной стороны, и требовании, с другой.

1

Что касается желания, то я уже подчеркнул один раз, что оно неотделимо от маски, проиллюстрировав эту мысль напоминанием о том, что рассматривать симптом как простую изнанку в нашем деле было бы опрометчиво.

Говоря о Елизавете фон Р., я отметил, что читая текст Фрейда можно не обинуясь сделать тот вывод, который он, в сущности, сформулировал сам – что боли в правом бедре девушки и *есть* желание отца девушки и ее друга детства. Недаром ведь боль эта возникает у нее всякий раз, как приходит ей на память то время, когда, всецело поработив себя желаниям больного отца, исполнению всех его требований, она ощущала в то же время неотразимую притягательность исходившую от желания своего друга детства, упрекая себя в том, что принимает это желание во внимание. Что же касается боли в левом бедре, то это и *есть* желание двух ее шуринов, один из которых, муж младшей ее сестры, воплощает собой мужское желание в добром его обличии, а другой в злом – недаром все дамы считают этого последнего человеком очень дурным.

Чтобы понять, что наше истолкование желания имеет виду, следует, помимо замечания, приведенного выше, учесть и то, что в симптоме – это, собственно, и называется *конверсией* – желание идентично своему семантическому проявлению. Это последнее относится к нему, как лицо к изнанке.

С другой стороны, если мы и продвинулись немного вперед, то произошло это потому, что мы заговорили об этих вещах в проблематическом их аспекте – я ввел в рассмотрение связанную с желанием проблематику, в то время как анализ подает нам это желание как уже детерминированное актом означивания. Но тот факт, что желание детерминируется актом означивания, вовсе не дает нам возможности постигнуть его смысл окончательно. Не исключено, что желание является суб-продуктом, если можно так выразиться, этого акта.

Я уже цитировал вам несколько статей, которые можно рассматривать как настоящее введение в проблему извращения, понятого,

в свою очередь, именно как симптом, а не как просто проявление бессознательного желания в чистом виде. Статьи эти соответствуют тому моменту, когда авторы их обнаруживают, что вытеснения, *Verdrängung*, в извращении ничуть не меньше, чем в симптоме. В опубликованной в четвертом томе "International Journal" под заглавием *Неврозы и извращения* статье один из этих авторов, Отто Ранк, останавливается на том, как субъект, невротик, успешно завершив первое в своей жизни половое сношение – это не значит, что в дальнейших он будет терпеть неудачу – тут же совершает загадочный поступок, подобного которому, по правде говоря, всю жизнь не было. Вернувшись домой от дамы, чьим расположением он воспользовался, он осуществляет исключительно успешный, то есть полный, и в то же время безопасный акт эксгибиционизма, о котором я, кажется, на семинаре прошлого года как-то упоминал. Сняв штаны, он становится у железнодорожной насыпи, так, чтобы его было видно в свете проходящего поезда. Тем самым он оказывается виден множеству людей, ни малейшей опасности при этом не подвергаясь. Поступок этот истолковывается автором статьи в свете общей картины невроза субъекта, и истолковывается довольно удачно.

Что касается меня, то я не собираюсь подходить к делу с этой стороны, мне хочется остановиться вот на чем – да, разумеется, для психоаналитика это поступок значимый, но каково, собственно, его значение?

Я повторяю, это произошло сразу после того, как он совершил свое первое совокупление. Означает ли этот акт, что фаллос еще у него? Что он теперь в распоряжении всех и каждого? Что он стал его, субъекта, личным достоянием? Что хочет он сделать, его демонстрируя? Быть может, он хотел исчезнуть за тем, что демонстрирует, быть отныне только им, фаллосом? Для подобного поступка внутри одного того же субъективного контекста все эти истолкования будут одинаково вероятны.

На что стоит, однако, обратить внимание в первую очередь и что словами самого пациента, контекстом наблюдения и самой последовательности событий подчеркивается и подтверждается, это полностью успешный исход полового акта. Удовлетворение от него сполна получено и осознано. И потому главное, на что поступок субъекта как бы его затем ни интерпретировали, указывает – это то, что остается желать по ту сторону удовлетворения.

Я привел вам на память этот небольшой пример лишь с целью сфокусировать ваше внимание на том, что я имею в виду, говоря о проблематике желания, связанной с детерминацией его актом означивания – детерминацией, которая не совпадает с каким-либо конкретным, уловимым смыслом. Соображения этого рода, показывающие глубокую согласованность, слияние желания – с симптомом, маски – с тем, что в явлении желания обнаруживается, расставляют на свои места множество праздных вопросов, которыми задаются часто как по поводу истерии, так и по поводу многообразия социологических, этнографических и других фактов, вокруг которых возникает у исследователей множество недоразумений.

Возьмем один пример. В небольшой серии, публикуемой под рубрикой "*Человек*" издательством *Plon* вышла недавно замечательная брошюрка Мишеля Лейриса, написанная на материале изучения автором гондарских эфиопов и посвященная фактам одержимости и ее театральным аспектам. Читая эту книжку, прекрасно видишь, насколько безупречно факты транса, подлинность которого выше всяких сомнений, согласуются и сочетаются с типологизированным, заранее предопределенным, известным, заранее рассчитанным поведением духов, овладевающих, как считается, субъективностью лиц, выступающих как носители этих исключительных по своему характеру феноменов. Наблюдать это можно во время церемоний, именуемым в Гондаре *Wadaga* – именно о них в книжке и идет речь. Более того, замечательны не только условности, в рамках которых происходит воплощение того или иного духа, но и дисциплинарный характер, который эти воплощения носят. Дело доходит до того, что субъекты, в которых, по их мнению, вселяются духи, рассматривают происходящее едва ли не как дрессировку, укрощение этих духов. То есть логика события выворачивается наизнанку – это духи должны хорошо вести себя, это духи должны пройти ученичество.

Одержимость и все ее проявления, глубоко напечатленные в эмоциях и переживаниях, в полной власти которых субъект во время происходящего находится, прекрасно согласуются с богатством означающего, связанного с могущественным влиянием, которое способны оказывать знаки отличия бога или гения. Пытаться отнести это все к разряду симуляции, имитации или других терминов в этом роде, означает просто-напросто создавать искусственную проблему, призванную удовлетворить требованиям нашего

собственного способа мыслить. Идентичность заявляющего о себе желания с формами его проявления выступает здесь в поистине осязаемой форме.

Другой термин, который в эту проблематику желания должен быть вписан и на котором я в прошлый раз, наоборот, настаивал, это *эксцентричность* желания по отношению к любому удовлетворению. Именно она помогает нам понять то, что выступает обычно как глубокая родственность его страданию. Ведь в пределе своем желание – не в развитых, замаскированных формах, а именно в чистом, простейшем своем облике – граничит со страданием, обусловленным существованием как таковым. Именно это последнее и является другим его полюсом, тем пространством, средой, в котором мы с проявлениями его встречаемся.

Описывая здесь, на противоположном полюсе нашей проблематики, то, что я называю *блужданием желания*, его эксцентричностью по отношению к удовлетворению, я вовсе не претендую на то, чтобы эту проблему решить. То, что я предлагаю – это не объяснение, это всего лишь постановка вопроса. Это направление, в котором мы должны сегодня продвинуться.

Я напомню и о другой части нарисованного мною в прошлый раз диптиха – об идентифицирующей, идеализирующей функции, обнаруживающей свою зависимость от диалектики требования. В самом деле, все, что происходит в регистре идентификации опирается на некоторые отношения с находящимся в Другом означающим – означающим, которое в регистре требования характеризуется в целом как знак присутствия Другого. Кроме этого, здесь берет начало явление, которое, безусловно, находится с проблемой желания в тесной связи и заключается в том, что знак присутствия подчиняет себе те способы удовлетворения, которые это присутствие субъекту приносит. Здесь-то и следует искать причину того, что человеческое существо настолько устойчиво, постоянно и глубоко довольствуется словами – довольством сопоставимым, и притом в весьма значительной и весомой пропорции, с видами удовлетворения более, что ли, субстанциональными. Это важнейшая черта явления, связанного с тем, о чем я только что вам напомнил.

Здесь я хочу дополнить сказанное в прошлый раз еще одним замечанием. Верно ли, что человеческое существо – единственное, которое довольствуется словами? До определенной степени не исключено, что некоторые домашние животные тоже получают какое-то

удовлетворение, связанное с человеческим словом. Мне нет здесь особой нужды на кого-то ссылаться, но прислушавшись к тем, кого называют, с большим или меньшим на то основанием, специалистами, и кому, похоже, можно до известной степени доверять, мы узнаем о вещах весьма удивительных. Нам расскажут, к примеру, что еноты, которых с целью поживиться на продаже их меха держат в неволе, погибают или дают меховщикам продукт весьма невысокого качества, если с ними время ото времени не разговаривать. Что, похоже, делает разведение енотов весьма дорогим удовольствием; заметно увеличивая цену товара. То, что находит в этом факте свое проявление и во что мы сейчас углубляться не будем, связано, должно быть, с нахождением их в неволе, так как в диком своем состоянии еноты не имеют, похоже, возможности такое удовлетворение получить.

Сделав это замечание, я хотел бы теперь показать вам то направление, в котором мы можем увязывать нашу проблему с учением Павлова об условных рефлексах. Что такое, в конечном счете, условные рефлексы?

В самых распространенных и на опыте наиболее изученных своих формах условные рефлексы опираются в своем существовании на вторжение означающего в более или менее врожденный, предустановленный цикл инстинктивного поведения. Все электрические сигналы, все эти маленькие звоночки и колокольчики, звуками которых терзают слух бедных животных, чтобы заставить их в приказном порядке выделять желудочный сок или совершать прочие физиологические отправления – все это не что иное, как означающие. И сфабрикованы эти означающие экспериментаторами, для которых мир отчетливо складывается из целого ряда объективных соотношений – другими словами, это мир, важнейшую часть которого составляет то, что можно по праву вычленить в нем в качестве собственно означающего. Разработаны же все эти научные конструкции для того, чтобы продемонстрировать те пути последовательной подстановки, субституции, на которых может психическое развитие иметь место.

Можно было бы задаться вопросом о том, почему, в конечном счете, нельзя животным этим, столь хорошо прирученным, привить и некоторые языковые навыки. Но здесь-то скачка как раз и не происходит. Неслучайно то, что когда теория Павлова вплотную подходит к проблеме того, что приводит у человека к появле-

нию языка, Павлов с полным на то основанием предпочитает говорить не о развитии системы значений в том виде, в котором представлена она в условных рефлексах, а о вторичной системе значений. Тем самым он признает – имплицитно, правда, поскольку прямых указаний на этот счет в его теории нет – что между той и другой системами есть какая-то разница. Чтобы эту разницу определить, мы, со своей стороны, сказали бы, что она связана с тем, что именуется у нас соотношением с большим Другим как инстанцией, представляющей собой место унитарной системы означающих. Мы сказали бы также, что дискурсу животных не хватает, в первую очередь, связности.

В конечном счете, самой простой формулировкой была бы, наверное, следующая: как бы далеко мы в подобных опытах ни заходили, что мы никогда не находим, да и не надеемся обнаружить в них, – так это закона, согласно которому эти нами задействованные означающие оказались бы упорядочены. Другими словами, закона, которому животные подчинились бы. Совершенно ясно, что никакого следа, отсылающего нас к такому закону, то есть к чему-то помимо самого сигнала или раз и навсегда установленной короткой цепочки таких сигналов, здесь нет и в помине. Никакой ощутимой экстраполяции этих сигналов в закон не происходит, почему и позволительно утверждать, что установить какой-то закон в опытах этих не удается. Повторяю – это не значит, что измерения Другого, с большой буквы, для животного не существует вообще: это значит лишь, что в Другом этом нет для него ничего, что выстраивалось бы в членораздельный дискурс.

Итак, к чему мы пришли? Подводя итоги тому, что выяснили мы по поводу связи субъекта с означающим, находящимся внутри Другого, то есть тому, что происходит в диалектике требования, можно сказать следующее. Означающее характеризуется, по сути дела, не тем, что оно замещает собой требования субъекта – как происходит это, скорее, в условных рефлексах – а тем, что оно может замещать самого себя. Природа означающего и состоит, по сути дела, в его заместительности по отношению к себе самому.

Размышляя в этом направлении, мы видим, что самое главное, то, что действительно важно – это место, которое означающее занимает в Другом. И указывает нам это направление та существенная для означающей структуры черта, которую я и пытаюсь на разный манер здесь сформулировать – я имею в виду то топологичес-

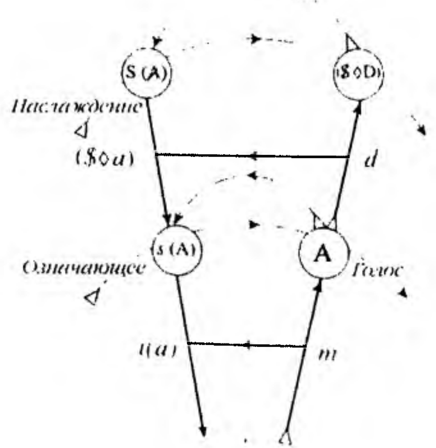
кое, чтобы не сказать: типографическое, пространство, в котором замещение как раз и становится для означающего его законом. Нумерация мест задает базовую структуру означающей системы как таковой.

Лишь постольку, поскольку субъект предстоит себе внутри выстроенного таким образом мира в позиции Другого, возникает, как подтверждает наш опыт, то, что именуется у нас идентификацией. В отсутствие удовлетворения субъект идентифицирует себя с субъектом, способным подняться до требования.

2

В последний раз мы расстались с вами, так и не ответив на вопрос о том, почему не наблюдается в идентификациях самый обширный плюрализм. Почему идентификаций не столько же, сколько бывает неудовлетворенных требований? Столько же, сколько Других, которые выступают в присутствии субъекта в качестве отвечающих или не отвечающих на его требование?

Эта дистанция, это расщепление, *Spaltung*, отражено в построении небольшой схемы, которую я сегодня впервые рисую вам на доске.



Мы вновь находим здесь все три линии, о которых я вам дважды уже говорил. Я думаю, что в ваших записях вы о них все найдете, но могу напомнить вам еще раз.

Первая линия связывает маленькое *d* желания с образом другого, *a* и с *m*, то есть собственным Я, связывает посредством отношений, в которых находится субъект с маленьким *a*.

Вторая линия представляет как раз требование, направляясь от требования к идентификации и проходя через ту позицию, которую занимает Другой по отношению к желанию. Тем самым, как видите, Другой претерпевает разложение. По ту его сторону имеется желание. Линия проходит через означаемое Большого А, которое располагается на схеме здесь, на первом этаже ее – этаже, соответствующем этапу, значение которого я уточнил в прошлый раз, сказав, что Другой отзывается только на требование. В силу фактора, который мы как раз и стараемся определить, во втором временном такте Другой разделяется и задается отныне уже не простыми, а двусторонними отношениями с двумя различными означающими цепочками – отношениями, к которым я, кстати, другими путями уже пытался найти подход.

Первая цепочка, которая, будучи в единственном числе, находится здесь же, располагается на уровне требования – это та означающая цепочка, посредством которой требование должно заявить о себе. Затем, однако, в дело вмешивается нечто такое, в силу чего отношения означивания удваиваются.

Чему же это удвоение отношений означивания соответствует? Что касается нижней линии, то ее можно, к примеру – хотя, естественно, неоднозначным образом – идентифицировать, как это до сих пор и делалось, с ответом матери. Это – то, что происходит на уровне требования, где ответ матери уже сам по себе служит законом, то есть подчиняет субъекта своему произволу. Другая линия воплощает собой вмешательство другой инстанции – инстанции, соответствующей отцовскому присутствию и тем способам, которыми присутствие это дает по ту сторону матери о себе знать.

На самом деле все это, разумеется, не так просто. Будь все дело просто в маме и папе, я плохо представляю себе, как можно было бы объяснить факты, с которыми мы сталкиваемся.

Попробуем теперь разобраться в вопросе о расщеплении, *Spaltung* – том зиянии между желанием и требованием, которое и служит причиной их расхождения, царящей меж нами несогласованности. Вот почему нам придется вновь вернуться к означающему и посмотреть, что же оно собой представляет.

Я знаю – каждый раз, когда мы расстаемся, вы задаете себе один и тот же вопрос: *Что же он в конце концов хочет сказать?* И вы совершенно правы, потому что так, разумеется, об этих вещах не говорят, и это вам непривычно.

Вернемся к вопросу о том, что представляет собой означающее на элементарном уровне. Я предлагаю вам сосредоточиться на нескольких основных моментах. Не кажется ли вам, например, что имея дело с означающим мы соприкасаемся с чем-то таким, по поводу чего можно говорить о возникновении?

Будем исходить из того, что представляет собой след. След – это не означающее, это отпечаток. Мы прекрасно знаем, тем не менее, что между ними может существовать связь и что на самом деле, то, что называют *материалом означающего*, всегда каким-то образом причастно недолговечности, эфемерности следа. Более того, похоже, что это одно из условий существования следа. И тем не менее след – это не означающее. Отпечаток ноги Пятницы, который обнаружил, гуляя по острову, Робинзон, означающим не был. Зато если мы предположим, что он, Робинзон, по каким-то причинам этот след стирает, измерение означающего оказывается тут как тут. С момента, когда след стирают, то есть с момента, когда поступок этот имеет какой-то смысл, то, что этот след оставило, открыто выступает в качестве означаемого.

Если означающее, таким образом, представляет собой некую пустоту, полость, то происходит это постольку, поскольку оно свидетельствует о минувшем, миновавшем присутствии. И наоборот, в том, что является означающим, в том развитом означающем, которое представляет собою речь, всегда налицо миновение, переход, то есть нечто такое, что имеется по ту сторону, помимо каждого из тех элементов, которые в этой речи вычленены и которые по природе своей исчезающе недолговечны. К этому мгновению, переходу, и сводится путь того, что мы называем *означающей цепочкой*.

Это "по-миновение", этот мелькнувший на мгновение переход – именно он предстает нам как *голос*. Я не говорю "как значащая членораздельность", потому что членораздельность эта может так и остаться загадочной. Носителем этого перехода, этого по-миновения, выступает голос. Именно на этом уровне возникает то, что соответствует стороне означающего, на которую мы указали в первую очередь – свидетельству о минувшем присутствии. И наоборот, в по-миновении, в переходе, происходящем здесь и теперь, проявляется нечто такое, что его углубляет, расположено по ту его сторону и делает из него голос.

Здесь же обнаруживается еще вот что – если перед нами текст, если означающее вписывается в окружение других означающих,

то после стирания его остается место, где оно стерто, и вот место это и служит тем, что обеспечивает передачу. Передача представляет собой в данном случае нечто существенное, так как именно благодаря ей то, что следует друг за другом в переходе-по-миновении, состоится в качестве голоса.

Что касается вопроса о возникновении, то важно понять одно – что означающее как таковое представляет собой нечто такое, что может быть стерто, так что после остается лишь место, где самого его уже не найти. Свойство это существенно – из него следует, что если о возникновении в данном случае говорить сложно, то о развитии говорить просто нельзя. На самом деле означающее содержит это свойство в себе самом. Я хочу сказать, что одно из главных измерений означающего – это способность отменить, аннулировать самого себя. Такая возможность есть, и охарактеризовать ее допустимо в данном случае как разновидность самого означающего. Материализуется она очень простым способом – способом, который всем нам известен. Тривиальность этого способа не делает его менее оригинальным – это *черта*. Любое означающее по самой природе своей представляет собой нечто такое, что может быть перечеркнуто, похерено.

С тех пор, как существуют философы, и философы мыслящие, слово *Aufhebung* не сходит у них с языка. Со временем они научились пользоваться этим понятием более или менее искусно. По сути слово это означает *аннулировать* – как аннулируем мы, скажем, подписку на журнал или предварительный заказ. Благодаря двусмысленности, которая сообщает этому слову в немецком языке столь большую ценность, оно означает также *возвести в иную степень, сообщить высшее достоинство*. Похоже, однако, что никто еще не заострил достаточно внимание на том обстоятельстве, что аннулировано-то, в собственном смысле слова, может быть только то, что относится, грубо говоря, к роду означающего. Ведь аннулируя что бы то ни было, будь то воображаемое или реальное, мы тем самым уже возводим его в иную степень, сообщаем ему качество означающего.

В означающем, стало быть, в цепочке его, в том, как им маневрируют и манипулируют, всегда есть нечто такое, что способно совлечь с него присущую ему в порядке следования или наследования – перечеркивающая черта есть знак незаконнорожденности – функцию; совлечь с него, поскольку оно наделено собственно зна-

чащей функцией, то, в силу чего с ним все так или иначе считаются. Я хочу сказать, что в наборе означающих, образующих некоторую систему доступных для употребления в актуальном, конкретном дискурсе знаков, означающее как таковое занимает свое определенное место, и что из функции, которую это место ему сообщает, оно всегда может выпасть, что своего удела в созвездии, которое образует значащая система, применяя себя к миру и его размечая, оно может быть лишено. И вот, лишившись этого удела, и становится оно вожделенным – характерно для него становится то, что оно дает место вожделению, желанию.

Я не играю словами ради собственного удовольствия. Я просто хочу как можно нагляднее указать направление, которое ведет к нашему предмету, желанию, отправляясь от связи его с манипуляцией означающими. Отмеченное чертой означающего противопоставление наделенности и вожделенности является, разумеется, лишь наметкой, и омонимия их, сколь бы твердо она на этимологию ни опиралась, проблемы желания не разрешает.

Но так или иначе, именно в случае, когда означающее предстает в качестве аннулированного, похеренного, перечеркнутого, имеем мы дело с тем, что можно назвать продуктом символической функции. Продуктом мы называем его потому, что он выступает изолированным, отделенным как от общей цепи означающих, так и от закона, который эта цепь устанавливает. Лишь с момента, когда означающее может быть перечеркнуто, получает оно свой, подобающий ему, статус, то есть входит в то измерение, в котором всякое означающее может быть – скажем так, чтобы подчеркнуть то, что я здесь имею в виду – *отозвано*.

Термином *Aufhebung* Фрейд тоже пользуется, причем пользуется в ряде забавных случаев, на которые никто, похоже, до сих пор внимания не обратил. И когда Фрейд им пользуется, мы, конечно, немедленно настораживаемся, хотя оно и не носит у него те же смысловые оттенки, что у Гегеля.

Всякое означающее в принципе может быть отозвано. Откуда следует, что для всего, что означающим не является, то есть, в первую очередь, для Реального, черта, его перечеркивающая, служит самым надежным и безошибочным способом возвести его в достоинство означающего.

Что я уже и продемонстрировал вам с исключительной тщательностью на примере *побитого ребенка*.

3

Поначалу тот факт, что ребенок побит отцом, служит знаком унижения ненавистного ему брата. Я уже говорил вам, что на втором этапе эволюции этого фантазма – том, который, по мнению Фрейда, можно только реконструировать, поскольку наблюдается он лишь косвенным образом и в исключительных случаях, – знак этот теперь, когда речь идет уже о самом субъекте, становится, напротив, знаком любви. Побитый, он, субъект, является любимым. Будучи побит, он получает тем самым доступ в царство любви, в достоинство любимого. Само то, однако, что действие это в промежутке меняет смысл, вызывает недоумение. И в самом деле: то самое действие, которое, когда речь идет о другом, рассматривается как кара и воспринимается субъектом как знак того, что другой не пользуется отцовской любовью, получает совсем иную, куда большую ценность, когда претерпевающим его становится сам субъект. Только функция означающего и делает подобное превращение, строго говоря, мыслимым.

Возводя субъекта в достоинство субъекта означающего, акт этот выступает в этот момент как нечто положительное, основоположное. Он полагает субъект в качестве такого субъекта, в связи с которым может идти речь о любви.

Это именно то, что Фрейд, к лапидарным формулировкам которого снова и снова следует возвращаться, имеет в виду, когда в работе *О некоторых психических последствиях анатомического различия полов* пишет, что "*ребенок, которого в этот момент бьют, становится любимым, оцененным в плане любви*". Здесь-то и делает Фрейд замечание, которое в работе *Ein Kind wird geschlagen* лишь подразумевается и к которому я в анализе этого текста подошел вплотную. Здесь Фрейд формулирует его совершенно прямо, ничем при этом не мотивируя, но сразу же придавая ему, с удивительным свойственным ему чутьем, нужную ориентацию. Перед нами то самое, о чем идет речь в диалектике признания потустороннего желанию. Я процитирую сокращенно его слова: "*Эта особая затверженность,* Starrheit, *монотонно повторяемой формулы* "бьют ребенка" *может с известной долей правдоподобия значить только одно: ребенок которого бьют, и тем самым ценят, есть не что иное, как клитор,* nicht anderes, als das Klitoris selbst". Речь в работе идет, разумеется, о девочках.

Слово *Starrheit* перевести трудно, так как оно в немецком нео-

днозначно. Оно означает одновременно *фиксированный, неподвижный,* например, о взгляде, и *жесткий, неподатливый.* Значения эти, конечно, в какой-то степени связаны, хотя в данном случае произошло взаимоналожение двух смыслов, аналогию которому можно найти в истории. Именно об этом идет у нас речь, именно здесь проглядывает нечто такое, чему я уже указал место в качестве узла, который нам предстоит развязать, – узла, в котором стянуты воедино субъект как таковой, фаллос как интересующий нас предмет, и означающая по своей сути функция перечеркивающей черты, поскольку эта последняя оказывается в фантазм побитого ребенка включенной.

Чтобы развязать этот узел, мы не можем удовлетвориться упомянутым клитором, который во многих отношениях оставляет желать лучшего. Все дело в том, чтобы понять, почему оказался он здесь в позиции настолько двусмысленной, что если Фрейд в конечном счете его в выпоротом ребенке и узнает, сам субъект, напротив, не признает его таковым. На самом деле, речь ведь идет о фаллосе – фаллосе как занимающем в экономии развития субъекта определенное место и представляющем собой стержень комплекса кастрации, с одной стороны, и зависти к пенису, *Penisneid*, с другой, что делает его в устроении субъекта фактором абсолютно необходимым. Остается теперь посмотреть, каково участие его в пленении субъекта означающей структурой, об одном из важнейших терминов которой я только что вам напомнил – или наоборот, в схватывании субъектом этой структуры.

Для этого следует остановиться немного на вопросе о том угле зрения, под которым можно фаллос рассматривать. Почему говорим мы о фаллосе, а не просто-напросто о пенисе? Откуда, собственно, мы знаем, что способ, которым мы прибегаем к фаллосу, это одно дело, а то, как пенис более или менее удовлетворительно, как у мужского субъекта, так и у женского, его дополняет – совсем другое? И в какой мере в том, что мы зовем экономическими функциями фаллоса, задействован в таком случае клитор?

Посмотрим, что представляет собою фаллос (phallus) первоначально. Это – собственно *фаллос* (phallos), φαλλός.

Слово это засвидетельствовано впервые в античной Греции. Обратившись к текстам, мы на различных примерах из Аристофана, Геродота, Лукиана и прочих убедимся прежде всего в том, что фаллос вовсе не идентичен действующему органу как члену, продол-

жению, принадлежности тела. В подавляющем большинстве случаев слово это используется по отношению к симулякру или отличительному знаку, какую бы форму эти последние ни принимали – будь то шест с подвешенными на нем мужскими членами, имитация мужского члена, кусок дерева, кусок кожи или что-либо иное. Другими словами, это объект-заместитель, но в то же время замещение это обладает свойством, резко отличающим его от замещения в том смысле, в котором привыкли мы с ним иметь дело, от замещения-знака. Можно сказать даже, что предмет этот обладает всеми чертами заместителя реального, того искуственного фаллоса, который мы в анекдотах и, так или иначе, всегда с улыбкой, зовем по-французски "годмише", от латинского *gaude mihi, радуйся мне* – одного из самых удивительных, по редкости своей, продуктов, человеком произведенных. Как бы то ни было, в лице этого предмета перед нами выступает нечто такое, в существовании чего, как и в самой возможности появления такого предмета на свет, не отдавать себе отчета нельзя.

Замечу, кстати, что слово *олисбос* (т. е. "искуственный, кожаный фаллос") часто употребляется в греческих текстах как синоним *фаллоса* в собственном смысле.

Нет сомнения, что объект этот играл центральную роль в элевсинских мистериях – не случайно именно его окружали последние завесы, снимавшиеся для посвященных. А это значит, что на уровне раскрытия смысла он рассматривался как наделенный окончательным, последним значением.

Не указывает ли это путь к тому, о чем у нас идет речь? Не говорит ли это о первенствующей экономической роли фаллоса как представителя желания в его наиболее явной форме?

Тому, что сказано мною об означающем, фаллос во всех отношениях противоположен. Означающее по сути своей представляет собой полость, и в качестве полости и внедряется как раз в полноту мира. Тогда как в фаллосе, наоборот, нам в наиболее чистой форме предстает то, что заявляет о себе в жизни ростом и набуханием. Мы ясно чувствуем, что именно образ фаллоса лежит в основе термина *pulsion, толчок*, которым манипулируем мы по-французски в попытке передать немецкий термин *Trieb, влечение*. Это особый, привилегированный объект царства жизни. Само имя роднит его со всем тем, что имеет отношение к потоку, жизненной влаге, к кровеносным жилам как таковым, ибо не исключено, что *phléps*, φλεψ, и

фаллос – слова однокоренные.

Похоже, таким образом, дело обстоит так, что это крайнее проявление желания в его витальном облике не может войти в область означающего, не спровоцировав действия похеривающей черты. Все, что имеет отношение к вторжению жизненного порыва как такового, сходится к этой форме и к этому образу как к своей вершине. И, как показывает нам опыт, которому мы послушно здесь следуем, это и есть то самое, что закладывает основу для чего-то такого, что у субъекта рода человеческого, который фаллоса не имеет, там, где *этому* нет нужды быть, потому что *этого* там нет, предстает в виде коннотации отсутствия, наводящей на мысль об имевшей место кастрации, в то время как над тем, кто обладает кое-чем, способным претендовать с *этой* штукой на сходство, угроза кастрации нависает в будущем.

Я уже упоминал вам об античных мистериях. И поразительно, что на редчайших и удивительно хорошо сохранившихся фресках на Вилле Мистерий в Помпее именно рядом с тем местом, где совершается раскрытие фаллоса, возникают величественные, в человеческий рост, фигуры особого рода демонов – демонов, которые, благодаря сопоставлению целого ряда источников, вполне узнаваемы. Подобные изображения имеются, например, на одной вазе в Лувре, и на некоторых других памятниках. Эти крылатые, обутые, носящие на головах некое подобие шлемов и непременно вооруженные бичами, *flagellum*, демоны приступают к ритуальному истязанию одного из удостоенных посвящения в таинства. Фантазм бичевания возникает здесь на наших глазах в прямой своей форме, непосредственно связанной со снятием покровов с фаллоса.

Нет нужды углубляться в изучение этих мистерий, чтобы убедиться в том, о чем самые разные тексты единодушно свидетельствуют – в том, что по мере сближения античных греческих культов с культом, то есть с исполненным значения проявлением плодородной силы, великой Сирийской Богини, всё имеющее отношение к фаллосу подвергается в них ампутации, несет на себе явственные следы кастрации и запрета. Множество текстов подтверждают, в частности, что жрецы богини были скопцами.

Фаллос всегда оказывается похерен чертой, преграждающей ему доступ в царство означающего, доступ к тому месту, которое ему принадлежит в Другом. Именно здесь вступает в процессе развития фактор кастрации. И, как прямые наблюдения нам доказыва-

ют, поводом к этому никогда не бывают, скажем, запреты на мастурбацию. Прочтите случай маленького Ганса – вы сами увидите, что первые запреты на него нисколько не действуют. Прочтите биографию Андре Жида – родители с раннего детства боролись за то, чтобы ребенка от мастурбации уберечь, а профессор Бруардель, указывая на висящие на стене огромные ножи и пики – тогда у врачей в моде было держать у себя такие домашние музеи, – не раз угрожал ему, говоря, что если он еще раз такое сделает, ему эту штуку непременно отрежут. И что же? Жид прямо говорит, что не верил этим угрозам ни на минуту, потому что они казались ему слишком неправдоподобными – другими словами, они казались ему эпизодическими проявлениями фантазий самого профессора Бруарделя.

Так что речь идет вовсе не об этом. И тексты и наблюдения сходятся на том, что речь идет в данном случае о существе, которое в реальном плане имеет менее, чем кто-либо, оснований предположить, что оно кастрировано – речь идет о матери. Именно на месте, где кастрация заявляет о себе в Другом, на месте, где желание Другого отмечено заграждающей его значащей чертой, именно этим путем входит в жизнь субъекта, как мужчины, так и женщины, то особое, специфическое, что функционирует в дальнейшем как комплекс кастрации.

Говоря в начале прошлого триместра об эдиповом комплексе, я обратил внимание на тот факт, что первое лицо, которое в диалектике отношений между субъектами предстает как кастрированное – это мать. Первая встреча с позицией кастрации происходит именно здесь. И если судьбы девочки и мальчика оказываются различны, то происходит это как раз потому, что первая встреча с кастрацией происходит в Другом.

Маленькая девочка соединяет это наблюдение с тем, относительно чего мать ее ожидания обманула. То, что воспринимается ею у матери как кастрация, воспринимается ею, следовательно, как кастрация и у нее самой, что проявляется поначалу в форме упрека, обращенного к матери. Обида эта накладывается на те, что порождены были обманутыми ожиданиями, этому предшествовавшими. Именно в такой форме предстает поначалу у девочки, как настаивает на этом Фрейд, комплекс кастрации.

Отец является здесь лишь в качестве замены того, относительно чего ожидания ее были прежде обмануты, и с его появлением она переходит на иной уровень – уровень, где она переживает лише-

ние. Поскольку реальный пенис отца, который, как она надеется, возместит ей то, относительно чего ожидания ее были обмануты, предстает здесь уже на символическом уровне, мы вправе говорить именно о лишении – лишении, неизбежно порождающем кризис и приводящем субъекта на то распутье, где ему предстоит отказаться либо от своего объекта, то есть от отца, либо от своего инстинкта, с отцом себя идентифицировав.

Последствия это имеет очень любопытные. Включенный в женский комплекс кастрации в качестве символического заместителя, пенис оказывается у женщины источником всякого рода конфликтов, принадлежащих по типу к конфликтам ревности. Неверность партнера ощущается ею как реальное лишение. Акцент здесь совершенно иной, нежели в том же конфликте, если подходить к нему с точки зрения мужчины.

Я рассматриваю этот вопрос очень бегло и вернусь к нему позже, но прежде хочу остановиться еще на одном моменте. Если фаллос обнаруживается в загражденной форме там, где в качестве указателя на желание Другого уготовано ему место, то как обстоит дело с субъектом? Дальнейшее рассмотрение покажет нам, что субъекту тоже предстоит найти свое место – место желанного объекта по отношению к желанию большого Другого. А это значит, что, как Фрейд в работе *Бьют ребенка* проницательно замечает, субъект в конечном счете обязательно должен определиться в отношении фаллоса – является он им, или нет. Так и только так может субъект себя идентифицировать. Короче, субъект сам, как мы увидим, выступает как похеренный, перечеркнутый, загражденный.

Особенно ярко это проявляется у женщины, о превратностях развития которой я в общих чертах сегодня в связи с фаллосом уже говорил. Женщина – да и мужчина, кстати – всегда оказываются перед неразрешимой дилеммой, с которой все типичные проявления женского начала – в том числе невротического характера, но не только они – так или иначе связаны. Что касается поисков удовлетворения, то этому служит прежде всего пенис мужчины, а впоследствии, в результате замещения, желание ребенка. Я говорю пока лишь о том, что стало в аналитической теории общим местом. Но что все это означает? Это означает, что такое важнейшее, глубокое и связанное с жизнью инстинкта удовлетворение, как удовлетворение материнства, доступно женщине, в конечном итоге, лишь путем ряда последовательных замещений, подстановок. И посколь-

ку пенис с самого начала является результатом подстановки – я бы даже сказал, фетишем – то и ребенок с определенной точки зрения тоже есть не что иное, как фетиш. Вот пути, которыми приходится женщине идти к тому, что является для нее, скажем так, инстинктом, естественным способом удовлетворения.

И наоборот, во всем, что следует направлению линии ее желания, она оказывается связана обусловленной функцией фаллоса необходимостью в определенной, различной от случая к случаю, степени быть этим фаллосом – как знаком того, что ей желанно – самой. Сколь бы хорошо вытеснена, *verdrangt*, функция фаллоса ни была, все проявления того, что рассматривается как женское в ней начало, связаны именно с этим. Тот факт, что она выставляет себя на обозрение и предлагает себя в качестве объекта желания, подспудно, тайным образом идентифицирует ее с фаллосом, ставя ее бытие в качестве субъекта в положение желанного фаллоса, означающего желания Другого. Само бытие это располагает ее по ту сторону предпринимаемого ею как женщиной маскарада, ибо в конечном итоге все, что из женского своего начала она демонстрирует, как раз и связано с тайной идентификацией ее с фаллическим означающим – означающим, которое этому женскому ее началу наиболее близко.

Мы наблюдаем, как выходит здесь на поверхность самый корень того, что на пути осуществления субъекта в русле желания Другого выглядит как *Verwerfung*, как глубокое отторжение всем ее существом того, в чем является она окружающим под видом женщины. Удовлетворение дается ей путем подстановки, замещения, в то время как желание заявляет о себе в плане, где единственное, к чему может оно привести, – это глубочайшее отторжение, *Verwerfung*, глубочайшее отчуждение ее бытия по отношению к тому, в чем призвано оно себя проявить.

Не думайте только, что у мужчины положение лучше. Оно даже, пожалуй, комичнее. Ведь у него, этого несчастного, фаллос как раз имеется, и травмой служит для него знание о том, что его нет у матери – раз уж она, такая сильная, фаллоса лишилась, что же тогда ждет его? Именно в этом изначальном страхе за женщин видит Карен Хорни один из главных источников связанных с комплексом кастрации переживаний. Мужчина, как и женщина, стоит перед дилеммой, только дилемма эта несколько иная. У него маскарад имеет, напротив, место по линии удовлетворения, ибо проблему

опасности, угрожающей тому, что мужчина в действительности имеет, он решает хорошо нам известным способом, то есть просто-напросто идентифицируя себя с тем, кто соответствующие знаки отличия носит и, судя по всему, успешно опасности избежал – с отцом. В конечном итоге мужчина обретает свою мужественность лишь посредством неопределенно длинной череды препоручительств, идущих от всех его предков по мужской линии и проходящих через непосредственного родителя.

Зато по линии желания, то есть постольку, поскольку ему предстоит получить удовлетворение от женщины, он, как и она, пустится на поиски фаллоса. И как все данные, не только клинические – к чему я еще вернусь – о том свидетельствуют, он потому-то и не находит его, этот фаллос, там, где ищет, что ищет его он вовсе не там.

Другими словами, для женщины символический пенис располагается внутри, если можно так выразиться, поля ее желания, в то время как для мужчины он расположен снаружи. Это и объясняет как раз тот факт, что в моногамных отношениях мужчины всегда проявляют тенденции центробежные.

Именно потому, что женщина не является сама собой, именно потому, что в поле своего желания ей уготована участь быть фаллосом, и суждено ей испытать *Verwerfung* субъективной идентификации – идентификации, происходящей там, где заканчивается вторая, берущая начало от большого D линия. Что же касается мужчины, то именно постольку, поскольку он не является, получая удовлетворение, самим собой, то есть постольку, поскольку, заимствуя удовлетворение Другого и у Другого, он рассматривает себя как простое орудие этого удовлетворения, оказывается он в любви ему, этому Другому, внеположен.

Проблема любви – это проблема глубокого разделения, которое она в деятельность субъекта вводит. Согласно самому определению любви, гласящему: "*Любить – значит давать то, чего не имеешь*", – для мужчины *любить* означает *давать то, чего он не имеет*, фаллос, *существу, которое этим фаллосом не является.*

23 апреля 1958 года

ДИАЛЕКТИКА ЖЕЛАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ И ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЗОВ

XX
Сновидение супруги мясника

Желание Другого
Неудовлетворенное желание
Желание чего-то другого
Загражденное желание
Идентификация Доры

Если вещи, принадлежащие миру человека, то есть те, которыми мы в принципе и занимаемся, несут на себе отпечаток связи человека с означающим, то, говоря о них, нельзя пользоваться означающим точно так же, как если бы мы вели речь о вещах иных – тех, что только с помощью означающего и полагаются нами как таковые. Другими словами, между тем, как мы говорим о вещах человеческого мира, и тем, как мы говорим о других вещах, должна быть ощутимая разница.

Мы знаем сегодня, что вещи к приближению означающего небезразличны, что они находятся со строем *логоса* в определенной связи, что связь эта подлежит изучению. Более, чем кто-либо из наших предшественников, способны мы отдать себе отчет в том, насколько глубоко язык проникает в вещи, бороздит их, поднимает и переворачивает целые их пласты. Но, с другой стороны, мы знаем теперь – или, по крайней мере, догадываемся – о том, что выкристаллизовались вещи, за исключением заблуждений, отнюдь не в языке. Именно из этого, во всяком случае, исходит в своей работе наука в том виде, в котором она на данный момент успела сложиться, наука о природе, *physis*.

Кастрировать язык для начала, свести его к минимуму, необходимому, чтобы он вещами мог овладеть, – вот принцип того, что называют обычно трансцендентальной аналитикой. В общем, люди постарались как можно больше – хотя не полностью, конечно, – отделить язык от вещей, с которыми он так сросся было в эпоху, которая возникновению современной науки предшествовала, – отделить, чтобы свести его исключительно к функции вопрошания.

Теперь дело, похоже, вновь усложняется. Разве не констатируем мы, с одной стороны, странные конвульсии, которые возникают в вещах в связи с тем способом, которым мы о них вопрошаем, и, с другой, любопытные тупики языка, который в момент, когда мы о

вещах говорим, становится нам вдруг решительно непонятен? Нас это, впрочем, не касается. Нас интересует человек. А когда речь заходит о человеке, язык наш, надо сознаться, так и остается к своему предмету прочно привязан.

Мы только думаем, что он уже выработан, применяя к вещам человеческого мира дискурс Академии или опирающийся на психологию дискурс психиатрии, – пока новый порядок вещей не наступит, это, по сути, одно и то же. Нетрудно убедиться, насколько построения, которым мы в рамках этих дискурсов доверяемся, бедны, а главное – неподвижны. И в самом деле – рассуждая вот уже целый век о галлюцинации, психиатры так и не сумели всерьез и толком определить, что же это такое.

Подобную же беспомощность демонстрирует весь язык психиатрической психологии вообще – убожество его просто бросается в глаза. Мы говорим, например, об *овеществлении* той или иной функции и чувствуем условность этих овеществлений, рассуждая, скажем, на языке Блейлера о рассогласованности в шизофрении. При этом, произнося слово *овеществление*, мы всерьез полагаем, будто формируем серьезную критическую позицию. Что я имею в виду? Я вовсе не упрекаю психологию в том, что она рассматривает человека как вещь. Было бы здорово, коли бы это ей удалось – ведь это и есть цель науки о человеке. Беда лишь в том, что вещь, которую она из него делает, – это всего-навсего преждевременно огустевший язык, слишком поспешно подставивший свою собственную, присущую ему как языку форму, на место чего-то такого, что изначально в ткань языка вплетено.

То, что мы называем *образованиями бессознательного*, то есть то, что Фрейд нам под этим именем преподносит, – это не что иное, как врастание чего-то первичного в язык. Вот почему он называет это *первичным процессом*. Язык накладывает на это первичное свою печать – именно поэтому и можно сказать, что открытие Фрейда, открытие бессознательного, было подготовлено вопрошанием этого первичного, которое, как было выяснено уже прежде, имеет языковое строение.

Я говорю: *подготовлено*. На самом деле, скорее само открытие это могло бы позволить нам к вопрошанию этого первичного подготовиться, найти к первичным тенденциям верный подход. Но нам это не удастся, покуда мы не усвоим то главное, что необходимо признать в первую очередь: тот факт, что первичное это с самого

начала сплетено, соткано на манер языка. Вот почему я об этом заговорил. Что до тех, кто сулит вам синтез психоанализа и биологии, то они лишь подтверждают тем самым собственное заблуждение – не только потому, что им так и не удалось продвинуться в этом направлении ни на шаг, но и потому, что до наступления нового порядка вещей посулы эти представляют собой заведомое мошенничество.

Нам предстоит, следовательно, продемонстрировать, показать, развернуть перед вами то, что я называю *языковой тканью*. Это не означает, что мы вовсе исключаем первичное в качестве чего-то иного, нежели язык, – напротив, на его-то поиск мы и отправимся.

1

На предыдущих занятиях мы вплотную подошли к тому, что я назвал диалектикой желания и требования.

Я сказал вам, что в требовании идентификация происходит с объектом чувства. Почему, в конечном итоге, это именно так? Да потому, что ничто межсубъектное не может основательно утвердиться, покуда Другой, Другой с большой буквы, не프 изречет слово. Потому что сама природа речи состоит в том, чтобы быть речью Другого. Потому что все, имеющее отношение к проявлениям первичного желания, непременно должно произойти в месте, которое Фрейд, вслед за Фехнером, называл *другой сценой*. Потому, наконец, что, будучи существом говорящим, человек оказался в положении, где он не способен получить какое-либо удовлетворение, покуда удовлетворение это не прошло через слово.

Уже в силу этого положение человека изначально двусмысленно. Желание не может обойтись без уловок речи, а речь эта, ясное дело, получает свой статус, утверждается и разворачивается лишь в Другом как ее месте. Понятно, что субъект совсем не обязательно должен это заметить – скорее наоборот. Я хочу сказать, что различие между Другим и им самим – это различие, которое субъекту с самого начала провести труднее всего. Недаром подчеркивает Фрейд симптоматическое значение того момента в детстве, когда ребенок уверен, что взрослые в курсе всех его мыслей. Одновременно он убедительно доказывает связь этого явления с речью. Поскольку мысли субъекта сформировались в речи Другого, совершенно естественно, если мысли эти и воспринимаются поначалу как этой речи принадлежащие.

Зато в плане воображаемом субъекта связывает поначалу с другим лишь узкая тропка – тропка, сомнительность которой в том, что ее легко перебегать туда и сюда. Нарциссические отношения действительно допускают – как, в частности, это показывает опыт ребенка, – такого рода непрерывные переходы.

Эти два вида двусмысленности, один из которых располагается в плане воображаемом, а другой принадлежит плану символическому – плану, где субъект утверждается в слове Другого, – эти два способа перехода границы, оба приводящие субъекта к отчуждению, никогда между собой не совпадают. Напротив, именно несогласованность их впервые, как показывает опыт, открывает субъекту возможность различить, выделить самого себя как такового. Наиболее заметно это выделение протекает, разумеется, в плане воображаемом, где субъект вступает со своим ближним в отношения соперничества по отношению к третьему, к объекту. Остается, однако, нерешенным вопрос о том, что же происходит, когда субъекты эти имеют дело непосредственно друг с другом, то есть когда субъекту предстоит утвердить в присутствии Другого себя самого.

Диалектика эта упирается в то, что называют *признанием*. Что это такое, об этом вы – по крайней мере, многие из вас – догадываетесь, хотя бы потому, что мы с вами немного об этом уже говорили. Вы знаете, что некто Гегель искал пружины его в конфликте, порождаемом наслаждением, и в борьбе не на жизнь, а на смерть, – откуда и вывел он свою диалектику раба и господина. Все это знать очень важно, но области нашего опыта это отнюдь не исчерпывает, и на то есть веские причины. Дело в том, что, наряду с диалектикой борьбы между рабами и господином существуют еще и отношения между ребенком и его родителями – существует то, иными словами, что происходит на уровне признания в ситуации, когда не о борьбе, не о конфликте идет речь, а о требовании.

Речь идет о том, чтобы увидеть, когда и каким образом желание субъекта, отчужденное в требовании и самим фактом происхождения через требование глубоко видоизмененное, может и должно вступить в игру вновь. Я говорю вам сегодня об очень простых вещах.

Поначалу ребенок, будучи беспомощен, целиком и полностью зависит от требования, то есть от речи Другого – речи, которая саму природу его желания модифицирует, перестраивает, глубоко отчуждает. Эта диалектика требования приблизительно соответствует периоду, который – не знаю, удачно ли, – именуют *до-эдиповым* или

– на сей раз с полным на то правом – *прегенитальным.* Затем мы становимся свидетелями того, как в силу двусмысленности разграничения между Другим и субъектом, в требование включаются оральный объект, который, будучи затребован в оральном плане, инкорпорируется, и анальный объект, лежащий в основе диалектики первоначального дара и существенным образом связанный для субъекта с фактом выполнения или невыполнения им воспитательного требования, то есть требования принять или, наоборот, оставить некоторый объект символического характера. Так или иначе, глубокое преобразование требованием первоначальных желаний остается постоянно ощутимым как в диалектике реального объекта, так и в диалектике объекта анального, в итоге чего Другой, с которым субъект имеет дело в отношениях, определяемых требованием, оказывается и сам подчинен диалектике усвоения, инкорпорации или же отторжения.

В этот момент и должен заработать иной, новый фактор, благодаря которому оригинальность, неповторимость, аутентичность желания субъекта окажутся восстановлены. Именно ему субъект обязан успехами, которых достигает он на последующем, так называемом *генитальном*, этапе. Состоит же этот фактор в том, что в первоначальной, прегенитальной диалектике требования субъект встречает в один прекрасный момент другое желание – желание, которое до сих пор не было им интегрировано и которое вообще не поддается интеграции, не пройдя через преобразования, куда более глубокие и радикальные, нежели те, которым подвергаются желания первоначальные. Путь, которым это желание для субъекта о себе заявляет, как правило, один и тот же – оно заявляет о себе как желание Другого. Субъект признает, таким образом, существование желания по ту сторону требования, желания, требованием не искаженного, и, встречаясь с ним, располагает его по ту сторону того первого Другого, к которому было обращено его требование, – то есть, скажем для ясности, его матери.

То, что я говорю здесь, – это лишь другой способ объяснить то, о чем я говорил всегда, то есть что генитальное желание усваивается субъектом, занимает свое место в устроении его не иначе, как посредством эдипова комплекса. Я хотел бы лишь особо обратить ваше внимание на ту функцию, которую выполняет это желание в Другом, позволяя раз и навсегда установить между Другим и субъектом подлинное различие.

На уровне требования субъект и Другой находятся в отношениях взаимности. Желание субъекта целиком зависит от требования Другого, но и то, чего Другой требует, зависит, в свою очередь, от субъекта. В отношениях матери и ребенка это проявляется в том, что ребенок прекрасно знает: есть и у него кое-что, в чем он может матери, несмотря на ее требование, отказать, игнорируя, скажем, дисциплинарные правила, связанные с испражнением. Отношения между двумя субъектами, складывающиеся вокруг требования, требуют, таким образом, для себя нового, дополнительного измерения – измерения, в котором субъект уже не выступал бы как субъект зависимый, как субъект, чья зависимость составляет самую его суть. Отныне должно быть учтено и осмыслено то, что, впрочем, подспудно имело место с самого начала: по ту сторону того, что субъект требует, по ту сторону того, что требует у субъекта Другой, обязательно должно существовать измерение, где присутствует то, чего Другой желает.

То, о чем я сейчас сказал, первоначально от субъекта глубоко скрыто. Но, будучи заложено в самой ситуации, это именно то, что получит в опыте эдипова комплекса свое дальнейшее развитие. Структурно это и есть фактор, куда более существенный, первичный и фундаментальный, нежели восприятие ребенком отношений между отцом и матерью – тех, которые я, говоря об отцовской метафоре, разобрал в подробностях, – или участие его в любой из ведущих к комплексу кастрации ситуаций. Именно этот фактор определяет развитие того, что кроется *за* требованием.

Желание субъекта впервые обнаруживается и засекается в самом существовании желания Другого как чего-то отличного от его требования – вот положение, которое я собирался для вас сегодня на одном примере проиллюстрировать. На каком именно? Вы, конечно, вправе потребовать, чтобы это было сделано на первом попавшемся примере.

Оно и верно: если то, о чем я говорю, действительно является для выстраивания бессознательного субъекта чем-то основополагающим, пример нам будет найти нетрудно.

2

Я уже упоминал здесь о том, что могут дать нам первые наблюдения Фрейда касательно истерии. Обратимся теперь к тому времени, когда Фрейд впервые заговорил о желании.

А заговорил он о них впервые в связи со снами. Я уже рассказывал однажды о том, что сумел Фрейд извлечь из открывающего его книгу сновидения Ирмы, сновидения об инъекции, и больше я к этому возвращаться не стану. Второе сновидение, рассматриваемое в *Traumdeutung*, это сон самого Фрейда, сон о дяде Иосифе – он включил в эту книгу анализ и нескольких собственных сновидений. Когда-нибудь я его проанализирую сам – оно очень показательно и прекрасно иллюстрирует, в частности, мою схему из двух пересекающихся петель. Именно на его примере лучше всего можно видеть те два этажа, или уровня, на которых сновидение разворачивается? – этаж собственно означающий, этаж речи, и этаж воображаемый, где получает свое воплощение метонимический объект.

Итак, я обращаюсь к третьему сновидению, проанализированному Фрейдом в его книге. Оно фигурирует в четвертой главе ее, озаглавленной *Traumentstellung, Искажения в сновидении*. Принадлежит сновидение даме, которую мы будем называть в дальнейшем для краткости *супругой мясника*. Вот рассказ о сновидении, который приводит Фрейд.

> "Мне приснилось следующее. Я хочу устроить для гостей ужин, но у меня в доме нет ничего, кроме копченой лососины. Я собираюсь пойти купить что-нибудь. Я звоню по телефону знакомому поставщику, но телефон, как на грех, испорчен. Мне приходится отказаться от желания устроить ужин".

Вот и весь текст сновидения. Фрейд скрупулезно регистрирует слова, в которые рассказ облечен, и лишь исходя из этого словесного оформления, из своего рода записанного текста сновидения, представляется ему возможным его анализ.

> "Я отвечаю, конечно, что лишь анализ может выяснить действительный смысл сновидения". (На самом деле, больная рассказала об этом сне, возражая Фрейду: "Вы говорите всегда, что сновидение – осуществление желания. Я вам расскажу сейчас одно сновидение, которое, наоборот, доказывает, что мое желание не осуществилось"). *Фрейд продолжает*: "Я признаю, однако, что сновидение это, на первый взгляд, вполне разумно и связно и действительно якобы противоречит теории осуществления желаний. Из какого же материала проистекает это сновидение? Вы же знаете, что повод к сновидению дается каждый раз переживаниями предыдущего дня. Муж моей пациентки – оптовый торговец мясом, человек славный и очень деятельный. Накануне он

заявил ей, что слишком пополнел и хочет поэтому начать лечиться от тучности. Он будет рано вставать, делать моцион, держать строгую диету и никогда впредь не станет принимать приглашений на ужины. Смеясь, она рассказывает далее, что ее муж познакомился в ресторане с одним художником, который во что бы то ни стало хотел написать с него портрет, потому что, по его мнению, он никогда еще не видел такого характерного человека. На что муж ее со свойственной ему бесцеремонностью ответил, что он ему, конечно, благодарен, но уверен, что всей его физиономии художник предпочел бы кусочек задницы молодой девушки. Моя пациентка очень влюблена в своего мужа и без конца дразнит его. Недавно она просила не покупать ей икры. – *Что это значит?*"

Дело в том, что ей уже давно хотелось каждое утро бутерброды с икрой. Но она отказывает себе в таком расточительстве – *или, скорее, не позволяет себе подобной вольности.* Конечно, муж тотчас купил бы ей икры, если бы она ему об этом сказала. Но она, наоборот, просила его икры не покупать. Чтобы потом иметь возможность в шутку попрекнуть его этим".

Далее Фрейд делает в скобках следующее замечание: "Это объяснение кажется мне притянутым за уши. Позади таких неудовлетворительных сведений скрываются обычно какие-нибудь задние мысли. Достаточно вспомнить о пациентах Бернгейма: они выполняли внушенные им в гипнозе действия и, будучи спрошены о мотивах последних, не отвечали, что они, мол, не знают, почему это сделали, а изобретали чрезвычайно неправдоподобные объяснения. Точно так же обстоит, по-видимому, дело и с икрой. Я замечаю, что моя пациентка принуждена создавать себе в жизни неосуществленные желания. Во сне желание ее так и остается, действительно, не исполненным. Но зачем ей, собственно, такое желание нужно?"

"Всего этого недостаточно для толкования сновидения, – *продолжает Фрейд.* – Я добиваюсь дальнейшего разъяснения. После непродолжительного молчания, обычного для тех случаев, когда говорящему приходится преодолевать внутреннее сопротивление, она сообщила, что вчера посетила одну свою подругу, которую ревнует к мужу: он постоянно говорит ей комплименты. К счастью, подруга эта очень худощавая, а ее мужу нравятся только полные. О чем же говорила эта худощавая подру-

га? Конечно, о своем желании немного пополнеть. Она спросила, кроме того, мою пациентку: "Когда вы нас пригласите к себе? Вы всегда так хорошо угощаете!"

Смысл сновидения становится ясен. Я могу сказать пациентке: "Это все равно, как если бы вы подумали при ее словах: как же, позову я тебя – чтобы ты у меня наелась, пополнела и еще больше понравилась моему мужу! Уж лучше я не буду никогда устраивать ужинов!" И действительно, сновидение говорит вам, что вы не можете устроить ужина, – оно таким образом осуществляет ваше желание отнюдь не способствовать округлению форм вашей подруги. Ведь о том, что человек полнеет от угощений в чужом доме, говорил вам ваш муж, который, желая похудеть, решил не принимать приглашений на ужины. Нам недостает только еще одного элемента, который подтвердил бы это толкование. Мы не разъяснили значение в сновидении копченой лососины. "Почему вам приснилась лососина?" – "Копченая лососина – любимое кушанье этой подруги", – отвечает она. Случайно я тоже знаком с этой дамой и могу подтвердить, что она так же любит лососину, как моя пациентка – икру".

И здесь Фрейд предлагает еще одно истолкование текста сновидения – истолкование, вводящее нас в диалектику идентификации. *Она идентифицировала себя со своей подругой. Именно в знак этой идентификации, то есть постольку, поскольку она идентифицировала себя с другой, и придала она себе в реальной жизни неосуществленное желание.*

Уже в этом простом тексте прорисовываются связи, которые вы, я думаю, наверняка почувствуете. На какой бы странице я *Traumdeutung* ни открыл, вы обязательно обнаружите там ту же самую диалектику. Это сновидение, первое попавшееся мне под руку, продемонстрирует нам диалектику желания и требования, которая у больных истерией выступает в наиболее простой форме.

Продолжим чтение Фрейда, прослеживая до конца то, что этот чрезвычайно важный текст формулирует. Перед нами одна из первых и очень четких фрейдовских формулировок, касающихся значения истерической идентификации. Фрейд уточняет здесь ее смысл. Я опускаю для краткости несколько строк. Обсуждая то, что называется истерическим подражанием, и симпатическое сочувствие, которое может проявить к другому больной истерией, он энергично критикует попытки свести истерическую заразитель-

ность к чистому подражанию.

Процесс истерической идентификации, *утверждает Фрейд*, "несколько сложнее, чем имитация истериков, как обычно ее представляют, – он соответствует бессознательной дедуктивной процедуре. Я постараюсь проиллюстрировать это примером. Врач, у которого в палате среди других пациентов имеется больная, страдающая характерными судорогами, не должен удивляться, если в один прекрасный день он узнает, что этот истерический симптом нашел себе подражание. (...) Психическая зараза происходит примерно следующим образом. Больные, – здесь надо осознать, насколько весомо подобное замечание даже в наши дни, не говоря уже о том времени, – знают обычно больше друг про друга, чем знает о любом из них врач, и продолжают интересоваться болезнями друг друга и после его визита".

Очень важное наблюдение. Другими словами, человеческий объект продолжает переживать свои тесные и приватные отношения с означающим даже после того, как наблюдатель, будь он бихевиорист или нет, успел заинтересоваться его фотографией.

"У одной из пациенток случился припадок, другие тотчас же узнают, что причиной ему послужило письмо из дому, воспоминание об испытанном горе и т. п. Они сочувствуют ей, у них появляется следующая мысль, не доходящая, впрочем, до сознания: если такая причина способна вызвать припадок, то такие же припадки могут быть и у меня, – *перед нами артикуляция элементарного симптома, отвечающая идентификации дискурса, то есть ситуации, в этом дискурсе артикулированной,* – потому что у меня налицо те же причины. Если бы эта мысль дошла до сознания, то она, по всей вероятности, вылилась бы в форму страха перед такого рода припадком. Она возникает, однако, в другом психическом плане и заканчивается реализацией данного симптома. Идентификация есть поэтому не простая имитация, а присвоение на почве одинакового этиологического условия: она служит выражением некоего "совершенно так, словно", коренящегося в общности, которая сохраняется, несмотря ни на что, в бессознательном". *Термин "присвоение" означает здесь скорее "усвоение".*

"Истерик идентифицирует себя в своей болезни наиболее часто – если не исключительно – с лицом, с которым он находился в половой связи или которое находилось в такой связи с тем же

лицом, что и он. Мысль эта к тому же укоренена в языке, утверждающем, что любящие – одно существо", – *говорит Фрейд.*

Проблема, которую здесь поднимает Фрейд, – это проблема идентификации с ревнивой подругой. Я хочу в связи с этим привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что желание, с которым мы встречаемся с первых шагов анализа и с которого разгадка тайны, собственно, и начинается, – это желание принципиально неудовлетворенное. В момент сновидения больная была озабочена придумыванием себе неудовлетворенного желания. Какова же функция такого желания?

Мы вычитываем в сновидении не что иное, как удовлетворение пожелания – пожелания иметь неудовлетворенное желание. Тем самым мы обнаруживаем, что ситуация, которую я пытаюсь обрисовать, ситуация, принципиально ставящая человека между требованием и желанием, с самого начала здесь налицо. Для введения в нее я воспользовался случаем истерического больного, так как истерия и держится, собственно, на расщеплении между требованием и желанием – расщеплении, необходимость которого я вам только что показал.

Чего требует больная наяву, в жизни? Чего требует эта женщина, которая без ума от своего мужа? – Она требует любви. Истерические больные, как и все мы, требуют любви, только у них это принимает более тяжелые формы. А чего она желает? – Она желает икры. Чтобы понять это, достаточно уметь читать. Чего же она хочет? – Она хочет, чтобы ей икры не давали.

Вопрос в том, почему для поддержания удовлетворяющих ее любовных отношений больной истерией необходимо, во-первых, желать *чего-то другого*, роль которого здесь явно и играет икра, и, во-вторых, сделать так, чтобы ей этой икры не давали, ибо только при этом условии и может *что-то другое* выполнять функцию, которую оно в данном случае выполнять призвано. Ее муж и рад бы купить ей икры, но тогда, воображает она, он, чего доброго, успокоится. А хочет она, по словам Фрейда, как раз того, чтобы муж ей икры не давал и они смогли бы тогда любить друг друга безумно, то есть бесконечно друг друга подначивать, не давать друг другу спокойной жизни.

Эти структурные элементы сами по себе ничего оригинального не содержат, но теперь, когда мы внимательно к ним присматриваемся, начинают приобретать смысл. Вырисовывается структура, ко-

торая, помимо комической своей стороны, служит выражением определенной необходимости. Больной истерией – это субъект, которому трудно установить с Другим, складывающимся в качестве Большого Другого, носителем выговоренного в речи знака, отношения, которые позволили бы ему место субъекта за собой сохранить. Именно так можно, пожалуй, определить истерического больного. Другими словами, больной этот настолько открыт – или открыта – речевому внушению, что за этим должно обязательно что-то стоять.

В работе *Коллективная психология и анализ Я* Фрейд задается вопросом о происхождении гипнотических эффектов, притом что связь их со сновидением неочевидна, а выборочность воздействия – иные поддаются ему легко, а иные, наоборот, решительно ему не подвержены – остается загадкой. Все, однако, свидетельствует, похоже, о том, что происходящие в гипнозе явления становятся для субъекта возможными, когда налицо в чистом виде определенные ситуации – или, лучше сказать, определенные либидинальные позиции. О чем идет речь? Да о тех самых местах, тех самых позициях, которые мы собираемся прояснить. Неизвестный элемент, о котором говорит Фрейд, имеет прямое отношение к тому, как сочленяются друг с другом требование и желание. Это и есть то, что мы в дальнейшем попытаемся показать.

Если субъекту необходимо создать себе неосуществленное желание, то лишь потому, что это единственное условие, при котором может возникнуть для него Другой действительно реальный, то есть Другой, который не был бы всецело имманентен удовлетворению взаимных требований, полному растворению желания субъекта в речи Другого. Желание, о котором идет речь, является по самой природе своей желанием Другого, – вот урок, который преподносит нам диалектика сновидения, ибо больная не хочет, чтобы ее желание икры было в действительности удовлетворено. И сновидение это безусловно стремится удовлетворить ее, предлагая решение мучающему ее вопросу.

Желание икры – чем оно в сновидении представлено? Оно представлено другим его персонажем, подругой, с которой больная себя, судя по указанным Фрейдом признакам, идентифицирует. Подруга тоже истеричка – а может быть, и нет, это неважно, в любом случае почвой их отношений является истерия. Больная истерична, и подруга, скорее всего, истерична тоже, так как истерический

субъект почти целиком складывается исходя из желания Другого. Желание, которое фигурирует у субъекта во сне, – это желание, свойственное ее подруге, желание лососины, и лососина – единственное, что имеется-таки у нее в доме, когда она понимает, что ужина ей дать не удастся. Лососина эта указывает здесь как на желание Другого, так и на возможность удовлетворения этого желания, но удовлетворения, доступного лишь Другому. "*В любом случае, не бойтесь – копченая лососина у меня найдется*", – сновидение не утверждает, конечно, что она лососиной этой подругу попотчует-таки, но намерение здесь налицо.

Зато что действительно остается невыполненным, так это требование подруги, генетический элемент сновидения. Она просит приглашения на ужин в дом, где так хорошо готовят и где можно заодно встретиться с обаятельным хозяином. Этот любезный супруг, который о подруге своей жены так хорошо отзывается, – у него тоже есть своя тайна, свое маленькое желание, и зад девушки, упомянутой столь неожиданно в связи с любезным предложением знакомого художника написать его интересное и выразительное лицо, на это желание указывает. Короче, у каждого есть на уме свое маленькое желание, у кого посильнее, у кого послабее.

Разница лишь в том, что у больного истерией желание, как то, что призвано осуществлять свою функцию в качестве желания неисполненного, выходит на первый план. В поведении истерика, будь он мужчина или женщина, вы ничего не поймете, если не будете исходить из этого первичного структурного элемента. С другой стороны, именно истерическая структура является в отношениях между человеком и означающим изначальной. Стоит вам хоть немного развить в работе с субъектом диалектику требования, вы обязательно окажетесь в том пункте структуры, где происходит расщепление, *Spaltung*, между требованием и желанием, – окажетесь, рискуя наделать ошибок, то есть спровоцировать у больного истерию, так как, сами понимаете, то, что мы здесь с вами анализируем, для самого субъекта является бессознательным. Другими словами, сам истерик не знает, что требованием своим он удовлетвориться не может, но очень важно, чтобы это хорошо знали вы.

Эти замечания позволяют нам теперь приступить к разбору того, что означает маленькая диаграмма, которую я в прошлый раз здесь нарисовал, – предлагать вам ее истолкование сразу же было несколько преждевременно.

Как мы уже сказали, все, заявляющее о себе в качестве потребности, должно пройти через требование, то есть адресоваться Другому. Напротив точки их пересечения, с противоположной стороны схемы, происходит или не происходит встреча, занимающая место сообщения, то есть того, что, принадлежа Другому, выступает как означаемое. Возникает, наконец, послед требования – послед, состоящий в перелицовке того, что проявляется в желании субъекта, когда оно находится в состоянии еще неоформленном, – проявляется, что принципиально, в форме его, этого субъекта, идентификации. В следующий раз я вернусь к этому вопросу с текстом Фрейда в руках, и вы убедитесь, что когда он впервые начинает вполне членораздельно об идентификации говорить – вы можете, если хотите, обратиться к тексту самостоятельно – первичная идентификация характеризуется у него в полном согласии с моей схемой.

С другой стороны, вы знаете, что в контуре, где происходит нарциссическое короткое замыкание, открывается, намечается в отношениях субъекта к другому возможность вмешательства кого-то третьего.

Главная мысль в моих рассуждениях о функции фаллоса заключалась в том, что фаллос – это означающее, которым напечатлено то, что желает Другой как таковой, то есть Другой реальный, человеческий, в самом существе устроения своего несущий печать означающего. Вот формула, к изучению которой мы сейчас приступаем. Лишь постольку, поскольку Другой запечатлен означающим, и исключительно через его, этого Другого, посредство, способен субъект признать, что запечатлен означающим и он сам, то есть что по ту сторону всего, что может получать удовлетворение посредством означающего, через требование, всегда остается что-то еще. Это возникающее в области действия означающего расщепление, этот связанный с означающим неустранимый осадок имеет свой знак и сам, но знак этот идентифицируется напечатленным в означающем следом. Здесь-то и предстоит субъекту встретиться со своим желанием.

Другими словами, лишь постольку, поскольку желание Другого заграждено, получает субъект возможность признать загражденное, неудовлетворенное желание и за самим собой. Именно на этом уровне, на уровне загражденного посредством Другого желания, происходит встреча субъекта с наиболее аутентичным, подлинным

своим желанием, желанием генитальным. Именно по этой причине и несет на себе генитальное желание отпечаток кастрации – или, другими словами, отпечаток определенных отношений с означающим, именуемым фаллосом. Ибо то и другое – это две вещи совершенно эквивалентные.

В первую очередь мы обнаруживаем то, что отвечает на требование, – то есть, на первом этапе, речь матери. Сама эта речь соотнесена с законом, лежащим по ту ее сторону и воплощенным, как я уже показал, в отце. Именно это и составляет отцовскую метафору. Но вы вправе предположить, что к этому многоэтажию речи дело отнюдь не сводится, и ощущение, что чего-то здесь не хватает, появилось, думаю, и у вас, когда я схему эту вам объяснял.

Оно и понятно: по ту сторону речи и сверх-речи, то есть отцовского закона, как бы закон этот ни называть, действительно требуется кое-что еще. Именно в этом качестве и, естественно, на том же уровне, что и закон, выступает на сцену особое, избранное означающее – фаллос. В обычных условиях место его находится на второй ступени встречи с Другим. Это и есть то, что я обозначил в своих формулах символом S(Ⱥ), где S выступает как означающее перечеркнутого, похеренного Другого. Речь идет о том самом, что я только что определил как функцию фаллического означающего, – оно призвано запечатлеть то, чего желает Другой – желает постольку, поскольку сам он означающим запечатлен, загражден, зачеркнут.

Где же тогда на моей схеме субъект? Поскольку речь не идет больше о субъекте двусмысленном, склоняющемся к речи Другого и втянутом в то же время в отношения зеркального противостояния с другим маленьким, а о сложившемся, завершенном субъекте моей Z-образной формулы, то это субъект уже загражденный, похеренный – субъект, на котором лежит уже, в свою очередь, отпечаток связи его с означающим. Вот почему субъект находится на схеме здесь, в пункте ($\$ \lozenge D$) – пункте, где возникают отношения субъекта с требованием как таковым.

Что представляет собой обязательный этап, на котором происходит обыкновенно соединение в одно целое комплекса эдипа и комплекса кастрации, то есть выстраивается, их посредством, желание субъекта? Каким образом это имеет место? Развернутый ответ вы найдете на моей диаграмме. Измерение, лежащее по ту сторону связи с речью Другого, вводится посредством фаллического означающего. Но как только это положение дел сложилось, как толь-

ко фаллическое означающее в качестве желания Другого оказывается там, оно, разумеется, на этом месте долее не остается, а воссоединяется с речью Другого и занимает, со всеми вытекающими отсюда последствиями, свое место по эту сторону – там, где впервые возникает связь речи с матерью. Именно здесь выполняет оно свою роль и принимает на себя свою функцию.

Другими словами, потустороннее, которое мы постулировали, пытаясь выделить необходимые для усвоения речи этапы, которые позволили бы желанию занять для субъекта определенное место, – потустороннее это остается для субъекта бессознательным. Именно здесь разворачивается для него отныне диалектика требования, хотя и остается от него скрытым, что диалектика эта возможна лишь постольку, поскольку желание его, подлинное его желание, располагается в остающихся для него бессознательными отношениях с желанием Другого. Обычно, короче говоря, две эти линии меняются местами.

Уже в силу самого факта, что они должны поменяться местами, в промежутке возникают различного рода сбои. Сбои эти принимают, как мы в дальнейшем увидим, различные формы. Сегодня я просто укажу вам на элементы несостоятельности, всегда свойственные истерикам.

3

Обратимся к случаю Доры.

То, что лежит здесь по ту сторону желания Другого, возникает у нас на наших глазах в чистом виде, и мы осязаемо чувствуем ту причину, по которой часть из набора необходимых элементов у нее отсутствует. О матери здесь речи нет вовсе. Вы, наверное, заметили, что в случае этом она просто не упоминается. Дора имеет дело с отцом. Именно от отца она и хочет любви.

Надо честно признать, что до анализа жизнь Доры прекрасно уравновешена. Вплоть до момента, когда разыгрывается драма, она со своими проблемами удачно справляется. Ее требование обращено к отцу, и дела идут прекрасно, потому что у отца ее есть желание – и тем более прекрасно, что это желание неудовлетворенное. Дора, чего Фрейд не скрывает, прекрасно понимает, что отец ее бессилен и что желание его по отношению к г-же К – это желание заграждение.

Но знаем мы и другое: то, что Фрейд узнал слишком поздно, а

именно, что объектом желания Доры является – будучи объектом желания, загражденного желания, отца – г-жа К. Именно таково состояние дел до тех пор, пока налицо желание – желание, которое ни для Доры, ни для ее отца удовлетворено быть не может.

Все зависит от того места, где происходит идентификация так называемого Идеала Я. Вы видите это место на моей схеме – в нормальных случаях идентификация всегда происходит после двойного пересечения с линией Другого, в точке I(A) Именно так обстоит дело и в случае Доры – с той разницей, что желание Отца представлено второй линией. И лишь после двойного пересечения с двумя линиями имеет место здесь, в точке ($\$\lozenge a$), идентификация истерического субъекта. Речь не идет больше об идентификации с отцом – идентификации, имеющей место в случае, когда отец является просто-напросто тем, кому адресуется требование. Не забывайте: теперь имеется еще и нечто по ту сторону – нечто такое, что истерического субъекта в отношении его удовлетворения и равновесия прекрасно устраивает. Идентификация происходит с маленьким другим, который, со своей стороны, вполне способен желание удовлетворить. В данном случае это г-н К, муж г-жи К – очаровательной, блестящей, соблазнительной г-жи К, которая и являет собой подлинный объект желания Доры. Идентификация эта происходит в данном случае потому, что Дора является истеричкой, а в случае истерии дальше процесс пойти не может.

Почему? Да потому что желание является элементом, который сам по себе призван занять то место потустороннего, на которое собственная позиция субъекта по отношению к требованию указывает. Будучи истеричкой, она не знает, чего она требует, – она всего-навсего испытывает потребность в том, чтобы где-то там, по ту сторону, это желание было. Но для того, чтобы на желание это она могла опереться, чтобы она могла обрести в нем свою законченность, свой идеал, чтобы она могла с ним идентифицироваться, необходимо, по меньшей мере, чтобы там, на уровне чего-то потустороннего требованию, произошла встреча, которая позволила бы ей на этой линии задержаться, найти на ней свое место. Вот здесь-то и выступает на первый план г-н К, в котором, как показывают все наблюдения, и находит Дора своего другого в смысле маленького *a* – того, в ком она узнает себя.

Именно поэтому и проявляет она к нему такой интерес, что вводит этим окружающих в заблуждение – недаром и Фрейд полагает,

будто она влюблена в г-на К. На самом деле она не влюблена в него, но он ей необходим – тем более необходим, что для него желанной является г-жа К. Как я вам сотни раз уже говорил, это с избытком доказывается тем фактом, что в цепочке нашей возникает короткое замыкание, и Дора впадает по отношению к маленькому *а* в состояние несдержанной агрессии – агрессии, проявляющейся в звонкой пощечине. Здесь находит свое выражение злоба против другого как себе подобного – другого, который, в силу подобия этого, похищает у вас ваше существование. Роковые слова г-на К – он, бедняга, не знает, что говорит, ему неведомо, что Дора идентифицирует себя с ним, – его уверение, что жена для него ничего не значит, – это как раз то самое, что для Доры невыносимо. Невыносимо почему?

Есть основания утверждать, хотя это проблемы и не исчерпывает, что у Доры явно прослеживается гомосексуальная структура – насколько она вообще может быть истеричке свойственна. В противном случае, после того, что ей сказал г-н К, она должна была бы, по идее, быть довольна. Ничуть не бывало – именно его слова и вызывают у нее взрыв гнева, ибо в момент, когда он их произносит, рассыпается в прах ее прекрасная истерическая конструкция – конструкция, построенная на идентификации с маской, со знаками отличия Другого, с теми полноценными мужскими знаками отличия, что находит она не у собственного отца, а у г-на К. Вот тогда-то и возвращается она к требованию в чистом виде, к претензии на любовь отца, тогда-то и впадает она в квази-параноидальное состояние, рассматривая себя как то, чем она с гораздо большей степенью объективности для отца действительно и является, – как предмет обмена, как фигуру, с которой развлекается г-н К, пока он, отец, занимается г-жой К. Несмотря на всю тщетность подобных мыслей, она ими довольствуется, и сама функция желания выступает в данном случае очень четко.

После слов г-на К наша истеричка возвращается с неба на землю – на самый примитивный уровень требования. Все, что ей нужно, это чтобы отец занимался лишь ею одной, чтобы он дарил ей свою любовь – другими словами, согласно нашему определению, все то, чего у него нет.

То, что мы с вами сегодня проделали, – лишь первое легкое упражнение в нашем черчении, упражнение, которое призвано было про-

яснить для вас смысл существующей между желанием и требованием связи. По мере того, как вы в этих упражнениях поднатореете, продвижение наше станет увереннее и быстрее.

30 апреля 1958 года

XXI
Сновидения "тихони"

Г-жа Дольто и фаллос
Корсаж истерички
Безусловность требования любви
Абсолютное условие желания
Другой, обращенный в объект желания

Мы возьмем в качестве отправной точки тему, интерес которой те, кто присутствовал вчера вечером на научном докладе Общества, имели возможность оценить. Речь шла о гетеросексуальных отношениях. О них-то и попытаемся мы сегодня, в свою очередь, поговорить.

1

В перспективе, которая была нам предложена, гетеросексуальные отношения выступали, по сути дела, как формообразующие. Они были представлены как то, что в обуславливающих развитие ребенка семейных ситуациях задано изначально В другой перспективе, из которой исходим мы, это, наоборот, как раз и оказывается под вопросом. Правда ли, что гетеросексуальные отношения между человеческими существами являются чем-то само собой разумеющимся?

На самом деле, если мы обратимся к начальному жизненному опыту, такого впечатления у нас не создастся. Будь эти отношения действительно чем-то само собой разумеющимся, они обязательно должны были бы создать во внутреннем мире россыпь островков, где царит гармония, во всяком случае у тех, кому удалось бы расчистить эти островки от дикорастущей поросли. И вовсе не похоже, что на данный момент мы имеем основание полагать, будто психоаналитики – впрочем, нужно ли вообще, если уж на то пошло, в данном случае психоаналитиков спрашивать? – не сойдутся на том, что гетеросексуальные отношения остаются у человека, даже достигнув полного своего развития, нестабильными, ибо как ни крути, а все проблемы его связаны именно с этим. Возьмем, к примеру, работы Балинта, в центре которых стоят именно эти про-

блемы – недаром сборник его работ озаглавлен “Genital Love”. Автор признает существование окончательного и неустранимого расщепления, *Spaltung*, и противостояния между потоком желания, с одной стороны, и потоком нежности, с другой. Именно вокруг этого противостояния вся проблема гетеросексуальных отношений и разворачивается.

Только что сделанные замечания отнюдь не лишают интереса то, что нам вчера говорилось – вспомним хотя бы термины, на которые докладчица опиралась, и, к примеру, воспользовавшись подлинными ее выражениями, ту высокую сознательную и эстетическую оценку пола, которая знаменует собой, с ее точки зрения, важнейший этап в развитии эдипова комплекса. Пол, символ его, предстают нам, по словам г-жи Дольто, как правильная и прекрасная форма. Пол прекрасен – прибавляет она. Зная ту, чьи уста эту истину изрекают, носители мужского пола должны считать эту точку зрения для себя лестной.

Непохоже, однако, что мы должны так уж безоговорочно с ней согласиться – сошлемся хотя бы на одного из тех, кто при обсуждении доклада выступил, и весьма авторитетно, на эту тему, опираясь на то, что можно назвать этнологическими наблюдениями. Дикари, эти “добрые дикари”, всегда были для антропологов последней инстанцией, и вовсе непохоже, на самом деле, что правильная и прекрасная форма фаллоса находит в этой инстанции изначальное – насколько об “изначальности” дикаря вообще можно говорить – подтверждение.

Судя по совокупности относящихся сюда документов, под которыми я разумею не ученые изыскания, не выводы, которые рождаются в кабинете этнографа, а свидетельства, основанные на личном опыте тех этнографов, которые на месте с этими дикарями, добрыми или не очень, имели дело, похоже, что даже у самых отсталых племен началом и основой отношений между полами служит то, что фаллос, по крайней мере в состоянии эрекции, оказывается скрыт. Как это ни поразительно, но даже у племен, чьи одежды наиболее примитивны, приходится констатировать наличие чего-то такого, что призвано фаллос скрыть: чехольчика для пениса, например, – этого последнего остатка одежды.

К тому же множество этнографов согласно свидетельствуют о том, что при откровенной демонстрации эрегированного фаллоса особы женского пола испытывают, в качестве непосредственной ре-

акции, своего рода раздражение. В очень редких случаях одеждой вообще не пользуются – отсутствует она, однако, у намбиквара, чьим гостем наш друг Леви-Стросс неоднократно, как вы знаете, бывал и о которых им немало написано. На вопрос, заданный мною ему на сей счет, он, повторяя сказанное им в *Печальных тропиках*, заверил меня, что ни разу не наблюдал эрекции в присутствии группы людей. Половые отношения специально не скрывают, все происходит в двух шагах от группы, по вечерам невдалеке от костров стойбища, но эрекция, будь то днем или ночью, никогда не демонстрируется публично. Для нашей темы это свидетельство немаловажно.

С другой стороны, существует понятие правильной и прекрасной формы. Рисовать себе значение фаллоса в этих терминах можно было бы, пожалуй, лишь в перспективе весьма однобокой. Я прекрасно знаю, что существуют прекрасные и правильные женские формы. Цивилизация, какие бы элементы ее мы ни взяли, придает им, безусловно, цену, но говорить о прекрасной и правильной форме в однозначном смысле нам в связи с этим отнюдь не приходится, хотя бы уже в силу существующих индивидуальных различий. Так или иначе, мы можем смело сказать, что очертания этой правильной и прекрасной формы куда более расплывчаты, чем у той, другой. И хотя силуэт Венеры Милосской и Афродиты Книдской маячит за каждой женщиной, результат далеко не всегда оказывается, в конечном счете, однозначно благоприятным. Домье немало упрекали за то, что он придал богам Греции дебелые формы современных ему буржуазных дам и господ. Ему вменяли это как святотатство. В этом как раз и состоит проблема, о которой я говорю, – неудивительно, что очеловеченные боги выглядят столь жалко, ведь и людям придать божественный облик бывает порой не так просто.

Короче говоря, даже если естественные потребности, связанные с продолжением человеческого рода, без этой прекрасной и правильной формы обойтись не могут, в целом нам все равно приходится довольствоваться требованиями весьма скромными – требованиями, к которым термин прекрасной и правильной формы заведомо неприложим. Во всяком случае, он остается загадочным.

На самом деле все то замечательное, что столь уместно было высказать в пользу ценности фаллоса в качестве правильной и прекрасной формы, как раз и оказывается тут под вопросом. Что не лишает его, разумеется, достоинства формы в каком-то смысле име-

ющей преимущество. Рассуждения наши, будучи обоснованным развитием мыслей Фрейда и его клинического опыта, призваны представить значение фаллоса в совсем ином свете.

Фаллос – это не форма, во всяком случае не форма, фигурирующая как объект, поскольку такая форма всегда остается, по меньшей мере в каком-то определенном смысле, формой пленяющей, завораживающей, в то время как наша проблема всецело лежит в другом измерении. Все построение аналитического учения свидетельствует о том, что влечение между полами представляет собой нечто куда более сложное, нежели влечение воображения. Что касается нас, то мы склоняемся к тому, чтобы предложить для решения проблемы формулу, которая пока сама представляет собой лишь тезис, требующий для своего понимания дальнейшего развития: фаллос – это не образ и не объект, будь то частичный или внутренний, фаллос – это означающее.

Означающее. Мало сказать, что он означающее. Какое именно? Фаллос – это означающее желания. Тут же, правда, встает другой далеко идущий вопрос: а что, собственно, говоря об означающем желания, мы имеем в виду? Сама широковещательность этого утверждения предлагает, конечно же, что мы прежде ясно определили, что же такое желание.

В той функции, что занимает оно в нашем опыте, желание вовсе не выступает как нечто само собой разумеющееся. Это не просто возникающее между полами взаимное вожделение, половой инстинкт. Понятие желания не исключает, естественно, наличия более или менее ярко выраженных индивидуальных тенденций, в которых проявляется по преимуществу большая или меньшая способность того или иного индивида к половому общению. Вопрос о формировании желания в том виде, в котором мы его у индивидов, независимо от того, невротики они или нет, обнаруживаем, это ни в коем случае не решает. Формирование желания индивида не имеет с его багажом интеллектуальных возможностей ничего общего.

Теперь, оправившись от растерянности, в которую едва не повергли нас перспективы вчерашнего выступления, самое время вновь обратиться к текстам Фрейда.

2

Я не первый раз это говорю, но сегодня мне хочется это повторить еще раз: существование такого текста, как *Traumdeutung* – са-

мое настоящее чудо. Он производит впечатление чуда потому, что при чтении его мысль – я не преувеличиваю – рождается у вас на глазах. Но дело не только в этом.

Материал распределен там по тактам, выстраивающимся в многоплановую композицию, каждый уровень которой – здесь как раз это слово более чем уместно – сверхдетерминировано. Приступая к нему так, как я делал это в прошлый раз, то есть начиная с первых сновидений, разбираемых в книге, мы замечаем, что значение материала, который у автора идет первым, выходит далеко за пределы соображений, которые приводит на этот счет он сам. Так, некоторые из сновидений, анализируемых в начале книги, как, например, то, которое я в прошлый раз здесь комментировал, – то, что я назвал сновидением *супруги мясника*, – рассматриваются им лишь в связи с вопросом о том, в какой мере определяется содержание сновидения впечатлениями, полученными накануне.

Я, как вы знаете, воспользовался этим сновидением для подхода к проблеме желания и требования. Это не я вложил желание и требование в сновидение – они там действительно налицо, и Фрейд тоже не вложил их туда – он их там вычитал. Именно он разглядел у больной потребность создать себе неудовлетворенное желание, и именно он впервые об этом сказал. Конечно, работая над *Traumdeutung*, Фрейд не в состоянии был предусмотреть для своих терминов специальной подсветки. Но сам подход его к вещам и тот порядок, в котором он их рассматривает, продиктованы соображениями более серьезными, чем распределение материала по главам. И сновидение, о котором я говорю, действительно служит прекрасным введением в проблему, которая в предлагаемой здесь перспективе является ключевой – в проблему желания.

Что же касается требования, то вряд ли стоит и говорить, что оно налицо повсюду. Ведь и сновидение имело место лишь потому, что подруга потребовала у пациентки, чтобы та пригласила ее к обеду. Да и в самом сновидении требование присутствует вполне недвусмысленно. Больная знает, что в этот день все закрыто, знает, что недостаток продуктов к предстоящему званому обеду она восполнить не сможет, и тем не менее пытается их затребовать, причем требование это выступает в сновидении в неприкрытой, акцентированной форме, ибо высказывает она его по телефону, который в то время – а сновидение это описано уже в первом издании книги – был еще редкостью. Телефон действительно несет в дан-

ном случае серьезную символическую нагрузку.

Пойдем дальше. Какие сновидения открывают у Фрейда главу, посвященную материалам и источникам сновидений?

Первое, что мы здесь встречаем, это сновидение о монографии по ботанике, сновидении самого Фрейда. Его я пропущу – не потому, что сегодня, когда я пытаюсь объяснить вам, как функционируют связи фаллического означающего с желанием, оно не дает нам подходящего материала, а просто потому, что это сновидение самого Фрейда, так что демонстрация искомого на его примере окажется чуть сложнее и дольше. Я сделаю это позднее, если у меня будет время – ясно как день, что и тут все выстраивается точь-в-точь по маленькой схеме, которую я начал рисовать вам, говоря о дискурсе истерического больного. Фрейд, однако, не является истериком в чистом виде. Он причастен истерии в той мере, в какой причастна ей всякая связь с желанием, но причастность эта носит характер более тонкий.

Итак, мы пропускаем сновидение о монографии по ботанике и приступаем к сновидению пациентки, которую Фрейд характеризует как истеричку. Мы возвращаемся, таким образом, к теме желания истерического больного.

> Одна очень неглупая интеллигентная молодая дама, несколько скрытная, из тех, что притворяются “тихонями”, рассказывает: “Мне приснилось, что я приехала на рынок слишком поздно, и ни у мясника, ни у продавца овощей ничего было уже не купить”. Сновидение вроде бы вполне невинное, но так сновидения не рассказывают. Я попросил вспомнить какие-нибудь детали. Они оказались следующими: дама пошла на рынок в сопровождении кухарки, которая несла корзину. Когда она попросила чего-то у мясника, тот ответил, что этого больше не имеется, *Das ist nicht mehr zu haben*. Он предложил ей какие-то странные овощи, черные и увязанные в пучки. *Das kenne ich nicht, das nehme ich nicht*, Я не знаю, что это такое, я этого не возьму, – ответила дама.

Комментарий Фрейда здесь очень важен, так как больную анализировали не мы. В свое время, когда *Traumdeutung* впервые увидело свет, это было чем-то вроде появления первой работы по теории атома, со всей предшествующей физической наукой никак не связанной. К тому же и встречена она была едва ли не полным молчанием.

И вот на первых же страницах своей книги, говоря о присутствии

в сновидении свежего и психически индифферентного материала, Фрейд спокойно предлагает читателям следующий комментарий. – *Она действительно пошла тогда на рынок очень поздно и ничего так и не купила.* Попытка связать сновидения с событиями предшествующего дня. – *Невольно хочется сказать: мясная лавка была уже закрыта.* Как видим, он не утверждает, что передает подлинные слова больной, а проявляет инициативу сам, проговаривая то, что, по его мнению, здесь напрашивается. – *Однако, стоп.* Doch halt. *Не является ли это выражение или, точнее, ему противоположное, распространенным в вульгарной речи способом указать на одну небрежность в мужском туалете?* Похоже, что в венском диалекте действительно, по крайней мере, в отношениях фамильярных, было делом обычным сказать человеку, забывшему застегнуть штаны: "Du hast deine Fleischbank offen. Твоя мясная лавка открыта". – *Впрочем, больная этого выражения не употребила,* говорит Фрейд и добавляет: *Должно быть, она его избегала.*

Сделаем теперь еще шаг вперед. – *Когда какой-то элемент в сновидении носит характер речи, когда что-то говорится и выслушивается, а не просто думается, элемент этот обычно без труда можно распознать.* Речь идет о словах, записанных в сновидении, словно на телеграфной ленте. С самой ситуацией они могут быть прямо не связаны. Речь идет о том, что, как говорит Фрейд, без труда выделяется, то есть об элементе языка – элементе, который он всегда призывает нас рассматривать как имеющий самостоятельную ценность. – *Происходит он из жизни наяву. Разумеется, сновидение обращается с этими элементами бесцеремонно – разбивает их, немного изменяет и чаще всего изымает из целого, которому они принадлежали. Для работы истолкования эти обрывки речи могут послужить отправными точками. Откуда же взялись в сновидении слова мясника: Этого больше не имеется?*

Фраза эта – *Das ist nicht mehr zu haben* – вспоминается Фрейду, когда он пишет: "*Человека с волками*", вспоминается как свидетельство его давнего интереса к трудностям, связанным с реконструкцией событий, предшествовавших в жизни субъекта амнезии раннего детства. В связи с этим он и говорит своей пациентке следующее:

> Я произнес эти слова сам, за несколько дней до того, объясняя пациентке, что к воспоминаниям раннего детства непосредственного доступа *у нас больше не имеется*, что мы возвращаемся к ним лишь путем происходящего в анализе переноса и

> анализа сновидений. Мясник, таким образом, – это я, и пациентка этот "персонаж" прежних способов мыслить и чувствовать, таким образом, отвергает.
>
> Но другие слова, которые она произносит во сне: "*Das kenne ich nicht, das nehme ich nicht, Я не знаю, что это такое, я этого не возьму*", – откуда взялись они?
>
> Анализу удается разделить эту фразу. За несколько дней до того, обсуждая что-то с кухаркой, пациентка сама сказала ей: "*Das kenne ich nicht, Я не знаю, что это такое*", прибавив: "*Benehmen Sie sich anstandig, Ведите себя прилично*"".

По словам Фрейда, то, что было удержано сновидением – это лишь элемент языка, незначащая часть фразы, *Das kenne ich nicht*, в то время как вторая ее часть оказалась цензурой устранена. И то, что мы слышим в сновидении, *Das kenne ich nicht, das nehme ich nicht*, как раз и придает тому, что было удержано из фразы *Das kenne ich nicht. Benehmen Sie sich anstandig* определенный смысл.

Фрейд продолжает:

> Как видим, произошло смещение: из двух обращенных к кухарке фраз она оставила в сновидении лишь ту, которая смысла была лишена, и лишь та часть, которая была ею вытеснена, остальному сновидению соответствовала. "Ведите себя прилично", можно сказать тому, кто допускает сознательную небрежность в одежде.

Этот перевод не совсем верен – в немецком тексте говорится другое: *Это можно сказать человеку, который осмеливается на непристойные домогательства и забывает застегнуть ширинку.* Как видим, перевод здесь очень вольный.

> Правильность нашего истолкования доказывается согласованностью его с аллюзиями, лежащими в основе эпизода в овощной лавке. Овощ удлиненной формы, который предлагают пучками и к тому же черный – наверняка не что иное, как возникшая в сновидении помесь спаржи и черного хрена. Появление спаржи мне истолковывать не приходится. Другой овощ тоже, мне кажется, содержит определенную аллюзию – *слово "аллюзия" в немецком тексте отсутствует* – и связан с той же сексуальной темой, которую угадали мы с самого начала, придав всему рассказу с помощью фразы "мясная лавка закрыта" символический смысл. Нам нет здесь нужды раскрывать смысл сновидения до конца – довольно было убедиться в том, что оно исполне-

но значения и совсем не так уж невинно.

Прошу извинить меня, если цитирование это показалось вам немного затянутым. Я просто хотел, чтобы теперь, когда мы уже многое знаем и читаем порой слишком быстро, сновидение это вновь позволило наше внимание сфокусировать.

Перед нами здесь еще один совершенно наглядный пример отношения истерического больного к желанию как таковому. Вчера я уже говорил вам, что в сновидении и симптомах истерика дает о себе знать потребность его в том, чтобы место желания где-то было бы обозначено. Но в данном случае речь идет о другом – речь идет о месте означающего *фаллос*.

Теоретическое рассуждение не лишне перемежать анализом сновидений – разнообразие позволит ваше внимание несколько разгрузить. Вслед за этим сновидением Фрейд пересказывает еще три, все той же больной, и мы ими в свое время тоже воспользуемся. Остановимся сначала на том, что нам предстоит себе уяснить.

Прежде всего речь пойдет о месте, уготованном желанию. На сей раз место это во внешнем поле субъекта никак не отмечено и речь не идет о желании как чем-то таком, в чем субъект по ту сторону требования себе отказывает, усвояя его себе лишь в сновидении в качестве желания Другого, в данном случае своей подруги. Речь идет о желании как о том, чьим носителем является означающее, по нашей гипотезе – означающее фаллическое. Посмотрим, какую функцию выполняет означающее в этом случае.

Как вы видите, Фрейд сам без тени сомнения и вполне недвусмысленно это означающее вводит. Единственный элемент, который он в анализ не принимает в расчет – надо же было и на нашу долю что-то оставить, – как это ни удивительно, следующий: двусмысленность поведения субъекта по отношению к фаллосу обусловлена стоящей перед ним дилеммой, заключается которая в том, что субъект может либо это означающее иметь, либо им, этим означающим, быть.

Дилемма эта возникает лишь потому, что фаллос – не объект желания, а его означающее. Дилемма эта абсолютно неизбежна – именно она лежит в основе всех смещений, трансмутаций, всех, я бы сказал, фокусов, которые проделывает с субъектом комплекс кастрации.

Почему возникает в этом сновидении фаллос? Исходя из нашей точки зрения, я не сочту натяжкой сказать, что фаллос как таковой

актуализируется в сновидении этой истерической больной вокруг фразы Фрейда *Das ist nicht mehr zu haben, Такого здесь больше не имеется,* или, буквально*, Иметь это больше невозможно.*

Я лишний раз обращаю внимание на глагол *иметь,* который употребляется здесь, как и по-немецки, точно так же, как в выражениях типа *"иметь что-то"*, или *"иметь или не иметь"*. Одним словом, речь в этой фразе идет о фаллосе, возникающем в качестве объекта, которого не хватает, недостает.

Недостает кому? Хорошо бы, конечно, это знать. Ясно, во всяком случае, что навряд ли это объект, которого недостает субъекту как субъекту биологическому. Обратим прежде всего внимание на то, что предстает эта нехватка в терминах означающего, в связи с фразой, где сказано, что это, мол, то, что больше иметь нельзя – *Das ist nicht mehr zu haben.* Перед нами не эффект обманутого ожидания, перед нами значение, артикуляция в означающем недостачи объекта как такового.

Это прекрасно согласуется, конечно, с понятием, которое стоит у меня на переднем плане: фаллос является означающим, поскольку его не имеет – кто? Поскольку его не имеет Другой. Речь, по сути дела, идет о фаллосе в качестве чего-то такого, что артикулируется в плане языка и располагается, следовательно, в плане Другого. Это означающее желания, поскольку желание это артикулируется в качестве желания Другого. Я к этому сейчас вернусь.

Возьмем второе сновидение той же больной. Тоже якобы невинное:

Муж спрашивает: *Не отдать ли настроить пианино?* Она отвечает: *Не стоит.*

(Буквально*: Es lohnt nicht – в смысле: Не стоит труда, все равно его нужно заново отделывать.*)

Следует комментарий Фрейда. Сновидение представляет собой повторение реального события предыдущего дня. Но почему она видит его во сне? Она рассказывает, правда, о пианино, что это "отвратительный ящик", что звучание у него "мерзкое", что оно принадлежало мужу (*буквально: "муж имел его"*) еще до свадьбы и т. д. *Здесь дается примечание*: Как покажет впоследствии анализ, она говорит противоположное тому, что думает – то есть, что муж не имел ее (она не принадлежала ему) до свадьбы. Но ключ к толкованию лежит во фразе "не стоит". Слова эти она произнесла накануне в гостях у подруги. Там ей предложили снять

жакет, но она отказалась и сказала: "*Не стоит.* Мне все равно нужно сейчас уйти". Я вспоминаю тогда, что вчера, во время анализа, неожиданно схватилась за жакет, у которого расстегнулась пуговица. Было такое впечатление, словно она этим хотела сказать: "Пожалуйста, не смотрите сюда, *не стоит*". Таким образом, ящик заменяет она на грудь, *Kasten* на *Bruste*, и толкование сновидения ведет непосредственно к тому периоду ее физического развития, когда она начала быть недовольной формами своего тела. Если же мы обратим внимание на слова "отвратительный" и "мерзкое звучание", вспомнив заодно как часто в сновидениях и двусмысленных выражениях маленькие полушария женского тела заменяют большие, анализ уведет нас в детство еще более раннее.

Мы, таким образом, подошли здесь к вопросу с другого конца. Если фаллос – это означающее желания, и притом желания Другого, то проблема, перед которой с первых же шагов диалектики желания оказывается субъект, оборачивается к нему другой стороной – речь идет о том, быть или не быть ему фаллосом.

Доверимся приписанной нами фаллосу функции означающего до конца и скажем так: точно так же, как нельзя одновременно "быть" и "некогда быть", нельзя одновременно "быть" и "не быть". Если обязательно нужно, чтобы то, что вы не есть, было тем, что вы есть, вам остается лишь не быть тем, что вы есть, то есть вытеснить то, что вы есть, в область кажимости. Именно такова позиция женщины в истерии. Женское она делает своей маской – делает именно для того, чтобы там, под маской, быть фаллосом. В жесте руки, хватающейся за пуговицу – деталь, смысл которой Фрейд давным-давно нам помог разглядеть, – в жесте, сопровождаемом фразой "*Не стоит*", вся суть поведения истерички предстает перед нами как на ладони. Почему не стоит? Ясное дело, о том, чтобы туда заглянуть, не может быть речи, так как там непременно должен быть фаллос. Но убеждаться в этом не стоит, *es lohnt nicht*, ибо обнаружить его там, конечно же, не удастся.

Для истерика важно видеть и знать – именно это недвусмысленно утверждает Фрейд в заметке "*Für Wissbegierige*", во французском переводе – "*Для тех, кто хотел бы знать больше*". Более точным переводом было бы "*Любителям знания*".

Это раскрывает нам саму суть того, что я, возможно, уже успел окрестить здесь термином, заимствованным из морали, которая,

несмотря на отложившийся на ней отпечаток человеческого опыта, остается, пожалуй, богаче многих других, – морали теологической. Я имею в виду *cupido sciendi*. Именно им можно перевести слово "желание", хотя соответствия между языками ставят всегда вопросы весьма деликатные. Мои немецкоязычные друзья уже подсказали мне в связи с желанием слово *Begierde* – слово, которое можно найти у Гегеля, – но некоторые из них находят, что оно слишком подчеркивает животное начало. Забавно, что Гегель пользуется им, говоря о рабе и господине – тема, где животное начало большой роли не играет.

Обращаю внимание, – говорит Фрейд в этой заметке, – *что сновидение это заключает в себе фантазию: провоцирующее поведение с моей стороны, защита с ее.* Короче, он снова указывает нам на то, что и является главным принципом поведения истерички – поведения, смысл которого в то же время становится в этом контексте ясен. Провокация истерички стремится вызвать желание, но вызвать там, по ту сторону того, что называют *защитой*. Другими словами, она указывает на лежащее по ту сторону видимости или маски место – место чего-то такого, что желанию предъявлено, но доступ к чему остается в тоже время заказан, ибо предъявлено оно под покровом, за которым его, конечно же, не найти. Расстегивать мой корсаж не стоит – фаллоса вы там не найдете, но руку я подниму к корсажу именно для того, чтобы для вас обозначился за нйм фаллос, означающее желания. Замечания эти заставляют меня задуматься о том, как определить желание по всей строгости – чтобы вам ясно, наконец, стало, о чем мы, собственно, говорим.

3

Канву моих схемок, которыми я время от времени снова и снова вас потчую, кто-то в разговоре со мной сравнил с мобилями Кальдера. Сравнение, на мой взгляд, удачное. Все дело, однако, в том, чтобы, на этом этапе не зацикливаясь, попытаться членораздельно сформулировать то, что мы, собственно, под желанием как таковым имеем в виду.

В нашей диалектике мы будем считать желанием то, что находится на моем маленьком мобиле по ту сторону требования. Почему без этого потустороннего не обойтись? Без него не обойтись потому, что в процессе артикуляции требования потребность обязательно окажется изменена, транспонирована, искажена. Возни-

кает, таким образом, некий остаток, осадок, разность.

Когда человек включается в означающую диалектику, что-то всегда оказывается за бортом – что бы ни думали на сей счет оптимисты, указывающие на то, насколько удачно происходит порою ориентация по отношению к другому полу между детьми и родителями. Дело за малым – чтобы и между родителями дела шли не хуже. Мы-то рассматриваем здесь вопрос именно на этом уровне.

Итак, имеется некий остаток, разность. Каким образом он о себе заявляет? И каким образом должен он непременно о себе заявить? Речь не идет пока о желании сексуальном – мы еще увидим впоследствии, почему ему суждено занять это место. Рассматривая покуда связь потребности человека с означающим в самых общих чертах, мы оказываемся перед следующим вопросом: имеется ли нечто такое, что поле отклонения, обусловленного воздействием означающего на потребности, заполняет; и если да, то каким образом оно, это потустороннее нечто, о себе заявляет – если оно о себе заявляет вообще? Опыт доказывает, что оно-таки о себе заявляет. Именно это и называется у нас желанием. Одну из форм, в которых может оно о себе заявить, мы и попробуем сейчас описать.

Способ, которым должно заявить о себе желание у человеческого субъекта, зависит от того, что задается диалектикой требования. Требование, оказывая на потребности определенное влияние, имеет при этом и собственные характеристики. Эти собственные характеристики я уже сформулировал. Уже самим фактом, что оно артикулируется в качестве требования, требование непременно, даже не требуя этого, предполагает Другого в качестве присутствующего или отсутствующего – и вольного своим присутствием одарить или его лишить. Другими словами, требование – это, по сути дела, требование любви, требование того, что ничем не является, никакого особенного удовлетворения в себе не несет, требование того, что субъект предоставляет уже тем, что просто-напросто на требование отвечает.

Вот где лежит оригинальность введения символического в форме требования. Именно в безусловности требования, то есть в том факте, что в основе требования лежит требование любви, заключается оригинальность введения требования как чего-то иного по отношению к потребности.

Если введение требования предполагает для потребности какую-то потерю, утрату – неважно, в какой форме, – значит ли это,

что потерянное таким образом обязательно должно где-то по ту сторону найтись? Ясно, что если найтись это должно по ту сторону требования, то есть того искажения потребности, которое измерением требования привносится, то произойти это может лишь в случае, если там, по ту сторону, найдется нечто такое, в чем Другой лишится своего первенства, а потребность, как берущее начало в субъекте, займет, напротив, главенствующее место.

Тем не менее, поскольку потребность эта уже прошла через фильтр требования и перешла тем самым в план безусловного, поле того, что в этом требовании оказалось утрачено, доступно нам теперь лишь в результате, если можно так выразится, отрицания отрицания. В потустороннем этом мы находим не что иное, как те черты абсолютного условия, в которых предстает нам желание как таковое.

Черты эти заимствованы, конечно же, у потребности. Да и могли бы мы вообще производить желания, не заимствуя первичную материю для них у потребности? Однако переходит все это в состояние отнюдь не безусловности, ибо речь идет о чем-то таком, что заимствовано у конкретной потребности, но в состояние абсолютного условия – условия совершенно несопоставимого, несоизмеримого с потребностью в каком бы то ни было конкретном объекте. Условие это может быть названо абсолютным – абсолютным в силу того, что измерение Другого им упраздняется, что оно взыскует того, на что Другому ни "да", ни "нет" отвечать не нужно. Это важнейшая черта человеческого желания как такового.

Желание, каким бы оно ни было, лишь бы то было желание в чистом виде, представляет собою нечто такое, что, будучи с почвы потребностей сорвано, принимает форму абсолютного условия по отношению к Другому. Это своего рода крайняя полоса, поле, результат вычитания, если можно так выразиться, того, что взыскует потребность, из требования любви. С другой стороны, желание, наоборот, предстает как то, что противится в требовании любви всякой попытке сведения его к потребности, ибо удовлетворяет оно на деле лишь самое себя, то есть желание как абсолютное условие.

Именно по этой причине и занимает это место желание сексуальное – желание, которое по отношению к субъекту, по отношению к индивиду, выступает как сугубо проблематичное, как в плане потребности, так и в плане требования любви.

В плане потребности люди, не дожидаясь Фрейда, с незапамят-

ных времен задавались вопросом о том, каким образом человеческие существа, несмотря на свойственное им умение распознавать то, что несет им выгоду, смиряются как ни в чем ни бывало с потребностью сексуальной – потребностью, которая толкает их на безумные крайности, никакой поддающейся рационализации потребности не соответствует и вводит в индивида то, что называют диалектикой рода. Тем самым сексуальная потребность по самой природе своей оказывается проблематичной – во всяком случае, в субъекте, как его определили мы, определили в отличие от тех философов, которые видят в нем существо, способное свои потребности рационализировать, способное сформировать их в терминах эквивалентностей, то есть, собственно говоря, означающих.

Что касается требования любви, то по отношению к нему сексуальная потребность и станет как раз желанием – ведь только на уровне желания – желания в том виде, в каком мы определили его, – и может эта потребность иметь место. Но что бы там ни говорили, какой бы святой водицей "необязательности" его окропить ни пытались, сексуальное желание все равно предстает по отношению к требованию любви как проблематичное. По отношению к тому, что называется во всех языках "*сформулировать свое требование*", вопрос о желании проблематичен, так как, говоря самым простым языком, который нам не даст здесь соврать, очень быстро выясняется, что каким бы способом ни было желание сформулировано, с момента, когда встает вопрос о желании сексуальном, Другой вступает в игру в форме орудия, инструмента желания.

Именно поэтому всегда, когда сексуальное желание представляет собой проблему, проблема эта ставится на уровне желания – не иначе. Ибо в качестве проблемы, вопроса, артикулировано оно быть не может. Для этого просто не существует слова – поверьте мне, ибо вам не повредит лишний раз услышать из моих уст, что все отнюдь не сводится к языку. Я, разумеется, так говорил всегда, но для тех, кто этого не расслышал, я повторяю – имеется-таки нечто такое, для выражения чего не существует слова, хотя имя у него есть, и имя ему – *желание*. Выразить желание – о чем народная мудрость прекрасно знает – может только одно: елда.

Вопрос об означающем желания встает, таким образом, во всей остроте. То, что выражает его, на другие означающие не похоже. По сути дела, это нечто такое, что, заимствуя форму ростка, жизненного потока, включается тем не менее в диалектику в качестве

означающего – включается, претерпевая тем самым уничижение – более того, умерщвление, – которое уготовано переходом в регистр означающего всему, что в это измерение означающего получает доступ.

В данном случае двусмысленное уничижение или умерщвление это предстает в виде покрова – того самого, что принимает ежедневно у нашей истерички форму корсета. В этом вся суть позиции женщины по отношению к мужчине в плоскости желания и заключается: не пытайтесь подсмотреть, что у меня под блузкой, там ровным счетом ничего нет – ничего, кроме означающего, конечно. Но в том-то все и дело, что означающее желания – это уже кое-что.

Под покровом этим имеется – или нет – что-то такое, что показывать не годится, – именно поэтому демон, о котором говорил я вам в связи с разоблачением фаллоса в античных мистериях, носил имя демона стыдливости. Смысл и границы стыдливости у мужчины и женщины различны, каковы бы ее истоки ни были – будь то ужас, который испытывает женщина, или то неопределенное чувство, что естественно возникает в столь деликатной душе мужчины.

Я уже говорил вам, что фаллос у мужчины обыкновенно находится под покровом. Но точно ту же природу имеют и те покровы, что целиком облекают, как правило, тело женщины – ведь скрытым за ними предполагается все то же фаллическое означающее. Разоблачение не открыло бы ровно ничего, кроме отсутствия того, что, собственно, разоблачается, – именно поэтому, говоря о женском половом органе, Фрейд назвал его головой Медузы – предметом, внушающим тот ужас, *Abscheu*, что сопровождает переживание отсутствия как такового.

Считается, будто успешное созревание состоит в переходе от частичного объекта к объекту тотальному. Намеченная мною, хотя исчерпывающе далеко не исследованная, перспектива взаимодействия между субъектом желания, с одной стороны, и означающим желания, с другой, уже сейчас полностью отвергает подобное представление – представление, где вся диалектика подхода к другому в половых отношениях предстает в ложном свете, оказывается закамуфлирована и фальсифицирована. Достигая места желания, другой не становится при этом тотальным объектом – проблема, напротив, состоит в том, что он сам, в качестве инструмента желания, превращается всецело в объект. Все дело в том, как обе эти позиции совместить.

Имеется, с одной стороны, позиция Другого в качестве Другого, в качестве места речи, того, к кому обращается требование, того, чья принципиальная несводимость к чему бы то ни было проявляется в способности дарить любовь, то есть нечто такое, что дается абсолютно даром уже потому, что никакого основания и носителя у любви нет, так как дарить свою любовь означает, как я вам уже говорил, не дарить ничего из того, что имеешь, ибо речь о любви вообще может идти лишь постольку, поскольку дается то, чего нет. Существует, однако, несогласованность между тем абсолютным, что налицо в субъективности Другого, который дает свою любовь или в ней отказывает, и тем фактом, что для доступа к нему как объекту желания необходимо, чтобы он стал всецело объектом. В этом-то, вызывающем головокружение и, прямо скажем, тошноту, несовпадении и состоит главная трудность, не позволяющая к сексуальному желанию подступиться.

Брейер в "*Очерках истерии*" сближает принимающие форму тошноты и отвращения истерические симптомы с феноменом головокружения. Ссылаясь на работы Маха о двигательных ощущениях, он с замечательной проницательностью замечает, что именно в рассогласованности оптических ощущений и ощущений двигательных лежат корни того запутанного явления, с целой серией проявлений которого – головокружение, тошнота, отвращение – приходится ему иметь дело.

Мне действительно не раз, в моменты, когда анализ таких вещей оказывается возможен, приходилось наблюдать своего рода короткое замыкание между фаллическим означающим, в форме которого воспринимается Другой субъектом желания, с одной стороны, и тем, что не может в этот момент не показаться субъекту пустым – тем местом между ног, где орган обычно находится и которое предстает ему в таких случаях в качестве ничего иного, как места, с другой. Я могу предложить вам добрый десяток наблюдений над такого рода явлениями, где субъект, невзирая на различные формы, которые оно принимает, будь то вполне откровенные, будь то в разной степени пронизанные символикой, высказывается, тем не менее, в анализе с полной ясностью. Именно в силу того, что Другой как объект желания воспринимаясь субъектом как фаллос, одновременно, в качестве такового, будучи воспринимаемым как нехватка на месте фаллоса его собственного, и испытывает субъект своеобразное, напоминающее головокружение чувство.

Кто-то даже сравнил его в разговоре со мной с чувством метафизического головокружения – головокружения, которое человек изредка испытывает, задумываясь о понятии бытия самого по себе, бытия, лежащего в основе всего, что есть.

Сегодня я на этом закончу. В дальнейшем мы вернемся к диалектике "*быть или иметь*" истерика, а затем двинемся дальше и посмотрим, к чему приводит она в случаях невроза навязчивости.

Я сразу же предупреждаю – да вы и сами должны это в любом случае почувствовать, – что все это как-то связано и с другой диалектикой, диалектикой воображаемого – той самой, что не только предлагается вам, аналитикам, как теория, но и навязывается более или менее насильственно пациентам определенной техникой лечения неврозов навязчивости, – связано постольку, поскольку и в ней фаллосу – правда, как элементу воображаемому – отводится первенствующая роль.

Вы сами увидите, какие теоретические и технические поправки удается нам в эту диалектику внести, рассматривая фаллос не в качестве образа или фантазма, а в качестве означающего.

7 мая 1958 года

XXII
Желание Другого

Три статьи Мориса Буве
Граф желания
Третье сновидение "тихони"
Навязчивые идеи будущего невротика
Опоры желания

Forderung:	*Требование*	Wunsch
Begehren:	*Желание*	*Желание сновидения*
Bedurfniss:	*Потребность*	

Ход нашей мысли, где тема фаллоса играет главную роль, вынуждает нас пристальнее вглядеться в то, что вкладывает анализ в понятие объекта.

Нам предстоит обратить наше внимание как на действительную функцию объекта, так и на объектное отношение в современной аналитической практике – то, как им пользуются, и то, что оно реально дает. Одновременно мы попытаемся более тщательно сформулировать то, что мы уже уточнили для себя, размышляя о фаллосе.

1

Что касается первой части этой программы, то мы можем сослаться на опубликованное в 1953 году в "Revue française de psychanalyse" за подписью Мориса Буве сообщение, озаглавленное *Я в неврозе навязчивых состояний*, – сообщение, успевшее с тех пор получить определенную историческую ценность. На самом деле речь в этой работе идет лишь об объектном отношении у больных неврозом навязчивости, и было бы интересно, наверное, разобраться в том, почему автор выбрал заглавие столь неподходящее, поскольку о Я в неврозе он в действительности не говорит ни слова, упоминая, в лучшем случае, что оно бывает сильным и слабым. В конечном счете автор занял на сей счет осторожную позицию, что можно только приветствовать.

Упомяну здесь еще о двух работах того же автора. Первая из них, датированная 1948 годом, вышла в свет в 1950 году в том же жур-

нале под заглавием *Терапевтические тенденции осознания зависти к пенису в неврозах навязчивых состояний у женщины.* Сама свежесть первого подхода к изучению функции пениса в неврозе навязчивых состояний придает этой статье ценность. Судя по этой работе, положение дел с тех пор во всяком случае не улучшилось, и ее не устаревшие до сих пор данные освещают проблему в очень интересном аспекте. Другая статья была опубликована в июльско-сентябрьском номере этого журнала за 1948 год под заглавием *Важность гомосексуального аспекта переноса в четырех случаях невроза навязчивости у мужчины.*

Все три работы стоит прочесть, хотя бы уже потому, что статей на эту тему написано по-французски не так уж много. По ним вполне можно судить о состоянии этих вопросов на сегодняшний день. К тому же прочтение их неизбежно создаст общую картину, которая послужила бы хорошим фоном тому, к чему мы можем, мне кажется, здесь прийти, найдя тому, о чем идет речь, правильную формулировку – формулировку, которая позволила бы точно определить ценность и границы ориентированной таким образом терапевтической практики. Наблюдая, как артикулируется объектное отношение в сводных картинах, позволяющих постепенное становление объекта проследить, можно легко убедиться, что, по крайней мере отчасти, мы имеем дело со своего рода ложными окнами. Я не думаю, что объект генитальный и объект догенитальный имеют в этих картинах какое-то иное значение, кроме чисто декоративного.

Наиболее ценным в объектном отношении, его стержнем, тем, что ввело, по сути дела, понятие объекта в аналитическую диалектику, является так называемый *частичный объект.* Термин этот заимствован у Абрахама, причем заимствован неточно, потому что у того говорится лишь о частичной любви к объекту. Впрочем, сдвиг этот сам по себе уже показателен. Не нужно большого труда, чтобы отождествить этот частичный объект с тем самым фаллосом, о котором говорим мы, и говорить о котором нам должно быть тем легче, что мы-то как раз на его значение и указали. Это позволяет нам без тени смущения пользоваться им как объектом привилегированным. Мы ведь знаем, чем он эту привилегию заслужил – он заслужил ее, будучи означающим. Не решаясь придать отдельному органу столь привилегированное значение, многие авторы перестали о нем даже упоминать, хотя никакой анализ без него, конечно же, не обходится.

29 Зак. 2370

Прочтя эти статьи, вы сможете констатировать один важнейший, на каждой странице бросающийся в глаза факт: не только этим конкретным психоаналитиком, но и всеми его единомышленниками фаллос рассматривается лишь в плане фантазма. Лечение невроза навязчивых состояний целиком строится, с точки зрения автора, на воображаемой инкорпорации или интроекции этого фаллоса, который предстает в аналитической диалектике в виде фаллоса, приписываемого аналитику. Именно к этому фантазмы, собственно, и ведут.

В процессе этом автор различает два этапа. На первом этапе фантазмы инкорпорации и пожирания этого фантазматического фаллоса носят характер откровенно агрессивный, садистский, в то время как сам фаллос представляется чем-то опасным и жутким. Фантазмы эти очень показательны, по мнению автора, для позиции субъекта по отношению к организующему объекту переживаемой им стадии. В данном случае речь идет о второй фазе стадии садо-анальной – стадии, для которой характерны тенденции к разрушению объекта. На втором этапе субъект начинает уважать автономию объекта – по крайней мере в частичной его форме.

Вся диалектика момента – момента, как мы сказали бы здесь, субъективного, – где ситуация невроза навязчивых состояний имеет место, зависит от сохранения частичного объекта в определенной форме. Именно вокруг этого последнего и может сложиться мир, не обреченный на полное разрушение на стадии, непосредственно предшествующей тому хрупкому равновесию, которого удалось субъекту достичь. Больной неврозом навязчивости предстает у автора как человек, всегда готовый развернуть в окружающем мире какую-нибудь разрушительную деятельность, ибо в перспективе, где мысль автора находится, думать принято в терминах связи субъекта его окружением. Только сохраняя, поддерживая частичный объект – предприятие, требующее целой системы лесов, с помощью которых невроз навязчивости как раз и выстраивается, – избегает субъект висящей над ним угрозы стать жертвой психоза. Именно эти соображения и ставятся автором при обсуждении проблемы во главу угла.

Нельзя, однако, не возразить на это, что какие бы околопсихотические симптомы у невротиков ни наблюдались – деперсонализация, например, нарушения в сфере эго, чувство отчужденнос-

ти, утрата ориентации в мире, различные чувства, связанные с цветом, и даже имеющие, возможно, отношение к структуре собственного Я, – случаи перехода от навязчивости к психозу, действительно от случая к случаю имевшие место, случались при этом, тем не менее, крайне редко. Более того, в литературе давно уже отмечалось, что между этими заболеваниями существует своего рода несовместимость. При работе с классическим неврозом навязчивости риск вызвать у субъекта психоз вместо того, чтобы вылечить его от невроза, кажется мне плодом фантазии – как раз этот риск в подобных случаях минимален. Случаи, когда у больного неврозом навязчивости в ходе анализа или даже в результате безграмотного, непрофессионального терапевтического вмешательства провоцируется психоз, редки до чрезвычайности. Лично я в моей практике с ними, слава Богу, никогда не встречался. Более того, у меня не создавалось никогда впечатления, будто, работая с этими пациентами, я иду на какой-то риск.

Та точка зрения, с которой имеем мы дело, выдает, таким образом, нечто большее, чем неспособность правильно оценить полученные в клиническом опыте данные. Создается впечатление, что забота о связности своей теории заводит автора дальше, чем он хотел бы. Есть тут, возможно, и еще одно далеко идущее обстоятельство – обстоятельство, связанное с позицией, которую занимает по отношению к больному сам автор. Говорить здесь можно не о контрпереносе со стороны определенного лица, а о контр-переносе в смысле более общем, рассматривая его как совокупность того, что я часто называю предрассудками аналитика, как тот фон вещей высказанных и невысказанных, на котором его дискурс артикулируется.

В конкретном случае лечения неврозов навязчивости практика эта приходит, следовательно, к тому, что стержнем ее становится фантазм воображаемой инкорпорации фаллоса – фаллоса аналитика. Не очень понятно, когда именно и по какой причине поворотный момент наступает – можно, разве что, предположить здесь своего рода эффект заимодательства. Все это, по правде говоря, немного загадочно. Наступает момент – говорят нам – когда в результате *working-through*, в результате настойчивой работы с пациентом, инкорпорация фаллического фантазма приобретает для субъекта черты совершенно иные. То, что казалось в этих фантазмах инкорпорацией объекта опасного и в каком-то смысле отталкивающего,

неожиданно свою природу меняет – объект теперь не только с охотою принимается, но и становится источником могущества – именно *источником*, слово это у нашего автора действительно есть, метафора принадлежит не мне.

Комментируя "*ощущение счастья*", которое приносит субъекту этот фантазм, "*подобно фантазиям сосания у абрахамовских меланхоликов, никакого разрушения не предполагающий*", автор находит в нем "*черты, общие с церковным причастием, где человек глотает, не пережевывая*".

Черты эти выбраны отнюдь не вследствие авторской тенденциозности. Мы прекрасно чувствуем, что в анализе, который проводится таким образом, действительно налицо своего рода аскеза – аскеза, которая, используя дозировку, барьеры, торможение, распределение по этапам и все прочие предусматриваемые техникой предосторожности, работает главным образом с фантазмами и позволяет субъекту невроза навязчивости установить с объектом новые отношения. Гораздо менее понятно то, что автор рассматривает как фактор желательный, – то, что он называет *занятой по отношению к объекту дистанцией*. Речь идет, насколько я понимаю, о том, чтобы позволить субъекту приблизиться к объекту как можно больше и, миновав фазу, где дистанция между ними сведена к нулю, вновь – по крайней мере, хочется так надеяться – эту дистанцию восстановить. Объект, последовательно сконцентрировавший в себе все могущество, которое несут в себе опасность и страх, становится символом, способствующим установлению либидинальных отношений, именуемых генитальными и рассматриваемых обычно как норма.

В итоге автор считает, что достиг своей цели, когда пациентка после нескольких месяцев лечения заявила ему: "*Я испытала необычное ощущение, я сумела насладиться счастьем моего мужа. Я была настолько тронута его радостью, что его удовольствие составило и мое тоже*".

Увы, в нашей перспективе картина не выглядит такой радостной. Я прошу вас взвесить внимательно слова пациентки. Они действительно представляют интерес. Но очевидно при этом, что описывают они опыт, из которого никак не явствует, что пациентка сумела, наконец, от своей фригидности избавиться. Способность наслаждаться счастьем своего мужа наблюдается часто, но это вовсе не значит, что больная обязательно достигла оргазма. Больная ос-

тается, как нам сообщают, наполовину фригидной. Тем более странно, что сразу же после этого автор пишет: "*Разве не это лучше всего характеризует зрелые генитальные отношения?*"

Когда сам автор в этом пытается разобраться, то простого и единого объяснения, которое, казалось бы, в данном случае должно напрашиваться, ему, похоже, найти так и не удается. "*Уверенность в том, что Я достигло внутренней согласованности, опирается не только на исчезновение симптоматики неврозов навязчивости и фантазмов деперсонализации, но и на достижение того чувства свободы и единства, которое является для этих субъектов переживанием совершенно новым*". Подобные оптимистические заявления весьма приблизительного характера нимало не соответствуют тому, как, судя по опыту нашему собственному, лечение и выздоровление больных неврозом навязчивости выглядит на самом деле.

Мы видим на этом примере, с какой стеной, с какой грудой предубеждений приходится сталкиваться, когда заходит речь об оценке того, что структура невроза навязчивости собой представляет, как она переживается и как развивается. Мы не думаем, что наша точка зрения сложнее других – ознакомившись с мерками, которые мы применяем, вы сами увидите, что их, в конечном счете, не так уж много, – просто артикулируем мы проблему несколько по-другому, не столь прямолинейно и однозначно.

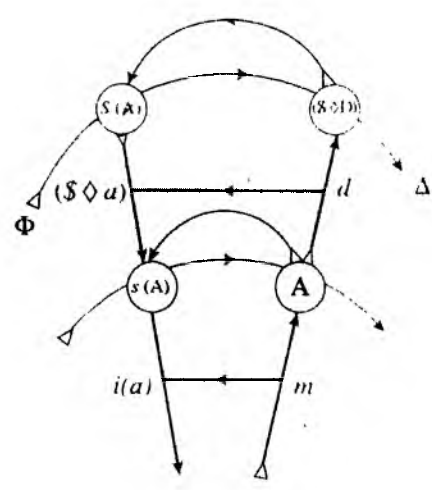
Я прекрасно понимаю, что многие из слушателей желали бы в глубине души получить сводную таблицу, которую можно было бы сопоставить (или противопоставить) с той, что предложена г-жой Рут Мак Брюнсвик. Однажды мы к этому, может быть, и придем, но пока лучше двигаться шаг за шагом и начать с критики понятия фаллоса как частичного объекта – понятия, которому следует, наконец, указать его место, ибо пользоваться им так, как делают это сейчас, зачастую просто опасно.

Вот это-то место и попытаемся мы найти сейчас на нашей маленькой схеме.

2

Всю эту схему можно было бы сплошь покрыть знаками и уравнениями, но я не хотел создавать у вас впечатления чего-то искусственного и постарался ограничиться самым существенным и необходимым.

Мы уже указали на схеме место А (Autre), большого Другого – место,



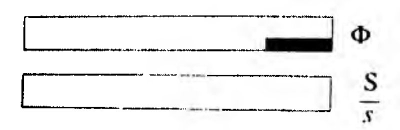
где находится код и принимается требование. Означаемое же Другого возникает при переходе из А в место сообщения. После чего потребность, которая здесь подвергается обработке, оказывается трансформирована и выступает на разных уровнях в различных качествах. Если мы будем рассматривать эту линию как линию реализации субъекта, то она предстанет в конечном пункте чем-то таким, что всегда оборачивается, в той или иной степени, идентификацией. То есть трансформацией, переделкой потребности субъекта при прохождении ее через лабиринты требования.

Но мы уже знаем с вами, что для построения субъекта вполне удовлетворительного, то есть имеющего по меньшей мере четыре точки опоры, этого недостаточно. Вот почему нужно еще одно поле – поле, лежащее по ту сторону требования.

В этом поле, на топологически ему усвоенном месте, артикулируется в первую очередь то, что мы уже определили в качестве означающего желания и что формально выступает у меня как большое **Φ**, Фаллос. Топология эта закономерна, ибо сексуальное желание не только располагается по ту сторону требования, но и принимает артикуляцию, этому полю свойственную.

Как видите, на схеме налицо совпадение между линией, куда вписывается влечение как таковое, и местом, усвоенным по ту сторону требования большому **Φ**. Причиной тому структурная необходимость – чтобы обратить совокупность означающих в означаемое, то есть в то, что мы записываем обыкновенно в формуле "S/*s*" в виде строчного *s*, расположенного под чертой, необходимо выс-

троить над ним новый этаж. Означаемое в данном случае – это нечто такое, что поначалу еще только предстоит обозначить.



Фаллос – это единичное означающее, особая роль которого в корпусе означающих состоит в обозначении совокупности тех воздействий, которые означающее на означаемое оказывает. Это далеко идущее определение, но никаким определением более скромным должного значения фаллосу воздать не удается. Среди означающих, которым в потустороннем желания, то есть во всем поле, расположенном по ту сторону требования, предстоит появиться, фаллос занимает привилегированное место.

Поскольку это потустороннее желания символизировано, оказывается возможной – я просто формулирую смысл того, о чем мы, собственно, давно говорим, – связь субъекта с требованием как таковым, $(\$\lozenge D)$. Подобная связь, ясное дело, предполагает, что субъект не включается в нее полностью вплоть до того момента, когда это потустороннее окончательно складывается – а складывается оно, согласно нашей гипотезе, лишь артикулируя себя с помощью фаллического означающего.

Что касается поля посюстороннего, поля требования, то здесь закон построения субъекта, даже просто на уровне существования его тела, всецело определяется Другим в чистом виде, ибо мать – это существо говорящее. То, что мать является существом говорящим, крайне существенно, что бы об этом ни думал г-н Шпиц. Отношения с матерью к телячьим нежностям отнюдь не сводятся – чтобы они сложились, мать должна говорить с ребенком, это общеизвестно. Не только говорить, конечно, но если у ребенка окажется немая кормилица, на развитии его это может сказаться весьма даже заметным образом.

Если из означающего складывается что-то такое, что мы назвали потусторонним желания, то по ту сторону этого Другого налицо возможность связи, обозначенной у нас $(\$\lozenge D)$. $\$$ – это субъект как таковой, субъект неполный, загражденный, похеренный. Это означает, что полный человеческий субъект никогда не является на деле тем чистым субъектом познания, который конструирует филосо-

фия, не соответствует однозначно *percipiens*'у того *perceptum*, который мы называем миром. Мы знаем, что не существует человеческого субъекта, который был бы чистым субъектом познания, – в противном случае он сводился бы к простому фотоэлементу, к глазу – к тому, одним словом, что именуют философы сознанием. Будучи аналитиками, мы знаем, что всегда существует *Spaltung*, то есть что складывается субъект всегда на двух линиях. Отсюда, кстати, и берут начало те проблемы структуры, с которыми мы, аналитики, имеем дело.

Что происходит здесь, в левой верхней части нашей схемы? А здесь как раз и образуется то, что называется у меня уже не означаемым Другого, s(A), а означающим Другого S(A̸). "A" перечеркнуто здесь – "A̸", так как Другой претерпел этот *Spaltung* сам, сам структурирован им, сам испытал на себе его последствия. Он отмечен уже, следовательно, тем воздействием означающего, которое обозначено фаллическим означающим. Другими словами, это такое А, где фаллос загражден, похерен, обращен в означающее. Кастрированный таким образом Другой фигурирует здесь на месте сообщения. Как видим, по сравнению с сообщением нижнего этажа термины здесь поменялись местами. Сообщение желания – вот оно, перед нами.

Это не означает, что послание это легко получить, – дело как раз в той трудности с артикуляцией желания, в силу которой бессознательное, собственно, и существует. Другими словами, то, что предстает здесь на верхнем уровне схемы, нужно представлять себе как происходящее обычно на самом нижнем ее уровне – как нечто такое, что в сознании субъекта не артикулировано, хотя в бессознательном его артикулировано вполне. Более того, оно и существует-то лишь постольку, поскольку артикулировано в бессознательном. В сознании субъекта оно тоже артикулируется, но лишь до известной точки. Какой именно? – вот вопрос, который нам предстоит решить.

О чем говорит нам случай истерической больной, который мы здесь рассматривали? Больная эта, конечно, анализа не прошла – в противном случае она, предположительно, истеричкой бы не была. Истерическая больная, как мы сказали тогда, располагает это потустороннее в форме желания таким образом, что оно предстает у нее как желание Другого. Я постараюсь обосновать это немного позже, а пока – учитывая, что, высказав какое-то положение, надо

начать с его комментария, – ограничусь утверждением, что дело происходит именно так.

В первой петле схемы субъект – демонстрируя свою потребность, давление ее – преодолевает первую означающую линию требования. Здесь, внутри этой петли, мы, желая дать топологическую картину происходящего, проводим вектор, указывающий на связь Я (moi), *m*, с образом другого, воображаемым маленьким *a* (autre), *i*(*a*). Во второй, верхней петле, место, соответствующее маленькому *m* в нижней, занимает маленькое *d* (desir) желания – то самое, что в Другом, большом А, позволяет субъекту подойти к тому подлежащему означению потустороннему, что и является как раз полем, которое нам предстоит исследовать, полем его желания. Схема, таким образом, делает очевидным тот факт, что именно в том месте, где субъект попытался артикулировать свое желание, встретит он желание Другого как таковое.

Я давно уже говорю вам об этом в несколько иных выражениях – к которым принадлежит и формула, гласящая, что желание, о котором идет здесь речь, то есть желание в бессознательной его функции, – это желание Другого. Формула, основанная на опыте и лишний раз подтвержденная тем, что говорилось здесь в связи с анализом сновидений больной истерией.

Вернемся теперь к нашей теме.

3

Все это отнюдь не избранные сновидения, я не опираюсь на какие-то выбранные мной тексты Фрейда.

Если вы начали читать Фрейда, как, судя по всему, дело в действительности и обстоит, то я настоятельно советую вам читать его целиком. В противном случае вы рискуете наткнуться на места, которые, даже не будучи специально выбраны, смогут, тем не менее, послужить источником всякого рода иллюзий и заблуждений. Нужно внимательно наблюдать за тем, какое место занимает тот или иной текст в том, что мне развитием мысли называть не хочется, – хотя именно так сказать бы и следовало, когда бы выражение это с тех пор, как о мышлении начали говорить, не успело приобрести черты столь размытые, что о чем идет речь, уже непонятно – и придется поэтому называть ходом поисков, направлением усилий исследователя, имеющего представление о магнитном поле, в котором он, так скажем, работает, и совершающего поэтому для дости-

жения цели определенные обходные маневры. И лишь пройденная в конечном счете дистанция позволяет нам по достоинству каждый такой маневр оценить.

Два сновидения больной истерией, которые мы анализировали здесь в прошлый раз, выбраны, следовательно, не по каким-то лишь мне известным соображениям. Первое из них я взял потому, что по причинам, которые вам объяснил, опустил те, что у Фрейда ему предшествовали. К ним я еще вернусь. Сновидение о монографии по ботанике еще поможет нам в дальнейшем понять то, о доказательстве чего идет речь, но поскольку это сновидение самого Фрейда, объяснить его нам предстоит позднее.

Я продолжу сначала разбор сновидения больной истерией.

Истерическая больная продемонстрировала нам, что именно в желании Другого находит она себе то, что можно называть ее *точкой опоры* – термин, который принадлежит не мне: прочитав работы Гловера о неврозе навязчивых состояний, вы убедитесь, что термин этот употребляет и он, объясняя, что отнимая у невротика его одержимость, мы лишаем его тем самым *точки опоры*. Как видите, я разделяю способ использования терминов с другими авторами – мы все пытаемся найти для нашего опыта, для наших незначительных впечатлений, какие-то метафорические выражения. Итак, больной истерией находит себе точку опоры в желании, которое является желанием Другого. Создание желания по ту сторону требования представляет собой, таким образом, нечто существенное, и мы это, полагаю, сформулировали достаточно ясно.

Здесь уместно будет упомянуть и о третьем сновидении. В прошлый раз у меня не было времени его рассмотреть, но я вам вполне могу его прочитать и сейчас: *Она ставит свечу в подсвечник; свеча, однако, сломана и плохо горит. Подруги в школе говорят, что она очень неловкая, гувернантка же находит, что это вина не ее.*

Вот как Фрейд это сновидение комментирует: *Реальный повод имеется и здесь; она действительно вставляла вчера в подсвечник свечу, но свеча эта вовсе не была сломана.* Здесь, однако, присутствует символика, так как значение свечи известно – *если она сломана и не стоит в подсвечнике, то это означает импотенцию мужа.* И Фрейд специально подчеркивает здесь фразу: *Это вина не ее, Es ist nicht ihre Schuld.*

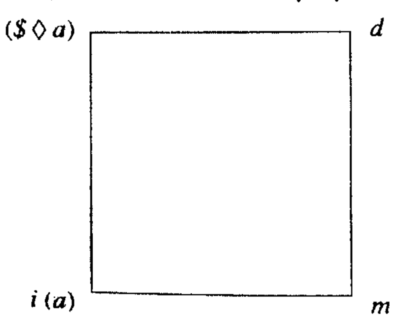
Но каким образом воспитанная и далекая от темных сторон жизни молодая дама может об этом назначении свечи знать? Ока-

зывается, однажды, катаясь на лодке, она услышала, как студенты пели не слишком пристойную песню о шведской королеве, которая за закрытыми ставнями ставила Аполлоновы свечи. Она спросила мужа – тот ей про ставни, свечи и Аполлона все объяснил, и вот теперь, когда представился случай, все это всплыло вновь на поверхность.

Как видим, здесь в неприкрытом виде, в виде обособленного, едва ли не в воздухе висящего частичного объекта, является перед нами фаллическое означающее. И хотя мы не знаем, в какой момент анализа больной – ибо, конечно же, она проходила анализ – сновидение это было получено, самое главное, разумеется, что "*это не ее вина*". Это уровень другого – таковы факты. Именно на глазах у других все это происходит, именно благодаря гувернантке школьные подруги прекращают над ней смеяться. Здесь явно возникает символ Другого, и это лишний раз – к чему я, собственно, и клоню – подкрепляет и подтверждает то, что явствовало из сновидения жены мясника, то есть что в изучении истерии, которая представляет собой, в конечном счете, один из способов организации субъекта по отношению к его сексуальному желанию, упор следует делать не просто на измерении желания в противоположность измерению требования, а именно на желании Другого, на позиции, месте желания в Другом.

Вы помните, как живет Дора до самого того момента, когда ее истерическая позиция оказалась декомпенсирована. У нее прекрасное самочувствие, если не считать нескольких маленьких симптомов – тех самых, что делают ее истеричкой и прочитываются в расщеплении, *Spaltung*, приводящем к удвоению горизонтальной линии на моей схеме. К сверхдетерминации симптома, связанной с существованием этих двух означающих линий, мы впоследствии еще вернемся. Ранее мы показали, что Дора сохраняется в качестве субъекта не просто постольку, поскольку она, как всякая нормальная истеричка, требует любви, но и постольку, поскольку она поддерживает желание Другого как таковое – ибо поддерживает его, служит ему опорой никто иной, как она. Все идет хорошо, все происходит самым удачным образом, и притом так, что никто, вроде бы, тут ни при чем. Выражение "она поддерживает желание Другого" действительно соответствует стилю ее позиции и ее поступков по отношению к отцу и г-же К лучше всего. Как я уже указывал, вся конструкция оказывается возможна постольку, поскольку Дора

идентифицирует себя с г-жой К. Пред лицом желания она сохраняет в этом месте определенную связь с другим, в данном случае воображаемым, – связь, обозначенную у нас символом ($\$\lozenge a$).



Образуется, таким образом, квадрат, вершинами которого являются Я (*m*), образ другого (*i*(*a*)), связь субъекта, образовавшегося на этот момент, с воображаемым другим ($\$\lozenge$a), и желание (*d*). Это и есть четыре опоры, в которых нуждается для устойчивости человеческий субъект, сформировавшийся как таковой, то есть субъект, который в функционировании механизма, управляющего марионеткой другого, в котором он себя видит, то есть способен, до известной степени, себя узнать, отдает себе не больше отчета, чем в функционировании собственных внутренних органов.

Истерический субъект находится здесь, перед лицом желания Другого, причем дальше, как я уже показал в прошлый раз, дела уже не идут, так как в конечном счете можно сказать, что линия возврата от ($\$\lozenge a$) к *i*(*a*) у такого субъекта в значительной мере стерта. Поэтому, кстати, и возникают у него трудности с воображаемым, представленным на схеме как образ другого; потому и случается ему наблюдать в своем воображаемом те эффекты дезинтеграции и распада, которые и оказываются в симптомах к его услугам.

Так происходит дело у истерика. Попробуем теперь сформулировать то, что имеет место в структуре навязчивости.

Невроз навязчивости в каком-то отношении сложнее невроза истерического, но не намного сложнее. Если суть дела нащупать удается, то артикулировать его можно, но зато если эту суть упустить, что с автором, о котором мы только что говорили, Буве, как раз и произошло, то нет ничего проще, как захлебнуться, беспомощно барахтаясь между садистским, анальным, частичным объектом, инкорпорацией и дистанцией от объекта. Непонятно становится, каким святым ставить свечки. Как показывает автор в наблю-

дениях – которые трудно даже объединить под одной клинической рубрикой – над субъектами, названными им Пьером и Полем, не говоря уже о двух других, Монике и Жанне, клиническая картина такого невроза оказывается удивительно пестрой. Клинический материал статьи о Я ограничивается Пьером и Полем. С точки зрения фактуры объекта, это явно субъекты совершенно разные. Их трудно даже занести в одну рубрику – что не является с нашей стороны возражением, так как мы сами в данный момент другие незаполненные рубрики выделить не в состоянии.

Удивительно само то, что, занимаясь неврозом навязчивости столь давно, мы так и не способны перечислить виды его, хотя, казалось бы, ввиду многообразия его проявлений, с клинической точки зрения подобная классификация напрашивается. Вспоминаются верные слова Платона о хорошем поваре, умеющем разделывать тушу, следуя естественным ее сочленениям. При нынешнем состоянии дел никто, в особенности среди тех, кто специально неврозом навязчивости занимается, не способен верно это заболевание определить. Перед нами явный признак какого-то изъяна в теории.

Вернемся к позициям, на которые мы пришли.

Что делает больной неврозом навязчивости, чтобы состояться в качестве субъекта? Можно догадываться, что в этом он подобен истерику. Еще прежде всякой теоретической проработки вопроса, то есть еще до Фрейда, Жане сумел проделать очень интересную работу по своего рода геометрическому наложению образов, по установлению, точка за точкой, их соответствия, по преобразованию этих, если воспользоваться геометрическим термином, фигур – работу, где больной неврозом навязчивости рассматривается как своего рода трансформированный истерик. Больной неврозом навязчивости тоже ориентирован на желание. Не иди речь в первую очередь именно о желании, явления эти не могли бы рассматриваться как однородные.

Что, однако, говорит последняя формулировка Фрейда? Каково последнее его слово о неврозах навязчивости – слово, которому, собственно, и вторит классическая теория?

За время своей деятельности Фрейд успел на этот счет сказать многое. Прежде всего он заметил, что так называемый первичный травматизм невротика противоположен первичному травматизму истерика. У истерика это внезапное совращение, вмешательство, вторжение сексуальности в жизнь субъекта. У больного неврозом

навязчивости психический травматизм служит опорой критики воссоздания, и потому субъект берет на себя, напротив, активную роль – роль, которая приносит ему удовольствие.

Но это лишь в первом приближении. Затем последовали все построения "*Человека с крысами*", осознание сложности аффективных отношений, упор на аффективную амбивалентность, на противоположность активного и пассивного, женского и мужского, а также, что самое главное, на антагонизм любви и ненависти. "*Человека с крысами*" нужно читать и перечитывать, как Библию. Относительно невроза навязчивости из случая этого многое предстоит еще почерпнуть, это целая тема для будущей работы.

К чему же пришел Фрейд в итоге, какова последняя его метопсихологическая формулировка? Клинический опыт и метапсихологическая проработка в теоретическом плане выявили в субъекте агрессивные тенденции, заставившие Фрейда провести то различие между инстинктами жизни и инстинктами смерти, которое не давало с тех пор аналитикам никакого покоя. Согласно Фрейду, у страдающего неврозом навязчивости инстинкты жизни и инстинкты смерти, первоначально находящиеся в смешении, обособляются. Выделение разрушительных устремлений происходит у него преждевременно, на стадии столь ранней, что на всем дальнейшем его развитии, на вживании его в особую его субъективность это не может не отразиться.

Каким образом вписывается это в диалектику, которую я вам здесь излагаю? Самым непосредственным, конкретным, чувствительным образом. Как только *желание* и *требование* логически у вас в голове уложатся, вы немедленно откроете для себя, по крайней мере в аналитической практике, повседневное их значение. Пока они не стали еще избитыми, вы сможете легко ввести их в свой обиход, спрашивая себя каждый раз, идет ли речь о желании и требовании, или же о желании или о требовании.

К чему я клонил, напомнив всем об инстинктах разрушения? Инстинкты эти проявляются в опыте, рассматривать который следует на самом обычном, вульгарном уровне того, что мы о страдающих неврозом навязчивости знаем – не о тех даже, что проходят у нас анализ, а о тех, что мы, будучи опытными психологами, узнаем в повседневной жизни, видя и оценивая то влияние, которое оказывает невроз на их поведение. Совершенно ясно, что такой невротик стремится свой объект разрушить. Дело, однако, в том, чтобы,

этой опытной истиной не ограничиваясь, присмотреться к тому, что же, собственно эта разрушительная деятельность невротика собой представляет.

И вот мои соображения по этому поводу.

Как опыт о том свидетельствует, истерик живет всецело на уровне Другого. Самое главное для него – это быть на уровне Другого. Именно для этого ему желание Другого и нужно – ибо в противном случае чем бы вообще этот Другой, кроме закона, мог быть? Центр тяжести определяющей для истерика траектории лежит с самого начала на уровне Другого. В то же самое время, по причинам, которые вполне поддаются формулировке и, в принципе, вполне согласуются с тем, что говорит Фрейд о преждевременном разделении инстинктов, для страдающего неврозом навязчивости, определяющей является нацеленность на желание как таковое, на потустороннее требованию. При всем том, отличие его от истерика тут лежит на поверхности.

Вам не помешал бы здесь опыт работы с ребенком, у которого неврозу навязчивости предстоит в дальнейшем развиться. Не существует, по-моему, субъектов, у которых лучше чувствовалось бы то, что я пытался сформулировать в прошлый раз, демонстрируя с помощью своей схемы, что в поле потребности, обязательно ограниченном – ограниченном в том же смысле, в каком говорят об обществе с ограниченной ответственностью, ибо область действия потребности всегда ограничена, – что в поле, другими словами, между потребностью, с одной стороны, и безусловным характером требования любви, с другой, располагается то, что я называл здесь *желанием*. Как я его, это желание, определил? Определил я его как нечто такое, что, располагаясь не иначе, как в этой потусторонней области, как раз и отрицает тем самым тот элемент инаковости, который в требование любви включен.

Но чтобы сохранить безусловный характер этого требования, преобразуя его в абсолютное условие желания, в желание в чистом виде, Другой подвергается отрицанию. Именно постольку, поскольку безусловность требования любви, эту предельную черту, субъекту пришлось познать и перешагнуть, черта эта остается нетронутой и благополучно переносится на потребность.

Ребенок, которому предстоит стать жертвой невроза навязчивости – это, как правило, тот ребенок, о котором родители говорят, – язык обыденный совпадает здесь с языком психологов, – что *он*

одержим теми или иными идеями. Если мы посмотрим на предмет его требований, станет ясно, что по сравнению с другими детьми в самих идеях его ничего необычного нет. Ему понадобится, например, коробочка. Это, конечно, сущий пустяк, и в большинстве случаев такое требование не вызовет ни у кого ни малейшего подозрения – ни у кого, кроме конечно же психоаналитиков, которые увидят множество тонких аллюзий. На самом деле они будут правы, но гораздо важнее, на мой взгляд, увидеть здесь то, что среди множества детей, требующих себе коробочки, есть такие, чьи родители находят подобное требование совершенно несносным.

Было бы наивно думать, будто родителям этим достаточно просто объяснить что к чему, отправив их в специальную школу. Ведь что ни говори, без самих родителей тут тоже не обошлось. Невроз навязчивости заработать не так-то просто. Тут необходим образец. Но как бы то ни было, *одержимость* ребенка, о которой свидетельствуют родители, дает о себе знать в самой реакции их и даже посторонним сразу же бывает заметна.

В необычной, бросающейся в глаза настоятельности, с которой ребенок свою коробочку требует, нестерпимым для Другого – тем, что люди как раз одержимостью обычно и называют, – является то, что требование это не чета другим, что оно несет в себе как раз те черты, которые свойственны, как я указал, желанию. По причинам, соответствие которых тому, что называют в подобных ситуациях сильными влечениями, вам объяснять не надо, упор у субъекта делается на то, чему предстоит стать одной из первых опор треножника, которому в дальнейшем понадобится для устойчивости еще одна нога, четвертая – упор делается на желание. И не просто на желание, а на желание как таковое, то есть желание, образование которого несет в себе разрушение Другого. Желание – это абсолютная форма потребности, той потребности, что, оказавшись по ту сторону безусловной нужды в любви, испытанию которой случается ей подвергнуться, перешла в состояние абсолютного условия.

Желание в качестве такового отрицает Другого в качестве такового – это и делает его столь же невыносимым, как желание ребенка получить свою маленькую коробочку.

Обратите внимание: утверждая, что желание – это разрушение Другого и что в желании Другого ищет истерик желание свое собственное, я говорю о разных вещах. Когда я говорю, что истерик

ищет свое желание в желании Другого, речь у меня идет о желании, которое истерик приписывает Другому как таковому. Когда же я говорю, что одержимый неврозом навязчивости ставит свое желание на первое место, я имею в виду, что он ищет его в потустороннем и что интересует оно его именно постольку, поскольку, складываясь, оно организуется как желание, то есть постольку, поскольку он разрушает Другое. В этом и состоит секрет глубокого противоречия между одержимым и его желанием. Рассматриваемое под этим углом зрения, желание в самом себе заключает то внутреннее противоречие, которое заводит желание одержимого неврозом навязчивости в тупик и которое пытаются сформулировать исследователи, рассуждая о непрекращающихся мгновенных колебаниях между интроекцией и проекцией.

Должен признать, что перед нами здесь нечто такое, что наглядно представить себе чрезвычайно трудно, особенно после того, как вам обстоятельно объяснили – как цитированный нами автор это в действительности и делает – до какой степени механизмы интроекции и проекции друг с другом не связаны. У меня различие это сформулировано еще четче: как бы то ни было, исходить надо из того, что механизм проекции является воображаемым, а механизм интроекции – символическим. Связи здесь никакой усмотреть нельзя.

Зато, наоборот, очень легко представить себе и, обратив на это внимание, убедиться на опыте, что одержимый неврозом навязчивости поистине начинен желаниями, что стоит вам коснуться его, как окажется, что эти паразиты буквально кишат в нем. И если вы направите рост такого невроза в направлении фантазма – а для этого много не надо, элементов вашего переноса, о которых я только что говорил, будет вполне достаточно, – вы сами увидите, как бурно размножается эта нечисть в любой предоставленной ей среде. Вот почему долго этот невроз культивировать не приходится.

Рассмотрим, однако, самое главное – что происходит, когда страдающий неврозом навязчивости пытается время от времени, собрав свое мужество, барьер требования преодолеть, то есть когда он пускается на поиски объекта своего желания? Поначалу найти его бывает не так-то легко. Но существуют, тем не менее, вещи, ему на практике уже известные и способные поэтому послужить какой-то опорой, – ну, хотя бы, коробочка. Понятно, что именно на этом пути ожидают его самые удивительные приключения – приключения,

которые он попытается на различных уровнях, путем вмешательства Сверх-Я и тысячью других существующих способов, мотивировать. Учитывая, однако, что определяющая для такого невротика траектория ведет его к желанию как таковому, к желанию в свойственном ему устроении, куда более решительным образом склонен он устремиться к тому, что мы назвали здесь разрушением большого Другого.

Однако природа желания такова, что опора в виде Другого ему просто необходима. Желание Другого – это не путь, открывающий к желанию субъекта доступ, это просто место желания, вот и все. Поэтому любое движение, которое страдающий неврозом навязчивости в направлении своего желания делает, наталкивается на препятствие, которое совершенно осязаемо выступает в движении, если можно так выразиться, его либидо. Психология подобного невротика такова, что чем более входит нечто в роль, пусть кратковременную, объекта его желания, тем более закон сближения субъекта с этим объектом заявляет о себе снижением либидинального напряжения. И когда его, этот объект собственного желания, он держит, наконец в руках, объект этот для него больше не существует. Это отлично поддается наблюдению, и я постараюсь подтвердить это на ряде примеров.

Вся проблема такого невротика заключается, следовательно, в том, где найти опору желанию – ведь желание это ведет у него к разрушению Другого, в результате чего неизбежно исчезает само. Большого Другого здесь нет. Я не утверждаю, будто большой Другой для страдающего неврозом навязчивости не существует вообще, я говорю лишь, что когда речь идет о его, Другого, желании, на месте его не оказывается, почему и пускается невольно субъект на поиски того единственного, что даже в отсутствии этого ориентира способно его желание удержать на месте. Проблема страдающего неврозом навязчивости состоит в том, чтобы найти для своего желания то единственное, что дало бы ему видимость опоры, соответствуя той позиции, которая истерику, благодаря идентификациям его, с такой легкостью достается, – найти, одним словом, то, что расположено на моей схеме напротив желания, *d*, и выражается формулой, связывающей $\$$, с одной стороны, и маленькое *a*, с другой.

Истерик находит своему желанию опору в идентификации с воображаемым другим. У страдающего неврозом навязчивости мес-

то этого другого и функция его достаются объекту, который всегда – в форме прикровенной, но обязательно узнаваемой – оказывается не чем иным, как фаллическим означающим.

На этом я сегодня закончу. О вытекающем отсюда поведении такого невротика по отношению к этому объекту и маленькому другому я скажу позже. В следующий раз я покажу вам, что из сказанного следует ряд сравнительно расхожих уже истин – хотя бы та, например, что сфокусировать свое желание субъект может лишь сопротивляясь тому, что мы назовем *абсолютной мужественностью*, и что, с другой стороны, не будучи в состоянии обойтись без того, чтобы свое желание показать, он, насущно нуждаясь в этом, может, однако, совершить это лишь в другом месте – там, где приходится ему вершить подвиги.

Свойственные всей деятельности такого невротика черты представления, спектакля, именно в этом находят свое объяснение и мотивы.

14 мая 1958 года

XXIII
Одержимый неврозом навязчивости и его желание

Двуличность желания
Значение фантазма
Садистские сценарии
Разрушение, запрет, подвиг
Значение acting out

Продолжая исследование обусловленности невротических структур тем, что названо у нас образованиями бессознательного, мы подняли в последний раз тему невроза навязчивых состояний и пришли к выводу, что страдающему таким неврозом приходится формировать себя перед лицом собственного исчезающего желания.

Начали мы с того, что, исходя из формулы *желание есть желание Другого*, показали, почему, собственно, желанию его угрожает исчезновение. Причину этому следует искать в отношениях его с Другим – тем местом, где означающее строит желание и упорядочивает его.

Как раз это измерение и пытаемся мы здесь описать, полагая, что именно неспособности различить его обязаны мы как ошибками в теории, так и недоразумениями на практике.

По ходу дела мы хотели бы дать вам почувствовать, в чем, собственно, состоит открытие Фрейда и каким, после достаточно объемного изучения, предстает смысл его научного творчества в целом. Все дело в том, что хотя строится желание в соответствии с означающим, внутри этого феномена субъект пытается, конечно, выразить, явить в эффекте означающего как такового то, что происходит в его, этого субъекта, отношениях с означаемым.

Творчество Фрейда само до известной степени в это учение вписывается. Многое говорилось о его натурализме, о его старании свести человеческую реальность к природе. Это неправда. Творчество Фрейда представляет собой попытку пакта, соглашения между человеческим бытием и природой. И почву для этого соглашения он никогда не ищет в какой-то врожденной между ними гармонии, так как в исследовании человека Фрейд всегда исходит из того факта, что формируется он как субъект речи, как Я акта речи.

Да и как это отрицать, если именно таким он в анализе предстает! Перед лицом природы человек не выступает, таким образом, носителем внутренне присущей ей жизни. Лишь внутри опыта обращения субъекта с речью получают его отношения с природой свою адекватную формулировку.

Отношение субъекта с жизнью обретает свой символ в приманке, которая заимствуется, изымается из жизненных форм, – в фаллическом означающем. Именно тут находится центральное, наиболее чувствительное и характерное из всех перепутий означаемого, которые мы в ходе анализа субъекта исследуем. Фаллос является здесь своего рода вершиной, точкой равновесия. Это не что иное, как означающее отношения человека к означаемому, означающее по преимуществу – именно в этом привилегированность его позиции и состоит.

Включение человека в сексуальное желание неизбежно создает особую проблематику, главной чертой которой является то, что она должна занять свое место в чем-то, что ей предшествовало. Предшествующее это назовем мы диалектикой требования, поскольку требование всегда требует чего-то такого, что больше того удовлетворения, к которому оно апеллирует, что лежит где-то по ту сторону этого удовлетворения. Отсюда проблематичный и двусмысленный характер места, где желание располагается. Место это всегда находится по ту сторону требования, поскольку требование нацелено на удовлетворение потребности. Но в то же самое время оно находится по эту сторону требования, поскольку это последнее, будучи артикулировано в символических терминах, идет дальше всех видов удовлетворения, к которым оно апеллирует, и является не чем иным, как требованием любви – требованием, взыскующим само бытие Другого, стремящимся получить от Другого в качестве главного его дара то, что находится по ту сторону любого возможного удовлетворения и представляет собой не что иное, как само бытие Другого – то самое, что в любви как раз и взыскуется.

Именно в виртуальном пространстве между зовом удовлетворения и требованием любви приходится желанию занять место и както организоваться. Вот почему по отношению к требованию оно всегда оказывается для нас в двойственном положении, располагаясь как по ту, так и по эту его сторону в зависимости от угла, под которым мы требование рассматриваем – в зависимости от того, идет ли речь о требовании по отношению к потребности или о тре-

бовании, структурированном в терминах означающего.

Как таковое, желание всегда выходит за рамки любого лежащего на уровне удовлетворения ответа, взыскуя ответа абсолютного. Тем самым оно проецирует присущий ему характер абсолютного условия на все то, что организуется во внутреннем интервале между двумя планами требования – планом означаемым и планом означающим. Именно в этом интервале призвано желание занять свое место и себя как-то артикулировать.

Вот почему на подступах субъекта к собственному желанию посредником его выступает Другой. Другой как место речи, как тот, кому желание адресуется, становится также и местом, где желанию предстоит открыться, где должен быть открыт подходящий способ его сформулировать. Здесь-то всякий раз и возникает противоречие, ибо Другой этот одержим желанием – желанием, которое принципиально и изначально субъекту чуждо. Откуда и трудности с тем, чтобы желание сформулировать. Не будучи в состоянии с ними справиться, субъект и выстраивает как раз те невротические структуры, которые открытие психоанализа дало возможность обрисовать.

Структуры эти различны: если упор делается на неудовлетворенность желания, то перед нами способ, которым с неизбежностью желания примиряется на подступах к его полю истерик, – если же акцентируется зависимость подхода к этому желанию от другого, мы имеем дело с обыкновением, присущим страдающему неврозом навязчивости. Именно поэтому и сказали мы в конце прошлого занятия, что у страдающего неврозом навязчивости здесь, в ($\$\Diamond a$), происходит нечто такое, что от истерической идентификации заметно разнится.

1

Желание является для истерика пунктом загадочным, и мы всегда привносим в него то своего рода навязчивое толкование, что так характерно для первоначального подхода Фрейда к анализу истерии.

Фрейд действительно не замечал того, что в силу позиции, которую истерик по отношению к желанию занимает, слова: "*вот тот или та, кого вы желаете*", всегда окажутся истолкованием насильственным, неточным, бьющим мимо цели. И в первых наблюдениях Фрейда, и немного позже, в случае Доры, и даже впослед-

ствии, если мы распространим смысл понятия "истерия" на случай гомосексуальной пациентки, который мы в прошлом году подробно обсуждали, трудно найти пример, где Фрейд не совершил бы ошибки и, каждый раз таким образом поступая, не наталкивался бы на неизменный отказ больного признать желание, руководящее его симптомами и поступками. Дело в том, что желание истерика – это не желание объекта, а желание желания, попытка утвердить себя перед лицом того места, куда он свое желание призывает, – места, где находится желание Другого.

Страдающая истерией отождествляет с объектом себя саму. Дора идентифицируется с г-жой К. Елизавета фон Р. идентифицируется с различными членами семьи или другими лицами из своего окружения. Для характеристики места, где такая идентификация происходит, термины собственного Я или идеала собственного Я подходят одинаково мало – на самом деле лицо, с которым она себя идентифицирует, становится для нее другим Я. Речь идет об объекте, выбор которого всегда недвусмысленно объясняется Фрейдом в полном соответствии с тем, что собираюсь вам сказать я: идентификация субъекта с другим, включающая все формы симптоматических проявлений, так для истерика характерные (кризисы, заразительность и т. д.), происходит постольку, поскольку субъект, он или она, обнаруживает у другого или у другой признаки желания такого же, как и его или ее собственное, признаки того, что перед этим другим или другой стоит та же самая проблема желания.

У страдающего неврозом навязчивых состояний складываются совсем другие отношения, так как проблема желания Другого предстает ему в совсем ином свете. Чтобы эту проблему артикулировать, попробуем проследовать теми этапами, которые предоставляет в наше распоряжение опыт.

С какой стороны мы к переживаниям страдающего неврозом навязчивости подойдем, в каком-то смысле совершенно безразлично. Главное – это не забыть, что сторон этих много. Все прослеженные анализом пути, на которых мы, руководствуясь на ощупь собственным опытом, пытались решение проблемы невротика такого рода найти, оказались отмечены неполнотой и предвзятостью. Разумеется, они дают в наше распоряжение материал. Материал этот, как и способы его использования, можно, исходя из полученных результатов, объяснить по-разному.

Прежде всего мы можем критически оценить сами эти пути. Кри-

тика эта должна быть целенаправленной. Если присмотреться внимательнее к тому, как опыт этот был в действительности ориентирован, бесспорным окажется, что как теория, так и практика стремились сосредоточиться в первую очередь на использовании фантазмов субъекта. Однако роль фантазмов в неврозе навязчивых состояний до известной степени представляет собой загадку, поскольку термину *фантазм* никогда определения не дается. Мы уже говорили здесь подробно о воображаемых отношениях и о функционировании образа в качестве, так сказать, проводника инстинкта, в качестве канала, индикатора на пути осуществляемых инстинктом задач. Мы знаем, с другой стороны, насколько обеднено, сведено у человека к минимуму использование функции образа – похоже, можно с уверенностью сказать, что оно ограничено образом нарциссическим, зеркальным. Тем не менее функция эта исключительно многоцелевая и отнюдь не нейтрализованная, ибо действует она в человеческих отношениях как в плане агрессии, так и в плане эротики.

Каким образом достигнутая нами позиция позволяет теперь артикулировать те важнейшие, первостепенные воображаемые функции, которые находятся в сердцевине аналитического опыта и в центре внимания аналитиков – функции фантазма?

Я полагаю, настоящая схема дает возможность поместить и артикулировать функцию фантазма здесь, в точке ($\$\lozenge a$). Я прошу вас сначала представить ее себе чисто интуитивно, учитывая при этом, что речь идет, разумеется, не о реальном пространстве, а о топологии, где могут наглядно выступить определенные гомологические соответствия.

Отношение к образу другого, $i(a)$, располагается на уровне опыта, встроенного в первичную цепь требования, где субъект обращается поначалу к Другому за удовлетворением своих потребностей. А это значит, что именно где-то здесь, в этой части цепи имеет место то осуществляемое путем перехода приспособление, тот эффект представительности, что ставят субъекта в определенные отношения с ему подобным как таковым. Связь с образом берет, таким образом, начало на уровне и во время вступления субъекта в речевую игру – на границе перехода от этапа *infans* к этапу овладения речью. Опираясь на это, мы можем утверждать, что в другом, верхнем поле, там, где мы ищем пути осуществления желаний субъекта через доступ его к желанию Другого, функция фантазма

располагается, соответственно, в подобной же точке – в точке ($\$ \Diamond a$).

Фантазм мы определим, коли уж вы на этом настаиваете, как воображаемое, задействованное определенным образом в качестве означающего. Что проявляется и наблюдается очень характерным образом, хотя бы, к примеру, в тех фантазмах садистского содержания, которые играют столь важную роль в картине невроза навязчивых состояний.

Обратите внимание на то, что, говоря в этих выражениях, называя обнаруживающиеся в подобных явлениях устремления садистскими, мы ассоциируем их с совершенно определенными произведениями. Произведения эти представляют собой не исследование инстинктов, а своего рода игру, охарактеризовать которую термином *воображаемая* было бы далеко недостаточно, так речь идет о произведениях литературных. Причем, делая это, мы имеем в виду определенные сцены – собственно говоря, сценарии, – которые, как таковые, глубоко укоренены в означающем. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о фантазме, не следует игнорировать ту его сторону, с которой он оборачивается сценарием или историей – это одно из существенных для него измерений. Это не слепой образ инстинкта разрушения, не что-то такое, на что субъект – я тщетно пытаюсь в надежде вам это объяснить надеть такую личину сам – бросается, подобно быку на красное. Это, скорее, нечто такое, что субъект артикулирует в виде сценария, более того, сценария, в разыгрывании которого сам же и принимает участие. Формула в виде перечеркнутой буквы S – формула, символизирующая субъекта в той точке, где наличие его в связи с маленьким *a* артикулировано лучше всего, – приложима к любому чисто фантазматическому развитию того, что мы назовем садистскими устремлениями, насколько эти последние могут в построении невроза навязчивых состояний оказаться задействованы.

Обратите внимание – в сценарии всегда имеется сцена, где субъект предстает в различным образом замаскированных формах, в которых он под многообразными личинами вовлечен в действие, где в качестве отрицания субъекта, в качестве ему подобного, налицо оказывается другой. Более того – и умалчивать об этом нельзя – налицо присутствие инструмента совершенно определенного типа.

О существенности фантазма порки я уже говорил вам. Фрейд специально настаивал на ней в связи с особенной ролью, которую играет этот фантазм в психике женщины. Это одна из сторон темы,

разработанной им с большой обстоятельностью. Но фантазм этот, который рассматривается Фрейдом под углом зрения, продиктованным его опытом, далеко не исчерпывается той областью и теми случаями, которые Фрейдом принимаются во внимание. С одной стороны, ограничение это вполне законно: фантазм этот действительно играет особую роль в момент, для развития женской сексуальности решающий, – тот самый, где заявляет о себе функция фаллического означающего. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что ничуть не менее важна роль этой функции и в неврозах навязчивых состояний, в том числе во всех случаях, где выявляются у пациентов фантазмы, именуемые садистскими.

Где же тот элемент, который сообщает этому инструменту его таинственное могущество? Сказать, что существует удовлетворительное объяснение его биологической функции, никак нельзя. Можно, конечно, напрягая воображение, начать поиски со стороны связи его – не очень ясно, какой – с искусственным возбуждением, со стимуляцией кожного покрова, но вы сами чувствуете, до какой степени нарочитыми и неполными эти объяснения оказались бы. С функцией этого столь часто появляющегося в фантазмах элемента связана к тому же означающая поливалентность, заставляющая чашу весов объяснения склониться скорее на сторону означаемого, нежели чего-то такого, что примыкает к аргументации, исходящей из потребностей биологического порядка или чего-бы то ни было еще.

Понимание фантазма как чего-то такого, что, участвуя, разумеется, в порядке воображаемом, функционирует, тем не менее, где бы оно ни оказалось артикулировано, в психической экономии не иначе, как посредством своей означающей роли, кажется нам принципиально важным и до сих пор в таком виде сформулировано еще не было. Больше того, по-моему, то, что называют *бессознательными фантазмами*, иначе представить себе просто нельзя.

Что такое бессознательный фантазм? Не иначе, как нечто латентное, скрытое – нечто такое, что, насколько мы можем на данный момент об организации структуры бессознательного судить, вполне допустимо мыслить как означающую цепочку. То, что в бессознательном имеются пребывающие нетронутыми означающие цепочки, которые оттуда, из бессознательного, структурируют организм, воздействуют на него, влияют на то, что является наблюдателю симптомами, – все это азы аналитического опыта. Чем представ-

лять себе, будто воображаемое в каком бы то ни было виде оказывает на бессознательное влияние, гораздо проще поместить сам фантазм на уровень того, что с бессознательным соизмеримо и заведомо предстает нам в этой же плоскости, – на уровень означающего По сути своей, фантазм – это воображаемое, задействованное в определенной означающей функции.

Я не могу сейчас развивать эту мысль дальше, и предлагаю вам поверить мне на слово, поместив фантазматический эффект в точке ($\$\Diamond a$) нашей схемы. Характерными для него являются артикулированные и заведомо сложные отношения, своего рода сценарий, который долгое время может в какой-то точке бессознательного пребывать скрытым, не теряя при этом присущей ему организации, – как сновидение, к примеру, находящее объяснение лишь постольку, поскольку свою структуру, свою связность и, одновременно, свою настоятельность сообщает ему функция означающего.

Весь аналитический опыт, и аналитическое обследование страдающих неврозом навязчивости, в первую очередь, свидетельствует о том, что садистские фантазмы занимают у одержимых неврозом навязчивости особое место. Место это они занимают всегда, но удостовериться в этом непросто, ибо факт этот далеко не обязательно лежит на поверхности. Зато разнообразные попытки восстановить равновесие, которые субъект в процессе метаболизма невроза предпринимает, ясно свидетельствуют о том, что все эти попытки направлены на одно – определиться по отношению к собственному желанию.

Когда мы встречаем страдающего неврозом навязчивости в первозданном, природном его состоянии – таким, каким он выглядит в опубликованных наблюдениях, или, по крайней мере, таким, за какого его эти наблюдения выдают, – перед нами, как правило, человек, который говорит с нами главным образом о всякого рода препонах, торможении, затруднениях, страхах, сомнениях, запретах. Нам заранее известно, что о фантазматической стороне своей жизни он заговорит не сразу, а только с помощью нашего терапевтического вмешательства или в ходе собственных попыток найти выход, то есть проработать и разрешить связанные с собственной одержимостью трудности. Лишь тогда в состоянии он будет сознаться в том, что психическая его жизнь находится в большей или меньшей степени во власти фантазмов. Фантазмы эти, как вы знаете, порабощают субъекта и поглощают его порою настолько, что не-

которые грани его психической жизни, его переживаний, его умственной деятельности оказываются всецело в их власти.

Фантазмы эти мы называем *садистскими* – но в данном случае это не больше, чем этикетка. На самом деле они задают нам загадку, поскольку, не удовлетворяясь рассмотрением их в качестве признаков неких устремлений, мы вынуждены видеть в них организацию отношения субъекта к Другому как таковому – организацию, лежащую в плоскости означающего. Роль в психической экономии артикулированных таким образом фантазмов – вот для чего нам с вами предстоит найти формулу.

Характерно, что у страдающего неврозом навязчивости фантазмы эти так в состоянии фантазмов и остаются. Осуществляются они в исключительных случаях и результаты всегда к тому же оказываются для субъекта обманчивыми. По сути дела, случаи эти обнажают перед нами механизм связи такого субъекта с его желанием – по мере того, как он пытается, воспользовавшись представляющимися ему возможностями, к объекту желания приблизиться, желание постоянно ослабевает, пока, в конечном итоге, не гаснет, не исчезает вовсе. Я бы даже сравнил страдающего неврозом навязчивости с Танталом, когда бы иконография этого персонажа, иконография весьма богатая, не представляла его в качестве фигуры главным образом оральной. Впрочем, сравнение это мне пришло в голову не напрасно – оральная подкладка того, что составляет для фантазма одержимости точку его равновесия, станет в дальнейшем вам очевидна.

Не существовать это оральное измерение просто не может, поскольку, в конечном счете, аналитик, о котором я говорил в связи с терапевтической стратегией, намеченной в трех его цитированных здесь мною статьях, работает с пациентом именно в фантазматическом плане. И в поисках средства дать стремящемуся к осуществлению своего желания невротику новый способ удержать равновесие, принести ему определенное облегчение, огромное число аналитиков прибегает к практике фантазматического поглощения.

То, что на этом пути достигнуты определенные результаты, бесспорно, но критическая оценка его все-таки не помешает.

2

Отметим прежде всего, что подходя к проблеме таким образом, мы принимаем во внимание лишь одну ее сторону. Подходя к ней

с другой стороны, мы должны раскрывать веер последовательно, ни в коем случае не игнорируя то, что проявляется в симптомах страдающего неврозом навязчивости самым очевидным образом и что именуют обычно *требованиями сверх-Я*.

Как следует нам эти требования себе представлять? Каковы их корни в страдающем неврозом навязчивости? Вот об этом-то и пойдет у нас сейчас речь.

Все, что с больным неврозом навязчивых состояний происходит, можно показать и прочитать на предложенной мною схеме. Прочтение это окажется впоследствии не менее плодотворным, нежели то, что нам удалось продемонстрировать прежде.

Можно сказать, что такой невротик всегда готов потребовать позволения. Вы сами столкнетесь с этим на конкретном материале того, что говорит он вам в своих симптомах – это вписано в них, и во многих случаях артикулировано. Обратившись к схеме, мы увидим, что это происходит на уровне $\$\lozenge D$. Потребовать позволения как раз и означает вступить в качестве субъекта в определенные отношения с требованием. Потребовать позволения означает – поскольку диалектическая связь с Другим, Другим как существом говорящим, поставлена под вопрос, под сомнение, а то и вовсе находится в опасности – постараться в конечном счете этого Другого восстановить: восстановить, поставив себя в самую крайнюю от него зависимость. Уже это говорит о том, до какой степени важно для страдающего неврозом навязчивости это место за собой сохранить. Тут-то как раз и открывается нам, насколько уместно то, что Фрейд говорит о так называемом отказе, *Versagung*. Отказ и разрешение предполагают друг друга. От соглашения отказываются на фоне обещания – это куда лучше пресловутых обманутых ожиданий.

Но проблема отношений с Другим, особенно когда речь идет о субъекте в целом, не укладывается в плоскость требования как такового. Проблема ставится в этих терминах лишь тогда, когда мы пытаемся призвать на помощь идею развития и когда маленький беспомощный ребенок перед лицом матери представляется нам отданным на чью-то милость объектом. На самом деле с момента, когда субъект вступает в отношения с Другим, которого мы определили как носителя речи, где-то по ту сторону всякого ответа Другого возникает – и возникает как раз постольку, поскольку сама речь это потустороннее его ответу и создает – некий виртуальный пункт. И

не просто виртуальный – на самом деле, если бы не психоанализ, не было бы вообще никакой уверенности, что хоть кто-то может этого пункта достичь, разве что посредством того спонтанного и высшего анализа, который всегда готовы мы предположить у того, кто сумел старый принцип *Познай самого себя* осуществить вполне. Однако у нас все основания предполагать, что до сих пор нигде, кроме психоанализа, пункт этот с полной ясностью не вырисовывался.

Понятие *Versagung* характеризует собою, собственно говоря, не что иное, как ситуацию субъекта по отношению к требованию. Я попрошу вас здесь забежать немного вперед – точно так же, как поступили мы, говоря о фантазме. Когда мы рассуждаем о стадиях или о принципиальных способах отношения к объекту, выделяя стадии оральную, анальную, генитальную, – о чем, собственно, у нас идет речь? Речь идет об определенном типе отношений, выстраивающих *Umwelt* субъекта вокруг некоей центральной функции и определяющим отношения его с миром на той или иной ступени развития. Все, что воспринимает он из своего окружения, приобретает, таким образом, то или иное особенное значение, обусловленное тем, через какой тип объекта – оральный, анальный или же генитальный – оно преломляется. Здесь налицо, конечно, эффект миража – понятие об объекте всегда реконструируется и проецируется на процесс развития лишь задним числом.

Концепция, на которую направлена моя критика, обычно не бывает артикулирована достаточно четко и зачастую прямых разговоров о ней просто-напросто избегают. Сначала говорят об объекте, потом, безо всякой связи с этим, говорят об окружении, ни на минуту даже не задумываясь при этом о том, какая разница существует между типичным объектом отношения, обусловленного той или иной стадией – отторжения, например, – и конкретным окружением (со всеми теми исходящими от множества объектов случайными влияниями, которым субъект, что ни говори, с раннего детства бывает подвержен).

Судя по тому, что мы знаем на сегодняшний день, пресловутое отсутствие объектов у грудного ребенка, его пресловутый аутизм вызывают самое большое сомнение. Больше того, я уверяю вас, что представления эти полностью иллюзорны. Достаточно понаблюдать за маленькими детьми непосредственно, чтобы понять, что ничего подобного не существует в помине, что объекты внешнего

мира представляются ему столь же многочисленными, сколь интересными и стимулирующими.

О чем же все-таки идет речь? Какое открытие мы сделали? Мы можем определить и сформулировать его как определенный стиль требования со стороны субъекта. Каким образом открыли мы те явления, что позволяют нам говорить о трех последовательных типах отношения к миру – оральном, анальном и генитальном? Мы открыли их путем анализа людей, которые эти касающиеся их детского развития стадии давно миновали. Мы утверждаем, далее, что субъект регрессирует к этим стадиям. Что мы тем самым хотим сказать?

Ответить на это, сказав, что перед нами возврат на воображаемые этапы раннего детства, означало бы – даже при допущении, что какое-то представление о них создать все же можно, – впасть в заблуждение, закрывающее нам глаза на подлинную природу явления. Напоминает ли нам хоть что-нибудь о подобном возврате? Говоря о фиксации невротического субъекта на определенной стадии – выигрываем ли мы что-нибудь от подобной формулировки по сравнению с обычной нашей манерой смотреть на вещи?

По сути дела, мы являемся в анализе свидетелями того, что в ходе регрессии – впоследствии мы увидим, что этот термин здесь означает, – субъект формулирует в процессе анализа теперешнее свое требование в терминах, позволяющих разглядеть некую связь его – связь орального, анального или же генитального типа – с определенным объектом. Но если связь эта могла на протяжении всего развития субъекта оказывать на него решающее влияние, то происходить это могло лишь постольку, поскольку на определенном этапе этого развития она начала функционировать как означающее.

Когда на уровне бессознательного субъект артикулирует свое требование в оральных терминах, когда он артикулирует свое желание в терминах поглощения, он вступает тем самым в определенные отношения ($\$ \Diamond D$), вступает на уровне виртуальной артикуляции, свойственной бессознательному. Это как раз и позволяет нам говорить о фиксации на определенной стадии – чем-то таком, что в момент аналитического исследования предстает как наделенное особым значением, – давая основание полагать, что вызвав регрессию субъекта на эту стадию, можно будет выяснить что-то существенное о том способе, которым заявляет о себе его субъективная организация.

Но заинтересованы мы на самом деле вовсе не в том, чтобы наделить значимостью, или компенсировать, или позволить субъекту вновь символически вернуть то, что на определенном этапе его развития выступало как неудовлетворенное в оральном, анальном или ином плане требование – требование, на котором, предположительно, он зафиксирован. Если все это нас и интересует, то лишь постольку, поскольку именно в этот момент требования субъекта возникли для него те проблемы отношений с Другим, которым суждено впоследствии стать определяющими для постановки, ориентации его желания.

Другими словами, все, что в пережитом субъектом прежде относится к разряду требования, остается с этих пор раз и навсегда неизменным. Любое удовлетворение, любая компенсации, которую мы в состоянии ему дать, будет иметь лишь символическое значение. Больше того, предоставление их, насколько оно осуществимо вообще, можно даже рассматривать со стороны аналитика как ошибку.

Впрочем, оно все-таки осуществимо – и осуществимо как раз благодаря фантазму, благодаря чему-то более или менее субстанциональному, что на фантазм опирается. Но мне кажется, что ориентироваться в анализе именно на это было бы ошибочно, так как вопрос об отношениях с Другим так и остается в результате такого анализа до конца не решенным.

3

Страдающий неврозом навязчивости имеет, точно так же, как и истерик, потребность в неудовлетворенном желании, то есть в желании по ту сторону требования. Страдающий неврозом навязчивости решает проблему исчезновения своего желания, делая из него желание запретное. Поддержку ему он ищет в Другом, точнее – в запрете Другого.

И все же такой способ поддерживать свое желание посредством Другого остается сомнительным, так как запретное желание еще не становится от этого желанием угасшим. Запрет призван поддержать желание, но чтобы желание нашло поддержку, оно должно быть предъявлено. Это как раз страдающий неврозом навязчивости и делает – вопрос в том, как именно.

Способ, которым он этого добивается, как вы знаете, очень сложен. Демонстрируя свое желание, он одновременно его скрывает.

Другими словами, он его камуфлирует, и нетрудно понять, почему. Намерения его, если можно так выразиться, не самые лучшие.

На это мы с вами уже обратили внимание – именно это и назвали мы свойственной подобному невротику агрессивностью. Любое обнаружение собственного желания становится для него поводом либо к агрессивной проекции, либо к опасению, что агрессия будет обращена на него самого, – опасению, всякое проявление этого желания тормозящему. Но объяснение это оказывается в первом приближении верным. Когда мы говорим, что невротик подобен качающемуся на качелях и что желание его, по мере того, как его проявления заходят в своей агрессивности слишком далеко, улетает на этих качелях в сторону исчезновения – исчезновения, связанного со страхом ответной агрессивности со стороны Другого, со страхом претерпеть со стороны Другого ущерб, эквивалентный разрушительным устремлениям, желанным ему самому, – когда мы говорим все это, суть вопроса мы начисто упускаем из вида.

То, о чем в данном случае идет речь, необходимо, на мой взгляд, поместить в более широкую перспективу, и нет к этому лучше средства, как рассмотреть внимательней те иллюзии, которые порождают отношения с другим у нас, аналитиков, внутри нашей же собственной аналитической теории.

Понятие *отношения к другому* всегда подвержено скольжению, стремящемуся свести желание к требованию. Если желание действительно является тем, чему я нашел здесь формулировку, если оно действительно возникает в зиянии, которое открывает в требовании речь, и находится тем самым по ту сторону всякого конкретного требования, то ясно, что всякая попытка свести желание к чему-то, требующему себе удовлетворения, наталкивается на внутреннее противоречие. В настоящее время почти все аналитики сошлись на том, что венцом и пределом удачного осуществления субъектом того, что они называют *генитальной зрелостью*, является способность к жертвенности, то есть к признанию желания Другого как такового. Я уже приводил вам в качестве примера на эту тему отрывок из разбираемого мною автора, где речь идет о глубоком удовлетворении, которое получает субъект, удовлетворяя требование другого – о том, иными словами, что обычно называется *альтруизмом*. То, что требует в проблеме желания своего разрешения, автор этот, таким образом, благополучно минует.

Я полагаю, честно говоря, что термин *жертвенность* в том виде,

в каком предстает он нам в морализирующей перспективе, является, без малейшего преувеличения, не чем иным, как фантазмом страдающего навязчивыми состояниями невротика. Совершенно ясно, что при настоящем положении дел темпераменты – по понятным причинам я говорю о тех, которые описаны аналитической практикой теоретически, – темпераменты, я повторяю, истерические встречаются в анализе гораздо реже, нежели натуры, страдающие неврозом навязчивости. Вербовка анализом своих сторонников происходит отчасти именно в русле невротических чаяний. Но иллюзия, фантазм, доступный страдающему неврозом навязчивости, состоит, в конечном итоге, в том, что Другой как таковой дает на его желание свое согласие.

А это влечет за собой чудовищные трудности, так как согласие, которое от него требуется, не имеет ничего общего с удовлетворением какого-либо запроса, с ответом на какое-то требование. Но в конечном счете согласие это все-таки куда желательнее, нежели попытка увильнуть от проблемы и дать ей скоропалительное решение, полагая, что достаточно, в конце концов, просто-напросто прийти к соглашению, – что для счастья в жизни довольно будет не вызывать у других тех ожиданий, в которых сам успел обмануться.

Некоторые анализы обязаны своим неудачным и сбивающим с толку исходом ряду предубеждений относительно того, какое завершение аналитического пользования можно, собственно, считать удачным. Предубеждения эти ведут к тому, что страдающий неврозом навязчивости субъект поощряется в своих добрых намерениях. В результате эти последние укрепляют свои позиции, побуждая его отдаться той обычной для такого рода субъектов склонности, которая описывается приблизительно известной формулой: *не причиняй другим того, чего ты не хотел бы, чтобы другие причиняли тебе.* Этот основополагающий для морали категорический императив практическое применение находит в жизни далеко не всегда – особенно же он неуместен там, где речь идет о таких, к примеру, вещах, как соединение между полами.

Строить свои отношения с другим на попытке ставить себя на его место – дорожка скользкая, но соблазнительная, в особенности если аналитик, вступающий с маленьким другим, ему подобным, в тесные, лицом к лицу, отмеченные агрессией отношения, испытывает вполне естественное искушение занять в такой ситуации мягкую, щадящую, так сказать, позицию. Но именно эта щадящая

по отношению к другому позиция и лежит в основе всех предосторожностей, церемоний, увиливаний и прочих ухищрений, страдающему неврозом навязчивости столь свойственных. Если делается это – не без основания, разумеется, и, в итоге, значительно усложняя дело, – с целью придать тому, что заявляет о себе в симптомах, обобщенную форму, с целью экстраполировать проблемы субъекта в область морали и предложить ему в качестве их разрешения выход, именуемый жертвенностью, то есть подчинение требованиям другого, то игра, конечно же, просто не стоит свеч. Как опыт о том свидетельствует, дело кончится тем, что один симптом заменится на другой, и притом очень серьезный, так как проблема желания, которая таким образом решена быть никоим образом не может, в тех или иных, более или менее ясных формах, встает в этом симптоме заново.

Если так посмотреть на дело, оказывается, что пути, которые страдающий неврозом навязчивости, пытаясь в проблеме своего желания разобраться, находит сам, даже не будучи удачными, по-своему адекватны, так как проблема эта, по крайней мере, предстает в них очень отчетливо. Среди этих путей и способов есть и такие, что лежат в плоскости фактических отношений с другим. Сам способ, которым такой невротик ведет себя по отношению к своим ближним – если он, конечно, на отношения с ними еще способен, если симптомы еще целиком не поглотили его, что, в общем, бывает редко, – сам способ этот достаточно показателен. Но даже заводя больного в тупик, он оставляет после себя указатели, по которым не так уж плохо можно ориентироваться.

Я уже говорил о подвигах, которые страдающие неврозом навязчивости совершают. Чтобы подвиг состоялся, нужны, по меньшей мере, трое – так как в одиночестве подвиг не совершить. Прежде всего нужен еще кто-то, кто нечто подобное совершал, – иначе не с чем будет достижение в свою пользу сравнить. Это уже двое. Но нужен еще кто-то, кто бы достижение это, этот подвиг зарегистрировал, стал ему свидетелем. Ведь подвигом своим страдающий неврозом навязчивости как раз и пытается стяжать то, что мы только что называли "позволением Другого", причем позволение это ему нужно за что-то очень неоднозначное. За то, к примеру, что "он его заслужил". При этом удовлетворение, которое он пытается получить, с областью его пресловутых заслуг никоим образом не связано.

Рассмотрим структуру такого невротика. То, что называют *эф-*

фектом сверх-Я – что это, собственно, такое? Это значит, что этот невротик возлагает на себя заведомо трудные, неудобоисполнимые задачи и успешно с ними справляется, тем более успешно, что именно этого-то ему и нужно. Причем справляется он с ними настолько блестяще, что считает себя вправе рассчитывать на небольшой отпуск, когда сможет проводить время по своему усмотрению, – откуда и берет, кстати, начало, хорошо известная диалектическая связь работы и отпуска. Работа играет в жизни такого невротика огромную роль – она призвана освободить для него время отпуска, время распустить паруса. При этом отпуск, как правило, проходит бездарно. Почему? Да потому, что главным для него было получить от Другого его позволение. На самом же деле, другой этот – я говорю теперь о другом фактическом, о другом как о конкретном лице – никак в эту диалектику не включен. Дело в том, что другой реальный слишком озабочен Другим своим собственным, чтобы брать на себя совершенно постороннюю ему миссию и венчать невротика за его подвиги. А между тем для осуществления своего желания – желания, с областью, в которой он продемонстрировал свои способности, ничего общего не имеющего, – невротику, на самом деле, только это и нужно.

Фаза эта весьма деликатная и дает прекрасные возможности для трактовки чисто юмористической. Но этим она, однако, не ограничивается. Понятия *большого Другого* и *маленького другого* интересны тем, что складывающиеся у людей отношения они позволяют структурировать в нескольких направлениях. С определенной точки зрения можно, например, утверждать, что совершая подвиг, субъект приручает, одомашнивает тем самым присущую ему изначала тревогу, – это говорили уже до меня другие. Но одно измерение явления при этом недооценивается – дело в том, что главное для такого невротика не в ловкости как таковой и не в размерах риска, которому он себя подвергает. Невротик вообще позволяет себе рисковать лишь в очень строгих пределах – умелый расчет отличает тот риск, на который, совершая свой подвиг, идет невротик, от всего, что напоминает собой риск смерти в гегелевской диалектике.

Есть в подвиге больного неврозом навязчивости нечто такое, что так или иначе остается фиктивным. Дело в том, что смерть, то есть подлинная опасность, ожидает его не от противника, которому он делает вид, будто бросает вызов, а с совершенно другой сто-

роны. Она ждет его со стороны того невидимого свидетеля, того Другого, что выступает в качестве зрителя и, подсчитывая удары, скажет однажды, как прозвучало это как-то раз в бреде у Шребера: "*Ну, молодчина!*" Именно это желанное для невротика восклицание – восклицание, свидетельствующее, что Другой задет, наконец-то, им за живое, – и является скрытой пружиной всей диалектики его подвига. К существованию другого невротик относится здесь так, как если бы тот был ему подобным, тем, на чьем месте он мог бы оказаться сам. Но именно потому, что на его месте он мог бы оказаться сам, в своих усилиях произвести впечатление, в спортивной игре, которую он затевает, ничем существенным он никогда рисковать не станет. Другой, с которым ведет он игру, является по сути дела им же самим, и лавры победителя, как дело ни повернется, от него не уйдут.

Важно на самом деле другое – важно то, что происходит это перед лицом Другого. Это Его нужно любой ценой сохранить, ибо Он не что иное, как место, где подвиг субъекта регистрируется, где записывается его история. Место это должно поддерживаться любой ценой. Недаром так привержен невротик всему, что относится к речи, вычислению, подытоживанию, записи, а также фальсификации. То, что невротик, не подавая виду, более того, делая вид, будто ему нужно совсем другое, во что бы то ни стало пытается сохранить в неприкосновенности, – это Другой, тот Другой, в котором вещи артикулируются в терминах означающего.

Так выглядит наш вопрос в первом приближении. По ту сторону требования, по ту сторону всего того, что субъект желает, важно разглядеть то, к чему устремлено поведение страдающего неврозом навязчивости, взятое в целом. Стремится же оно прежде всего к тому, чтобы Другой оставался в целости и сохранности. Это и есть главная, первоочередная цель, и лишь в ее рамках может желание его претендовать на столь трудно достающуюся ему узаконенность. В чем может и будет она, эта узаконенность, заключаться? Это как раз то самое, что нам в дальнейшем предстоит сформулировать. Но прежде нужно добиться, чтобы четыре точки опоры, на которых его поведение зиждется, были зафиксированы таким образом, чтобы из-за деревьев мы не потеряли из виду леса.

Удовлетворение, которое мы получаем, когда ту или иную деталь механизма его поведения с присущим ему стилем нам удается подметить, не должно само по себе прельщать нас и останавливать. Ко-

нечно, внимательное изучение какой-то детали организма всегда приносит удовлетворение, которое полностью незаконным назвать нельзя, поскольку, по крайней мере в области природных явлений, деталь всегда отражает на самом деле какой-то аспект целого. Но когда речь идет о настолько далеком по своей организации от природы предмете, как отношения субъекта с означающим, мы не можем с достоверностью реконструировать организацию невроза навязчивых состояний исходя исключительно из определенного механизма защиты – если все это вообще в каталог механизмов защиты вписывается.

Я попытаюсь сделать другое. Я попытаюсь найти с вами четыре важнейшие точки, служащие для любой защиты субъекта полюсами и ориентирами. На сегодня у нас с вами их уже две. Мы начали с разговора о роли фантазма. Затем, рассуждая о подвиге, мы убедились, что нам не обойтись и без присутствия Другого как такового. Перейдем теперь к следующему пункту, о котором хотя бы в общих чертах мне хочется сегодня сказать.

Когда я говорил вам о подвиге, вам наверняка приходило на память поведение ваших собственных страдающих неврозом навязчивости пациентов. Есть вид подвига, относить который к этой категории было бы, наверное, незаслуженно. Я имею в виду то, что известно в анализе как *acting out*

На этот счет я пролистал кое-какую литературу – надеюсь, последовав моему примеру, ее полистаете и вы, хотя бы для того, чтобы в моей правоте убедиться. Картина открывается интереснейшая – просто не оторваться. Лучшая статья на сей счет написана Филлисом Гринэйкером – она была опубликована в 1950 году в "Psychoanalytic Quarterly" под заглавием *General Problems of Acting Out*. Статья замечательна уже тем, что из нее очевидно одно – ничего путного на эту тему до сих пор сказано не было.

Я полагаю, что проблему *acting out* следует ограничить и что сделать это невозможно, пока мы держимся широкого представления о нем как о некоем симптоме, компромиссе, двусмысленности, акте повторения. Полагать так – значит просто растворять его в понятии побуждения к повторению в самой обобщенной его форме. Если термин этот имеет какой-то смысл, то лишь постольку, поскольку обозначает действие, совершающееся в процессе попытки субъекта решить для себя проблему требования и желания. Не случайно имеет оно место – если имеет место вообще – именно в

процессе прохождения субъектом курса психоанализа: что бы о нем вне рамок анализа ни говорили, отреагирование остается так или иначе попыткой разрешить проблему соотношения между требованием и желанием.

Совершенно ясно, что *acting out* имеет место в ходе аналитического осуществления бессознательного желания. Отреагирование чрезвычайно поучительно: внимательно рассмотрев характерные для него черты, мы обнаружим в нем, среди множества абсолютно необходимых составляющих, один элемент, который четко отличает *acting out* от того, что называют обычно *неудавшимся действием*, хотя я, с большим на то основанием, называю его, напротив, успешным – ведь это не что иное, как симптом, в котором ясно просвечивает то или иное стремление. В то время как тот в высшей степени знаменательный элемент, о котором я сейчас сказал и без которого ни один *acting out* никогда не обходится, знаменательностью своей обязан, напротив, своей загадочности. Мы никогда не назовем отреагированием действие, которое не представляется нам совершенно немотивированным. Это не значит, что оно беспричинно, но психологического мотива для него не найти, потому что действие это всегда выступает как означаемое.

С другой стороны, в *acting out* всегда играет определенную роль какой-то объект – объект в материальном смысле этого слова, то, к чему мне в следующий раз придется вернуться, чтобы указать вам на ту означающую функцию, которую подобает нам во всей этой диалектике приписать роли объекта. В каком-то отношении *acting out* эквивалентно фантазму. Сама структура *acting out* сближает его со сценарием. С фантазмом он, по-своему, расположен на одном уровне.

Есть, однако, черта, которая отличает его как от фантазма, так и от подвига. Если подвиг – это усилие, напряжение, трюк, наконец, призванный доставить удовольствие Другому, которому, как я сказал уже, на все это наплевать, то *acting out* представляет собой нечто совсем иное. Это всегда некое послание, сообщение – как раз этой своей стороной оно и бывает нам, происходя в анализе, интересно. Адресовано оно всегда аналитику, который должен для этого, занимая позицию, в общем, не такую плохую, быть, все же, не вполне на положенном ему месте. Как правило, со стороны субъекта *acting out* есть не что иное, как *hint*, намек в нашу сторону – намек, заходящий порою слишком далеко и влекущий за собой последствия очень се-

рьезные. Если *acting out* происходит вне рамок сеанса, а, скажем, позже, аналитик им, естественно, не сможет воспользоваться.

Каждый раз, когда нам приходится парадоксальный поступок этот, который пытаемся мы характеризовать термином *acting out*, определить поточнее, очевидно становится, что, следуя в этом направлении, необходимо прежде всего уяснить отношения субъекта с требованием – отношения, которые позволят воочию убедиться в том, что какую бы позицию субъект по отношению к требованию ни занимал, она все равно останется принципиально неадекватной, не позволяя субъекту понять, насколько реально воздействие, которое оказывает на него означающее, не позволяя ему, иными словами, выйти на уровень комплекса кастрации.

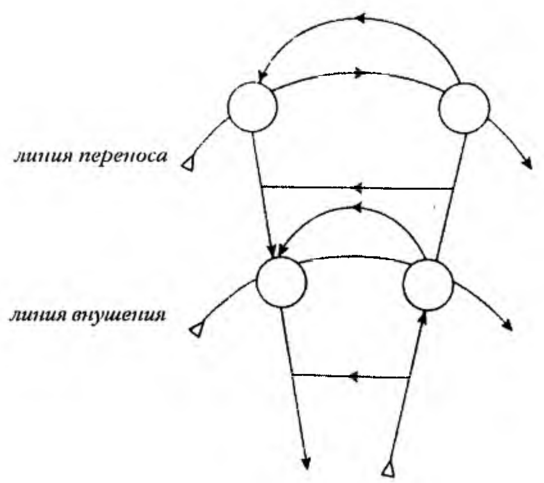
Попытка выйти на этот уровень может, что я и попытаюсь в следующий раз показать вам, кончиться неудачей. Происходит это тогда, когда в том промежуточном интервале, в пространстве, где вся тревожная активность субъекта, от подвига до фантазма и от фантазма до страстной и пристрастной, *частичной* любви к объекту – да, именно до любви к объекту (Абрахам никогда не говорил о частичном объекте, а лишь о частичной, участной любви к нему), – где вся активность эта, повторяю, и разыгрывается, субъект приходит к решениям чисто иллюзорным, и в первую очередь к тому из них, что проявляется у страдающих неврозом навязчивости в так называемом *гомосексуальном переносе*.

Его-то и называю я иллюзорным решением. Почему это так, я в следующий раз попытаюсь показать в деталях.

21 мая 1958 года

XXIV
Перенос и внушение

Три идентификаций
По двум линиям
Регрессия и сопротивление
Значимость действия
Их техника и техника наша



За те несколько занятий, что у нас еще в этом году остаются, мы попробуем сделать несколько шагов вперед в области, открытой Фрейдом после Первой мировой войны, в 20-е годы – в области так называемой *второй топики*. На самом деле только работа, проделанная нами в этом году, и позволит нам, открыв присущее образованиям бессознательного измерение, в лабиринтах этой топики правильно сориентироваться.

Нам придется поэтому разобраться в том, для чего эта топика вообще нужна и, в частности, в том, почему выступает в ней на первый план функция Я. Дело в том, что в топике этой она приобретает иной, куда более сложный смысл, чем тот, что ей придают обычно, и с тех пор, пользуясь ею, именно из этого, нового смысла, как правило, и исходят. Таково общее направление нашей работы.

Начну с напоминания о том, что одну из глав работы *Психология масс и анализ Я* Фрейд посвящает идентификации. Прочтите эту главу, и вы поймете, насколько хорошо три выделенные Фрейдом типа идентификации укладываются в схему, которая находится сейчас перед вами. На данном этапе схема эта сослужит вам свою служ-

бу в качестве посредника – она интерпретирует и артикулирует как строй самого бессознательного, организованного в глубине своей как речь, как язык, так и все то, что выделяется из него в качестве топики.

Отдельные органы, если можно так выразиться, фрейдовской топики тоже берут свое начало из схемы – той знаменитой схемы в форме яйца, при виде которой отношения между Я, Оно и сверх-Я интуитивно кажутся вам ясны. На схеме этой перед нами глаз, своего рода введенная в субстанцию пипетка, которая и призвана воплотить собой сверх-Я. Схема очень удобная, но как раз в удобстве этом непригодность пространственных схем к отображению топологических закономерностей и заключается. Конечно, без них обойтись нельзя – я сам пользуюсь для отображения топики пространственной схемой, но делаю это с максимальной осторожностью. Представьте себе, что вы берете мой чертежик, мнете его, делаете из бумажки шарик и кладете в карман. Оказывается, в принципе это ничего не изменит – отношения останутся теми же, потому что отношения эти носят характер порядковый.

Сделать это со схемой-яйцом, очевидно, куда труднее, так как вся она ориентирована, рассчитана именно на пространственную проекцию. В результате вы невольно воображаете, будто на этой схеме изображен у Фрейда какой-то действительный орган, на котором имеется некий, наподобие глаза, вырост, представляющий собой наше Я. Но обратитесь к тексту – вы не найдете в нем ни намека на что-то материальное, на что-то, что позволило бы представлять себе эти инстанции как результат некоей органической дифференциации. Дифференциация, о которой идет речь у Фрейда, не связана с развитием внутренних органов, это дифференциация совсем иного порядка – в основу ее положены идентификации.

Напомнить об этом важно было уже потому, что это может иметь далеко идущие последствия. Есть люди, которые всерьез полагают, что делая лоботомию, они удаляют кусочек сверх-Я. Мало того, что они так думают, – они пишут об этом и в деятельности своей этим убеждением руководствуются.

1

Фрейд различает три типа идентификации. Это трехчастное деление получает у него строгую формулировку, резюмированную в одном из параграфов книги.

Первый из этих типов идентификации – это *die ursprungliche Form des Gefuhlsbindung an ein Objekt*, первоначальная форма связи чувства с объектом.

Вторая форма – та, на которой особенно подробно останавливается Фрейд в главе, подводящей солидную базу подо все его размышления об идентификации, – с топикой и всем, что имеет к ней отношение, прочно связана: *die auf regressivem Wege zum Ersatz fur eine libidinöse Objektbindung wird, gleichsam durch Introjektion des Objekts ins Ich.* Возникает эта вторая форма идентификации на пути регрессии, возникает как замена связи с объектом – либидинальной связи, эквивалентной введению, интроекции объекта в Я.

Это и есть та форма, которая на протяжении всей работы о психологии масс, равно как и в *Я и Оно,* вызывает у Фрейда, в силу двусмысленности предполагаемых ею отношений с объектом, наибольшие трудности. Именно здесь все проблемы психоанализа собираются воедино. Особенно остро встает при этом проблема обращенного эдипова комплекса. Почему в некоторых случаях объект, являющийся объектом либидинальной привязанности, становится в определенный момент объектом идентификации? Откуда форма обращенного эдипова комплекса возникает?

Порой важнее бывает поставленную проблему не затушевывать, нежели ее решать. Ничто не обязывает нас рисовать в своем воображении какое-то возможное решение поставленного вопроса. Не исключено, что это как раз вопрос ключевой, центральный – вопрос, навсегда обреченный остаться неразрешенным. Такой вопрос должен существовать обязательно – ведь даже оказавшись в позиции, с которой все вопросы представлялись бы нам решенными, нам все равно пришлось бы задаться вопросом о том, как мы, собственно, там оказались, – как оказались мы в месте, где все вдруг нам стало ясно.

В данном случае, однако, ясно одно – обязательно должен существовать пункт, в силу которого вопрос так навсегда и остается для нас нерешенным. Я не утверждаю, что именно о нем идет у нас сейчас речь, но Фрейд, во всяком случае, действительно ходил все время вокруг да около, не притязая, однако, на окончательное разрешение проблемы. Для нас важнее другое – важно понять, как варьируются у этого пункта координаты.

Я повторяю: главным для нас является вопрос заверенного на опыте перехода от любви к объекту к последующей идентификации с ним.

Различие, которое вводит здесь Фрейд, – различие между эротической либидинальной привязанностью к предмету любви и идентификацией с ним – ничем не отличается от того, о котором я вскользь говорил в конце одного из наших последних, посвященных отношению к фаллосу, занятий, – от противоположения "быть" и "иметь". С одним, впрочем, небольшим дополнением – ссылаясь на свой опыт, Фрейд утверждает, что идентификация эта всегда по природе своей регрессивна. Сами координаты, в которых преобразование либидинальной привязанности в идентификацию происходит, указывает на то, что здесь регрессия налицо.

Все это наверняка вам так хорошо знакомо, что точки над *i* мне расставлять не придется. По крайней мере, я на прошлых занятиях уже говорил вам, чем регрессия удостоверяется. Предстоит, однако, понять, как ее можно артикулировать. Мы артикулируем ее, исходя из того, что на характер регрессии указывает выбор означающих. Регрессию на анальную стадию, со всем ее разнообразием и нюансами, – равно как и регрессию на стадию оральную – выдает в дискурсе субъекта наличие в этом дискурсе регрессивных означающих.

Другой регрессии в анализе нет. Бывает, конечно, что субъект загукает на кушетке, как младенец, и даже телодвижениями пытается ему подражать, но настоящей регрессии, которая в анализе наблюдается, искать в этих потугах не стоит. Обычно такое случается не к добру.

Пока мы попытаемся посмотреть с помощью нашей схемы, что эти две формы идентификации значат. Исходным будет для нас здесь уровень *потребности субъекта* – термин этот употребляется и у Фрейда.

Замечу по ходу дела, что говоря о связи между свершением идентификации, с одной стороны, и нагрузкой на объект, с другой, Фрейд, по его словам, считает нужным признать, что нагрузка объекта берет начало в Оно – инстанции, которая воспринимает любое возбуждение, давление и эротическое напряжение как потребность. Как видите, Оно выступает здесь как нечто очень двусмысленное.

Скажу заодно и другое: на мой взгляд, главы эти во французском переводе просто невразумительны, а порой и прямо противоположны по смыслу оригиналу. Термин *Objektbindung, нагрузка объекта,* передан в нем как *концентрация на объекте,* что затем-

няет текст до неузнаваемости.

Но как бы с перспективой потребности дело ни обстояло, линии нашей схемы очерчивают два горизонта требования. С одной стороны, мы находим здесь требование членораздельно артикулированным, поскольку всякое требование удовлетворения потребности должно пройти через теснины артикуляции – теснины, которые язык ему так или иначе навязывает. С другой стороны, в силу самого того факта, что требование перешло в план означающего не просто в артикуляции, но, так сказать, в самом существовании своем, оно присутствует и в качестве безусловного требования любви. В результате на уровне того, к кому требование адресовано, то есть Другого, Другой этот оказывается символизирован сам – другими словами, он обнаруживается как присутствие на фоне отсутствия: отсутствие может стать формой его присутствия. Обратите внимание, что прежде чем объект становится предметом любви в эротическом смысле слова – прежде, я имею ввиду, чем эрос, направленный на любимый предмет, может быть пережит как потребность, – позиция требования как таковая создает необходимый для этого горизонт требования любви.

На этой схеме две линии, где потребность субъекта артикулируется как означающая – линия требования как требования удовлетворения потребности и линия требования любви, – в силу топологической необходимости друг от друга отделены, но то, что я заметил выше, в их отношении справедливо. То, что они на схеме отделены, не мешает им быть одной и той же линией – линией, куда вписано то, что артикулирует ребенок, обращаясь к матери. Происходящее на той и другой линии, развиваясь, непрерывно друг на друга накладывается.

Как применяется эта схема, я покажу вам прямо сейчас, ибо та самая двусмысленность, о которой у меня идет речь, постоянно, из работы в работу, прослеживается у Фрейда в понятиях переноса – я имею в виду действие переноса в анализе, – с одной стороны, и внушения, с другой.

Фрейд все время твердит нам, что, в конечном счете, перенос – это внушение, что именно в качестве такового мы им и пользуемся, но – оговаривает он – мы превращаем его при этом в нечто совершенно иное, так как мы его, это внушение, интерпретируем. А если мы можем внушение интерпретировать, значит, у него есть второй план. Потенциально, таким образом, перенос уже налицо. О суще-

ствовании его нам отлично известно, что я вам тут же докажу на примере.

Перенос – это и есть, потенциально, анализ внушения. Он сам – не что иное, как возможность анализа внушения, вторичная артикуляция того, что во внушении субъекту просто навязывается. Другими словами, линия горизонта, на которой внушение располагается там, на уровне требования – того требования, которое обращает субъекта к аналитику самим фактом своего присутствия у него.

Требования эти бывают разными. Каковы же они, эти требования? Как найти им подходящее место? Интересно было бы сделать их отправной точкой – именно потому, что они все такие разные. Есть люди, у которых требование исцеления очень настойчиво и не покидает их ни на мгновение. Другие, более искушенные, знают, что оно отложено у них на завтра. Есть и такие, что вообще приходят, не требуя исцеления, – они просто-напросто хотят посмотреть. Кое-кто приходит, чтобы стать аналитиком самому. Но так ли важно знать место требования, если аналитик, даже не отвечая на требование, уже самим присутствием своим в качестве аналитика ответ на него все-таки дает, что и является для эффекта внушения, каков бы он ни был, основополагающим фактором.

Обычно считается, что перенос – это то, благодаря чему внушение может работать. Фрейд и сам пишет, что установлению переноса не стоит препятствовать – хотя бы лишь потому, что силой внушения, которое перенос обеспечивает, можно воспользоваться. Перенос рассматривается им как условие власти аналитика над субъектом, как аффективная связь. Связь эта ставит субъекта в зависимость от аналитика, и тот, чтобы истолкование его сработало, вправе этой связью воспользоваться. Что это, как не признание в том, что мы все-таки внушением пользуемся? Назовем вещи своими именами: истолкования наши проглатываются пациентом лишь оттого, что он проникся любовью к нам лично. Мы находимся в плане внушения. Но Фрейд, конечно, этим не ограничивается.

"Мы проанализируем перенос, и вы сами увидите, что от него ничего не останется", – говорят нам. Я специально подчеркиваю, что это выражения не мои – это то, что в любых спорах о переносе как способе аффективного воздействия на субъекта молчаливо подразумевается. Но отмежевываться от того, кто пользуется для навязывания собственной интерпретации властью над пациентом,

то есть силой внушения, – отмежевываться единственно на том основании, что сам эффект власти будет, мол, в дальнейшем проанализирован, – разве не значит откладывать решение вопроса до бесконечности? Ведь для анализа того факта, что субъект объяснение принял, опираться придется опять же на перенос. Из порочного круга внушения нам на этом пути не выйти. Но мы-то как раз полагаем, что есть другой путь. И что перенос, следовательно, – это вовсе не злоупотребление властью.

Перенос – это уже само по себе не что иное, как открытая зона, возможность некоей означающей артикуляции: артикуляции, не совпадающей с той, что замыкает субъекта в требовании. Поэтому и важно, каково бы ни было содержание требования, прочертить на горизонте эту самую линию. Назовем ее здесь линией переноса. Соответствует ей нечто артикулированное и расположенное потенциально по ту сторону того, что артикулируется в плане требования – в плане, где находится у нас линия внушения.

На горизонте схемы оказывается то, что требование, собственно, и осуществляет, – символизация Другого и безусловное требование любви. Именно здесь и водворяется впоследствии объект, но водворяется уже в качестве объекта эротического, для субъекта вожделенного. Называя идентификацию, которая этому вожделению к объекту любви приходит на смену, *регрессией*, Фрейд как раз и оперирует той двусмысленностью, которая предстает у меня как несовпадение линии переноса с линией внушения.

Что касается меня, то я давно, с самого начала, указывал, что идентификация в ее первоначальной форме – та самая, хорошо знакомая нам, идентификация со знаком отличия Другого, выступающего как субъект требования, как тот, кто имеет власть требование удовлетворить или нет, всякий раз сопровождая это удовлетворение чем-то таким, что выступает на первый план в качестве его языка, его речи, – что идентификация эта, одним словом, осуществляется на линии внушения.

Я говорил уже, насколько важно поддерживать с ребенком речевое общение. Все прочие знаки, все пантомимические игры матери, о которых говорилось вчера, артикулируются, в конечном итоге, в означающих терминах, кристаллизирующихся в той чисто условного характера псевдо-эмоциональной мимике, при помощи которой мать с ребенком общается. Любые выражения эмоций носят у человека характер чисто условный. Не нужно быть последовате-

лем Фрейда, чтобы отдавать себе отчет в том, что пресловутая спонтанность в выражении эмоций оказывается на поверку не просто проблематичной, а более чем сомнительной. То, что означает в какой-то зоне означающей артикуляции определенную эмоцию, в другой зоне может выражать что-то совершенно иное.

Таким образом, если идентификация остается регрессивной, то остается именно потому, что двусмысленность в отношении линии переноса и линии внушения сохраняется постоянно. Другими словами, нет нужды удивляться, если оказывается, что по ходу и в маневрах психоанализа регрессии заявляют о себе рядом идентификаций, которые соотносятся с ними и задают им определенное временное членение, определенный ритм. При всем том регрессия и идентификация сохраняют друг от друга отличие – одновременно иметь место они не могут. Одна знаменует собой задержку, приостановку другой. Так или иначе, если налицо перенос, то служит он именно для того, чтобы верхняя линия сохраняла по отношению к линии внушения свою дистанцию, то есть чтобы намечена она была не в качестве чего-то такого, чему никакое удовлетворение требования не соответствует, а в качестве означающей артикуляции как таковой. В этом как раз различие двух линий и состоит.

"*Но чем мы, собственно, оперируем, чтобы линии эти друг с другом не совпадали?*" – спросите вы. А оперируем мы прежде всего эффектами воздержания и отсутствия. И достигаются они тем, что мы никогда не подтверждаем требование субъекта в его правах. Вы это прекрасно знаете. Впрочем, воздержание это, как бы существенно оно ни было, само по себе еще недостаточно.

Очевидно, однако, что линии эти могут оставаться раздельными лишь потому, что это заложено в самой природе вещей. Другими словами, они могут оставаться раздельными потому, что для субъекта они действительно таковыми являются и между ними пролегает довольно широкое поле, которое, слава богу, никогда окончательно не пропадает. Называется это поле *полем желания*.

Все, что от нас в связи с этим требуется, – это не способствовать слиянию двух линий своим собственным присутствием – присутствием в качестве большого Другого. Однако сам факт, что, выслушивая субъекта, мы в качестве Другого волей-неволей уже выступаем, делает это задачей нелегкой, в особенности если, приступая к анализу, мы с самого начала подчеркиваем характерную для него вседозволенность. Пусть эта разрешительность анализа касается

лишь плана словесного – этого вполне достаточно. Пациента должна удовлетворить вседозволенность в словесном плане – не в реальном, а именно в словесном. Но стоит лишь дать пациенту удовлетворение в плане требования, как линия переноса и линия внушения до неразличимости совпадут. Другими словами, самим присутствием своим и самим тем фактом, что мы пациента выслушиваем, мы невольно провоцируем слияние линий требования и внушения. Другими словами, вмешательство наше в принципе вредоносно.

Следуя за регрессией, нужно помнить, что путь этот ведет нас долу. Регрессия является для нас не целью, а всего-навсего обходным маневром. И это нужно все время иметь в виду. Существует в технике анализа целое направление, которое, между тем, подобную путаницу как раз провоцирует, что и приводит в результате к возникновению невроза переноса. В итоге, в журнале, именуемом "Revue française de psychanalyse", мы читаем, что для решения проблем переноса только и нужно, что, усадив больного поспокойнее, говорить ему всякие благоглупости, после чего, объяснив, как хорошо на улице, потихоньку, не спугнув ни одной мухи, выпроводить за порог. И пишет это маститый специалист.

Но есть, слава богу, нечто такое, что этому неизбежному, казалось бы, слиянию препятствует. Это очевидно – недаром гипнотизеры, да и все, кто просто гипнозом интересуется, знают, что никакое внушение, каким бы успешным оно ни было, всецело субъектом завладеть не может.

Что же этому сопротивляется? – спросим мы.

2

Сопротивляется этому желание.

Я не стану говорить, что речь может идти о том или ином конкретном желании субъекта – это и так ясно. Но прежде всего, речь идет о желании иметь желание свое собственное. Это еще яснее, но сказать об этом все равно стоит.

Все то, что моя схема перечисляет и упорядочивает, – все это лишь необходимые для сохранения желания формы; те формы, благодаря которым субъект, что в самой человеческой природе его заложено, остается субъектом разделенным. Если он больше не разделенный, значит он уже сумасшедший. Разделенным же субъект остается в силу того, что налицо желание – желание, поле которого

сохранить не так уж легко. Недаром я объяснял вам, что невроз специально выстроен так, как он у нас выстроен, чтобы поддержать то артикулированное образование, что зовется желанием.

Это хорошее определение. На самом деле невроз – это не степень силы желания или его слабости, не воображаемая фиксация субъекта, ступившего нечаянно в лужу клея. Фиксация, если уж искать для нее сравнения, похожа скорее на частокол, за которым что-то держат, чтобы оно, не дай бог, оттуда не убежало.

Сила желания у невротиков, так называемый количественный аспект его, сильно варьируется. Разнообразие это служит одним из наиболее убедительных аргументов в пользу автономности того, что называют структурными модификациями невроза. В психоанализе бросается в глаза тот факт, что невротики с одной и той же определенной формой невроза в высшей степени наделены тем, что один из авторов, которых мы здесь имеем в виду, называет где-то, говоря о неврозе навязчивости одного из своих пациентов, *преждевременной и преизбыточной сексуальностью.*

Речь идет о субъекте, который мастурбировал, слегка пощипывая периферийные участки своей крайней плоти. Убежденный, что он наносит ей тем самым непоправимый ущерб, он не решался мыть себе член и после ряда неудачных попыток полового акта вынужден был обратиться к врачу. Понятно, разумеется, что это всего лишь симптомы – еще до окончания анализа субъект окажется способным выполнить свои супружеские обязанности и удовлетворить жену. Но какая бы сила в основе этих симптомов, по нашим предположениям, ни лежала, сексуальность, столь чахлую и сбитую с толку до такой степени, что у взрослого уже субъекта наблюдается подобная клиническая картина, *преизбыточной* все-таки не назовешь. Это не значит, впрочем, что у другого больного неврозом навязчивости не будет наблюдаться картина совершенно иная, вполне оправдывающая характеристику его сексуальности как избыточной, а то и преждевременной.

Это ощутимое разнообразие клинических случаев не мешает нам, однако, признать, что во всех них мы имеем дело с одним и тем же неврозом навязчивых состояний. То, что делает это явление неврозом навязчивых состояний, лежит вне количественных характеристик желания. Если желание и принимает здесь участие, то лишь постольку, поскольку оно проходит через теснины структуры, так как определяется тип невроза не чем иным, как структурой.

Что касается больного неврозом навязчивых состояний, то совершенно независимо от того, сильное у него желание или слабое, находится ли субъект в расцвете юности или приходит к нам в возрасте сорока-пятидесяти лет, когда желание его так или иначе слабеет и когда он желает составить себе хоть какое-то представление о том, что произошло, то есть о том, в чем он до сих пор за всю свою жизнь так ничего и не понял, – независимо от всего этого в анализе обязательно обнаружится, что в течение всей своей жизни он старался во что бы то ни стало поместить свое желание в сильную позицию, создать для желания сильную, укрепленную цитадель, причем создать ее в плане отношений, которые по сути своей являются значащими, означающими. Засело ли в сильной крепости желание сильное или слабое – уже десятый вопрос. Несомненно одно – у крепостных стен две стороны. Возведенная для защиты от нападения извне, крепость становится темницей для тех, кто засел внутри, – вот в чем вся беда.

Первичная форма идентификации определяется для нас первичными узами, связывающими нас с объектом. Выражаясь схематически, это идентификация с матерью. Другая форма идентификации – это идентификация с любимым объектом, идентификация регрессивная, так как возникнуть она, по идее, должна где-то в другом месте, на линии горизонта – линии, достичь которой не так-то легко уже потому, что требование-то как раз ничем не обусловлено, а точнее – подчинено одному единственному условию: существованию означающего, ибо если бы означающего не существовало, измерение любви не могло бы быть раскрыто вообще. Но будучи всецело зависимо от существования означающего, измерение любви совершенно не связано с тем или иным образом, которым обозначающее в рамках этого существования артикулируется. Именно поэтому так нелегко бывает найти этому измерению подходящее выражение – ничто, даже совокупность всей моей речи на протяжении всей моей жизни, не в состоянии завершить и заполнить то, что объемлет эта речь в качестве горизонта.

В результате встает вопрос о том, что представляет собой на этом уровне перечеркнутое, загражденное $\$$? О каком субъекте, другими словами, идет здесь речь?

В том, что измерение, о котором я говорю, задает исключительно горизонт, ничего удивительного нет. Весь вопрос в том, чему именно в этом интервале предстоит возникнуть. Невротик пережи-

вает парадокс желания точно так же, как и все прочие – нет человека, который мог бы этой участи избежать. Единственная разница в отношении желания состоит для невротика в том, что существование этого парадокса не является для него секретом. Жить ему от этого не становится легче, но с какой-то точки зрения положение его в связи с этим не так уж и плохо.

Воспользовавшись случаем, мы могли бы, не обинуясь, сформулировать здесь и позицию типично философскую – сформулировать, чтобы точно таким же образом поставить ее под вопрос. Ведь невротик идет, по сути дела, путем, весьма близко напоминающим то, что артикулирует в своей речи философ, – точнее, должен был бы, по идее, артикулировать, так как на самом деле, признайтесь, виданное ли дело, чтобы проблема желания была когда-нибудь правильно, тщательно и убедительно философским дискурсом артикулирована? На мой взгляд, одной из самых характерных черт философии как раз и является то, что от проблемы этой она в своей области до сих пор старательно уходила.

Здесь мне хотелось бы сделать одно замечание по поводу философии действия. Смысл этого замечания сводится к тому же самому – к тому, что толкуется ею действие вкривь и вкось. Философия эта видит в действии вторжение в мир некой спонтанности, оригинальности, присущей якобы человеку как фигуре, явившейся, чтобы преобразовать исходные данные задачи, или, как они говорят, *мир*. Странно при этом то, что они никогда не придавали значения тому, о чем мы из нашего опыта достоверно знали, – глубоко парадоксальному характеру действия, родственному во многом парадоксу желания. Недаром в прошлый раз, говоря о желании, я рисовал его в свойственных действию терминах *подвига, сценичности, демонстративности, безысходности*.

Термины эти не мои – еще Фрейд воспользовался словом *Vergreifen*, чтобы передать парадоксальность, присущую человеческому действию вообще, действию как таковому. Человеческое действие в чистом виде фигурирует там, где его пытаются описать как вписанное в историю. Так, мой друг Кожев, говоря о Рубиконе, описывал его как место, где сошлись и нашли свое гармоническое разрешение прошлое, настоящее и будущее Цезаря, в то время как я, побывав недавно в этих краях, видел всего-навсего сухое русло. Когда Цезарь его еще не переходил, это был огромный поток, но то был другой сезон. Но даже если Цезарь – на то он и гений – пере-

брался через Рубикон, не замочив ног, в самом факте его перехода есть что-то такое, что вызывает представление о человеке, бросающемся в воду – речь ведь, как-никак, идет о реке.

Другими словами, действие человеческое не так уж и гармонично. Для нас, аналитиков, нет ничего удивительнее того обстоятельства, что никто из тех, кто анализом занимается, не попытался членораздельно охарактеризовать действие в той парадоксальной перспективе, где мы его всякий раз в анализе наблюдаем. В другой перспективе мы с ним, впрочем, и не встречаемся, и в деле определения того, что представляет собой *acting out*, это доставляет нам немалые трудности. В определенном смысле, *acting out* – такое же действие, как и любое другое, и особенность его состоит лишь в том, что провоцируется оно нашим использованием переноса, то есть действием исключительно опасным, тем более что, как вы из моих объяснений прекрасно поняли, мы и сами не понимаем хорошенько, что же это такое.

Может быть, небольшое замечание относительно сопротивления поможет вам уяснить, о чем я веду здесь речь. В ряде случаев субъект не принимает наших интерпретаций в том виде, в котором мы их ему в плане регрессии предлагаем. Нам кажется, что они попадают в точку, а субъекту – что они никуда не годятся. В таких случаях принято полагать, что субъект, мол, сопротивляется и что прояви мы должную настойчивость, он непременно свою позицию сдаст, тем более что таким инструментом, как внушение, мы тоже при случае не гнушаемся. Так вот, не исключено, что сопротивление это в своем роде тоже ценно. Чем же именно? В некоторых из своих текстов Фрейд приписывает ему ценность, связанную как раз с тем, что оно служит выражением необходимости артикулировать желание по-другому, в плане желания. И называя его *Uebertragungswiderstand*, *сопротивлением переносу*, он как раз ее с переносом и отождествляет. Речь идет о переносе в том смысле, в котором я только что говорил о нем. Сопротивление имеет целью своей поддержать другую линию, линию переноса – линию, где артикуляция взыскует чего-то иного, а вовсе не того, что мы ей приписываем, когда непосредственно отвечаем на требование. Я напоминаю вам здесь о вещах очевидных, но вещи эти все равно, так или иначе, должны быть сказаны.

Завершая вопрос о второй идентификации: где то место, из которого происходящее под знаком регрессии выносит о себе сужде-

ние? Именно перенос вызывает чехарду означающих, именуемую регрессией, но останавливаться на ней он не должен – напротив, он должен вести нас дальше. Это-то как раз мы сейчас и пытаемся выяснить – как работать с переносом? Ведь по природе своей он имеет тенденцию вырождаться в нечто такое, что всегда может на регрессивном уровне так или иначе удовлетворить – именно отсюда берет начало увлечение понятием *фрустрации*, *обманутых ожиданий*, именно здесь возникают тысячи различных артикуляций *объектного отношения*, именно таким образом рождается в итоге соответствующая концепция анализа в целом.

Любые способы анализ артикулировать обязательно со временем приходят в негодность, что не мешает анализу оставаться самим собой.

3

Что касается третьей формы идентификации, то Фрейд описывает ее как форму, способную родиться из заново обнаруженной общности с лицом, объектом полового влечения не являющимся, *sie bei jeder neu wahrgenommenen Gemeinsamkeit mit einer Person, die nicht Objekt der Sexualtriebe ist*. Где же эта третья идентификация имеет место?

Фрейд иллюстрирует ее способом, который относительно места ее на нашей схеме не оставляет сомнений. Как я вам все это время и говорил, у Фрейда все сформулировано предельно ясно. В качестве примера он берет истерическую идентификацию. Для истерического субъекта проблема состоит в том, чтобы свое желание зафиксировать – в том смысле, в каком оптический инструмент позволяет зафиксировать точку. Однако в связи с желанием у субъекта этого возникают определенные трудности. Попытаемся сформулировать их поточнее.

Желание его обречено оказаться в тупике, так как чтобы острие своего желания зафиксировать, ему приходится идентифицировать себя – идентифицировать неважно с чем, с некой отдельной чертой. То, что я называл здесь *знаком отличия*, Фрейд называет отдельной чертой, *einziger Zug*, совершенно неважно, какой – чертой, присущей кому-то еще, кто, согласно предчувствию истерического субъекта, испытывает в связи с желанием похожие трудности. Другими словами, тупик, в котором истерик оказывается, широко открывает перед ним двери другого, всех других – по мень-

шей мере всех, кто может тоже оказаться истериком, всех окружающих, переживающих момент истерии. Для этого достаточно, чтобы хоть на мгновение почуял он в них ту же самую трудность, то же самое недоумение по поводу желания.

Для больного неврозом навязчивых состояний вопрос этот, формулируясь несколько иначе, остается, однако, с точки зрения связей, с точки зрения топологической, тем же самым – и не случайно. Идентификация, о которой идет речь, располагается в данном случае на схеме в точке ($\$ \lozenge a$) – там, где указал я в прошлый раз место фантазма. Существует точка, где субъекту надлежит установить с другим определенные воображаемые отношения – не ради, так сказать, их самих, а лишь потому, что отношения эти приносят ему какое-то удовлетворение. Фрейд уточняет, что речь идет о лице, которое ни к какому *Sexualtrieb*, *половому влечению*, отношения не имеет. Перед нами нечто совсем иное – перед нами просто кукла, марионетка фантазма.

Слово "фантазм" я использую здесь в сколь угодно широком смысле. Речь идет о фантазме, который, как я вам в прошлый раз уже говорил, может оказаться и бессознательным. Другой и служит здесь, собственно, лишь одной, хотя и немаловажной, цели – он дает субъекту возможность занять позицию, которая, предотвращая крушение желания, устраняет тем самым проблему, характерную для невротика.

Такова третья форма идентификации, для нас чрезвычайно существенная.

Было бы слишком долго сейчас подробно разбирать статью Буве, опубликованную в "Revue Française de Psychanalyse" – там же, где опубликован был и мой доклад *Агрессивность в психоанализе*. Статья называется *Значение гомосексуального аспекта переноса*, и я попрошу вас ее прочесть, так как в дальнейшем рассчитываю к ней вернуться. Сегодня же я просто хотел бы указать на тот пункт, где возникает ошибка в технике анализа, о которой у нас идет речь.

То, что происходит в анализе в связи с появлением в фантазмах фаллического объекта – собственно говоря, фаллоса аналитика, – происходит в месте, чреватом фантазмами, – подготовленное заранее, оно всегда может быть стимулировано. Именно в этом месте субъект, будучи одержим неврозом навязчивости, обеспечивает своим фантазмом поддержку своему желанию – поддержку куда более сомнительную и опасную, нежели у истерика. Именно здесь, таким

образом, появляется *а*, фантазматический фаллос. И в технике анализа, о которой я говорю, именно здесь настаивает на своей интерпретации аналитик, добиваясь от субъекта, чтобы тот согласился в своем фантазме к частичному объекту этому приобщиться, проглотить его, включить его в свое тело.

Техника эта работает, на мой взгляд, на неверном уровне. То, что заявляет о себе в материале, переводится ею на уровень суггестивной идентификации, на уровень требования. Применять эту технику – значит поощрять воображаемую идентификацию субъекта – поощрять, пользуясь для этого, если можно так выразиться, той властью, которую дает аналитику суггестивная позиция, основанная на явлении переноса. Тому, что, если не в фантазме субъекта, то, во всяком случае, в предоставляемом им аналитику материале, на самом деле о себе заявляет, техника эта дает ложный, на окольных путях лежащий исход. Это очевидно уже в наблюдениях автора упомянутой статьи – наблюдениях, призванных, по-видимому, выстроить на этом материале целую теорию частичного объекта, дистанции по отношению к объекту, интроекции объекта и всего прочего, что из этого следует. Приведу лишь один пример.

Из наблюдений этих то, чем анализ страдающего неврозом навязчивости должен закончиться, совершенно ясно – кастрация должна предстать для него в подлинном своем виде, в качестве закона Другого. Кастрирован не кто иной, как Другой. По причинам, связанным с ложной причастностью своей к этой проблеме, субъекту кажется, что кастрация угрожает ему самому, и угрожает настолько остро, что он не способен к объекту своего желания приблизиться, не испытав на себе ее результатов. Я хочу сказать, что горизонт Другого, большого Другого как такового, то есть с маленьким другим не совпадающего, постоянно дает в этих наблюдениях о себе знать.

Из данных анамнеза следует, что, впервые познакомившись ближе с маленькой девочкой, субъект бежит, охваченный тревогой, к матери, все ей рассказывает и успокаивается с момента, когда говорит ей: "*Я сейчас тебе все скажу*". Материал этот остается лишь принять совершенно буквально. Субъект с самого начала находит скрытую опору в безоглядном обращении к Другому как месту вербальной артикуляции. Именно туда и суждено субъекту всецело себя вкладывать. Именно там найдет он единственное возможнос

убежище от той паники, которую испытывает он с приближением собственного желания. Это уже ему предначертано – остается лишь посмотреть, что же за этим кроется.

После того, как благодаря настойчивым домогательствам аналитика некоторые фантазмы оказались выявлены, субъект видит сон, который интерпретируется аналитиком как свидетельство того, что пассивные гомосексуальные устремления вышли, наконец, на поверхность. Сон выглядит таким образом: *"Я провожаю вас до дому. В вашей комнате большая постель. Я укладываюсь в нее. Я чувствую себя очень неловко. В углу комнаты есть биде. Я счастлив, хотя мне как-то не по себе"*. Автор уверяет нас, что субъект, в ходе предшествовавшего анализа определенным образом подготовленный, без труда признает, что сновидение говорит о его пассивной гомосексуальности.

Неужели вы думаете, что больше в данном случае сказать нечего? Даже если не возвращаться к определенным наблюдениям, где все признаки недостаточности этого вывода будут налицо, а лишь держаться самого текста сновидения, ясно одно – субъект ставит себя, в этом нет сомнения, на место Другого: "*Я у вас дома. Я лежу в вашей постели*".

При чем тут, собственно, пассивная гомосексуальность? Вплоть до изменения порядка вещей, в случае этом нет никаких признаков, что Другой выступает для субъекта в качестве объекта желания. Зато поодаль, в углу, в позиции третьего, ясно виднеется кое-что абсолютно недвусмысленно названное, на что никто, похоже, внимания не обратил, в то время как присутствие его там отнюдь не напрасно. Я имею в виду *биде*.

По поводу этого предмета можно сказать, что он, предъявляя фаллос, его в то же время не показывает – никаких признаков его использования в сновидении, похоже, нет. Именно оно указывает на то, что ставится сновидением под вопрос. Пресловутый частичный объект оказался здесь не случайно. Это, конечно, фаллос, но предстает этот фаллос в виде вопроса. "*Имеет его Другой или нет?*" – вот как этот вопрос звучит. Это повод его показать. Является им Другой, или же не является? Вот что за этим стоит. Другими словами, за этим стоит вопрос о кастрации.

Больной этот одержим к тому же многочисленными навязчивыми идеями относительно чистоты и опрятности – идеями, которые говорят о том, что предмет этот может порою представлять со-

бой источник опасности. Биде долгое время знаменовало для него присутствие фаллоса – по крайней мере, его собственного. Что для субъекта составляет проблему, так это вопрос, которым он относительно фаллоса задается.

Задается постольку, поскольку этот последний задействуется в качестве объекта символической операции – операции, посредством которой в Другом, на уровне означающего, становится он означающим того, что означающим поражается, что подлежит кастрации. И дело не в том, почувствует ли субъект облегчение, когда, уподобляясь более сильному, чем он сам, усвоит себе в конечном счете его могущество, а в том, как в действительности разрешит он вопрос, который на горизонте, в направлении того, на что сама структура невроза указывает, имплицитно подразумевается, – дело в том, примет или не примет субъект комплекс кастрации в той означающей функции, помимо которой комплекс этот осуществиться не может.

Именно здесь, независимо от того, насколько структура и самый смысл желания страдающего неврозом навязчивости законны, между двумя техническими подходами пролегает граница.

Даже в плане чисто терапевтического итога, учитывая, так сказать, шрамы, узлы и завязи, которые в результате образовались, не остается сомнений в том, что применяемая техника правильному исходу лечения не способствует, что она не служит ни тому, что называют лечением, ни даже, пусть сомнительным, ортопедическим целям.

И лишь другая, альтернативная техника способна обеспечить нашей проблеме решение верное и эффективное.

4 июня 1958 года

XXV
Значение фаллоса в процессе психоаналитического пользования

Прочтение схемы
Сведение к требованию
От фантазма к посланию
Один способ лечения невроза навязчивости у женщин
По ту сторону комплекса кастрации

Вернемся к нашей теме, воспользовавшись еще раз прежней схемой.

Некоторые из присутствующих выражают недоумение по поводу значка в форме ромба, которым я пользуюсь, например, в формуле, связывающей S с маленьким *a*. По-моему, ничего особенно сложного тут нет, но поскольку некоторым из вас это непонятно, я охотно отвечу.

1

Я напоминаю вам, что ромбик, о котором у нас идет речь, представляет собой не что иное, как квадрат из той моей главной и гораздо более старой схемы, которую я здесь, в этой самой аудитории, в прошлом году в упрощенном виде вам на доске воспроизводил, – схемы, рисующей отношение субъекта к Другому как месту речи и как сообщению. Схема эта рисует в первом приближении то, что, исходя от Другого, встречает на своем пути препятствие в виде связи a-a' – воображаемого соотношения.

Ромбик, таким образом, служит выражением связи субъекта – загражденного, либо незагражденного, в зависимости от того, отмечен ли он воздействием означающего или рассматривается как субъект, еще не получивший определения, еще не претерпевший расщепления, *Spaltung*, которое этим воздействием обусловлено – связи субъекта, повторяю, с тем, что этим квадратичным соотношением предопределяется. Записывая соотношение субъекта с маленьким другим, то есть с ему подобным, с другим воображаемым, формулой ($\$\Diamond a$), я связываю его элементы все с теми же вершинами квадратной рамки. То же касается и записи соотношения между

перечеркнутым S и требованием [demande] формулой ($\$\lozenge D$) – в какой именно вершине квадратика вмешательство требования, то есть артикуляции потребности в форме означающего, будет иметь место, запись эта заранее не предрешает.

В схеме этого года на верхнем уровне у нас линия, представляющая собой линию означающую и артикулированную. Возникая на горизонте всякой означающей артикуляции, она лежит в основе артикуляции требования, составляет его задний план. Артикулировано требование, худо-бедно, на нижнем уровне. Здесь перед нами артикуляция в самом строгом смысле этого слова – последовательность означающих, фонем.

Мы попробуем прокомментировать верхнюю линию – линию, лежащую по ту сторону любой означающей артикуляции.

Линия эта соответствует, по сути дела, означающей артикуляции, взятой в целом – артикуляции как фактору, само присутствие которого дает возможность чему-то символическому явиться в реальном. Именно в своей целокупности и именно в силу артикулированности своей позволяет она явиться тому горизонту возможностей требования и его власти, где требование это оборачивается по сути и природе своей требованием любви, требованием присутствия – какую бы двусмысленность ни предстояло нам в это слово вкладывать.

Говоря о любви, я пытаюсь определенную мысль закрепить. Ненависть занимает в данном случае то же самое место, что и любовь. Лишь внутри этого горизонта становится понятна двойственность, взаимообратимость любви и ненависти. И лишь в этом же горизонте можем мы наблюдать появление на этом же месте третьей, равнозначной любви и ненависти по отношению к субъекту вехи – невежества.

Слева на верхней линии находится у нас означающее Другого, несущего на себе печать действия означающего, – Другого (A) загражденного, похеренного, S($\not{A}$). Точка эта строго соответствует другой, лежащей на нижней линии, линии требования, точке, куда в этой основополагающей для всякого требования схеме проходящее через Другого требование возвращается уже как то, что именуем мы сообщением, *s*(A). Если хотите, то, что имеет произойти в точке сообщения на второй, верхней линии, – это и есть как раз сообщение означающего, означающее, что на Другом лежит печать означающего. Это не значит, однако, что сообщение это в действи-

тельности возникает. Оно налицо там лишь как возможность возникнуть.

С другой стороны, точка эта соответствует той, где требование приходит к Другому, то есть подчинено оказывается существованию в Другом, месте речи,. определенного кода. Имеется на этом горизонте и то, что может произойти в форме так называемого осознания. Но это не просто осознание, это артикуляция субъектом как существом говорящим требования как такового – требования, по отношению к которому и задается, собственно, его место – ($\$\lozenge D$). Возможность подобного осознания должна существовать непременно – это предположение, на котором как раз психоанализ и зиждется. Собственно, это то, что происходит в анализе уже с первого шага. Происходит обновление субъекта его собственными требованиями – но лишь с фасада, а не по сути. В каком-то смысле это, разумеется, все-таки обновление, но обновление артикулированное. Именно в дискурсе своем, либо прямо, либо своего рода филигранным узором – причем для нас, аналитиков, как раз узор-то этот и оказывается самым главным – являет субъект, в зависимости от формы и природы своего требования, те означающие, в которых требование это для него формулируется. Когда требование это формулируется в означающих, скажем так, архаических, это позволяет нам говорить о регрессии, к примеру, оральной или анальной.

Я счел нужным сказать в прошлый раз, что явления в анализе, по природе своей связанные с переносом, зависят от существования этой верхней линии. Исходит она из точки, которую мы можем обозначить как **Ф**, приходит же в пункт, обозначенный буквой Ä, смысл которой мы уясним позднее. Именно на основе этой линии и возникает в субъективном устроении эффект означающего.

Место переноса задается, строго говоря, как раз этой линией. Все, что относится к переносу – идет ли речь о действии аналитика или его бездействии, его воздержании от вмешательства или его вмешательстве, – разыгрывается, как правило, в этой промежуточной зоне, хотя с равным успехом всегда может привести к действительной артикуляции требования. Больше того, сам факт, что в плане требования каждый момент нечто артикулируется, заложен в самой природе происходящей в анализе вербальной артикуляции. Закон анализа, гласящий, что ни одно требование субъекта не должно быть удовлетворено, опирается на наши спекуляции вокруг того факта, что требование всегда стремится разыгрываться отнюдь не в плос-

кости точных, отчетливых, допускающих возможность получать или не получать удовлетворение требований. На одном все сходятся единодушно – решающим является не то, что мы обманываем ожидания субъекта в отношении чего-то такого, что он может при случае у нас потребовать: от простого ответа до позволения поцеловать руку. Решающим является обман его ожиданий в отношении чего-то куда более глубокого, связанного с самой сущностью речи, с ее способностью вызвать к жизни тот горизонт всякого требования, который я для простоты, чтобы как-то свою мысль закрепить, назвал *требованием любви*, хотя на самом деле речь может идти и о требовании чего-то еще. Возьмите, к примеру, требование субъекта, касающееся признания его бытия, и все конфликты, возникающие тут в связи с тем, что аналитик самим присутствием своим, самим подобием своим субъекту это бытие отрицает – отрицание, на которое, анализируя отношения между сознаниями, указывал Гегель, вырисовывается здесь порою очень отчетливо. Или требование знания – тоже, естественно, лежащее на горизонте отношений между пациентом и аналитиком.

Каким образом все это увязывается в симптоме? Как может это способствовать разрешению невроза? Здесь-то промежуточная зона как раз и необходима.

Две эти образованные любой речевой артикуляцией в процессе анализа линии топологически соотнесены с четырьмя вершинами другого места координации субъекта с Другим – места координации воображаемой, поскольку вершина в данном случае чисто мнимая.

Нарциссическое, зеркальное соотношение собственного Я с образом другого целиком включено в отношения, полагаемые первоначально требованием, предшествует им, лежит по эту их сторону. Соотношение это проходит по линии *m–a*.

По ту сторону, между линией артикулированного требования и линией неизбежного его горизонта, простирается промежуточная зона, зона всех возможных артикуляций. Верхняя линия тоже, разумеется, артикулирована, поскольку на что-то артикулированное опирается, но это еще не значит, что она действительно артикуляции поддается, ибо то, что лежит здесь на горизонте, последний, собственно говоря, предел, сформулировать удовлетворительным образом все равно нельзя – можно лишь продолжать плетение речи до бесконечности.

Именно в этой промежуточной зоне и располагается то, что именуется *желанием* – на схеме у меня оно обозначено маленькой буквой *d* [désir]. Это то самое желание, которое во всем устроении субъекта непосредственно задействовано и имеет прямое отношение к тому, что обнаруживается в анализе, – к тому, что, начиная в речи, в колебаниях между приемлемыми означающими потребности, постепенно проскальзывать, является результатом постоянного, по ту сторону всякой означающей артикуляции, присутствия означающего в бессознательном – означающего, заранее субъект образовавшего, структурировавшего, оформившего. Именно в этой промежуточной зоне располагается желание – желание, представляющее собой желание Другого. Расположено оно по ту сторону потребности, по ту сторону артикуляции, которую вынужден субъект своей потребности дать, чтобы что-то для Другого значить, по ту сторону любого удовлетворения, которое можно потребности предоставить. Предстающее в форме абсолютного условия, оно возникает в зазоре, в поле между требованием удовлетворения, с одной стороны, и требованием любви, с другой. Желание свое человек обречен искать в месте Другого, так как оно является местом речи. Вот почему именно там, в месте Другого, получает его желание свое устроение.

В этом-то вся проблематика желания и заключается. Именно это подчиняет его образованиям бессознательного и его диалектики. Именно это позволяет нам влиять на него, в зависимости от того, артикулируется оно в процессе анализа в речи или же нет. Не лежи в основе анализа эта ситуация, никакого анализа просто не было бы.

Здесь, в точке ($\$\lozenge a$) перед нами поручитель желания и его опора, то место, где оно устремляется к своему объекту – объекту, который, отнюдь не будучи естественным, всегда складывается в зависимости от позиции, которую занимает субъект по отношению к Другому. Именно с помощью этих фантазматических по своему характеру отношений человек обретает себя и ориентирует свое желание тем или иным образом. Вот почему без фантазмов не обойтись. Вот почему так редко говорит Фрейд об инстинкте, предпочитая ему технический термин *влечение*, *Trieb* – слово, обозначающее у него желание, отношения которого с целью, именуемой *направлением устремления*, оказались речью, его расчленяющей и изолирующей, расстроены и нарушены; желание, объект которого оказался, с одной стороны, подвержен смещению и подмене, всем фор-

мам эквивалентных преобразований вообще, а с другой – предоставлен любви, делающей его подлежащим речи.

2

Мы подошли в прошлый раз к рассмотрению нескольких работ, посвященных неврозам навязчивых состояний, – работ, которые я настойчиво вам предлагал прочесть, так как они имеют прямое отношение к тому, что здесь говорится, – хотя бы лишь потому, что такие обсуждаемые в них термины, как, скажем, дистанция по отношению к объекту, фаллический объект, объектное отношение, невольно напрашиваются на ретроспективную оценку в свете того, о чем мы с вами здесь ведем речь.

Итак, позаимствовав в статье *Значение гомосексуального аспекта переноса* два случая невроза навязчивых состояний, я проанализировал описанный в них ход лечения и обратил ваше внимание на сомнительность результата той или иной подсказки, указания или даже интерпретации. Говоря, в частности, о приведенном в одном из случаев сновидении, я показал, как определенные предпосылки и упрощения, будучи в систему допущены, приводят к игнорированию некоторых существенных элементов, а с ними и сновидения в целом.

Автор статьи говорит о сновидении гомосексуального переноса так, словно здесь, где сама образность сновидения свидетельствует об отношениях, к противостоянию двух сторон никак не сводящихся, это может иметь хоть какой-то смысл. Субъект оказался в итоге перенесенным в постель аналитика, чувствуя себя непринужденно и в то же время пребывая, судя по явному содержанию сновидения, в состоянии, которое можно назвать состоянием ожидания. Все это так,– в противном случае ярко выраженное и существенное для сновидения присутствие в нем постели придется просто проигнорировать. Но я обратил внимание на присутствие в нем еще одного объекта – объекта в пикантном облике пресловутого биде. То, что автор на этом предмете не останавливается, тем более удивительно, что, как из другого его текста явствует, фаллическое значение того, что некоторые аналитики назвали *пенисом навыворот* или *чашей* – одной из форм, в которых предстает порою фаллическое означающее на уровне усвоения фаллического образа субъектом женского пола, – ему прекрасно известно. Этот своеобразный Грааль мог бы, по крайней мере, привлечь внимание, вну-

шая тому, кто интерпретирует сновидение в терминах двустороннего противостояния, определенную осторожность

Это второй текст – я прочел его еще раз, как прочел я и тот, что ему предшествует. Для критики он малоинтересен, так как вещи здесь разбираются на поверхностном уровне. Возьмем из него наугад один из примеров аналитического вмешательства. Другой, в этом же роде, я в прошлый раз уже приводил, но хочу вернуться к этому случаю еще раз, так как субъект по ходу дела зашел, стараниями аналитика, на почве углубления гомосексуального переноса настолько далеко, что ситуация переноса становилась все более откровенно и недвусмысленно гомосексуальной, и для того, чтобы некоторые недомолвки преодолеть, приходилось проявлять настойчивость.

> "Мы сослались на тот факт, что в возникающей порою между мужчинами привязанности – которую мы называем дружбой и никогда не переживаем как унизительную – один из партнеров, оказавшись в необходимости чему-то у другого научиться, нуждаясь в его поощрении или наставлении, всегда занимает позицию, окрашенную некоторой пассивностью. В этот нелегкий момент нам пришла в голову аналогия, которая субъектом, бывшим офицером, могла бы быть воспринята *de plano*. Почему воины в бою готовы умереть за своего любимого командира? Не потому ли, что его приказы и указания они принимают без сопротивления, абсолютно пассивно? Таким образом они усваивают себе чувства и мысли своего командира настолько, что полностью идентифицируют себя с ним и жертвуют своей жизнью так же, как пожертвовал бы ею, будучи на их месте, он сам."

Как вы сами понимаете, для вмешательства такого рода нужен сектор молчания, и значительный – тем более, что аналитик выбирает пример не случайно, а зная, что пациент его офицер.

> "Если они так поступают, то лишь потому, что любят пассивно своего командира. Замечание это не избавило субъекта немедленно от сдержанности, но позволило ему впредь, припоминая другие ситуации гомосексуального характера, на сей раз более откровенные, выставлять себя в позицию объективного наблюдателя".

И в таких припоминаниях недостатка не было.

Совершенно ясно, что подобная ориентация лечения открывает ши-

33 Зак. 2370

рокую дорогу для создания в отношениях между анализируемым и аналитиком детально разработанной воображаемой конструкции и действует, как свидетельствует данный отчет, не только за счет систематичности аналитика, но и в силу его настойчивости. Как в плоскости анализа, так и в плоскости аналитической ситуации, в материале отбирается то, что ведет в направлении упрощения, в направлении раскрытия двустороннего противостояния, окрашенного гомосексуальным значением.

Истолкование направлено, по сути дела, на работу над означающим. Поэтому оно кратко и, о чем я в дальнейшем буду еще говорить, несет на себе печать, которую введение означающего на него накладывает. Вместе с тем здесь же налицо вмешательство, явно действующее в области значений, понимания, убеждения, – вмешательство, ставящее себе целью заставить субъекта пережить аналитическую ситуацию как чисто двустороннее противостояние. Не нужно быть аналитиком, чтобы осязаемо почувствовать в таком вмешательстве элемент внушения, проявляющийся уже в том, что оно выбирает значение, к которому трижды настойчиво возвращается.

В целом отчет этот, занимающий шесть страниц, описывает этапы взаимоотношений анализируемого и аналитика как двустороннего противостояния – противостояния, понимание которого аналитик пытается облегчить, истолковывая его в терминах отношений гомосексуальных. Конечно, классическую картину гомосексуальности, описанной как либидинальная связь, скрыто лежащая в основе всех человеческих отношений, рассматриваемых в социальном плане, дал уже Фрейд. Картина эта, однако, рисуется им в чертах нарочито двусмысленных, не позволяющих провести достаточно четкую границу между этими отношениями, с одной стороны, и гомосексуальным влечением в собственном смысле слова – влечением, характеризующимся выбором эротического объекта, противоположного по отношению к требованиям нормы пола и по природе своей с либидинальной подкладкой социальных связей не имеющим ничего общего, – с другой.

Каковы бы ни были возникающие в связи с этим теоретические трудности, отсылка к гомосексуальности, сама по себе в принципе вполне законная, предстает в этом отчете как систематически осуществляемое внутри терапевтического курса доктринальное наставление, что заставляет нас задуматься над вопросом о направ-

лении лечения в целом. Мы прекрасно видим, в какой степени подобное наставление может оказаться практически эффективным, но разве не ясно также, что в отношении способа психоаналитического вмешательства в лечении невротического больного здесь был сделан определенный выбор. Ведь, насколько нам известно, то специфическое отношение субъекта к себе самому, к миру и к собственному существованию в мире, которое называется у нас неврозом навязчивых состояний, куда сложнее либидинальной привязанности к субъекту своего пола, на каком бы уровне ни оказалась эта привязанность артикулирована.

Хорошо известно, какое важное значение придается у Фрейда, начиная с первых описанных им случаев, влечению к уничтожению, разрушению – влечению, направленному против ближнего, себе подобного и обращенному, как раз по этой причине, на самого субъекта. Также хорошо известно, какое множество других элементов оказывается здесь затронуто. Я имею в виду элементы регрессии, той произошедшей в ходе либидинального развития фиксации, которая далеко не так проста, как пытаются нам доказать на примере пресловутой связи садистского и анального – связи, которая мало того, что не проста, но так до сих пор и не прояснена до конца.

Короче говоря, тот факт, что подобное направление лечения приносит все-таки свои плоды, следует осмыслить в перспективе более широкого представления о том, что же именно в процессе лечения происходит. Я не утверждаю, что сказанного мною в этом отношении вполне достаточно, но оно позволяет, по крайней мере, упорядочить те регистры, в которых происходящее можно было бы на самом деле рассматривать. Здесь, в точке ($\$ \Diamond a$), располагается для нас то, что является, в сущности, одной из деталей экономического устроения одержимого неврозом навязчивости субъекта, – та роль, которую играет для него в определенный момент идентификация с другим – другим, представляющим собой маленькое *a*, другим воображаемым. Это один из способов, которым субъекту удается, худо-бедно, добиться в экономии своего невроза некоторого равновесия.

Потакать в этом субъекту, дать добро на постоянно проявляющуюся в истории больного неврозом навязчивости связь с другим как инстанцией, с которой он, как невротик, в случае с нашим автором себя идентифицирует, на которую он, словно в некоем сне, опирается, санкционировать этот механизм, представляющий собой

механизм защиты, который встраивается субъектом, чтобы уравновесить неустойчивость своих отношений с желанием большого Другого, – да, это может определенный терапевтический эффект дать, но эффект этот, увы, будет далеко не единственным.

Следя за работами нашего автора, мы убеждаемся, что пациентов своих он все более ориентирует в направлении, где главное значение приобретает то, что он называет *занятой по отношению к объекту дистанцией*, и что сводится, в конечном счете, к выработке фантазма, фантазма фаллоса – причем не просто фаллоса, а фаллоса, являющегося частью воображаемого тела самого аналитика. Воображаемая опора на себе подобного, на гомосексуального другого, воплощается, материализуется в опыте, который подается нам как сравнимый с опытом католического причастия, с поглощением облатки.

Фантазм развивается здесь на наших глазах все в том же, прежнем направлении, но заходит в своем развитии куда дальше. Результаты развития налицо. То, о чем идет речь, легко прослеживается на нашей схеме. Связь, выраженная формулой ($\$ \lozenge a$) и имеющая место на уровне фантазма, то есть того первоначального фантазматического образования, которое позволило субъекту по отношению к своему желанию как-то устроиться и сориентироваться, переходит на уровень ответа на требование, то есть послания, сообщения. Не случайно появляется в наблюдениях над больным на этом этапе образ благожелательный, доброй матери, что дает автору повод говорить о создании детской формы женского сверх-Я. Санкционируя на уровне означаемого Другого, s(A), это выработанное субъектом фантазматическое построение, мы сводим всю сложность возникших у субъекта образований, именуемых в совокупности желанием, к требованию – требованию, артикулируемому напрямую в отношениях между субъектом и аналитиком.

"*А если это принесет плоды?*" – спросите вы. В самом деле – почему бы и нет? Разве нельзя представлять себе анализ именно так? На это я отвечу, что не только этого совершенно недостаточно, но что сам отчет автора о его наблюдениях говорит о том, что даже если подобная ориентация к чему-то в действительности приводит, результаты эти страшно далеки как от исцеления, на которое мы вправе рассчитывать, так и от пресловутого генитального удовлетворения, которое должно, якобы, в итоге иметь место. Разве не парадоксально видеть его проявления в том, что субъект позволя-

ет любить себя своему аналитику? На самом деле факт этот свидетельствует о прямо противоположном. Субъективная редукция симптомов получена с помощью регрессивного процесса – регрессивного не только во временном, но и в топическом смысле, поскольку все, что имеет отношение к желанию, его производству и его организации, сводится здесь к плоскости требования. Этапы лечения, не поддающиеся интерпретации в смысле улучшения или нормализации отношений с другим, вычленяются резкими, принимающими различную форму вспышками, в том числе отреагированием.

В прошлом году, приводя свои наблюдения за субъектом с заметными перверсивными тенденциями, я вам пример такого отреагирования продемонстрировал. Оно произошло, когда субъект через дверцу уборной на Елисейских Полях наблюдал за женщинами, собиравшимися помочиться, то есть в буквальном смысле заставал женщину в роли фаллоса. То была внезапная вспышка чего-то такого, что, оказавшись под влиянием требования исключено, вернулось в облике ни с чем в жизни субъекта не связанного поступка – поступка, принявшего форму компульсивного, принужденного отреагирования и обеспечившего предъявление означающего как такового. Засвидетельствованы и другие формы – к примеру, парадоксальная, необъяснимая влюбленность, наблюдаемая у субъектов, не дающих, в принципе, никаких оснований подозревать их в скрытой, в том числе и от них самих, гомосексуальности. То, что в них есть гомосексуального, от них не отнимешь, и его ровно столько, сколько бывает его в той внезапной влюбленности в своего ближнего, которая представляет собой принудительное формирование отношений с маленьким *а* путем сведения их к требованию – тактику, которая подобным способом ведения анализа неизбежно диктуется. Перед нами чисто искусственный продукт психоаналитического вмешательства. Психоаналитическая практика настолько лишена на этом уровне элементарной чуткости и критичности, что комментарий становится просто излишен.

Вот почему, в частности, я хотел бы позаимствовать у нашего автора еще один пример – пример, который, как я уже говорил вам, всегда казался мне куда более интересным, показывая, какое направление здесь – при иной, отличной ориентации его анализа – работа с субъектом могла бы принять.

3

Речь идет о статье 1950 года, озаглавленной *Терапевтические последствия осознания зависти к пенису в неврозе навязчивых состояний.*

Отчет этот очень интересен, так как анализов подобных неврозов у женщин описано в литературе немного, а также потому, что он помогает представить себе в общих чертах проблему половой специфичности у невротиков. Те, кто склонны думать, будто субъекты выбирают ту или иную тропу невроза в зависимости от своего пола, убедятся в том, насколько структурные факторы, действующие в неврозе, оставляют мало места влиянию половой принадлежности в чисто биологическом смысле. По сути дела, здесь вновь налицо оказывается, и притом очень интересным образом, то пресловутое преобладание фаллического объекта, которое наблюдаем мы в неврозе навязчивых состояний у субъектов мужского пола.

Вот каким образом автор направление анализа себе представляет и формулирует.

> “В попытке избавиться от страхов раннего детства женщина, так же как и невротик мужского пола, испытывает потребность идентифицировать себя путем регрессии с мужчиной, но если тот пользуется впоследствии этой идентификацией, чтобы преобразовать предмет детской любви в объект любви генитальной, –

что строго соответствует отмеченному недавно мною по поводу парадокса идентификации с субъектом мужского пола, в данном случае с аналитиком, который, если следовать этой логике – вызывающей, по меньшей мере, сомнения – этот переход от объекта детской любви к объекту генитальной любви сам, собственной персоной, и обеспечивает, –

> то она, женщина, поначалу опираясь на ту же идентификацию, постепенно первоначальный объект оставляет и ориентируется на гетеросексуальную фиксацию – на этот раз на личности аналитика, производя впечатление способности к новой идентификации, теперь уже женского плана”.

С поразительной двусмысленностью – от которой автору, впрочем, никуда не деться – здесь утверждается, что идентификация с аналитиком, черным по белому здесь прописанная, – с аналитиком, кстати сказать, мужского пола – уже сама по себе обеспечивает, как

таковая, доступ к генитальности. Это предполагается чем-то само собой разумеющимся. Не без предосторожности, так как радикальных улучшений в состоянии субъекта не отмечается.

По поводу идентификации с аналитиком автору не без некоторого смущения и даже с какой-то степенью удивления приходится констатировать, что она проходит два последовательных и различных этапа. Первый из них можно назвать конфликтным – это этап враждебных притязаний к мужчине. Затем, по мере того, как отношения эти, по выражению автора, *смягчаются*, возникают проблемы необычайно интересные. Необходимость связывать успех лечения с идентификацией вынуждает признать наличие женской идентификации с аналитиком, возможной, по мнению автора, в силу *принципиальной двойственности, присущей личности аналитика.* Объяснение это, конечно же, не из тех, что способны нас удовлетворить.

> "Истолкование связанных с переносом явлений является здесь, само собой разумеется, делом особенно тонким. Если поначалу фигура аналитика мужского пола была воспринята как фигура мужская, со всеми вытекающими отсюда оградительными мерами, страхами и агрессивностью, то уже немного спустя, когда желание фаллического обладания –

выражение, которое еще придется нам несколько позже принять во внимание, –

> аналитиком и, соответственно, его кастрации, оказалось выявлено и, соответственно, упомянутая выше разрядка напряжения достигнута, мужская фигура аналитика уподобилась фигуре благожелательной матери. Разве не доказывает это уподобление, что основную причину направленной против мужчины агрессии следует искать в первичном влечении к разрушению, объектом которого является мать?".

Кляйновская перспектива приходится здесь, как всегда, кстати.

> "Осознание одного влечет за собой право на свободное пользование другим, и освободительный эффект осознания желания фаллического обладания становится *de plano* понятным, как понятным становится и переход от одной идентификации к другой – переход, возможный благодаря принципиальной двусмысленности –

здесь повторяется вновь недавно нами встреченное выражение –

> личности аналитика, которого больная воспринимает понача-

лу исключительно в мужском аспекте”

Всё уже здесь. Направление лечения определяется интерпретацией, согласно которой, суть дела – в желании обладания фаллосом и, соответственно, в желании кастрировать аналитика. Но разбирая описываемые нам реалии детально, мы увидим другие вещи, нежели те, что передаются самим отчетом. Последуем их предложенному порядку представления.

Речь идет о здоровой пятидесятилетней женщине, матери двоих детей, по профессии имеющей отношение к медицине. Обращается она за помощью в связи с рядом довольно распространенных навязчивых идей – мыслью о том, что она заражена сифилисом и что брак ее детей, из которых один, старший, вопреки ее сопротивлению, уже женился, поэтому невозможен; мыслью о детоубийстве; мыслью об отравлении – тех самых идей, одним словом, которые в неврозах навязчивых состояний у женщин, как правило, и встречаются.

Но прежде чем нам их все перечислить, автор сосредоточивает свое внимание преимущественно на одержимости религиозной. Как и во всех случаях одержимости религиозной темой, субъекту приходят в голову всякого рода кощунственные, скатологические фразы, разительно ее убеждениям противоречащие. Одним из элементов в отношении больной к религиозным предметам, которые автор особенно выделяет, является присутствие в облатке Тела Христова. На месте облатки фантазия больной – по исповеданию католички – рисует ей детородные органы мужчины, причем галлюцинаторных явлений при этом, как уточняет автор, не возникает. Несколькими строками ниже он сообщает нам относительно формирования религиозных представлений больной важную деталь – религиозное воспитание она всецело получила от матери, и воспитание это всегда носило характер насильственный и принудительный. Конфликт с матерью мог найти выражение и в духовном плане, уверяет нас автор. Мы не станем ему возражать – это действительно факт очень значимый.

Прежде чем мы перейдем к способу, которым автор свои данные интерпретирует, я хотел бы задержать ваше внимание на описанном сейчас симптоме, сама природа которого побуждает нас сделать несколько замечаний. Детородные органы, читаем мы, рисуются ее фантазией на месте облатки, прямо перед ней. Что это нам говорит? Я имею в виду – нам, аналитикам? Ведь это как раз

тот случай, когда подобному наложению мы – если мы действительно аналитики – не можем не придать значения. Что называем мы ***вытеснением*** – а в особенности, ***возвращением вытесненного***? Что, как не тайное, ставшее, по слову Писания, явным, подобно выцветшему было пятну, проступающему со временем на поверхности?

Итак, перед нами случай, когда, желая отдать должное буквальному описанию событий – к чему положение аналитиков нас, собственно, и обязывает, – мы можем попытаться то, о чем идет речь, как-то артикулировать.

Женщина эта, получив религиозное воспитание, должна, по меньшей мере, как и все, кто христианскую религию исповедует, иметь какое-то представление о том, что представляет собой Христос. Христос – это Слово, Логос, о чем католические наставники нам без устали повторяют. То, что Он представляет собой воплощенное Слово, – в этом нет ни малейших сомнений, это ядро христианского Символа веры. Христос – это Слово в его целокупности. И вот мы видим, как появляется здесь, заменяя Его собой, то, что мы, неоднократно пытаясь данные аналитического опыта сформулировать, каждый раз вынуждены бываем признать в своем роде единственным, привилегированным означающим – означающим, знаменующим собою воздействие, которое оказывает на означаемое означающее как таковое. В симптоме этом происходит не что иное, как замена того, что связывает субъекта с воплощенным Словом, или с целокупностью Слова, тем привилегированным означающим, которое призвано знаменовать воздействие – рану, след, отпечаток – совокупности означающих на человеческого субъекта: воздействие, в результате которого находится у субъекта нечто такое, что настоянием означающего становиться значимым.

Итак, мы продолжаем чтение. Что же происходит дальше? А дальше пациентка рассказывает о сновидении, где она раздавила голову Христа ногой, добавляя при этом, что голова эта была, мол, ***"похожа на вашу"***. Затем, по ассоциации, она говорит следующее: ***"Каждое утро я прохожу по дороге на работу мимо магазина похоронных принадлежностей, в витрине которого выставлено четыре фигуры Христа. Когда я гляжу на них, у меня такое чувство, что я иду по их членам. При этом я ощущаю острое удовольствие и тревогу"***. Перед нами вновь идентификация Христа с Другим как местом речи. Субъект попирает ногой изображение Христа – не забывайте, что Христос материализован здесь определенным пред-

метом, распятием, и не исключено поэтому, что в данном случае он весь, в целокупности своей, представляет собой не что иное, как фаллос. И это поистине поразительно, особенно если обратить внимание на дальнейшие приведенные в отчете детали.

Упреки, которые делает она аналитику в связи с затруднениями, которые его лечение в ее существование вносит, находят материальное воплощение в том, что она никак не может приобрести себе туфли. Аналитик не может не вспомнить здесь о фаллической символике туфель и, в частности, того каблука, что сослужил ей службу, наступив на лицо Христа. Замечу, кстати, что фетишизм вообще практически у женщин не наблюдается, тем более, когда фетишем выступает туфля. А это значит, что если туфля приобретает в этот момент анализа фаллическое значение, за этим что-то стоит. Попробуем понять, что именно.

Чтобы это понять, далеко идти не надо. Аналитик, тем не менее, делает все возможное, чтобы внушить субъекту, что все дело в ее желании обладать фаллосом. В принципе это, честно говоря, может быть, и не худшее, что он мог бы сказать, если бы это не означало в его устах, что субъект питает желание стать мужчиной. Идея, против которой пациентка вновь и вновь восстает, до конца из последних сил заверяя, что желания быть мужчиной у нее никогда не было и в помине. Что ж, может быть, и на самом деле желание обладать фаллосом и желание быть мужчиной – это две разные вещи? Ведь аналитическая теория сама не сомневается в том, что положение дел может разрешиться способом вполне естественным, чему есть немало свидетельств.

Послушаем, что анализируемая по этому поводу замечает. *"Когда я хорошо одета,* – говорит она, имея, очевидно, в виду свои туфли, *– мужчины желают меня, и я с неподдельной радостью говорю себе: этот тоже получит от ворот поворот".* Короче говоря, она возвращает аналитика на твердую, конструктивную почву: если в ее отношениях с мужчиной замешано отношение к фаллосу – в чем оно заключается?

Попытаемся теперь артикулировать это сами.

Здесь налицо несколько элементов, и прежде всего отношение к матери, которое характеризуется как нечто глубокое, существенное, с реальным субъектом теснейшим образом связанное. Автор рассказывает об отношениях матери пациентки с отцом, в которых выявилось несколько важных деталей – в частности, то, что отец не

сумел победить в жене привязанности к первому ее возлюбленному, привязанности, впрочем, чисто платонической. Если подобное обстоятельство оказалось в отчете, значит, оно было немаловажно.

Пациентка отзывается о матери во всех отношениях благоприятно, она считает ее умнее отца, восхищается ее энергией и т. д. Отношения ее с матерью автор описывает в следующих выражениях: "*Те редкие моменты, когда мать позволяла себе отдохнуть, наполняли ее несказанной радостью (...) Она всегда полагала, что любимицей была ее младшая сестра (...) Любому, кто вмешивался в ее отношения с матерью, она желала смерти, о чем свидетельствует обширный материал сновидений и воспоминаний детства, где проявляется желание смерти младшей сестры.*"

Не довольно ли этого для убеждения в том, что речь идет о явлении, которое я настойчиво характеризовал вам как отношение субъекта к желанию матери? Проблема желания входит в жизнь субъекта чрезвычайно рано, и в истории больной неврозом навязчивых состояний обстоятельство это выступает на первый план. Желание это приводит к тому, что цель свою субъект начинает видеть не в обладании тем или иным предметом, а в том, чтобы стать объектом желания матери самому, а значит – логически вывести что-то такое, что, безусловно, существуя, тем не менее остается неизвестным. Объект желания матери как раз и является тем, на чем держится отныне все то, что свяжет в дальнейшем для субъекта приближение его собственного желания с эффектом разрушения, обуславливая одновременно сближение этого желания как такового с фаллосом, означающим тех последствий, которые желание в жизни субъекта с собой несет.

Для субъекта, о котором у нас идет речь, проблема состоит не в том, как, скажем, у страдающего фобией, чтобы узнать, имеется у матери фаллос или нет, а в том, чтобы узнать, какие последствия имеет в Другом то неизвестное, *x*, что мы именуем *желанием* – чтобы узнать, другими словами, чем станет он сам: есть ли он сам то самое, что составляет желание другого, или же нет. Именно это выходит здесь перед нами на первый план. Интересно, что именно в связи с *воплощенным логосом*, то есть с Другим, несущим на себе печать слова, происходит, именно в этой точке и на этом уровне, подстановка фаллического означающего.

Попытаюсь развить свою мысль дальше. В свое время Фрейд увидел и указал анализу его границы. Анализ останавливается, по

его мнению, на чем-то таком, что в ряде случаев оказывается неизбывным, нередуцируемым, оставляя ту рану, которой является для субъекта комплекс кастрации. Преобладающее проявление его сводится к тому, что мужчина, особь мужского пола, может иметь фаллос лишь на фоне того, что фаллоса у него не имеется, и что точно то же самое происходит у женщины, которая не имеет фаллоса лишь на фоне того, что фаллос у нее все-таки есть – а иначе с чего бы бесила ее безнадежная зависть к пенису, неизбывная *Penisneid*? Недаром слово это, *neid*, содержит в себе, как в современном немецком, так и в древних формах немецкого и даже англосаксонского языка, множество смысловых оттенков ярости и агрессивности.

Если Фрейд и обозначил однажды на бесконечный, *unendlich*, спроецированный в бесконечность – что неудачно перевели на французский как *interminable, нескончаемый*, – характер процесса, который порою в анализе происходит, то дело тут в том, что есть вещи, которых он просто не видел, которых не случилось ему встретить и сформулировать, хотя в работах его встречается немало наблюдений, что в направлении этих вещей указывают – и прежде всего в его последней, посвященной расщеплению, *Spaltung*, статье, к которой мне еще предстоит вернуться. Он не видит еще, что как у мужчины, так и у женщины решение проблемы кастрации на дилемме иметь ли ему/ей фаллос или не иметь его, отнюдь не завязано, ибо нормализовать свою естественную позицию, иметь фаллос или, наоборот, не иметь его, субъект может не раньше, чем обнаружит, что есть, по крайней мере, одна вещь, которую он так или иначе должен признать – что сам он отнюдь не фаллос; не раньше, другими словами, чем в анализе окажется выяснено, что субъект фаллосом не является. Это и есть тот последний рубеж, та возникающая на уровне означающего связь, благодаря которой воображаемый тупик, порожденный функцией, которую получил в плане означающего образ фаллоса, может, наконец, оказаться преодолен.

Именно это у нашего субъекта под влиянием первых признаков включения в механизм переноса, то есть более тщательной артикуляции симптоматических эффектов и происходит – то, что я сегодня вам процитировал, то, в каком виде предстает ему фантазм туфель, не оставляет в этом никаких сомнений.

Речь идет об обладании или необладании женскими или фаллическими туфлями – туфлями, которые мы назвали в этом случае фетишем. Какую функцию приобретает для субъекта мужского пола

туфля, учитывая, что извращенность его состоит в отказе признать кастрацию женщины? Фетишистская извращенность субъекта мужского пола состоит в утверждении, что женщина имеет фаллос, на фоне того, что фаллоса у нее не имеется. В противном случае у него не было бы нужды в объекте, который бы этот фаллос своим присутствием представлял, – объекте, который, в довершение всего, был бы явным образом от тела женщины независим. Так вот, в ходе разработки переноса наш субъект, пациентка, начинает постепенно вынашивать фантазии, на первый взгляд сводящиеся к тому же самому – что фаллос у нее есть. Она дает понять, что хочет иметь его, говоря о нем как об одежде – одежде, которая возбуждала бы в мужчинах желание и благодаря которой она могла бы, по ее собственным словам, их в этом желании обманывать. На первый взгляд это то же самое, но одно дело, когда фантазия эта вынашивается самим субъектом, то есть женщиной, и совсем другое – когда питает ее находящийся перед субъектом мужчина. К тому же ситуация эта свидетельствует в случае субъекта женского пола о том, что когда она желает представить себя имеющей то, чего на самом деле, как ей прекрасно известно, у нее нет, речь для нее идет о чем-то имеющем ценность совсем иного порядка – ценность которую я назвал бы ценностью маскарадной. Другими словами, женственность свою она превращает в маску.

Поскольку фаллос является для нее означающим желания, ей важно принять его облик, важно казаться, что она – это он и есть. Для нее важно быть объектом желания – желания, которое она, как ей это прекрасно известно, не может не обмануть. Именно это и высказывает она прямо в момент, когда аналитик истолковывает то, о чем у них идет речь, как желание обладания фаллосом – что и подчеркивает лишний раз, насколько далеко желание быть объектом желания Другого отстоит от вопроса о том, быть или не быть органом, который несет на себе его печать.

Мы приходим, таким образом, к формуле, согласно которой первоначальное желание артикулируется следующим образом: *Я хочу быть тем, чего желает она, мать.* И чтобы этим быть, мне нужно уничтожить то, что является предметом ее желания в настоящий момент.

Субъект хочет быть тем, что составляет желание ее матери. В процессе лечения субъекта нужно привести к пониманию того, что мужчина сам по себе объектом этого желания не является, что муж-

чина представляет собой фаллос не в большей степени, нежели женщина, в то время как агрессивность по отношению к мужу как мужчине обусловлена – я в следующий раз вам это покажу подробнее – тем, что она полагает, будто муж ее – не скажу: *имеет фаллос* – нет, но: *является фаллосом*. Именно в этом качестве и выступает он как ее соперник, и отношения ее с ним ознаменованы манией разрушения.

Следуя форме, в которой невроз навязчивых состояний неизбежно выстраивается, желание разрушения оборачивается против нее самой. Анализ же имеет целью дать ей понять, что *то, что тебе хочется уничтожить, – это ты сама, так как ты тоже хочешь быть фаллосом*. Однако при определенном способе анализа *ты и есть то, что тебе хочется уничтожить* заменяется желанием уничтожения фаллоса аналитика, проявляющимся в мимолетных и неправдоподобных фантазиях. "*Ты хочешь мой фаллос, фаллос аналитика, уничтожить*, – говорит аналитик, – *что ж, изволь, я готов тебе его предоставить*". Другими словами, все лечение строится на том факте, что аналитик дает пациентке в ее фантазме свой фаллос, дает добро на желание обладать фаллосом. Но ведь дело-то здесь совсем в другом, и доказывается это хотя бы тем, что в том, якобы, конечном пункте, до которого анализ был доведен, больная все свои навязчивые идеи вполне сохранила – с той, правда, разницей, что это перестало ее тревожить. Все они были анализом санкционированы и развитие прекратили. Однако сам факт, что они остались нетронутыми, все-таки что-нибудь да значит.

Что делает пациентка? Автор отчета, ровным счетом ничего не подозревая, рассказывает, что она изо всех сил пытается уговорить своего старшего сына – которого всегда побаивалась, потому что он был, по правде говоря, единственным, с чьими мужскими реакциями ей никогда хорошенько не удавалось справиться, – срочно, в свою очередь, обратиться к психоаналитику. Что это означает? Да то, что фаллос, который аналитик, занимая место доброжелательной матери, больной в качестве средства к решению ситуации предлагает, та ему теперь отдает назад. В том единственном плане, где фаллос у нее действительно есть, она как раз и возвращает его. Долг платежом красен.

Весь свой анализ автор построил на том, что пациентка его хочет стать мужчиной. Но до конца в этом она так и не убедилась. Обладает она этим фаллосом или нет, перестало ее тревожить, это вер-

но. Но главное, существенное так и осталось непроясненным – непроясненным осталось значение фаллоса как означающего желания.

11 июня 1958 года

XXVI
Контуры желания

Основа интерпретации
Другой Другого
Симптом и кастрация
Дистанция одержимости
Маленькая теория кощунства

Сегодня 18 июня. Роль означающего в политике – означающего *нет* в тот момент, когда все готовы прийти к позорному соглашению, – так и остается до сих пор не изучена. 18 июня – это еще и дата основания Французского психоаналитического общества. Мы тоже в какой-то момент нашли в себе силы сказать: *нет*.

В прошлый раз, начав комментировать отчет одного из наших собратьев по профессии о наблюдениях его над больной неврозом навязчивости, я приступил к изложению некоторых принципов, непосредственно следующих из нашего способа эту проблему артикулировать, – принципов, позволяющих судить о том, насколько правильно и корректно ведется курс лечения, направленный на феномен, который в материале, доставленном анализом, безусловно, налицо, – я имею в виду осознание зависти к пенису.

Хотя в целом вы уже поняли, я полагаю, насколько применение нашей схемы и наших категорий может оказаться полезным, на пути нашем возникают, естественно, маленькие задержки. Некоторые схемы, к которым вы привыкли, некоторые мысленные оппозиции, которые в вашей памяти хорошо уложились, оказались в ходе нашего продвижения поколеблены, поставлены под сомнение, что несколько сбивает с толку.

Возник, скажем, вопрос о том, не усматривается ли некоторое противоречие между тем новым, что я сказал в прошлый раз, и положением, на котором мы было сочли возможным остановиться. Я сказал, в конечном итоге, – по крайней мере, так меня поняли, – что половое развитие женщины обязательно проходит через этап, на котором она должна быть фаллосом, на фоне того, что она на самом деле не фаллос, в то время как для мужчины комплекс кастрации сводится к тому, что фаллос у него есть, на фоне того, что фал-

лоса у него нет. Конечно, перед нами схемы, которым, под определенным углом зрения, ту или иную фазу полового развития можно противопоставить. И останавливаться на них не стоит хотя бы уже потому, что диалектика *быть* и *иметь* касается обоих полов.

Мужчина ведь тоже в один прекрасный момент должен обнаружить, что он не фаллос. Именно в этом направлении лежит, кстати, решение ряда проблем, связанных с комплексом кастрации и завистью к пенису, *Penisneid*. Мы рассмотрим их сейчас более детально, что позволит вам, я надеюсь, уточнить постепенно область применимости формулировок, которые, не будучи сами по себе ошибочными, отражают однако лишь ограниченную точку зрения.

Будем исходить при этом из прежней нашей схемы.

1

Исключительно важно проследить надлежащим образом те направления, по которым психоанализ сейчас развивается. В связи с этим я хочу порекомендовать вам прочесть опубликованную в *IJP* в 1931 году статью Гловера под заглавием *Терапевтические эффекты неточной интерпретации*.

Это одна из самых замечательных и самых умных статей, которые можно себе вообразить написанными на этот предмет. Гловер правильно обозначает ту точку, из которой можно в вопросе об интерпретации исходить.

Когда Гловер писал эту статью, Фрейд был еще жив, но переворот в аналитической технике, связанный с анализом сопротивлений и агрессивности, уже произошел. Гловер высказывает мнение, что подобная ориентация психоанализа предполагает возможность обозрения, охвата всей совокупности *Fantasms systems*, тех фантазматических систем или систем фантазмов, которые мы, благодаря накоплению знаний и совершенствованию понятий, научились в анализе распознавать.

Понятно, что по сравнению с временем, когда анализ делал первые свои шаги, мы знаем на этот предмет куда больше. Поэтому спрашивается, чего наша терапия стоила, когда весь спектр системы фантазмов оставался нам неизвестен. Были ли тогдашние курсы неполными, неполноценными по сравнению с сегодняшними? Вопрос очень интересный, и Гловер пытается в связи с ним нарисовать общую картину позиций, возможных для специалиста, дающего консультации по поводу какого бы то ни было рода недо-

34 Зак. 2370

моганий. Делая это, он пускается в обобщения и распространяет понятие интерпретации на любую сколь-нибудь артикулированную позицию медицинского консультанта, выстраивая шкалу различных позиций, которые медик по отношению к больному может занять.

Гловер предвосхищает здесь популярную нынче тему отношений врача и больного, но формулирует ее по-своему, и мне жаль, что впоследствии она именно в этом направлении не была развита. У него вырисовывается своего рода общий закон, заключающийся в том, что стоит нам проигнорировать истину, которая в симптоме заключена, как мы немедленно вступаем с симптоматическими образованиями в сотрудничество.

И начинается все это с обычного лечащего врача, который советует пациенту что-нибудь вроде: "*Встряхнитесь, ездите почаще за город, смените работу*". Решительно принимая позу полного игнорирования, такой врач немедленно занимает определенное место, что оказывается порою и не без пользы, так как место это оказывается на поверку тем самым, где определенного рода симптомы как раз образуются. Его функция по отношению к пациенту хорошо описывается в терминах аналитической топики. Я в данном случае остаюсь в стороне.

В одном месте Гловер делает замечание, что в современном ему *modern therapeutic analysis* существует тенденция интерпретировать все что угодно в терминах *садистских систем* и *реакций виновности*, и что вплоть до недавнего ему времени отчета в этом не отдавалось. В результате от тревоги больного удавалось частично избавить, но пресловутая садистская система оставалась в неопределенном состоянии и, будучи вытеснена, давала о себе знать.

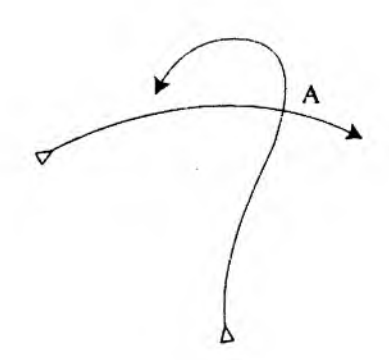
Я покажу сейчас на примере, в каком направлении это замечание указывает. Это как раз то, к чему в наши дни интересно было бы возвратиться вновь.

Что имеют в виду, когда говорят, скажем, о появлении в психоаналитической практике анализа агрессивности? Какое-то время аналитики находились под таким впечатлением от сделанного ими открытия, что оно стало притчей во языцах. При встрече проходившие обучение аналитики спрашивали друг друга: "*Ну что, как твоя агрессивность? Анализу поддается?*" Чему в действительности это открытие соответствует, мы можем проследить на нашей основной схеме. Это я как раз и попытался сейчас сделать, так как на этот счет

возникает у нас ряд вопросов. Внушая вам, что нарциссическая структура лежит в основе образования агрессивных реакций, я часто замечал, насколько двусмысленно мы термин *агрессивность* используем. Агрессивность, спровоцированная воображаемыми отношениями с маленьким другим, далеко не исчерпывает агрессивной мощи субъекта в целом.

Очевидно, скажем, что в агрессии, во всяком случае, в человеческом поведении, существенная роль принадлежит насилию. Это не только не речь – это нечто прямо ей противоположное. Человеческие отношения вообще строятся на одном из двух – на насилии или на речи. Если насилие по сути своей от речи отлично, может возникнуть вопрос, в какой степени насилие как таковое – в отличие от агрессивности в том смысле, в котором мы этим термином пользуемся, – может быть вытеснено? Ведь мы исходим из принципа, согласно которому вытеснено может быть исключительно то, что оказалось включенным в структуру речи, то есть, другими словами, означающее артикуляции. Если то, что принадлежит порядку агрессивности, окажется символизировано и включено в механизм того, что относится к бессознательному вытеснению того, что поддается анализу и даже, сформулируем это более широко, того, что поддается интерпретации, то происходит это лишь путем убийства себе подобного, которое любыми воображаемыми отношениями скрыто подразумевается.

Возьмем нашу схему в самой простой, азбучной ее форме, изображающей пересечение стремления – влечения, если хотите, – которое выступает здесь представителем индивидуализированной потребности, с одной стороны, и означающей цепочки, в которой потребности этой предстоит быть артикулированной, с другой. Уже на этом этапе нам хочется сделать несколько замечаний.



Сделаем одно предположение. Предположим, что для человеческого существа не существует ничего, кроме реальности – той самой пресловутой реальности, которую мы все склоняем по поводу и без повода. Предположим, что кроме этого ничего нет. Ничто не мешает нам представить себе, что нечто означающее ее, эту реальность, артикулирует. Предположим далее, для вящей внятности, что означающее, как это некоторые научные школы и утверждают, есть не что иное, как способ обусловленности – не скажу рефлексов, нет, но чего-то такого, что вполне к рефлексам сводимо.

То, что язык представляет собой явление иного порядка, нежели то, что мы искусственно, лабораторным путем, вырабатываем у животных, приучая их выделять желудочный сок по звуку колокольчика, ничуть не мешает звуку колокольчика тоже быть означающим. Можно, таким образом, представить себе человеческий мир, всецело построенный на срастании каждой из нуждающихся в удовлетворении потребностей с определенным количеством предопределенных заранее знаков. Если знаки эти признаются всеми, то в принципе это было бы идеально функционирующее общество. Каждому позыву возникающего в меру потребности влечения ставился бы в соответствие определенного рода звон колокольчика, функционирующего таким образом, что каждый, его слышащий, потребность эту немедленно удовлетворял.

Мы приходим, таким образом, к идеальному обществу. Я рисую здесь не что иное, как извечную мечту утопистов – общество, функционирующее совершенным образом и в результате удовлетворяющее каждого в меру его потребностей. К этому прибавляют обычно, что каждый вносит в дело свой вклад по способностям, – и вот тут-то проблема и возникает.

Ведь в конечном счете схема эта, оставаясь на уровне пересечения означающего с позывом или напором потребности, приходит к чему? Она приходит к идентификации субъекта с Другим – тем, кто артикулирует распределение ресурсов, способных потребность удовлетворить. Но все дело в том, что одного этого уровня мало, так как необходимо еще принять в расчет и план требования, без чего нам заведомо не удастся артикулировать субъекта в строе, который, существуя по ту сторону строя реального, накладывается на него, его усложняет, но никогда полностью с ним не смыкается, – строе, который мы зовем символическим.

Отныне, таким образом, на этом уровне, начиная с этого про-

стейшего варианта схемы, вступает в расчет, по крайней мере у человека, некий фактор природного, органического порядка, который схему эту несколько усложняет.

Итак, вот субъект, этот мифический ребенок, который служит задним планом всех наших психоаналитических спекуляций. Он начинает как-то обнаруживать в присутствии матери свои потребности. Здесь, в A, происходит его встреча с матерью как говорящим субъектом, и сюда, в *s*(A), в то место, где мать его удовлетворяет, приходит его послание. Как я уже замечал, проблемы возникают совсем не тогда, когда мать его ожидания обманывает, когда она ему удовлетворения не дает. Это было бы слишком просто, хотя именно благодаря простоте своей и напрашивается.

Эта интересная проблема не ускользнула, например, от внимания Винникота, область исследований и практических интересов которого охватывает, как известно, весь диапазон современного психоанализа и его техник, вплоть до тщательного изучения лежащих на границе с психозами фантазматических построений включительно. В статье о переходных объектах, на которую я однажды уже здесь ссылался, Винникот убедительно показывает, что при выстраивании ребенком своего мира главная проблема состоит не в том, как ребенок справляется с эффектом обманутого ожидания, а в том, как он справляется с удовлетворенностью.

Поскольку мир, который для человеческого субъекта артикулируется, включает в себя нечто потустороннее требованию, то не с разочарованием, а именно с удовлетворением требования связано появление того, что Винникот называет переходным объектом. Имеются в виду те маленькие предметы, которые уже очень рано приобретают в отношениях с матерью огромную важность – кусочек пеленки, который ребенок ревниво на себя тянет, тряпица, погремушка. И все дело в том, чтобы этот рано появляющийся переходный объект в системе развития ребенка расположить.

Отметив это, обратимся теперь к обманутым ожиданиям – к тому, что происходит, когда сообщения не приходит.

2

Отношения с матерью, где та навязывает субъекту не столько закон, сколько то, что я назвал в свое время ее *всевластием* или ее *капризом*, осложнены тем фактом, что, как показывает наш опыт, ребенок – именно человеческий ребенок, а не просто детеныш –

открыт для установления отношений воображаемого порядка с образом собственного тела и с образом другого – открыт начиная с того момента, который мы три года назад, заинтересовавшись стадией зеркала, попытались каким-то образом зафиксировать.

Стадия зеркала с тех пор никуда не делась. Меня поистине умиляют те из вас, которые говорят, будто каждый год что-то у меня оказывается по-другому, будто моя система меняется. Она не меняется, просто я постепенно стараюсь показать ее всю. На нашей нынешней схеме стадия зеркала помещается по эту сторону, то есть ниже того, что происходит на линии возвращения потребности – независимо от того, удовлетворена она или нет. Субъект испытывает, к примеру, реакции разочарования, недомогания, головокружения. Эти возникающие в собственном его теле реакции соотнесены у него с идеальным образом этого тела – образом, который приобретает для него решающее значение в силу той особенности его формирования, той черты, которую мы, с большим или меньшим на то основанием, связываем с преждевременностью рождения.

Короче говоря, мы с самого начала видим, как взаимодействуют между собой два контура. Первый из них – это символический контур, куда вписываются – я попробую разложить для вас все по полочкам – отношения субъекта с женским сверх-Я его раннего детства. С другой стороны, здесь налицо воображаемые отношения с идеальным образом Я – образом, который фрустрациями, обманутыми ожиданиями и разочарованиями оказывается задет, ущерблен. Получается, что контур образуется с самого начала одновременно в двух планах – плане символическом и плане воображаемом. С одной стороны, перед нами отношения с первоначальным объектом, матерью, Другим как тем местом, где возможной оказывается артикуляция потребности в означающем. С другой стороны, налицо образ другого, маленькое *а* – то, что каким-то образом связывает субъекта с самим собой, с образом, рисующим ему направление его – воображаемого, разумеется – становления.

Все, что с начала этого года, когда мы начали рассматривать эту тему на материале остроты, здесь было сказано, свидетельствует о правильности построенной нами схемы, то есть о том, что душевная жизнь в том виде, в котором она дана нам в аналитическом опыте, могла сложиться лишь в том случае, если по ту сторону Другого, оказавшегося с самого начала – благодаря власти не то чтобы обманывать ожидания, ибо этого одного еще недостаточно, а отказы-

вать, *versagen*, со всей двусмысленностью обещания и отказа, которая в термине этом заложена, – в позиции всемогущества, имеется, так сказать, Другой этого Другого: то, что позволяет субъекту воспринимать этого Другого, место речи, как нечто, в свою очередь подвергшееся символизации.

Лишь на уровне этого Другого – Другого как носителя закона в собственном смысле слова, причем закона, на чем я буду настаивать, воплощенного – и может обрести подлинное свое измерение мир артикулированный, человеческий. Сам опыт свидетельствует нам о том, в какой степени этот задний план, задний план Другого, оказывается Другому необходим. Ведь без него невозможной была бы артикуляция языковой вселенной – вселенной, под действием которой формируется не только потребность, но и то, что зовется у нас желанием, то есть то самое, чье первоначальное место и чьи подлинные масштабы я вам в этом году пытаюсь продемонстрировать.

Будь Другой как место речи всего лишь местом, где звонит только что мною описанный колокольчик, то был бы уже не Другой в собственном смысле слова, а всего лишь организованное определенным образом место системы означающих, вносящих порядок и регулярность в жизненно важные процессы обмена внутри определенного пространства.

Трудно сказать, кто мог бы подобное место организовать. Можно представить себе, что в определенного типа обществе некие благодетели стараются его функционирование наладить и обустроить. Пожалуй, это даже один из идеалов современной политики. Но Другой – это нечто совсем иное.

Другой – это не просто место в совершенстве отлаженной и организованной системы. Он сам – это Другой, подвергшийся символизации, что как раз и дает ему его видимость свободы. Другой (в данном случае – Отец; место, где артикулируется закон) не только претерпевает означающую артикуляцию сам, но и несет на себе печать той извращенности, которая идет с присутствием означающего рука об руку.

То, о чем идет речь, далеко покуда от окончательного понятийного оформления, но чтобы нашу мысль как-то проиллюстрировать, мы, в порядке отправной гипотезы, выскажем предположение, что воздействие означающего на Другого, та печать, которой он на этом уровне знаменуется, как раз и представляет собой кастрацию – кастрацию как она есть.

Однажды, говоря о триаде “кастрация-лишение-фрустрация”, мы отмечали уже, что агент кастрации реален, что воплощен он реальным отцом, в котором субъект нуждается, что само это действие символично и что направлено оно на предмет воображаемый. Что это иначе и быть не может, становится теперь ясно. Как только на уровне закона происходит что-то реальное – и неважно, что тот или иной отец оказывается порою в той или иной степени несостоятельным, лишь бы что-то на его месте было, что-то заменяло его, – в системе требования, куда субъект встраивается, немедленно начинает просвечивать ее второй план. Система требования никогда не бывает совершенной, никогда не работает на полную мощность и с полной загрузкой – на заднем ее плане всегда дает знать о себе воздействие на субъект означающего, запечатленность его означающим, измерение утраты, которое в субъекте этим означающим введено.

Утрата или нехватка эта в системе означающих выступают, в свою очередь, в символической форме как результат воздействия означающего на субъект – означаемое, одним словом. Ведь означаемое не произрастает из почвы биологической жизни подобно цветку, а приходит от означающего, от языка. Именно означающее знаменует жизнь той печатью, что мы зовем означаемым. Причем событие это, как говорят о том сделанные нами в отношении кастрации выводы, с самого начала подвергается символизации.

Опорой символическому действию, именуемому кастрацией, служит особый образ – образ, специально выбранный в системе воображаемого, чтобы опору эту ему предоставить. Символическое действие, кастрация, выбирает для себя знак, заимствуя его в системе воображаемого. Для этого выбирается им в образе другого нечто такое, что могло бы нести на себе печать нехватки, что само воплощало бы собой ту нехватку, в силу которой живое существо, будучи человеком, то есть будучи связано с языком, воспринимает себя как нечто ограниченное, локальное, исключенное из полноты желания, как нечто сотворенное, как одно из звеньев той органической цепи поколений, по которой, подобно току, проходит жизнь. Любое животное представляет собой по сути дела лишь индивид, реализующий определенный тип, и по отношению к типу этому каждый индивид можно рассматривать как уже мертвый. Мы тоже по отношению к движению жизни уже мертвы. Но силою языка мы, в отличие от животных, способны проецировать это движение в его целокупность и, более того, в целокупность, которая обрела свой

конец, целокупность завершенную.

Именно это артикулирует Фрейд, когда вводит понятие *инстинкта смерти*. Он хочет сказать, что для человека жизнь уже заранее видится как пришедшая к своему концу, то есть в той точке, где она возвращается в лоно смерти. Человек представляет собой животное, которое включено в систему означающей артикуляции – систему, позволяющую ему подняться над присущей ему в качестве живого существа имманентностью и увидеть себя уже мертвым. Ясно, конечно, что делает он это в воображении, предположительно, в пределе – чисто спекулятивно.

Опыта смерти, который бы этому видению отвечал, конечно, не существует, и потому оно находит себе символ иного рода. Символом этим становится орган, наиболее ярко воплощающий собой напор жизни. Именно фаллос, это воплощение подъема жизненной мощи, занимает место в означающем строе – занимает, чтобы символизировать собой то, на что легла печать означающего, что под действием означающего там оказалось поражено принципиальным увечьем, где может найти свое членораздельное выражение, в самом означающем, та нехватка бытия, та бытийная несостоятельность, измерение которой означающее в жизнь каждого субъекта вводит.

Тем, кто не подходит к явлениям с готовыми мерками Школы, а исходит из самих наблюдаемых нами в неврозе явлений, сказанное поможет обнаруженные анализом данные уяснить, упорядочить. Невроз является для изучения означающей артикуляции благодатной почвой, так как проявления ее носят здесь характер беспорядочный. Опыт же показывает, что именно в беспорядке лучше всего различимы оказываются те звенья и передачи, которыми порядок выстраивается.

В основе психоаналитического опыта, выявившего скрытый механизм комплекса кастрации, легло у Фрейда наблюдение за симптомами пациентов.

3

Что же такое симптом? Где он на нашей схеме располагается? – Располагается он на уровне значения. Это и есть то новое, что мы от Фрейда узнали. Симптом – это значение, это означаемое. И означаемое это не касается субъекта лишь непосредственно – оно заключает в себе в скрытом, свернутом виде, весь его анализ, всю его

историю. Вот почему мы с полным правом можем обозначить его здесь, слева, символом *s*(A), означаемым Другого, пришедшим сюда из места речи.

Другая истина, которую преподал нам Фрейд, состояла в том, что симптом никогда не прост, что он так или иначе сверхдетерминирован. Не существует симптома, означающее которого не было бы заимствовано у опыта более раннего. Опыт этот всегда находится на уровне, где задействовано оказывается то, что было подавлено. Ядром же всего, что у субъекта подавлено, является комплекс кастрации – то означающее загражденного A, которое, артикулируясь в комплексе кастрации, далеко не всегда и не обязательно оказывается в нем артикулировано без остатка.

Пресловутый травматизм, послуживший было психоанализу отправной точкой, пресловутая первичная сцена, которая играет в устроении субъекта важнейшую роль, действенно заявляя о себе как в сердцевине открытия бессознательного, так и на периферии его – что это такое, если не означающее, некое означающее, последствия которого для жизни я попытался здесь сформулировать? Живое существо постигается, поскольку оно живет, как живущее, но возникает при этом остранение, дистанция – та самая, которой и обусловлены как раз и автономия означающего измерения, и травматизм первичной сцены. Что это, если не та самая жизнь, которая, обнаружив для себя самой собственную чужеродность и глухую непроницаемость, постигает себя как чистое означающее существования, которое, стоит ему отстраниться от жизни, чтобы первоначальную сцену и ее травматизм увидеть, становится для этой жизни невыносимым? Это та составляющая жизни, что предстает ей как означающее в чистом виде – означающее, не способное каким бы то ни было образом себя артикулировать или во что-либо разрешить. Когда Фрейд пытается то, что симптом представляет собой, сформулировать, в образовании симптома неизменно учитывается им роль того, что находится у означаемого на заднем плане – роль означающего.

То, что отмечено нами было на последних занятиях в отношении страдающих истерией, позволяет в то же время правильно сформулировать проблему невротиков. Проблема эта связана с тем, как соотносится означающее с позицией субъекта, зависимого от требования. Здесь-то и вынужден страдающий истерией артикулировать нечто такое, что мы, за неимением лучшего, назовем его же-

ланием и объектом его желания – объектом, простому объекту потребности отнюдь не тождественным. Именно это побудило меня посвятить столько времени сновидению *жены лавочника.*

Из сновидения этого совершенно ясно – и Фрейд уже на заре психоанализа говорит об этом, – что главное для истерического больного: сохранить объект желания в чистоте, сохранить как нечто совершенно отличное и независимое от объекта любой потребности. Отношение к собственному желанию, его образованию, сохранению его как загадки на заднем плане всякого требования – вот проблема страдающего истерией.

Что представляет собой желание истерика? Это то, что открывает перед ним если не вселенную, то, во всяком случае, целый мир – мир достаточно обширный хотя бы в силу того, что так называемое измерение истерии каждому человеческому существу в скрытом виде присуще. Все то, что может предстать как вопрос относительно собственного желания, все то, что мы назвали здесь *x*, желанием, которое человек не способен высказать, – вот в чем ощущает истерик полную общность свою со всеми явлениями того же порядка у своих сестер и братьев по истерии, вот на чем, как утверждает и Фрейд, построена истерическая идентификации. Любой истерический субъект отзывается на все, что касается вопроса относительно желания, очень чутко, в каком бы виде вопрос этот у других, в особенности у другого истерика, актуально ни возникал. Впрочем, возникнуть он может и у субъекта, истеричность которого обнаруживается от случая к случаю, а то и вовсе имеется лишь в задатке, давая о себе знать разве что в характерном для истерика способе выражения.

Вопрос о собственном желании открывает для истерика мир идентификаций. Именно миром идентификаций обусловлены его отношения с маской – со всем тем, что может тем или иным образом фиксировать и символизировать его вопрос о желании по какому-то определенному типу. Вопрос этот, роднящий его всем истерикам, взывающий к всем истерикам как таковым, идентифицирует его черты с маской, общей для всех истериков, – маской, под которой бурлят всевозможные варианты нехватки.

Переходим теперь к страдающим неврозом навязчивых состояний.

Структура страдающего неврозом навязчивости в том виде, в каком я пытаюсь ее представить себе, тоже определяется отношения-

ми, в которые вступает он со своим желанием. На сей раз отношения эти строятся не по типу d_x, а совсем по иному типу, который мы обозначим сегодня d_0.

Отношения страдающего неврозом навязчивости со своим желанием обусловлены тем, о чем, благодаря Фрейду, мы давно уже хорошо знаем, – ролью, которую слишком рано начинает играть в них так называемое *Entbindung*, высвобождение влечений, обособление тенденции к разрушению. Вся структура страдающего неврозом навязчивости определяется тем фактом, что подступом к собственному желанию служит ему, как и любому субъекту, желание Другого и что это желание Другого оказалось в его случае изначально упразднено, аннулировано. Говоря это, я вовсе не предполагаю сказать что-то особенно новое, я просто иначе некоторые старые истины формулирую.

Те из вас, кто уже работал с больными неврозом навязчивости, знают, наверное, что одной из основных примет этого состояния является то, что собственное желание такого субъекта слабеет, мерцает, колеблется и гаснет по мере того, как он начинает к нему приближаться. Желание страдающего неврозом навязчивости несет на себе, таким образом, печать того обстоятельства, что при первом же столкновении этого субъекта с желанием оно оказалось чем-то подлежащим уничтожению. Произошло это потому, что желание его, представ ему поначалу как желание его соперника, спровоцировало с его стороны ту разрушительную реакцию, которая в отношениях с образом другого – образом, грозящим ему гибелью и лишением, – подспудно всегда ему свойственна. Отношение страдающего неврозом навязчивости к собственному желанию оказывается в итоге отмеченным печатью совершенно особой – печатью, в силу которой любая попытка сближения с этим желанием оканчивается его полным исчезновением.

Именно это явление и описывается автором, о котором я вот уже несколько занятий подряд говорю и которого критикую, в виде того, что он называет *занятой* по отношению к невротику *дистанцией*. Дистанцию эту он путает, вдобавок, с тем, что называет он его, этого объекта, *уничтожением*. Страдающий неврозом навязчивости психологически рисуется ему человеком, который обречен постоянно защищаться от грозящего ему безумия – безумия, состоящего в разрушении объекта. Пред нами здесь всего лишь проекция, объясняемая у этого автора несовершенством его воз-

зрений в теоретическом плане, но усиленная к тому же и личными факторами, ибо по сути дела она представляет собой фантазм – фантазм, обусловленный в какой-то степени той воображаемой перспективой, в которую он, этот автор, решение проблемы желания у страдающего неврозом навязчивых состояний вписывает. Общеизвестно к тому же, что в каком бы направлении с типичным больным неврозом навязчивости ни работать, ни малейшей опасности подтолкнуть его при этом к психозу не будет. В свое время я покажу вам, насколько структура такого больного от структуры психотика отличается.

Что автор зато действительно понял, хотя и не сумел при этом удачно выразить, так это то, что страдающий неврозом навязчивости если и может поддерживать со своим желанием какие-то отношения, то исключительно на расстоянии. Дистанция, которую больной неврозом навязчивости должен хранить, – это не дистанция по отношению к объекту, это дистанция по отношению к желанию. Объект несет в данном случае совсем другую функцию. Опыт наш недвусмысленно нам свидетельствует, что для сохранения своего желания больной неврозом навязчивости должен держаться от него на определенной дистанции.

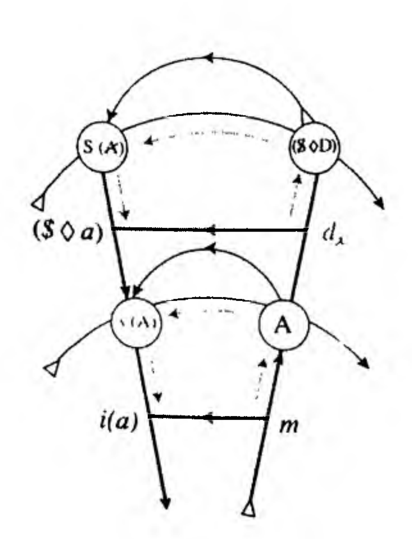
Что же происходит в плане общения страдающего неврозом навязчивости со своим напарником (conjoint)? Разглядеть это непросто, но, если хорошо постараться, все-таки можно: страдающий неврозом навязчивости старается уничтожить в Другом его желание. Малейшая попытка проникнуть на внутреннюю территорию страдающего неврозом навязчивости наталкивается на глухое и изнурительное сопротивление – сопротивление, стремящееся принизить, обесценить, упразднить у другого то, что является, по сути дела, собственным его желанием.

Существуют, конечно, определенные нюансы, и в применении терминов, которые мы здесь используем, нужен навык, но без них истинная природа происходящего оказывается просто-напросто вне поля нашего зрения. Говоря о чертах, свойственных больному неврозом навязчивости в раннем детстве, я уже обращал ваше внимание на совершенно особый, подчеркнуто рельефный характер, который необычно рано принимает у него артикуляция требования.

На схеме, которую я привожу здесь, вы его место можете определить. Этот малыш всегда чего-нибудь требует. При этом, что удивительно, среди младенцев, которые все, как правило, неустанно чего-

нибудь требуют, он выделяется тем, что требования его, даже самые благонамеренные, всегда воспринимаются как совершенно невыносимые. Он ими всех, как говорят, достает. И дело вовсе не в том, что по сравнению с другими он требует чего-то особенного; дело в том, что в самом том, как он это делает, в отношении его как субъекта к этому требованию, сказывается нечто особенное, характерное для артикуляции требования у того, кто в момент появления этих первых признаков – то есть где-то начиная с угасания эдипова комплекса и в последующий, так называемый латентный, период – неврозом навязчивости фактически уже страдает.

Что касается нашего истерического субъекта, то мы убедились уже, что маленькое *a* используется им как уловка – уловка, помогающая его загадочное желание поддержать. Уловку эту мы можем представить на схеме двумя параллельными выражающими напряжение векторами – один из которых лежит на уровне идеализирующего образования ($\$ \lozenge a$), другой – на уровне идентификации с маленьким другим, $i(a)$. Подумайте о чувстве, которое испытывает Дора к г-ну К. В подобной поддержке нуждается в определенной фазе своей истерии каждый истерик – она-то и играет для него роль *a*.



Контур истерического субъекта

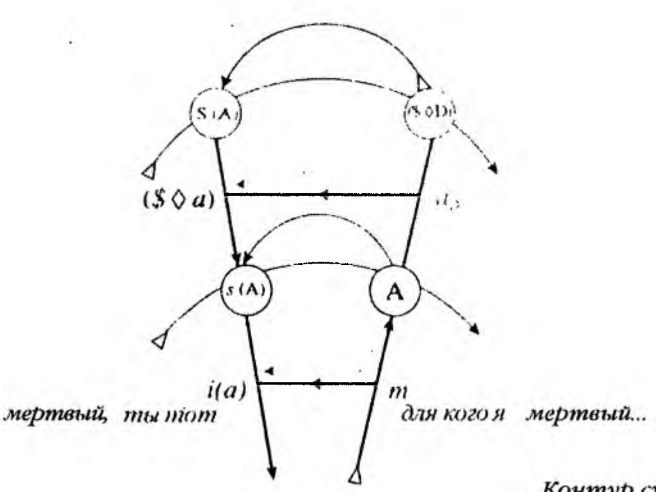
Страдающий неврозом навязчивости выбирает иной путь. Для того, чтобы с проблемой своего желания разобраться, он сориентиро-

ван куда лучше. Начинает он с другой точки, и элементы, которыми он оперирует, тоже другие. Лишь благодаря чрезвычайно существенным для него отношениям, ($\$\lozenge D$), в которые он очень рано с собственным требованием вступает, удается ему сохранить дистанцию, благодаря которой хоть где-то, пусть издали, окажется для него возможным то самое, уже упраздненное по сути дела желание, позицию которого так важно ему закрепить. Связь страдающего неврозом навязчивости с его желанием мы сейчас на этой схеме очертим. Но специфические отношения субъекта с желанием – это всего лишь одна, первая черта. Есть еще и другие.

Что такое невроз навязчивых состояний? Вы сами знаете, сколь важную роль играют в нем словесные формулы – можно даже сказать, что навязчивое состояние вербализовано всегда. У Фрейда на этот счет сомнений не было. Даже имея дело с поведением, заставляющим наличие навязчивых состояний предположить, он не считает его структуру выявленной, пока навязчивость эта не приняла в нем словесной формы. Более того, он утверждает, что в лечении невроза навязчивых состояний нельзя продвинуться ни на шаг, пока субъекта не удалось заставить дать полное развитие своим симптомам – развитие, которое может даже на первых порах выглядеть как клиническое ухудшение.

Во всех навязчивых формулах речь идет о так или иначе артикулированном разрушении. Нужно ли говорить о том, что формулы упразднения, которые в структуру навязчивого состояния входят, носят словесный характер? Общеизвестно, что суть их заключается в уничтожении посредством слова, действием означающего – в этом и состоит секрет способности их пробуждать в субъекте феноменологическую тревогу. Субъект оказывается во власти магического – не знаю, почему его не назвали просто словесным? – магического, повторяю, уничтожения Другого: уничтожения, заданного самой структурой симптома.

Я уже нарисовал вам контур истерика – контур, образующий в конечном счете две параллельные ветви, где идеализации и идентификации на верхнем уровне соответствует символизация того, что происходит на уровне нижнем, воображаемом. Если я воспользуюсь этим контуром и внесу в него схему отношений с другим, результирующий контур для субъекта, страдающего неврозом навязчивости будет выглядеть так:



Контур субъекта,
страдающего неврозом навязчивости

Боязнь мыслями своими – то есть речами, поскольку они и есть мысли, только выговоренные – причинить Другому какой-то вред, открывает перед нами целую феноменологию – феноменологию, на которой уместно будет несколько задержаться. Я не знаю, занимала ли вас когда-нибудь тема кощунства. Что такое кощунство? Я был бы рад, если бы нашелся сейчас здесь богослов, который бы нам этот вопрос разъяснил. Скажем так: кощунство низводит с высоты некое господствующее означающее – низводит как раз тогда, когда речь заходит об уровне, на котором лежат истоки его, этого означающего, авторитетности. Означающее это связано с тем верховным означающим, которое мы именуем Отцом, – не обязательно совпадая с ним, оно играет, так или иначе, равнозначащую ему роль. Что Бог имеет к творчеству означающего непосредственное отношение – в этом сомнения нет, как нет сомнения в том, что именно в этом и никаком другом измерении находит себе место кощунство. Кощунство низводит это означающее в ранг объекта, отождествляет в каком-то смысле *логос* с его собственным метонимическим эффектом, опускает его на одну ступень ниже. Это замечание не дает, конечно, на вопрос о кощунстве исчерпывающего ответа, но констатируемое у страдающих неврозом навязчивости явление речевого кощунства несколько проясняет.

Как всегда и бывает, именно у Фрейда находим мы этому явлению наиболее типические примеры. Вспомните тот эпизод в "*Человеке с крысами*", где пациента – ему было четыре года, если не

ошибаюсь, – охватывает направленный на отца приступ ярости и он с криками: *Ты салфетка! Ты тарелка!* и тому подобными катается по полу. Мы имеем здесь дело с самым настоящим столкновением и сговором – сговором присущего Другому *Ты* с тем образовавшимся в результате введения означающего в мир человека выкидышем, который зовется объектом, причем речь идет преимущественно об объекте инертном, о предметном эквиваленте обмена. Поток существительных, которые ребенок в ярости выкрикивает, это недвусмысленно подтверждает: речь идет не о том, является ли отец лампой, тарелкой или салфеткой, речь идет о том, чтобы низвести Другого в ранг объекта и уничтожить его.

Поскольку сегодня мы на этом вынуждены остановиться, я скажу лишь, что случай этот, структуру которого мы в следующий раз рассмотрим, показывает нам, что сохранить Другого страдающему неврозом навязчивости субъекту удалось не иначе, нежели внутри определенным образом артикулированного означающего, и что, более того, само разрушение является средством, которым он надеется его силою значащей артикуляции уберечь. Перед вами здесь сами те нити, из которых мир страдающего неврозом навязчивости соткан. Субъект, страдающий неврозом навязчивых состояний, – это человек, который живет в означающем. Он внутренне прекрасно устроился. Психоз ему ни в малейшей степени не грозит. Чтобы измерение Другого в нем сохранить, означающего этого оказывается достаточно. Беда лишь в том, что Другой обращается у него в своего рода идола. Французский позволяет артикулировать это обстоятельство способом, который я как-то раз уже демонстрировал: *мертвый, ты тот, для кого я...* – вот что субъект, обращаясь к Другому, артикулирует.

Для страдающего неврозом навязчивости на этом все и кончается. Речь полноценная, речь, в которой артикулировалась бы включенность субъекта в фундаментального порядка отношения с Другим, не может в данном случае состояться иначе, нежели путем повторения, неким юмористом однажды выставленным на посмешище. "*Быть или не...*" – актер напряженно чешет в затылке, вспоминая окончание фразы, – "*to be or not, to be or not...*", – и так далее, пока самоповторение не подсказывает ему конец фразы. "*Мертвый, ты тот, для кого я, мертвый, ты тот, для кого я мертв*".

Фундаментальную схему отношений страдающего неврозом навязчивости с Другим подсказывает нам здесь сам язык. Артикуля-

ция, которая Другому дает основание, сама же замыкается на его разрушении, но в то же время, будучи артикуляцией значащей, обеспечивает собой его сохранение.

Именно внутри этой артикуляции хорошо видно становится место, которое занимает по отношению к категориям "*быть*" и "*иметь*" фаллическое означающее – то, на чем в конце прошлого занятия мы как раз и остановились. А это позволяет нам, в свою очередь, лучше разглядеть разницу, которая существует между решением, позволяющим прояснить для страдающего неврозом навязчивости его отношения с фаллосом как означающим желания Другого, с одной стороны, и решением, которое удовлетворяет требование субъекта своего рода воображаемым призраком, представляя ему искомый объект через символизацию аналитиком воображаемого фантазма, с другой. Именно в этом последнем измерении и велись все те наблюдения, с критикой которых мы на этих занятиях выступали. Иллюзорное решение, в них предложенное, подобно, по сути, тем словам аналитика, что он обращает женщине: "*Вы завидуете пенису? Ну что ж...*". Именно в таком духе разговаривал Казимир Перье с типом, прижавшим его на улице к фонарному столбу: "*Что вы хотите?*" – "*Свободы.*" – ответил тот. "*Что ж, вы свободны*", – молвил ему Перье, проскальзывая у него между ног и оставляя в полном недоумении возле пресловутого фонаря.

Наверное, это все-таки не то, что мы вправе от психоаналитического решения ожидать. Наблюдаемая у субъекта в итоге лечения лихорадочная, эйфорическая идентификация, чье описание которой целиком совпадает с воплощенным в аналитике идеалом мужчины, возможно, и сообщает этому субъекту некоторое равновесие, но подлинного ответа на вопрос страдающего неврозом навязчивости, разумеется, не дает.

18 июня 1958 года

XXVII
Выход через симптом

От речи Другого к бессознательному
Значение регрессии
Что нас отличает от обезьян
Психотик и желание Другого
Невротик и образ другого

Очертив в прошлый раз фигуру желания страдающего неврозом навязчивости, мы начали кольцо нашего определения вокруг него понемногу сжимать.

Я уже говорил вам в связи с этим о характерной для такого невротика позиции требования, особая настоятельность которого, делающая его столь невыносимым, очень рано начинает Другим ощущаться; говорил о его потребности желание Другого уничтожить, говорил о функциях некоторых его фантазмов. Начало нашей сегодняшней теме тем самым было положено.

В работе, которую я сделал объектом критики – критики не полемической, а отправляющейся от систематического анализа выводов из тех данных, которые сам же автор в этой работе приводит, – фаллический фантазм отнюдь не случайно предстает в ходе анализа невроза навязчивых состояний у женщины как зависть к пенису. Где-где, а в этой статье аргументов в пользу того, что роль фаллического означающего я склонен несколько преувеличивать, вам не найти. Но урок, который я хотел бы вам дать, указанием на важность фаллического означающего отнюдь не исчерпывается. Речь ведь идет не о легковесной и поверхностной критике аналитического курса лечения, в детали которого мы не входили и который, кстати, по свидетельству автора, еще не закончен, – речь идет о том, как им, этим фаллическим означающим, пользоваться. Что же касается этого курса, то ни одного из элементов, которые я считаю для направления лечения ориентирами, вы там не найдете. Описанный в статье ход лечения несет на себе печать авторских колебаний и принимает в итоге направление откровенно противоположное тому, которое сочли бы логичным мы.

В своей критике мы исходим не только из наблюдений автора в форме его отчета, но и из тех проделанных им опросов, которые он

в нужном месте всегда приводит, – недаром одно из свойств человеческого ума состоит в том, что здравый смысл, как однажды справедливо, хотя и не без иронии, было сказано, это самая распространенная вещь на свете. То, что служит нам препятствием здесь, несомненно послужило препятствием и для авторов, в отчетах которых препятствия эти исчерпывающим образом артикулированы. Имеются в них и тексты опросов, имеются даже замечания, свидетельствующие о парадоксальном исходе, об отсутствии, точнее, того исхода, которого пытались добиться, имеются и противоречия, которым сам автор подобающего им значения не придает, но от которых, тем не менее, никуда не уйти, поскольку они черным по белому в его тексте прочитываются.

Возьмем сразу быка за рога, констатировав разницу между тем, что в этом курсе лечения предстает как не просто поддающееся артикуляции, а артикулированное, с одной стороны, и тем, какая цель в нем поставлена и что в нем действительно сделано, с другой.

1

Возьмем за исходный пункт нашу схему. Она объединяет в единое целое ряд позиций, позволяющих разобраться в вещах, издавна нам знакомых. Позиции эти получают в ней некоторую топологическую упорядоченность.

Попробуем прежде всего разобраться в том, что представляет собой верхняя линия нашей схемы. Во-первых, это линия означающая, поскольку структурирована она как язык. Во-вторых, будучи структурирована как язык, это своего рода фраза, которую сам субъект артикулировать не в состоянии, артикулировать которую должны помочь ему мы, – фраза, которая как раз и определяет собой структуру невроза в целом.

Невроз не идентичен какому-либо объекту, это не паразит, личности субъекта совершенно чуждый, – это аналитическая структура, проявляющаяся в его, этого субъекта, поступках и поведении. Развивая наши представления о неврозе, мы пришли к выводу, что он не сводится, как я было, переводя положения Фрейда на язык лингвистики, утверждал, к симптомам, поддающимся разложению на означающие элементы, с одной стороны, и означаемые как их эффекты, с другой. Не сводятся уже потому, что печать этих структурных связей несет на себе вся личность субъекта. Смысл, в котором я здесь слово *личность* употребляю, выходит далеко за преде-

лы обычного о ней представления как о чем-то статичном, во многого совпадающем с тем, что мы называем характером. Я говорю в данном случае совсем о другом, я говорю о личности в том виде, в котором она предстает в своем поведении, в своих отношениях с Другим и другими, предстает как некое движение, вновь и вновь оказывающееся тем же самым, как некое ритмическое членение, как способ перехода от другого к Другому, причем не просто к Другому, а Другому, который вечно и без конца обретает себя, – тому самому, которым как раз действия страдающего неврозом навязчивости и модулируются.

Поведение страдающего неврозом навязчивости или истерией структурировано, в совокупности своей, как язык. Что это значит? Дело не исчерпывается тем, что по ту сторону артикулированной речи, дискурса, все поступки субъекта тоже эквивалентны языку в том смысле, в каком эквивалентны ему жесты, представляющие собой не просто те или иные движения, а определенные означающие. Здесь более уместно другое созвучное этому французское слово *geste*, означающее эпическое сказание, как, скажем, *Сказание о Роланде*, полный повествовательный цикл.

В конечном счете это, если хотите, речь. Поведение невротика предстает в совокупности своей как речь, более того – как речь полноценная, полная, примитивную форму которой мы обнаруживаем в заключенном на словах соглашении или помолвке. Но, будучи полной, речь эта в то же время представляет собой тайнопись, смысл которой субъекту, всем существом своим, всеми проявлениями своими, всем, что непроизвольно возникает у него в памяти и что волей-неволей воплощает он успехом или же безуспешностью собственных начинаний, эту речь выговаривающему, остается непонятен до тех пор, пока не вторгнутся в его жизнь некие колебательные процессы, которые мы с вами называем психоанализом. Именно эту речь – речь субъекта загражденного, похеренного для себя самого за семью печатями – и называем мы бессознательным. Именно ее обозначаем мы на схеме символом в виде большой перечеркнутой буквы S – знаком $.

Нам предстоит теперь ввести на уровне Другого, А, некоторые различия. Мы уже определили Другого как место речи. Другой возникает и вырисовывается в определенных чертах благодаря уже одному тому факту, что субъект говорит. Уже в силу самого факта этого большой Другой получает рождение в качестве места речи.

Это еще не значит, что он тем самым реализуется как субъект, в качестве иного. Другой возникает, как в заклинании, каждый раз, когда место имеет речь. Я повторял это столь настойчиво, что возвращаться к этому мне, думается, смысла нет. Но то потустороннее, что артикулируется верхней линией нашей схемы, – это не Другой. Это Другой Другого.

Я имею в виду ту речь, что артикулируется на горизонте Другого. Другой Другого – это то место, где вырисовывается речь Другого как таковая. И нет причины, по которой место это для нас должно быть закрыто. Более того, отношения между субъектами и коренятся как раз, собственно говоря, в том факте, что Другой в качестве места речи прямо и непосредственно предстает нам как некий субъект – субъект, который, в свою очередь, мыслит нас в качестве своего Другого. Это и есть принцип любой стратегии. Играя с противником в шахматы, вы приписываете ему расчет ровно на такую же глубину, на которую делаете его сами. Но если мы осмеливаемся утверждать, что этот Другой Другого должен нам быть, по идее, совершенно прозрачен и вместе с измерением Другого неизбежно нам придан, то почему же тогда говорим мы одновременно, что этот Другой Другого является местом, где артикулируется речь бессознательного – речь сама по себе вполне артикулированная, но нашей артикуляции не поддающаяся! Почему приходится нам так говорить? Что дает нам на это право?

Ответ на этот вопрос очень прост. Сами условия человеческой жизни диктуют обусловленность ее словом – подчиненные Другому условием требования, мы не знаем, однако, что наше требование для него значит. Откуда эта неизвестность? Что ему эта непрозрачность дает? Все это, конечно же, вещи очевидные, но договориться о них не будет здесь совсем бесполезно, так как мы зачастую довольствуемся преждевременными объективациями – объективациями, которые дело лишь затемняют.

Поскольку мы не знаем, как Другой наше требование принимает, он входит в нашу стратегию, становится *unbewusst* и воплощает собой парадоксальную по своему характеру позицию дискурса. Именно это я имею в виду, когда говорю вам, что бессознательное – это дискурс Другого. Это то, что происходит предположительно на горизонте Другого Другого по мере того, как именно там, на горизонте этом, возникает его, этого Другого, речь – но возникает не просто, а становясь нашим бессознательным, то есть тем, что с не-

обходимостью предстает в нас осуществленным в силу самого того факта, что в нем, этом месте речи, мы помещаем Другого, живого Другого, способного дать нам ответ. Непрозрачен же для нас этот Другой потому, что есть в нем нечто нам неизвестное, нечто такое, что отделяет нас от его ответа на наше требование. Именно это – и ничто иное – зовем мы его желанием.

Ценность этого замечания, очевидного только на первый взгляд, связана с тем, что желание, о котором мы говорим, располагается между Другим как местом речи в чистом и непосредственном в его виде и Другим как тем существом из плоти и крови, от произволения которого зависит, будет ли удовлетворено наше требование. Именно положением желания и обусловлена связь его с символизацией действия означающего – символизацией, которая и создает, собственно говоря, то, что мы называем субъектом и что обозначаем на нашей схеме символом $\$$.

Субъект – это совсем не то, что “я сам” или, как элегантно выражаются по-английски, *self.* Произнося это английское слово, мы ее, “самость” эту, обособляем и видим сразу, что означает она в речи не что иное, как то неустранимое, ни к чему не сводимое, что присутствие индивида в мире с собой привносит. Субъектом же в собственном смысле слова, тем загражденным субъектом, которым предстает он на нашей схеме, становится это *self* лишь постольку, поскольку ложится на него печать обусловленности, подчиняющая его не только Другому как месту речи, но и Другому как таковому. И тогда это уже не субъект, который имеем мы обычно в виду, говоря о связи с миром, о соотношении мира и глаза, о том субъектно-объектном отношении, одним словом, которое носит у нас имя сознания. Это субъект, который рождается на свет лишь в момент, когда возникает в условиях речи человеческое существо, – рождается, следовательно, лишь постольку, поскольку отмечен оказывается печатью Другого, в свою очередь обусловленного и отмеченного теми условиями, которые накладывает на него речь.

Что же видим мы на том горизонте, который возникшее в виде желания Другого препятствие делает для нашего взгляда непроницаемым? По мере того, как Другой не отвечает ему, субъект отсылается к собственному своему требованию. С ним-то и возникают у него определенные отношения, обозначенные у нас на схеме маленьким ромбиком, значение которого я вам не так давно объяснил. Итак, *большое А больше не отвечает* – знаменитая фраза, если

заменить в ней заглавную букву. На уровне субъекта, где-то на линии горизонта, стремится к образованию то, что, отсылая субъекта к противостоянию собственному своему требованию, принимает форму означающих, которые, если можно так выразиться, этот субъект вбирают в себя, – означающих, для которых сам субъект становится только знаком. Именно горизонт этого отсутствующего со стороны Другого ответа и начинает вырисовываться в анализе пациента постольку, поскольку аналитик остается в нем поначалу лишь местом речи, лишь ухом, которое, слыша, не отвечает.

Это отсутствие ответа постепенно толкает субъекта на отказ от тех форм и способов требования, которые проступают в его дискурсе, подобно водяным знакам, в виде того, что называем мы у себя анальной, оральной или какой угодно иной фазой. Что мы, рассуждая о всех этих фазах, имеем в виду? Не забывайте, что субъект никак не возвращается на наших глазах к грудному младенчеству. Мы не факиры какие-нибудь, чтобы заставить субъекта вернуться назад во времени и превратиться в конце концов в породившее его семя. Речь у нас идет только об означающих. То, что называем мы *оральной* или *анальной фазой*, это всего лишь способ, которым артикулирует субъект свое требование, артикулирует появлением в своем дискурсе – дискурсе в самом широком смысле, включающем все те формы, в которых может заявить о себе невроз, – означающих, успевших на том или ином этапе развития сформироваться и послуживших для выражения его требования в недавних или, наоборот, более ранних фазах.

То, что мы называем *фиксацией*, – это не что иное, как сохраненное той или иной формой орального, анального или иным образом нюансированного означающего преобладание; это особое значение, которое та или иная система означающих для себя удержала. Регрессия же – это когда означающие эти в дискурсе субъекта вновь возвращаются: возвращаются просто-напросто потому, что речь, просто будучи речью, ничего особенного не требуя, в измерении требования обязательно вырисовывается. Именно поэтому и открывается в ней задним числом перспектива условий требования, в которых жил субъект с самого раннего и нежного своего возраста.

Регрессия – это всегда регрессия дискурсивная. Означающие, в ней задействованные, принадлежат к структуре дискурса – именно там мы их, как правило, и обнаруживаем. Этот факт я проиллю-

стрирую сейчас, нарисовав вам две линии.

6

$$\frac{S_1 \text{---} S_2 \text{---} S_3 \text{---} S_4}{s_2 \text{---} s_3 \text{---} s_4 \text{---} s_5}$$

Верхняя линия – это линия означающих. Ниже, под ней, находим мы образованные по законам означающей цепочки значения. Те и другие друг другу эквивалентны, ибо стоит явиться означающему символу, который, замыкая, так сказать, петлю фразы, придает тем самым происходящему на уровне означающего функцию обратного действия, как эффект предвосхищения, любой последовательности означающих, любой означающей цепочке свойственный, немедленно открывает перед ней как горизонт собственного ее завершения, так и собственную перспективу ретроактивности. Так, в нашем примере, с появлением S_1 уже рисуется, в предвосхищении дальнейшего, S_2, завершающееся, однако, лишь позже – в момент, когда S_2 окажет на S_1 обратное действие. Определенное смещение, расхождение между означающим и значением существует всегда; именно это делает всякое значение – если, конечно, оно не представляет собой значение естественное, связанное у субъекта с моментальным настоятельным позывом потребности? – фактором принципиально метонимическим, отсылающим нас к тому, что формирует означающую цепочку, сплетая в ней узлы и петли, которые мы можем, на какое-то мгновение ее распутав, в ней указать, к некоей *сигме*, если хотите, которой мы обозначим то, что является по отношению к означающей цепочке потусторонним.

Столкновение субъекта с требованием приводит к тому, что дискурс субъекта блекнет и в нем проступают, как водяные знаки, те элементарные означающие, что образуют основу нашего опыта. Тут-то и обнаруживается, что все поведение субъекта, равно как и способ, которым он его порой объясняет, все, вплоть до ритмических особенностей его речи и работы тех двигательных механизмов, в которых его дискурс артикулируется, подчинено одним и тем же структурным закономерностям, так что любой лепет субъекта, сколь бы косноязычен он ни был, любая его, как я некогда выразился, речевая оплошность могут для нас оказаться значимы, отсылая к некоему означающему требования как оральной или анальной нехватки.

Небольшая группа исследователей, возглавляемая одним из наи-

более доброжелательных моих коллег, Лагашем, с удивлением, объясняемым лишь на фоне укоренившегося недоразумения, обнаружила, что везде, где во французском переводе Фрейда стоит слово *инстинкт*, в немецком тексте ему соответствует слово *Trieb*. Мы его переводим словом *pulsion* – *толчок*, *импульс* – что, по правде говоря, дело лишь затемняет. Англичане придумали термин *drive*, а вот нам, французам, перевести это слово нечем. Подходящим научным термином был бы *тропизм*, означающий определенного рода необоримые и несводимые к физико-химическим факторам влечения, которые наблюдаются у животных. Слово это позволило бы изгнать, наконец, тот финализм, которым грешит неизбежно термин *инстинкт*. Смысл фрейдовского термина *Trieb* ему очень близок. Можно было бы перевести *Trieb* и как *attirance* – *влечение*, *тяга* – учитывая, конечно, при этом, что с субъектом, который встречается нам в стадных формах темной органической тяги к какому-нибудь, скажем, элементу климата или иному природному фактору, человеческое существо ничего общего не имеет.

И, конечно, не тяга интересует нас, аналитиков, призванных исследовать область, где речь идет об оральной, анальной, генитальной и прочих фазах. Аналитическая теория усматривает закономерность, которая связывает всю организацию человека – его зависимость, его подчиненность, его влечения – с некой инстанцией. Но что это за инстанция? Не что иное, как означающие – означающие, заимствованные из набора определенного количества собственных его органов.

В сущности, мы имеем в виду то же самое, когда говорим, что сохраняющаяся у взрослого субъекта оральная и анальная фиксация обусловлена определенного рода воображаемыми отношениями. Добавляем же мы к этому лишь одно – что отношения эти получают в данном случае функцию означающего. Не будь они таким превращением обособлены, умерщвлены, им никогда не удалось бы взять на себя в субъекте такую важную для его устроения роль – по той простой причине, что единственное, чему служат образы, это возбуждение потребностей и удовлетворение их. И тем не менее аналитики признают, что человек остается привязан к оральным или анальным образам даже тогда, когда о пище и, соответственно, экскрементах речь не идет. А это означает, что образы эти из своего контекста изъяты, что дело больше не в потребностях как таковых, что образы получили теперь иную, новую функ-

цию – функцию означающего. Понятие влечения – лишь удобный способ сформулировать важные для нас представления о зависимости субъекта от определенного означающего.

Суть дела заключается в том, что желание субъекта, встречая его в облике чего-то потустороннего требованию, делает субъект для нашего требования непрозрачным. В результате оно полагает начало дискурсу своему собственному – дискурсу, который, будучи для нашей структуры необходим, остается для нас в каком-то отношении полностью непроницаемым. Что и превращает его, собственно, в дискурс бессознательный. Что же касается желания, являющегося его условием, то оно само обусловлено, в свою очередь, существованием особого рода означающего эффекта – эффекта, о котором я вам, начиная с этого января, уже говорил и который называю я *отцовской метафорой*.

2

В основе этой метафоры лежит примитивное, темное, непроницаемое желание матери, для субъекта поначалу совершенно недоступное. На горизонте его появляется, однако, уже Имя Отца, опора порядка – порядка, установленного цепочкой означающих. Я уже записывал вам однажды эту метафору в символической форме, представив ее как отношение двух означающих, одно из которых занимает в ней две различные позиции – Имя Отца стоит в ней над Желанием Матери, а Желание Матери над его, этого желания, символизацией.

Установление этого желания в качестве означаемого метафорой как раз и осуществляется.

$$\frac{S}{S'} \cdot \frac{S'}{x} \rightarrow S \left(\frac{S}{\text{phallus}} \right)$$

Там, где Имени Отца не оказывается, метафора не работает. Субъекту не удается в результате произвести на свет то, что позволило бы приписать нашему неизвестному, x, значение фаллического означающего. Это как раз и происходит в психозе, где Имя Отца, будучи с самого начала отброшено, *verworfen*, в цикл означающих не вошло, оставив желание Другого, матери, непросимволизированным.

Если бы нам нужно было показать место, которое занимает на нашей схеме психоз, мы сказали бы, что желание это – я не хочу добавлять: насколько оно существует, так как вам известно, что даже

у матерей психотиков желание есть, хотя это далеко не так уж порою и очевидно, – так вот, что желание это в системе психотического субъекта символизации не подверглось, и потому речь Другого в его бессознательное не проходит, хотя сам Другой в качестве места речи разговаривать с ним может при этом сколько угодно. Под Другим я не обязательно имею в виду себя или вас – скорее, это совокупность всего того, что в его поле восприятия попадает.

Поле это, естественно, говорит ему о нас. Вот первый пример, который приходит в голову, так как рассказали его нам не далее, как прошлым вечером: красный цвет, в который выкрашен автомобиль, говорит находящемуся в состоянии бреда субъекту, что он бессмертен. С ним говорит абсолютно все, ибо символическая организация, призванная направить Другого туда, где уготовано ему место, то есть в бессознательное субъекта, в символическом регистре в данном случае не сложилась. Другой говорит с ним способом, подобным той первой и примитивной речи, которая является речью требования. Вот почему все прорастает звуками и "*оно говорит*", скрытое для невротика в его бессознательном, для психотического субъекта воспринимается как находящееся вовне. То, что оно говорит, и говорит вслух, – совершенно естественно и никакого удивления не вызывает. Если Другой – это место речи, то оно и говорит там, причем речь эта слышна отовсюду.

Крайний случай наблюдаем мы в момент развязывания психоза – момент, когда то, что было из символического отброшено, *verworfen*, вновь появляется, как я вас всегда и учил, в реальном. Реальное, о котором идет речь, – это галлюцинация, то есть Другой, поскольку он говорит. Когда что-то говорится, говорится оно всегда в Другом, но принимает оно у психотического субъекта форму реального. Психотический субъект не сомневается, что говорит с ним Другой – говорит, используя при этом все означающие, которых здесь, в человеческом мире, полно как грязи, потому что отмечено их печатью все, что нас окружает. Вспомните об афишах, которыми оклеены наши улицы.

Состояние ослабления связей, распада, может быть в зависимости от характера психоза более или менее ярко выражено. Как мы наблюдаем сами и как свидетельствует нам Фрейд, те проявления, в которых психоз, как правило, выражается, как раз и призваны бывают восполнить то, что в месте, зависящем от означающей структуры желания Другого, то есть в месте, для организации

субъекта решающем, у него отсутствует. Во всех формах психоза, от самых благоприятных вплоть до случаев крайнего распада, нам предстает дискурс Другого в чистом его виде – дискурс Другого, здесь, в точке s(A), членораздельно озвучиваемый в форме значения.

Два года назад я привел вам несколько странных примеров распада речи, которые в структуре, представленной на этом графе – тогда я еще вам его показать не мог – занимают место кода сообщений относительно кода. Посланное ему из А – это все, чем субъект располагает впоследствии, чтобы сообщить дискурсу Другого жизнь. Так называемый *базовый язык* Шребера – язык, каждое слово которого предполагает сопутствующее его появлению определение, – представляет собой код сообщения о коде. И наоборот, фразы вроде: "*как это...*", "*тебе достаточно мне...*", "*может быть, ему захочется...*" – где "*ему захочется*" даже, пожалуй, лишнее – представляют собой серии сообщений, нацеленных лишь на то, что в коде относится к сообщению. Частицы, личные местоимения, вспомогательные глаголы – все они указывают на место отправителя сообщения. Все это строго укладывается в мой граф, но чтобы не быть слишком многословным, я отсылаю вас к своей статье о психозах, которая скоро должна выйти в свет, – статье, представляющей собой синтез прочитанного мною пару лет назад курса с работой, проделанной с вами в этом году.

Возьмем, к примеру, бред ревности. Фрейд описывает его как отрицание субъектом исходного высказывания "*Я этого человека люблю*" – высказывания, имеющего в виду не столько субъекта гомосексуального, сколько субъекта зеркально подобного, хотя в качестве такового, разумеется, гомосексуального. "*Он любит не меня, а ее*" – говорит далее Фрейд. Что это значит? – Что бред ревности, препятствуя бесконтрольному высвобождению истолковывающей речи, пытается воссоздать желание Другого, восстановить его. Структура бреда ревности и состоит как раз в том, чтобы приписать Другому желание – своего рода воображаемый эскиз, набросок его, – которое субъект испытывает сам. Желание, таким образом, приписывается Другому – "*Он любит не меня, он любит мою супругу, он мой соперник*". Будучи психотиком, я пытаюсь поместить в Другого желание, которое мне самому, как психотику, не дано – не дано потому, что не возникла у меня та главная, принципиально существенная метафора, которая дает желанию Другого его изначальное означающее – означающее фаллическое.

Остается, правда, пока неясным, почему, собственно, должны мы признать это фаллическое означающее основным, почему оказываем мы ему некоторым образом предпочтение перед множеством других объектов – объектов, которые выполняют порою, на первый взгляд, совершенно аналогичную роль. Фаллическое означающее легко становится эквивалентом таких, скажем, означающих, как экскременты или женская грудь, сосок – этот главный для грудного ребенка объект. То, что составляет привилегию именно фаллоса, действительно определить трудно. Все дело, очевидно, в самом месте его – в месте, которое занимает фаллос в той фазе, которой в отношениях индивида и рода принадлежит первенство, – в фазе, которую мы зовем *генитальной*.

Именно по этой причине фаллос и оказывается более, чем что-либо другое, зависим от функции означения. Прочие объекты – будь то сосок материнской груди или та часть тела, что, в форме экскрементов, предстает как нечто, способное порою сообщить субъекту переживание утраты, – даны ему, до известной степени, как объекты внешние, в то время как фаллос представляет собой монету, имеющую хождение в любовном обмене, – монету, которой для выполнения своей функции необходимо, подобно тем камушкам или ракушкам, что служат эквивалентом обмена у некоторых племен, перейти в разряд означающего.

Дело с фаллосом обстоит, правда, несколько сложнее. Поскольку представлен он в реальной, органической форме – либо пениса, либо того, что соответствует пенису у женщины, – то стать, будь то фантазматическим или иным способом, объектом независимым, ему куда сложнее, нежели предметам, только что упомянутым выше. Что ни говори, а комплекс кастрации, *Penisneid*, по-прежнему окружен тайной, ибо речь ведь идет о чем-то в конечном счете принадлежащем телу, об органе, которому грозит опасность не большая, чем любому другому – ноге, руке, носу, или, скажем, уху.

Этот орган, элемент этот, предстает поначалу как имеющаяся на теле точка – точка, которая вызывает у субъекта сладострастные ощущения. Именно в таком качестве он ее поначалу и обнаруживает. Связанный с мастурбацией автоэротизм, который действительно играет в истории субъекта роль очень важную, сам по себе не способен, как мы из клинического опыта знаем, спровоцировать серьезную катастрофу – не способен до тех пор, пока орган, о котором у нас идет речь, не оказался включен в игру означающих,

в отцовскую метафору, не подпал под отцовское или материнское прещение. Поначалу орган этот является для субъекта всего лишь местом сладострастия по отношению к собственному своему телу, местом органической связи с самим собой – местом, одним словом, увечью подверженным куда меньше, нежели все прочие элементы, успевшие еще ранее получить в его требовании роль означающего. Именно поэтому для него более, чем для какого-либо другого органа, важным оказывается то включение в метафорическую цепочку, которое и возводит его в достоинство означающего – означающего, тут же приобретающего, в качестве означающего отношения Другого к Другому, привилегированное значение. Это и делает из него, собственно, центральное означающее бессознательного.

Здесь-то и замечаем мы, что измерение субъекта, которое оказалось психоанализом обнаружено, совершенно ново по отношению ко всему, что было известно относительно него раньше, – тем более если вспомнить, что речь идет об органе, с которым живое существо может поддерживать отношения вполне невинные. Вспомним, как обстоит дело у братского нам племени обезьян. Сходите в Венсенский зоопарк, постойте немного у рва, окружающего обезьянью площадку, и вы сами убедитесь, с какой безмятежностью представители смелого и отважного бабуинова племени, на которых мы без всякого на то основания проецируем свои страхи, играют своим бросающимся в глаза хозяйством, нимало не смущаясь тем, что могут подумать о них соседи и разве что при случае принимая участие в затеянных ими коллективных забавах. Между отношениями, которые поддерживает это более или менее прямоходящее животное с тем, что болтается у него внизу живота, и отношением к этому же органу у человека, лежит пропасть. С самого начала – и это очень показательно – фаллос стал у человека объектом культа. С незапамятных времен эрекция как таковая выступает как означающее – не случайно столь важную роль, и именно в качестве означающего, играют при создании форм человеческой коллективности в древних наших культурах каменные дольмены.

Эта важнейшая роль вовсе не принадлежит фаллосу изначально, его выступление в ней обусловлено лишь метафорическим переходом его в ранг означающего – события, от которого зависят, в свою очередь, те возможные, желанием Другого заданные координаты, в которых предстоит субъекту найти место желанию своему собственному, его каким-то образом обозначить. Встреча желания

субъекта с желанием Другого чревата, разумеется, несчастными случаями. Они-то и позволяют нам наблюдать, каким образом функционирует фаллическое означающее у субъекта, положение которого по отношению к четырем определяющим желание полюсам является нетипичным, ненормальным, неполноценным, патологическим.

У невротика все созвездие этих полюсов налицо, в то время как у психотика набор их оказывается неполным.

3

Страдающий неврозом навязчивых состояний – это, как мы уже говорили, тот, чье отношение к желанию Другого изначально, начиная с простейших своих проявлений, отмечено расслоением инстинктов. Первая, исходная реакция такого субъекта, которой и будут все его дальнейшие трудности обусловлены, состоит в том, чтобы его, это желание, упразднить, аннулировать. Что это означает, если принять всерьез только что нами проделанные рассуждения?

Желание Другого, как желание, упразднить – это совсем не то же самое, что обусловленная несостоятельностью или ущербностью метафорического акта, Имени Отца, неспособность желание Другого постичь. С другой стороны, если в Реальном, которое более или менее окрашено бредом, желание Другого, символизированное, введенное фаллосом, подлежит отрицанию, то связь страдающего неврозом навязчивости субъекта с собственным желанием зиждется на запирательстве, на отрицании желания за Другим. Термин *Verneinung* применяется здесь по отношению к желанию в собственно фрейдовском двойственном смысле, с одной стороны, предполагающим, что желание это артикулировано, символизировано, а с другой – что оно несет на себе печать отрицания. Именно с этим страдающий неврозом навязчивых состояний и сталкивается, именно это ложится в основу его позиции, именно на это реагирует он поиском формулы дополнения, компенсации.

Говоря это, я не высказываю ничего нового, я просто иначе формулирую те понятия, которые выдвигаются на первый план всеми, кто о неврозе навязчивых состояний пишет, – *упразднение, обособление, реакция защиты.* Обратите внимание, что говоря об упразднении, только означающее и можно иметь в виду, так как ничто, означающим не являющееся, упразднить нельзя. На уровне животного упразднение просто немыслимо, а если что-то его напомина-

ющее там и встречается, то это лишь дает нам повод говорить о зачатках какого-то символического образования. Упразднение – это не стирание следа, о котором я только что говорил, а заключение элементарного означающего в скобки, позволяющие сказать о заключенном в них: *этого нет*. Но в качестве означающего оно, тем не менее, как раз этим актом и полагается. Речь идет всегда только об означающем.

Если страдающий неврозом навязчивости вынужден упразднять столь многое, то исключительно потому, что все это может быть сформулировано, то есть, как мы уже знаем, представляет собой требование. Беда лишь в том, что требование это – требование смерти. Требование же смерти, особенно слишком раннее, приводит к уничтожению Другого, и, в первую очередь, его желания, а с ним, Другим, и того, в чем субъекту возможно, предстоит артикулировать себя самого. В итоге совершенно необходимо оказывается обособить те части дискурса, которые субъект, чтобы не оказаться уничтоженным сам, вынужден сохранить, от тех, которые ему совершенно необходимо упразднить и стереть. Результатом является постоянная игра между "да" и "нет" – игра, направленная на отделение, отсечение того, что в речи, в самом требовании субъекта, ведет его к самоуничтожению, от того, что не только способно сохранить его самого, но и необходимо для сохранения Другого, поскольку Другой этот только на уровне означающей артикуляции, собственно, и существует.

Жертвой этого противоречия субъект, страдающий неврозом навязчивости, как раз и является. Он постоянно озабочен тем, чтобы Другого поддерживать, чтобы придать ему прочность теми воображаемого характера формулировками, изобретением которых такой субъект непрестанно занят. К формулировкам этим прибегает он для того, чтобы Другого – который в любой момент может, уступив требованию смерти, пасть, – хоть как-нибудь поддержать, так как Другой этот является существенно необходимым условием сохранения его самого как субъекта. Окажись этот Другой действительно упразднен, субъект не смог бы существовать и сам.

Именно то, что на означающем уровне предстает в качестве упраздненного, и знаменует собой место желания Другого как такового. И это не что иное, как фаллос. Маленькое d_0, о котором я вам в прошлый раз говорил и которым место желания страдающего неврозом навязчивости, собственно, и задается, эквивалентно на схе-

ме упразднению фаллоса. Все, с чем имеем мы дело в анализе, разыгрывается вокруг чего-то такого, что стоит с этим означающим в самой тесной связи. Поэтому последовательной является лишь та методика, которая функцию фаллоса как означающего принимает в расчет. Любая другая, для себя эту функцию не уяснившая, волей-неволей вынуждена будет продвигаться на ощупь.

В чем же главный критерий верной методики состоит? Вы обнаружите это золотое правило, дав себе труд прочитать статью, о которой я говорю. Есть, правда, риск, что мы создадим на нее таким образом головокружительный спрос, но это не беда. Критерий заключается в ответе на вопрос о том, что именно является основой и предпосылкой способности субъекта дойти в отношениях со своим желанием до конца, придать им полноценную завершенность. Мой ответ на него заключается в том, что если субъект усваивает свое генитальное желание не как животное, а именно как человек, то в качестве означающего этого желания непременно функционирует у него означающее фаллическое. Лишь постольку, поскольку в контурной цепи бессознательной артикуляции субъекта фаллическое означающее оказывается налицо, способен этот субъект оставаться вполне человеческим – даже когда он трахается.

Это не значит, впрочем, что человеческим субъектам не случается порою трахаться как животным. Более того – это идеал, который они в глубине души как раз и лелеют. Я не уверен, что им часто его удается осуществить, хотя иные похваляются подобной удачей, и не доверять им особого повода у нас нет. Впрочем, бог им судья. Как бы то ни было, а наш опыт свидетельствует о том, что на пути к этому возникают серьезнейшие препятствия – препятствия означающего порядка.

Постоянные недоразумения, с генитальной и фаллической стадиями связанные – оказались ли они в том или ином конкретном случае достигнуты, достигает ли ребенок генитальной стадии до латентного периода, или речь на этом этапе может идти лишь о стадии фаллической, и т. д., – все эти недоразумения более или менее разъяснились бы, если бы спорящие отдали себе, наконец, отчет в том, что *фаллическая стадия – это стадия, когда генитальное желание получает доступ на уровень значения.* Здесь нужно отличать друг от друга две вещи. В первом приближении можно было бы сказать, что ребенок дальше фаллической фазы не идет, и это, вероят-

но, так на самом деле и есть, хотя позволительно, разумеется, в этой связи спросить себя, не является ли аутоэротическая активность уже генитальной, что, в конечном счете, окажется тоже верно. Но для нас это не имеет сейчас значения. Речь ведь идет у нас не о генитальном желании, которое действительно, представляя собой первый толчок физиологической эволюции, проявляется очень рано, а о том, как выстраивается это желание в фаллической плоскости. Именно этот фактор и является для развития невроза решающим.

Все дело в том, осуществилось ли на уровне бессознательного нечто эквивалентное тому, чем выступает полная, полноценная речь на уровне нижнем – на уровне, где артикулированный в месте Другого дискурс возвращается к субъекту в качестве означающего, насущного для собственного его Я – того Я, позиция которого конкретно задана для субъекта по отношению к образу маленького другого. На верхнем уровне завершение бессознательной артикуляции предполагает, что ветвь контура, берущая начало в точке противостояния субъекта завершенному требованию, приходит к формуле желания, артикулированного как такового, – желания, которое удовлетворяет субъекта и которому субъект идентичен. Ведет же она, эта ветвь, далее, к месту Другого – Другого, который выступает здесь как человеческое существо, отмеченное печатью языка и пережившее разыгранную комплексом кастрации драму: как другой я сам, одним словом. Вместо формулы "Я-фаллос" рождается здесь иная, противоположная ей: *"Я занимаю то самое место, которое в означающей артикуляции принадлежит фаллосу"*. Именно в этом смысл фразы *Wo Es war, soll Ich werden* и состоит.

Субъекту, поневоле участвующему в движении означающего, предстоит осознать, что тем, с чем он преждевременно в своей жизни столкнулся, – означающим желания, которое мать, этот всеобъемлющий объект, у него похитила, фаллосом, – он сам, субъект, никак не является, что он просто-напросто связан необходимостью, требующей для фаллоса этого определенного места. Лишь осознав, что он фаллосом не является, может субъект признать то, что служило всему происходящему подоплекой, – признать, что у него есть фаллос, если он есть, и что его нет, если его действительно нет. Происходит это на схеме в пункте S(Ⱥ) – пункте, где артикулируется верхняя означающая цепочка. Прояснение отношения субъекта к фаллосу, осознание им, что, не являясь фаллосом, он призван заступить его место, – вот единственный способ представить себе то идеаль-

ное для анализа завершение, которое Фрейд своей формулой *Wo Es war, soll Ich werden* имел в виду.

Таково неизбежное условие, на которое наше вмешательство и наша техника призваны ориентироваться. Как этого можно добиться? Это и станет темой моего семинара в будущем году. "*Желание и его интерпретация*" – таким будет его название. Мы попытаемся в деталях артикулировать указания и руководящие правила, способные открыть доступ к тому подлинному желанию, на которое досократическая, лапидарная формула Фрейда указывает. В отсутствии такого доступа происходит как раз то самое, что невроз, как и любая другая форма аномалий в развитии, спонтанно осуществляет.

Истерический субъект пребывает по поводу своего желания в глубочайшей неуверенности. В результате он вынужден идти в обход. Ориентиром в этом маневре служит ему, или ей, образец, позволяющий субъекту найти для собственного Я подобающее ему место. Фиксировать это место истерическому субъекту, как и любому иному, удается путем ориентации на образ другого. Особенность же истерического субъекта состоит в том, что точно таким же образом находит он своему желанию место и на верхнем уровне тоже. Как от Другого, так и от означаемого Другого истерический субъект отворачивается, отделяется, утверждаясь посредством какого-то образа, с которым он себя идентифицирует, в определенном идеальном типе. Именно таким обходным маневром идентифицирует, как я вам уже объяснял, себя Дора с г-ном К – идентифицирует, чтобы определить то, что в ее желании находится под вопросом: как можно желать женщину, будучи бессильным?

К похожей, но несколько иной процедуре прибегает и страдающий неврозом навязчивости. В то время как субъект истерический ищет разрешения связанных с собственной позицией трудностей на уровне идеала, на уровне идентифицирующей его маски, страдающий неврозом навязчивости пытается, напротив, определить своему желанию место, укрепившись в собственном Я. Отсюда и берут свое начало те упоминавшиеся мною достойные Вобана фортификационные сооружения, где субъект под нависшей над ним угрозой уничтожения вынужден окопаться – сооружения, выстроенные по модели собственного Я и с оглядкой на образ другого с маленькой буквы.

Звеном же, которое его с этим образом другого связывает, как

раз и является означающий фаллос – то, что всегда находится под угрозой уничтожения, поскольку в отношениях с большим Другим субъект, запираясь, его признать не желает. В истории любого страдающего неврозом навязчивости, будь то мужчина или женщина, наступает, как вам известно, момент, когда важную роль в ней приобретает идентификация с другим, товарищем, сверстником или старшим ненамного братом – субъектом, престиж которого зиждется на преимуществе в мужественности и силе. Фаллос выступает в этом случае в форме воображаемой, не символической. Субъект как бы дополняет себя образом кого-то более сильного и могущественного.

Все это придумано отнюдь не мною, все это вы найдете в статье, которую я вам цитировал. Для тех, кому общение с такими больными успело соответствующие представления внушить, статья эта представляет собой важное руководство к действию. Подчеркивая значение образа другого в качестве фаллической формы, смысл этой формы она сводит к воображаемому. Ценность и функция фаллоса состоит здесь не в символизации им желания Другого, а в воображаемом воплощении им некоего преимущества, престижа. О функции фаллоса на уровне нарциссической связи мы уже говорили. Вся симптоматика невроза навязчивых состояний, вся история страдающего таким неврозом сводится к этому. Именно этим определяется та особая роль, которую играют в таком неврозе фантазматические отношения субъекта с воображаемым другим, с ему подобным.

Уже в ходе самих изложенных в этой статье наблюдений осязаемым становится, если читать внимательно, постепенно нарастающее различие между присутствием Другого, с большой буквы, и присутствием другого, с маленькой. Обратите внимание, скажем, на очень интересную эволюцию, проделанную субъектом от начала курса, когда она говорить *не может*, к дальнейшему, когда она говорить *не хочет*, поскольку с момента, когда отношения анализируемого и аналитика установились на уровне речи, именно на этом уровне она ему и отказывает. Аналитик, даже не говоря об этом в таких выражениях, прекрасно видит, что запирается она потому, что ничем иным, кроме требования смерти, требование ее быть не может. Далее происходят уже другие процессы, и забавно наблюдать, как аналитик, отмечая разницу, констатирует, что отношения улучшаются. Тем не менее, она так и не говорит, так как теперь она

говорить не хочет. Разница между "*не хочет*" и "*не может*" заключается в том, что когда субъект говорить не хочет, причину нужно искать в присутствии Другого, Другого с большой буквы. Беспокойство же здесь вызывает другое обстоятельство: говорить она не желает в данном случае потому, что место большого Другого оказалось занято другим маленьким – тем самым, которого аналитик изо всех сил пытается собственной персоной явить. А почему? Да потому что, оценивая ход вещей, объективно он видит, что содержание материала, который приносит субъект, свидетельствует о месте, которое занимает в нем фантазм фаллоса. На самом деле субъект, конечно, выстраивает таким образом свою защиту. Аналитик же старательно внушает субъекту, что тот хотел бы, мол, стать мужчиной.

Все зависит от того, как к этому подойти. Верно, конечно, что субъект, на уровне воображаемого, фаллос этот обращает в грудь и что положение мужчины как обладателя фаллоса, и притом исключительно как обладателя фаллоса, связано для нее с представлением о своего рода власти. Вопрос лишь в том, почему так важно ей опереться именно на этот элемент власти – элемент, который воплощен в фаллосе?

С другой стороны, она совершенно права, начисто отрицая за собой малейшее желание стать мужчиной. Другое дело, что ее не оставляют в покое, что явления очень сложные и, если следовать принципам, которые мы попытались здесь вывести, нуждающиеся в артикуляции совершенно иного рода, автор интерпретирует в таких общих терминах, как *агрессивность* или, дальше больше, как *желание* подвергнуть мужчину *кастрации*. Вся эволюция лечения, весь ход его – в чем двусмысленность соотношения между интерпретацией и внушением как раз и сказывается – состоит в том, что Другой – и я не хочу использовать здесь иного термина, потому что правомерность этого не только не вызывает сомнения, но и самим автором различными способами, в том числе тем, как он свои действия артикулирует, непрерывно подчеркивается – что Другой этот, эта благосклонная мать – Другой, одним словом, куда более благожелательный, чем тот, с которым субъект имел дело ранее, – внушает ему что-то напоминающее примерно такую формулу, которую я у этого же автора в другом месте, но примерно в этих же выражениях встретил: "*Сей фаллос есть тело мое, сей фаллос есть кровь моя, мне, как мужчине, можете вы довериться; примите его,*

и вы исполнитесь силой и крепостью, которые все ваши невротические проблемы отымут от вас".

На самом деле ни один из навязчивых симптомов устранен не был, избавиться удалось лишь от сопровождавшего их чувства вины. Это строго соответствует схеме, которую я собираюсь обрисовать вам – иного результата у такого рода вмешательства просто не могло быть.

Поразительно, однако, что в конце, когда лечение закончено и пациентка с аналитиком расстается, она посылает к нему на анализ сына. Это тем более удивительно, что сын этот всю жизнь внушал ей священный ужас – судя по контексту упоминаний о нем и тому представлению, которое у аналитика о нем сложилось, у пациентки всегда с ним были, мягко выражаясь, проблемы.

Тот факт, что в конце анализа она предлагает аналитику своего сына – не отреагирование ли это? Отреагирование, как раз и указывающее на место, где что-то оказалось упущено, на ту точку, где фаллос не является уже просто аксессуаром, принадлежностью власти, а служит тем означающим, посредством которого происходящее между мужчиной и женщиной оказывается символизировано. Разве Фрейд, описывая отношения между женщиной и ее отцом, не доказал нам, что воплощенное в фаллосе символического дара желание эквивалентно ребенку, который заступает впоследствии его место? Именно ребенок и занимает то место, которое в разбираемом нами анализе прояснено и проработано так и не было – место символическое. Субъект невольно, бессознательно дает нам понять, что реализоваться в анализе должно было нечто совсем иное. Причем способ, которым он это делает, вполне идентичен отреагированию – реакции на допущенные в анализе промахи.

Лечение действительно привело субъекта к своего рода опьянению силой и добротой – едва ли не маниакальному опьянению, показательному и характерному для анализов, которые ставят себе целью воображаемую идентификацию. Все, что анализу в данном случае удалось сделать, это довести до крайних последствий, облегчить методом одобрительного внушения то, что в механизмах навязчивых состояний было с самого начала заложено: то поглощение, ту инкорпорацию фаллоса на воображаемом уровне, которая одним из механизмов невроза навязчивости как раз и является. Именно на этом, выбранном среди других защитных механизмов, пути, решение – если, конечно, его можно таковым счесть – и было в дан-

ном случае найдено. Подкрепляется оно одобрением, исходящим от того, кто выступает здесь в роли хорошей матери – матери, которая дозволяет поглощение фаллоса.

Должны ли мы довольствоваться при лечении невроза тем, что доводим до предела одну из его составляющих – своего рода наиболее удавшийся и изолированный от прочих симптом?

Я не думаю, что подобное решение способно нас полностью удовлетворить. Я не думаю также, что успел высказать все, что имел по поводу такого лечения высказать, до конца – время нас с вами, как всегда, поджимает.

В следующий раз я выберу из той же статьи еще три или четыре места, которые, на мой взгляд, особенно хорошо подтверждают соображения, которые я сегодня здесь сформулировал.

Затем, подводя итоги тому пути, что проделан был нами в этом учебном году, я скажу несколько заключительных слов об *образованиях бессознательного*, после чего нам останется лишь ждать года следующего – года, ознаменующего собой новый, иной этап.

25 июня 1958 года

XXVIII
Ты есть тот, кого готов . . . ты есть

От требования смерти к смерти требования
Заповедь, вина без закона, сверх-Я
Аватары фаллического означающего
Печаль жандарма
Зависть к пенису вне закона

Семинар этого года, озаглавленный мною *Образования бессознательного,* подходит к концу. Теперь, по крайней мере, вы можете, наверное, оценить, насколько название это уместно. Образования, формации, формы, отношения, а то, возможно, и топология – я не хотел по ряду причин заранее вас отпугивать.

В качестве ступеньки, на которую можно поставить ногу, чтобы выйти в будущем году на более высокий уровень, вы должны затвердить одно: все связанные с основополагающими для аналитического опыта и фрейдовского открытия аналитическими механизмами явления совершенно не поддаются артикуляции, пока сформулировать их мы пытаемся исключительно в терминах *напряжения,* пока мы рассматриваем их как включенные в спектр идущих от прегенитального к генитальному стадий процесса созревания. С другой стороны, не можем мы безоговорочно возвести эти явления и к отношениям идентификации – во всяком случае, в том виде, в котором они на первый взгляд – подчеркиваю, лишь *на первый взгляд* – предстают нам у Фрейда. Из работ его действительно, порою, может создаться ложное впечатление, будто аналитический опыт исчерпывается разыгранным в стиле итальянской комедии масок спектаклем – с отцом, матерью, и другими, второстепенными фигурами в качестве персонажей. Ни о развитии желания, ни о его фиксации, ни об интерсубъективности, которая выходит в аналитическом опыте и наших профессиональных занятиях на первый план, нельзя, на самом деле, высказать ничего путного, не выяснив предварительно их место в тех отношениях, которые властно навязывают себя не только человеческому желанию, но и субъекту как таковому, – в отношениях означающего.

Вот почему я старательно приучал вас весь год к своей малень-

кой графической схеме – схеме, которая с некоторых пор представляется мне удобной, чтобы наш аналитический опыт наглядно проиллюстрировать. Схема эта дает возможность выделить те места, где обнаруживает себя пресловутое наше вездесущее означающее – вездесущее уже потому, что бывает косвенно или прямо задействовано всякий раз, когда дело касается значения – не просто отдельного значения, а значения вообще, значения как явления, порожденного условиями, в которых вынужден существовать живой организм, оказавшийся носителем, жертвой, добычей речи: организм, именуемый человеком. Сегодня я как раз и подвел вас к границе, за которой повсюду сказывается присутствие одного и того же для всех означающего – означающего фаллического, того самого, что занимает нас на протяжении вот уже нескольких лекций. И очень важно бывает правильно определить то место, где означающее это у субъекта в каждом конкретном случае о себе заявляет.

Ясно как день, что осознание зависти к пенису является при анализе невроза навязчивых состояний у женщины безусловно необходимым, – не столкнуться в анализе невроза навязчивых состояний или любого другого невроза, будь то женского или мужского, с фаллосом, было бы поистине странно.

Последовательно подталкивая анализ в направлении, которое работа под заглавием "Психоанализ сегодня" нам указывает, сводя при этом фантазматические продукты переноса к тому, что называют "*простой реальностью*", к аналитической ситуации, подразумевающей наличие двух субъектов, не имеющих, разумеется, к этим фантазмам ни малейшего отношения, возможно, в конечном итоге, в аналитической интерпретации без фаллоса полностью обойтись, но до этого мы, слава богу, еще не дошли. На самом деле, по плану, предлагаемому в этой книжечке, ни один анализ на выстроить.

Так или иначе, с фаллическим означающим приходится в анализе иметь дело. Сказать, что осознание его является ключом к исцелению невроза навязчивых состояний, мало, так как все зависит от того, как означающее это истолковать, – ведь появляется оно в разных точках и функции его при этом не схожи. Нельзя ведь свести все к зависти к пенису, к пресловутому соперничеству с мужчиной – а ведь именно это, в конечном счете, автор разбираемого нами отчета и делает, когда, вопреки собственным данным, приводит отношения больной с мужем, с аналитиком, с другими вообще,

к этому общему знаменателю. Под этим углом зрения появление фаллоса не разглядеть. Хотя он-таки появляется, и появляется сразу в нескольких точках.

Мы не претендуем на исчерпывающий анализ этого отчета, так как относится он к анализу еще незаконченному и материал случая представлен в нем лишь частично. Его, однако, вполне достаточно, чтобы составить себе о происходящем ясное представление. Для начала мне хотелось бы сделать по поводу этого материала несколько замечаний, которые помогут дальнейшему уяснению используемой нами схемы.

1

В отчете отмечается, что навязчивые идеи - например, идеи религиозные - окрашены у пациентки острым чувством вины. Столь заметное проявление чувства вины представляется в неврозе навязчивых состояний парадоксальным, так как субъект, переживая паразитирующие на нем и навязанные ему мысли как безусловно чужие, не склонен брать за них на себя ответственность - более того, почитает себя их жертвой. Именно это и позволит нам, возможно, кое-какие соображения по поводу этого чувства вины высказать.

С некоторых пор только и разговоров среди аналитиков, что о термине *сверх-Я*, - термине, который распространяется у них буквально на все. Не похоже, однако, чтобы он многое сумел прояснить. Считается теперь, будто сверх-Я представляет собой образование более древнее, более архаичное, чем думали поначалу, когда создание его относили, скорее, к моменту угасания эдипова комплекса, к моменту интроекции эдипова персонажа, для которого запрет является преимущественной его функцией, - персонажа отцовского. Опыт, как известно, вынудил нас признать, что имеется другое сверх-Я, более древнее. И то, что на это более древнее происхождение указывало, имело некоторое отношение к эффектам интроекции, с одной стороны, и к эффектам проекции, с другой. Попробуем, однако, приглядеться к этим вещам повнимательнее.

Перед нами невроз навязчивых состояний, и первое, что мы здесь, как и во всяком другом неврозе, не будучи гипнотизерами и внушением принципиально не пользуясь, призваны выявить, это некое потустороннее измерение, где мы, в определенной точке, как бы устраиваем с субъектом встречу. Это и обозначено у нас на схеме верхней линией - горизонтом любой означающей артикуляции.

Там, на горизонте этом, субъект, как я это подробно вам в прошлый раз объяснял, сталкивается с требованием. Именно об этом идет у нас речь, когда мы говорим о процессе, в котором регрессии чередуются с последовательными идентификациями. Чередование обусловлено тем, что встречая в процессе регрессии идентификацию, он на пути регрессии задерживается. Как я уже показал вам, регрессия целиком вписывается в перспективу обратного действия – перспективу, открывающуюся субъектом в момент, когда ему удается артикулировать речь. Именно в силу действия речи и возникает задним числом, вплоть до истоков своих, вся история требования – история, в которую жизнь человека как существа говорящего без остатка оказывается включена.

Присмотревшись внимательнее, мы убедимся еще раз в том, что было, в сущности, известно всегда, – в том, что на горизонте любого требования страдающего неврозом навязчивых состояний субъекта лежит некая фундаментальная форма, которая как раз и является тем главным препятствием, которое не позволяет ему это требование артикулировать. Форма эта предстает в аналитическом опыте как агрессивность – именно она заставляет нас все более и более серьезно принимать во внимание то, что можно было бы назвать пожеланием, или обетом, смерти.

Это и есть та главная, первоначальная трудность, перед которой требование страдающего неврозом навязчивости разбивается, распадается на фрагменты, теряет членораздельность. Что и мотивирует упразднение, изоляцию, всевозможные способы защиты – и в первую очередь, в тяжелых случаях, то молчание, зачастую столь затяжное, с которым вам в ходе анализа так трудно порою бывает справиться. Я упоминаю об этом, так как в случае, который мы разбираем, именно такая картина и наблюдается. Требование, конечно же, является здесь требованием смерти. И странно наблюдать, как требование это, лежащее в тексте отчета буквально на поверхности, так в нем ни разу и не оказывается артикулировано, – можно подумать, что мы имеем дело с естественным выражением некоего стремления. На самом деле речь идет о связи требования смерти с затруднениями артикуляции как таковыми – затруднениями, на которых внимание в отчете ни разу не заостряется, хотя свидетельство о них находим мы на тех же страницах, в строках самого отчета. Не является ли сам факт этот явлением, заслуживающим внимания?

Требование является в данном случае требованием смерти уже потому, что отношения страдающего неврозом навязчивости с Другим с самого начала, как учит нас Фрейд и аналитическая теория, отмечены принципиальным противоречием. Противоречие это состоит в том, что, в силу пойманной на крючок нашего вопросительного знака причины, обращенное к Другому, от которого все, собственно, и зависит, требование имеет в качестве своего горизонта требование смерти. Но если мы подобное допущение сделаем, то говорить вместе с Мелани Кляйн о каких-то изначальных агрессивных влечениях будет не так-то просто. Поэтому пресловутую изначальную злобность младенца – существа, первым движением которого становится, по словам маркиза де Сада, бессильная попытка укусить и разорвать грудь матери, – мы пока оставим в покое.

Не случайно, однако, артикуляция проблемы желания как чего-то в глубине своей извращенного напомнило нам о божественном маркизе – который не был, впрочем, единственным, кто необычайно остро и настоятельно поставил в свое время вопрос об отношениях между желанием и природой. Находятся ли они в гармонии или, напротив, принципиально дисгармоничны? Вопрос этот лежит в самой основе философии Просвещения, и страстные споры вокруг него породили целую литературу – литературу, которой в первых своих семинарах мне случалось воспользоваться, чтобы продемонстрировать родственность, аналогию между первоначальной проблематикой Фрейда, с одной стороны, и философской проблематикой Просвещения в сопровождении являющейся ее неизбежным литературным коррелятом эротики, с другой. В следующем году, говоря о желании, я к этой аналогии еще раз вернусь.

Итак, откуда оно, это требование смерти, идет, мы не знаем. Однако прежде чем говорить, что истоки ее лежат в наших изначальных инстинктах, в обращенной против себя самой природе, попробуем поместить его там, где оно есть сейчас, то есть на уровне, где оно не то что артикулируется, а, скорее, наоборот, всякой артикуляции требования со стороны субъекта служит помехой, где оно речи страдающего неврозом навязчивых состояний препятствует – препятствует не только в моменты, когда он находится с самим собою наедине, но и в начале анализа, когда его охватывает смятение, нашим аналитиком в своем отчете описанное. Пациентка его демонстрирует поначалу полную неспособность говорить – неспособность, находящую свое выражение в упреках, оскорблениях,

выдвижении на первый план всего того, что не позволяет больной говорить с врачом: "*Я достаточно общалась медиками, и прекрасно знаю, что между собой они над больными просто смеются. Вы знаете гораздо больше, чем я. Женщина с мужчиной вообще говорить не может*".

Этой коррелятивный речевой активности поток аргументов как раз и говорит о возникновении у субъекта трудностей, связанных с простейшей артикуляцией. Наличие на заднем плане, на линии горизонта, того требования, которое сам факт вхождения в область аналитической терапии неизбежно предполагает, немедленно дает здесь о себе знать. Если требование смерти действительно находится там, где мы его поместили, если именно оно, располагаясь на горизонте речи, служа фоном, который любая артикуляция речи подразумевает, оказывается здесь препятствием, – эта схема, возможно, позволит вам составить себе о лежащей в его основе логической конструкции более ясное представление, хотя некоторые недоумения так, несмотря ни на что, и останутся неразрешенными.

Для субъекта требование смерти представляет собой тупик, следствием которого становится то, что называют, не слишком удачно, амбивалентностью. На самом деле это, скорее, движение наподобие полета качелей – движение, где субъект мечется между двумя пределами, за которые ему не выйти. Как следует из артикуляции, предлагаемой нашей схемой, требование смерти должно формулироваться не иначе, как в месте Другого, в его, этого Другого, дискурсе. А это значит, что ни в какой конкретной истории – вроде, скажем, истории с обманувшей ожидания матерью, которая якобы в связи с этим, первым предметом, которому пожелали смерти, и стала – причин требования смерти искать не надо. Требование смерти затрагивает Другого изнутри. Сам факт, что Другой является местом требования, подразумевает на самом деле его, этого требования, смерть.

У страдающего неврозом навязчивости требование смерти сохраняется лишь постольку, поскольку несет в себе то разрушительное начало, которое мы называем здесь смертью требования. Оно, это требование, обречено, таким образом, на бесконечное качание между двумя полюсами – стоит ему свою артикуляцию начать выстраивать, как она, эта артикуляция, немедленно тает в воздухе. В этом суть трудности артикуляции позиции страдающего неврозом навязчивости и состоит.

Между точкой встречи страдающего неврозом навязчивости субъекта с собственным требованием, ($\$\Diamond D$), с одной стороны, и местом Другого, А, который ему, этому субъекту, катастрофически необходим, который его, собственно, сохраняет и без которого говорить о неврозе навязчивости просто не имело бы смысла, с другой, лежит на нашей схеме требование, *d*. Само оно, правда, упразднено, аннулировано, но место его сохраняется в неприкосновенности. Для желания этого характерна форма *Verneinung*, *запирательства*, ибо выражено оно исключительно в негативной форме. Оно проявляется в этой форме вполне реально, когда субъект, заявив, скажем, что *о том-то и том-то он, мол, и не думает*, немедленно формулирует в наш адрес какое-то пожелание, окрашенное неодобрением, агрессией, осуждением. Тем самым он желание свое фактически демонстрирует, но демонстрирует так, что поневоле его при том на словах отрицает. Почему же все-таки, будучи отрицаемо, оно сопровождается у субъекта чувством вины?

Вот тут-то схема наша и позволяет провести несколько различий, которые сослужат нам впоследствии свою службу.

2

С тех пор, как опыт принес нам об инстанции сверх-Я новые знания, вокруг действия ее возникли неясности, источник которых лежит в отсутствии принципиального разграничения между чувством вины, с одной стороны, и отношением к закону, с другой. У субъекта существуют с законом определенные отношения. Что касается чувства вины, то возникновение его не имеет к этому закону ни малейшего отношения. Это факт, в котором убеждает нас аналитический опыт.

Первый, наивный шаг в диалектике греха и закона, знаменует формулировка в послании апостола Павла, согласно которой закон рождает грех. Отсюда, как говорил старший Карамазов, чьи слова я в свое время настойчиво уже цитировал, *если Бога нет, все позволено*.

Как ни странно, однако – и понадобился психоанализ, чтобы нас этому научить, – но человек может в своей виновности буквально купаться, ни в законе, ни в Боге ни малейшей нужды при том не испытывая. Об этом свидетельствует опыт. Похоже даже, что можно предложить прямо противоположную формулу: *если Бог умер, не позволено уже ничего*. В свое время я об этом уже говорил.

Так как же все-таки объяснить появление у невротического субъекта чувства вины?

Обратимся к эпохе, когда психоанализ делал первые свои шаги. Что, собственно, позволило Фрейду заговорить об анализе как о чем-то фундаментальном, как о проявлении самой сути субъекта? Конечно, эдипов комплекс. Содержание анализа впервые обнаружило желание, до тех пор глубоко скрытое, – оно обнаружило у субъекта желание матери. Более того, оно выявило связь этого желания с вмешательством еще одного персонажа – отца. Причем отца в том его облике, в котором предстает он в самых ранних проявления эдипова комплекса, – отца, внушающего ужас и несущего гибель. Именно это и проявляется в форме открытого психоанализом фантазма кастрации – явления, о котором раньше даже и не подозревали, и которое, как я в этом году, надеюсь, убедительно показал вам, остается абсолютно немыслимо, пока мы не сделаем допущения, что фаллос как образ жизни становится привилегированным, наделяется значением означающего. Он берет на себя функцию кастрации – того, что знаменует собой наложенную на кастрацию печать запрета. Собственно говоря, все, что соотносится в нашем опыте со сверх-Я, должно артикулироваться в три этапа, строго соответствующих – первый, второй, третий – трем представленным на схеме линиям – верхней линии, линии желания, линии требования.

Что касается линии горизонта, то она у невротика не формулируется – именно поэтому он и невротик. Здесь царит заповедь. Назовите ее как хотите, назовите ее "десятью заповедями" – почему бы и нет? Я как-то уже говорил вам, что десять заповедей были, по-видимому, законами речи – другими словами, что всевозможные нарушения в функционировании речи возникают в момент, когда заповеди перестают соблюдаться. Если говорить о требовании смерти, то на горизонте лежит, очевидно, заповедь *не убий*, которая и сообщает этому требованию его драматичность. Причем суровость наказания, от того, что возникает на этом месте в качестве ответа, никак не зависит, ибо по причинам, связанным со структурой Другого в человеческом мире, требование смерти эквивалентно оказывается смерти требования.

Это и есть уровень заповеди. Он существует. Более того, он возникает, по сути дела, совершенно самостоятельно. Прочтите заметки Фрейда по случаю *Человека с крысами* – я имею в виду опубли-

кованные в *Standard Edition* интереснейшие дополнения, которые содержат ценные хронологические данные, – и вы увидите, что первые элементы навязчивости, которые субъект в анализе упоминает, имеют как раз форму заповедей – *ты*, к примеру, *должен сдать экзамен до такого-то числа* или *что будет, если внутренний голос мне скажет: "Ты должен себе перерезать горло"?* и т. д. Вы сами помните, какой панический ужас испытал пациент, когда голос сказал ему, что он *должен перерезать горло пожилой даме,* которая не дает ему встретиться с его врачом.

Не менее очевидным образом появляются эти заповеди в другом контексте, в контексте психоза. Психотики тоже эти приказания слышат, и один из пунктов психиатрической классификации и состоит как раз в том, насколько они этим приказаниям повинуются. Другими словами, горизонтом отношения субъекта к речи становится в психозе автономия функции приказания-заповеди – этот опытно удостоверенный факт имеет для нас принципиальное значение. Заповедь эта может оставаться скрытой. У страдающего неврозом навязчивости она всегда скрыта и фрагментирована, открываясь только частями.

Так где же, на какой линии схемы, располагается чувство вины?

Чувство вины, как сказал бы господин Лапалис, это требование, которое переживается как запретное. Обыкновенно к понятию запрета все и сводят, оставляя требование в стороне, тогда как на самом деле они, похоже, друг от друга неотделимы, хотя и этого, как мы позже увидим, с достоверностью утверждать нельзя. Почему, собственно, требование непременно переживается как запретное? Если бы оно переживалось как запретное просто-напросто потому, что, как говорится, "так делать нельзя", никакой проблемы не было бы. На каком уровне, в какой точке возникают в клиническом опыте те явления, что позволяют нам констатировать вмешательство чувства вины? В чем невротическое чувство вины состоит? Поразительно, что в опыте нашем существует принципиально важное измерение, на которое ни один аналитик, а тем более феноменолог, даже не обратил внимания, не говоря уже о том, чтобы его как-то артикулировать и использовать как критерий на практике. Суть его в том, что чувство виновности возникает с приближением требования, которое переживается как запретное, так как убивает желание – именно в этом и состоит отличие чувства виновности от той неопределенной тревоги, которая имеет с ним в своих проявлениях,

37 Зак. 2370

как сами вы знаете, так мало общего.

Чувство вины вписывается в связь желания с требованием. Все, что ведет к той или иной формулировке требования, сопровождается исчезновением желания, и нити этого механизма вы на нашем маленьком графе как раз и видите. Но уже из того, что механизм этот отражен на графе, становится ясно, что непосредственно, в качестве переживания, он не может быть субъектом определен и прочувствован, ибо субъект всегда обречен находиться лишь на какой-то одной из позиций графа и не может одновременно занять их все. Вот что такое чувство виновности. Вот где становится явным запрет – явным на сей раз не постольку, поскольку он сформулирован, а постольку, поскольку запретное требование поражает желание, приводит к его исчезновению, убивает его.

Итак, ясно становится следующее. Поскольку битву за свою, так сказать, субъективную автономию – битву не на жизнь, а на смерть – субъект обречен вести на уровне желания, все, что на этом уровне обнаруживается, окружено, даже в форме того, от чего субъект отрекается, атмосферой вины.

Поэтому третий, нижележащий уровень мы и назовем, рискуя встретиться с возражениями, уровнем сверх-Я.

В отчете, которому мы здесь следуем, говорится, я не знаю наверняка почему, о *женском сверх-Я*, хотя в других текстах того же круга оно обычно рассматривается как сверх-Я *материнское*. Объясняется это терминологическое отклонение, скорее всего, темой зависти к пенису – темой, которая затрагивает женщину как таковую. Что касается сверх-Я материнского, архаического, того, с которым соединены эффекты исконного сверх-Я в теории Мелани Кляйн, то оно связано с тем первичным Другим, что поддерживает первые, едва ли не еще невинные, требования субъекта – требования, возникающие на уровне первичной артикуляции его потребности в форме детского лепета, с одной стороны, и тех обманутых ожиданий, на значении которых до сих пор многие так настаивают, с другой. Теперь понятно становится, откуда возникла путаница, в итоге которой сверх-Я могло оказаться на одной линии прицела с явлениями, имеющими место на верхнем уровне, – уровне заповеди и виновности, уровне, связанном с Другим Другого.

С чем имеем мы дело на уровне первого Другого и первых его требований? Мы имеем дело с явлением, которое назвали *зависи-*

мостью. Все, что относится к материнскому сверх-Я, артикулируется именно вокруг этого. Почему мы вправе отнести их к одному регистру? Отнести их к одному регистру не означает еще их смешивать – как если бы существовали поначалу только грудной ребенок и мать и отношения их сводились к противостоянию между ними одними. Будь это так, вся предложенная нами артикуляция заповеди и вины оказалась бы неверна. На самом же деле двухэтажная структура, которую мы здесь видим, налицо с самого начала, так как сам факт, что речь идет в данном случае об означающем, заставляет нас сразу признать наличие двух горизонтов требования. Я уже говорил вам это, когда объяснял, что даже за требованием самым примитивным, за требованием материнской груди и того объекта, который материнскую грудь представляет, кроется удвоение, обусловленное в требовании тем фактом, что любое требование представляет собой одновременно и требование любви, требование абсолютное, требование, которое, подвергая Другого символизации, отличает тем самым Другого в качестве способного принести то или иное удовлетворение реального объекта, от Другого в качестве объекта символического, наделяющего или обделяющего своим присутствием или отсутствием. Это и есть та матрица, где кристаллизуются впоследствии три основных типа отношений, которые на горизонте всякого требования вырисовываются, – любовь, ненависть, невежество.

Субъекту первичной зависимости грозит не просто лишение материнской груди, ему грозит потеря любви. Вот почему уже эта зависимость однородна оказывается той структуре, что выстроится впоследствии в перспективе законов речи. Потенциально, в зародыше, законы эти присутствуют и заявляют о себе изначально, в первом же требовании. Разумеется, они еще не артикулированы, не сформированы полностью – в противном случае неврозом навязчивых состояний награждал бы младенца уже первый глоток материнского молока. И все же именно здесь, с первым глотком этим, может возникнуть для него тот провал, то зияние, в результате которого именно в отказе питаться найдет он свидетельство, для него столь насущное, любви партнера, которым выступает для него мать. Другими словами, может наблюдаться очень раннее появление признаков ментальной анорексии.

Что является для невроза навязчивых состояний отличительным признаком? Невроз навязчивых состояний связан с преждевремен-

ным образованием, в горизонте требования, того, что мы назвали уже здесь *требованием смерти*. Требование смерти не является просто-напросто стремлением причинить смерть. Речь идет о требовании артикулированном, и сам факт этой артикуляции говорит о том, что возникает это требование не на уровне воображаемых отношений с другим, что к противостоянию двух сторон в воображаемом плане оно не сводится, что обращается оно не к воображаемому другому, а к лежащему по ту его сторону символически запечатленному его бытию. Вот почему предчувствуется и переживается оно субъектом как обращенное против него самого. Субъект, будучи существом говорящим, не может поразить Другого, не поразив при этом самого себя. Требование смерти оборачивается, таким образом, смертью требования.

Вот в этой-то ситуации и получают многочисленные аватары фаллического означающего свое место.

3

Трудно не поразиться и не впасть в изумление, когда видишь – мало-мальски, конечно, научившись читать, – как неизменно является во всех узловых моментах феноменологической картины страдающего неврозом навязчивости фаллическое означающее! Это вездесущие фаллоса в самых различных симптомах иначе, как его означающей функцией, объяснить нельзя. В нем-то и находит свое подтверждение то влияние, которое оказывает означающее на живое существо, чья связь с речью обрекает его на раздробление, обращая в ряд многообразных, означающим произведенных эффектов.

Автор отчета о наблюдениях утверждает, что пациентка его одержима завистью к пенису, *Penisneid*. Согласен, но почему тогда первой из упоминаемых в отчете навязчивых идей ее становится опасение, будто она заражена сифилисом, – опасение, которое, как уверяют нас, и заставило ее сопротивляться – безрезультатно, впрочем – женитьбе ее старшего сына, того самого, на которого я уже обращал ваше внимание в связи со значением, которое он в ходе анализа постепенно приобретает.

Благоразумие требует от нас настороженно относиться ко всякого рода трюкам и чудесам, с которыми мы непрерывно в чужих отчетах и теориях сталкиваемся. Наша способность удивляться, со временем тускнеющая, нуждается в полировке. Что наблюдаем мы

у страдающего неврозом навязчивости субъекта мужского пола? Страх быть зараженным и заражение передать, который, как повседневный аналитический опыт о том свидетельствует, имеет для него огромное значение. Как правило, об опасностях так называемых венерологических заболеваний страдающий неврозом навязчивости узнает очень рано, и каждому из вас прекрасно известно, что в психологии его факт этот может в ряде случаев занимать чрезвычайно важное место. Я не утверждаю, что это случается постоянно, но мы уже привычно интерпретируем это как нечто за рамки рационального поведения выходящие. Как всегда, это можно найти у Гегеля. И хотя с некоторых пор, ввиду появления новых медикаментов, дела стали обстоять лучше, страдающие неврозом навязчивости по-прежнему остаются болезненно одержимы мыслью о тех последствиях, которые их импульсивные акты в либидинальном плане могут повлечь. Что до нас, то мы по-прежнему видим, как просвечивает здесь сквозь либидинальное влечение позыв к агрессии – позыв, в силу которого фаллос и воспринимается в некотором роде как носитель опасности.

Если мы твердо держимся представления, что отношения субъекта к фаллосу окрашены нарциссической в нем нуждою, то мотивировать эту первичную навязчивую идею будет нам нелегко. Почему? Да потому, что на этом уровне женщина использует фаллос совершенно так же, как и мужчина, – другими словами, она считает себя опасной посредством сына. В данном случае сын подается ею как собственное ее продолжение – никакой *Penisneid* ее, как видим, не останавливает. Она имеет-таки его, этот фаллос, имеет в форме собственного сына, вокруг которого кристаллизуется у нее та самая одержимость, которая свойственна бывает, как мы сейчас говорили, невротикам противоположного, мужского пола.

На последующих навязчивых идеях пациентки – детоубийства, отравления и т. д. – я задерживаться не стану. Скажу лишь, что отчет в целом прекрасно подтверждает все то, что мы на этот предмет успели сказать. Я процитирую сейчас небольшой отрывок – он того стоит. "*Само то, насколько энергично она на мать жаловалась, говорило о силе ее привязанности*". Затем, приведя несколько соображений, к делу не относящихся, на тему о том, возможны здесь эдиповы отношения или нет, автор пишет: "*Ей казалось, что мать ее принадлежит лучшей среде, нежели отец, она считала ее умнее отца; энергия матери, ее характер, решительность, авторитет,*

оказывали на нее буквально завораживающее действие".

Я процитировал первую часть абзаца, в котором автор пытается продемонстрировать нам то неравновесие, которое в отношениях между родителями бесспорно в данном случае налицо. Причем делая это, он подчеркивает угнетенность, подавленность отца в присутствии матери, которой, возможно, действительно свойственны были черты определенного мужеподобия, – во всяком случае, именно так интерпретируется в отчете тот факт, что субъект пытается фаллический атрибут матери так или иначе усвоить.

"*Редкие моменты когда мать позволяла себе расслабиться, наполняли ее несказанной радостью*". До сих пор, однако, о сексуально окрашенном желании обладания матерью не было речи. Собственно говоря, здесь нет и следа чего-то такого, что об этом хотя бы напоминало. Посудите сами – пациентка "*была связана с матерью исключительно в садо-мазохистском плане. Тут-то и выходит неожиданно на первый план союз матери с дочерью, союз очень строгий, чье малейшее нарушение провоцировало сильнейшие эмоциональные порывы, которые, однако, ни разу до последнего времени объективированы так и не были. Любой, кто в этот союз вмешивался, становился объектом пожелания смерти*".

Момент этот очень важен, вы его в дальнейшем еще встретите, причем встретите не только в неврозах навязчивых состояний. Под каким бы углом мы влияние этого момента в нашей психоаналитической практике ни рассматривали, эти тесные узы, связывающие дочь с матерью, этот своего рода узел, еще раз ставят нас перед лицом явления, далеко выходящего за пределы того, что различает людей по плоти. Именно здесь и находит свое выражение та амбивалентность или двусмысленность, в силу которой требование смерти эквивалентно оказывается смерти требования. Больше того, это показывает нам, что требование смерти здесь налицо. Я не сообщаю этим ничего нового – на это требование смерти обратил внимание уже Фрейд. Именно его попытается в дальнейшем Мелани Кляйн объяснить изначально присущими субъекту агрессивными влечениями, в то время как на самом деле корни его следует искать в узах, соединяющих ребенка с матерью.

Наблюдения, однако, показывают, что это еще не все. Требование смерти – это требование самой матери. Сама мать носит в себе это требование, обращая его острие на жалкую фигуру отца, бригадира жандармерии, который, несмотря на упоминаемую больной

с самого начала доброту и мягкость характера, так и прожил всю жизнь забитым, угнетенным и молчаливым, не сумев ни преодолеть материнской твердости, ни победить привязанность своей жены к ее первому, платоническому, возлюбленному. Ревнивый по натуре, он нарушал свое молчание лишь устраивая супруге бурные семейные сцены – сцены, из которых неизменно выходил побежденным. Всякому ясно, что без матери в этом деле, конечно, не обошлось.

Обычно подобные явления принято списывать на счет так называемой кастрации матери. Однако, присмотревшись к вещам повнимательнее, куда более уместно было бы в данном случае констатировать, что беда этого человека состоит не столько в том, что он оказался кастрирован, сколько в том, что, лишившись предмета любви, который, похоже, воплощала для него мать, он выработал себе ту депрессивную позицию, которая определяется, согласно Фрейду, пожеланием себе смерти – пожеланием, чьим подлинным адресатом является, однако, любимый и утраченный субъектом объект. Короче говоря, требование смерти налицо у пациентки уже в предшествующем ей, родительском поколении. Действительно ли его воплощает мать?

На уровне субъекта требование смерти опосредовано эдиповым комплексом – комплексом, который позволяет этому требованию возникнуть на горизонте речи. Непосредственно оно себя, однако, не обнаруживает. Не будь оно опосредовано, перед нами был бы психотик, а не невротик. Зато в отношениях между отцом и матерью требование это не опосредовано для субъекта ровно ничем – ничем, что свидетельствовало бы об уважении к отцу, об авторитете, которым он пользуется у матери, о роли его как носителя и опоры закона. На уровне отношений между родителями, где субъект требование смерти, о котором идет речь, наблюдает, требование это относится прямо к отцу, обращающему в данном случае его агрессию против себя самого, чем как раз вся его грусть, его безучастность, его депрессия и объясняются. Оно совсем не похоже, следовательно, на то требование смерти, с которым имеет дело интерсубъективная диалектика – на то, что звучит перед трибуналом, когда прокурор заявляет: *“Я требую ему смертного приговора”*. Ведь требует он его не у субъекта, о котором в самом требовании идет речь, а у третьего лица, у судьи, что нормальную эдипову позицию как раз и характеризует.

Вот тот контекст, в котором *Penisneid* нашего субъекта – или, во

всяком случае, то, что этим именем называют, – призван сыграть свою роль. Он предстает здесь в качестве грозного оружия – оружия, являющегося в данном случае лишь означающим той опасности, что несет в себе возникновение желания в контексте требования смерти. Этот характер означающего присущ, как мы увидим, некоторым из навязчивых представлений субъекта, вплоть до их мельчайших деталей.

Так, одна из первых навязчивых идей субъекта очень забавна. Пациентка боится, как бы не подложить ненароком в постель родителей иголку. Подложить зачем? Чтобы уколоть мать – не отца, а именно мать. Вот первый уровень, на котором имеем мы дело с фаллическим означающим. Оно выступает здесь как означающее желания – желания опасного и преступного. Совершенно иную функцию выполняет оно в другой момент, являясь на этот раз вполне недвусмысленно, но в форме образа. Во всех случаях, где я вам здесь это означающее продемонстрировал, оно неизменно завуалировано, оно находится в симптоме, оно привходит со стороны, оно представляет собой своего рода фантазматическую интерференцию. Только нам, аналитикам, подсказывает оно то место, где существует в виде фантазма – совсем другой оборот дело, меж тем, принимает здесь, где означающее это выступает в форме облатки на первый план.

О том, что пациентка была одержима идеями кощунственного, профанирующего характера, я уже говорил. Конечно, религиозная жизнь предстает у страдающего неврозом навязчивости субъекта в виде глубоко видоизмененном, пронизанном симптомами, но в то же самое время, по некоему странному соответствию, религиозная жизнь эта, и в первую очередь жизнь евхаристическая, представляется порой идеально приспособленной для того, чтобы предоставлять неврозу навязчивых состояний то русло, ту форму, в которую он, невроз этот, особенно в религии христианской, столь легко отливается. У меня нет большого опыта в работе с неврозами навязчивых состояний, скажем, у мусульман, но было бы очень поучительно рассмотреть, как они с ситуацией этой справляются, то есть, другими словами, каким образом горизонт их верований, в том виде, в котором он исламом был выстроен, в феноменологию невроза навязчивых состояний оказывается вовлечен. Каждый раз, когда Фрейд имел дело с невротиками, получившими христианское воспитание, – такими, скажем, как *Человек с волками* или *Чело-*

век с крысами, – он обязательно указывал на ту важную роль, которую христианство в развитии и выстраивании их недуга сыграло. Нельзя не отдавать себе отчет в том, что самим символом веры своим христианская религия ставит нас перед поразительным, смелым и даже, мягко выражаясь, бесцеремонным решением, которое состоит в том, что носителем и опорой функции означающего – означающего, действием которого жизнь как таковая отмечена – становится в ней Богочеловек, воплощенная ипостась Божества. Христианский *логос*, будучи *логосом* воплощенным, дает всей системе отношений между человеком и речью самое точное разрешение – и не случайно воплотившийся Бог сам нарек себя Словом.

Не следует поэтому удивляться, если именно на уровне этого вечно обновляемого в евхаристии воплощения возникает у нашего субъекта, воплощение это собой заменяя, фаллос как означающее. И хотя в собственно религиозный контекст это означающее, само собою, не входит, не удивительно – если мы правы, конечно, – что возникает оно на этом именно месте.

Понятно, что роль, которую оно на этом месте играет, совсем иная, нежели там, где мы интерпретировали его прежде Тогда, на предыдущем этапе наблюдения за больной, было бы явной натяжкой интерпретировать его функцию под тем углом зрения, под которым мы рассматриваем его вторжение здесь, на уровне симптома.

Когда позднее, на гораздо более продвинутом этапе анализа, субъект признается аналитику: "*Я воображала, что топтала голову Христа ногой, и голова эта напоминала вашу*", – функция фаллоса вовсе не идентифицируется в этом фантазме, как полагает наш автор, с его, этого фаллоса, обладателем в лице аналитика. Если аналитик и идентифицируется здесь с фаллосом, то происходит это постольку, поскольку в данный конкретный момент истории переноса он воплощает собой для субъекта эффект означающего, отношение к речи, горизонт которой, в силу последствий достигнутой в ходе лечения нервной разрядки, начинает для нее несколько расширятся. Интерпретируя эту идентификацию в терминах зависти к пенису, мы упускаем случай поставить пациентку лицом к лицу с тем, что действительно является в ее ситуации самым глубоким, лишая ее реального шанса обнаружить ту связь, которую некогда, в отдаленном прошлом, установила она между неизвестным, *x*, которое, по сути дела, требование Другого в качестве требования смерти и спровоцировало, с одной стороны, и тем болезненным чув-

ством соперничества, что пробудило в ней некогда желание матери, привязанной к далекому, одновременно от ребенка и мужа отчуждавшему ее возлюбленному, с другой. Фаллос, став идентичен с самым глубоким значением, которое Другой для субъекта смог получить, находится здесь на уровне означающего загражденного, похеренного Другого, S(Ⱥ).

В этой же позиции находится фаллос и в несколько более поздний момент анализа – в момент, когда во внимание уже приняты были многочисленные сновидения, в которых он в этом качестве выступал. В одном из этих сновидений, для невротиков очень характерных, пациентка сама предстает себе как фаллическое существо – фаллос либо обнаруживается между ее грудей, либо заменяет собой одну из них. Это вообще один из наиболее распространенных фантазмов, которые в анализе можно встретить.

Действительно ли речь здесь идет, как полагает автор, о "*желании идентифицировать себя с мужчиной как обладателем фаллоса*"? Предположив это, аналитик решается и на дальнейшие спекуляции: "*Видя свои груди превращенными в пенис, не обращает ли она тем самым на мужской пенис ту оральную агрессивность, что направлена была некогда на материнскую грудь?*" Конечно, так рассуждать можно. С другой стороны, известно, что фаллосу свойственно в присущей ему форме без конца умножаться. Мы все знаем, что присутствие его бывает, если можно так выразиться, полифаллично. Как только фаллосов становится несколько, мы оказываемся, пожалуй, перед своего рода наброском того фундаментального по своему значению образа, что воплощен наглядно в статуях Дианы Эфесской, чье тело буквально струится рядами грудей.

После того, как аналитик проинтерпретировал туфли как эквивалент фаллоса, последовало сновидение, которое, по мнению аналитика, его первые две попытки эту интерпретацию предложить подтверждало: "*Я чиню у сапожника свою обувь и поднимаюсь на освещенную голубыми, белыми и красными огнями эстраду, окруженная одними мужчинами, – а мать мною в это время любуется из толпы*". Довольно ли будет говорить здесь о *Penisneid*? Не очевидно ли, что отношение к фаллосу здесь совершенно иного порядка? Уже из самого сновидения явствует, что он здесь так или иначе выставляется напоказ, но выставляется не перед обладателями его, не перед другими мужчинами, которые вместе с ней на эстраде находятся и об обсценной подоплеке которых голубые, бе-

лые и красные огни более чем красноречиво свидетельствуют, а перед матерью.

Перед нами те компенсаторные фантазматические отношения, о которых я в прошлый раз говорил. Они подразумевают, конечно, демонстрацию силы, но демонстрируется эта сила третьей стороне – стороне, в качестве которой в данном случае выступает мать. Присутствие фаллоса в отношениях субъекта с образом себе подобного, с образом тела, с маленьким другим – вот фактор, чья функция в поддержании психического равновесия нуждается в изучении. Уподоблять ее функции фаллоса в других ситуациях его появления было бы неверно и свидетельствовало бы о вопиющем отсутствии в ориентации истолкования всяких критериев.

К чему, по сути дела, в данном клиническом случае все вмешательства аналитика сводятся? К тому, чтобы облегчить для субъекта осознание нехватки пениса, своего рода по нему ностальгию. Достигается же это тем, что фантазмы субъекта, вопреки фактам, подобную интерпретацию не подтверждающим, удается сосредоточить на фантазме относительно безобидном.

Аналитик изменил для пациентки смысл фаллоса, узаконил его. По сути дела, он научил ее относиться к навязчивым идеям с любовью. Именно это в качестве итога подобной терапии и предстает – навязчивые идеи никуда не деваются, просто больная не испытывает более по их поводу чувства вины. Достигается этот результат путем аналитического вмешательства, нацеленного преимущественно на расплетение ткани фантазмов и расценку их в качестве фантазмов соперничества с мужчиной – соперничества, которое рассматривается как выражение некоей направленной на мать агрессивности, чьи корни в анализе так и не оказываются затронуты.

В конечном итоге подобная деятельность аналитика приводит к тому, что ткань фантазмов от лежащего в ее основе требования смерти полностью отдаляется. Работая таким образом, аналитик санкционирует фантазм, узаконивает его, а поскольку узаконить можно только все сразу, отказ от генитальной реальности довершается окончательно. Поскольку навязчивые идеи субъекта нагружены значением того, что с ним происходит, сполна, то с момента, как он начинает эти идеи любить, мы наблюдаем появление и развитие у него прозрений поистине удивительных.

Я предлагаю вам обратиться к отчету самим, так как для цитирования у меня сегодня больше нет времени. В конце его ясно звучит

тот тон нарциссической экзальтации, которая многими как феномен, наблюдаемый в конце анализа, отмечалась. Но сам автор особых иллюзий на сей счет не питает. *"Положительный перенос,* – пишет он, – *приобрел характеристики эдипа с ярко выраженными догенитальными признаками"*. Заканчивает он с ощущением принципиальной незавершенности, не питая почти никаких надежд на исход, который принято называть генитальным.

Что ему, на мой взгляд, совсем не удалось разглядеть, так это тесной связи полученных результатов с самим способом интерпретации, целью которой стало в данном случае не столько прояснение требования, сколько его ослабление. Это тем более парадоксально, что на необходимости анализировать агрессивность до сих пор принято обычно настаивать. Не исключено, что термин *агрессивность* действительно слишком темен и пользоваться им на практике бывает трудно. Гораздо удобнее было бы заменить его, как собственно, и обстоит дело в немецком языке, термином *требование смерти*. Тем самым указан был бы тот уровень субъективной артикуляции требования, которого, собственно, и надлежит достичь.

4

Я только что говорил с вами о христианстве. Речь у нас, в частности, зашла о заповедях, и я позволю себе под конец обратить ваше внимание на ту из них, что к числу наименее загадочных никак отнести нельзя. Моральной заповедь эту не назовешь, так как основана она на идентификации. Я говорю о той заповеди, которую христианство артикулирует на горизонте всех остальных – артикулирует в максиме "*Возлюби ближнего, как самого себя*".

Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над ее последствиями. Ведь заповедь эта вызывает множество возражений. Прекраснодушные восстают против нее первыми "*Почему как самого себя? Больше, больше!*" – протестуют они. "*А так ли уж мы любим самих себя?*" – задаются вопросом люди более опытные. Опыт действительно говорит о том, что мы испытываем по отношению к себе чувства самые противоречивые и, подчас, самые неожиданные. К тому же, с определенной точки зрения, заповедью этой, этим "*как самого себя*", в сердце любви внедрен оказывается эгоизм. Как может эгоизм служить мерой, показателем, образцом любви? Вот что в этой формуле самое поразительное.

Возражения эти действительно вполне основательны. Убедить-

ся в этом нетрудно хотя бы лишь потому, что в первом лице ответить на это требование невозможно. Сказать: *"Я люблю ближнего, как самого себя"*, – никому еще не приходило в голову. Стоит это сделать, и шаткость этой заповеди немедленно станет бросаться в глаза. Остановиться на ней, тем не менее, стоит, ибо именно она лучше всего иллюстрирует то, что я только что назвал горизонтом артикулирующей заповедь речи.

Стоит нам артикулировать эту заповедь, отправляясь оттуда, откуда должна она исходить, то есть из места Другого, как она немедленно обернется для нас кругом. Круг этот будет симметричен и параллелен тому, который, как я уже показал вам, лежит в подоплеке позиции Другого на простом уровне первичного требования и выражается формулой *"Мертвый, ты тот, для кого я . . . мертвый"*. *"Как самого себя"*, на уровне которого заповедь, завершаясь, артикулируется, не будет уже выражением эгоизма. Под *"самим собой"* будет в ней теперь узнаваться *"ты сам"* – тот *"ты"*, к которому она, собственно, и обращается. Значение христианской заповеди раскроется нам, если мы продолжим ее теперь следующим образом: *да возлюбишь своего ближнего (так), как* ***ты*** *сам* ***есть****, на уровне речи,* ***тот*** *самый,* ***кого готов . . . ты есть*** *и, требуя его смерти, ненавидишь, ибо не ведаешь.*

Именно здесь, на линии горизонта, совпадает эта заповедь с заветом Фрейда *Wo Es war, soll Ich werden.*

Другая мудрость, в словах *ты еси это*, нас учит тому же самому.

Это и знаменует собою конец анализа: полное и подлинное усвоение себя субъектом в собственной речи.

А это значит, что на том горизонте речи, помимо которого ничего, кроме недоразумений и заблуждений артикулировано в анализе быть не может, субъект признает, наконец, за собой свое место.

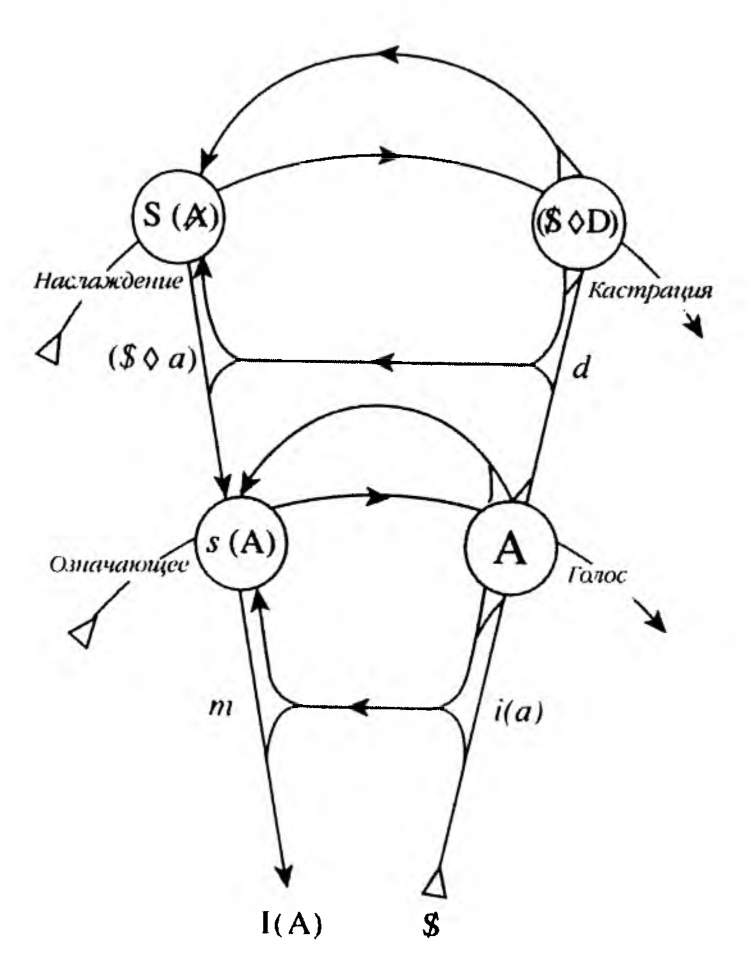
2 июля 1958 года



ПРИЛОЖЕНИЯ

А
Граф желания

В окончательной своей форме выработанную в ходе семинара и известную под позднейшим названием "граф желания" схему можно найти на стр. 817 *Écrits*. "Полному графу" предшествуют в этой статье формы, отражающие различные этапы его построения (стр. 805, 808, 815). Мы воспроизводим здесь этот граф в его полной форме.



В
Пояснения к схемам

31 января 1958 года, между одиннадцатым и двенадцатым занятиями, Лакан встретился с небольшой группой своих слушателей. Во время встречи они попросили его пояснить только что введенные им на семинаре схемы. Данное выступление (возможно, представляющее собой ответ на эти вопросы), стенографировано не было. Известно оно лишь по записям Поля Лемуана, содержащих его снабженное рисунками резюме. Именно эти записи, в несколько переработанной форме, я и представляю читателю, с той само собой разумеющейся оговоркой, что как текст самого Лакана или как лекцию данного Семинара рассматривать их нельзя.

1. Означающая цепочка

Определение аналитического поля не удастся дать до тех пор, пока мы не станем твердо на ту точку зрения, что именно означающее является структурирующей субъект инстанцией, что именно на нем субъект, как говорящее существо, зиждется. Другими словами, что человеческий субъект принципиально неотделим от дискурса, точнее – от цепи означающих.

Факт этот в силу механистических или биологических предрассудков зачастую оказывался завуалирован, но психоаналитический опыт с несомненностью свидетельствует в его пользу. Он ясно показывает, что на уровне означающей цепочки как таковой субъект неизбежно включен в бессознательное, представляющее собой Другого, и что без вмешательства кого-то Другого у него к этому бессознательному нет доступа.

Тема отца, которая, будучи одной из тем социальной жизни, присутствует одновременно и в ближайшем к примитивным инстинктам бессознательном, может быть полноценно прослежена лишь в том случае, если мы обратимся к тому означающему узлу, который представляет собой Имя Отца. Означающее это является точкой схождения для значения, прочно связанного с отношением означающей цепочки к себе самой. Если бы дело обстояло не так, Имя Отца не могло бы оказаться включено в какую бы то ни было интерсубъективность. Именно означающая цепочка является тем, что отличает человеческий субъект от животного. У животного интерсубъективность тоже, в определенном смысле, присутствует, но природа интерсубъективности этой совсем иная. В отношении с идентификацией дело тоже обстоит точно так же: любая система иден-

тификации просто немыслима без чего-то такого, что жизни биологической совершенно чуждо и представляет собой не что иное, как означающую цепочку.

Для психоаналитической практики факт этот имеет решающее значение. Не приняв его во внимание, психоаналитик (Буве, в данном случае) поневоле совершает технические ошибки – ошибки, обусловленные тем неоправданно серьезным значением, которое придает он гомосексуальным отношениям между пациентом и аналитиком и, в первую очередь, их воображаемой половой связи (fellation) – термин, звучание которого по-французски делает ее неотличимой от связи родственной, наследственной (filiation). Все происходит для такого аналитика на уровне отношений воображаемых, отношений между собственным Я и другим с маленькой буквы. Схема L *и предназначена как раз показать наглядно, что главное состоит в том, удается ли идущему от большого Другого к субъекту вектору порог этого воображаемого отношения преодолеть.*

2. Схема этого года

Схема этого года построена на тех точках, где означающее пристегнуто к означаемому.

Термины, которые я на схеме этой располагаю, играют в ней роль преобразователей. Оригинальность их состоит лишь в том, что они выступают здесь в качестве означающих. Интерес этих терминов заключен не столько в их смысле, который волей-неволей остается темным и даже противоречивым, сколько в соединении их между собою в качестве означающих.

Схема эта сводится, по сути дела, к следующему, воспроизводящему означающую цепочку, рисунку:

$$\frac{S\ldots\ldots\ldots\ldots}{s\ldots\ldots\ldots\ldots}$$

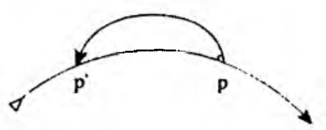
Черту, которую вы на этом рисунке видите, я просто-напросто несколько выгибаю.



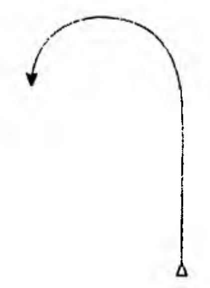
Означающее всегда оказывает на означающее обратное действие. Что бы мы под означающей цепочкой ни имели в виду, она всегда предполагает наличие фразы. Фраза возникает, когда что-то на уровне означающего, а точнее, все то, что на место означающего, между началом и препинанием,

было произнесено, связывается на уровне означающего в замкнутый контур. Смысл возникает не раньше, чем последнее слово фразы оказывается высказано. Я пояснял это однажды на примере фразы из Атали *Расина:* "Прихожу я в твой храм, чтобы вечность почтить".

Мы вправе, следовательно, отразить это обратное воздействие означающего на нашей схеме. Когда возникает, оказывается достигнутой, точка P, позади, в точке P', тоже обнаруживается некоторое приобретение.

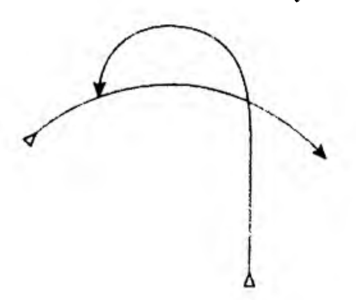


На схеме, однако, необходимо отразить и речевое намерение, поскольку дискурс неотделим от конкретной индивидуальности, его воплощающей. Именно этому и служит следующий ее вектор.



Поскольку мы с вами являемся психоаналитиками, в распоряжении нашем имеется тот средний термин, который позволяет включить дискурс в человеческий субъект – я имею в виду термин "желание". Начало свое желание берет на том самом уровне, от которого отправляется означающая цепочка. Все остальное выстраивается, исходя из этого.

Двойственность субъекта находит свое выражение в межсубъектном взаимодействии. Уже с первого лепета своего новорожденный строит вою артикуляцию с помощью матери, которая и научит его впоследствии означающей цепочкой пользоваться. В этом суть схемы и состоит.



Перед нами графическое изображение встречи с Другим. Результатом встречи является сообщение. Чтобы сообщение состоялось, достаточно наличия получателя, reciever, и отправителя, sender.

Обозначенное линией схемы обратное действие опирается на вписанное в него желание. Речевая деятельность оказывает на желание артикулирующего речь субъекта воздействие. Осуществляется это воздействие задним числом. Результат вписывается в конечный пункт обратно направлению вектора.

На уровне закороченного контура Aββ'M субъект является просто животным. Всему, что происходит на животном уровне, соответствует на схеме линия ββ'. Воображаемое зеркальное противостояние a-a' имеет место именно на этом уровне.

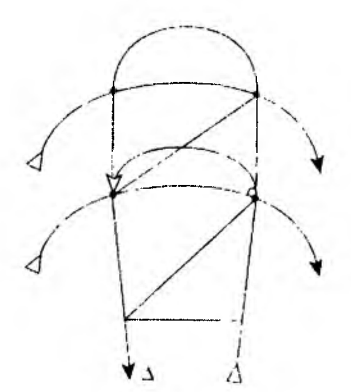
3. По поводу эдипова комплекса

На схеме этой понятным становится и место триады мать-ребенок-фаллос – триады, которую ввел я в прошлом году в связи с перверсиями простейшего типа и, в частности, с фетишизмом. Не имея в своем распоряжении этой схемы, мне было об этом рассуждать нелегко. Существуют – в том числе и в неврозе – отношения, способные установиться на ту сторону эдиповых, но чтобы по поводу их можно было нечто членораздельное высказать, субъект должен быть выстроен по эдиповой схеме.

Отношение к матери в мужской гомосексуальности выстроено драмой, разыгрываемой между полюсами S a a' A. Понятие фаллической женщины, *которым в этих случаях, как правило, пользуются, на деле очень размыто и урокам, которые дает нам анализ, не вполне отвечает. На самом деле речь идет об отношении матери к речи отца. Мать в данном случае оборачивается законом.*

Дальнейшие сопоставления показывают значение этой схемы для понимания того, что представляет собой происходящая на исходе эдипа иден-

тификация с отцом. Схема позволяет уяснить место парадоксов отношения субъекта к пенису: принадлежности, обязательной для эротизированного объекта, с одной стороны, и носителя фантазматической угрозы, с другой.



По мере сочетания этой схемы со схемой отражения кода на сообщение – схемой, которая вводит в рассмотрение интерсубъективность, то есть отношение к Другому не как к присутствующему, а как к порождению самой речи, – наложение двух на этой схеме представленных треугольников как раз и наводит на мысль о значении, которое можно теперь придать термину "идентификация".

Идентификация – это те два дантовых грешника, что, лобзая друг друга в уста, осуждены вечно становиться друг другом.

Примечание

Выработанная на протяжении этого семинара схема ("граф желания") получила свою окончательную форму в работе *Ниспровержение субъекта и диалектика желания*. Работа написана в 1962 году; найти ее можно на pp. 804–818 сборника *Écrits*.

Первая часть "*Образований бессознательного*" отсылает нас к написанной в мае 1957 работе *Инстанция буквы* (*Écrits*. pp. 493–528).

В декабре-январе 1957–58 г., проведя первые семь занятий, Лакан работает над редактирование работы *О вопросе, предваряющем всякое возможное лечение психоза* (*Écrits*, pp. 531–583), нашедшей в занятиях по "Логики кастрации" свое отражение.

Во время февральских каникул Лакан редактирует опубликованную в апреле статью *Юность Жида* (*Écrits*, pp. 739–764). Отголоски ее отчетливо слышны в четырнадцатой лекции Семинара, открывающей собой раздел "Значение фаллоса".

Шесть лекций этой части, равно как и лекция 7 мая, подводят к докладу *Значение фаллоса*, сделанному Лаканом 9 мая в Мюнхене (*Écrits*, pp. 685–695).

И, наконец, последняя часть Семинара велась одновременно с подготовкой доклада *Направление лечения и принципы его действенности*, произнесенного в Руаомонте в июле (*Écrits*, pp. 585–645).

***

Жюдит Миллер, та самая девушка, что в первой части семинара так ловко срамит своего партнера, была первым читателем рукописи и корректуры и сделала множество полезных замечаний, за что я выражаю ей здесь искреннюю признательность.

Я еще раз выражаю благодарность Женни Лемуан, предоставившей в мое распоряжение записи, сделанные на Семинаре ее мужем, покойным Полем Лемуаном. Он вел эти записи начиная с января 1958 года. Лекции первого триместра он, похоже, не посещал; первые семь лекций представлены в его бумагах лишь фотокопиями сделанных для самого Лакана дактилографических записей.

Жак-Алан Миллер

Примечание переводчика к гл. 3:

*** Прибавляя к восклицанию "А!" (в смысле: ах, вот как!) избыточное конечное *t*, девушка превращает задним числом слово comte (граф) в форму слова *con* (мудак).**

СОДЕРЖАНИЕ

Значение фаллоса

Диалектика желания и требования в клинической практике и лечении неврозов

В 2001 -2002 гг. в издательстве «**Логос**» вышли в свет:

Чарльз Сандерс Пирс. *Избранные философские произведения.* Перевод с английского – К. Голубович, Т. Дмитриева, К. Чухрукидзе. (Серия «Феноменология. Герменевтика Философия языка».) 26 п. л.

Джон Дьюи. Реконструкция в философии. Перевод с англ. (Серия «Сигма»). 10 п.л.

Жак Лакан. *Телевидение.* Перевод с франц. А. Черноглазов.

Люсьен Гольдман. *Сокровенный бог.* Перевод с французского – В. Большаков. (Серия «Сигма»). 30 п. л.

Льюис Мамфорд. *Миф машины.* Перевод с английского – Т. Азаркович. (Серия «Сигма»). 27 п. л

Теодор В. Адорно. *Философия новой музыки.* Перевод с немецкого – Б. Скуратов. 20 п. л.

Философский журнал «*Логос*» № **3'2000** (Лосевские чтения, Образ мира – структура и целое); **№ 4'2001** (Современная аналитическая философия).

Тетради по аналитической антропологии №1. *«Авто-био-графия»* под ред. В.А. Подороги. (Серия "Ecce homo"). 27 п. л.

Кети Чухров. *Коллекция цезур.* Поэтические тексты. 5 п. л.

Карл-Отто Апель. *Трансформация философии.* Перевод с немецкого – В. Куренной, Б. Скуратов. (Серия «Сигма»). 27 л.

Ноам Хомский. *9-11.* Пер. англ. (Серия "vs"). 5 п л.

Александр Койре. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. Перевод с англ. (Серия «Сигма»). 18 л.

Михаил Рыклин. *Пространства ликования. Тоталитаризм и различие.* 15 п. л.

Михаил Рыклин. *Деконструкция и деструкция.* Беседы с философами (Ж.Деррида, С.Жижек и др.) (Серия "Ecce homo"), 13 п.л.

Ольга Седакова. *Путешествие волхвов.* 10 п. л.

Дмитрий Пригов. *Дитя и смерть.* 5 п. л.

Ксенья Голубович. *Personae.* Стихи в прозе. 11 п. л.

Кристофер Лэш. *Восстание элит или предательство демократии.* Перевод с англ. (Серия "vs"). 15 л.

Поль Вирилио. *Информационная бомба.* 10 п. л. Перевод с франц (Серия "*vs*".)

Герберт Шпигельберг. *Феноменологическое движение.* Перевод с англ. 60 п. л. (Серия "Сигма")

В 2002 гг. в издательстве «**Логос**» выходят в свет:

В*алерий* **П***одорога.* *Мимесис. Т.1.* Книга посвящена антропологическому анализу стратегий и форм чувственности в русской литературе XIX-XX вв. (Серия «Ecce homo».) 26 п. л.

К*орнелиус* **К***асториадис.* *Воображаемые формы организации общества.* 30 п. л. Перевод с франц. (Серия *"vs"*).

Р*ене* **Т***ом.* *Стабильные структуры и морфогенез.* Перевод с франц. (Серия «Ecce homo»). 27 п. л.

Р*ичард* **С***еннет.* *Крах публичного человека.* Перевод с англ. (Серия «vs»). 25 п. л.

Джанни **В***аттимо.* *Прозрачное общество.* Перевод с итал. Д. Новиков. (Серия «vs»). 5 п. л.

Т*айбор* **Ф***ишер.* *Философ с большой дороги.* Перевод с англ. А. Нес-теров. 12 п. л. Совместно с издательством "АСТ".

Эрнст **Н***ольте.* *Европейская гражданская война 1917-1945. Национализм и большевизм.* Перевод с нем. 40 п. л.

Этьен **Б***алибар,* **И***мануэль* **В***аллерстайн.* *Расы, нации, классы.* Перевод с франц. 20 п. л.

Б*орис* **К***агарлицкий.* *Глобализация и левые.* (Серия "vs"). Объем – 11 п. л.

Ж*урнал N. #1.* **Ф***илософия,искусство, политика.* Новое периодическое издание исследовательской группы журнала "Логос" и художников группы "Радек". Первый номер посвящен истории левого терроризма, современным политически ориентированным художественным практикам, анализу и разработке актуальных теорий сопротивления. – 11 п.л.

ЖАК ЛАКАН

Образования бессознательного
Семинары: Книга V (1957/1958)

Перевод с франц. – А. Черноглазов

Корректор – Д. Лунгина, А. Кефал
Верстка – А. Кефал

ИТДГК "Гнозис", Издательство "Логос"
Лицензия ЛР № 065364 от 20 авг. 1997 г.
fax: 246-2020 (Г-25); e-mail: oleg@gnosis.ru; logos@rinet
Информация на сайте: **www.gnosis.ru**

Справки и оптовые закупки по адресу:
м. "Парк Культуры", Зубовский б-р, 17, ком. 5-6
ИТДК "Гнозис", тел. 2461430.

Подписано в печать 28.08.2002. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. (1-й завод: 2000)

Заказ № 2370
Отпечатано ФГУП Издательство "Известия" УДПРФ
127994, ГСП 4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл. 5.